ПИСАРЕВ

4

ПИСАРЕВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Д. И. ПИСАРЕВ

СОЧИНЕНИЯ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА • 1956

Д. И. ПИСАРЕВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ 4

СТАТЬИ

1865-1868



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1956

Подготовка текста

и примечания

Ю. С. СОРОКИНА

СТАТЬИ

1865-1868



МЫСЛЯЩИЙ ПРОЛЕТАРИАТ

I

В нашей умственной жизни резко выделяется от остальной массы то направление, в котором заключается наша действительная сила и на которое со всех сторон сыпятся самые ожесточенные и самые смешные нападения. Это направление поддерживается очень малочисленною группою людей, на которую однако, несмотря на ее малочисленность, все молодое смотрит с полным сочувствием, а все дряхлеющее с самым комическим недоверием. Эта группа понемногу расширяется, обогащаясь молодыми деятелями; влияние этой группы на свежую часть общества уже теперь перевешивает собою все усилия публицистов, ученых и других литераторов, подверженных в большей или меньшей степени острым или хроническим страданиям светобоязни; [1] в очень близком будущем общественное мнение будет совершенно на стороне этих людей, которых остальные двигатели русского прогресса постоянно стараются очернить разными обвинениями и заклеймить разными ругательными именами. Их обвиняли в невежестве, в деспотизме мысли, в глумлении над наукою, в желании взорвать на воздух все русское общество вместе с русскою почвою; их называли свистунами, нигилистами, мальчишками; для них придумано слово «свистопляска», они причислены к «литературному казачеству», и им же приписаны сооружение «бомбы отрицания» и «калмыцкие набеги на науку». [2] Об них постоянно болеют душою все медоточивые деятели петербургской и московской прессы; их то распекают, то упрашивают, то подымают на смех, то отрекаются от них, то увещевают; но ко всем этим изъявлениям участия они остаются глубоко равнодушны. Худы ли, хороши ли их убеждения, но они у них есть, и они ими дорожат; когда можно, они проводят их в общество; когда нельзя — они молчат; но лавировать и менять флаги они не хотят, да и не умеют. Доля их кажется большинству незавидной, но они не могли

бы по натуре своей переменить ее. Из них вышли люди, которым досталась слава геройских страданий, гонений неутомимой, ненасытной ненависти. Другим встречались лишь тысячи мелких врагов, и в борьбе с препятствиями недостойными, презираемыми проходила их деятельность, которая видела вдали для себя более широкое поприще и была достойна его. Это тяжело, но им много помогает переносить все невзгоды то обстоятельство, что они уверены в себе и любят живою, сознательною любовью свои идеалы. Их не удивляют и тем более не раздражают комедии с переодеваниями, разыгрываемые нашими публицистами; в глубину отечественной учености они не верят; красотою отечественной беллетристики не восхищаются; к одним проявлениям нашей умственной жизни они равнодушны; к другим относятся с самым спокойным, глубоко сознательным и совершенно беспощадным презрением. Да и может ли быть иначе, когда в литературе, как и в обществе, целая пропасть отделяет их от официозных и патентованных наставников массы? В литературе они стоят совершенно в стороне от остальной толпы и не чувствуют ни надобности, ни желания приблизиться к ней или сойтись с ее искусственными представителями на чем бы то ни было. В обществе они не боятся своего нынешнего одиночества. Они знают, что истина с ними, они знают, что им следует покойною и твердою поступью идти вперед по избранному пути и что рано или поздно за ними пойдут все. Эти люди фанатики, но их фанатизирует трезвая мысль, и их увлекает в неизвестную даль будущего очень определенное и земное стремление доставить всем людям вообще возможно большую долю простого житейского счастья.

По мнению Молчалиных и Полониев [3] журналистики и общества, это очень глупые и дурные люди, и к наиболее глупым и дурным из этих отверженных людей давно уже единогласно причислен ими автор романа «Что делать?». Но из всего, написанного им, всего хуже и всего глупее объявлен именно этот роман.

И действительно немудрено, что таков был общий голос всех критиков. Никогда еще то направление, о котором я упомянул вначале, не заявляло себя на русской почве так решительно и прямо, никогда еще не представлялось оно взорам всех ненавидящих его так рельефно, так наглядно и ясно. Поэтому всех, кого кормит и греет рутина, роман г. Чернышевского приводит в неописанную ярость. Они видят в нем и глумление над искусством, и неуважение к публике, и безнравственность, и цинизм, и, пожалуй, даже зародыши всяких преступлений. И, конечно, они правы: роман глумится над их эстетикой, разрушает их нравственность, показывает лживость их целомудрия, не скрывает своего презрения к своим судьям. Но все это не составляет и сотой доли прегрешений романа; главное в том, что он мог сделаться знаменем ненавистного им направления, указать ему ближайшие цели и вокруг них и для них собрать все живое и молодое,

С своей точки зрения наставники наши были правы; но я слишком уважаю своих читателей и слишком уважаю самого себя, чтобы доказывать им, как бесконечно позорно для них это обстоятельство и как глубоко уронил их роман «Что делать?» тою ненавистью и яростью, которые поднялись против него. Читатели мои, разумеется, очень хорошо понимают, что в романе этом нет ничего ужасного. В нем, напротив того, чувствуется везде присутствие самой горячей любви к человеку; в нем собраны и подвергнуты анализу пробивающиеся проблески новых и лучших стремлений; в нем автор смотрит вдаль с тою сознательною полнотою страстной надежды, которой нет у наших публицистов, романистов и всех прочих, как они еще там называются, наставников общества. Оставаясь верным всем особенностям своего критического таланта и проводя в свой роман все свои теоретические убеждения, г. Чернышевский создал произведение в высшей степени оригинальное и чрезвычайно замечательное. Достоинства и недостатки этого романа принадлежат ему одному; на остальные русские романы он похож только внешнею своею формою: он похож на них тем, что сюжет его очень прост и что в нем мало действующих лиц. На этом и оканчивается всякое сходство. Роман «Что делать?» не принадлежит к числу сырых продуктов нашей умственной жизни. Он создан работою сильного ума; на нем лежит печать глубокой мысли. Умея вглядываться в явления жизни, автор умеет обобщать и осмысливать их. Его неотразимая логика прямым путем ведет его от отдельных явлений к высшим теоретическим комбинациям, которые приводят в отчаяние жалких рутинеров, отвечающих жалкими словами на всякую новую и сильную мысль.

Все симпатии автора лежат безусловно на стороне будущего; симпатии эти отдаются безраздельно тем задаткам будущего, которые замечаются уже в настоящем. Эти задатки зарыты до сих пор под грудою общественных обломков прошедшего, а к прошедшему автор, конечно, относится совершенно отрицательно. Как мыслитель, он понимает и, следовательно, прощает все его уклонения от разумности, но, как деятель, как защитник идеи, стремящейся войти в жизнь, он борется со всяким безобразием и преследует иронией и сарказмом все, что бременит землю и коптит небо.

II

В начале пятидесятых годов живет в Петербурге мелкий чиновник Розальский. Жена этого чиновника, Марья Алексеевна, хочет выдать свою дочь, Веру Павловну, за богатого и глупого жениха, а Вера Павловна, напротив того, тайком от родителей выходит замуж за медицинского студента Лопухова, который, чтобы жениться, оставляет академию за несколько недель

до окончания курса. Живут Лопуховы четыре года мирно и счастливо, но Вера Павловна влюбляется в друга своего мужа, медика Кирсанова, который также чувствует к ней сильную любовь. Чтобы не мешать их счастью, Лопухов официально застреливается, а на самом деле уезжает из России и проводит несколько лет в Америке. Потом он возвращается в Петербург под именем американского гражданина Чарльза Бьюмонта, женится на очень хорошей молодой девушке и сходится самым дружеским образом с Кирсановым и его женою, Верою Павловною, которые, конечно, давно знали настоящее значение его самоубийства. Вот весь сюжет романа «Что делать?», и ничего не было бы в нем особенного, если бы не действовали в нем новые люди, те самые люди, которые кажутся проницательному читателю очень страшными, очень гнусными и очень безнравственными. «Проницательный читатель», над которым очень часто и очень сурово потешается г. Чернышевский, не имеет ничего общего с тем простым и бесхитростным читателем, которого любит и уважает каждый пишущий человек. Простой читатель берет книгу в руки для того, чтобы приятно провести время, или для того, чтобы чему-нибудь научиться, а проницательный — для того, чтобы покуражиться над автором и произвести его идеям инспекторский смотр. Простой читатель, встретивший новую мысль, может не согласиться с нею, но может и согласиться. Проницательный читатель всякую новую идею считает за дерзость, потому что эта идея не принадлежит ему и не входит в тот замкнутый круг воззрений, который, по его мнению, составляет единственное вместилище всякой истины. У простого читателя есть предрассудки самого скромного свойства, вроде того, например, что понедельник — тяжелый день или что не следует тринадцати человекам садиться за стол. Эти предрассудки происходят от умственного неряшества; они не могут считаться неизлечимыми и большею частью не мешают простому читателю выслушивать без злобы мнения умных и развитых людей. Предрассудки проницательного читателя отличаются, напротив того, книжным характером и теоретическим направлением. Он все знает, все предугадывает, обо всем судит готовыми афоризмами и всех остальных людей считает глупее себя. Мысль его протоптала себе известные дорожки и только по этим дорожкам и двигается. Паншин (в «Дворянском гнезде») и Курнатовский (в «Накануне») могут считаться превосходными представителями этого типа. В жизни действительной проницательные читатели всего чаще попадаются между теми людьми, для которых умственный труд составляет профессию. Всякая посредственность, пошедшая по этому пути, неминуемо превращается в проницательного читателя. Весь запас мыслей, сидевших в голове посредственности, очень быстро вытряхивается наружу, и тогда приходится повторяться, фразерствовать, переливать из пустого в порожнее, глупеть от этого приятного занятия и вследствие

всего этого проникаться глубочайшею ненавистью ко всему, что размышляет самостоятельно. Большинство профессоров и журналистов всех наций принадлежат к скучнейшему разряду проницательных читателей. Все эти господа могли бы быть очень милыми, простыми и неглупыми людьми, но их изуродовало ремесло, точно так же как ремесло уродует портных, сапожников, гранильщиков. Они натерли себе на мозгу мозоли, и мозоли эти дают себя знать во всех суждениях и поступках проницательных читателей. Проницательный читатель скрежещет зубами, когда говорят о новых людях, а простому читателю скрежетать по этому случаю нет никакой надобности. Простой читатель улыбается добродушною улыбкою и говорит преспокойно: «Ну, посмотрим, посмотрим, какие это новые люди?» — А вот и посмотри.

Над существованием новых людей прежде всех задумался в нашей беллетристике Тургенев. Инсаров был неудачною попыткою в этом направлении; Базаров явился очень ярким представителем нового типа; но у Тургенева, очевидно, не хватило материалов для того, чтобы полнее обрисовать своего героя с разных сторон. Кроме того, Тургенев, по своим летам и по некоторым свойствам своего личного характера, не мог вполне сочувствовать новому типу; в его последний роман вкрались фальшивые ноты, которые вызвали со стороны «Современника» строгую и несправедливую рецензию г. Антоновича. [4] Эта рецензия была ошибкою, и лучшим ее опровержением является роман г. Чернышевского, в котором все новые люди принадлежат к базаровскому типу, хотя все они обрисованы гораздо отчетливее и объяснены гораздо подробнее, чем обрисован и объяснен герой последнего тургеневского романа. Тургенев — чужой в отношении к людям нового типа; он мог наблюдать их только издали и отмечать только те стороны, которые обнаруживают эти люди, приходя в столкновение с людьми совершенно другого закала. Базаров является один в таком кругу, который вовсе не соответствует его умственным потребностям; Базарову некого любить и уважать, и потому всякому читателю, а «проницательному» в особенности, может показаться, что Базаров неспособен любить и уважать. Это последнее мнение составляет совершенную нелепость; нет того человека, у которого не было бы способности и потребности любить и уважать подобных себе людей; ничто не дает нам права думать, чтобы Тургенев захотел взвести на своего героя такую пустую небылицу; он просто не знал, как держат себя Базаровы с другими Базаровыми; не знал, как проявляются у таких людей чувства серьезной любви и сознательного уважения; он чувствует небывалость этого типа и недоумевает перед ним, да так и останавливается на этом недоумении все-таки потому, что не хватает материалов. Если бы г. Чернышевскому пришлось изображать новых людей, поставленных в положение Базарова, то есть окруженных всяким старьем и тряпьем, то его Лопухов, Кирсанов, Рахметов стали бы держать

себя почти совершенно так, как держит себя Базаров. Но г. Чернышевскому нет никакой надобности поступать таким образом. Он знает не только то, как думают и рассуждают новые люди (это знает и Тургенев — по журнальным статьям, писанным новыми людьми), но и то, как они чувствуют, как любят и уважают друг друга, как устроивают свою семейную и вседневную жизнь и как горячо стремятся к тому времени и к тому порядку вещей, при которых можно было бы любить всех людей и доверчиво протягивать руку каждому. После этого нетрудно понять, почему Тургенев принужден был в своем Базарове остановиться на одной суровой стороне отрицания и почему, напротив того, под рукою г. Чернышевского новый тип вырос и выяснился до той определенности и красоты, до которой он возвышается в великолепных фигурах Лопухова, Кирсанова и Рахметова.

Новые люди считают труд абсолютно необходимым условием человеческой жизни, и этот взгляд на труд составляет чуть ли не самое существенное различие между старыми и новыми людьми. Повидимому, тут нет ничего особенного. Кто же отказывает труду в уважении? Кто же не признает его важности и необходимости? Лорд-канцлер Великобритании, сидящий на шерстяном мешке [5] и получающий за это сидение по нескольку десятков тысяч фунтов стерлингов в год, твердо убежден в том, что он берет плату за труд и что он с полным основанием может сказать фабричному работнику: My dear, * мы с тобой трудимся на пользу общества, а труд — святое дело. И лорд-канцлер это скажет, и граф Дерби это скажет, потому что он тоже доставляет себе труд класть в карман поземельную ренту, а между тем какие же они новые люди? Они джентльмены очень старые и очень почтенные. Новые люди отдают полную справедливость тому и другому их качеству, но сами никогда не согласятся уважать труд так, как уважают его лорд-канцлер и граф Дерби; сами они никогда не согласятся заработывать так много, сидя на шерстяном мешке или на бархатной скамейке палаты пэров. Сами они не хотят питать издали платоническую нежность к труду. Для них труд действительно необходим, более необходим, чем наслаждение; для них труд и наслаждение сливаются в одно общее понятие, называющееся удовлетворением потребностей организма. Им необходима пища для утоления голода, им необходим сон для восстановления сил, и им точно так же необходим труд для сохранения, подкрепления и развивания этих сил, заключающихся в мускулах и в нервах. Без наслаждения они могут обходиться очень долго; без труда для них немыслима жизнь. Отказаться от труда они могут только в том случае, когда их разобьет паралич, или когда их посадят в клетку, или вообще когда они тем или

* Мой дорогой *(англ.)*. — *Ред.*

другим путем потеряют возможность распоряжаться своими силами.

Размышляя часто и серьезно о том, что делается кругом, новые люди с разных сторон и разными путями приходят к тому капитальному заключению, что все зло, существующее в человеческих обществах, происходит от двух причин: от бедности и от праздности; а эти две причины берут свое начало из одного общего источника, который может быть назван хаотическим состоянием труда. Труд и вознаграждение находятся теперь между собою в обратном отношении: чем больше труда, тем меньше вознаграждения; чем меньше труда, тем больше вознаграждения. От этого на одном конце лестницы сидит праздность, а на другом бедность. И та и другая порождает свой ряд общественных зол. От праздности происходит умственная и физическая дряблость, стремление создавать себе искусственные интересы и увлекаться ими, потребность сильных ощущений, преувеличенная раздражительность воображения, разврат от нечего делать, поползновения помыкать другими людьми, мелкие и крупные столкновения в семейной и общественной жизни, бесконечные раздоры равных с равными, старших с младшими, младших с старшими, словом — весь бесконечный рой огорчений и страданий, которыми люди угощают друг друга без малейшей надобности и которых существование может быть объяснено только выразительною поговоркою: «с жиру собаки бесятся». От бедности идут страдания и материальные, и умственные, и нравственные, и какие угодно: тут и голод, и холод, и невежество, из которого хочется вырваться, и вынужденный разврат, против которого возмущается природа самых загрубелых созданий, и горькое пьянство, которого стыдится сам пьяница, и вся ватага уголовных преступлений, которых нельзя было не совершить преступнику. На середине лестницы произведения бедности встречаются с произведениями праздности; тут меньше дикости, чем внизу, и меньше дряблости, чем вверху, но больше грязи, чем где бы то ни было; тут приходится ежиться, потому что хочется барствовать; приходится жилить пятачок у кухарки или дворника, потому что надо ехать на гулянье; держать детей в холодной детской, потому что надо меблировать гостиную; есть испорченную говядину, потому что надо сшить шелковую мантилью. По всей лестнице сверху донизу господствуют ненависть к труду и вечный антагонизм частных интересов. Немудрено, что труд производит при таких условиях мало продуктов; немудрено и то, что любовь к ближнему встречается только в назидательных книгах. Каждый рассуждает так или почти так: если, говорит, я прямо потяну с своего ближнего шубу, то меня за это не похвалят и посадят в полицию; но если я подведу под шубу кляузы и оттягаю ее тихим манером, то мне будет двойная выгода: во-первых, не надо будет вырабатывать себе шубу, во-вторых, всякий будет считать меня за умного и обходительного человека.

Не всем, однако, такое положение дел нравится; находятся отдельные личности, которые говорят праздным людям: «Вам скучно потому, что вы ничего не делаете; а есть другие люди, которые страдают потому, что бедны. Подите разыскивайте этих людей, помогайте им, облегчайте их страдания, входите в их нужды, и вам будет не так скучно, и им не так тяжело жить на свете». Это говорят хорошие люди, но новые люди этим не удовлетворяются. «Филантропия, — говорят новые люди, — такая же прекрасная вещь, как тюрьма и всякие уголовные и исправительные наказания. В настоящее время мудрено обойтись без того и другого, но настоящее время, подобно всем прошедшим временам, занимается только вечным заметанием и подчищанием тех гадостей, которые оно само вечно производит на свет. Когда гадость произведена, ее, конечно, следует замести и подчистить, но не мешает подумать и о том, как бы на будущее время прекратить такое невыгодное производство гадостей. Филантропия сама по себе оскорбительна для человеческого достоинства и заключает в себе глубокую несправедливость; она принуждает одного человека зависеть в своем существовании и благосостоянии от произвольного добродушия другого такого же человека; она создает нищего и благотворителя и развращает и того и другого. Она не уничтожает ни бедности, ни праздности; она не увеличивает ни на одну копейку продукты производительного труда. В древнем Риме под видом раздач дарового хлеба, а в новейших католических государствах южной Европы под видом раздач даровых порций супа у монастырских ворот эта милая филантропия развратила вконец массы здоровой черни. Не богадельня, а мастерская может и должна обновить человечество. Здоровый человек, посаженный на необитаемый остров, может прокормить самого себя; силы человека увеличиваются в сотни и тысячи раз, когда он вступает в промышленную ассоциацию с другими людьми. Поэтому здоровый человек, живущий в цивилизованном обществе, может и должен собственным трудом прокормиться и одеться, приобрести себе образование и воспитать своих детей. Тут собственный труд не может быть заменен никаким другим ингредиентом. Труду нет простора, труд плохо оплачивается, труд порабощается, и от этих причин происходит все существующее зло.

Кто хочет бороться против зла, не для препровождения времени, а для того, чтобы когда-нибудь действительно победить и искоренить его, тот должен работать над решением вопроса: как сделать труд производительным для работника и как уничтожить все неприятные и тяжелые стороны современного труда? Труд есть единственный источник богатства; богатство, добываемое трудом, есть единственное лекарство против страданий бедности и против пороков праздности. Стало быть, целесообразная организация труда может и должна привести за собою счастие чело-

вечества. Говорить, что такая организация невозможна, значит подражать тем дряблым старикам, которые считают невозможным все, до чего не додумались их предшественники и современники. Складывать руки и вздыхать о несовершенствах всего земного, когда люди страдают от собственных глупостей, значит возводить эти глупости в законы природы и обнаруживать леность и робость мысли, недостойные человека свежего, честного и одаренного живым умом».

Так или почти так рассуждают о высоких материях новые люди; вглядевшись в эти рассуждения, каждый читатель, кроме «проницательного», увидит, что в них нет ничего ужасного и что в них, напротив того, много дельного. Искать обновления в труде во всяком случае гораздо рациональнее, чем видеть альфу и омегу человеческого благополучия в учреждении палаты депутатов или палаты пэров. Самая лучшая палата может только сберечь доходы страны, а хорошие мастерские могут удесятерить этот доход, удесятеряя, кроме того, сумму физических, умственных и нравственных сил работников и приготовляя, таким образом, с каждым годом большее увеличение богатства, образованности и всеобщего благоденствия. Не глупо рассуждают новые люди, а всего лучше то, что не в рассуждениях о высоких материях проходит их время. Постоянно имея в виду общую задачу всего человечества, они между тем уже разрешили ее в приложении к своей частной жизни. Им труд приятен, и для них он производителен; нет ни одного нового человека, у которого не было бы его любимого труда, и этот труд для него не забава, а действительно цель и смысл всей жизни. Новый человек без своего любимого труда так же не мыслим, как не мыслим труд без него. Прежние люди заботились о своем положении в обществе и прежде всего старались составить себе карьеру и состояние, хотя бы пути, ведущие к тому и другому, внушали им глубочайшее отвращение. Для нового человека необходимо прежде всего, чтобы труд был ему по душе и по силам. До тех пор пока он не найдет такого труда, он ищет его; нашел — и кончено дело: тогда он влюбляется в него, работает с увлечением страсти, наслаждается всеми радостями творчества и чувствует, что он на белом свете не лишний. И нет такого нового человека, который не нашел бы себе любимого дела, потому что вообще нет того здорового человека, который не был бы на что-нибудь способен. И когда все работники на земном шаре будут любить свое дело, тогда все будут новыми людьми, тогда не будет ни бедных, ни праздных, ни филантропов, тогда действительно потекут те «молочные реки в кисельных берегах», которыми «проницательные читатели» так победоносно поражают негодных мальчишек. — Это невозможно, — рычит один из проницательных. — Конечно, невозможно, но было время, когда и паровые машины были совершенно невозможны. Что было, то прошло, а чему быть, тому не миновать.

III

Опираясь на свой любимый труд, выгодный для них самих и полезный для других, новые люди устроивают свою жизнь так, что их личные интересы ни в чем не противоречат действительным интересам общества. Это вовсе не трудно устроить. Стоит только полюбить полезный труд, и тогда все, что отвлекает от этого труда, будет казаться неприятною помехою: чем больше вы будете предаваться вашему любимому полезному труду, тем лучше это будет для вас и тем лучше это будет для других. Если ваш труд обеспечивает вас и доставляет вам высокие наслаждения, то вам нет надобности обирать других людей; ни прямо, ни косвенно, ни посредством воровства-мошенничества, ни посредством такой эксплуатации, которая не признана уголовным преступлением. Когда вы трудитесь, то ваши интересы совпадают с интересами всех остальных трудящихся людей; вы сами — работник, и все работники — ваши естественные друзья, а все эксплуататоры — ваши естественные враги, потому что они в то же время враги всему человечеству, в том числе и себе самим. Если бы все люди трудились, то все были бы богаты и счастливы; но если бы все люди эксплуатировали своих ближних, не трудясь совсем, тогда эксплуататоры поели бы друг друга в одну неделю, и род человеческий исчез бы с лица земли. Поэтому кто любит труд, тот, действуя в свою пользу, действует в пользу всего человечества; кто любит труд, тот сознательно любит самого себя, тот в самом себе любил бы всех остальных людей; если бы только не было на свете таких господ, которые невольно или умышленно мешают всякому полезному труду.

Новые люди трудятся и желают своему труду простора и развития; в этом желании, составляющем глубочайшую потребность их организма, новые люди сходятся со всеми миллионами всех трудящихся людей земного шара, всех, кто сознательно или бессознательно молит бога и просит ближнего, чтобы не мешали ему трудиться и пользоваться плодами труда. Единство интересов порождает сочувствие, и новые люди горячо и сознательно сочувствуют всем действительным потребностям всех людей. Каждая человеческая страсть есть признак силы, ищущей себе приложения; смотря по тому, как эта сила будет приложена к делу, данная страсть будет называться добродетелью или пороком и будет приносить людям пользу или вред, выгоду или убыток. Силы и страсти, приложенные к эксплуатации ближнего, должны умеряться какими-нибудь нравственными мотивами, потому что иначе они подведут человека путем порока под уголовный суд; но силы и страсти, направленные на производительный труд, могут безвредно расти и развиваться до каких угодно размеров. Люди, живущие эксплуатацией, должны остерегаться исключительного эгоизма, потому что такой эгоизм лишает их всякого

человеческого образа и превращает их в цивилизованных людоедов, которые гораздо отвратительнее людоедов-дикарей. Но люди новые, живущие трудом и чувствующие физиологическое отвращение к самой гуманной и добродушной эксплуатации, могут без малейшей опасности быть эгоистами до последней степени. Эгоизм эксплуататора идет вразрез с интересами всех остальных людей; обогатить себя — для эксплуататора значит отнять у другого; эксплуататор принужден любить себя в ущерб всему остальному миру; поэтому, если он добродушен и богобоязлив, он старается любить себя умеренно, так, чтобы и себе было не обидно и другим *не слишком* больно, но такую умеренность выдержать очень трудно, и потому эксплуататор всегда пускает или слишком много эгоизма, так что начинает пожирать других, или слишком мало, так что сам становится жертвою чужого эгоистического аппетита. Так как на нашей прекрасной планете господствует повальная эксплуатация и в семействе, и в обществе, и в международных отношениях, то у нас принято испускать вопли против эгоизма, называть эгоистами отъявленных негодяев и, наоборот, обвинять в безнравственности таких людей, которые находятся только не на своем месте. Новые люди держатся вдали от всякой эксплуатации, без малейшего трепета и без всякого вреда для себя и для других погружаются в глубочайшую пучину эгоизма и не принимают на себя ни одного пятна несправедливости, исключительно потому, что умеют найти свое место и пристраститься к своему делу.

Если человек старого закала занимается медицинскою практикою, то его эгоизм выражается в том, что он старается сделать в день как можно больше визитов и приобрести как можно больше зелененьких и синеньких бумажек; он эксплуатирует своих пациентов, выслушивает их невнимательно, прописывает рецепты наудачу, бывает у таких больных, которые вовсе не больны, и делает все это исключительно по привязанности своей к синеньким и зелененьким. Такой человек, конечно, должен иногда укрощать свой эгоизм и от времени до времени читать самому себе довольно убедительные нравоучения. Новый человек занимается медициною не иначе, как по страстному влечению; для него дорог каждый час, потому что каждый час посвящается любимому изучению; для него деньги составляют только средство, которым он поддерживает свою жизнь, чтобы иметь возможность отдавать эту жизнь труду. Перед постелью больного он является мыслителем, разрешающим научный вопрос. Ему хочется не обобрать пациента, а вылечить его, потому что вылечить — значит разрешить задачу; пациенту также хочется, чтобы его не обобрали, а вылечили; таким образом, интересы медика и интересы больного сливаются между собою, и эксплуатации не существует; доктор нового закала может самым бессовестным образом предаваться своему эгоистическому влечению, и ему за это скажут спасибо и пациенты,

и их родственники, и общественное мнение всех сограждан. И этому доктору незачем пугать себя идеею долга, потому что между долгом и свободным влечением для него не существует различия. А все отчего? Все оттого, что найден любимый труд, оттого, что человек попал на свое место. Это условие необходимо. Без него очень трудно, а может быть, и совсем невозможно быть честным человеком вообще.

Мы видим таким образом, что в жизни новых людей не существует разногласия между влечением и нравственным долгом, между эгоизмом и человеколюбием; это очень важная особенность; это такая черта, которая позволяет им быть человеколюбивыми и честными по тому непосредственно сильному влечению природы, которое заставляет каждого человека заботиться о своем самосохранении и об удовлетворении физических потребностей своего организма. В их человеколюбии нет вынужденной искусственности; в их честности нет щепетильной мелочности; их хорошие влечения просты и здоровы, сильны и прекрасны, как непосредственные произведения богатой природы; да и сами они, эти новые люди, не что иное, как первые проявления богатой человеческой природы, отмывшей от себя часть той грязи, которая накопилась на ней во время вековых исторических страданий. Если общественное мнение не признает в этих людях простых, но честных представителей своей породы, если оно видит в них что-то особенное, что-то страшное и зловещее, то это значит только, что это так называемое общественное мнение потеряло всякое понятие о человеческом образе, забыло все его приметы, пугается при встрече с ним, как с чем-то незнакомым, и принимает за настоящих людей ту странную породу двуногих, которую Джонатан Свифт выводит в путешествии Гулливера под именем иагу (jahou) и которой глупость и злость так рельефно противополагаются уму и великодушию мыслящих и говорящих лошадей. Трудясь для самих себя, увлекаясь и наслаждаясь процессом труда, новые люди трудятся на пользу человечества, потому что каждый производительный труд полезен для людей. Сначала новые люди приносят пользу и делают добро бессознательно, но потом самый процесс приношения пользы и делания добра кладет начало нравственной связи между тем, кто приносит и делает, и теми, кому приносится и для кого делается. Эта связь крепнет по мере того, как работник нового закала приносит больше пользы и делает больше добра. Это уже старая истина, что нам свойственно любить тех, кому мы сделали или делаем добро, и эта старая истина на каждом шагу находит себе подтверждение. Гарибальди любит Италию сильнее, чем какой-нибудь другой итальянец, и наверное теперь старик Гарибальди, износивший свою жизнь в трудах и в изгнании, раненный при Аспромонте итальянскою пулею,[6] любит свою Италию еще сильнее, чем мог любить ее лет тридцать тому назад пламенный юноша Гарибальди; тогда он любил в ней

только родину; теперь он, кроме родины, любит в ней все свои подвиги, все свои страдания, всю блестящую вереницу своих чистых воспоминаний. Роберт Оуэн, «святой старик», как называет его Лопухов у г. Чернышевского, всю свою жизнь трудился для людей, и, конечно, под старость любовь его к людям была еще шире, еще теплее и во всяком случае гораздо более обильна сознательным прощением, чем была та же любовь в первые дни его молодости. Для таких людей, как Оуэн и Гарибальди, не существует старческой дряхлости; такие люди будут новыми людьми для всех веков и народов. Но явление, которое мы замечаем в их жизни, составляет общую принадлежность всех деятелей или мыслителей, отдавших свои силы любимому и полезному труду. В этих деятелях и мыслителях растет и крепнет любовь к людям по мере того, как они втягиваются в свой труд и проникаются сознанием его полезности; они становятся постоянно лучше и чище; они постоянно молодеют, вместо того чтобы дряхлеть и пошлеть; они процессом своего живого и разумного труда смывают с себя ту грязь, которою облепили их родители, которою обрызгала их школа и которую постоянно брызжет на них «тьма кромешная» окружающей жизни.

Люди прежнего времени были красивы и свежи в умственном отношении только тогда, когда были молоды; проходило лет десять, и вся эта красота и свежесть пропадала вместе с румянцем щек; являлась кропотливость и мелочность, копеечная расчетливость и куриная трусливость; петушок превращался в каплуна, блестящий студент делался отъявленнейшим филистером и «проницательнейшим» читателем. Все это было совершенно естественно, потому что прежние молодые люди только ярились и горячились, только красноречиво болтали и красиво разнеживались; забава молодости должна была пройти вместе с молодостью, потому что она была забавою. Кто в молодости не связал себя прочными связями с великим и прекрасным делом или по крайней мере с простым, но честным и полезным трудом, тот может считать свою молодость бесследно потерянною, как бы весело она ни прошла и сколько бы приятных воспоминаний она ни оставила. Забирайте с собою чувства молодости, после не подымете, — говорит Гоголь,[7] и правду он говорит. А как их заберешь с собою, если не вложишь их целиком в такое дело, на которое до последней минуты твоей жизни будет откликаться каждая фибра твоего существа. Кому удалось это сделать, о том нечего жалеть, если даже молодость его прошла в суровом труде, вдали от дорогих и близких людей, без наслаждений, без объятий любимой женщины. И дорогие люди, и наслаждения, и любимая женщина — все это, несомненно, очень хорошие вещи, но сам человек для самого себя дороже всего на свете. Если ценою труда и лишений, ценою потраченной молодости, ценою потерянной любви он купил себе

*

право глубоко и сознательно уважать самого себя, право унести с собою на край света и удержать за собою во всех испытаниях неизменную молодость и свежесть ума и чувства, то нельзя сказать, что он заплатил слишком дорого. Он отдал кусок жизни, чтобы по-человечески прожить всю жизнь, он лишился двух-трех радостей, но взамен их получил высшее наслаждение, которое служит украшением для жизни и поддержкою в минуту агонии; он получил право знать себе настоящую цену и видеть, что цена эта не мала.

Вот эгоизм новых людей, и этому эгоизму нет границ; ему они действительно приносят в жертву всех и все. Любят они себя до страсти, уважают до благоговения; но так как они даже в отношении к самим себе не могут быть слепыми и снисходительными, то им приходится держать ухо востро, чтобы удерживать за собою во всякую данную минуту свою любовь и свое уважение. Еще больше, чем своею любовью и своим уважением, они дорожат прямыми и откровенными отношениями своего анализирующего и контролирующего *я* к тому *я*, которое действует и распоряжается внешними условиями жизни. Если бы одно *я* не могло смотреть смело и решительно в глаза другому *я*, если бы одно *я* вздумало отвечать увертками и софизмами на запросы другого *я*, а другое *я* в это время осмелилось бы смотреть сквозь пальцы и удовлетворяться пустыми отговорками первого, то вслед за этим позорным сумбуром в душе нового человека забушевало бы такое отчаяние и родилось бы такое конвульсивное отвращение к своей опоганенной особишке, что он, наверное, наплевал бы себе в глаза и потом, исказнивши себя таким образом, кинулся бы головою вперед в самый глубокий омут. Новый человек знает очень хорошо, как он неумолим и безжалостен к самому себе; новый человек боится самого себя больше, чем кого бы то ни было; он — сила, и горе ему, если когда-нибудь его сила обратится против него самого. Если он сделает такую гадость, которая произведет в нем внутренний разлад, то он знает, что от этого разлада не будет другого лекарства, кроме самоубийства или сумасшествия. Мне кажется, что такая потребность самоуважения и такая боязнь собственного суда будут покрепче тех нравственных перил, которые отделяют людей старого закала от разных мерзостей, тех перил, через которые разные неделимые[8] обоего пола так свободно и изящно порхают туда и обратно, тех перил, за неимение которых новым людям приходится выслушивать такие утомительные наставления со стороны проницательных читателей, владеющих пером или одержимых слабостью к назидательному красноречию. Новые люди всеми преимуществами своего типа обязаны живительному влиянию любимого труда. Благодаря ему они могут быть полнейшими эгоистами; чем глубже становится их эгоизм, тем сильнее делается их любовь к человечеству, тем неизменнее и прочнее держится в новых людях их молодость и свежесть, тем шире рас-

крываются ум и чувство, тем более они дорожат своим собственным уважением, тем строже становится их верность самим себе, и вследствие всего этого тем ближе подходят они к всестороннему развитию своих сил и к безбрежной полноте своего счастия.

IV

Люди, живущие эксплуатацией ближних или присвоением чужого труда, находятся в постоянной наступательной войне со всем окружающим их миром. Для войны необходимо оружие, и таким оружием оказываются умственные способности. Ум эксплуататоров почти исключительно прилагается к тому, чтобы перехитрить соседа или распутать его интриги. Нанести поражение ближнему или отпарировать его ловкий удар — значит обнаружить силу своего оружия и свое умение распоряжаться им, или, говоря языком менее воинственным и более употребительным, значит выказать тонкий ум и обширную житейскую опытность. Ум заостряется и закаляется для борьбы, но всем известно по опыту, что чем лучше оружие приспособлено к военному делу, тем менее оно пригодно для мирных занятий. Студенты, при всем своем остроумии, могли приурочить свои шпаги только к мешанию в печке, да еще к варению жженки, но и эти две должности оружие войны и символ чести исполняет довольно плохо. То же самое можно сказать и об уме, воспитанном для междоусобных распрей. В нем развиваются очень сильно некоторые качества, совершенно ненужные и даже положительно вредные для успешного хода мирного мышления. Мелкая проницательность, мелкая подозрительность, умение и охота всматриваться очень внимательно в такие крошечные случаи вседневной жизни, которые вовсе не заслуживают изучения, умение и охота морочить себя и других софизмами, сшитыми на живую нитку, — вот те свойства, которыми обыкновенно отличается ум практического человека нашего времени. Ум этот непременно делается близоруким, потому что практический человек постоянно смотрит себе под ноги, чтобы не попасть в какую-нибудь западню. Мелких неудач он остерегается очень тщательно, и ему действительно часто случается избавляться от них благодаря своей мелочной осмотрительности, но зато над общим направлением своей жизни практический человек теряет всякий контроль; он бредет потихоньку и все смотрит себе под ноги, а потом вдруг оглядывается кругом и сам не знает, куда это его занесло. Обобщать факты он, благодаря типическим свойствам своего ума, решительно не умеет; отдавать себе отчет в общем положении вещей и придавать своим поступкам какой-нибудь общий смысл он также не в состоянии; события уносят его с собою, и величайшая мудрость его состоит в том, чтобы не противиться их течению, которого он все-таки не понимает.

Величайшими представителями этого типа практических людей и эксплуататоров можно назвать Меттерниха и Талейрана: никто не скажет, чтобы у этих господ не было природного ума, но всякий поймет также, что этот ум долговременною дрессировкою, начавшеюся с колыбели, был заострен и закален для самого одностороннего употребления, именно для того, чтобы морочить людей софизмами, не поддаваясь софизмам противоположного лагеря. Вся тайна призрачного могущества Меттерниха и Талейрана заключается в их гибкости и бесцветности, в их полном равнодушии к своим собственным софизмам и в их всегдашней готовности переходить от одного софизма к другому, совершенно противоположному. Они не имели над событиями никакой власти и не оказывали на них ни малейшего влияния, точно так же как флюгер только указывает на перемену ветра, а не производит ее. Никакая буря не могла разбить Талейрана, потому что в нем нечего было разбивать, — не было никакого твердого содержания. Если же Меттерниха разбила революция 1848 года, то это обстоятельство следует приписать исключительно наивности добрых немцев: они приняли вывеску принципа за самый принцип; вывеску сняли — они прокричали *«виват»* и, конечно, остались в дураках. Ум Меттерниха, Талейрана и всяких других эксплуататоров, мелких и крупных, отличается крайнею односторонностью; он только на то и годится, чтобы поражать других людей в сражении, то есть чтобы водить их за нос. Когда такие господа руководствуются расчетами своего ума, то можно сказать заранее, что эти расчеты заставят их сделать какую-нибудь гадость, потому что эти расчеты близоруки, а внушения узкого и близорукого эгоизма всегда подают повод к самым возмутительным несправедливостям.

Люди старого закала знают это очень хорошо, и потому они говорят, что ум должен управлять нашими поступками, когда мы сталкиваемся с посторонними людьми; когда же мы входим в свое семейство или вступаем в сношения с своими друзьями, то должны класть свое боевое оружие в ножны и действовать по внушению чувства, чтобы не изранить и не надуть по неосторожности людей, которых мы действительно и бескорыстно любим. У людей старого закала голос чувства и голос рассудка находятся в постоянном разладе, и потому они, во избежание дисгармонии, всегда заставляют молчать один из этих голосов, когда говорит другой. А из этого выходит естественное следствие, что в своих деловых сношениях они почти всегда бывают жестоки и несправедливы, а в своей домашней жизни — нелепы и бестолковы. Здоровые люди не должны раздваивать своего существа; каждый предмет, обращающий на себя их внимание, должен рассматриваться с разных сторон; впечатление, которое этот предмет производит на непосредственное чувство, так же важно, как то официальное впечатление, которое он оставляет по себе в нашем анализирующем уме. Если существует разноголосица между требо-

ваниями нашего чувства и суждением нашего ума, то эту разноголосицу надобно устранить: ум и чувство надо примирить; но примиряются они не тем, что мы скажем тому или другому — «молчать!» — а тем, что мы тщательно и спокойно сличим требования чувства с суждением ума, доищемся скрытых причин того и другого и, наконец, путем беспристрастного размышления дойдем до такого решения, которым одинаково удовлетворятся и ум и чувство. У людей, живущих присвоением, соглашение между умом и чувством невозможно; их чувство проявляется беспорядочными вспышками, которые имеют чисто физиологическое основание, а ум их не признает самых элементарных начал справедливости, потому что справедливость, то есть общая польза, находится в вечном разладе с мелкою, житейскою, личною выгодою. Спрашивается: есть ли какая-нибудь возможность помирить чувство, вытекающее из слабонервности и прекращающееся от приема лавровишневых капель, с расчетом, основанным на рублях и копейках и неспособным видеть за рублями и копейками ни законов природы, ни страданий живого человека? — Конечно, на это нет никакой возможности и ни малейшей необходимости. По-настоящему, надо было бы уничтожить и то и другое, то есть и бестолковую чувствительность и бестолковую скаредность; надо было бы возвратить изуродованному уму его первобытную способность к широкому мышлению, обобщающему разрозненные факты и постигающему связь между причинами и следствиями; надо было бы превратить людей старого закала в людей новых; но так как подобное превращение совершенно невозможно, то надо махнуть на них рукою: пускай их переходят от конторских книг к лавровишневым каплям, от страстных объятий к биржевой игре и от благонамеренного надувательства к добродетельному умилению перед закатом солнца.

Если я так долго останавливался на их уме и чувстве, то это дает мне возможность очень коротко охарактеризовать соответствующие особенности ума и чувства новых людей: у них ум и чувство находятся в постоянной гармонии, потому что их ум не превращен в орудие наступательной борьбы; их ум не употребляется на то, чтобы надувать других людей, и поэтому они сами могут всегда и во всем доверяться его приговорам; не привыкши мошенничать с соседями, их ум не мошенничает и с самим хозяином. Зато новые люди действительно питают к уму своему самое безграничное доверие. Это надо понимать не в том смысле, будто каждый из них считает себя умнейшим человеком на свете. Совсем нет. Каждый из них думает только, что каждый взрослый человек, одаренный самыми обыкновенными умственными способностями, может обсудить свое положение и свои поступки гораздо лучше и отчетливее, чем обсудил бы их за него, со стороны, величайший из гениальных мыслителей. Как бы ни было красиво и утешительно какое-нибудь миросозерцание, сколько бы веков

и народов ни считали его за непреложную истину, какие бы мировые гении ни преклонялись перед его убедительностью — самый скромный из новых людей примет его только в том случае, когда оно соответствует потребностям и складу его личного ума. У каждого нового человека есть свой внутренний мир, в котором личный ум господствует с неограниченным самовластием; в этот мир проникает только то, что пропускает личный ум, и только то, что по самой природе своей может признать над собою полное господство личного ума. Что не покоряется личному уму, о том новый человек говорит очень скромно: «Этого я не понимаю», а что остается непонятым, того новый человек не пускает во внутренний мир и тому он свидетельствует издали свое глубочайшее почтение, если того требуют внешние обстоятельства.

Когда ветхому человеку приходится вести с собственным умом откровенные беседы, то при этом высказываются довольно щекотливые истины. «Ведь я тебя, приятель, знаю, — говорит ветхий человек своему уму, — ведь ты подлец, каких мало. Ведь, если дать тебе волю, ты придумаешь такую кучу гадостей, что мне самому противно сделается, хоть я человек не брезгливый. Постой же, голубчик, я тебя вышколю». И затем начинается усовещивание ума и запугивание его посредством разных крайне почтенных понятий, которыми должны сдерживаться слишком художественные его стремления. Для нового человека так же невозможно производить над своим умом такие проделки, как невозможно для всякого человека вообще укусить свой собственный локоть. Во-первых, чем ты его запугаешь? А во-вторых, зачем запугивать? Нечем и незачем. Новый человек верит своему уму, и верит только ему одному; он вводит свой ум во все обстоятельства своей жизни, во все заветные уголки своего чувства, потому что нет той вещи и нет того чувства, которое его ум мог бы замарать или опошлить своим прикосновением. Когда ветхие люди влюбляются, они выдают своему уму бессрочный отпуск и благодаря его отсутствию делают разные глупости, которые очень часто превращаются в гадости вовсе не шуточного размера. Девушку или женщину заставляют сделать решительный шаг, а к этому времени возвращается из своей отлучки рассудок — и ветхий человек, испугавшись последствий своей невинной шутки, обращается в расчетливое бегство и потом оправдывается тем, что он сам себя не помнил, что был как сумасшедший. Ветхие люди только и делают, что грешат и каются, и неизвестно, когда они бывают подлее: когда грешат или когда каются.

Новые люди не грешат и не каются; они всегда размышляют и потому делают только ошибки в расчете, а потом исправляют эти ошибки и избегают их в последующих выкладках. У новых людей добро и истина, честность и знание, характер и ум оказываются тождественными понятиями; чем умнее новый человек, тем он честнее, потому что тем меньше ошибок вкрадывается

в расчеты. У нового человека нет причин для разлада между умом и чувством, потому что ум, направленный на любимый и полезный труд, всегда советует только то, что согласно с личною выгодою, совпадающею с истинными интересами человечества и, следовательно, с требованиями самой строгой справедливости и самого щекотливого нравственного чувства.

Основные особенности нового типа, о которых я говорил до сих пор, могут быть сформулированы в трех главных положениях, находящихся в самой тесной связи между собою.

I. Новые люди пристрастились к общеполезному труду.

II. Личная польза новых людей совпадает с общею пользою, и эгоизм их вмещает в себе самую широкую любовь к человечеству.

III. Ум новых людей находится в самой полной гармонии с их чувством, потому что ни ум, ни чувство их не искажены хроническою враждою против остальных людей.

А все это вместе может быть выражено еще короче: новыми людьми называются мыслящие работники, любящие свою работу. Значит, и злиться на них незачем.

V

Обозначенные мною особенности нового типа представляют только самые общие контуры, внутри которых открывается самый широкий простор всему бесконечному разнообразию индивидуальных стремлений, сил и темпераментов человеческой природы. Эти контуры тем и хороши, что они не урезывают ни одной оригинальной черты и не навязывают человеку ни одного обязательного свойства. В этих контурах уживется и насладится полным счастием каждый человек, если только он не испорчен до мозга костей произвольно придуманными аномалиями нашей неестественной жизни. Но так как эти контуры не могут дать читателю полного понятия о живых человеческих личностях, принадлежащих к новому типу, то я обращусь теперь к роману г. Чернышевского и возьму из него тот эпизод, в котором сосредоточивается главный его интерес. Я постараюсь проследить, как развивается в Вере Павловне любовь к другу ее мужа, Кирсанову, и как ведут себя в этом случае Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна.

Когда Вера Павловна тайком от родителей вышла замуж за Лопухова, то и муж и жена силою обстоятельств были принуждены работать пристально и усердно. Надо было спасаться от нужды; он занимался переводами и уроками; она также давала уроки; оба трудились добросовестно и мало-помалу ввели в свою жизнь комфорт и изящество. Когда им перестала угрожать нужда, Вера Павловна задумалась над устройством такой швейной мастерской, в которой был бы совершенно устранен элемент эксплуа-

тирования работниц. Задумалась и устроила. Много времени потребовалось на то, чтобы ознакомить работниц с новым порядком, много нужно было осторожности и искусства, чтобы не озадачить их новизною устройства и не оттолкнуть их от небывалого предприятия; однако Вере Павловне удалось победить все эти трудности, и года через два после своего основания мастерская доставляла всем швеям возможность иметь просторную и здоровую общую квартиру, сытный и вкусный стол, некоторые развлечения и частицу свободного времени для умственных занятий. Развитие и окончательное усовершенствование мастерской описаны г. Чернышевским очень ясно, подробно и с тою сознательною любовью, которую подобные учреждения естественным образом внушают ему как специалисту по части социальной науки.

В практическом отношении это описание мастерской, действительно существующей или идеальной — все равно, составляет, может быть, самое замечательное место во всем романе. Тут уже самые лютые ретрограды не сумеют найти ничего мечтательного и утопического, а между тем этой стороною своей роман «Что делать?» может произвести столько деятельного добра, сколько не произвели до сих пор все усилия наших художников и обличителей. Ввести плодотворную идею в роман и применить ее именно к такому делу, которое доступно силам женщины, — мысль как нельзя более счастливая. Если бы эта мысль заглохла без следа, то пришлось бы изумиться умственной вялости нашего общества — с одной стороны, и силе обстоятельств, задерживающих его развитие, — с другой. Но, отдавая должную справедливость этим свойствам нашей жизни, нельзя не сказать однако, что совершенно бесследно мысль эта могла пройти только разве между кретинами. Поэтому не одно честное сердце отозвалось на нее, не один свежий голос откликнулся на этот призыв к деятельности, обращенный к нашим женщинам. В этом отношении г. Чернышевский, разрушитель эстетики, оказался единственным нашим беллетристом, художественное произведение которого имело непосредственное влияние на наше общество, правда, на небольшую часть его, но зато на лучшую.

Главнейшие основания в устройстве мастерской Веры Павловны заключались в том, что прибыль делилась поровну между всеми работницами и потом расходовалась самым экономическим и расчетливым образом: вместо нескольких маленьких квартир нанималась одна большая; вместо того чтобы покупать съестные припасы по мелочам, их покупали оптом. Для личной жизни Веры Павловны устройство мастерской и прежние труды по урокам важны в том отношении, что они ограждают ее в глазах читателя от подозрения в умственной пустоте. Вера Павловна — женщина нового типа; время ее наполнено полезным и увлекательным трудом; стало быть, если в ней родится новое чувство, вытесняющее ее привязанность к Лопухову, то это чувство выражает собою

действительную потребность ее природы, а не случайную прихоть праздного ума и блуждающего воображения. Возможность этого нового чувства обусловливается очень тонким различием, существующим между характерами Лопухова и его жены. Это различие, разумеется, не производит между ними взаимного неудовольствия, но мешает им доставить друг другу полное семейное счастье, которого оба они имеют право требовать от жизни.

Гейне в своей книге о Бёрне [9] различает два главные типа людей: одни, страстно и упорно сосредоточивающие свои силы на одной обожаемой идее, причисляются к иудейскому типу; другие, раскидывающие свои силы во все стороны и везде отыскивающие себе наслаждения, составляют тип эллинский. Гейне замечает, что эти типы находят себе блестящее воплощение в тех двух народах, которым они обязаны своими названиями, но что, несмотря на то, они часто перекрещиваются между собою, так что коренной иудей оказывается эллином по характеру, а чистейший эллин — иудеем. Гейне самого себя причисляет к эллинскому типу, а своего строгого критика Бёрне считает чистым представителем типа иудейского. Оба типа встречаются всего чаще в смягченном и ослабленном виде и очень редко доходят до своего полного развития.

Разбирая характеры Лопухова и его жены, я могу сказать, что *он* был преимущественно иудей, а *она* склонялась к эллинскому типу. Она любит цветы и картины, любит покушать сливок, понежиться в теплой и мягкой постели, развлечься оперною музыкою; у него в кабинете нет ни цветов, ни картин; на стене висят только ее портрет и портрет «святого старика», Роберта Оуэна; он много работает, а веселится редко, и воодушевляется только тогда, когда заходит речь о его обожаемой идее, о той идее, с которою связаны имена Оуэна, Фурье и немногих других истинных друзей человечества. Эти внешние различия служат признаками более глубоких внутренних различий. Ей необходимо постоянное присутствие любимого человека, постоянно согревающее влияние его ласки и нежности, постоянное участие его в ее работах и в ее забавах, в ее серьезных размышлениях и в ее полуребяческих шалостях. В нем, напротив того, нет потребности в каждую данную минуту жить с нею одною жизнью, участвовать в каждой ее радости, делить поровну каждое впечатление. Он всегда поможет ей в минуту раздумья или огорчения; он подойдет к ней, если она позовет его в минуту веселья, но подойдет или по ее призыву, или потому, что без ее слов угадает ее желание; в нем самом нет внутреннего влечения к тем удовольствиям, которые любит она. Ему необходимо иногда уединяться и сосредоточиваться; он сам говорит о себе, что отдыхает только тогда, когда остается совершенно один. Стало быть, в семейной жизни Лопуховых непременно один из супругов должен был в угоду другому подавлять личную особенность своего характера. При таких

условиях полное счастие любви совершенно невозможно, тем более, что такие люди, как Лопуховы, превосходно понимают условия настоящего счастия и по высоте своей умственной организации и своего развития неизбежно оказываются очень требовательными в отношении всех процессов психической жизни. Когда к аккорду любви примешивается малейший фальшивый звук, соответствующий едва заметному стеснению одной из любящихся личностей, — тогда весь аккорд оказывается диссонансом, и диссонанс этот делается тем томительнее и тяжелее, чем выше и тоньше организация заинтересованных лиц. Когда умный и честный мужчина и умная и честная женщина стараются осчастливить друг друга, и не могут достигнуть этого, и видят бесплодность своих усилий, то оба становятся мучениками; чтобы выйти из этого страшно-драматического положения, им необходимо расстаться, как бы ни было велико их взаимное уважение и как бы ни была сильна связывающая их дружба.

Только на четвертый год своего замужества Вера Павловна начинает чувствовать, что какие-то потребности ее душевной жизни остаются неудовлетворенными; это смутное чувство неудовлетворения долго остается несознанным, потому что жизнь Веры Павловны в родительском доме была очень тяжела; вырвавшись, как она говорит, «из подвала», она рада была воздуху свободы, она была полна признательностию к своему освободителю, несмотря на то, что и она и освободитель ее совершенно справедливо считают признательность унизительным чувством, которое порабощает одного человека и оскорбляет другого. Четыре года разумной и свободной жизни развернули богатые способности Веры Павловны, изгладили тяжелые воспоминания о подвале и дали нашей героине возможность относиться совершенно непринужденно, без всякой примеси признательности к личности освободителя, который, конечно, сам был особенно рад тому, что пропала низкая признательность и явилось совершенно свободное уважение. Но уважение и привязанность Веры Павловны к своему доброму и умному мужу так сильны, что она приходит в совершенный ужас, когда в голову ее закрадывается сомнение в том, действительно ли она его любит и действительно ли она с ним счастлива.

Вера Павловна просыпается с этим восклицанием, и быстрее, чем сознала она, что видела только сон и что она проснулась, она уже вскочила, она бежит.

— Мой милый, обними меня, защити меня! Мне снился страшный сон! — Она жмется к мужу. — Мой милый, ласкай меня, будь нежен со мною, защити меня!

— Верочка, что с тобою? — Муж обнимает ее. — Ты вся дрожишь. — Муж целует ее. — У тебя на щеках слезы, у тебя холодный пот на лбу. Ты босая бежала по холодному полу, моя милая; я целую твои ножки, чтобы согреть их.

— Да, ласкай меня, спаси меня! Мне снился гадкий сон, мне снилось, что я не люблю тебя.

— Милая моя, кого же ты любишь, как не меня? Нет, это пустой, смешной сон!

— Да, я люблю тебя, только ласкай меня, целуй меня, — я тебя люблю, я тебя хочу любить.

Она крепко обнимает мужа, вся жмется к нему и, успокоенная его ласками, тихо засыпает, целуя его.

В это утро Дмитрий Сергеич (Лопухов) не идет звать жену пить чай: она здесь, прижавшись к нему; она еще спит; он смотрит на нее и думает: «Что это такое с ней, чем она была испугана, откуда этот сон?»

Новые люди никогда ничего не требуют от других; им самим необходима полная свобода чувств, мыслей и поступков, и потому они глубоко уважают эту свободу в других. Они принимают друг от друга только то, что дается, — не говорю: добровольно, — этого мало, но с радостью, с полным и живым наслаждением. Понятие жертвы и стеснения совершенно не имеет себе места в их миросозерцании. Они знают, что человек счастлив только тогда, когда его природа развивается в полной своей оригинальности и неприкосновенности; поэтому они никогда не позволяют себе вторгаться в чужую жизнь с личными требованиями или с навязчивым участием. Вера Павловна в приведенной сцене требует от мужа ласки и нежности, и он, разумеется, с радостию исполняет ее желания; но *требует* или просит она только потому, что не помнит себя от испуга; в нормальном положении она ничего не станет требовать; ей будет казаться, что муж ласкает ее не по собственному влечению, не для себя, а для нее, и когда появится эта мысль, тогда ей будет тяжело и, наконец, невозможно принимать те самые ласки, которые составляют, однако, потребность ее любящей природы. Лопухов понимает это и потому задумывается над ее сном и над происшедшею между ними сценою. Через месяц после страшного сна происходит следующая сцена, находящаяся в прямой связи с предыдущею.

— Верочка, милая моя, что ты задумчива?

Вера Павловна плачет и молчит.

— Нет, — она утерла слезы, — нет, не ласкай, мой милый! Довольно. Благодарю тебя! — и она так кротко и искренно смотрит на него. — Благодарю тебя, ты так добр ко мне.

— Добр, Верочка? Что это, как это?

— Добр, мой милый; ты добрый.

Теперь уже никакие силы, никакие старания не могут восстановить нарушенной гармонии любви. Когда женщина думает, что мужчина ласкает ее по своей доброте, вся ее законная гордость возмущается против этой обидной доброты, вся ее деликатность стремится оттолкнуть прочь эту жертву. Кто любит, тот непременно хочет, чтобы любовь доставляла равные наслаждения ему и другому. Где это условие не соблюдено, там мужчина и женщина могут быть друзьями, могут уважать друг друга, но любви между ними не может и не должно существовать, потому что

любовь была бы порабощением для одного из них и несчастием для обоих. Через два дня натянутость положения становится еще заметнее.

Муж сидит подле нее, обнял ее...

«Да, это не то, во мне нет того», — думает Лопухов.

«Какой он добрый, какая я неблагодарная!» — думает Вера Павловна.

Вот что они думают.

Она говорит:

— Мой милый, иди к себе, занимайся или отдохни, — и хочет сказать, и умеет сказать эти слова простым, не унылым тоном.

— Зачем же, Верочка, ты гонишь меня? мне и здесь хорошо, — и хочет, и умеет сказать эти слова простым, веселым тоном.

— Нет, иди, мой милый. Ты довольно делаешь для меня. Иди, отдохни.

Он целует ее, и она забывает свои мысли, ей опять так сладко и легко дышать.

— Благодарю тебя, мой милый, — говорит она.

То, что происходит между Лопуховым и его женою, не бросает ни малейшей тени ни на него, ни на нее. С их стороны не было даже ошибки в выборе, потому что обстоятельства доброго старого времени, окружавшие Веру Павловну в родительском доме, делали всякий свободный выбор, всякое колебание и даже всякое промедление совершенно невозможными. Ей надо было прежде всего вырваться из подвала; ему, как честному человеку, надо было прежде всего высвободить ее из невыносимого положения. Если бы при таких условиях они стали внимательно изучать друг друга да исследовать тончайшие особенности характеров, то их надо было бы назвать старыми тряпками, вроде Рудина, а никак не свежими людьми нового типа. Они видели друг в друге честных и умных людей, братьев по взгляду на жизнь; этого было совершенно достаточно для того, чтобы он смело протянул ей руку, и для того, чтобы она, не задумываясь, приняла предлагаемую опору. Этот образ действий был совершенно согласен с их характерами, и он сам по себе был безусловно хорош. Теперь из этого образа действий развиваются последствия, одинаково тягостные для Лопухова и для его жены. Ветхие люди не сумели бы справиться с этими последствиями; они стали бы обвинять и мучить друг друга, когда ни тот, ни другой ни в чем не виноваты; они стали бы действовать наперекор собственной своей природе, и, разумеется, из этих неестественных и неразумных усилий не вышло бы ничего, кроме бесплодного страдания; они с тупою покорностью склонили бы голову перед так называемым решением судьбы, между тем как в их собственных руках находились бы все средства завоевать себе полное и прочное счастие. Новые люди в подобных случаях поступают совершенно иначе; они спокойно и внимательно осматривают свое положение, убеждаются, что оно действительно тяжело, стараются переделать не природу, а обстоятельства и благодаря своим разумным усилиям всегда находят себе счастливый

выход из самых серьезных затруднений. Цельность природы, гармония между умом и чувством и постоянное присутствие духа должны непременно преодолевать такие препятствия, перед которыми ветхие люди останавливаются в недоумении и приходят в безвыходное отчаяние.

VI

Вера Павловна надеется снова найти себе счастие и спокойствие в серьезной и заботливой любви своего мужа, но Лопухов, как человек более опытный, понимает, что надеяться поздно. Ему тяжело отказываться от того, что он считал своим счастием, но он не ребенок и не старается поймать луну руками. Он видит, что причины разлада лежат очень глубоко, в самых основах обоих характеров, и потому он старается не о том, чтобы кое-как заглушить разлад, а, напротив, о том, чтобы радикально исправить беду, хотя бы ему пришлось совершенно отказаться от своих отношений к любимой женщине. Тут нет никакого сверхъестественного героизма; тут только ясный и верный расчет. Когда благоразумный человек ранен и когда пуля засела в его ране, он не говорит доктору: «Залечите мне рану», а говорит напротив того: «Углубите и расширьте рану, чтобы можно было вынуть пулю». Когда рану исследуют зондом, пациенту очень больно; но ему гораздо выгоднее перенести эту сильную боль, чем оставить в своем теле пулю и иметь в перспективе антонов огонь или что-нибудь в этом роде. Лопухов ясно понимает свое положение и потому постоянно действует так, как люди, не умеющие мыслить, действуют только во время редких и случайных припадков слепого героизма. Ему очень тяжело, но даже в это тяжелое время ему приходится испытать минуты такого глубокого наслаждения, о каком иной «проницательный читатель» во всю свою жизнь не составит себе даже приблизительного понятия.

— Позволишь ли ты мне (говорит он Вере Павловне) просить тебя, чтобы ты побольше рассказала мне об этом сне, который так напугал тебя?

— Мой милый, теперь я не думала о нем. И мне так тяжело вспоминать его.

— Но, Верочка, быть может, мне полезно будет знать его.

— Изволь, мой милый. Мне снилось, что я скучаю оттого, что не поехала в оперу, что я думаю о ней, о Бозио; ко мне пришла какая-то женщина, которую я сначала приняла за Бозио и которая все пряталась от меня; она заставила меня читать мой дневник; там было написано все только о том, как мы с тобою любим друг друга, а когда она дотрогивалась рукою до страниц, на них показывались новые слова, говорившие, что я не люблю тебя.

— Прости меня, мой друг, что я еще спрошу тебя: ты только видела во сне?

— Милый мой, если бы не только, разве я не сказала бы тебе? Ведь я это тогда же тебе сказала.

Это было сказано так нежно, так искренно, так просто, что Лопухов почувствовал в груди волнение теплоты и сладости, которого всю жизнь

не забудет тот, кому счастие дало испытать его. О, как жаль, что немногие, очень немногие мужья могут знать это чувство! Все радости счастливой любви ничто перед ним; оно навсегда наполняет чистейшим довольством, самою святою гордостью сердце человека.

В словах Веры Павловны, сказанных с некоторой грустью, слышался упрек; но ведь смысл этого упрека был: «друг мой, неужели ты не знаешь, что ты заслужил полное мое доверие? Жена должна скрывать от мужа тайные движения своего сердца: таковы уже те отношения, в которых они стоят друг к другу. Но ты, мой милый, держал себя так, что от тебя не нужно утаивать ничего, что мое сердце открыто перед тобою, как передо мною самой». Это великая заслуга в муже; эта великая награда покупается только высоким нравственным достоинством; и кто заслужил ее, тот вправе считать себя человеком безукоризненного благородства, тот смело может надеяться, что совесть его чиста и всегда будет чиста, что мужество никогда ни в чем не изменит ему, что во всех испытаниях, всяких, каких бы то ни было, он останется спокоен и тверд, что судьба почти не властна над миром его души, что с той поры, как он заслужил эту великую честь, до последней минуты жизни, каким бы ударам ни подвергался он, он будет счастлив сознанием своего человеческого достоинства. Мы теперь довольно знаем Лопухова, чтобы видеть, что он был человек не сентиментальный; но он был так тронут этими словами жены, что лицо его вспыхнуло.

— Верочка, друг мой, ты упрекнула меня, — его голос дрожал во второй раз в жизни и в последний раз; в первый раз голос его дрожал от сомнения в своем предположении, что он отгадал, теперь дрожал от радости: — ты упрекнула меня, но этот упрек мне дороже всех слов любви. Я оскорбил тебя своим вопросом; но как я счастлив, что мой дурной вопрос дал мне такой упрек. Посмотри, слезы на моих глазах, с детства первые слезы в моей жизни!

Он целый вечер не сводил с нее глаз, и ей ни разу не подумалось в этот вечер, что он делает над собою усилие, чтобы быть нежным, и этот вечер был одним из самых радостных в ее жизни, по крайней мере до сих пор.

Да, надо быть недюжинным человеком, чтобы приобрести полную доверенность другого человека, и надо быть еще более недюжинным человеком, чтобы, убедившись в существовании этой доверенности, так глубоко прочувствовать ту святую радость, которую испытал Лопухов. В этой радости нет ничего своекорыстного; на ней Лопухов не основывает никакой практической надежды; после разговора с женою он серьезнее прежнего задумывается над их общим положением, и задает себе не тот вопрос: «любит ли она его или нет?», а тот: «из какого отношения явилось в ней предчувствие, что она не любит его?» Психологическая задача, требующая от него разрешения, нисколько не изменяется в его глазах вследствие того упрека Веры Павловны, который возбудил в нем чувство гордой и мужественной радости; стало быть, радость его основана исключительно на том обстоятельстве, что ему всего дороже достоинство собственной личности; а кому это достоинство так дорого, кто способен так сильно радоваться, когда это достоинство встречает себе справедливую оценку со стороны любимых и уважаемых личностей, тот, разумеется, пройдет спокойно и твердо через всякие испытания, потому что никакие испытания не могут отнять или испортить у него то, чем он действительно дорожит больше всего на свете. Когда пустой и слабый человек слышит лестный отзыв насчет своих сомнительных

достоинств, он упивается своим тщеславием, зазнается и совсем теряет свою крошечную способность относиться критически к своим поступкам и к своей особе. Напротив того, человек с сильным умом и с твердою волею, получая себе заслуженную дань уважения, испытывает глубокую и вместе спокойную радость, которая удвоивает его бдительность над собою, его внимательность к чистоте своей личности и его непоколебимую решимость идти вперед по тому же неизменному пути правильного расчета.

В психологическом отношении чрезвычайно верно то обстоятельство, что Лопухов после разговора с Верою Павловною еще раз вдумывается в ее положение и, наконец, отыскивает из него выход. Радость освежила весь его организм и усилила деятельность его мысли; испытав эту радость, он и себя, и жену, и весь мир любит сильнее, чем за минуту перед тем; а когда вся душа человека потрясена приливом всеобъемлющей любви и переполнена чистейшим счастием самоуважения, в его мыслях нет места узкому своекорыстию; он разрешает затруднения быстро и бесстрашно, потому что в такие минуты он готов идти навстречу всяким страданиям, лишь бы только эти страдания навсегда упрочили за ним право считать себя честным человеком. Продумав часов до трех ночи, Лопухов убеждается, что у жены его возникает любовь к Кирсанову; анализируя характер Кирсанова, Лопухов замечает, что в этом характере есть свойства, которые необходимы для Веры Павловны и которых нет у него, Лопухова. Всматриваясь в поведение Кирсанова, Лопухов находит в нем такие факты, которые заставляют его думать, что Кирсанов давно уже любит Веру Павловну. Года три тому назад Кирсанов, постоянно бывавший в доме Лопуховых, вдруг отдалился от них, прикрывая свое отступление какими-то несостоятельными предлогами. Приглашенный недавно к Лопухову по случаю болезни последнего, он снова сблизился с ним и с его женою, но потом опять отшатнулся от их дома. Сближая все эти обстоятельства, Лопухов решает, что Кирсанов любит его жену и держится вдали от нее, чтобы каким-нибудь неосторожным словом или взглядом не нарушить спокойствие женщины, пользующейся, по его мнению, полным семейным счастьем. Перед Лопуховым лежат теперь две дороги. Во-первых, он может оставаться в положении строгого нейтралитета. Кирсанов не будет их посещать; зарождающееся чувство Веры Павловны заглохнет во время его отсутствия, и семейная жизнь Лопуховых пойдет своим обычным порядком. Во-вторых, он может своим вмешательством изменить ход событий. Он скажет Кирсанову, чтобы тот бывал у них попрежнему, чувство Веры Павловны разовьется, и жизнь ее наполнится радостями взаимной любви.

Проницательный читатель скажет, что пойти по второй дороге может только сумасброд, что это и глупо, и безнравственно, и черт знает на что похоже. Посудите сами, муж приглашает к себе

в дом человека, которого прочит в любовники к своей жене. Хорош муж, и хороша жена, и хорошо третье лицо! — Ну, когда ветхий человек или проницательный читатель облегчит свою переполненную грудь громкими возгласами и наговорит нам значительное количество жалких слов, я возьму на себя смелость заметить, что прямая обязанность Лопухова состояла в том, чтобы пойти по этой второй дороге, и что, кроме того, на ту же самую дорогу указывал ему прямой и ясный расчет. По расчету выходит так: Лопухов знает, что сам не может составить счастья своей жены, стало быть, их семейная жизнь будет тягостна для обоих, и, кроме того, рано или поздно может случиться, что Вера Павловна с горя влюбится в такого человека, который будет во всех отношениях хуже Кирсанова. Если же она полюбит Кирсанова, то тягостное положение будет разрушено к обоюдной выгоде Лопуховых, которые оба должны желать его прекращения. Конечно, было бы лучше, если бы Вера Павловна могла вполне удовлетвориться любовью своего мужа; но так как это, судя по данным характерам, невозможно, то об этом нечего и толковать. Требования честности в этом случае формулируются так: человек не имеет права отнимать счастье у другого человека ни своими поступками, ни словами, ни даже молчанием. Если от нескольких слов одного зависит счастье другого и если первый не произносит этих слов, то он крадет чужое счастье и этим поступком марает свою личность. Если он станет говорить в свое оправдание, что он ничего не делал, что он умывал руки и оставался нейтральным, то замарает себя еще сильнее, потому что такие жалкие софизмы каждому честному человеку покажутся достойными презрения. Лопухов мог бы пойти по первой дороге только в том случае, если бы надеялся удержать за собою нежность своей жены; есть действительно такие люди, которые надеются до последней минуты и поддерживают в себе эту надежду всякими правдами и неправдами, потому что у них недостает мужества взглянуть в лицо неприятной действительности; вследствие этого действительность всегда захватывает их врасплох, и события играют ими, как пешками; если Лопухов не принадлежал к породе этих слабодушных оптимистов, то, мне, кажется, это делает честь тонкости его ума и силе его характера. А если он не был оптимистом, то ему оставалось только ехать к Кирсанову. Он едет к нему на другой день после приведенной мною последней сцены с женою. Чтобы сделать такой решительный шаг, даже очень крепкому человеку необходимо собрать всю свою энергию; энергия Лопухова была возбуждена до крайних пределов тою радостью, которую причинил ему ласковый упрек Веры Павловны; процесс мысли был у него таков: когда мне так безусловно доверяют, надо действительно вполне оправдывать это доверие, и вот, находясь под свежим впечатлением обаятельного упрека, Лопухов начинает действовать. Кирсанов при первых, совершенно невинных словах своего друга вспыхивает и

обнаруживает самое лютое негодование; но Лопухов не только не унимается, а, напротив того, укрощает яростного Кирсанова и заставляет его поступать так, как он, Лопухов, того хочет. Эта цель достигается, конечно, не посредством аргументации, а посредством следующего простого и невинного предположения: положим, говорит Лопухов, что существует три человека, — предположение, не заключающее в себе ничего невозможного; предположим, что у одного из них есть тайна, которую он желал бы скрыть и от второго, и в особенности от третьего; предположим, что второй угадывает эту тайну первого и говорит ему: «делай то, о чем я прошу тебя, или я открою твою тайну третьему. Как ты думаешь об этом случае?» На аргументы Кирсанов не сдавался, но при этом предположении он кладет оружие. «Ты дурно поступаешь со мною, Дмитрий, — говорит он. — Я не могу не исполнить твоей просьбы. Но в свою очередь я налагаю на тебя одно условие. Я буду бывать у вас; но если я отправлюсь из твоего дома не один, то ты обязан сопровождать меня повсюду; и чтоб я не имел надобности звать тебя, слышишь? сам ты, без моего зова. Без тебя я никуда ни шагу — ни в оперу, ни к кому из знакомых, никуда». Лопухов понимает, что Кирсанов хочет непременно сблизить его с женою, и свидание невольных соперников по любви кончается тем, что они в первый раз в жизни обнимаются и целуются.

VII

Ту сцену, в которой Вера Павловна объявляет Лопухову, что любит Кирсанова, необходимо передать подлинными словами автора. Иначе невозможно изобразить ту удивительную теплоту и нежность чувства, которую обнаруживает при этом случае суровый человек нового типа, человек, закиданный со всех сторон бессмысленными обвинениями в черствости сердца и в узкой рассудочности. Тут дело идет не о романе, даже не о г. Чернышевском; тут надо отстоять от тупой или злонамеренной клеветы тот тип людей, который один может освежить жалкую рутину нашей бессмысленной жизни.

......проговорила: «Милый мой, я люблю его», и зарыдала.

— Что ж такое, моя милая? Чем же тут огорчаться тебе?

— Я не хочу обижать тебя, мой милый, я хочу любить тебя.

— Постарайся, посмотри. Если можешь, прекрасно. Успокойся, дай идти времени и увидишь, что можешь и чего не можешь. Ведь ты ко мне очень сильно расположена, как же ты можешь обидеть меня? — Он гладил ее волоса, целовал ее голову, пожимал ее руку. Она долго не могла остановиться от судорожных рыданий, но постепенно успокоилась. А он уже давно был приготовлен к этому признанию, потому и принял его хладнокровно, а впрочем, ведь ей не видно было его лица.

— Я не хочу с ним видеться, я скажу ему, чтобы он перестал бывать у нас, — говорила Вера Павловна.

— Как сама рассудишь, мой друг, как лучше для тебя, так и сделаешь. А когда ты успокоишься, мы посоветуемся. Ведь мы с тобою, что бы ни случилось, не можем не быть друзьями? Дай руку, пожми мою, видишь, как хорошо жмешь. — Каждое из этих слов говорилось после долгого промежутка, а промежутки были наполнены тем, что он гладил ее волоса, ласкал ее, как брат огорченную сестру. — Помнишь, мой друг, что ты мне сказала, когда мы стали жених и невеста? «Ты выпускаешь меня на волю». — Опять молчание и ласки. — Помнишь, как мы с тобой говорили в первый раз, что значит любить человека? Это значит радоваться тому, что хорошо для него, иметь удовольствие в том, чтобы делать все, что нужно, чтобы ему было лучше, так? — Опять молчание и ласки. — Что тебе лучше, то и меня радует. Но ты посмотришь, как тебе лучше. Зачем же огорчаться? Если с тобою нет беды, какая беда может быть со мною?

Я не хочу оскорблять читателя; я не хочу доказывать ему, что выписанная мною сцена дышит жизнью и правдою и что каждый умный и честный человек, поставленный в положение Лопухова, будет держать себя точно таким же образом; я не хочу доказывать ему, что в этой сцене нет ни капли идеализации и что нежность и мягкость чувства составляют естественную принадлежность неиспорченной человеческой природы. Все это читатель должен сам передумать и перечувствовать при чтении превосходных строк романа. А кто до этого не додумается и не дочувствуется, тому я объяснять не намерен. На той дороге, по которой идет Лопухов, нет возможности остановиться или поворотить назад. Когда, при его содействии, развилось и созрело чувство Веры Павловны к Кирсанову, ему, конечно, оставалось только содействовать этому чувству до конца и устранять все встречающиеся препятствия. Этого требовала от него самая простая логика, выразившаяся в известной пословице: «взявшись за гуж, не говори, что не дюж». Пока он не брался за гуж, пока он не вмешивался в поступки Кирсанова, до тех пор он мог выбирать тот или другой образ действий, и если бы он решился оставаться нейтральным, вместо того чтобы поступать активно, то мы могли бы только порицать его за ошибочность расчета, но не имели бы права относиться с презрением к его личности. Мы переменили бы к худшему наше мнение об уме Лопухова, но все нравственные достоинства, способные ужиться с дюжинным умом, остались бы при нем в полной неприкосновенности. После разговора своего с Кирсановым Лопухов перешел через Рубикон; он взял в свои руки счастье двух людей, и если бы после этого он оплошал в каком-нибудь отношении, то эта оплошность была бы грязною изменою, позорным банкротством в нравственном отношении. Может быть, это банкротство было бы не злостное, а только неосторожное, но это не оправдывало бы Лопухова. Кто позволяет себе быть неосторожным на чужой счет, тот не может считать себя честным человеком. Кто не испытал своих сил, кто не может на себя положиться, тот не имеет никакого права вмешиваться в судьбу другого лица.

Все это я говорю, чтобы доказать читателю, что в образе действий Лопухова не было таких проявлений героизма, которые воз-

вышались бы над уровнем простой честности, обязательной для каждого порядочного человека. Лопухов только развил в своих поступках тот ряд последствий, который совершенно логично и неизбежно вытекает из его первого решения, а логичность и последовательность поступков составляет, конечно, прямую и неотразимую обязанность каждого человека, способного распоряжаться своим головным мозгом. Я очень хорошо знаю, что большинство современных людей, считающих себя вполне порядочными, противоречат себе на каждом шагу в словах и в поступках. Человек, избегающий слишком явных противоречий самому себе, провозглашается в настоящее время чуть-чуть не гением по уму, и уж во всяком случае героем по характеру. Но это доказывает только, что у современных людей способность размышлять находится почти в совершенном бездействии. Головной мозг считается бесполезнейшею частью человеческого тела. Он растет и развивается по неизменным законам природы точно так, как растет и развивается на меже полынь и чернобыльник; на него льют и кидают всякие нечистоты; никто не обращает внимания на то, что ему вредно или полезно, и потому, конечно, он чахнет и искажается, так что здоровый и сильный мозг считается редким исключением и внушает к себе глубочайшее уважение. Хороша последовательность! Сначала дело ведется так, как будто бы надо было нарочно извратить все человеческие умы, а потом начинается благоговение перед теми немногими умами, которые по какому-нибудь случаю не успели извратиться. До сих пор люди всегда относились к массе своей породы с глубоким презрением и всегда были расположены ползать на коленях перед счастливыми исключениями, которые только потому были и остаются редкими исключениями, что масса не знала и не знает себе цены и безрассудно пренебрегала и пренебрегает своими естественными богатствами. Такие люди, как Лопухов, в настоящее время редки, но такие люди нисколько не выше обыкновенного человеческого роста. Каждый человек, не родившийся идиотом, может развить в себе мыслительную способность, может укрепить ее полезным трудом, может возвыситься до правильного и ясного понимания своих отношений к людям, и когда это будет исполнено, поступки Лопухова будут казаться ему совершенно простыми и естественными, и он будет спрашивать с искренним недоумением: да разве же можно было поступить иначе? Действительно, иначе поступить нельзя; кто в положении Лопухова сделает меньше, чем сделал Лопухов, тот перестанет быть честным человеком, а удержать за собою достоинство честного человека не значит еще совершить геройский подвиг.

Когда Лопухов заметил, что Вера Павловна худеет и бледнеет от напрасных усилий преодолеть свое чувство, он мягко и осторожно предложил ей отказаться от тяжелой борьбы; Вера Павловна разгневалась на него за это предложение, но потом через несколько времени объявила ему, что борьба становится для нее действительно

невыносимою; Лопухов почувствовал, что его присутствие может сделаться мучительным для Веры Павловны; он уехал на несколько недель; на его месте всякий порядочный человек поступил бы точно так же, потому что порядочному человеку чрезвычайно неприятно мучить своим присутствием кого бы то ни было. Возвратившись из своей непродолжительной отлучки, Лопухов увидел, что ему лучше было бы совсем не возвращаться; он понял — и понять было вовсе не трудно, — что его присутствие и даже его существование ставят между Кирсановым и Верою Павловною такую преграду, через которую, конечно, перешагнуть не очень трудно, но которую гораздо приятнее было бы совершенно устранить. Пока Лопухов перед обществом и перед законом сохраняет в отношении к Вере Павловне права мужа, до тех пор Кирсанов и Вера Павловна принуждены даже перед ближайшими знакомыми играть нелепейшую комедию, которая только утомляет актеров, не обманывая решительно никого. Самому Лопухову также предстоит мало удовольствия. В этой нелепейшей комедии ему приходится играть неблагодарную роль щита, подставного мужа и подставного отца. Самый узкий эгоист, в том смысле, как это слово понимается отсталыми рутинерами, — самый узкий эгоист, говорю я, поставленный на место Лопухова, пожелал бы, ради своего личного комфорта, развязаться с супружескими правами, потерявшими всякое фактическое значение. А развязаться можно или разводом, или смертью; но развод невозможен, потому что дело это затруднительно и хлопотливо и сопряжено с неприятною огласкою; стало быть, остается смерть: но, во-первых, всякому порядочному человеку жизнь так дорога, что он решится разбить ее только в случае самой крайней необходимости; во-вторых, самоубийство Лопухова было бы жестоким поступком в отношении к Кирсанову и к Вере Павловне; эта смерть отравила бы все их счастье и оставалась бы для них на всю жизнь кровавым упреком. Конечно, они тут ни в чем не были бы виноваты; но бывают такие происшествия, которые, поразив воображение людей, навсегда оставляют по себе болезненное воспоминание, похожее на упрек, и этого воспоминания не вытравит потом самый острый анализ. Очевидно, следовательно, что Лопухову всего расчетливее было бы поступить как-нибудь так, чтобы без ущерба для себя устранить препятствие, которое личность его представляла счастью других, и он решился умереть в глазах закона, ожить за границею под другим именем и объяснить потом Кирсанову и Вере Павловне, в каком смысле следует понимать его самоубийство.

Затруднительная задача разрешена, но разрешил ее не один Лопухов; ему принадлежала главная роль, но эту роль было бы невозможно выдержать до конца, если бы Вера Павловна и Кирсанов не были людьми нового типа. Чувства, мысли и, следовательно, поступки Лопухова были бы далеко не так просты, спо-

койны, последовательны и человечны, если бы он не имел возможности во всякую данную минуту уважать свою жену и своего друга. Если бы Вера Павловна не была безукоризненно честна в отношении к своему мужу, то у Лопухова не было бы постоянного и горячего желания купить для нее счастье какою бы то ни было ценою. Если бы Лопухов не был уверен, что его жена полюбила Кирсанова серьезною и прочною любовью, то ему было бы невозможно и с его стороны было бы нерассудительно действовать с такою энергиею. Стоит ли в самом деле поднимать тревогу ради того, чтобы удовлетворить половому капризу взбалмошной женщины, у которой через неделю может явиться новый каприз? Если бы Кирсанов не заслуживал полного доверия, то со стороны Лопухова было бы нелепо и бессовестно бросить к нему на шею свою жену. Если бы вообще эти три человека не были в состоянии во всякую минуту смело глядеть друг другу в глаза, доверчиво советоваться между собою о своем общем деле и полюбовно разрешать это дело общими силами, то между ними непременно появились бы те недоброжелательные чувства, которые называются в общежитии антипатиею, боязнью, подозрением, ревностью и которые все вытекают из недостатка доверия и уважения. Поэтому переложить историю Лопухова на те нравы, которыми удовлетворяется почти все наше современное общество, нет никакой возможности. Тот ряд поступков, который был со стороны Лопухова совершенно логичен и необходим в отношении к таким людям, как Вера Павловна и Кирсанов, становится нелепым и смешным, если мы на место Веры Павловны поставим пустую барыню с чувствительным сердцем, а на место Кирсанова столь же пустого вздыхателя с пламенными страстями. Лопухов не стал бы поступать нелепо и смешно. Он вовсе не похож на Дон-Кихота и всегда сумеет понять, что ветряная мельница — не исполин и что бараны — не рыцари. Новые люди только в отношениях между собою развертывают все силы своего характера и все способности своего ума; с людьми старого типа они держатся постоянно в оборонительном положении, потому что знают, как всякий честный поступок в испорченном обществе перетолковывается, искажается и превращается в пошлость, ведущую за собою вредные последствия. Только в чистой среде развертываются чистые чувства и живые идеи; давно уже было сказано, что не следует вливать вино новое в мехи старые, и эта мысль так же верна теперь, как была верна две тысячи лет тому назад. Весь образ действий Лопухова, начиная от его поездки к Кирсанову и кончая его подложным самоубийством, находит себе блестящее оправдание в том полном и разумном счастье, которое он создал для Веры Павловны и для Кирсанова. Любовь, как понимают ее люди нового типа, стоит того, чтобы для ее удовлетворения опрокидывались всякие препятствия.

— Верочка, — говорит Кирсанов своей жене через несколько лет после свадьбы: — что? хвалиться или не хвалиться мне перед тобою? Мы — один человек; но это должно в самом деле отражаться и в глазах. Моя мысль стала много сильнее. Когда я делаю выводы из наблюдений — общий обзор фактов, я теперь в час кончаю то, над чем прежде должен был думать несколько часов. И я могу теперь обнимать мыслью гораздо больше фактов, чем прежде, и выводы у меня выходят и шире и полнее. Если бы, Верочка, во мне был какой-нибудь зародыш гениальности, я с этим чувством стал бы великим гением. Если бы от природы была во мне сила создать что-нибудь маленькое новое в науке, я от этого чувства приобрел бы силу пересоздать науку. Но я родился быть только чернорабочим, темным, мелким тружеником, который разработывает мелкие частные вопросы. Таким я и был без тебя. Теперь ты знаешь, я уже не то: от меня начинают ждать больше, думают, что я переработаю целую большую отрасль науки, все учение об отправлениях нервной системы. И я чувствую, что исполню это ожидание. В 24 года у человека шире и смелее новизна взглядов, чем в 29 лет (потом говорится: в 30 лет, 32 года и так дальше); но тогда у меня не было этого в таком размере, как теперь. И я чувствую, что я все еще расту, когда без тебя я давно бы уж перестал расти. Да я уж и не рос последние два-три года перед тем, как мы стали жить вместе. Ты возвратила мне свежесть первой молодости, силу идти гораздо дальше того, на чем я остановился бы, на чем я уже и остановился было без тебя. А энергия работы, Верочка, разве мало значит? Страстное возбуждение сил вносится и в труд, когда вся жизнь так настроена. Ты знаешь, как действует на энергию умственного труда кофе, стакан вина; то, что дают они другим на час, за которым следует расслабление, соразмерное этому внешнему и мимолетному возбуждению, то имею я теперь постоянно в себе, — мои нервы сами так настроены постоянно, сильно, живо.

Надо стоять на довольно высокой степени развития не только для того, чтобы испытывать подобное чувство, а даже для того, чтобы понимать его возможность и верить в его действительное существование. Наша рутинная критика, конечно, не возвысится до этого понимания. Обвиняя г. Чернышевского в цинизме, она, кроме того, обвиняет его в идеализации и, таким образом, по свойственному ей остроумию, впадает в неразрешимое противоречие. Если г. Чернышевский — циник и если цинизм ставится ему в порок, то это значит, что он слишком мрачно смотрит на жизнь и оскорбляет таким взглядом человеческое достоинство. Если же он повинен в идеализации, значит, он слишком светло смотрит на жизнь и не замечает недостатков человека. Но нельзя же приписывать одному предмету два противоположные свойства; нельзя же обвинять писателя в двух пороках, которые взаимно исключают друг друга. Что-нибудь одно: или циник, или идеализатор. А если он и циник и идеализатор, то это значит, что он ни циник, ни идеализатор, а просто человек, глубоко уважающий человеческую природу и превосходно понимающий неисчерпаемое богатство ее физических и умственных сил. Когда этот человек говорит о том, что унижает и искажает человеческую природу, он приходит в негодование, и тогда его обвиняют в цинизме те люди, которые слишком близоруки и испорчены, чтобы замечать унижение и искажение. Когда этот человек говорит о тех редких явлениях, в которых выражается чистота и сила человеческой при-

роды, в его голосе слышатся радость и надежда, и тогда его обвиняют в идеализации те люди, которые, считая грязь за норму, видят в нормальных явлениях создания праздной фантазии. Что можно сказать этим обвинителям? Им можно сказать только, что они слепы и потому не понимают ни того, что стоит в уровень с ними, ни того, что стоит выше их.

В подтверждение моих слов о так называемом цинизме г. Чернышевского я приведу здесь самое резкое место его романа. «Сторешников (первый жених Веры Павловны) уже несколько недель занимался тем, что воображал себе Верочку в разных позах, и хотелось ему, чтобы эти картины осуществились. Оказалось, что она не осуществит их в звании любовницы, — ну, пусть осуществляет в звании жены; это все равно, главное дело не звание, а позы, то есть обладание. О, грязь, о, грязь! — «обладать» — кто смеет обладать человеком? Обладают халатом, туфлями. — Пустяки: почти каждый из нас, мужчин, обладает кем-нибудь из вас, наши сестры; опять пустяки: какие вы нам сестры? — вы наши лакейки! Иные из вас — многие — господствуют над нами,— это ничего: ведь и многие лакеи властвуют над своими барами». Очень резко, не правда ли? Но разве может быть иначе? Человек, понимающий любовь Кирсанова, может относиться мягко и снисходительно к любовным грезам Сторешникова только в том случае, если он допустит предположение, что Кирсанов и Сторешников — животные различных пород. А если он этого предположения не допустит, то ему, разумеется, будет обидно и досадно видеть поругание человеческой святыни, которая точно так же заключается в Сторешникове, как и в Кирсанове. А если обличители г. Чернышевского скажут, что Кирсановых совсем не бывает, то мы скажем на это: поживем, увидим. Будущее покажет нам, действительно ли существует новый тип, или его выдумали только в пику солидным людям негодные нигилисты.

VIII

Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна, являющиеся в романе «Что делать?» главными представителями нового типа, не делают ничего такого, что превышало бы обыкновенные человеческие силы. Они — люди обыкновенные, и такими людьми признает их сам автор; это обстоятельство чрезвычайно важно, и оно придает всему роману особенно глубокое значение. Если бы автор показал нам героев, одаренных от природы колоссальными силами, и если бы даже повествовательный талант его заставил нас поверить в существование таких героев, то все-таки их мысли, чувства и поступки не имели бы общечеловеческого интереса, и каждый читатель имел бы право сказать, что он не герой и что ему за редкими исключениями нечего и гоняться. Человеческая природа

вообще осталась бы попрежнему под гнетом тех несправедливых и нелепых обвинений, которые набросала на нее вековая рутина прошедшего, победоносно отстаивающая свое существование и доказывающая свою законность в настоящем. Конечно, этот гнет обвинений и предрассудков не снят с человеческой природы романом г. Чернышевского; никакое литературное произведение, как бы оно ни было глубоко задумано, не может выполнить такую задачу, которой разрешение связано с радикальным изменением всех основных условий жизни; но чрезвычайно важно уже то, что роман «Что делать?» является в этом отношении блестящею попыткою; этим романом г. Чернышевский говорит всем самодовольным филистерам, что они клевещут на человеческую природу, что они свою искусственную забитость и ограниченность принимают за нормальное явление, освященное естественными законами, что они ставят чрезвычайно низко уровень своих умственных и нравственных требований, что они своим тупым или корыстным самодовольством наносят всему человечеству значительный вред и тяжелое оскорбление.

Указывая на Лопухова, Кирсанова и Веру Павловну, г. Чернышевский говорит всем своим читателям: вот какими могут быть обыкновенные люди, и такими они должны быть, если хотят найти в жизни много счастья и наслаждения. Этим смыслом проникнут весь его роман, и доказательства, которыми он подкрепляет эту главную мысль, так неотразимо убедительны, что непременно должны подействовать на ту часть публики, которая вообще способна выслушивать и понимать какие-нибудь доказательства. «Будущее, — говорит г. Чернышевский, — светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести». Это светлое будущее, в которое так горячо верят лучшие люди, придет не для одних героев, не для тех только исключительных натур, которые одарены колоссальными силами; это будущее сделается настоящим именно тогда, когда все обыкновенные люди действительно почувствуют себя людьми и действительно начнут уважать свое человеческое достоинство. Кто старается пробудить уважение обыкновенных людей к их природе, возвысить уровень их требований, возбудить в них доверие к собственным силам и внушить им надежду на успех, тот посвящает свои силы великому и прекрасному делу разумной любви; в такой деятельности выражается живое стремление к будущему, потому что светлое будущее может быть достигнуто только тогда, когда много единичных сил будет потрачено на такую деятельность. Роман г. Чернышевского действует именно в этом направлении, между тем как вся осталь-

ная масса нашей беллетристики сама ходит ощупью и не действует ни в каком направлении.

Желая убедительнее доказать своим читателям, что Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна действительно люди обыкновенные, г. Чернышевский выводит на сцену титаническую фигуру Рахметова, которого он сам признает необыкновенным и называет «особенным человеком». Рахметов в действии романа не участвует, да ему в нем нечего и делать; такие люди, как Рахметов, только тогда и там бывают в своей сфере и на своем месте, когда и где они могут быть историческими деятелями; для них тесна и мелка самая богатая индивидуальная жизнь; их не удовлетворяет ни наука, ни семейное счастие; они любят всех людей, страдают от каждой совершающейся несправедливости, переживают в собственной душе великое горе миллионов и отдают на исцеление этого горя все, что могут отдать. При известных условиях развития эти люди обращаются в миссионеров и отправляются проповедовать евангелие дикарям различных частей света. При других условиях они успевают убедиться, что в образованнейших странах Европы есть такие дикари, которые глубиною своего невежества и тягостью своих страданий далеко превосходят готтентотов или папуасов. Тогда они остаются на родине и работают над тем, что их окружает. Как они работают и что выходит из их работ, — это объяснить довольно трудно, потому что работы их начались очень недавно, всего лет пятьдесят или семьдесят тому назад, и потому что окончательный результат этих работ, передающихся от одного поколения деятелей к другому, лежит еще далеко впереди. Видят они, что настоящее дурно, стараются, чтобы будущее было лучше, и прилагают к делу те средства, которые находятся под руками. Их не понимают, им мешают делать добро, и от этого их мирная работа принимает совершенно не свойственный ей характер ожесточения и борьбы. Им чаще всего приходится брать в руки школьную указку и объяснять взрослым детям и цивилизованным дикарям азбуку правильного понимания самых простых вещей. Эти люди, способные по уму и характеру обдумывать и разрешать на практике самые сложные задачи современной истории, обыкновенно бывают принуждены возиться с самою мелкою черною работою в течение всей своей жизни, и они не отворачиваются от черной работы, потому что главная потребность всего их существа состоит в том, чтобы делать что-нибудь для облегчения человеческого горя. Нельзя сделать все, так они будут делать что можно. На свое место, на котором они могли бы развернуть все свои способности, эти люди попадают чрезвычайно редко и всегда какими-нибудь эксцентрическими путями. Правильной карьеры эти люди не сделали себе с самого сотворения мира. Природа всегда отказывает им в канцелярской сметливости и во всяких других служебных дарованиях. Поэтому какой-нибудь Роберт Пиль мог быть первым министром Англии и прослыть благодетелем своего

народа, а другой Роберт, только не Пиль, а Оуэн, должен был непременно во время всей своей жизни терпеть притеснения от тупых мещан, а под старость прослыть помешанным. Поэтому граф Кавур мог считаться ангелом-хранителем Италии и возбудить своею смертью нескончаемые вопли в европейских журналах, поющих на голос «Times'а», * а Иосиф Гарибальди непременно должен был получить сначала рану при Аспромонте, а потом, вслед за раною, амнистию, которая была бы обиднее всякой раны, если бы прежде всего не была смешна до последней степени. Гарибальди и Оуэн все-таки выдвинулись из неизвестности, и деятельность их получила себе широкий простор; но первый из них мог выдвинуться потому, что для Италии наступило время политического обновления, а второй потому, что Англия, при всех недостатках своего общественного устройства, обеспечивает за своими гражданами значительную свободу действий. На одного выдвинувшегося Оуэна или Гарибальди приходится, наверное, по нескольку необыкновенных людей, которым на всю жизнь суждено оставаться полезными чернорабочими в деле служения человечеству.

К числу этих необыкновенных людей, обреченных на неизвестность, относится Рахметов. В то время, когда г. Чернышевский вводит его на короткое время в свой роман, ему 22 года. Он — потомок старинного рода и сын богатого помещика. Рахметов с 16 лет был студентом и на половине 17-го года проникнулся теми идеями, которые дали определенное направление всем богатым силам его молодой и любящей природы. Кирсанов, познакомившись с ним, отвечал на его тревожные вопросы и указал ему на некоторые книги. «Жадно слушал он Кирсанова в первый вечер, плакал, прерывал его слова восклицаниями проклятий тому, что должно погибнуть, благословений тому, что должно жить». Потом начал читать и читал, не отрываясь от книги, с 11 часов утра четверга до 9 часов вечера воскресенья; «первые две ночи не спал так, на третью выпил восемь стаканов крепчайшего кофе, до четвертой ночи не хватило сил ни с каким кофе, он повалился и проспал на полу часов 15». Через год после этого он оставил университет, «поехал в поместье, распорядился, победив сопротивление опекуна, заслужив анафему от братьев и достигнув того, что мужья запретили его сестрам произносить его имя, потом скитался по России разными манерами, и сухим путем, и водою, и пешком, и на расшивах, и на косных лодках». С земли, оставшейся у него после распоряжения по имению, он получал 3000 руб. дохода, но себе из этих денег брал только 400 рублей, а на остальные содержал семь человек стипендиатов, двоих в Казанском университете и пятерых в Московском. На половине 17-го года Рахметов начал развивать в себе физическую силу, занимался гимна-

---

* «Таймс». — *Ред.*

стикою, возил воду, таскал дрова, рубил дрова, пилил лес, тесал камни, копал землю, ковал железо, и при этом кормил себя почти исключительно полусырою говядиною. Наконец, во время странствований своих по России, он прошел бурлаком всю Волгу, от Дубовки до Рыбинска, и за свою непомерную силу получил от своих товарищей по лямке прозвище Никитушки Ломова, по имени одного силача, ходившего по Волге лет 20 тому назад и пользовавшегося между народом значительною известностью. Свою приобретенную силу Рахметов поддерживал, не щадя ни труда, ни времени; «так нужно, говорил: это дает уважение и любовь простых людей. Это полезно, может пригодиться». Во всем своем образе жизни Рахметов соблюдал крайнюю умеренность. «По целым неделям у него не бывало во рту куска сахару, по целым месяцам — никакого фрукта, ни куска телятины или пулярки». Обедая в гостях, он с удовольствием ел некоторые блюда, которых не позволял себе есть дома, но были такие кушанья, от которых он навсегда отказался. «Причина различения была основательная: «То, что ест, хотя по временам, простой народ, и я могу есть при случае. Того, что никогда не доступно простым людям, и я не должен есть. Это нужно мне для того, чтобы хотя несколько чувствовать, насколько стеснена их жизнь сравнительно с моею». «Он сказал себе: «Я не пью ни капли вина. Я не прикасаюсь к женщине», и объяснял следующим образом причину этого отречения: «Так нужно. Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью, мы должны своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности».

Это рассуждение Рахметова в логическом отношении никуда не годится. Если я доказываю, что людям необходимо полное наслаждение жизнью, то мне нет никакой надобности подрывать свои доказательства примером собственной жизни. Принимать самого себя за исключение и ставить себя выше человеческих потребностей и вне общих физиологических законов во всяком случае не рационально. Проповедуя против монашества, монах Лютер сам женился на монашенке, и его пример был самым убедительным подкреплением его проповеди. Вообще жизнь и учение человека должны всегда находиться в возможно полном согласии; аскет, проповедующий наслаждение жизнью, в своем роде явление такое же нелепое и безобразное, каким были средневековые папы, которые, пьянствуя, роскошничая и развратничая, проповедовали пост, нищету и истязание. Людям мешают наслаждаться или собственные их предрассудки, или внешние обстоятельства. Чтобы побеждать предрассудки, надо действовать убеждением и примером, стало быть, для борьбы с предрассудками личный аскетизм Рахметова может быть только вредным. Внешним же обстоятель-

ствам, очевидно, нет никакого дела до личных страстей или до принципов Рахметова; было бы наивно думать, что внешние обстоятельства проникнутся уважением к личному бескорыстию проповедника и, убедившись в собственной непригодности, стыдливо отойдут в сторону. Внешние обстоятельства, как слепые, стихийные силы, не поддаются ни на какие убеждения, как бы ни была высока и чиста личность убеждающего мыслителя. Впрочем, самый факт рахметовского аскетизма нисколько не представляется мне невозможным или сомнительным. Бывают натуры, в которых любовь к людям, сохраняя всю пылкость чувства, принимает непреклонность догмата, управляющего всеми мыслями и поступками человека. Чем меньше силы такого человека могут быть приложены к внешней плодотворной деятельности, тем больше эти силы обращаются внутрь, на самого деятеля, которого они тиранят без малейшей пощады и без всякой пользы. У деятеля сердце обливается кровью от того, что он почти ничего не может сделать для облегчения общих страданий, и он на самого себя изливает свою законную досаду. «А, говорит он себе, ты не можешь им помочь, не можешь? так вот же тебе! не помогаешь другим, так страдай же сам вместе с ними, страдай больше их!» И действительно наваливает он на себя груду ненужных тягостей и стеснений. Рахметов отказывается от какого-нибудь кушанья, чтобы чувствовать, насколько жизнь простых людей стеснена сравнительно с его жизнью. Ну кто ж этому поверит? Какой человек, знающий Рахметова, может подумать, что Рахметов когда-нибудь, во сне или наяву, забывает о нуждах и стеснениях простых людей? А если он их никогда не забывает, то зачем же ему напоминать себе о них ненужными лишениями? Причина одна — общая таким натурам потребность взимать на себя грехи мира, бичевать и распинать себя за все людские глупости и подлости.

Объяснить эту потребность я не умею, потому что ее испытывают и понимают только исключительные натуры; но сомневаться в действительном существовании этой потребности значило бы отрицать множество достовернейших исторических явлений. В общем движении событий бывают такие минуты, когда люди, подобные Рахметову, необходимы и незаменимы; минуты эти случаются редко и проходят быстро, так что их надо ловить на лету, и ими надо пользоваться как можно полнее. Я говорю о тех минутах, когда массы, поняв или по крайней мере полюбив какую-нибудь идею, воодушевляются ею до самозабвения и за нее бывают готовы идти в огонь и в воду; эти минуты редки, потому что массы вообще понимают туго и самыми ясными идеями проникаются чрезвычайно медленно; эти минуты коротки, потому что энтузиазм вообще испаряется скоро, как у отдельных людей, так и у целых народов; только в эти минуты массы способны сделать что-нибудь умное и хорошее; поэтому такими минутами надо поль-

зоваться. Те Рахметовы, которым удается увидать на своем веку такую минуту, развертывают при этом случае всю сумму своих колоссальных сил; они несут вперед знамя своей эпохи, и уже, конечно, никто не может поднять это знамя так высоко и нести его так долго и так мужественно, так смело и так неутомимо, как те люди, для которых девиз этого знамени давно заменил собою и родных, и друзей, и все личные привязанности, и все личные радости человеческой жизни. В эти минуты Рахметовы выпрямляются во весь рост, и этот колоссальный рост как раз соответствует величию событий; если бы в эти минуты могли выступить из толпы десятки новых Рахметовых, то все они нашли бы себе работу по силам; но их вообще мало, и, по недостатку в таких людях, все великие минуты в истории человечества до сих пор обманывали общие ожидания, приводили за собою горькое разочарование и сменялись вековою апатиею. В обыкновенное время, когда господствует невозмутимая рутина, когда тянутся скучные и томительно длинные исторические антракты, силам Рахметовых нет приложения; эти силы давят и гнетут своих обладателей, и те мелкие дела, к которым они прикладываются, только разжигают в этих людях стремление к полезной деятельности, не доставляя этому страстному стремлению ни малейшего удовлетворения. Вот чем занимается наш Рахметов: «Гимнастика, работа для упражнения силы, чтение — были личными занятиями Рахметова; но по его возвращении в Петербург они брали у него только четвертую долю его времени; остальное время он занимался чужими делами или ничьими в особенности. Постоянно соблюдая то же правило, как и в чтении: не тратить времени над второстепенными делами и с второстепенными людьми, заниматься только капитальными, от которых уже и без него изменяются второстепенные дела и руководимые люди». Эта деятельность была, может быть, очень обширна и важна по своим результатам, но что она не удовлетворяла Рахметова, это всего убедительнее доказывается всей его системой ригоризма, которая придумана без малейшей необходимости. Отдельные случаи, в которых проявляется его ригоризм, могли бы быть устранены без малейшего ущерба для его любимого дела. Он встречается с молодою вдовою, которая влюбляется в него; он также чувствует к ней симпатию. Между ними происходит объяснение, вызванное ею, в котором он говорит: «Я был с вами откровеннее, чем с другими; вы видите, что такие люди, как я, не имеют права связывать чью-нибудь судьбу с своею». — «Да, это правда, — сказала она, — вы не можете жениться. Но пока вам придется бросить меня, до тех пор любите меня». — «Нет, этого я не могу принять, — сказал он: — я должен подавить в себе любовь; любовь к вам связывала бы мне руки, они и так не скоро развяжутся у меня — уж связаны. Но развяжу. Я не должен любить».

Это уже ни с чем не сообразно или, вернее, сообразно только с непреодолимою потребностью самобичевания. Такие исторические деятели, которые каждый день рисковали головою, не отказывали себе в любви и не находили, чтобы любовь в каком-нибудь отношении связывала им руки. Даже те люди, которых наш русский Тацит, Смарагдов, давно заклеймил заслуженным названием чудовищ и злодеев, [10] даже они (по свойственному мне целомудрию я не называю их по имени), даже они были люди женатые или, еще того лучше, имели невест и мечтали об идиллиях, которым, конечно, никогда не суждено было осуществиться. И руки у них — ничего, не были связаны.

Потребность обижать себя доходит у Рахметова до того, что он буквально тиранит свое тело, под тем предлогом, что ему надо испытать, как велика его способность переносить физическую боль. «Спина и бока всего белья Рахметова (он был в одном белье) были облиты кровью; под кроватью была кровь; войлок, на котором он спал, также в крови; в войлоке были натыканы сотни мелких гвоздей шляпками с-исподи, остриями вверх; они высовывались из войлока чуть не на полвершка; Рахметов лежал на них всю ночь. — Что это такое, помилуйте, Рахметов? — с ужасом проговорил Кирсанов. — Проба. Нужно. Неправдоподобно, конечно; однако же на всякий случай нужно. Вижу, могу». Ну, а если бы он увидел, что не может, разве он переменил бы что-нибудь в своем образе жизни и в своей деятельности? Разумеется, нет. Скорее умер бы, чем переменил. Стало быть, какая же это проба? Очевидно, что все подобные выдумки происходят от избытка сил, не находящих себе достаточно широкого и полезного приложения.

Попытку г. Чернышевского представить читателям «особенного человека» можно назвать очень удачною. До него брался за это дело один Тургенев, но и то совершенно безуспешно. Тургенев хотел из Инсарова сделать человека, страстно преданного великой идее; но Инсаров, как известно, остался какою-то бледною выдумкою. Инсаров является героем романа; Рахметов даже не может быть назван действующим лицом, и, несмотря на то, Инсаров остается для нас совершенно неосязательным, между тем как Рахметов совершенно понятен даже по тем немногим выпискам, которые приведены в моей статье. Правда, мы не видим, что именно делает Рахметов, как не видели того, что делает Инсаров, но зато мы вполне понимаем, что за человек Рахметов, а рассматривая Инсарова, мы только до некоторой степени можем догадаться о том, каковы были намерения и желания автора. Я говорю это совсем не с тою целью, чтобы сравнивать г. Тургенева с г. Чернышевским и отдавать преимущество тому или другому из них. Я хочу выразить только ту мысль, что никакой художественный талант не может пополнить недостатка материалов; г. Тургенев не видал в нашей жизни ни одного живого явления, соответствую-

щего тем идеям, из которых построена фигура Инсарова; г. Чернышевский видел, напротив того, много таких явлений, которые очень вразумительно говорят о существовании нового типа и о деятельности особенных людей, подобных Рахметову. Если бы этих явлений не было, то фигура Рахметова была бы так же бледна, как фигура Инсарова. А если эти явления действительно существуют, то, может быть, светлое будущее совсем не так неизмеримо далеко от нас, как мы привыкли думать. Где появляются Рахметовы, там они разливают вокруг себя светлые идеи и пробуждают живые надежды.

ПОДРАСТАЮЩАЯ ГУМАННОСТЬ

(Сельские картины)

I

Последнее десятилетие нашей литературы было посвящено акклиматизированию европейского либерализма на обширных и холодных равнинах России, или, другими словами, прививанию гражданских доблестей и гуманных идей к девственным умам и сердцам наших возлюбленных соотечественников. Успех гуманизирующих операций превзошел самые смелые ожидания. Во всех наших городах и почти во всех наших селах уже томятся, изнывают, лепечут, грациозничают и миндальничают тысячи тщедушных субъектов, в которых все почтенные европейские либералы, от графа Росселя до Юлиана Шмидта, будут принуждены узнать своих младших братцев, еще робких и неопытных, но уже способных выводить тоненьким дискантом некоторые модуляции общелиберального мяуканья. Теперешняя робость и неопытность наших подрастающих либеральчиков не должна внушать ни малейших опасений за будущее процветание российского либерализма. Роль либерала так многосложна, труд его так утомителен, путь его усеян сплошь такими крупными и острыми терниями, что в одно десятилетие нет никакой возможности усвоить себе ту невозмутимую ясность взоров и ту безукоризненную солидность поведения, которыми непременно должен отличаться опытный либерал, созревший в великой школе балансирования, мистификаторства и самоуверенного переливания из пустого в порожнее. Главная обязанность либерала состоит, как известно, в том, чтобы всем выражением своей физиономии, всеми своими словами и всем внешним видом своих поступков заявлять постоянно и ежеминутно свою пламенную и безграничную преданность великим идеям и интересам, которые возбуждают в нем почти такие же чувства, какие персидская ромашка возбуждает в клопе. Все усилия либерала должны постоянно направляться к тому, чтобы все его поступки противоречили всем его словам и чтобы это про-

тиворечие оставалось постоянно совершенно незаметным для той бесхитростной сермяжной публики, которую следует ублажать и растрогивать либеральными представлениями. Если же противоречие сделается чересчур очевидным, то либерал должен тотчас объяснить с надлежащею торжественностью, что уважение его к великим принципам остается неизменным, но что обстоятельства места и времени, к сожалению, требуют себе довольно значительных уступок, из которых, однако же, для всей почтенной публики не произойдет ничего, кроме существенной пользы и великого удовольствия. Либерал должен постоянно стремиться и порываться вперед, не двигаясь с места и тщательно удерживая других людей от всего того, что становится похожим на действительное движение. Кто из либералов поумнее, тот проделывает все эти артикулы совершенно сознательно, зная очень хорошо, кого он надувает. Кто попроще — и таких несравненно больше — тот либеральничает чистосердечно, не замечая в своей особе и в своей доктрине никаких внутренних противоречий, рассуждая понаслышке, поступая по привычке и с детскою беспечностью глядя на то, что слова и поступки взаимно уничтожают друг друга и что знамя великих идей водружается над кучей сора.

Можете ли вы себе вообразить смиренную корову, украшенную хорошим кавалерийским седлом? — Я полагаю, что эта корова представила бы нам зрелище довольно комическое, но в то же время и печальное; затянутая подпруга сильно угнетала бы ее коровью натуру и приводила бы ее в такое крайнее смущение, которое, конечно, выражалось бы во всей ее огорченной наружности; глядя на такую обиженную корову, каждый добродушный человек должен был бы сжалиться над ее несчастием и снять с ее спины совершенно несвойственное ей украшение. Но представьте себе, для усиления комизма и для уничтожения плачевности, что в оседланную корову вселился бес гордости и самодовольства; представьте себе, что она, жестоко перетянутая подпругою, желает изумить и очаровать вас тонкостью своей коровьей талии и легкостью своей коровьей походки; представьте себе, что она подражает манерам кровного английского скакуна, старается принять молодцеватый вид и бравурную осанку, раздувает ноздри, поднимает хвост колом и пробует пуститься с правой ноги галопом. Представьте себе такую картину, и вы получите некоторое слабое понятие о том неистощимом комизме, которым переполнены все слова, движения и поступки добродетельного либерала, самодовольно навесившего на себя то, что давит и гнетет его и что на каждом шагу произносит строжайший приговор над самыми неистребимыми поползновениями его мелкой душонки. Этот уморительный тип добродетельного либерала, или оседланной коровы, разобран с замечательным успехом в повести г. Слепцова «Трудное время», в которой мучеником либерализма является юный и просвещенный помещик, Александр

Васильевич Щетинин. Об этом господине Щетинине, изнывающем под тяжестью собственной гуманности, я и поведу теперь разговор с читателями.

II

Щетинин живет в своем имении и старается уверить себя и других в том, что он занимается хозяйством, гуманизирует сельских обывателей, интересуется европейскою политикою и следит очень внимательно за развитием научной агрономии. Занятия хозяйством заключаются в том, что Щетинин по вечерам беседует с своим приказчиком, который из этих конференций выносит, по всей вероятности, то утешительное убеждение, что надувать и обирать молодых агрономов очень сподручно и совершенно безопасно. Гуманизирование земледельцев производится посредством тщательного взимания установленных штрафов за потравы; это взыскивание четвертаков и полтинников клонится вовсе не к тому, чтобы вознаградить помещика, а собственно и единственно к тому, чтобы воспитать в земледельцах уважение к принципу собственности, чтобы развить в них чувство законности, чтобы вложить в грубые умы понимание человеческих прав и обязанностей и чтобы, наконец, сделать человека царем окружающей его зоологической природы, то есть чтобы вооружить земледельца хворостиною, при содействии которой он развивал бы чувство законности и подавлял бы коммунистические инстинкты во всех деревенских коровах, телятах, баранах и свиньях. Поглощенный великим житейским делом народного воспитания, Щетинин, конечно, не может уже посвящать много времени политике и теоретической агрономии; поэтому и не мудрено, что книжки ученых журналов лежат неразрезанные и что пачки русских и иностранных газет остаются нераспечатанными. Орошая потом лица своего обширную и еще нетронутую ниву русских народных сил, Щетинин принужден отказывать себе даже в тех скромных умственных наслаждениях, которые для образованного человека составляют насущную потребность. Понятно, что, при таких условиях, неразрезанность журналов и нераспечатанность газет должны быть вменены Щетинину в особенно высокую патриотическую заслугу.

У нашего гуманизатора есть жена, Марья Николаевна, женщина молодая, честная, горячая и энергическая, принявшая за чистую монету либеральные разговоры доблестного супруга и постоянно ожидающая, во все время своего трехлетнего замужества, что вот-вот начнется какая-то не совсем известная ей, но великая и святая работа, которой все честные люди с наслаждением отдадут весь свой ум, всю свою волю, всю свою жизнь. Но время идет, Щетинин занимается потравами, и Марья Николаевна начинает недоумевать. Ей представляется, что благосо-

стояние всех русских людей вообще и сельских обывателей в особенности еще не бог знает как далеко подвинется вперед, если даже труды Щетинина утвердят господство мужицких хворостин над всеми деревенскими телятами. Ей кажется, что в этой работе очень мало великого и святого и что не такими подвигами наполняется жизнь тех людей, которые действительно умели понять всю тяжесть долга, лежащего на них в отношении к их бедному и невежественному народу. В то время, когда Марья Николаевна недоумевает и тревожится, к Щетинину приезжает на лето его товарищ по университету, Рязанов, один из блестящих представителей моего возлюбленного базаровского типа. Появление этого нового лица ускоряет неизбежную развязку. Прислушиваясь к разговорам Рязанова с Щетининым, Марья Николаевна начинает смотреть на своего мужа совершенно трезвыми глазами и отдавать должную дань презрения его игрушечному либерализму. Добродетельное собирание четвертаков и полтинников становится для нее невыносимым, и она решается уехать от мужа, чтобы устроить себе полезную и разумную жизнь. Для тех проницательных читателей, которые пустятся в лукавые соображения, я замечу тотчас же, что она уезжает не с Рязановым, а одна, и уезжает вовсе не за тем, чтобы предаваться удовольствиям взаимной любви. Повесть г. Слепцова оканчивается тем, что Рязанов и Марья Николаевна холодно прощаются между собою в доме Щетинина, который, внезапно очутившись на развалинах своего семейного счастия, начинает мечтать о наживании капитала и о расходовании его на пользу человечества, словом, перекладывает маниловские фантазии на язык современного образованного общества. — Как видите, между тремя главными действующими лицами повести разыгралась простая, но мучительная драма, тем более интересная и замечательная, что ее составные элементы — грошовый либерализм, беспощадный анализ и неподкупная честность — находятся уже теперь во многих русских семействах. Не вдаваясь в подробный разбор замечательной повести г. Слепцова, я постараюсь бросить беглый взгляд на основную причину разыгравшейся драмы.

При первом же свидании Щетинина с Рязановым читателю становится заметно, что Щетинин боится Рязанова и совершенно безуспешно старается держать себя с ним развязно и самостоятельно. Читатель тотчас усматривает также и причины щетининской трусливости. Щетинин во всех отношениях чистейший нуль, существо безличное, бесцветное, бесформенное, не способное ни любить, ни верить, ни сомневаться, ни знать, ни мыслить, ни действовать, а способное только вяло и бесстрастно повиноваться, по силе инерции, данному толчку. Щетинину, как и всякому другому нулю, вовсе не хочется признать себя нулем; он старается заглушить в себе мучительное ощущение собственного ничтожества; он усиливается втянуть себя в мысли, в чувства и в стремления; не имея ни к чему определенных влечений, он кидается на

все, что его окружает, и обнаруживает очень много внешней подвижности и суетливости именно потому, что все идеи и все отрасли деятельности для него совершенно одинаковы; подвижность и суетливость его находятся в тесной связи с его вялостью и бесстрастностью; он суетится потому, что надо себя обманывать; а потребность обманывать себя происходит от того, что во всем его существе господствуют пустота и холод, которые его самого привели бы в ужас, если бы он осмелился заглянуть в самого себя спокойным и внимательным взглядом. Будь у него какие-нибудь страсти, он полюбил бы тот или другой строй понятий, и тогда он потерял бы возможность суетиться и разыгрывать роль услужливого казачка перед каждою новою вариациею жизни или мысли. Щетинин принадлежит к числу тех людей, которые никогда не могут быть искренни, потому что у них нет ничего такого, что они могли бы назвать своею умственною или нравственною собственностью; их мысли, их чувства, их желания — все это прицеплено, пришито и приклеено к ним; при случае старый слой этой драпировки покрывается новым слоем, и это наклеивание и нашивание производится ими так давно, с такой ранней юности, что они уж и сами не знают и не спрашивают, есть ли у них что-нибудь свое под грудою истлевших лохмотьев. Но что верхний слой драпировки, тот слой, которым они парадируют, составляет для них постороннюю массу, вовсе не приросшую к их телу, это они сами чувствуют, и это ощущение отравляет все их существование. Представьте же себе теперь, какое множество кошек скребут их сердце, когда они встречаются с такими людьми, которые сами, со всеми своими чувствами и убеждениями, вылиты как будто из одного куска металла и которые вследствие этого с первого взгляда замечают в других людях каждую малейшую искусственность или придуманность. — Рязанов видит насквозь Щетинина и понимает его так, как сам Щетинин себя понять не может. Щетинин об этом догадывается, хотя, впрочем, и не может себе представить, до каких размеров простирается понимание его товарища, и хотя вряд ли даже считает возможным, чтобы его, Щетинина, кто-нибудь умел созерцать в том совершенно мизерном и голеньком виде, в каком он представляется Рязанову. Но уже и неопределенных догадок Щетинина достаточно для того, чтобы вогнать его в лихорадочное состояние, при котором он и говорит, и ходит, и смеется совершенно неестественным образом, как будто бы все это делается у него совсем не по собственному желанию, а по какому-то постороннему заказу. Рязанов все это видит и, с неумолимостью искреннего и цельного человека, разными хладнокровными репликами и замечаниями на каждом шагу дает чувствовать своему собеседнику, что все его слова и движения не клонятся ни к чему и появляются на свет неизвестно зачем. Так, например, Щетинин, после первых объятий, начинает упрекать Рязанова в том, что тот не писал к нему. Рязанов очень хорошо

понимает, что эти упреки делаются для разговорца и что Щетинину на самом деле вовсе даже и не хотелось получать от него писем. Поэтому на кисло-сладко-любезный вопрос: «и не стыдно?» Рязанов отвечает: «Нет, брат, не стыдно. Да что толку писать? Нынче эту манеру бросают совсем». Щетинин пробует из дружески-сентиментального тона перейти в дружески-шутливый и снова берет такую ноту, в которой звучит фальшь и пустота. «Эх ты! — говорит он, — а еще сочинитель называешься». Шутка натянута и поэтому никуда не годится. Рязанов тотчас и обнаруживает эту натянутость. «Так что ж, что сочинитель? Что ж мне для тебя письма, что ли, сочинять?» Щетинин желает поправиться и продолжает говорить ненужные слова, которых ненужность немедленно разоблачается. Наконец, в крайнем смущении, он объявляет, что путается в словах от радости, причиненной ему свиданием. И, разумеется, врет, потому что на самом деле он почти совсем не рад, и во всем его поведении нет ничего, кроме условных знаков радости, изображаемой неизвестно для чего. Если бы на месте Рязанова был другой Щетинин, то, услышав известие о причине путаницы и зная наверное ложность этого показания, этот другой Щетинин все-таки счел бы своею обязанностью прижать чувствительного друга к груди своей или по крайней мере крепко стиснуть его руку и взглянуть на него сладостными глазами. Но Рязанов, как бесчувственный скот, только ворочается на диване и на просьбу друга извинить его радостное замешательство отвечает спокойно: «Ничего. Это даже хорошо, что ты путаешься». — То есть: галопируй, корова, на тебя смотреть забавно. — Можно сказать наверное, что в эту минуту в душе радующегося Щетинина проползло что-то похожее на ненависть к тому другу, который посмотрел с таким убийственным спокойствием на рассыпанные перлы его поддельных чувств. Он задумался, потом, сказавши несколько загадочных плоскостей, начал ходить по комнате и, наконец, пустил новую демонстрацию нежности: «нет, ведь я тебе рад, очень рад!» — точно будто бы ему приходилось отвечать внутреннему голосу, который говорил ему: ты совсем не рад. Но, чтобы перлы дружеские не остались не подобранными и на этот раз, Щетинин торопится насильно всунуть их в руки Рязанова. Производится крепкое пожатие рязановской руки, и Щетинин становится спокойнее, потому что таким образом нежная демонстрация получает по крайней мере внешний вид приличной обоюдности.

III

Если Щетинин очень мил, когда рассуждает о приятностях погоды и дружелюбия, то, без сомнения, он становится вдесятеро милее, когда заводит речь о предметах возвышенных и мудреных. Рязанов спрашивает у него мимоходом: «а дети есть у тебя?»

Вопрос, кажется, очень невинный, но Щетинин находит удобным распространиться по этому поводу насчет родительских обязанностей. Оказывается, что обзаводиться детьми позволительно только тогда, когда для них кое-что заготовлено. Рязанов этого мнения нисколько не оспаривает и спрашивает очень добродушно: «успешно ли идет заготовка?» Щетинин, чувствующий в присутствии Рязанова хроническое смущение, сначала замечает, что нельзя не копить, а вслед за тем начинает в чем-то оправдываться: «Понимаю, понимаю, — говорит он, — да только вовсе я не такой человек, как ты думаешь». — Хотя Рязанов ни одним своим словом не выразил того, что считает Щетинина за какого-то особенного человека, однако он ему не противоречит и даже изъявляет полное согласие выслушать от самого Щетинина, какой же он именно человек. Щетинин приступает к делу очень храбро. «А вот я какой человек... Я человек...» Но тем все объяснение и кончается. «Да нет, — продолжает Щетинин гораздо скромнее, — я не могу о себе говорить. Черт знает, я как-то не умею». Рязанов молчит. Тогда Щетинин вызывается рассказать ему, что он делал в деревне. Рязанов на все согласен. Рассказ оказывается очень несложным. Все дело в том, что Щетинин подарил крестьянам землю, которою они владели, а крестьяне, подозревая в этом подвиге братолюбия какую-нибудь военную хитрость, не хотели брать подарок, но потом, склонившись на увещания посредника, взяли землю и подписали уставную грамоту. Слушая этот трогательный рассказ, Рязанов по-настоящему должен был бы умилиться над бескорыстием и великодушием своего либерального друга. Но Рязанов, к удивлению чувствительного читателя, выслушал все повествование с невозмутимым хладнокровием и потом произнес следующие убийственные слова: «Ну, таким манером, стало быть, ты совершил в пределе земном все земное?» — Я называю эти слова убийственными, потому что в них заключается для Щетинина и для всех подобных ему оседланных коров вообще страшная правда. Самое лучшее, что могут сделать эти люди, имеет чисто отрицательное значение и состоит в том, что они отказываются от права парализировать чужую деятельность и отравлять лишними заботами чужое существование. Отнявши у себя возможность вредить другим или по крайней мере ослабив эту возможность, эти люди действительно могут умереть совершенно спокойно, не огорчая и не волнуя себя тою мучительною мыслью, что они оставляют на земле какое-нибудь недовершенное дело, что жизнь их еще нужна их согражданам и что смерть их причинит обществу какой-нибудь, хотя бы даже микроскопический убыток. Обеспечив за своими крестьянами средства питаться, при самом напряженном труде, черным хлебом, луком и квасом, Щетинин действительно совершил в пределе земном все земное. Но, к счастию для самого себя, Щетинин не способен понять, какое глубокое значение заключается в словах Рязанова; вслед-

ствие этого Щетинин принимает эти слова за одну из обыкновенных шутливых выходок Рязанова и отвечает очень весело: «Какое? Нет, брат, это еще только начало». — Рязанов с очень естественною недоверчивостью спрашивает: «а еще-то что же?» — потому что действительно, что же еще может сделать Щетинин, когда земля уже подарена? — Оказывается, что *тут-то вот и начинается настоящее дело*, — и притом какое дело! — «*Социальное, любезный друг, социальное*». — Услышав от своего либерального друга такое мудреное слово, Рязанов уже прямо начинает над ним смеяться, так точно, как засмеялся бы над Хлестаковым обитатель Петербурга, которому случилось бы присутствовать при рассказе о балах и обедах испанского посланника. «Ничего я противозаконного не затеваю, — продолжает Щетинин, — никаких я теорий не провожу, я делаю только то, что всякий из нас обязан делать». Приступ очень недурен. Во-первых, выражено полное уважение к закону; во-вторых, заявлено столь же полное недоверие к неосновательным теориям; в-третьих, обнаружено сознание гражданских обязанностей, лежащих на каждом из нас. Словом, все было бы превосходно, если бы только Щетинин сумел повести эту речь дальше, приставляя один округленный период к другому и тщательно наблюдая за тем, чтобы во всех этих периодах не выразилось ни одной сколько-нибудь определенной идеи. Но я уже заметил в самом начале этой статьи, что в одно десятилетие невозможно сформировать таких либералов, которые были бы посвящены во все тайны европейского шарлатанства. Кроме того, надо принять в соображение, что Рязанов не такая публика, перед которою было бы особенно удобно изливать чувствительные фразы, не заключающие в себе осязательного смысла. Сознавая свое печальное положение, Щетинин умолкает и с горя начинает царапать клеенку на диване, — чего никогда не делал покойник Пальмерстон и чего не делают в настоящее время ни Россель, ни Гладстон, когда им приходится говорить публично о красотах английской конституции и о непомерном благосостоянии английского пролетария. — Хотя Щетинину еще далеко до великих западных образцов, однако же и он не сразу признает себя побежденным и делает еще несколько попыток озадачить Рязанова балами и обедами испанского посланника. «Прежде всего, — говорит он, — ты должен согласиться с тем, что всякое общественное дело тогда только может быть прочно, когда оно основано на чисто народных началах». — Рязанов, по доброте души своей, соглашается беспрекословно. «Пока народ не подал своего голоса, — продолжает Щетинин, — пока он молчит и только слушает, — никакая пропаганда не поведет ни к чему». — Так как Рязанов никогда не предлагал Щетинину сделаться миссионером какой бы то ни было, умной или глупой, идеи, то, сохраняя строго-выжидательное положение, Рязанов спрашивает только: «ну так что ж?» — Эта сдержанность Рязанова окончательно губит его либерального

собеседника. Вздумай Рязанов возражать, Щетинин тотчас воспрянул бы, и бесконечная трескотня слов благополучно устранила бы вопрос о том, чем занимался юный землевладелец в деревне и может ли он вообще совершить в пределе земном еще хоть что-нибудь путное. Но Рязанов только соглашается и ждет; поэтому Щетинин принужден приступить к делу, которого, к сожалению, не оказывается в наличности. «А то, — говорит он, — что, следовательно, мы должны все наши силы направить на то...» Но на что именно господа Щетинины должны направить все свои силы и какие такие силы у них имеются — этого мы, конечно, не узнаем никогда, потому что этого не знает и сам оратор, который, в своем отчаянии, прерывает свою возвышенную речь самою неуклюжею диверсиею, совершенно равносильною смиренной мольбе о пощаде. «Да ты, может быть, спать хочешь?» — спрашивает Щетинин, решительно не зная, на какое *то* должны быть направлены все силы господ Щетининых. Рязанов, конечно, достаточно насмотрелся в Петербурге на милых людей, царапающих клеенку и направляющих на какое-нибудь непонятное и неизвестное им *то* все свои несуществующие силы. Потому он отпускает щетининскую душу на покаяние и произносит великодушно: «да, брат, хочу». — Щетинин оправляется и придает своему отступлению приличный вид, выражая надежду, что они еще успеют обо всем переговорить. — Рязанову в скором времени удалось познакомиться довольно близко с щетининскими *мы* и с *нашими силами*, которые все должны быть направлены на *то*.

Действие происходит в городе, в бывшем дворянском, а ныне *соединенном* клубе всех сословий, во время мирового съезда, заседающего в одной из комнат того же клуба.

Картина первая: *Наши силы* направляются.

— Как поживаете, — говорил Щетинин, раскланиваясь с другим, только что вышедшим из буфета, помещиком.

— Вот как видите, — отвечал тот. — Закусываем. Как же нам еще поживать? Ха, ха, ха! Вот с Иван Павлычем уж по третьей прошлись. Да, черт, их не дождешься, — говорил он, указывая на посредников. — Господа, что же это такое наконец? Скоро ли вы опростаетесь? В буфете всю водку выпили, уж за херес принялись.

— Да велите накрывать, — заговорили другие.

— Стол нужен.

— Господа, тащите их от стола!

— Эй, человек, подай, братец, ведро воды, мы их водой разольем. Одно средство.

— Ха, ха, ха!

— Нет, серьезно, господа. Ну, что это за гадость! Все есть хотят. Кого вы хотите удивить.

— Что тут еще разговаривать с ними! Господа, вставайте! Заседание кончилось. Дела к черту. Гоните мужиков! Эй, вы, пошли вон.

Таким образом кончилось заседание. Посредники, с озабоченными и утомленными лицами, складывали дела, снимали цепи, потягивались и уходили в буфет.

И после этого есть еще люди, осмеливающиеся говорить, что у *нас* нет инициативы!

Картина вторая: *Наши силы* направлены.

Через час после обеда дворяне ходили по комнатам, как во сне: все что-то говорили друг другу, кричали, пели и требовали всё шампанского и шампанского... В одной комнате хором пели какую-то песню, но потом образовалось два хора, так что уж никто ничего не мог разобрать, никто никого не слушал...

— Кубок янтарный...

— Чтобы солнцем не пекло...

— Полон давно...

— Чтобы сало не текло...

— Господа, это подлость!.. Ура-а! шампанского!.. Пей, пей, пей!.. Позвольте вам сказать... Чтобы солнцем... Поди к черту... Ура! Шампанского!

— Во-о-дки! — вдруг заорал кто-то отчаянным голосом.

В другой комнате сидел судья на кресле, а прочие стояли. Судья произносил какие-то слова, а хор повторял их. Два посредника держали под руки купца Стратонова и заставляли его кланяться судье. Купец кланялся в ноги и просил ручку. Судья накрывал его полою своего сюртука и произносил какие-то слова; хор подхватывал; третий посредник махал цепью.

Щетинин с Рязановым вышли на крыльцо. Смеркалось. У ворот клуба их уже дожидался запряженный тарантас. На дворе видно было, как один помещик стоял, упершись в стену лбом, и мучительно расплачивался за обед.

Тотчас после этой панорамы *наших сил* Рязанов имел неслыханную жестокость напомнить либеральному другу в самом безобидном тоне о том разговоре, который остался недоконченным по случаю отхода собеседников ко сну.

«Что ты такое начал рассказывать, когда я приехал, помнишь? — про какое-то социальное дело, — спросил Рязанов своего товарища, когда они выехали в поле».

Щетинин мог бы очень резонно ответить своему другу, что Рим не в один день построился; что необходимо мешать приятное с полезным; что песни, пропетые хором, принадлежат к области чистого искусства, которое, как доказал г. Антонович, разгоняет мрачные мысли, ослабляет своекорыстные инстинкты и обуздывает неестественные порывы; что, впрочем, *мы* вообще не созрели,[1] что наши молодые силы бродят и кипят; что светлое вино творится из мутного брожения; и что вследствие этого даже тот господин, который *мучительно расплачивался за обед,* может еще со временем сделаться всяких социальных дел мастером. Словом, Щетинину представлялся отличный случай наговорить три короба разных либеральных бессмыслиц; но неопытность Щетинина была слишком велика, и блестящая панорама *наших сил* подействовала на него слишком подавляющим образом. Он даже не попробовал барахтаться и на ядовитый вопрос товарища ответил самым покорным и болезненным стоном, в котором слышалось и *пардон* и *караул*. «Нет, оставь это, — прошу я тебя: сделай милость, оставь, — ответил Щетинин». Корова начинает признаваться, что седло сильно намозолило ей спину.

IV

На другой день после приезда Рязанова к Щетинину разыгрывается одна из самых обыкновенных деревенских сцен. Мужицкая телушка забрела в барский хлеб; ее поймали и заманили на барский двор; мужик приходит к Щетинину, просит об ее освобождении; Щетинин требует установленного штрафа. Разговор между мужиком и Щетининым происходит в присутствии Рязанова и Марьи Николаевны. За несколько секунд до начала этого разговора Щетинин усердно рисовался перед Рязановым трудностями своей общественной деятельности.

«Поживи-ка, брат, здесь, — говорил он, — да погляди на нас, чернорабочих, как мы тут с сырым материалом управляемся». — «Вот ты тогда и увидишь, — говорил он далее, — что мы должны мало того что помогать им; но еще убеждать и упрашивать, чтобы они нам позволили им же быть полезными». — Слова Щетинина тотчас находят себе блистательное оправдание. Кусок сырого материала вваливается к нему в переднюю и становится перед ним на колени. Чернорабочий Щетинин приходит в негодование и настоятельно требует от мужика, чтобы он уважал в себе свое человеческое достоинство. Мужик согласен уважать, лишь бы только ему отдали его телушку, не взыскивая с него штрафа. Щетинин начинает убеждать и упрашивать мужика, чтобы он ему позволил быть полезным сырому материалу. «Ну слушай!— говорит Щетинин. — Пойми, что мне твоих денег не нужно; я от этого не разбогатею! Я беру с тебя штраф для твоей же пользы, для того, чтобы ты был вперед осмотрительнее, зря не распускал бы скотины. Сами же вы благодарить будете, что вас уму-разуму учат». Возмущаясь мужицкими коленопреклонениями, как поруганием человеческого достоинства, Щетинин в то же время сам требует от мужика умственного раболепства, гораздо более вредного, опасного и унизительного, чем всевозможные коленопреклонения. В старину бывали такие воспитатели, которые заставляли ребенка нюхать розгу и спрашивали у него, чем пахнет? Ребенок должен был отвечать: «умом». И, разумеется, ребенок отвечал именно таким образом, потому что знал заранее, чего от него требуют и чему он может подвергнуться в случае своего нежелания дать формальный ответ, намекающий на спасительные свойства телесного наказания. Щетинин поступает с мужиком точь-в-точь так, как поступали с ребенком старинные воспитатели, которые по крайней мере были совершенно последовательны, то есть нимало не заботились о человеческом достоинстве и очень благосклонно смотрели на коленопреклонения ребенка, желающего изъявлениями покорности избавить себя от приближающейся розги. В самом деле, с одной стороны, нет никакой возможности предполагать, что мужик убедится аргументацией Щетинина; а с другой стороны, не подлежит сомнению, что мужик во всем

будет поддакивать Щетинину, чтобы обезоружить его своим смирением. Все слова Щетинина мужик только и может понимать в том смысле, что барину желательно видеть мужицкую покорность, которая должна проявляться не в целовании барских ручек, а в скромном и почтительном выслушивании бестолковых барских речей. Мужик, конечно, готов принять на себя и эту епитимию, так точно, как он готов был валяться в ногах и обливаться слезами. Но мужик, очевидно, должен считать себя обманутым и обиженным, когда он видит, что перенесенная епитимия не вменяется ему ни во что и что вся его покорность не уменьшает требуемого штрафа ни на одну полушку. Как было два рубля десять копеек, так и осталось два рубля десять копеек. А что барин заставлял его нюхать розги и хвалить их превосходный запах — это все составляет вторую шкуру, содранную с вола вопреки здравому смыслу и букве закона. Чего хотел Щетинин от мужика? Мог ли он надеяться на то, что мужик поймет и прочувствует его рассуждения?

Конечно, человеческим надеждам закон не писан, но если бы Щетинин потрудился сам обдумать смысл своих слов, то он увидел бы немедленно, что, обращаясь с ними к мужику, он предполагает в своем собеседнике знание таких вещей, о которых тот не может иметь никакого понятия. Щетинин говорит мужику: «мне твоих денег не нужно». — «Чудесно, — думает мужик. — А мне мои деньги нужны. Значит, они при мне и останутся». — Но тут Щетинин объясняет далее: «я беру с тебя штраф для твоей же пользы». — «Вот тебе раз! — думает мужик. — Да какое тебе дело до моей пользы? И с каких это пор тебе припала охота думать о моей пользе? Так я тебе сейчас взял и поверил!» Эти вопросы, в той или другой форме, непременно должны промелькнуть в уме мужика в то самое время, когда он отвечает Щетинину умиленным голосом: «И так много довольны, батюшка, Ликсан Васильич. Благодарим покорно!» — И на эти вопросы, очень невыгодные для Щетинина, мужик не может найти в своей голове такие ответы, которые могли бы доказать ему, что Щетинину действительно есть дело до его пользы. Чтобы решить вопросы в этом смысле, мужику надо знать, что в западной Европе происходили обширные народные движения, что над этими движениями принуждены были задуматься высшие классы общества, что это раздумье породило целые отрасли литературы, что новые идеи залетели, наконец, в Петербург, что к этим новым идеям прислушался Ликсан Васильич и что вследствие этого у Ликсана Васильича явилось стремление заботиться о мужицкой пользе. Ничего этого мужик не может знать, и поэтому в словах Щетинина он не может видеть ровно ничего, кроме самого бессовестного и топорного лицемерия, которое он, мужик, по зависимости своего положения, обязан принимать за чистейшее великодушие. Можно сказать наверное, что, выслушав медовые речи Щетинина

с горьким заключением: «подавай 2 р. 10 к.», мужик унесет с собою более неприязненное чувство, чем в том случае, когда Щетинин прямо и резко ответил бы ему на первую его просьбу: «пошел вон! неси деньги!» — Тут дело шло бы начистоту, и мужик не видел бы того, что принимает за обман и что действительно должно казаться шарлатанством даже и всякому другому, более развитому и знающему человеку. Щетинин говорит, что он не разбогатеет от 2 р. 10 к. Это верно. Он действительно берет штраф не за тем, чтобы обогатиться. Штрафы совсем не для того и установлены, чтобы обогащать людей, потерпевших убыток от потравы. Но и не для того также они установлены и взыскиваются, чтобы приносить пользу мужикам, распускающим скотину. Штрафы не имеют и не могут иметь никакого педагогического значения. Взыскивая с мужика деньги, Щетинин, конечно, думает про себя: «Нет, брат, шалишь! Попробуй-ка я дать тебе поблажку, так вы у меня все поля дочиста вытравите». — Размышляя таким образом, Щетинин определяет очень верно цель и смысл штрафов, которые, вместе со многими другими видами взыскания, существуют единственно для того, чтобы ограждать собственность от разных умышленных и неумышленных повреждений. Люди смелые и не изуродованные прививными идеями выражают прямо и откровенно те размышления, которые Щетинин, как робкая и безответная жертва либерализма, старается утаить даже от самого себя, несмотря на то, что все его действия обусловливаются именно одними этими размышлениями. Те жалкие плоскости, которые Щетинин говорит о мужицкой пользе и об учении уму-разуму, конечно никого не обморочат и всего менее способны обмануть мужика, который, как я объяснил выше, застрахован от этого обмана именно своим круглым невежеством. Мужик своим простым ответом: «*и так много довольны*», опрокидывает всю щетининскую галиматью. Действительно, мужики имеют полное право сказать, что их и так уж чересчур много учили со всех сторон уму-разуму; если это учение принесло мало пользы, то это доказывает ясно, что всякая дидактическая система несостоятельна и что по этой системе, сколько ни учи, все ничему не выучишь. Если бы существовала какая-нибудь возможность развить в бесправном человеке чувство законности посредством взысканий, то мужики наши давным-давно сравнялись бы в этом отношении с самыми просвещенными нациями земного шара. Неужто в самом деле с наших мужиков до сих пор мало взыскивали? Неужели до сих пор позволяли безнаказанно нарушать их обязанности? Неужели до сих пор все желающие могли свободно уклоняться от платежа подушных податей, от несения рекрутской повинности, от барщины, от оброка и от всяких других денежных и натуральных повинностей? Ничего подобного, разумеется, никогда не было и не могло быть. Если же взыскания всегда были очень строги, если послаблений никаких не давалось, то, очевидно, слабое раз-

витие чувства законности обусловливается у наших мужиков не недостаточностью взысканий, а именно тем низким уровнем нравственного развития, которое составляло общий удел всех неимущих классов нашего общества. Значит, какие штрафы ни берите с мужика, ничего вы в нем не разовьете, кроме бедности и ожесточения. В каком направлении должно действовать на ум и чувства мужика денежное взыскание, это мы видим из разговора между тем же самым обладателем телушки и щетининским конторщиком, Иваном Степанычем. «Ну, теперь, позвольте, — говорит мужик, — так будем говорить: ваша скотина зашла ко мне в огород». — «Ну и загоняй ее!» — отвечает Иван Степаныч. «Загнать недолго, да на что ж так-то?» — «Как на что? Барин штраф заплатит». — «Ну, это тягайся там с вами еще! А незамай же, я ей ноги переломаю, она лучше ходить не станет». — «Вот ты поговори еще!» — «Право слово, переломаю. Что в самом деле?»

Видите, куда дело-то пошло? В мужике начинают шевелиться самые противообщественные и воинственные стремления, пробужденные тою самою мерою, которая, по доктрине Щетинина, должна была образумить и гуманизировать грубого земледельца. Переломает он ноги барской скотине, из этого, разумеется, завяжется дело, гораздо более важное, чем дело о потраве, и мужика накажут строго, как буйного и дерзкого человека. И либералы, подобные Щетинину, по своей глупости или по своей подлости, будут возлагать на это наказание разные розовые надежды и будут говорить разоренному или отодранному мужику, что его разорили или отодрали для его пользы, единственно и исключительно для его собственной пользы. Но добродушный Иван Степаныч смотрит на дело гораздо проще и высказывает свои мысли без малейшей утайки. «То есть, я вам скажу, — говорит он тут же, при мужике, обращаясь к Рязанову, — тут какую нужно дубину!» Вот оно, великое-то слово, решающее задачу! Так или иначе, прямыми или косвенными путями, с тонкими деликатностями или без оных, все сентиментально лживые либералы, подобные Щетинину, приходят все-таки в конце концов к воздыханию о дубине, которая, впрочем, составляет попрежнему последнюю и высшую санкцию щетининского авторитета. Мужик говорит: *тягайся там с вами еще!* Мужик плохо верит в возможность отстоять свое право в суде. Ошибается ли он в этом случае? Уже самый факт его недоверчивости свидетельствует достаточно о тех уроках, которые давало прошедшее ему, его родственникам и всем его предкам. Недоверчивость выработалась из традиции, а традиция составилась из опытов жизни. Прекратилось ли по крайней мере теперь существование тех причин, которые породили эту недоверчивость? В каждом почти номере газет можно найти такие эпизоды, в которых эти причины продолжают действовать. В той же повести г. Слепцова рассказывается один крошечный случай, который, по своей ничтожности, не мог бы попасть ни в какие

газеты, который, однако, совершенно оправдывает мужицкую недоверчивость. Волостной старшина говорит с посредником.

— А вот, — повествует старшина, — я забыл вашей милости доложить: батюшка тут приходил с садовником. У них опять эти пустяки вышли.

— Какие пустяки?

— Из телят. Зашли батюшкины телята к садовнику в огород; садовник их застал, стало быть это, на двор запер. Батюшка, значит, сейчас приходит, так и так, как ты мог полковничьих телят загонять?

— Каких полковничьих телят?

— Да то есть это батюшкиных-то. Он так считает, что, мол, полковник я.

— Да.

— Ну теперь это теща его выскочила, телят обыкновенно угнали...

— Ну, что же?

— Кто их разберет? Садовник жалится: он, говорит, у меня на шесть целковых овощей помял, а батюшка теперь за бесчестие с него то есть требует пятнадцать что ли-то.

— Пятнадцать целковых, — подтверждает писарь.

— За какое же бесчестие?

— Ну, тещу его, слышь, обидел.

— Как же он ее обидел?

— Слюнявой, что ли, назвал. Уж бог его знает. Слюнявая, говорит, ты, — смеясь, объясняет старшина. — Ну, а батюшка говорит: мне, говорит, это оченно обидно. Пятнадцать целковых теперь и требует.

Посредник тоже засмеялся; даже писарь хихикнул себе в горсть.

— Ну, это я после разберу, — вставая, говорит посредник. — А теперь, брат, вот что: вели-ка ты мне лошадок привести.

— Готовы-с.

Весь этот веселый разговор очень замечателен. Происшествие кажется старшине до такой степени мелким, что он даже едва не забыл доложить о нем посреднику; далее он называет этот случай *пустяками,* потом говорит, что телят *обыкновенно* угнали, и посредник, услышав об этом совершенно противозаконном поступке, спрашивает: *ну, что же?* Значит, и посредник считает это дело совершенно *обыкновенным* и не заслуживающим дальнейшего внимания. Наконец вся история разрешается общим смехом, и посредник уезжает, откладывая разбирательство дела до другого раза, вероятно потому, что из-за таких пустяков не стоит себя задерживать. Теперь потрудитесь только себе вообразить, что вся эта история разыгралась в обратном порядке. Не *полковницкие* телята зашли к садовнику, а, наоборот, садовницкие телята зашли к *полковнику. Полковник* загоняет их. Садовник с своею тещею идет на приступ отбивать своих пленных телят. Что же из этого выходит? Прежде всего садовнику и его теще накладывают в шею домашними средствами. Потом их обоих, как разбойников, связывают, представляют в волостной суд. Старшина немедленно дает знать посреднику о том, что в волости произошло необыкновенное буйство. Посредник приезжает и тотчас рассматривает дело. В лучшем случае садовник и его теща получают достаточную порцию розог и выплачивают *полковнику* значительное денежное вознаграждение. В худшем случае дело доходит до уголовного суда, садовник и его теща отправляются в острог, а впоследствии,

быть может, и на поселение. Теперь возьмите опять историю в том виде, в каком она рассказана у г. Слепцова, и представьте себе, что садовник вздумал сопротивляться, когда полковник с тещею пришел отбивать у него телят. Происходит драка, в которой садовник играет оборонительную роль. При всем том садовник оказывается виноватым и подвергается строгому наказанию за непочтительное обращение с чиновными особами. После этого, спрашиваю я вас, что же остается делать мужику и всякому другому чиновнику 15-го класса? [2] Имеют ли люди действительное основание относиться недоверчиво к судебным разбирательствам? Объясняется ли наклонность этих людей к самоуправству их собственною порочностию, или же она находится в зависимости от каких-нибудь других внешних, то есть общественных условий? Предложивши читателю призадуматься над этими вопросами, я возвращаюсь теперь к разговору Щетинина с хозяином арестованной телушки. В этом разговоре Щетинин унижается, наконец, до явной и наглой лжи. Так как мужик продолжает упрашивать проприэтера* и никак не хочет понять, что наказание составляет *неотъемлемое право* преступника, право, которое преступник никому не должен уступать ни за какие блага, то Щетинин говорит, наконец, мужику: «Закон, понимаешь? закон». Мужик, разумеется, отвечает: «*слушаю-с*», что он ответил бы и в том случае, когда бы его назвали ослом или дураком. — «*Так что ж я могу сделать, а? Ну?*» — спрашивает Щетинин. Видите, как это мило! Щетинин представляет мужику дело в таком виде, что закон *обязывает* его, Щетинина, брать установленный штраф и *строго запрещает* ему подарить мужику 2 р. 10 к. с⟨еребром⟩. Он бы, изволите видеть, и рад был не взять ничего и оказать благодеяние, но тогда он сам сделается преступником и подвергнет себя законному наказанию. Из своего разговора с Щетининым мужик должен, стало быть, вывести то заключение, что в России существуют такие законы, которые запрещают одному человеку дарить свои собственные деньги другому человеку. И вот каким образом Щетинин воспитывает в грубых поселянах чувство законности. Вот каким образом *мы, чернорабочие, управляемся с сырыми материалами*. Вот каким образом *мы мало того что помогаем им, но еще убеждаем и упрашиваем, чтобы они нам позволили им же быть полезными*, то есть налгать им в глаза и вытащить из кармана два рубля десять копеек.

V

В тот же день, за обедом, Щетинин горько жалуется Марье Николаевне и Рязанову на неблагодарных плотников, которые, за всю его щедрость и доброту, заплатили ему тем, что, по своей

* Собственника (*франц.* propriétaire). — *Ред.*

лености и небрежности, испакостили ему лесу на пятьдесят рублей. Марья Николаевна выслушивает молча излияние огорченного хозяина. Рязанов, с своей стороны, не обнаруживает никакого сочувствия и совершенно хладнокровно напоминает Щетинину о тех законных средствах, которые он может употребить против провинившихся работников; он может отправить их, для надлежащего вразумления, к становому; или же он может через посредника взыскать с них деньги за испорченный материал; имея в руках такие действительные средства, Щетинин, очевидно, не должен унывать и оплакивать свою горькую долю. Марья Николаевна, едва знакомая с Рязановым, не понимает того, к чему направляется его тактика, и с великодушным негодованием честной женщины вступается за работников.

«Но ведь они бедные, — говорит она: — вы забываете... откуда же они возьмут пятьдесят рублей».

Рязанов нисколько не смущается ее негодованием и ведет свою атаку дальше с несокрушимым хладнокровием.

«Ежели, — говорит он, — наличных денег не имеют, то, может быть, окажется движимость, скот».

Негодование Марьи Николаевны, конечно, увеличивается. — «Ну, и...» — спрашивает она.

«Продадут-с, — продолжает Рязанов добродушно и весело. — Что ж им в зубы-то смотреть».

«Да ведь это я не знаю, что такое... Это варварство!» — Впоследствии Марья Николаевна объявляет, что она в эту минуту просто готова была убить Рязанова.

Против слова *варварство* Рязанов ровно ничего не имеет. Он отвечает: «Очень может быть-с».

— Так как же вы предлагаете такие средства?

— Я никаких средств не предлагаю, я только напоминаю.

— Что же вы напоминаете?

— Я ему напоминаю его обязанности. Всякое право налагает на человека известные обязанности. Пользуешься правом — исполняй и обязанности.

— Какие обязанности? Вы ему напоминаете, что он может, если захочет, злоупотреблять своим правом.

— Нисколько-с. Напротив, я ему напоминаю только о том, как следует благоприобретать, а злоупотребляет уж это он сам.

— Разве это злоупотребление, если он прощает этих плотников?

— А вы как же думали? Конечно, злоупотребление (тут Рязанов мог бы даже сослаться на самого Щетинина, который, за несколько часов пред тем, тянул с мужика штраф для того, чтобы не сделать злоупотребления и не погрешить пред законом). Если бы он один только пользовался правом карать и миловать, тогда бог с ним, пусть бы его делал, что хотел. Если ему бог дал такую добрую душу, так что ж тут разговаривать. Хочешь идти по миру, ну и ступай. Но вы не забывайте, что нас много, что он, оставляя безнаказанными разных мошенников, поощряет их на новые мошенничества и подает гибельный пример. А от этого мы все страдаем: он портит у нас рабочие руки... Ну, хорошо еще, что я вот могу жить так, ничего не делая; но если бы я был рабочая рука, да я бы... я бы непременно испортился. Я бы сказал: а! так вот что! Стало быть, можно делать все, что хочешь. Пошел бы

в кабак: эй! братцы, рабочие руки, пойдемте наниматься в работу! Сейчас пошли бы мы, нанялись к кому-нибудь сад сажать; набрали бы денег вперед, потом взяли бы насажали деревья корнями вверх, а дорожки все изрыли бы и ушли. Ищи нас! Что ж, разве это хорошо?

Щетинину очень не нравятся рязановские монологи. Он чувствует, что все это клонится к какому-то неудобному для него заключению, хотя, по слабоумию своему, и не понимает, к какому именно.

«Бог тебя знает, — наконец сказал Щетинин, — для чего ты все это говоришь».

Но Рязанова нельзя ни запугать негодованием, ни обезоружить смиренною мольбою. Он продолжает разворачивать зондом глубокую рану своего истерзанного товарища.

— А для того и говорю, — поясняет он, — что не хочу тебя лишить дружеских советов. Вижу я, что друг мой колеблется, что ему угрожает опасность, что он может сделаться жертвою собственной слабости, да и нам всем напакостить; ну, вот я и не могу воздержаться, чтобы не напомнить ему и не сказать: друг, остерегись! не поддавайся искушению, не поблажай беззаконию, ибо оно наглым образом посягает на нашу собственность. Священное право поругано, отечество в опасности... Друг, мужайся, говорю я, и спеши препроводить обманувшие тебя рабочие руки в руки правосудия...

— Вот ты говоришь, препроводить, — начал Щетинин: — ну, хорошо; а что бы ты сказал, если бы я в самом деле так поступил?

В этих словах Щетинина скрывается следующий смысл: разве ты не видишь, что я человеколюбив и великодушен? Похвали же ты меня хоть сколько-нибудь за мою гуманность! Похвали хоть косвенным образом, ругая тот поступок, которого я, по гуманности моей, не сделал! Но Рязанов отказывает наотрез даже и в косвенных похвалах.

— Что бы я сказал? — говорит он. — Я сказал бы: вот примерный хозяин! и гордился бы твоею дружбою. И еще бы сказал: это человек последовательный; а лучшей кто бы мог хвалы тебе сказать?

Рязанов отвечает таким образом Щетинину, что его гуманность сводится к чистейшей бесхарактерности, которая не позволяет ему ни вывести из данного принципа его логические последствия, ни отбросить основной принцип, если эти неизбежные последствия кажутся ему отвратительными. Щетинин принужден склонить голову пред этим разговором.

«Так-то оно так, — со вздохом сказал Щетинин: — да... да нет, брат, я нахожу, что в некоторых случаях надо поступать непоследовательно».

Далее у Щетинина оказывается, что в практическом деле строгая последовательность невозможна и что этого нельзя и требовать. Уловка эта стара, как мир; ею всегда пользовались слабоумные или недобросовестные люди, когда люди последовательные или честные доводили их до капитуляции посредством того

известного диалектического маневра, который называется reductio ad absurdum и состоит в том, что основной принцип проводится до самого конца и превращается в очевидную нелепость или в возмутительную гнусность. Люди слабоумные благодаря своей многочисленности сумели дать обширный ход той жалкой и ложной мысли, будто бы в жизни невозможна строгая последовательность. Действительно, последовательность очень неудобна для тех людей, которые в основание своей деятельности кладут ложный принцип, то есть такую идею, в которой затаено что-нибудь нелепое или вредное для общества. Последовательность ведет в этом случае именно к тому, что затаенная нелепость, развернувшись во всей своей красоте, покрывает позором самого адепта неверной идеи. Поэтому, имея в виду такую неприятную перспективу, слабоумные люди стараются зажмурить глаза и утешают себя тем плоским рассуждением, что они всегда сумеют изменить своему принципу, как только этот принцип потащит их в вопиющую нелепость. На словах можно предаваться этим сладким надеждам сколько угодно, но жизнь постоянно разрушает эти ребяческие фантазии и, выводя из каждого принципа все его последствия, даже самые нелепые и самые безобразные, насильно навязывает их каждой отдельной личности, основавшей на данном принципе всю свою деятельность. На словах вы можете браковать все, что вам угодно, но у жизни есть своя собственная логика, которая переломит вашу непоследовательную брезгливость и непременно вымажет вас с ног до головы общеобязательною краскою или грязью, соответствующею основным требованиям вашего принципа. От этого окрашивания или загрязнения вы не отвертитесь никакими хитростями, если только у вас не достанет характера решительно оттолкнуть прочь основной принцип. Итак, Щетинин признается, что он не в силах быть последовательным, или, другими словами, что он не хочет и не может исполнять, во всем их объеме, те обязанности, которые налагает на него принцип собственности. Тогда Рязанов дает ему почувствовать, что, по всей вероятности, и плотники не хотят и не могут быть последовательными, то есть исполнять, во всем их объеме, те обязанности, которые налагает на них принцип труда. Щетинин находит это сравнение совершенно неосновательным, потому что у плотников *нет никакой определенной цели, к которой бы они стремились.* Произнося последние слова, Щетинин, повидимому, намекает на то, что у него есть великая и определенная цель и что он изменяет принципу собственности именно из любви к этой цели, о которой плотники не имеют понятия. Но Рязанов сейчас же выводит все дело начистоту; он выражает сомнение в том, чтобы у плотников не было определенной цели. «Они, — отвечает Щетинин, — только о том и стараются, чтобы как можно меньше работать и в то же время как можно больше получать». Рязанов находит, что это — цель очень определенная, и вслед за тем спра-

шивает у Щетинина, к чему же он сам-то стремится: «К тому, чтобы как можно больше работать и как можно меньше получать? Так, что ли?» — Щетинин совершенно становится втупик и произносит коснеющим языком: «н-не...» — «Ну, — добивает его Рязанов, — так что ж тут разговаривать еще! Стало быть, стремления-то у нас с ними одни и те же; разница только в том, что мы сознательно желали бы их приспособить к нашему хозяйству, они же, как все глупорожденные, бессознательно упираются и всячески стараются схитрить. Ну, а на этот случай у нас средства такие имеются для понуждения их, средства, к народным обычаям приноровленные. Вот в древние века нравы были грубые, — тогда и орудия, которыми понуждались глупорожденные к труду, тоже были неусовершенствованные, как то: исправники, становые и проч., теперь же, когда нравы значительно смягчены и сельские жители вполне сознали пользу просвещения, и понудительные меры употребляются более деликатные, духовные, так сказать, а именно: увещания, штрафы, уединенные амбары и так далее. Вот и хороводимся мы таким манером и долго еще будем хороводиться, доколе мера беззаконий наших не исполнится. Только зачем же тут церемониться-то уж очень, нюни-то разводить зачем, я не понимаю. Штука эта самая простая, и весь вопрос в том, кто кого; стало быть, главная вещь, не конфузься...»

Щетинин раздавлен и уничтожен этими правдивыми словами, так точно, как в древности оказался уничтоженным и раздавленным благонравный юноша, которому вместо ожидаемой похвалы был дан весьма неприятный совет продать богатое наследство и раздать деньги нищим. Щетинин не находит больше никакого возражения, и разговор прекращается.

В мыслях Марьи Николаевны этот разговор производит решительный переворот.

VI

В голове Марьи Николаевны начинается усиленная работа мысли; то, о чем она только что начинала догадываться, обрисовывается перед нею совершенно ясно и пугает ее слишком знакомою и понятною рельефностью своих очертаний; смысл той жизни, которую она ведет с своим супругом, постигнут; соответствующее имя или клеймо найдено и приложено к этой разлюбезной и высокопочтенной жизни так крепко, что его не вытравишь никакими тонкими умствованиями и не отмоешь никакими горькими слезами. Марья Николаевна становится похожа на леди Макбет; она чувствует на всей своей особе какое-то пятно и, не имея сил с ним помириться, в то же время не знает, каким образом от него отделаться. Можно себе представить, какие нежные чувства питает она к тому милому либералу, который, пользуясь

ее неопытностью, замарал ее чистую личность и обессмыслил ее молодую жизнь. Она приходит к своему мужу как воплощение его совести и требует от него строжайшего отчета во всей его прошедшей деятельности, в которой он сулил ей чудеса либерализма и подвиги человеколюбия. «Когда ты хотел на мне жениться, — говорит она ему, — ты что мне сказал тогда? Вспомни! Ты мне сказал: мы будем вместе работать, мы будем делать великое дело, которое, может быть, погубит нас, и не только нас, но и всех наших; но я не боюсь этого. Если вы чувствуете в себе силы, пойдемте вместе. И я пошла. Конечно, я тогда еще была глупа, я не совсем понимала, что ты там мне рассказывал. Я только чувствовала, я догадывалась. И я бы пошла куда угодно. Ведь ты видел, я очень любила мою мать, и я ее бросила. Она чуть не умерла с горя, а я все-таки ее бросила, потому что я думала, я верила, что мы будем делать настоящее дело. И чем же все это кончилось? Тем, что ты ругаешься с мужиками из-за каждой копейки, а я огурцы солю да слушаю, как мужики бьют своих жен, — и хлопаю на них глазами. Послушаю, послушаю, потом опять примусь огурцы солить. Да если бы я желала быть такою, какою ты меня сделал, — так я бы вышла за какого-нибудь Шишкина, теперь у меня, может быть, уж трое детей было бы. (Это последнее место в монологе Марьи Николаевны не совсем понятно. Почему же Шишкин может сделать то, чего до сих пор не сделал Щетинин? Неужели же Щетинин так глубоко проникнулся учением мальтузианцев, что соблюдает moral restraint [3] в своей собственной супружеской жизни? Или неужели он так высоко понимает обязанности отца, что наложил на себя обет целомудрия до тех пор, пока для будущих детей не будет подготовлено достаточное обеспечение? Все это очень неясно.) Тогда я по крайней мере знала бы, что я мать, знала бы, что я себя гублю для детей, а теперь... Пойми, что я с радостью пошла бы землю копать, если бы видела, что от этого польза не для нас одних; что я не просто ключница, которая выгадывает каждый грош и только и думает о том: ах, как бы кто не съел лишнего фунта хлеба! ах, как бы... Какая гадость!»

Перед этими строгими требованиями Щетинин оказывается чистейшим банкротом. Он остается безгласным. Он даже не пробует защищаться. О работе над сырым материалом нет и помину. Впрочем, Щетинин до такой степени мелок и ничтожен, что он даже и теперь не понимает ни характера своей супруги, ни глубины того отчаяния, которое слышится в ее кровавых упреках. Она говорит ему о своей изуродованной жизни, о своих загубленных надеждах, о своих профанированных стремлениях к добру и к истине, она называет его жалким обманщиком, укравшим и заевшим чужой век, — а он в это время все норовит пожать ее ручку или ухватить ее за талию, он думает, что ее можно успокоить и ублаготворить супружескими нежностями. «Нет, —

говорит она ему далее, — ведь я это все уж давно, давно поняла, и все это у меня вертелось в голове; только я как-то не могла хорошенько всего сообразить; ну, а теперь вот эти разговоры мне помогли. Я тут очень расстроилась, взволновалась. Это совсем лишнее. И случилось потому, что я все эти мысли долго очень скрывала: все хотела себя разуверить; а ведь по-настоящему знаешь, надо бы что сделать? Надо бы мне, ничего не говоря, просто взять да уехать...» Именно. Так и следует поступать с теми прощелыгами, которые сулят вам золотые горы и потом оставляют вас на бобах. Марья Николаевна имеет полное право поступить с Щетининым гораздо строже, чем поступают кредиторы с злостным банкротом. Банкрот крадет только деньги, а Щетинин своим либеральным фразерством украл у нее жизнь, ту жизнь, которую она могла бы отдать сильному, честному и полезному деятелю и которую она теперь, быть может, уже не сумеет устроить разумным образом. Любимая женщина говорит нашему либеральному буржуа, что от него следует ей бежать без оглядки, не говоря ему ни слова, как бегут здоровые люди от зачумленного больного, который уже находится при последнем издыхании и который уже не способен ни принимать лекарства, ни выслушивать слова любви и утешения, ни даже узнавать своих ближайших родственников и друзей. Чем же отвечает он ей на это жестокое оскорбление? Пробуждается ли в его телячьей душе хоть искра мужественной гордости, хоть слабое воспоминание, далекий и бледный отблеск тех титанических стремлений, которыми он так бессовестно рисовался в былые годы перед этою же самою женщиною? Произносит ли он хоть одно слово о труде, об общем благе, о борьбе, словом, о тех высших идеях, которые должны господствовать над всею жизнью энергического мужчины, осмеливающегося домогаться любви и уважения честной и умной женщины? Старается ли он убедить ее в том, что он не обманул ее, что его жизнь полна, широка и разумна и что, уезжая от него, она уедет именно от той деятельности, которую она сама же ищет? Наконец, если он чувствует невозможность защищаться, то способен ли он по крайней мере с ужасом оглянуться на самого себя, оценить всю свою неудовлетворительность и потом, осудивши прошедшее, рвануться вперед к новой, чистой, высокой и плодотворной деятельности? Нет, ничего подобного не находим мы в его ответе. Титанические стремления были взяты напрокат и выражались в былое время довольно удачно и увлекательно только потому, что у молодого человека обыкновенно горят глаза и звучит в голосе искреннее чувство, когда ему приходится строить воздушные замки о жизни и работе вдвоем, в присутствии той молодой девушки, которая ему нравится. Теперь цель жизни достигнута, молодая девушка превратилась в молодую даму, и поэтому титанические стремления отправлены обратно в тот магазин, из которого они были взяты на подержание; дорога

к этому магазину уже забыта и заросла травою, так что впопыхах невозможно уже найти ничего такого, что хоть издали напоминало бы прежний пыл великодушного энтузиазма. Щетинин застигнут врасплох и не находит у себя под руками ничего, кроме своей супружеской нежности, искренней и теплой, но решительно неспособной превратить жалкую тряпицу в порядочного человека. «Маша, — лепечет он, — Маша! что ты говоришь! Да ведь... ну... да... да ведь я люблю тебя. Ты понимаешь это?»

Пульхерию Ивановну действительно можно было бы удержать словом *люблю*, если бы она на старости лет вздумала уехать от Афанасия Ивановича для приискания себе разумной и честной деятельности. Марья Николаевна уходит в свою комнату, повторивши Щетинину еще раз, что она не может огурцы солить. Щетинин после ее ухода погружается на несколько минут в мрачное недоумение, потом отправляется вслед за своею супругою, но дверь оказывается запертою, и на его вопрос: «Можно войти?» — Марья Николаевна, с своей стороны, отвечает вопросом: «Зачем?» Щетинин видит, что входить действительно незачем, и удаляется восвояси. Через несколько времени он приходит в спальню, надеясь увидеться с своею супругою; но надежда его не осуществляется; Марья Николаевна проводит ночь у себя в комнате. На другой день Щетинин с Рязановым едут в город и созерцают там всю красоту *наших сил*, направленных на истребление шампанского и водки. Вечером они возвращаются домой, и Марья Николаевна сама приходит мириться с своим разогорченным супругом. Она даже просит у него прощения; он, разумеется, открывает ей свои объятия. Но эта трогательная сцена примирения показывает совершенно ясно, что окончательный разрыв неизбежен. В этой сцене полное и неизлечимое ничтожество Щетинина становится еще более очевидным. Марья Николаевна находится в примирительном настроении собственно потому, что она, как ей кажется, отыскала возможность пристроить себя к полезному делу, не выезжая из деревни. Когда она враждовала, то враждовала она не с личностью своего мужа, а с тем образом жизни, на который он обрек самого себя и в который затянул и ее. Когда она мирится, то мирится также только с образом жизни, потому что находит возможность произвести в нем необходимые усовершенствования. Но Щетинин ничего этого не понимает. Ему все это дело представляется в том виде, что вот, мол, барыня изволили шибко прогневаться, а потом положили гнев на милость, так как все это происходит от живости их характера и совершенно извиняется молодостью их лет, особенно если еще принять в соображение красоту их наружности, предоставляющей им полную свободу капризов. Поэтому он выезжает исключительно на нежностях и на любезностях, усердно выражает ей теплоту своих чувств и не высказывает ни одной дельной мысли по поводу того плана, в котором для Марьи Николаевны заклю-

чается настоящий узел всего поднятого вопроса. Мне кажется, умная женщина непременно должна почувствовать глубокое отвращение к тому мужчине, который в разговорах с нею никогда не может или не хочет забыть ее пол, то есть всегда говорит с нею как с женщиною и никогда не говорит с нею как умный человек с умным человеком. Если он не хочет говорить с нею таким образом, — это значит, что он ставит ее ниже себя и считает ее не способною увлекаться теми интересами, которые составляют общее достояние всего мыслящего человечества. Если не может, — это значит, для него не существует ни одной страсти выше и сильнее полового влечения; это значит, что нет для него во всем мире ни одной великой идеи, которую он любил бы настолько, чтобы, вглядываясь и вдумываясь в нее, забыть, хоть на несколько минут, о приятной наружности своей собеседницы и о священных обязанностях любезного кавалера. В первом случае умная женщина должна чувствовать себя глубоко оскорбленною, и если она действительно умна, то она непременно сумеет показать мужчине, третирующему ее с высоты своего величия, что он ошибается в ней очень сильно. Во втором случае со стороны женщины обнаружится скоро полное презрение к вечно любезному и, следовательно, безнадежно пошлому кавалеру. Именно эта участь и должна постигнуть Щетинина. Ему приходится узнать на самом себе, что женщина любит не любовь мужчины, а его личность и что, следовательно, самая безукоризненная пламенность любви не способна реабилитировать того субъекта, который сам по себе бесцветен и ничтожен.

«Да, — говорит Щетинин Марье Николаевне, заглядывая ей в лицо, — ну, так, стало быть, стало быть, ты не сердишься. Это главное». Эти слова исчерпывают до дна всю пошлость этого человека. «Нет, — отвечает Марья Николаевна, — да ведь я и тогда не сердилась. Ведь это совсем не то». И затем она, чтобы переменить разговор, спрашивает: «ну, что же там, в городе?» Вы видите, что она уже начинает уклоняться от объяснений с ним. Она говорит: «ведь это совсем не то», и даже не пробует ввести его в мир своих мыслей; она чувствует, что он ее не поймет, и это чувство становится для нее самой особенно заметным и ясным в ту минуту, когда он заглядывает ей в лицо и произносит свои глупейшие слова: «стало быть, ты не сердишься, это главное». Как вы в самом деле начнете толковать этому воплощению буржуазной мелкости и ограниченности, что *это* совсем не *главное?* Ему был поставлен вопрос обо всей его жизни; ему были высказаны сомнения в его личной честности; все его тунеядческое прозябание было подвергнуто строжайшему осуждению; а он во всей этой серьезной и глубокоторжественной сцене заметил только то неудобное для себя обстоятельство, что его супруга изволит на него сердиться. Теперь ему позволили поцеловать ручку, и весь разговор оказывается забытым, тот разговор,

в котором были затронуты самые глубокие основы его человеческого достоинства. Одно из двух: или обвинения Марьи Николаевны показались ему справедливыми, или же он считает их незаслуженными. В первом случае ее слова должны были потрясти его до глубины души, потому что эти слова отнимают у него возможность уважать самого себя, а для всякого мало-мальски порядочного человека самоуважение составляет необходимое условие существования. Во втором случае он должен был заботиться не о том, чтобы помириться с нею и поцеловать ее в губки, а о том, чтобы оправдаться в ее глазах и снова завоевать себе уважение любимой женщины, которое для всякого порядочного человека несравненно дороже ее любви, если бы даже позволительно было предположить, что прочная любовь возможна без уважения. В том и в другом случае нежное примирение для самого Щетинина не заключает в себе никакого смысла и не должно иметь никакой цены. Если бы он был способен понимать тяжесть направленных против него обвинений, то ему надо было или начать совершенно новую жизнь, или представить на суд Марье Николаевне такие фактические доказательства, которые опровергали бы все ее обвинения. Но он даже не знает, чего от него требуют и за что на него так взъелись; он поневоле должен приписывать всю эту историю раздражительности дамского темперамента и резкой необузданности рязановских рассуждений. Само собою разумеется, что перед грандиозностью этого тупоумия у Марьи Николаевны опускаются руки и обрывается голос. Если Щетинин так удачно понимает общий смысл всей коллизии, то понятно, что Марье Николаевне нечего ждать от него советов и помощи в том деле, в котором она надеется найти примирение с окружающею жизнью. Марья Николаевна додумалась до того убеждения, что грамотность составляет первую потребность крестьян; поэтому она хочет завести сельскую школу и полагает, что полезные труды преподавания помирят ее с веселою и сытою жизнью деревенской барыни. Она рассказывает свой план Щетинину, но не возлагает собственно на него самого никаких надежд; она прямо говорит ему, что посоветуется с Рязановым, который, наверное, не откажется ей помогать. Щетинину не хотелось бы, чтобы его супруга обращалась к Рязанову, но в то же время он, Щетинин, не умеет даже заинтересоваться ее предприятием, не умеет обсудить его удобоисполнимости, не умеет произнести ни одного такого слова, в котором виден был бы проблеск самостоятельного ума, или искреннего сочувствия, или даже самой простой житейской опытности. Ничего, ровно ничего такого, что могло бы обратить на себя внимание Марьи Николаевны и вызвать между обоими супругами хоть какой-нибудь обмен мыслей. Марья Николаевна уходит от него с тем же, с чем и пришла. В первый раз, когда ей понадобился дельный совет, она принуждена обращаться за ним к постороннему человеку. Очень понятно, что этот человек

приобретает себе то уважение и доверие, которого не мог удержать за собою ее муж. Щетинин становится для нее нулем. Она понимает, что он стоит гораздо ниже тех горячих упреков, с которыми она обращалась к нему во время первого объяснения.

VII

Не подлежит ни малейшему сомнению, что очень многие читатели, — например, все любители и клиенты «Московских ведомостей», [4] — назовут Рязанова отъявленным негодяем, разрушающим семейное счастье достойнейшего человека, а Марью Николаевну — взбалмошною бабою, неспособною оценить мягкость и великодушие нежнейшего из супругов и щедрейшего из землевладельцев. Все это в порядке вещей. Если бы эти господа читатели осмелились осудить Щетинина, то им пришлось бы произнести строжайший приговор над своими собственными особами. На это не решится почти никто. Рыбак рыбака видит издалека, и ворон ворону глаза не выклюет, и тунеядец никогда не бросит камня в своего возлюбленного брата по тунеядству. Так как число этих читателей, закупленных своим положением, очень значительно и так как понятия, господствующие в нашем обществе, составляются почти исключительно из их пристрастных суждений, то я поставлен в необходимость говорить довольно подробно о таких простых истинах, на которые при других условиях достаточно было бы указать мимоходом. Мне теперь приходится доказывать то, что для мыслящих людей не требует никаких доказательств, — именно то, что Щетинин — совершенная дрянь и что он, попавши в фальшивое положение, неизбежно должен был сделаться дрянью, даже в том случае, если бы природа одарила его не совсем дюжинными способностями. По правде сказать, вся судьба человека зависит от того, какими средствами он поддерживает свое собственное существование. Всякому известно, что есть люди, которые добывают себе хлеб собственным трудом, и есть люди, которые кушают хлеб, добытый другими, и могут жить не трудясь. Права этих последних признаны всеми почтенными юрисконсультами и моралистами, и никто не может их притянуть за это к суду и к ответу. Точно так же, если бы им угодно было кушать каждый день по пяти фунтов конфект, или выпивать по три стакана крепчайшего уксуса, или сидеть круглый год в закупоренной комнате, или никогда в жизни не умываться — кто бы, спрашиваю я вас, имел законное право насиловать их наклонности? Опять-таки решительно никто. Каждый взрослый человек волен наполнять свой собственный желудок какими угодно кушаньями, продовольствовать собственные легкие каким угодно воздухом и покрывать свою собственную кожу каким угодно слоем пыли и грязи. Все это так, но существует, однако

же, такая наука — гигиена, которая изучает те условия, при которых человеческий желудок, человеческие легкие и человеческая кожа находятся в нормальном или здоровом состоянии. Эта наука может предсказать заранее те последствия, которые повлечет за собою то или другое уклонение от правильного образа жизни, соответствующего ее разумным предписаниям. Гигиена говорит одному: вы испортите себе желудок; другому: вы наживете чахотку; третьему: вы совсем опаршивеете. Говоря таким образом, она никого не оскорбляет, не посягает ни на чьи права, не насилует ничьей свободы; она только показывает, что из чего выходит; она только разъясняет причинную связь между известным образом жизни и известными расстройствами организма. Раскрывая эту причинную связь, гигиена произносит свой строгий приговор не только над какими-нибудь эксцентрическими или болезненными привычками, составляющими достояние отдельных личностей, но даже над целыми организованными профессиями, которые считаются необходимыми для благосостояния или комфорта всего общества. Так, например, она говорит прямо, что у портных искривляются ноги, у часовщиков портится зрение, у наборщиков образуются расширения вен в ногах, у зеркальщиков развивается от ртути дрожание всех членов. И, однако же, никто не жалуется на гигиену, что она excite à la haine et au mépris — возбуждает ненависть и презрение к портным, к часовщикам, к наборщикам и так далее.

Если образ жизни, занятия и привычки кладут свою печать на кости, мускулы, кровеносную систему и нервы данного субъекта, то само собою разумеется, что влияние тех же условий должно распространяться также и на всю совокупность его умственных отправлений. Каждая человеческая способность и каждая человеческая страсть, подобно каждому отдельному мускулу, развиваются от частого упражнения и слабеют или атрофируются от бездействия. Поэтому если можно определить заранее те видоизменения, которые данная профессия произведет в вашем телосложении, то можно также обрисовать в общих чертах те перемены, которые под влиянием этой профессии обнаружатся в складе ваших понятий и стремлений. Если можно сказать наверное, что постоянное переписывание бумаг наградит вас геморроем и сутуловатостью, то можно также выразить то печальное предположение, что это машинальное занятие притупит ваши умственные способности. Если можно сказать, что занятия рассыльного развивают в нем силу ножных мускулов, то почему же не сказать, что занятия ростовщика развивают в нем способность и привычку относиться равнодушно к человеческому горю, точно так же как, например, занятия хирурга развивают в нем способность и привычку смотреть спокойно на текущую кровь и на отрезанные руки и ноги. Словом, если возможна гигиена тела, то возможна также гигиена ума и характера. Само собою разумеется, что обе эти науки должны постоянно стремиться к со-

единению между собою; обе они достигнут своего совершенства и обнаружат все свое плодотворное влияние только тогда, когда соединение это, о котором теперь невозможно и мечтать, сделается действительным и общепризнанным фактом. До сих пор гигиена ума и характера находится в совершенном младенчестве; ею занимаются только такие люди, которых никто не считает за ученых; для нее собирают материалы беллетристика и литературная критика; поэты и рецензенты задумываются над теми типами, в которых выражаются особенности общественной жизни, и над теми ингредиентами, из которых эти типы слагаются. Практические же люди в этом отношении, как и во многих других, бредут на авось, увлекаются обстоятельствами в ту или в другую сторону и не отдают себе никакого отчета в тех путях, которые приводят их к неизвестным, неожиданным результатам; эти практические люди в большей части случаев приобретают себе к летам мужественной зрелости такие умственные и нравственные физиономии, которые внушили бы им самим отвращение и ужас, если бы они сохранили до зрелых лет свою юношескую впечатлительность и требовательность. Каким образом приобрелись эти искаженные физиономии, этого они не знают; таких учебников, в которых можно было бы справиться о причинах умственных и нравственных убогостей, до сих пор еще никто не составлял. Если же вы, не будучи патентованным составителем учебников, попробуете изучить и описать важнейшие из этих причин, то легко может случиться, что в награду за ваше беспристрастное исследование вы прослывете вредным памфлетистом, желающим кого-то exciter à la haine et au mépris* ко всем практическим людям. Впрочем, уже давно известно, что всякое новое исследование всегда кажется сначала почтенной публике неслыханно дерзким посягательством на какое-нибудь общественное сокровище. Чем новее исследование и чем почтеннее публика, тем громче оказываются вопли ужаса.

Если бы порядочные люди робели и отступали перед этими воплями, то никаких исследований не производилось бы и все старые заблуждения наслаждались бы полною неприкосновенностью. Этого нет и не должно быть. Поэтому я начинаю теперь анализ двух вышеупомянутых категорий с гигиенической точки зрения. Для большей наглядности и безобидности я придам этому анализу форму дружеского разговора между мною и господином Щетининым, которого я беру в периоде его студенческих стремлений и юношеских иллюзий.

— Чем вы занимаетесь в университете? — спрашиваю я у него. — Ведь вы, кажется, юрист?

— Да, — говорит он, — по правде сказать, почти ничем. Я в восхищении от нашего университетского товарищества, но факультет мой мне решительно не нравится.

---

* Возбудить ненависть и презрение *(франц.)*. — *Ред.*

— Отчего ж вы не перейдете на другой факультет, на такой, который вам нравится?

— Да куда ж я перейду? В филологи — греческого языка не знаю; в математики — сохрани меня бог. В натуралисты — слуга покорный! Побывал я у них раз в химической лаборатории — и закаялся. Такого напустили сернистого водорода, что меня три дня тошнило. А там ведь у них еще анатомия есть. Они у себя на квартире крыс потрошат из любви к науке. Посудите сами, какие же это занятия. Оно, пожалуй, и любопытно, да уж чересчур неприятно. Ну, в камералисты [5] и переходить не стоит. Почти то же самое, что у нас, только предметов еще больше, и в лабораторию ходить надо. Разве для штуки подняться в третий этаж [6] и засесть за белуджистанскую литературу? Так ведь это именно только для штуки можно.

— Да, разумеется. Переходить вам действительно некуда.

— И, главное дело, незачем. Память у меня блестящая. Экзамены я сдаю великолепно. Значит, я свою юриспруденцию дотяну до конца как следует, а потом, как получу диплом, так сейчас ее и по боку.

— Совсем по боку нельзя. А служить-то как же без юриспруденции?

— Я служить не буду.

— Либерализм одолевает?

— Какой либерализм? Либерализм этому нисколько не мешает. Не только не мешает, а даже побуждает служить. Тут, стало быть, дело совсем не в либерализме. Я не буду служить потому, что намерен поселиться в деревне.

— Что ж вы там намерены делать?

— Там-то?! Да там теперь самая настоящая работа и начинается. Во-первых, я хочу упрочить положение бывших моих крепостных. А во-вторых, буду жить тихо, скромно, спокойно, обложу себя книгами, буду понемногу улучшать хозяйство, женюсь, будем с женой заниматься хозяйством, музыкой, будем кататься на лодке, будем много, много читать, будем вместе учить крестьянских детей... Да, помилуйте, теперь трудно и высказать, как много добра можно там сделать, как сильно можно подействовать на все окружающее общество; ведь не звери же там живут, а люди; ведь теперь и там уже много молодых деятелей, получивших высшее образование; ведь стоит только дать первый толчок; все это проснется и двинется... Лишь бы обстоятельства не помешали, — а то можно целый край пересоздать. Была бы только любовь к делу, а ее, как видите, достаточно.

— А вы теперь сколько получаете доходу?

— В хорошие годы тысячи четыре, да только теперь эти хорошие годы что-то редки становятся. В прошлом году на 2500 пришлось съехать.

— Ну, а с крестьянами-то вы как же разделаетесь? На выкуп пойдут или как?

— Что вы? Помилуйте! Какой выкуп! Мои убеждения не позволяют мне брать с них деньги за ту землю, которою они владеют. Ведь если б вы знали, как меня любят эти люди; ведь я, когда маленький был, каждого мужика в лицо знал и по имени. Как я иду, бывало, по деревне, мужик встречается и сейчас к руке подходит; я, разумеется, не даю ни под каким видом, и начинаются целования в губы. Славное это было время!

— Стало быть, землю даром даете?

— О, разумеется!

— Тогда ведь, пожалуй, на 1500 придется съехать.

— Не думаю. Во-первых, вам должно быть известно, что вольнонаемный труд производительнее обязательного. Это — экономическая аксиома. Второе дело — хозяйский глаз. Теперь приказчик валит через пень-колоду, а уж тогда — извините. Ну, потом — машины можно завести. Вместо трехпольного хозяйства — плодопеременную систему. Кое-какие свободные деньги у меня есть: заведу тирольских коров. Одним словом, извернуться можно. Я надеюсь даже так устроить, что у меня еще больше будет дохода, чем прежде. Главное дело — энергия и любовь к делу.

— Это-то все хорошо; да только ведь вы сейчас говорили, что вы этих людей очень любите.

— Так что же? Разумеется, люблю. Еще бы я их не любил! Да если бы я не любил их лично, по воспоминаниям детства, так я все-таки должен в них любить мое отечество. Ведь эта сермяга именно может ударить себя в грудь и сказать: «la patrie c'est moi». * Если сермяге хорошо жить на свете, значит, все отечество благоденствует.

— Что вы яростный демократ — это я давно вижу. А вы мне вот что объясните — вы в деревне о чем будете заботиться: о сермяге или о доходе?

— Одно другому нисколько не мешает. Сермяга получит землю, произойдут великие целования: *батюшка, отец родной, озолотил,* и так далее. Ну, когда все это кончится, задам я им пир горой, а потом и начну доходы свои совершенствовать.

— Кто же вашу землю пахать будет? Все-таки та же сермяга?

— Ну, разумеется. Не могу же я сам тысячу десятин вспахать, засеять и убрать.

— А одну можете?

— Не пробовал, да, я думаю, и пробовать незачем. Буду я, вероятно, нанимать своих же бывших крестьян, и они, разумеется, будут у меня работать с превеликим удовольствием.

* «Отечество — это я» *(франц.)*. — Перефразировка выражения, приписываемого Людовику XIV: «Государство — это я». — *Ред.*

— Какую ж вы им цену будете давать? Что запросят — так сейчас вы и согласитесь?

— А вы думаете, они будут запрашивать?

— Я думаю, их прямой интерес состоит в том, чтобы брать за свой труд как можно дороже, а в чем будет состоять ваш прямой интерес — это вы мне потрудитесь теперь объяснить. У вас тут произойдет столкновение между любовью к сермягам и любовью к доходу. Которое же из этих двух чувств одержит перевес? А если они должны оставаться в равновесии, то каким образом вы ухитритесь устроить между ними примирение?

— Да что ж тут мудреного? Как другие хозяева делают, так и я буду делать.

— Другие хозяева не дарят земли, другие хозяева не чувствуют никакой особенной нежности к сермяге, другие не говорят о благоденствии отечества, другие не собираются пересоздавать целый край, и поэтому другие могут торговаться с *этими бестиями*, и действительно торгуются из-за каждой копейки, и никто им за это не скажет худого слова, потому что их дело хозяйское; но каким образом опасный человек и яростный демократ Щетинин будет торговаться с *этими бестиями* — этого я уж никак не умею взять в толк.

— Я не говорил вам, что буду подражать разным Плюшкиным и Ноздревым. Я буду действовать так, как действуют все честные и хорошие хозяева. Если мужик заломит цену совсем несообразную, — ну, тогда, разумеется, я ему растолкую, что так нельзя, что это недобросовестно, что таким образом он рискует остаться без работы. И тут же я ему объясню, какими выгодами он будет пользоваться, если согласится принять мои условия, составленные к нашему обоюдному удовольствию. Разговор со мною будет даже очень полезен для мужика; вместо того чтобы торговаться, — как вы выражаетесь, — с *этими бестиями*, я просто буду читать моим возлюбленным согражданам лекции политической экономии. Это разве дурно?

— Кроме траты времени, в этих лекциях не будет ничего дурного, по той простой причине, что слушатели ваши, к счастью для себя, не поймут и не захотят понимать ваши рассуждения.

— В настоящую минуту я тоже не понимаю вас.

— Понять не трудно. Вам хочется убедить мужика в том, что он ломит с вас несообразную цену и поступает недобросовестно. Вам хочется вложить в его мужицкую голову такие понятия, вследствие которых он считал бы своим священным долгом вечно питаться хлебом и луком и вечно выбиваться из сил исключительно для того, чтобы доставлять вам каждый день страсбургские пироги и бутылку лафита. Чтобы убедить мужика в непреложности этого закона, надо отнять у него всякую способность размышлять; иначе он никак не поверит тому, что его скромное и естественное желание улучшить свое положение составляет

несообразность или недобросовестность. Если бы он этому поверил, то он превратился бы в идиота, что, конечно, было бы очень грустно. Если же он этому не поверит, то ваше время и ваша лекция будут потрачены даром. Как бы ни была несообразна и недобросовестна та цена, которую слупит с вас мужик, — все-таки он на эти заработанные деньги не доставит себе ничего, кроме самых необходимых удобств жизни. Купит он себе сапоги, или новый полушубок, или дугу; поправит, может быть, избу, которая, того и гляди, задавит его вместе с семьею; заведет он лишнюю корову, так что ему можно будет чаще прежнего хлебать молоко. И остальная его роскошь все в том же роде. И, зная это, вы все-таки будете ему доказывать, что стремиться к новым сапогам, к полушубку, к поправлению развалившейся избы с его стороны и несообразно и недобросовестно, потому что такими стремлениями он может довести вас до такой печальной крайности, что вам придется вместо страсбургских пирогов кушать только швейцарский сыр, а вместо благородного лафита пить за обедом скромное шато-марго или даже — чего боже упаси! — презренный медок. И поворотится у вас язык читать возлюбленным согражданам такие лекции политической экономии? А если поворотится, — то будете ли вы иметь достаточное право презирать разных Плюшкиных и Ноздревых, которые торгуются с *этими бестиями?* Прочтете вы мужику вашу лекцию; она, разумеется, на него не подействует. Вы тогда что сделаете? — Вы тогда припрете мужика к стене тем аргументом, что он, — несообразный и недобросовестный мужик, — *рискует остаться без работы. — Этот* аргумент подействует. Еще бы не подействовать! Аргумент старый, испытанный, поседелый в боях, но вечно юный, прекрасный и убедительный! На этом аргументе, поражающем рабочего человека прямо в желудок, построена вся европейская промышленность. Но когда вы будете употреблять этот убедительный аргумент, вы уж так и знайте, что именно вы делаете. Вы тогда не думайте, что читаете возлюбленному соотечественнику лекцию политической экономии, вы тогда будьте уверены, что вы привели человека в застенок и вытряхиваете из него те страсбургские пироги и бутылки лафита, которые будут появляться на вашем столе.

— Бог знает что вы говорите! И кто вам сказал, что я намерен торговаться. Что запросят, то я и буду давать. Ну, довольны ли вы наконец?

— Да я и прежде был очень доволен. Мое дело — сторона. А что *вы* не будете довольны вашими доходами — в этом я могу уверить вас заранее. Если вы не будете водить ваших возлюбленных соотечественников в вышеупомянутый застенок, — они оберут вас дочиста в самое короткое время.

— То есть как же это? Небось потребуют сразу по сту рублей в день?

— Зачем же сразу и зачем же по сту! Они тоже не сумасшедшие. Сразу они увидят только, что вы — барин податливый и что вас можно забрать в руки. И заберут.

— Как же это они меня заберут?

— Очень просто. Можно работать изо всех сил, и можно работать спустя рукава. Можно вставать на работу в четыре часа, и можно вставать в семь часов. Можно тратить на обеденный отдых час, и можно тратить три часа. Можно держать рабочих лошадей в чистоте и в порядке, и можно держать их черт знает как. Можно обходиться с инструментами бережно, и можно обходиться небрежно. Во всех этих случаях мешкотность и небрежность для работника выгодны, потому что сберегают его силы, а для хозяина убыточны, потому что количество добываемых продуктов уменьшается и рабочие инструменты портятся. Когда работник ведет дело лениво или небрежно, тогда хороший хозяин с него взыскивает. Если же вы, по либеральности вашего образа мыслей, взыскивать не намерены, то хозяйство ваше все пойдет вразброд, и произойдет именно то, что ваши работники заберут вас в свои руки. Вы их будете кормить, одевать, обувать и постоянно будете оставаться в чистом убытке. Как вам нравится эта перспектива? И как вы полагаете, не поворотить ли вам обратно к испытанным мерам спасительной строгости?

— Послушайте! В самом деле, совсем без взысканий обойтись в хозяйственном деле невозможно. Кое-какая дисциплина совершенно необходима. Иначе ведь это дым коромыслом пойдет. Лень, грубость, пьянство — просто хоть вон беги! Это даже и для них самих скверно будет. Они совсем негодяями сделаются.

— Еще бы, разумеется.

— Да. Ну, так как же не взыскивать? Взыскания у меня будут, и, стало быть, батраки мои не заберут меня в руки.

— Все виды взыскания можно свести к двум категориям: одни — телесные наказания, другие — денежные штрафы. Мужика можно бить или дубиной, или полтиной. Вы которое из этих орудий намерены пустить в ход?

— Я совершенно неспособен драться с мужиками.

— Драть мужиков и драться с мужиками две вещи разные. Но я не стану привязываться к словам. Итак, вы склоняетесь к полтине?

— Если мужик своею небрежностью нанесет мне убыток, то он, по всей справедливости, обязан вознаградить меня за этот убыток. Брать с него вознаграждение — значит приучать его к осмотрительности и к добросовестности.

— Именно так. Например, у вас идет уборка хлеба, и вы пользуетесь сухою погодою, чтобы поскорее свезти с поля всю вашу пшеницу; вам каждый час дорог, потому что — того и гляди — начнутся дожди, хлеб вымокнет, прорастет, и убытков не оберешься. Каждое замедление работников посягнет прямо

на ваши карманы. И вдруг вы узнаете, что работники вышли в поле не в четыре часа утра, а в шесть. Разумеется, надо взыскать с каждого из них по крайней мере по 5 копеек штрафа за каждый упущенный час. Так или нет?

— По-моему, так.

— Все хорошие хозяева, то есть все благоразумные люди, смотрящие на работника как на машину, доставляющую нам удобства к жизни, — совершенно с вами согласятся. Но есть люди безрассудные, которые по этому поводу способны наговорить много сентиментального вздора. Они скажут, например, что самый жалкий и зависимый батрак — все-таки живой человек и что у него есть свои органические потребности, за удовлетворение которых штрафовать не годится. Они скажут, что, работая целый длинный летний день, мужик измучился, что ему напекло голову, что он долго не мог заснуть с вечера именно от головной боли и что поэтому ему невозможно было подняться на работу в четыре часа. Как все это наивно и смешно! Мужику напекло голову — ха, ха, ха! — У мужика голова болит — ха, ха, ха! — Мужику утром спать хочется —ха, ха, ха! — И пшенице господской из-за этого мокнуть — ха, ха, ха! Убедительно вас прошу разделить со мною мою веселость. С какой стати вы предоставляете мне одному удовольствие смеяться над безрассудными речами безрассудных людей?

— Я вовсе не считаю этих людей безрассудными и нисколько не намерен смотреть на мужика как на машину.

— Напрасно! Ну, так смотрите на него по крайней мере как на злейшего и коварнейшего врага.

— И этого не хочу. Это еще гнуснее.

— Чего же вы, наконец, хотите? И как же вы, наконец, намерены смотреть на ваших батраков? Небось скажете — как на младших братьев? Вот одолжите-то!

— Это, конечно, фраза избитая и опошленная. Много нужно храбрости на то, чтобы произнести ее серьезно. И, однако же, я все-таки произнесу ее: да, я твердо решился смотреть на них как на младших братьев.

— О мой добродетельный юноша! О мой храбрый и твердо решившийся либерал! Как живо разлетится одно из двух: или ваше родовое имущество, или ваше благоприобретенное братолюбие! Вы подумайте хорошенько: которое из этих двух сокровищ для вас дороже? И, подумавши, решите заранее: с которым из них вы намерены расстаться. И наконец, решившись, действуйте смело и последовательно, окончательно отложивши в сторону несбыточные надежды сохранить в неприкосновенности оба сокровища разом. Вы не верите тому, что я вам говорю?

— Не верю.

— И намерены удержать и приумножить оба сокровища?

— Намерен.

— Ну, так слушайте же. Я предлагал вам смотреть на работника как на машину. Вы отказались и прогулялись насчет братолюбия. Вашим отказом и вашею прогулкою вы подорвали основной принцип *наемщины*, на которой должно держаться все ваше хозяйство. Наемщина не мыслима без двух условий: первое борьба за рабочую плату; второе — борьба за исправность работы. Другими словами, надо торговаться и надо взыскивать. Без этого не может идти ни одно хозяйство, построенное на батрачестве. Если я смотрю на батрака как на машину, мне очень удобно и торговаться с ним и взыскивать с него. Я предлагаю ему ничтожную цену; он упирается. Что это значит? Это значит, что машина, которую я тащу к себе в дом, упирается по силе инерции. Надо победить это сопротивление энергическим усилием, например стачкою нанимателей. Когда усилие сделано и сопротивление побеждено, тогда все обстоит благополучно. Хорошо ли работнику при ничтожной плате, и каким образом он ухитрится свести концы с концами, и чем он будет набивать себе желудок — все эти вопросы не имеют ни малейшего смысла, точно так, как не имеет смысла вопрос о том, приятно ли машине стоять у меня в комнате. Так же удобно совершаются необходимые взыскания. Что я делаю с машиною, когда она начинает действовать неисправно? Я смазываю ее деревянным маслом. Что я делаю с лошадью, когда она не желает бежать рысью? Я смазываю ее ловким ударом кнута. Что я делаю с работником, когда он работает вяло и небрежно? Я также смазываю его достаточным количеством розог или, при изменившихся обстоятельствах, вычетом из его задельной платы. Почему, отчего, зачем работник работает вяло и небрежно, — об этом я не спрашиваю, точно так же, как не интересуюсь размышлениями, страстями или огорчениями лошади, не желающей идти рысью...

— Все это чистые теории и утопии. Вы меня нисколько не убедите. Я решился твердо и пойду вперед по тому пути, который я себе выбрал. Дальнейшие возражения с моей стороны я считаю бесполезными, но мне любопытно было бы знать, — так просто, из желания посмотреть на воздушные замки, — к каким положительным теоретическим заключениям вы ведете вашу аргументацию. Вы старались доказать, что надо выбрать одно из двух: братолюбие или приумножение доходов. Представьте себе, что я убедился вашими доводами и, после зрелого размышления, твердо решился выбрать во что бы то ни стало чистейшее братолюбие. Что же мне следовало бы делать?

— Работать.

— Работать! Хорош ответ! Вы скажите, *что* и *как* работать?

— Хорош вопрос! Точно я могу залезть в вашу шкуру, смотреть на вещи вашими глазами, думать вашим мозгом и вообще понимать лучше вас самих все тончайшие особенности вашего

ума, характера и темперамента? Я могу сказать вам только одно: к чему вы расположены, тем и занимайтесь.

— А если я ни к чему не расположен?

— Тогда у вас братолюбия быть не может, и тогда дальнейший разговор становится бесполезным.

— Почему же не может быть братолюбия?

— Кто любит людей, тот хочет во что бы то ни стало приносить им пользу и, следовательно, чувствует влечение ко всякой деятельности, способной так или иначе облегчить человеческие страдания. Если это влечение существует, то затем остается только из многих полезных отраслей труда выбрать ту, которая соответствует всего больше складу вашего ума. И такая отрасль непременно найдется, если только вы не идиот и не калека.

— Ну, положим, что такая отрасль нашлась. Дальше что же?

— Дальше ничего. Будете жить, будете работать, будете приносить пользу, потом в свое время умрете.

— Все это я и намерен делать у себя в деревне. Буду работать — то есть заниматься хозяйством; буду приносить пользу — устрою школу, больницу, образцовую ферму.

— Охота вам говорить о хозяйстве. Ну, какой же вы агроном, какой же вы специалист? Попробуйте наняться к кому-нибудь в управляющие: возьмет ли вас кто-нибудь, и много ли дадут вам жалованья, и долго ли вас продержат? Неужто вы в самом деле думаете, что будете получать ваши доходы за ваши агрономические труды, а не за то совершенно не зависящее от вас обстоятельство, что вам принадлежит известное пространство земли. Вы будете жить в деревне доходами с земли, которую обработывают за вас другие люди. Разве это значит жить собственным трудом? Потом вы сюда еще приплели школу и больницу. Если вы сами намерены сделаться школьным учителем, то вам и книги в руки: только в таком случае надо удовольствоваться тем жалованьем, которое получают сельские учителя. Больницу же вы никогда не устроите, потому что для этого вам пришлось бы отказаться от многих удобств жизни.

— Так, по-вашему, что же я должен сделать с имением?

— По-моему, давно пора прекратить этот разговор. Поезжайте к себе в деревню, откажитесь от глупых фантазий, свойственных петербургскому студенту, и превращайтесь поскорее в образцового хозяина. Вы сами знаете очень хорошо, что для вас в жизни нет другой дороги.

ПОГИБШИЕ И ПОГИБАЮЩИЕ

I

Сравнительный метод одинаково полезен и необходим как в анатомии отдельного человека, так и в социальной науке, которую можно назвать анатомиею общества.

В анатомии человека сравнительный метод может прикладываться к делу или так, что сравниваются между собою одинаковые органы различных животных, или же так, что для сравнения берутся различные органы одного и того же животного. В анатомии общества уместны и употребительны оба видоизменения сравнительного метода. Можно сравнивать между собою соответственные учреждения различных обществ, например суды Франции с судами Англии, Пруссии, России и так далее; и можно также сопоставлять и рассматривать в связи между собою различные учреждения одного и того же общественного организма, например французскую армию и французские финансы, прусскую палату депутатов и прусское чиновничество, английское землевладение и английские workhouses [1] (рабочие дома для нищих).

В этой статье я намерен представить читателю сравнительно-анатомический этюд, произведенный по этому второму способу. Я намерен сопоставить русскую школу с русским острогом. Результаты получатся неожиданные и довольно поучительные. Берусь же я именно за эту задачу собственно потому, что мы имеем в нашей новейшей литературе два замечательные сочинения: «Очерки бурсы» Помяловского и «Записки из мертвого дома» г. Достоевского — два сочинения, из которых можно почерпнуть самые достоверные и самые любопытные сведения о русской школе и о русском остроге сороковых и пятидесятых годов.

Читателям покажется быть может, что, называя бурсу русскою школою, я придаю бурсе слишком обширное значение. Читатели скажут, что гимназии, корпуса, лицеи, университеты и академии непременно должны быть признаны русскими шко-

лами, что бурсы составляют самую последнюю категорию русских школ и что, следовательно, употребляя общее выражение *русская школа*, надо брать не низший сорт, а средний вывод, который, разумеется, должен оказаться значительно лучше этого низшего сорта. — Это правда. Надо брать средний вывод. Но тут есть одно маленькое затруднение: тот средний вывод, на который указывает возражение читателей, изображает собою совсем не русскую школу, а только школу русского привилегированного меньшинства. Настоящий средний вывод, настоящая русская школа остаются неизвестными, по той простой причине, что несоразмерно громадное большинство русского народа обходится до сих пор совсем без школ. Если же мы во что бы то ни стало, непременно желаем составить себе приблизительное понятие о том, чем могла бы быть русская школа, школа открытая и доступная для большинства, то мы должны удариться в область предположений. Хорошо, ударимся. Положим, что при сохранении всех существующих условий нашей общественной жизни в каждой русской деревне открыто по крайней мере по одному училищу. В каком же роде будут эти училища? Чему они будут обучать своих воспитанников? Отвечать на этот вопрос не трудно, если только мы желаем оставаться в границах правдоподобного. Самые пылкие просветители, не только у нас, но даже и за границей, в самых пылких своих мечтаниях осмеливаются доходить только до того требования, чтобы все их соотечественники и соотечественницы умели читать, писать и считать. Дальше этого нейдут покуда ни их желания, ни их надежды. При настоящих условиях дальше идти действительно невозможно, потому что не на что: денег не хватит. Итак, в деревенских училищах будут читать, писать и считать. В бурсе этим не ограничиваются; стало быть, уровень преподавания немедленно понижается, как только школа начинает делаться доступною для большинства. Такое же точно понижение допускается и в личном составе учителей; в бурсе учительствуют кандидаты и магистры духовных академий или по меньшей мере люди, окончившие курс в семинарии; в деревенских училищах будут господствовать волостные писаря, бессрочно-отпускные солдаты, пономари и вообще такие люди, для которых буква ѣ составляет вечный камень преткновения, а деление простых чисел — крайнюю границу человеческой премудрости. Чем невежественнее преподаватель, тем менее имеет он средств сделать учение привлекательным для учеников; а чем скучнее и несноснее учение, тем сильнее должен быть педагогический террор, потому что, разумеется, только боль и страх могут сколько-нибудь противодействовать тому естественному отвращению, которое внушают отрокам и юношам бессмысленные уроки, непонятные даже самому преподавателю. Стало быть, в предполагаемых деревенских училищах должно непременно совершиться одно из двух: или водвориться террор, еще более сильный, чем

в бурсе; или же, если развитию террора помешают какие-нибудь внешние гуманно-либеральные влияния, — все преподавание окажется бесплодным, и ученики будут выходить из школы с теми же самыми знаниями, с которыми они в нее вступили.

В материальном отношении содержание учеников также будет еще хуже, чем содержание бурсаков. Как живут наши мужики, во что они одеваются, что едят — это, я думаю, до некоторой степени известно, хотя и по слухам, моему человеколюбивому читателю. Как ни скромно, как ни мизерно внутреннее устройство бурсы, описанной Помяловским, однако же в этой завалящей бурсе есть кое-какие предметы роскоши, не известной и не доступной огромному большинству наших соотечественников. Так, например, бурсаки учат уроки при свете дрянной лампы, которая одна освещает большую комнату, вмещающую в себе более сотни учеников. Эта дрянная лампа составляет чистейшую роскошь, потому что в мужицких избах горит по вечерам не лампа и даже не сальная свеча, а лучина, при свете которой читать книжку и заниматься наукою еще гораздо мудренее. Далее, у каждого бурсака есть кровать с тюфяком, с подушкой и с одеялом; это уже огромная роскошь: большинство наших соотечественников спит на лежанках, на лавках, на полатях, подкладывая под голову зипун и покрываясь в холодное время какимнибудь дырявым полушубком. Если мы предположим, что ученики деревенских школ живут у своих родителей и приходят в школу только на классное время, то окажется, что огромное большинство этих экстернов живет, ест и одевается хуже бурсаков, изображенных у Помяловского. Если же мы предположим, что в каждой деревне устроен особый пансион, в котором постоянно живет учащееся юношество, то этот пансион своею мизерностью и неопрятностью далеко превзойдет бурсу Помяловского. Кроме того, даже этот мизернейший и грязнейший пансион для многих сельских общин окажется совершенно непосильным бременем.

На содержание бурсака казна отпускает *немного;* значительная часть прилипает обыкновенно к рукам смотрителя, инспектора, эконома и училищной прислуги; остатком поддерживается бренное существование бурсака; остаток этот составляет уже очень незначительную горсточку земных благ; но даже и по такой горсточке наше общество никак не может тратить ежегодно на *каждого* из своих подрастающих членов. Бурсак живет очень бедно и грязно; но у него есть тысячи ровесников, которые живут еще беднее и грязнее; между этими тысячами, составляющими большинство русского молодого поколения, есть очень много и таких, которых бедность и грязь доводят до преждевременной смерти. Поэтому назвать бурсу русскою школою вовсе не значит обидеть русскую школу. Рассматривая внутреннее устройство бурсы, мы вовсе не должны думать, что имеем дело с какимнибудь исключительным явлением, с каким-нибудь особенно

темным и душным углом нашей жизни, с каким-нибудь последним убежищем грязи и мрака. Ничуть не бывало. Бурса — одно из очень многих, и притом из самых невинных проявлений нашей повсеместной и всесторонней бедности и убогости.

Итак, будем рассматривать бурсу и мертвый дом; проведем параллель между русскою школою и русским острогом сороковых годов.

II

Обитатели мертвого дома, или, проще, каторжники, занимаются, как известно, обязательными казенными работами, которые составляют одну из важнейших составных частей наложенного на них наказания. «Самая работа, — говорит г. Достоевский, — показалась мне вовсе не так тяжелою, *каторжною*, и только довольно долго спустя я догадался, что тяжесть и *каторжность* этой работы — не столько в трудности и беспрерывности ее, сколько в том, что она *принужденная*, обязательная из-под палки» (т. I, стр. ⟨32—⟩33). Далее г. Достоевский соображает очень основательно, что эта обязательная работа сделалась бы еще более ужасною и даже совершенно невыносимою, если бы ей был придан характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы, то есть если бы, например, арестанта заставили переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно.

Спрашивается теперь, есть ли в жизни бурсаков какое-нибудь занятие, соответствующее обязательной работе каторжников? Каждый бывший бурсак и даже каждый читатель, знакомый с очерками Помяловского, ответит не задумываясь, что все учебные занятия бурсаков похожи, как две капли воды, на обязательную работу каторжников. Остается только решить вопрос, на какую именно работу похожи умственные труды бурсаков, на ту ли, которая действительно существует в мертвом доме, или же на ту, в которой г. Достоевский справедливо видит ужасный и, к счастию, неосуществленный идеал каторжной работы? Мне кажется, что работа бурсаков подходит довольно близко к последней категории, то есть к мучительному переливанию воды из одного ушата в другой, а из другого в первый. Каждому бурсаку, еще не совсем потерявшему способность размышлять, бурсацкое зубрение должно казаться и действительно кажется занятием совершенно бессмысленным, совершенно бесполезным и, следовательно, таким же мучительным и невыносимым, как, например, бесцельное переливание воды туда и обратно. Все мы знаем очень хорошо, что бурсаки зубрят или по крайней мере зубрили жестоко. Но мне кажется, немногие из нас отдают себе совершенно ясный отчет в том, что́ такое зубрение, или долбление. При поверхно-

стном и невнимательном взгляде на предмет может показаться, что между простым запоминанием и ожесточенным вызубриванием урока существует только количественное различие. Профаны могут рассуждать так: прочтите урок два или три раза, вы его запомните и будете в состоянии пересказать его своими словами; а прочтите тот же урок раз десять или пятнадцать, — и вы его вызубрите, то есть будете знать его слово в слово. — Профаны эти ошибаются. Запоминать и зубрить — это два совершенно различные процесса, и каждый из этих процессов имеет свои специфические приемы. Тот неопытный и несчастный смертный, который вздумал бы зубрить урок, читая его со смыслом и с толком от начала до конца, потратил бы даром oleum et operam. * Запоминать — значит вглядываться в мысли и отдавать себе отчет в том, каким образом одна мысль связывается с другою или вытекает из нее. Зубрить, напротив того, — значит приучать свой язык, свои губы и все другие органы слова к тому, чтобы они выделывали бойко, безошибочно и в неизменной последовательности тот длинный ряд сложных движений, который соответствует писаным или печатным словам данного урока. Вся штука и весь букет состоят именно в том, чтобы эти движения выделывались сами собою, чтобы первое движение с неодолимою силою тянуло за собою второе, третье, четвертое и так далее до самого конца и чтобы весь этот ряд движений совершался независимо от размышления; если вы, пустившись в эти движения, принуждены припоминать и соображать, то это значит, что результат не достигнут и что урок непременно начнет высказываться собственными словами, сообразно с вашим личным складом ума и с вашим индивидуальным оттенком красноречия. Если вы хотите что-нибудь вызубрить, то вы должны в какие-нибудь полтора часа совершить над собою ту операцию, которая в течение нескольких лет совершается над фабричным, приучающимся делать машинально, руками или ногами, те или другие эволюции. Навык работника состоит в том, что известные сочетания движений делаются у него без напряжения внимания, без постоянного участия воли и размышления. Именно такие навыки приходится приобретать зубрящему человеку в самое короткое время. Если каждый день у бурсака имеется по четыре урока, то аккуратно каждый вечер бурсак должен приобретать себе по четыре совершенно различных навыка, из которых каждый не в пример сложнее и замысловатее единственного навыка, приобретаемого рабочим в течение нескольких лет. Приобретаются эти навыки следующим образом: вы делаете сначала первые десять движений, то есть произносите первые три или четыре слова урока, произносите несколько раз до тех пор, пока они у вас срастаются между

* Ср. латинскую поговорку: oleum et operam perdidi — потерял масло и труд. О напрасном, безрезультатном труде. — *Ред.*

собою наглухо; к этим упроченным движениям вы приставляете пять или шесть новых движений, которые через несколько минут прирастают к первым; затем вы оставляете в стороне образовавшуюся группу слов и точно таким же манером устраиваете из следующих слов урока новую группу; затем производится склеивание обеих групп в одно целое; когда склейка оказывается настолько солидною, что вы, нисколько не задумываясь, произносите подряд обе группы, тогда вы идете дальше, постоянно приклеивая к затверженному началу урока новые комбинации звуков. Взгляните со стороны на занимающихся учеников, и вы, при некоторой наблюдательности, тотчас заметите, который из них учит урок с размышлением и который зубрит. Размышляющий ученик читает книгу глазами; губы его не шевелятся, а только изредка сжимаются, когда он, наморщив лоб и прищурив глаза, вдумывается, припоминает и резюмирует прочитанную страницу; он иногда останавливается, повертывает страницу назад, перечитывает вновь те места, в которых заключается исходная точка последующих мыслей; на лице его видна живая смена ощущений; он обнаруживает признаки недоумения, он чего-то ищет, он чем-то озабочен, он нахмуривается; потом он нападает на след той мысли, которую он искал, физиономия его проясняется, в глазах его проблескивает луч радости и живого понимания, и юный мыслитель наш спокойно и весело продолжает свою приостановившуюся работу. — Зубрило, напротив того, постоянно шевелит губами и, покачиваясь всем туловищем, быстро вышептывает одно за другим роковые слова урока; чем сильнее становится его зубрильный пафос, тем яростнее шевелятся губы, тем громче произносятся слова и тем неукротимее качается туловище; зубрило шалеет, глаза его мутятся, и весь он становится похож на человека, опившегося дурманом, или на дервиша, закружившегося до помрачения рассудка.

Помяловский, видавший на своем веку множество самых чистокровных зубрил и отведавший сам прелести этого занятия, рисует очень яркими чертами процесс бурсацкой каторжной работы и влияние этой работы на материальное и умственное здоровье бурсаков. «Ученики, — говорит он, — сидя над книгою, повторяли без конца и без смыслу: «стыд и срам, стыд и срам, стыд и срам... потом, потом... постигли, стигли, стигли... стыд и срам потом постигли...» Такая египетская работа продолжалась до тех пор, пока навеки нерушимо не запечатлевался в голове ученика *стыд и срам*. Сильно мучился воспитанник во время урока, так что учение здесь является физическим страданием, которое ⟨и⟩ выразилось в песне: «Сколь блаженны те народы» (стр. 56).

«Что же удивительного, — говорит он далее, — что такая наука поселяла только отвращение в ученике и что он скорее начнет играть в плевки или проденет из носу в рот нитку, нежели

станет учить урок? Ученик, вступая в училище из-под родительского крова, скоро чувствовал, что с ним совершается что-то новое, никогда им не испытанное, как будто перед глазами его опускаются сети одна за другою, в бесконечном ряде, и мешают видеть предметы ясно; что голова его перестала действовать любознательно и смело и сделалась похожа на какой-то аппарат, в котором стоит пожать пружину — и вот рот раскрывается и начинает выкидывать слова, а в словах — удивительно! — нет мысли, как бывало прежде» (стр. 58). «Вон Данило Песков, — продолжает Помяловский, — мальчик умный и прилежный, но решительно неспособный долбить слово в слово, просидев над книгою два часа с половиною, поводит помутившимися глазами... и что же?.. он видит: многие измучились еще более, чем он, многие еще доканчивают свою порцию из учебников, озабоченно вычитывая урок и подняв голову кверху, как пьющие куры. Иные чуть не плачут, потому что невысокий балл будет выставлен против их фамилии в нотате. Один, желая возбудить в себе энергию, треплет сам себя за волоса...» (стр. 59).

По мучительности своей ученая бурсацкая работа далеко превосходит работу арестантов, которая, по словам г. Достоевского, сама по себе нисколько не обременительна. С точки зрения обязательности или подневольности, работа бурсаков также перещеголяла работу арестантов. В первом томе своих «Записок» от стр. 147 до стр. 152 г. Достоевский описывает арестантскую работу, ломание старой барки; придя на реку, арестанты рассаживаются по бревнам и закуривают трубки; потом начинают рассуждать о том, кто догадался ломать эту барку; потом критикуют проходящих мужиков, потом любезничают с калашницей и просят у нее того, чего мыши не едят. Тут является пристав над работами и приглашает публику приступить; публика просит себе урока, говорит, что скорей скорого не сделаешь, и начинает действовать так вяло, что пристав считает необходимым плюнуть и отправиться за кондуктором, который исполняет желание публики и задает ей урок. — Таким образом работники нисколько не надрываются; они резонируют, благодушествуют, делают кейф и даже торгуются насчет работ с своим ближайшим начальством; положение этих работников, конечно, очень тяжело и незавидно, потому что они лишены свободы и принуждены заниматься таким делом, которое не доставляет им ни удовольствия, ни личной выгоды; но неволя арестантов легка в сравнении с неволей бурсаков; над последними контроль по работам несравненно строже; арестантов никто не подвергает взысканию за то, что они балагурят в рабочее время; бурсака, напротив того, порют очень аккуратно за каждый невыученный урок; а что значит выучить урок — это я показал выше, объясняя и анализируя процесс зубрения. Притом надо заметить, что бурсака порют не гуртом за общую неисправность работы, а порознь за каждый

невыученный урок; при такой раздробительной системе воздаяния на долю одного бурсака может прийтись в один день по нескольку сечений, чего с арестантом уже никаким образом случиться не может, так как в остроге право казнить и миловать принадлежит одному начальству, а в бурсе это право распределяется между многими учителями. «Когда приходилось, — говорит Помяловский, — что три описанные учителя занимали уроки в один и тот же день, то одного и того же ученика секли несколько раз. Так, Карася, случалось, отдирали четыре раза в один день (в продолжение всей училищной жизни непременно раз четыреста)» (стр. 114). Далее, по своей занимательности работа бурсака стоит положительно ниже ломания барки или делания кирпича и может быть поставлена на одну доску с переливанием воды из ушата в ушат. Если мне возразят, что бурсак в этой работе может видеть средство добиться хорошего аттестата и составить себе карьеру, то я отвечу, что и арестант, посаженный в острог на известное число лет, может видеть в исправном переливании воды дорогу к освобождению. В самом деле, если бы арестант, осужденный на переливание воды, вздумал заупрямиться и отказался бы от своей бесплодной и мучительно-скучной работы, то его стали бы наказывать, а если бы дисциплинарные наказания не сломили его упрямства, то его вторично отдали бы под суд за дурное поведение, и время его заключения увеличилось бы в более или менее значительных размерах. Точно так же поступают и с ленивым бурсаком: сначала его отечески наказывают, а потом его исключают, то есть у него отнимают аттестат и карьеру. Стало быть, интерес работы одинаков для бурсака, зубрящего *«стыд и срам»*, и для арестанта, переливающего воду из ушата в ушат, потому что первый за небрежное выполнение работы лишается некоторых выгод, а второй за то же самое подвергается некоторым невыгодам. Цель бурсака состоит в том, чтобы доплестись всеми правдами и неправдами до выпускного экзамена; цель арестанта в том, чтобы безнаказанно дожить до дня освобождения. Обе эти цели до такой степени отдаленны, что они нисколько не могут осветить и украсить собою обязательную работу. Человек может работать охотно и весело только тогда, когда он постоянно извлекает себе из работы немедленную выгоду или когда самый процесс работы доставляет ему непосредственное удовольствие. Когда работа сама по себе имеет какой-нибудь внутренний смысл, понятный для работника, тогда возможно увлечение работою, хотя бы даже и обязательною. Но так как затверживание *стыда и срама* не имеет никакого внутреннего смысла и в то же время требует очень сильного напряжения энергии и внимания, то далекая перспектива аттестата и карьеры становится совершенно недействительною, и юношество подвигается вперед по узкому и скорбному пути бурсацкой премудрости при содействии таких героических средств, которые могли бы испугать даже обитателей мертвого

дома и которые даже в мертвом доме оказались бы необходимыми только в том немыслимом случае, если бы начальству вздумалось приурочить арестантов к бессмысленному переливанию воды семо и овамо. *

III

Другая сходная черта бурсы и мертвого дома состоит в мизерности того содержания, которое получают обитатели этих двух, одинаково воспитательных или одинаково карательных заведений. Здесь опять пальма первенства остается за бурсою, по крайней мере за тою бурсою, которую описал Помяловский. Что едят бурсаки и что едят арестанты? Качества их щей, каши и так далее мы, разумеется, сравнивать не можем, потому что к сочинениям Помяловского и г. Достоевского не приложено, в виде pièces justificatives, ** образчиков этих деликатных кушаний; оба говорят, что скверно, а что хуже, об этом по описанию судить мудрено. Но есть один осязательный пункт, который доказывает, что бурсакам было хуже жить, чем арестантам. Как бы ни был дурен обед, но во всяком случае если только хлеба дается вволю, до отвала, то человек обеспечен по крайней мере против голода. Чем отвратительнее обед, тем важнее становится вопрос о хлебе, который при дурном обеде делается самою главною статьею питания. И — как бы, вы думали? — хлеб в бурсе выдавался счетом, а в мертвом доме давалось хлеба сколько угодно. «Большинство, — говорит Помяловский, — не желало делиться с ним (с воспитанником, оставленным без обеда) запасным хлебом; впрочем, и делиться было не из чего: утренних и вечерних фриштиков в бурсе не полагалось; *за обедом выдавали только по два ломтя хлеба*, из которых один съедался в столовой, другой уносился в кармане про запас» (стр. 123). По моему мнению, эти скверные *два ломтя*, эта низкая плюшкинская скаредность, выжимающая сок из молодых желудков, несравненно отвратительнее всевозможных мордобитий и сечений *на воздусях*. Мне кажется даже, что эта скаредность вреднее жестоких наказаний по своим последствиям, как материальным, так и нравственным.

В мертвом доме дело продовольствования велось гораздо благопристойнее.

«Впрочем, — говорит г. Достоевский, — арестанты, хвалясь своею пищею, говорили только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и этим славился во всем городе» (стр. 35 I тома).

---

* Семо и овамо — туда и сюда *(церк.-слав.)*. — *Ред.*

** Оправдательные документы *(франц.)*. — *Ред.*

Из разговоров между арестантами видно, что они питают глубокое уважение к своему хлебу. «Бирюлина корова! — говорит один арестант другому, — ишь отъелся на острожном *чистяке*» (I, 37). «На воле не умели жить, — говорится далее, — рады, что здесь до *чистяка* добрались» (I, 41). «*Чистяком*, — объясняет г. Достоевский в подстрочном примечании, — назывался хлеб из чистой муки, без примеси». — Это название очень выразительно. Оно показывает лучше всяких политико-экономических рассуждений, какие мы богатые люди. Хлеб, испеченный из чистой муки, без примеси разных неудобоваримых гадостей, вроде отрубей, мякины, лебеды и древесной коры, должен у нас отличаться особенным хвалебным именем от того обыкновенного хлеба, которым питаются сплошь и рядом наши рабочие классы. Этим *чистяком* арестанты колют друг другу глаза, выражая ту мысль, что, мол, ты, свинья, на свободе и не нюхал таких отборных и утонченных кушаний. В этих взаимных попреках, как вообще во всяких ругательных выходках, есть непременно своя доля преувеличения; но для того, чтобы такой попрек мог сформироваться, ему надо все-таки иметь некоторое основание в общих и общеизвестных фактах русской жизни. Арестант не станет попрекать своего товарища тем, что вот, мол, ты на свободе голый ходил, а теперь рад, что добрался до казенной рубашки. Такой попрек не произвел бы никакого эффекта на острожную публику, потому что такой попрек совершенно неправдоподобен. Голых людей в России действительно не имеется, но людей, набивающих себе желудок разною дрянью, имеется во всякое время очень достаточное количество. Во всяком случае спасибо мертвому дому за *чистяк*, на котором можно отъесться. Сравнивая этот *чистяк* с несчастными *двумя ломтями* бурсы, мы узнаем ту поучительную истину, что в нашей великой и обильной стране даже добросовестная раздача хлеба должна вызывать к себе некоторое уважение и считаться едва ли не за патриотический подвиг.

Если начальство бурсы решалось соблюдать мудрую экономию даже при раздаче простого хлеба, то, разумеется, с остальными предметами первой необходимости и подавно нечего было церемониться, так что бурсаки во всех отношениях должны были уподобляться гарнизону осажденной крепости или экипажу корабля, застигнутого безветрием в открытом море. Отопление и освещение бурсы производились с самою примерною бережливостью. «В классе совершенно темно, — говорит Помяловский, — потому что начальство из экономического расчета зажигало лампу только в часы занятий» (стр. 39). «Начальство, — говорит он в другом месте, — печей не топило по неделе; ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась под холодные одеяла, должно было покрываться своими шубами и шинелями» (стр. 65). Обитатели мертвого дома не испытывали ни одного из этих двух неудобств — ни темноты, ни холода.

«Плац-майор или караульные, — говорит г. Достоевский, — являлись иногда в острог довольно поздно ночью, входили тихо и накрывали и играющих, и работающих, и лишние свечки, которые можно было видеть еще со двора» (т. I, стр. 95). *Лишними свечками* здесь называются собственные свечи арестантов. Выше, на стр. 93, было сказано, что «каждый держал свою свечу и свой подсвечник, большею частью деревянный». Но если были *лишние* свечи, то, стало быть, были и не лишние, казенные, которыми казарма должна была освещаться постоянно, от вечерней зари до утренней.

Говоря о различных неприятностях острожной жизни, г. Достоевский упоминает о мефитическом воздухе, о нечистоте, о множестве насекомых, но о сырости и холоде не сказано ни слова. Значит, надо полагать, что топили хорошо. Разумеется, на это были свои местные причины; на берегах Иртыша дрова несравненно дешевле, чем на берегах Невы. «Дрова в городе, — говорит г. Достоевский, — продавались по цене ничтожной, и кругом лесу было множество» (I, 139). Но каковы бы ни были причины, во всяком случае это нисколько не изменяет того печального факта, что бурсаки страдали от сырости и от холода и в этом отношении могли завидовать обитателям мертвого дома. Что же касается до мефитического воздуха, до нечистоты и до паразитов, то здесь бурса и мертвый дом нисколько не уступают друг другу. Впрочем, кажется, и тут можно отыскать одно обстоятельство, оставляющее пальму первенства за бурсою. «Наконец, — говорит г. Достоевский, описывая жизнь в гошпитале, — уже после вечернего посещения доктора вошел караульный унтер-офицер, сосчитал всех больных, и палату заперли, внеся в нее предварительно ночной ушат... Я с удивлением узнал, что этот ушат останется здесь всю ночь, тогда как настоящее ретирадное место было тут же в коридоре, всего только два шага от дверей» (II, 16). Так как рассказчик попал в гошпиталь через несколько месяцев после своего поступления в острог, то его удивление по поводу ушата было бы немыслимо, если бы такой же точно обычай был заведен и в казарме. Удивление рассказчика показывает ясно, что в казарме ночных ушатов не было. — У Помяловского же бурсацкие спальни описываются следующим образом: «С дома, особенно с деревень, привозились в запас огромные белые хлебы, масло, толокно, грибы в сметане, моченые яблоки. От этих припасов отделялись особого рода запахи и наполняли собою воздух; с этими запахами мешались нецензурные миазмы; от стен, промерзавших зимою в сильные морозы насквозь, несло сыростью, сальные свечи в шандалах делали атмосферу горькою и едкою, и ко всему этому надо прибавить, что в углу у дверей стоял огромный ушат, наполненный до половины какою-то жидкостью и заменявший место нечистот. К такой ядовитой атмосфере должен был привыкать ученик, и поверит ли кто, что большинство, живя

в зараженном воздухе, утрачивало, наконец, способность чувствовать отвращение к нему!..» (стр. 65). Здесь ушат составляет постоянное явление, которое уже никого не удивляет. Пребывание ушата в гошпитальной палате объясняется тем, что палату велено на ночь запирать; а запирают ее для того, чтобы арестанты ночью как-нибудь не ухитрились убежать. Г. Достоевский доказывает очень убедительно, что убежать нет возможности, но во всяком случае чрезмерная мнительность начальства, при всей своей неосновательности, до некоторой степени понятна; так как побеги действительно случаются, и случаются иногда при такой обстановке, при которой их, повидимому, невозможно было предположить, то, разумеется, болезненная мнительность поддерживается, и начальство, которому не приходится дышать вместе с арестантами зараженным воздухом, запирает их на всю ночь вместе с ушатом, придерживаясь того правила, что лишняя предосторожность, хотя бы и совершенно бессмысленная, испортить дела не может. В казарму ушата вносить незачем, и там он действительно не вносится. Это различие происходит от того, что, находясь у себя в остроге, арестант окружен со всех сторон самым бдительным надзором; сделавшись больным, арестант, напротив того, приходит в общий военный гошпиталь, в котором только одна арестантская палата караулится так, как положено караулить острог. Поэтому больного арестанта лишают даже той доли свободы, которая предоставлена здоровому арестанту. Здоровый может ходить днем по всему острогу, а ночью по всей своей казарме; больной, напротив того, остается почти безвыходно в той комнате, которая в гошпитале служит представительницею острога. Все это очень тяжело, но понятно. Что же касается до ушата, украшающего спальню бурсаков, то его уже невозможно объяснить никакою начальственною мнительностью и никакими глубокомысленными плац-маиорскими соображениями. Тут сияет во всей своей красоте одно голое свинство... Если бы бурсаки вздумали просить начальство об удалении ушатов, то можно сказать наверное, что просителей перепороли бы за вольнодумство. В самом деле, думают, ушат поставлен в спальню начальством; следовательно, к ушату надо питать глубокое уважение, и восставать против ушата — значит сомневаться в начальственной благости и в начальственной мудрости. Первый шаг строптивого юношества на этом гибельном пути отрицания может повести за собою неисчислимые последствия. Поэтому начальство непременно должно отстаивать ушат, как видимое проявление и вещественный знак невещественной отеческой заботливости, предусмотрительности и распорядительности, украшающей жизнь бурсака всевозможными высокими и плодотворными наслаждениями.

О невероятном изобилии насекомых г. Достоевский и Помяловский сообщают одинаково любопытные сведения. «Блохи, —

говорит г. Достоевский, — кишат мириадами. Они водятся у нас и зимою, и в весьма достаточном количестве, но, начиная с весны, разводятся в таких размерах, о которых я хоть и слыхивал прежде, но, не испытав на деле, не хотел верить. И чем дальше к лету, тем злее и злее они становятся. Правда, к блохам можно привыкнуть, я сам испытал это; но все-таки это тяжело достается. До того, бывало, измучают, что лежишь, наконец, словно в лихорадочном жару, и сам чувствуешь, что не спишь, а только бредишь» (II, 112—113).

«Этих насекомых (вшей), — говорит Помяловский, — было огромное количество в бурсе. Не поверят, что один ученик был почти съеден ими; он служил каким-то огромным гнездом для паразитов; целые стада на виду ходили в его нестриженой и нечесаной голове; когда однажды сняли с него рубашку и вынесли ее на снег, то снег зачернелся от них. Вообще неопрятность бурсы была поразительна; золотуха, чесотка и грязь ели тело бурсака» (стр. 18).

IV

Теперь декорации обрисованы; надо познакомиться с физиономиями и характерами действующих лиц. Так как мы заметили поразительное сходство в тех условиях, которыми обставлено существование бурсаков и арестантов, то нужно ожидать уже заранее, что обнаружится сходство и в тех нравственных последствиях, которые развиваются из данных условий.

Гнет, обязательная работа, лишения и грязь — вот те неудобства, которые в большей или меньшей степени отравляют собою существование арестантов и бурсаков. Что же из этого должно получиться? И в каких формах должно здесь выразиться то неистребимое чувство самосохранения, которое везде и всегда является самым сильным двигателем отдельных личностей и целых обществ?

Представьте себе, что в одну тесную кучу собрано несколько десятков людей, которых насильно держат впроголодь и которым не дают вообще самых необходимых принадлежностей материального благосостояния. При этом этих людей занимают с утра до вечера такими работами, от которых нисколько не может улучшиться их невыносимое положение. Спрашивается, о чем должны думать эти люди и что они должны чувствовать? Отвечать, кажется, не трудно. Они должны думать о том, нельзя ли каким-нибудь образом промыслить себе какой-нибудь лакомый кусок, или беремя дров для печки, или вообще такую штуку, которая в данную минуту доставила бы мимолетное облегчение организму, измученному различными лишениями. Все помыслы и все желания должны быть постоянно устремлены туда, куда указывают неудовлетворенные потребности организма. Осуще-

ствление этих естественных и неизбежных желаний до крайности затруднительно. Ему постоянно мешают те люди, которые наблюдают за неуклонным выполнением обязательных работ. Отсюда, разумеется, должна развиться глухая, но ожесточенная борьба между наблюдателями и работниками. Отсюда рождаются между теми и другими взаимная ненависть и взаимное недоверие. Наблюдатели действуют открытою силою; работники, как люди подначальные, поднимаются на разные хитрости; заметив эти хитрости, наблюдатели стараются их проникнуть и разрушить; для этого пускается в ход шпионство, более или менее утонченное и замысловатое. Словом, свирепствует война во всех своих видоизменениях и со всеми своими неизбежными нравственными последствиями.

Но все это — только одна сторона дела. Прежде всего надо, конечно, обмануть наблюдателей, увернуться на несколько времени из-под их надзора, сбросить с плеч тяжесть обязательной работы, но затем, своротив с дороги это препятствие, надо еще предпринять что-нибудь такое, вследствие чего получились бы продукты, соответствующие потребностям истомленного организма. Словом, надо выработать или похитить. Последний способ приобретения, конечно, не одобряется ни сводом законов, ни учением моралистов, ни даже общепринятыми житейскими обычаями. К сожалению, надо сознаться, что организм, принужденный бороться с обществом за свое собственное существование, становится обыкновенно вне всяких законов и обычаев. Органическая потребность, долго не находящая себе удовлетворения, доводит желания до такой крайней степени напряжения, что, наконец, для желающего субъекта все средства становятся безразличными, лишь бы только они вели к предположенной цели. Все фанатики, как бы ни были противоположны их стремления, сходны между собою по своей неразборчивости в средствах, а фанатизм — не что иное, как любовь к какой-нибудь идее, дошедшая до степени непреодолимой органической потребности. Поэтому можно сказать наверное, что человек, измученный голодом и холодом, будет для удовлетворения своих потребностей работать или воровать, смотря по тому, который из этих двух промыслов окажется для него более сподручным и производительным. С особенным наслаждением он будет воровать у тех людей, которые заставляют его голодать и терпеть холод; здесь воровство будет ему казаться только необходимым восстановлением нарушенной справедливости; легко может случиться, что и другие люди, не причастные к этому воровству, произнесут об нем почти такое же суждение. Что бы вы сказали, например, если бы голодные бурсаки пошли воровать хлеб у того эконома, который выдает им за обедом по два ломтя? Быть может, вы сказали бы, что поступок бурсаков по внешней форме своей, конечно, неправилен, но что настоящим вором в этом деле оказывается

экономом, хотя он и не пускает в ход неприличных воровских приемов. Впрочем, я, по доброте души моей, не советую вам отваживаться на такие рискованные умствования. Я предупреждаю вас, что этот путь очень скользок и опасен. Чтобы не съехать по этому пути в неведомую вам глубину мучительных социальных вопросов, держитесь крепко, держитесь руками и зубами за внешнюю форму человеческих поступков. В данном случае немедленно приговаривайте к розгам и к исключению тех бурсаков, которые посягнули на казенный хлеб, и так же немедленно приглашайте к себе в дом, как знакомого и друга, того искусного эконома, который из казенного хлеба умеет выкраивать шелковые платья для своей супруги и для своих дочерей.

Кто усвоил себе техническую сторону хищничества и кто при этом постоянно голодает и зябнет, тот непременно постарается развернуть свои таланты во всей их обширности и никак не захочет ограничивать их приложение узкою сферою казенного буфета. Кто начал свое поприще с набегов на казенные дрова и на казенный хлеб, тот пойдет дальше, если только нужда будет угнетать его попрежнему. Привычка и уменье красть ставят человека вразрез с законами и обычаями; попавши раз в это оппозиционное положение, человеку трудно остановиться; если он оправдал в своих собственных глазах кражу хлеба у эконома, то он сумеет оправдать кражу съестных припасов в мелочной лавочке; основная причина воровства, голод, продолжает существовать и подавляет очень легко робкие возражения совестливости, деликатности и справедливости. Лавочник, конечно, нисколько не виноват в том, что бурсака дурно кормят; но ведь и сам бурсак в этом также нисколько не виноват; на него наваливают мучения голода ни за что ни про что; с ним самим поступают несправедливо, и это он чувствует; поэтому он и старается перебросить на первого встречного, хоть, например, на лавочника, часть той подавляющей тяжести, которую он, бурсак, несет совершенно безвинно, по воле благодетельного начальства. Приучившись красть съестное, бурсак сообразит без особенного труда, что посредством обмена всевозможные предметы могут быть превращаемы в булки и в калачи. Тогда начнется сплошное похищение всего, что имеет какую-нибудь меновую ценность. Постоянное упражнение в хищничестве разовьет в данном субъекте именно те качества и способности, которые совершенно неуместны в благоустроенном обществе. Чрезмерное развитие этих противообщественных способностей и наклонностей задушит всякое расположение к правильному и спокойному труду. Данный субъект пустится обирать всех, своих и чужих, начальников, соседей и даже товарищей. Наконец он попадется; его отпорют и выключат; он очутится на улице без аттестата, без ремесла, с пустым желудком и с очень замечательными хищническими инстинктами и способностями.

Живи такой субъект в XVI столетии, он отправился бы в Запорожскую сечь и сделался бы лучшим украшением тамошнего казачества. Но так как в наше прозаическое время казацкие подвиги строго запрещены уголовными законами, то предприимчивый юноша по выходе из бурсы не превратится в знаменитого героя и будет тихо и скромно заниматься мазурничеством до тех пор, пока его беззакония не переполнят меры полицейского долготерпения. Когда же, несмотря на его похвальную скромность, его возрастающая слава обратит на себя внимание местного начальства, тогда его препроводят, для дальнейшего усовершенствования в науках, в один из многих мертвых домов, находящихся в европейской или азиатской России. Мертвый дом не испугает нашего юношу, который в своем новом жилище увидит знакомые картины, способные освежить в его памяти дни его печального отрочества. Если юноша окажется способным окинуть все свое прошедшее общим философским взглядом, то он, вероятно, сообразит, что мертвый дом составляет для него естественное продолжение и логический результат бурсы.

V

В предыдущей главе была проведена та мысль, что еще очень недавно бурса систематически направляла некоторых из своих питомцев к мертвому дому. В подкрепление этой мысли я, правда, не могу привести никаких статистических фактов, потому что подобные факты еще не собраны: мы решительно не знаем, из каких элементов слагается население наших мертвых домов и как велико число бурсаков, погибших для общества, в сравнении с общим числом юношей, обучавшихся в былые годы в духовных училищах. Достоверные статистические цифры решили бы вопрос, но когда нет цифр, тогда следует принимать в соображение такие материалы, как «Очерки бурсы» Помяловского, которого до сих пор еще ни один бывший бурсак не решался уличать в искажении фактов или в ложности основного колорита. «Надобно заметить,— говорит Помяловский, — характеристическую черту бурсацкой морали: воровство считалось предосудительным только относительно товарищества. Было три сферы, которые, по нравственному отношению к ним бурсака, были совершенно отличны одна от другой. Первая сфера — товарищество, вторая — общество, то есть все, что было вне стен училищных, за воротами его: здесь воровство и скандалы одобрялись бурсацкою коммуной, особенно когда дело велось хитро, ловко и остроумно. Но в таких отношениях к обществу не было злости или мести: позволялось красть только съедобное; поэтому обокрасть лавочника, разносчика, сидельца уличного — ничего, а украсть, хоть бы на стороне, деньги, одежду и тому подобное считалось и в самом товариществе

мерзостью. Третья сфера — начальство: ученики гадили ему злорадостно и с местью. Так сложилась бурсацкая этика... Теперь также понятно, отчего это в бурсацком языке так много самобытных фраз и речений, выражающих понятие кражи: вот откуда все эти *сбондили*, *слямсили*, *сперли*, *стибрили*, *объегорили* и тому подобные» (стр. 83⟨—84⟩). Нельзя сказать, чтобы эти общепризнанные нравственные правила бурсы отличались особенною строгостью. Но любопытно заметить, что эта теория все-таки стоит выше той житейской практики, которую изображает сам же Помяловский.

По теории воровство относительно товарищества считается предосудительным. А на практике Аксютка обворовывает своих товарищей, пользуется между ними репутациею известного мазурика и в то же время не подвергается с их стороны никаким преследованиям; с ним обращаются как с хорошим товарищем и лихим удальцом. Сам он постоянно весел, развязен и самодоволен, чего никак не могло бы быть, если бы все товарищество обращалось с ним как с негодяем и отверженцем. А что бурсацкое товарищество действительно умеет преследовать те преступления, которые возбуждают его негодование, то это можно усмотреть из трагической истории фискала Семенова, выведенного на сцену в первом очерке Помяловского. Этого Семенова в один вечер избили, обокрали, высекли и, наконец, чуть-чуть не задушили дымом горящей ваты. К этому надо еще прибавить, что с ним никто не говорил с той минуты, как его огласили фискалом. Сравнивая печальную судьбу фискала Семенова с постоянным ликованием вора Аксютки, я прихожу к тому заключению, что воровство в бурсе не считалось предосудительным даже относительно товарищества. Что Аксютка не ограничивался похищением съестных припасов — на это у Помяловского имеется также достаточное количество доказательств. Первый шаг Аксютки на глазах читателя состоит в том, что он крадет ночью у товарища волчью шубу, которая, при поголовной бурсацкой бедности, должна была считаться великою драгоценностью. Что такая покража совершилась, в этом нет еще ничего особенно удивительного и характерного. Подобные случаи возможны даже в самых приличных и благоустроенных заведениях, потому что в семье не без урода. Но замечательно то, что пропажа шубы осталась без всяких последствий; описавши воровскую проделку Аксютки, Помяловский уже не возвращается больше к этому предмету; шуба канула в воду, и на другой день в бурсацком товариществе об этом событии не было даже никакого разговора. Значит, приходится предположить, что подобные случаи очень нередки и что владелец украденной шубы, быть может, ждет только следующей ночи, чтобы наверстать свою потерю на ком-нибудь из своих беспечных товарищей. Если это предположение сколько-нибудь основательно, то бурсацкая этика, о которой говорит Помялов-

ский, оказывается в совершенном разладе с фактами действительной бурсацкой жизни или по крайней мере не обнаруживает на эти факты никакого регулирующего влияния. Мне кажется, настоящая бурсацкая этика состоит только в том, что некоторыми воровскими подвигами можно хвастаться во всеуслышание, а другие следует покрывать благоразумным молчанием.

Оно и понятно. Если вы обокрали вашего товарища, то не можете же вы в его присутствии рассказать вашу проделку, за которую оскорбленный собственник может тотчас же вступить с вами в рукопашный бой. Что же касается до общественного мнения бурсы, то оно, повидимому, относится совершенно равнодушно ко всяким неправильным передвижениям собственности, где бы они ни совершились и в каких бы формах они ни обнаруживались. «Тебя обокрали, — говорит общество, — ты сам и ведайся с вором, сам разыскивай его, сам отнимай у него твою собственность и сам наказывай его за нарушение твоего спокойствия. Если же у тебя на все это не хватит уменья и силы, если вор вторично одурачит тебя или намнет тебе же бока, то нам, посторонним зрителям, до этого не будет никакого дела, и мы сами очень добродушно будем смеяться над твоею неловкостью и над твоим бессилием».

Так рассуждают обыкновенно все первобытные общества, и было бы очень удивительно, если бы бурса рассуждала иначе. Помяловский рассказывает, что некоторые бурсаки умилостивляли и задобривали подарками знаменитого вора Аксютку, чтобы он пощадил их достояние. Вот видите! А почему же те же бурсаки и не думали умилостивлять и задобривать фискалов, несмотря на то, что фискал, находящийся в союзе с начальством, гораздо опаснее вора, которого начальство, разумеется, не станет поддерживать? Потому, что в борьбе с фискалом каждая отдельная личность чувствовала за собою единодушную, горячую и энергическую поддержку всего бурсацкого общества; фискал был всегда одиноким явлением, поразительною аномалиею, гнусным уродом, которого безобразие бросалось в глаза всему окружающему обществу; почти каждый бурсак, положа руку на сердце, мог смело сказать, что он сам нисколько не фискал; поэтому всеобщее негодование против фискала было так неподдельно и неудержимо, что оно не допускало и мысли о каких бы то ни было компромиссах с преступником. С вором, напротив того, каждому надо было бороться один на один; публика в воровском поступке видела преимущественно его изящную сторону; публика любовалась отвагою и хитростью похитителя; почти каждый бурсак, положа руку на сердце, должен был признаться, что он также способен учинить похищение; поэтому союз всего общества против вора был невозможен, и знаменитый вор в бурсацком мире мог играть роль грозного божества, умилостивляемого посильными жертвоприношениями.

В мертвом доме умилостивлений не было, но воровство процветало, и так как арестанты были отгорожены от внешнего мира крепкими стенами и частоколами, то его воровство имело совершенно междоусобный характер. Ворон очень смело выклевывал глаза ворону, или, говоря по-французски, les loups se mangeaient entre eux (волки ели друг друга).

«Вообще, — говорит г. Достоевский, — все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой сундук с замком для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой натяжки), украл библию, единственную книгу, которую позволялось иметь в каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея меня, потому что я ее долго искал» (I, 28).

Кроме воровства, в мертвом доме и в бурсе процветало с беспримерною силою ростовщичество. «Некоторые, — говорит г. Достоевский, — с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант, замотавшийся или разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до того процветало, что принимались под заклад даже казенные смотровые вещи, как то: казенное белье, сапожный товар и проч. — вещи, необходимые всякому арестанту во всякий момент» (I, 28).

В том же томе, на стр. 191, г. Достоевский дает нам понятие о величине каторжного процента. Острожный ювелир и ростовщик, Исай Фомич Бумштейн, под залог каких-то старых штанов и подверток дает взаймы другому арестанту семь копеек, с тем чтобы тот через месяц заплатил ему десять копеек. Три копейки на семь копеек — это значит 43 процента в месяц. В год получится, стало быть, 516 процентов, то есть капитал увеличится с лишком в шесть раз. Это очень недурно, но, в сравнении с бурсацкими процентами, это умеренно. Бурсаки и в этом отношении умудрились перещеголять каторжников. «Рост в училище, — говорит Помяловский, — при нелепом его педагогическом устройстве, был бессовестен, нагл и жесток. В таких размерах он нигде и никогда не был и не будет. Вовсе не редкость, а, напротив, норма, когда *десять копеек*, взятые на *недельный срок*, оплачивались *пятнадцатью копейками*, то есть по общепринятому займу на год это выйдет *двадцать пять* (вернее, двадцать шесть) *раз капитал на капитал*» (стр. 14). На стр. 216 и 217 мы видим сделку между Карасем и Тавлею. Карась в среду просит у Тавли пять копеек. Тавля к воскресенью требует семь копеек. Но Карась оставлен без отпуска и поэтому желает уплатить долг не в ближайшее, а в следующее воскресенье. «Тогда десять», — говорит Тавля. Итак, капитал удваивается в одиннадцать дней.

Ростовщичество поддерживалось в бурсе взяточничеством, которое в свою очередь было порождено остроумною выдумкою начальства, создавшего из старших учеников целую систему контроля над младшими. Один из этих старших учеников, *цензор*, должен был смотреть за поведением своего класса; другие, *авдиторы*, выслушивали уроки и ставили ученикам баллы, на основании которых учитель производил надлежащие вразумления; третьи, *секундаторы*, были сами орудиями этих вразумлений; на их попечении находились розги, и они же сами, по приказанию учителя, секли своих ленивых или шаловливых товарищей. Эти сановники занимались своим делом методически и с любовью. «У печки, — говорит Помяловский, — секундатор, по прозванию Супина, учился своему мастерству: в руках его отличные лозы; он помахивал ими и выстегивал в воздухе полосы, которые должны будут лечь на тело его товарища» (стр. 27). Все эти владыки — цензора, авдиторы и секундаторы — держались на одинаковом продовольствии с остальными бурсаками: все они голодали, а между тем им была дана власть над массами; цензор и авдиторы могли во всякую данную минуту подвести любого из своих товарищей под розги; а секундатор мог сечь бережно или во всю ивановскую; каждый из этих властителей понимал свою силу и давал ее чувствовать тем подчиненным, которые осмеливались сомневаться в ее сокрушительности. Подчиненные принуждены были подольщаться к сановникам и откупаться от их взысканий деньгами и различными приношениями. «Цензора, авдиторы, старшие и секундаторы, — говорит Помяловский, — получили полную возможность делать что угодно. Цензор был чем-то вроде царька в своем царстве, авдиторы составляли придворный штат, а второкурсные (оставшиеся в классе на второе двухлетие) — аристократию» (стр. 13). «Тавля, в качестве второкурсного авдитора, притом в качестве силача, был нестерпимый взяточник, драл с подчиненных деньгами, булками, порциями говядины, бумагой, книгами. Ко всему этому Тавля был ростовщик... Необходимость в займе всегда существовала. Цензор или авдитор требовали взятки; не дать — беда, а денег нет; вот и идет первокурсный к своему же товарищу, но ростовщику»; понятно, что «в этом случае он заранее согласен на какой угодно процент, лишь бы избавиться от прежестоких грядущих розгачей. Кредит обыкновенно гарантируется кулаком либо всегдашнею возможностью нагадить должнику, потому что рисковали на рост только второкурсники» (стр. 14).

Этого источника деморализации в мертвом доме не было; арестанты могли обворовывать друг друга, но взяточничество было для них невозможно, потому что ни один из них не мог подводить своих товарищей под наказания. Когда арестант занимал у ростовщика, то он тратил эти деньги на свои собственные надобности или удовольствия, а не на то, чтобы отвратить

от своей спины карающую десницу, вооруженную *прежестокими розгачами*. Поэтому, вероятно, каторжный процент был впятеро ниже бурсацкого. Неимоверная высота последнего объясняется преимущественно тем страхом, под влиянием которого находился ученик в то время, когда он обращался к ростовщику.

Обирая своих подчиненных, классные сановники в то же время и развращали их, приучая их к самому безответному раболепству и подвергая их самым возмутительным унижениям. «Пошлая, гнилая и развратная натура Тавли, — говорит Помяловский, — проявилась вся при деспотизме второкурсия. Он жил барином, никого знать не хотел; ему писались записки и вокабулы, по которым он учился; сам не встанет для того, чтобы напиться воды, а кричит: «Эй, Катька, пить!» Подавдиторные чесали ему пятки, а не то велит взять перочинный нож и скоблить ему между волосами в голове, очищая эту поганую голову от перхоти, которая почему-то называлась плотью; заставлял говорить ему сказки, да непременно страшные (проявление эстетического чувства!), а не страшно — так отдует (проявление критической разборчивости!); да и чем только, при глубоком разврате Тавли, не служили для него подавдиторные?» (стр. 15). В последних словах заключается довольно ясный намек на — как бы выразиться поутонченнее? — на сократическую любовь...

VI

Человеческая природа до такой степени богата, сильна и эластична, что она может сохранять свою свежесть и свою красоту посреди самого гнетущего безобразия окружающей обстановки. Чистые и светлые личности, подобные Добролюбову и Помяловскому, выходят иногда из бурсы, такие же личности проходят иногда, не загрязнившись, через мертвый дом. Но и в бурсе и в мертвом доме на одного устоявшего приходится всегда по нескольку десятков погибших, развращенных, расслабленных, растерявших здоровье, энергию и умственные способности. Устоять против бурсы, должно быть, во всяком случае гораздо труднее, чем удержаться невредимым в мертвом доме. В бурсу поступают малолетние ребята, которых силы и способности, как бы они ни были велики и блистательны, могут быть направлены и в хорошую и в дурную сторону, и на полезный труд и на подлое надувательство, смотря по тому, каким влияниям подчиняется формирующийся характер и развивающийся ум. В мертвый дом, напротив того, попадают обыкновенно взрослые люди, которые или окончательно испорчены жизнью, или уже до такой степени закалены в борьбе с враждебными обстоятельствами, что никакие посторонние влияния не покачнут их убеждений ни вправо, ни влево. Первых уже нечего портить, а вторых испор-

тить невозможно. К этим двум крайним разрядам надо, впрочем, прибавить третий, очень многочисленный разряд людей, попавших на каторгу случайно, за какое-нибудь такое преступление, в котором нельзя подметить ни радикальной испорченности, ни фанатической любви к непозволительной идее. К этому третьему разряду принадлежат преимущественно убийцы, потому что убийство очень часто обусловливается такими страстями и порывами, которые во всякую данную минуту могут разыграться в самом спокойном и кротком человеке. В этом третьем разряде могут попадаться люди самых разнообразных характеров, между прочим и такие, которые, без какой-нибудь несчастной случайности, без какого-нибудь совершенно непредвидимого и неотвратимого стечения обстоятельств, прожили бы непременно до глубокой старости по всем правилам строжайшего благочиния. Разнообразию характеров соответствует в мертвом доме бесконечное разнообразие той жизни, которую вели его обитатели раньше своего соединения под гостеприимною кровлею острога.

При таком разнообразии стремлений, понятий, воспоминаний и надежд, — у взрослых людей, собранных в острог со всех концов России и расположенных заранее подозревать друг в друге отъявленных мерзавцев, — не может проявляться особенно сильная наклонность к взаимному сближению. Корпоративный дух в остроге должен быть очень слаб. Яркие и крепкие личности должны, конечно, подчинять своему влиянию людей бесцветных и ничтожных, так точно, как это делается само собою во всяком обществе; но в мертвом доме не должно существовать такой силы, которая пригоняла бы к одному общему идеалу и шлифовала бы на один образец все индивидуальные умы и характеры. Острожное общество так рыхло и рассыпчато, в нем так мало однородности и компактности, что оно, как общество, не может подчинить своих членов никаким общеобязательным законам, запрещениям или предписаниям. Это полное бессилие общества особенно ярко выражается в том обстоятельстве, что это общество даже не пробует защищать себя против своих собственных изменников и шпионов. Во II томе своих записок, от стр. 150 ⟨до⟩ 168, г. Достоевский рассказывает, каким образом арестанты заявляли претензию, то есть жаловались плац-маиору на дурное качество пищи. Большинство сговорилось между собою, выстроилось на острожном дворе и через унтер-офицера послало доложить маиору, что «желает говорить и лично просить его насчет некоторых пунктов». Маиор приехал и тотчас начал ругаться; арестанты не произнесли ни одного слова, и претензия расстроилась, потому что многие струсили и объявили себя довольными. Кроме того, несколько человек во время претензии оставались в кухне и не хотели принимать в общей демонстрации никакого участия. Когда все дело кончилось и когда маиор перепорол тех людей, которых ему угодно было считать зачинщиками, тогда арестанты не обна-

ружили никакого неудовольствия, ни против тех, которые сидели в кухне, ни против тех, которые первые объявили себя довольными и расстроили общее предприятие. Явная измена, подводившая под розги смелых и стойких товарищей, осталась таким образом совершенно безнаказанною. Это обстоятельство очень удивляет автора записок, потому что автор совершенно ошибочно применяет к мертвому дому те понятия о товариществе, которые мы обыкновенно выносим с собою в жизнь из учебных заведений. Но эти понятия к населению мертвого дома совершенно неприменимы. Где существует хоть какое-нибудь товарищество, там непременно должны существовать ненависть и презрение к фискальству. Без этого условия товарищество немыслимо и солидарность между отдельными личностями невозможна. А в мертвом доме не было ничего похожего на преследование доносчиков. «Что же касается вообще доносов, — говорит г. Достоевский, — то они обыкновенно процветают. В остроге доносчик не подвергается ни малейшему унижению; негодование к нему даже немыслимо. Его не чуждаются, с ним водят дружбу, так что если бы вы стали в остроге доказывать всю гадость доноса, то вас бы совершенно не поняли» (I, 68).

Не может быть, чтобы то лицо, которое само страдает от доноса, не чувствовало ненависти против доносчика. Это было бы совершенно неестественно. Боль всегда вызывает злобу против причины боли. Но тут-то именно и обнаруживается разница между товариществом и таким обществом, в котором нет солидарности. В товариществе боль одного лица отражается на всех остальных; все заступаются за одного, и один должен действовать как все; доносчик оказывается общим врагом, и с ним не смеют водить дружбу даже те люди, которым его поступок не внушает особенно сильного отвращения. В таком обществе, как население мертвого дома, дело идет совсем иначе: тут всякий злится и мстит собственными средствами только за свои собственные обиды. Очень может быть, что многие презирают и ненавидят доносчика, но эти чувства обнаруживаются врассыпную, урывками, так что выражения этих чувств сливаются с общим потоком ругательств, беспрестанно оглашающих собою различные обители мертвого дома. Из того, что доносчиков не преследуют, никак нельзя выводить то заключение, что все арестанты — подлецы, способные сами при первом удобном случае превратиться в фискалов. Ничуть не бывало. Терпимость в отношении к доносчикам доказывает только, что между арестантами нет единодушия и взаимного доверия. Каждый держит себя особняком и думает про себя: это не мое дело. Сунусь я один ругать или бить доносчика — а вдруг меня никто не поддержит, и останусь я в дураках; надо мною же все будут смеяться, да и шпион нагадит мне по-своему.

При полном отсутствии товарищества в мертвом доме каждый может совершенно беспрепятственно оставаться самим собою,

может также, следуя собственному влечению, совершенствоваться или развращаться. Никому до этого не будет дела; каждый занят самим собою и каждый требует только с своей стороны, чтобы им как можно меньше занимались другие; весь тон арестантских разговоров носит на себе печать общей скрытности и несообщительности; арестанты болтают, шутят, смеются, ругаются, но разговор и брань вертятся постоянно на самых незначительных предметах, вовсе не затрогивающих за живое тех людей, которые разговаривают и бранятся; кроме того, смех и шутки большинству арестантов решительно не нравятся; ровная и сдержанная угрюмость составляет в мертвом доме преобладающий колорит именно потому, что эта угрюмость всего лучше соответствует внутренней разъединенности таких людей, которые принуждены жить вместе, в одной комнате, не чувствуя никаких взаимных симпатий и не желая иметь друг с другом никаких общих интересов. В бурсе отношения между обществом и отдельною личностью складываются совсем не так, как в мертвом доме. В бурсе товарищество очень сильно, быть может даже сильнее, чем в других учебных заведениях. Всякое школьное товарищество есть, в большей или меньшей степени, оборонительный или наступательный союз учеников против начальства. Чем свирепее начальство и чем сильнее ненавидят его ученики, тем теснее смыкаются они между собою, чтобы выручать друг друга в беде и чтобы общими силами причинять непобедимому врагу множество мелких неприятностей. Так как свирепость и скаредность бурсацкого начальства доходила до фантастических размеров, то союз против этого начальства был совершенно необходим для спасения здоровья и даже, может быть, жизни учеников. Союз этот, разумеется, был очень тесен, потому что общая ненависть была велика, а общая опасность постоянно висела, как дамоклов меч, если не над головами, то по крайней мере над спинами всех бурсаков.

Начальство мертвого дома было также достаточно свирепо и скаредно, и спины арестантов находились также в постоянной опасности, но союза, однако же, не было, во-первых, потому, что арестанты, как люди опытные, понимали непобедимость общего врага, а во-вторых, потому, что слишком большое разнообразие уже сформированных характеров и умов заранее уничтожало всякую возможность соглашения. Бурсаки, напротив того, лезли в неравный бой со всею нерасчетливою заносчивостью молодости; им прежде всего хотелось насолить начальству, не обращая внимания на то, что за это соление будет расплачиваться их собственная шкура; страсть брала верх над благоразумием, и легко может быть, что именно эти взрывы страсти спасали бурсаков от окончательного отупения и от неизлечимого идиотизма. Далее, заключение и поддерживание тесного товарищеского союза было особенно удобно и легко потому, что в бурсе, как в чисто сословном заведении, было очень мало внутреннего раз-

нообразия. В бурсу поступали дети, выросшие при очень сходных условиях, воспитанные в одинаковых понятиях, учившиеся читать по одним и тем же книгам, игравшие дома в одни и те же игры, слышавшие от взрослых одни и те же нравоучения, словом, в бурсу поступали цветки одной и той же почвы, или одного поля ягоды. Им было уже очень не трудно спеться между собою и выработать, при содействии начальственного гнета, один общий идеал, который для всех вновь поступающих учеников сделался уже строго обязательным. Хотя идеал был выработан при самых каторжных условиях жизни, однако же бурсаки горячо полюбили этот идеал и стали им гордиться, продолжая в то же время ненавидеть и презирать бурсу, то есть ту форму, в которую их возлюбленный идеал был отлит. Бурсацкий идеал имеет свои хорошие стороны; его можно назвать превосходным оборонительным оружием, посредством которого богатая и сильная натура может защитить себя от притупляющего влияния бурсацкой атмосферы, созданной тупоумной рутиной. Единственная обязанность идеального бурсака состоит в том, чтобы безгранично и неутомимо ненавидеть гнетущую силу, проводя эту ненависть во все поступки жизни и действуя постоянно наперекор всем начальственным приказаниям и запрещениям.

Суровый и дикий идеал бурсаков хорош именно тем, что поддерживает в своих поклонниках мужество, энергию, стойкость, расторопность, свободу суждений и вообще такие качества, которые были бы беспощадно истреблены начальственною системою безгласности, раболепства и чинопочитания. Но, во-первых, бурсацкий идеал не всякому по силам; а во-вторых, этот идеал многими своими сторонами мог прирасти к человеку наглухо и совершенно изуродовать на всю жизнь ум и характер данного субъекта. В бурсу поступало много детей слабого сложения, кроткого и уступчивого характера; эти личности, робкие, нежные, стыдливые, чувствительные, приученные к материнским ласкам и способные плакать навзрыд от сердитого взгляда или от насмешливого слова, попадали в бурсе под перекрестный огонь, который совершенно сбивал их с толку и в короткое время превращал их в подлецов или идиотов, несмотря на то, что они по своим природным задаткам могли бы сделаться людьми честными и очень неглупыми. С одной стороны, этих детей тиранило начальство; с другой стороны, их презирало товарищество за то, что в них не было бурсацкой суровости и воинственности. Начальство требовало от этих простодушных младенцев того, чего оно не решилось бы требовать от закаленных или *отпетых* бурсаков; из таких птенцов, ошеломленных бурсацкими нравами, начальство, при пособии кое-каких коварно-ласковых слов, очень легко могло изготовить себе фискалов. Первое фискальство может быть сделано случайно, вследствие ребяческой доверчивости, вследствие неуменья отмалчиваться и отнекиваться; но когда первый

шаг сделан, тогда душа уже продана черту, и отступление становится невозможным, потому что товарищество не умеет прощать и в раскаяние фискалов не верит. Тогда несчастному мальчику приходится уже, из чувства самосохранения, городить ложь на ложь и подлость на подлость до тех пор, пока наушничество и пролазничество не сделаются для него второю натурою.

Надо сказать правду, что, кроме начальства, в развращении таких личностей виновато и само товарищество, которое на первых порах отталкивает и озадачивает робкого новичка своею суровостью и неумолимостью. Тем матушкиным сынкам, которым удастся избегнуть сетей начальства, в бурсе предстоит также незавидная участь. Примкнувши к товариществу, они стараются подделаться под его замашки, напускают на себя искусственное ухарство, отдают себя в полное распоряжение настоящих удальцов, с которыми у них по натуре нет ничего общего, и таким образом, отказавшись от всякой нравственной самостоятельности, приучаются на всю жизнь плясать по чужой дудке и носить маски, совершенно не соответствующие природным наклонностям. Под их напускным молодечеством скрывается самая жалкая бесцветность, которая и обнаружится немедленно, как только эти недоразвившиеся личности выйдут из-под влияния товарищества и вступят в действительную жизнь.

Для сильных характеров, для настоящих головорезов бурсацкий идеал опасен тем, что он может наградить их на всю жизнь буйными инстинктами и дикими привычками, совершенно неудобными в цивилизованном обществе и до крайности тяжелыми для всех окружающих людей. Если бурсак, вырвавшись из бурсы на свободу, останется верен своему идеалу, — то он рискует сделаться горьким пьяницею, уличным буяном, диким самодуром в семействе и несноснейшим человеком для всех своих знакомых и друзей. А между тем ему очень трудно отрешиться от такого идеала, перед которым он благоговел в течение многих лет. Для того чтобы это отречение сделалось возможным, бурсаку необходимо встретиться с такими людьми и с такими идеями, которые идут прямо вразрез всем бурсацким преданиям и убеждениям. Тогда пелена спадет с глаз умного, даровитого и энергического бурсака, которому бурса дала драгоценную способность терпеть, злиться и выжидать благоприятную минуту. Тогда, и только тогда, здоровая бурсацкая сила, взлелеянная всевозможными невзгодами, перестанет тратиться на глупые подвиги ухарства и, пристроившись к полезному делу, развернется во всю свою ширину. Это значит, что бурсак, как бы он ни был умен, даровит и крепок, может сделаться светлою личностью только за пределами бурсы. В самой же бурсе лучшие из бурсаков подавлены своим идеалом, а мы уже видели, что этот идеал очень хорош для борьбы, но никуда не годится при обыкновенных условиях мирной трудовой жизни. Не годится он также и для той высшей борьбы, в которой

умные и честные люди поражают заблуждения и разбивают софизмы своих недальновидных или недобросовестных современников. Но хорош и велик бурсацкий идеал тем, что он, как твердая скорлупа, охраняет до поры до времени и сберегает для великой житейской борьбы такие силы, которые, оставаясь без прикрытия, непременно испортились бы в затхлой атмосфере зубрения и слепого послушания.

VII

После всего, что было говорено выше, читателя уже не должно удивлять то обстоятельство, что в мертвом доме встречается больше привлекательных и симпатичных характеров, чем в бурсе. В тех четырех очерках, которые успел написать Помяловский, выведено на сцену несколько сильных натур, одаренных блестящими способностями и железною волею, но эти натуры находятся постоянно в осадном положении, они вечно враждуют не только с начальством, но и между собою; добродушию, дружелюбию, мягким и нежным чувствам человеческой природы в бурсе решительно нет места; все игры бурсаков — *постные*, *скоромные*, *швычки*, *щипчики* и т. д., основаны на том, чтобы наносить друг другу боль самыми разнообразными средствами; во время рекреации ученики старшего класса, от нечего делать, отправляются *дуть приходчину*, то есть колотить младший класс; идя в баню, бурсаки норовят изобидеть всякого встречного — и монастырского сторожа, и ломового извозчика, и барочных мужиков, и уличных собак, и даже жильцов тех домов, мимо которых лежит их путь. «Шествие их, — говорит Помяловский, — знаменуется порчею разных предметов, без всякого смысла и пользы для себя, а просто из эстетического наслаждения разрушать и пакостить». Старуха бросается от них опрометью на другую сторону улицы и шепчет с ужасом: «Господи! да это никак бурса тронулась!» «Хорошо, — прибавляет Помяловский, — что она догадалась перейти на другую сторону, а то нашлись бы охотники сделать ей *смазь*, и *верховную*, и *боковую*, и *всеобщую*» (стр. 74). Под влиянием тяжелой жизни, наполненной лишениями, нравственными обидами и физическими страданиями, в бурсаке развивается и созревает хроническая потребность срывать зло на правых и на виновных, на людях и на животных и вообще на всем, что можно растерзать и исковеркать. Разумеется, эта потребность сама себя питает и поддерживает; бурсаки всего чаще срывают его друг на друге и, увеличивая собственными безобразиями массу своих страданий, увеличивают в то же время и количество того зла, которое должно быть сорвано. Это очень откровенно и наглядно выражено Помяловским по поводу избиения приходчины. «Впрочем, — говорит он, — в таких случаях большинство только

удовлетворяло своей потребности побить кого-нибудь, дать вытряску, лупку, волосянку, отдуть, отвалять, взъерепенить, отмордасить, чтобы чувствовать, что в твоих руках пищит что-то живое, страдает и просит пощады, и все это делается не из мести, не из вражды, а просто из любви к искусству» (стр. 46).

Определенной вражды тут действительно нет, но любовь к искусству *ерепенить* и *мордасить* развилась именно от того, что бурсак постоянно озлоблен на всех и на все. Теперь представьте же вы себе, какова должна быть злость той приходчины, которая должна пищать, страдать и просить пощады. Что должна чувствовать эта приходчина после ухода истребителей? Она должна клокотать и задыхаться от злости, тем более что злость ее бессильна и что многие из этой избитой приходчины, наверное, в тот же день уже были высечены учителями, которым также ничем нельзя было отмстить. Что же это за жизнь! Утром порет учитель, вечером лупят ученики. И куда же должен вылиться весь запас накипевшей злости? А, разумеется, он выльется в недра той же избитой и пересеченной приходчины. Ученики начнут придираться друг к другу; затеются междоусобные потасовки, и озлобление будет постоянно возрастать, вместо того чтобы успокоиваться. Было бы очень удивительно, если бы при таких условиях в бурсе могли выработаться или только сохраниться кроткие и любвеобильные характеры.

Самыми яркими и замечательными личностями в очерках Помяловского являются Аксютка и Гороблагодатский. С Аксюткой мы уже отчасти знакомы: он знаменитый вор, мастер своего дела, веселый и остроумный изобретатель мазурнических проделок и притом человек, освободившийся от всяких предрассудков, такой человек, который крадет все и у всех: у лавочника он тащит булки, малиновое варенье, картофель и при этом не забывает наплевать, для пущей игривости, в кадушку с капустой; у товарищей он крадет книги, бумагу, платье и тут же кладет на место украденных вещей камни или грязь, чтоб оскорбить собственника не только убытком, но еще и насмешкой; укравши у товарища мешок с толокном, Аксютка, ради глумления, сам же потчует собственника его же добром; у училищного солдата Аксютка ворует голенища и потом сам же дразнит его голенищами; у своей невесты похищает шелковый платок и три медных гривны. Впрочем, собственно говоря, у Аксютки даже никакой невесты и не было, и однако же несомненно то, что он был «уволен в город для свидания с своею невестою, Ириною Вознесенскою», у которой он и украл вышеупомянутые вещи. А каким образом Ирина Вознесенская в одно и то же время может быть и не быть невестою Аксютки — это история хитрая и любопытная, которую стоит рассмотреть внимательно, тем более что она, с своей стороны, бросает несколько лучей света на причины бурсацкой дикости и наглости. Дело все в том, что за дьячковскою дочерью, Ириною

Вознесенскою, закреплено место ее покойного отца; это значит, что ее муж сделается дьячком в том приходе, где служил ее отец; так как приход не может долго оставаться без дьячка, то Ирина Вознесенская должна выходить замуж немедленно, тотчас после смерти отца. А чтобы найти жениха, Ирина вместе с матерью отправляются в рассадник женихов, то есть в бурсу, валятся в ноги инспектору, как стражу этого прекрасного вертограда, подносят ему ливан и смирну, или, точнее, ром, чай, сахар, грибы, яблоки, холст и серебряный рубль, и наконец, задобрив цербера медовыми лепешками, умоляют его одолжить жениха, и даже не *жениха*, а *женихов*... «Да не озорников каких, батюшка!» — прибавляет старуха, продолжая выражаться *во множественном числе*. Просьба старухи показывает, что достоинства бурсаков достаточно известны русскому духовенству. Инспектор через цензора вызывает к себе женихов, которых оказывается пять человек. Двоих инспектор бракует, одного за нетрезвое поведение, другого за несовершеннолетие. Остальные трое одобряются инспектором и получают от него отпускные билеты, где прописано, что каждый из них уволен в отпуск для свидания с своею невестою, Ириною Вознесенскою.

Таким образом Ирина Вознесенская в один и тот же день, по воле бурсацкого начальства, оказалась невестою троих женихов. В число одобренных претендентов попал Аксютка, о котором инспектор, повидимому, думал, что он совсем не озорник. На другой день женихи все вместе отправляются к невесте, но, к сожалению, Помяловский пропускает сцену смотрин и прямо сообщает читателю окончательные результаты. Оказывается, что претенденты размежевались полюбовно: Аксютка отправился к *своей невесте* собственно за тем, чтобы поесть и украсть; поэтому он совершенно удовольствовался угощением, шелковым платком и медными гривнами. Другой претендент, Васенда, имел более серьезные намерения, но ему не понравились ни невеста, ни приданое, ни закрепленный приход. Третий, Азинус, женился.

Таким образом, дело обошлось благополучно. Но ведь могло оно разыграться совершенно иначе. Можно себе представить два любопытные случая: во-первых, тот, что ни один из женихов не пожелал бы обвенчаться с девицею Вознесенскою, а во-вторых, тот, что все трое прельстились бы невестою, приданым и закрепленным приходом.

В первом случае чрезвычайно интересно было бы знать, что предпринял бы инспектор. «Что ж вы, подлецы, — сказал бы он, вероятно, — в дураках меня, что ли, оставить хотите? Нет, врете; сунулись в женихи, так теперь и венчайтесь, такие-сякие!» Но тут инспектор вспомнил бы, что ведь их, подлецов, или женихов, все-таки несколько и что нельзя же их всех перевенчать с Ириною Вознесенскою, как бы ни было такое наказание полезно и внушительно в педагогическом отношении. Надо непременно выбрать

одного, чтобы этого избранного сделать козлом отпущения. Но каким же образом выбрать? Приказать им разве, чтобы они кинули между собою жребий и чтобы Ирина Вознесенская досталась тому, кому изменит счастье? Или, может быть, просто принять в соображение список баллов и обречь на жертву того, кто учится и ведет себя хуже всех остальных? Женить человека за дурное поведение, наказать человека женитьбою — это, конечно, очень мило, остроумно и даже водевильно, но и тут есть серьезное затруднение. Жених в церкви непременно должен сам сказать *«да»*, и очень легко может случиться, что озорник, осужденный на женитьбу, в пику начальству скажет *«нет»*, презирая все могущие воспоследовать прежестокие розгачи. Чем хуже он ведет себя и, следовательно, чем больше он заслуживает наказание, тем правдоподобнее, что он, по озорству своему, осмелится от него уклониться. Скажет *«нет»*, и кончено дело, хоть ты кол на голове теши! Что тут прикажете делать? Не знаю, решительно не знаю. Я никогда не был инспектором бурсы, поэтому никак не могу себе представить, что бы я стал предпринимать, если бы упорство моих питомцев лишило меня возможности презентовать Ирине Вознесенской жениха, за которого я уже получил наличную плату деньгами, вещами и коленопреклонениями.

Второй возможный случай также достаточно интересен, хотя и менее затруднителен для инспектора бурсы. Спрашивается, каким образом примирить притязания троих молодцов, которые, опираясь на свои отпускные билеты, все трое захотели бы серьезно считать себя женихами Ирины Вознесенской? Можно было бы, пожалуй, предоставить решение вопроса самой невесте, но какие же она может иметь основательные причины для того, чтобы выбрать себе одного из троих юношей, которых она видит в первый раз в жизни? А между тем проживаться в городе ей не приходится; кроме того, дьяческое место не может стоять вакантным, покуда Ирина Вознесенская будет изучать своих претендентов; наконец и бурсаков не станут же отпускать к ней в гости до тех пор, пока она соблаговолит решиться; одним словом, надо выбирать немедленно, имея в виду и тот шанс, что любезный супруг в первый же день медового месяца может подбить своей сожительнице оба глаза, или стащить в кабак ее заячий салоп, или проворов's и попасть под суд. Если нет возможности сделать выбор с полным знанием дела, если брак совершается при таких условиях, при которых не может возникнуть чувство, способное заглушить всякие опасения, — то невесте всего лучше оставаться совершенно пассивным лицом до самого конца всей истории. Тогда по крайней мере, в случае неудачи, ей можно будет плакаться на судьбу, а не на собственную оплошность. Можно будет во время подбивания глаз или пропивания салопа утешать себя тем размышлением, что не было другого выхода и что все это сделалось помимо ее воли. Жизнь Ирины Вознесенской — бедной,

некрасивой и уже очень немолодой дочери деревенского дьячка — уже давно должна была приучить ее к той безответной и полусонной покорности, которая составляет последнее утешение или по крайней мере последнее убежище забитых и затертых личностей, обиженных природою и людьми. Для такой личности, махнувшей рукой на себя и на жизнь, каждое проявление энергии и самостоятельности составляет очень тяжелый и даже мучительный труд. Поэтому Ирина Вознесенская вряд ли согласилась бы воспользоваться правом выбора, если бы такое право было ей предоставлено претендентами и начальством бурсы.

Но такой утонченной деликатности нельзя даже и ожидать ни от претендентов, ни от начальства. Инспектор знает очень хорошо, что Ирина наглухо прикреплена к своему месту, без которого ей нечем будет кормиться; знает он также очень твердо, что судьба Ирины в его руках и что от него зависит наградить Ириною достойнейшего из претендентов, если только Ирина действительно в каком-нибудь отношении может исправлять должность награды. Этого права инспектор, вероятно, не захочет выпустить из своих рук, потому что власть и могущество, во всех своих малейших проявлениях, веселят сердце и возвышают дух всякого начальствующего человека. Бурсаки, с своей стороны, желая вырваться из бурсы и влюбившись в прелести прихода, приданого и независимой жизни, вовсе не будут великодушничать и отдаваться на произвол Ирины. Они будут спорить между собою, оставляя невесту в пассивно-выжидательном положении, и спор их, по всей вероятности, будет решен или какою-нибудь полюбовною сделкою, с распитием нескольких косушек на счет счастливого соперника, или, что еще правдоподобнее, безапелляционным приговором инспектора, который в этом случае превратит Ирину в премию низкопоклонства, искусного лицемерия и, быть может, даже усердного фискальства.

В рассказе Помяловского все эти затруднения сглаживаются сами собою, но любопытно обратить внимание на те причины, которые отклонили от брака одного из претендентов, Васенду, имевшего серьезное намерение жениться. «Васенда, — говорит Помяловский, — как человек положительный и практический, нашел невыгодным закрепленное место, приданое и обязательства, а невесту чересчур заматоревшею во днех своих, на вид рябою, длинною и черствою. Он решился остаться в камчатке (*камчаткою* назывались задние скамейки класса, составлявшие жилище неисправимых лентяев) до лучшей суженой» (стр. 164).

Эти слова дают вам некоторое понятие о красоте той сцены, которая называется *смотринами* и в которой живая и свободная человеческая личность продается и покупается с соблюдением всех торговых правил и ухваток толкучего рынка. Эта сцена особенно миловидна тем, что тут сразу даже и не разберешь, кто кого покупает, кто кого продает, кто кого забирает в кабалу.

Все действующие лица (кроме Аксютки, пришедшего есть и красть) играют роль страдательную, зависимую и подневольную. Все они подавлены какою-то высшею силою, которая заставляет их насиловать самые естественные и неистребимые наклонности человеческой природы. Стоит только сличить то, чего хотят все действующие лица этой сцены, с тем, что они делают, чтобы убедиться в том, что все они — жертвы, все, кроме Аксютки, и что всех их, кроме того же Аксютки, продает, покупает и кабалит, давит и унижает внешняя сила, не имеющая в данной сцене ни одного представителя.

В самом деле, чего хочет старуха Вознесенская? Она хочет добыть для своей дочери смирного, честного, трезвого и работящего мужа. А что она делает? Поступает ли она сообразно с своим желанием? Напротив того. Она привлекает к своей дочери бурсаков, которых она сама же считает озорниками и от которых она, наверное, перебежала бы на другую сторону улицы, подобно старухе, попавшейся навстречу бурсакам во время их победного шествия в баню. Она бросает свою дочь на шею такому человеку, которого обе они, и старуха и дочь, видят в первый раз. Она встречает разом троих гостей и перед всеми троими рассыпает одинаковые любезности, потому что каждый из них может оказаться тем суженым, которому достанется право карать и миловать ее дочь. Положение старухи, как видите, совершенно пассивно и до последней степени зависимо. Тут с ее стороны нет ничего похожего на обыкновенную ловлю женихов; она ловит то, чего ей вовсе не хочется поймать; ловит то, в чем она боится найти несчастие для себя и для своей дочери.

Чего хочет эта дочь? Подобно всякой другой девушке, Ирина хочет приобрести себе мужа красивого, веселого, кроткого, расторопного, способного хорошо кормить и одевать ее, вообще такого, который бы понравился ей и полюбил ее. А что она делает? Она принимает с заискивающим видом и с стереотипною улыбкою всех уродов и всех негодяев, которых заблагорассудит прислать к ней в гости инспектор бурсы. Наружность посетителей может ей не нравиться; она может думать про себя, что они, по всей вероятности, окажутся негодяями, но все это ровно ничего не значит; несмотря на свое отвращение, несмотря на свои мучительные предчувствия, она с невозмутимым смирением должна изображать своею особою вещь, которую пришли рассматривать и оценивать покупатели. В ее роли нет также ни малейшей активности и ничего похожего на завлекание поклонников.

Чего хотят покупатели, Васенда и Азинус? Но, во-первых, какие же они покупатели? На какие достатки могут они купить человека? Как бы ни были дешевы в наше время человеческое счастье, человеческая жизнь, человеческая любовь, человеческая совесть, — все же эти вещи дороже трехкопеечной сайки, а Васенде и Азинусу даже и трехкопеечная сайка обыкновенно

оказывается не по карману. Васенде и Азинусу для совершения купли надо заложить, закабалить или продать собственные особы. Они приходят к госпоже Вознесенской именно для того, чтобы устроить такую сделку. Одно это обстоятельство уже достаточно устраняет всякое помышление о их активности. Но во всяком случае чего же они хотят? Подобно всем другим молодым людям их возраста, они желали бы, чтобы их любила и ласкала молодая и красивая женщина. Это физиологическое влечение к молодости, к свежести и к красоте не может быть истреблено ни одним из тех талисманов, которыми располагает бурса: ни голодом, ни грязью, ни розгами, ни даже тамошнею наукою. Это влечение несомненно существует в обоих претендентах, являющихся к Ирине Вознесенской. А между тем что делают эти претенденты? Познакомившись с своею *общею невестою*, они видят прежде всего, что Ирина — девица, *заматоревшая во днех своих, на вид рябая, длинная и черствая*. Тогда они оба кладут на одну чашку весов корявую наружность и преклонные лета Ирины, а на другую начинают накладывать staметовые юбки, шелковые платки, заячьи салопы, коров и овец, доходы закрепленного места и все другие сокровища, принадлежащие невесте. Уложивши все как следует, Васенда находит, что первая чашка все-таки перетягивает; поэтому он отступается от невесты. Но если бы вы на вторую чашку весов прибавили несколько стаметовых юбок, две-три коровы, два-три десятка рублей годового дохода, — то Васенда, *как человек практический и положительный*, переломил бы свое физиологическое отвращение к рябой и черствой девице и, скрепя сердце, отдал бы себя в кабалу за очень дешевую цену. Азинус поступил именно таким образом, и, разумеется, не потому, что рябое лицо казалось ему привлекательным, и также не потому, что влечение к красоте и к молодости в нем не существовало. Решился он на свой неблестящий брак потому, что и в бурсе оставаться было скверно и впереди не предвиделось ничего утешительного. Браки по расчету, покупки и продажи живых и полнокровных человеческих личностей, совершаются каждый день в самых богатых и знатных слоях европейских обществ. Но эти торговые сделки имеют так же мало общего с поступками Азинуса и Васенды, как мало общего имеют действия Ирины и старухи Вознесенской с кокетством богатых барышень и с маневрами богатых маменек. В блестящих браках по расчету обе стороны по-своему остаются в выигрыше, то есть обе получают действительно то, к чему они стремились: одна сторона покупает себе красоту и наслаждается ею; другая за противные старческие ласки вознаграждает себя блестящими нарядами, каретой, балами и театрами, словом, всеми прелестями утонченного комфорта. Но что же получают друг от друга monsieur и madame Азинус? Ни красоты, ни довольства, ни того, что наполняет жизнь наслаждением, ни того, что делает пустую жизнь сколько-нибудь снос-

ною. Оба собираются взаимно отравить друг другу жизнь, оба предвидят, что не принесут друг другу ничего, кроме забот, обид и огорчений, и оба делают решительный шаг, получая от общества за весь этот подвиг хронического самоистязания возможность жить в дрянной избенке, одеваться в дрянные ветошки и набивать живот чуть-чуть не сеном. Такой брак следует назвать не браком по расчету, а браком из-под палки, и палкою является тут для обеих сторон бедность, не та мнимая бедность, при которой нельзя завести себе собственных лошадей и французского повара, а та настоящая, неприличная бедность, при которой можно голодать и зябнуть, нищенствовать и воровать, страдать от болезни и обходиться без медицинской помощи, без мягкой постели, без чистого и сухого воздуха.

«В светских искусственных браках, — говорит Помяловский, — большею частию оскорбляется женщина; но в бурсацких — и женщина и мужчина. В светских мужчина говорит: «я сыт, и есть у меня имя, иди за меня — ты будешь сыта и получишь имя»; в бурсацких же — не то; жених кричит: «есть нечего»; невеста кричит: «с голоду умираю» — и исход один: соединиться обеим сторонам» (стр. 131). И соединиться для того, чтобы, грызя друг друга взаимными попреками, прожить всю жизнь впроголодь! Исход прелестен, и прелести этого исхода достаточно известны бурсакам, насмотревшимся на семейные заботы и семейные раздоры как в доме своих родителей, так и у всех своих ближайших знакомых. И однако же, вообразите себе, что этот исход, этот брак из-под палки, это отвратительное взвешивание стаметовых юбок и корявой наружности являются в жизни бурсаков радостным и счастливым событием, которое воодушевляет целый класс, возбуждает ликование в камчатке, наводит на всех учеников веселые думы и охватывает трепетом наслаждения все училище *«от двенадцатилетнего мальчика до двадцатидвухгодосалого парня, от последнего лентяя до первого ученика»*. Женихи считаются *героями дня*. Камчатка гордится ими. *Магическое слово «женихи» — быстрее ласточки облетает по всем классам, сладостно солнуя бурсацкие души.*

Все, что подчеркнуто, принадлежит Помяловскому. — Это всеобщее ликование составляет, разумеется, только слабое отражение гордой и непомерной радости, переполняющей сердца женихов, которые действительно сами считают себя *героями дня* и в тяжелой сцене *смотрин*, унизительной для всех заинтересованных сторон, видят один из самых светлых и блестящих эпизодов своей жизни. Быть женихом из-под палки — такая великая честь, и попасть на смотрины — такое несказанное благополучие, что, забывая свой возраст, к этой чести и к этому благополучию порывается даже четырнадцатилетний мальчик, которого забраковал инспектор и жестоко осмеяли за эту преждевременную прыткость товарищи.

Что же все это значит? Неужели же бурсак неспособен влюбиться в женщину? Неужели в бурсаке действительно истреблено влечение к молодости и красоте? Это невозможно, так точно, как невозможно истребить в человеке влечение к здоровой и обильной пище, к теплому и удобному платью, к мягкой и чистой постели. Влечение к удобствам жизни не исчезает никогда, и человек всегда сохраняет способность отличать приятное от неприятного и даже различать довольно тонкие оттенки в своих приятных ощущениях. Но когда человек поставлен в такое положение, при котором самые приятные ощущения для него решительно недоступны, тогда он поневоле привыкает пробавляться тем вторым, третьим или четвертым сортом наслаждений, который оказывается для него сподручным. Спускаясь на нижние ступеньки общественной лестницы, мы находим там такие положения, при которых человек страдает с утра до вечера и с вечера до утра то от холода, то от голода, то от копоти, то от насекомых, то от непомерной и однообразной работы, то от грубого обращения. Для такого человека облегчение привычных страданий оказывается уже наслаждением, хотя нам с вами это наслаждение показалось бы очень ощутительным страданием. Бурсак может считать счастливым тот день, когда его не оставили без обеда, не прибили и не высекли, но если бы нас с вами заставили прожить штук десять таких счастливых дней, то мы считали бы себя очень жестоко наказанными. Когда общий колорит жизни мрачен и грязен, когда глубокие, сильные и чистые наслаждения недоступны, тогда человек привыкает считать пустою прихотью те из своих собственных законных потребностей, которые при данных условиях не могут найти себе удовлетворения. Такие суровые отношения человека к самому себе необходимы, потому что они одни дают ему силы переносить тяжесть безотрадного существования; давая волю своим неудовлетворимым стремлениям и в то же время не имея возможности выбиться из-под гнета тех условий, которые мешают удовлетворению, — человек домучил бы себя до сумасшествия и до самоубийства. Но если, при данных условиях, человеку необходимо насиловать, переламывать, истощать и уродовать свою природу, то во всяком случае невозможно находить эти крутые меры полезными для человеческого совершенствования. Осажденный гарнизон поступает очень благоразумно, если, в ожидании скорой помощи, он тратит съестные припасы с самою крайнею скупостью; но эта скупость, необходимая при данных обстоятельствах, во всяком случае действует на здоровье людей разрушительным образом.

То же самое можно сказать и о бурсаках. Они были бы невыносимо несчастливы, если бы грязь и безобразие их существования постоянно поражали их так же сильно, как они могут поражать свежего человека, смотрящего на дело со стороны. — Привычка к грязи и примирение с тусклыми и мутными удовольствиями со-

ставляют для бурсаков единственное спасение от самого убийственного отчаяния. Но это спасение достается им не даром. Они должны обезобразить себя для того, чтобы приноровиться к условиям жизни, невыносимым для нормального человека. Отказываясь по необходимости от высших наслаждений, человеческая природа беднеет, вянет и черствеет. Становясь непомерно суровым к самому себе, называя прихотью свое собственное законное желание, человек приучается быть неумолимым в отношении к другим. Он топчет в грязь чужие чувства так точно, как его собственные чувства топтались в грязь железным гнетом обстоятельств. Что скажет, например, Азинус, когда — лет через двадцать — сын его захочет жениться на любимой девушке, не соответствующей финансовым или политическим планам родителей? Азинус припомнит свои смотрины и тот восторг, с которым он летел в дом совершенно незнакомой девушки, и ту неустрашимость, с которою он отнесся к рябой физиономии Ирины Вознесенской. «Дурак, — скажет он своему сыну. — Разве ж тебе не все равно, что одну взять девку, что другую? За тебя наш благочинный хочет свою Степаниду отдать, а ты рыло воротишь. Глуп ты, молод, мало каши ел, мало веников об тебя изломали, — оттого и дуришь. А ты бы посмотрел, как я на твоей матери женился. И рожа-то у нее хуже Степанидиной была, и старше-то она была лет на семь, и добра-то за нею никакого не было, — да взял же я ее, да еще земли под собой не слышал от радости. А ты рыло воротишь! Меня перед благочинным погубить стараешься! Ну, не осел ли ты после этого? На моем месте другой отец с тобой языком-то и говорить бы не стал». — И затем начинается крик, шум, избиение непокорного сына, и все это происходит оттого, что человек всегда прикидывает чужие чувства и страсти на собственный аршин, укороченный или изломанный враждебными обстоятельствами. Рассмотревши историю Аксюткиной невесты, я теперь возвращаюсь к самому Аксютке и к Гороблагодатскому.

VIII

Велик и славен Аксютка своими воровскими подвигами, но еще больше славы и величия доставляет ему та кровопролитная война, которую он ведет с жестоким учителем Лобовым. Эта война ведется самым оригинальным образом и оказывается кровопролитною для одного Аксютки. Обладая отличными способностями, Аксютка начинает вдруг превосходно учиться. Лобов восхищается его успехами и сажает его на первую скамейку. Аксютка тотчас перестает учиться и постоянно получает нули в авдиторских нотатах. Лобов начинает его пороть и в продолжение нескольких недель проливает его кровь за каждый невыученный урок. Аксютка с непоколебимою стойкостью выдерживает лобов-

ские внушения и, наконец, отсылается в камчатку, в страну безнадежных лентяев, которых начальство уже не удостоивает сечения. Повидимому, всего выгоднее для Аксютки было бы успокоиться в камчатке и навсегда забыть о существовании учебных книг и учительских розог. Но Аксютка на это решиться не может. Ему непременно надо лицедействовать в классе, обращать на себя внимание и изумлять товарищество своим геройством. Попавши в камчатку, он снова начинает учиться и появляется в нотатах с полными баллами. Покаялся, думает Лобов, и переводит Аксютку на первую скамейку. Но Аксютка обнаружил признаки раскаяния только для того, чтобы завязать с Лобовым новую борьбу. Начинается опять ряд нулей; над Аксюткой свистят лобовские розги; Аксютку гонят в камчатку, и опять разыгрывается с начала та же самая история. Наконец Лобов видит ясно, что Аксютка, жертвуя собственною спиною, дразнит и дурачит его для потехи всего лихого бурсачества. Тогда Лобов, уславши Аксютку в камчатку, решительно запрещает ему учиться.

«— Ты, животное, — говорит Лобов, — потешаешься надо мною; когда тебя порют, у тебя в нотате нули, когда шлют в камчатку — пятки? Знаю я тебя: ты добиваешься того, чтобы опять перейти на первую парту, чтобы потом снова бесить меня нулями? Врешь же! Не бывать тебе на первой парте, и пока у тебя снова не будут нули, до тех пор не ходи в столовую».

Каково должно быть торжество Аксютки, когда Лобов произносит эти слова? Учитель признается публично, при всем классе, что Аксютка *потешается над ним*, что Аксютка *нарочно бесит его нулями*. Учитель рассказывает публично всю тактику Аксютки. Значит, учитель понял, наконец, и объявил всем ученикам, что Аксютка решительно не боится его, Ивана Михайловича Лобова, перед которым трепещет вся неустрашимая бурса. Лобов сдается на капитуляцию и просит себе только милости: храбрый Аксютка, оставь меня в покое и позволь мне не пороть тебя! — Ни за что! — возражает Аксютка и, сидя в камчатке, учится отлично, единственно для того, чтобы добраться снова до лобовских розог. Лобов старается истребить Аксюткино прилежание голодом, но Аксютка непобедим и с этой стороны. Он не ходит в столовую, но ворует с удвоенным искусством все, что можно украсть, поддерживает кое-как свое существование и, назло Лобову, продолжает учиться великолепно.

Чем кончается эта изумительная борьба — об этом Помяловский не говорит, но довольно и того, что было рассказано до сих пор. Этих фактов совершенно достаточно для того, чтобы почувствовать самое почтительное изумление перед громадною силою Аксюткина характера. Человек терпит голод и розги, человек сам напрашивается на розги, человек учится и старается для получения розог, и все эти удивительные эволюции производятся с тою единственною целью, чтобы сказать себе и товарищам:

«А я все-таки поставил на своем! Хочу дурачиться и буду дурачиться, и никакой Лобов меня не испугает».

Чем ничтожнее цель, тем изумительнее та настойчивость, с которою эта цель преследуется. Если человек, ради пустейшего из своих капризов, добровольно и неоднократно подвергает себя очень сильной физической боли, то перед чем же отступит этот человек, когда в нем заговорит настоящая страсть и когда он увидит перед собою действительное наслаждение? Чем вы запугаете такого человека, который в бурсе, без всяких средств обороны, нарочно дразнит и бесит учителя, вооруженного всеми орудиями школьной инквизиции и имеющего полную возможность запороть до полусмерти непочтительного ученика? Заставьте такого человека, как Аксютка, полюбить полезное дело, сумейте найти приложение для его громадной энергии, бросьте в его светлый ум плодотворные мысли — и этот училищный вор был бы великим человеком. Гибель таких умных, даровитых, блестящих и энергических личностей, как Аксютка, неизбежна, но неизбежна она только потому, что огненный поток великих идей, очищающих и увлекающих за собою все, что способно мыслить, желать и увлекаться, — до сих пор не проложил себе дороги в низшие, беднейшие и грязнейшие слои нашего общества. Но пока солнышко взойдет, до тех пор роса глаза выест, и многие сотни Аксюток сгниют на нарах мертвых домов в ожидании очищающих, обновляющих и увлекающих идей.

Другой сильный характер бурсы, Гороблагодатский, обречен также на верную гибель, несмотря на то, что в нем имеется гораздо больше хороших качеств, чем в мазурике Аксютке. В Гороблагодатском мы видим самое чистое и самое прекрасное воплощение дикого бурсацкого идеала. Ненависть этого человека к угнетающей рутине беспредельна; честность его в отношении к товарищам беспредельна. «Он, — говорит Помяловский, — не взял ни одной взятки, беспристрастно и справедливо отмечал подавдиторным баллы, не куражился над ними, часто защищал слабосильных, любил вмешиваться в ссоры и хотя деспотически, но всегда справедливо решал их; он постоянно солил ростовщикам и взяточникам. Товарищество его любило и уважало» (стр. 21). Но в ненависти своей страстный и сильный характер Гороблагодатского доходит до беспощадной свирепости, для которой бурса, переполненная всем, что способно возмущать честного человека, представляет, конечно, самое обширное поприще. Первый очерк Помяловского («Зимний вечер в бурсе») показывает нам, каким образом Гороблагодатский доезжает двух подлецов, ростовщика Тавлю и фискала Семенова.

Желая насладиться мучениями Тавли, Гороблагодатский играет с ним в камушки со щипчиками. Интерес игры состоит в том, что выигравший имеет право щипать руку проигравшего. Так как Тавля и Гороблагодатский — оба силачи, то щипчики их ужасны

и называются *с пылу горячие*. От этих щипчиков краснеет, синеет, чернеет и пухнет рука побежденного партнера. Гороблагодатский проигрывает. Тавля закатывает ему сотню жесточайших щипчиков и потом насмешливо спрашивает у него, не хочет ли он сыграть еще партию. Гороблагодатский говорит: «Давай!» — и выигрывает. «С пылу горячие!» — провозглашает победитель таким зловещим голосом, что товарищам становится страшно. «Конца не будет!» — произносит Гороблагодатский, и начинается истязание. Товарищи смотрят и молчат. У Тавли душа уходит в пятки. Получивши сотню баснословных щипчиков, Тавля начинает отпрашиваться. «После двухсот проси пощады», — отвечает истребитель ростовщиков. Тавля продолжает уговаривать победителя, но победитель велит ему молчать. «Скажи только слово, — говорит Гороблагодатский, — еще двести закачу». Тавля начинает плакать. После двухсот Гороблагодатский приказывает Тавле просить прощения и побеждает его упрямство жестоким щипком. Истерзанный Тавля смиряется и при всей собравшейся публике просит прощения. Гороблагодатскому этого мало. Страдания и покорность Тавли нисколько не укрощают его ненависти. Через несколько времени Тавля играет *в постные*. Эта игра состоит в том, что один из играющих, закрывши голову руками, подставляет спину под удары и старается угадать, кто его ударил. Угадал — тогда ложится ударивший; не угадал — ложись опять прежний страдалец. В этой занимательной игре Тавле пришлось лечь под удары. Тогда к кучке играющих примкнул Гороблагодатский, а за ним потянулись и другие силачи класса. Тавле не повезло. Он четыре раза ошибся при угадывании и поэтому получил пять таких ударов, которые чуть-чуть не переломили ему становой хребет. Он стал протестовать: «Что ж это, братцы? Убить, что ли, хотите?» Протест и слово *братцы* не тронули черствого сердца Гороблагодатского. Он отвечал кровавою насмешкою: «Значит, любим тебя, почитаем». Тавля возражает: «Других так не бьют». — «А тебя вот бьют!» — отвечает ему кто-то, по всей вероятности тот же его неизменный доброжелатель, потому что проще, осторожнее и свирепее этого ответа трудно что-нибудь придумать. Наконец Тавля угадывает и говорит с неудовольствием, что он не хочет больше играть. Гороблагодатский на прощание ввертывает ему еще шпильку: «Отчего же, душа моя?» — спрашивает он добродушно и ласково.

В тот же вечер, во время темноты, сберегающей казенное масло, бурсаки секут очень сильно фискала Семенова. Ему дают семьдесят розог, и при этом товарищеском подвиге Тавля играет одну из главных ролей. Он зажимает рукою рот Семенова. Семенов, терпя горькую муку, кусает его за руку и узнает его голос, потому что укушенный Тавля начинает ругаться. После сечения Семенов идет к инспектору и доносит ему на Тавлю. Инспектор приходит в класс с четырьмя солдатами и дает Тавле полтораста

розог. Тут, повидимому, все симпатии Гороблагодатского должны склониться на сторону Тавли, который, так сказать, положил живот за бурсацкое отечество и потерпел мученичество за величие и славу товарищеской общины. Но не тут-то было. Свирепость Гороблагодатского так велика, что его ненависть к инспектору и к его креатуре Семенову нисколько не мешает ему ненавидеть в эту же минуту и Тавлю и радоваться его неудаче. Помяловский говорит, что Гороблагодатский «с наслаждением смотрел на Тавлю, который не мог ни стать, ни сесть после экзекуции» (стр. 63).

Теперь читатель может себе вообразить, до какой степени неудобно фискалу Семенову сидеть в одной комнате с Гороблагодатским, беспощадным истребителем всяких мерзостей. Встретившись с Семеновым, Гороблагодатский дает ему затрещину (стр. 26). Потом, во время игры *в постные*, Гороблагодатский схватывает Семенова сзади и насильно кладет его под жестокие удары, которые валятся на Семенова без счета и не в очередь, потому что его бьют не как играющего, а как фискала, исключенного из всяких товарищеских забав и стоящего вне закона. Через несколько времени Семенова секут. Кем придумана такая необычайная штука — это оставлено у Помяловского во мраке неизвестности. Но мудрено себе представить, чтобы такое патриотическое дело совершилось без участия Вани Гороблагодатского. Всего правдоподобнее даже то, что ему принадлежит первая мысль об этой кровавой экзекуции. Мое предположение совершенно соответствует как серьезности его характера, так и блестящим способностям его изобретательного ума. Когда инспектор, при содействии четырех сильных солдат, отнял у Тавли возможность стоять и сидеть, тогда Гороблагодатский так сильно прочувствовал наказание, данное Тавле, что вознамерился «*идти к Семенову и избить его окончательно*». Но он раздумал, потому что в голове его родился новый и более удобный план мщения. Он устроил Семенову *пфимфу*. *Пфимфою* называется в бурсе сверток бумаги в виде конуса, набитый ватою. Трое заговорщиков отправились ночью, под предводительством нашего Вани, к постели спящего Семенова, осторожно вставили ему в нос отверстие *пфимфы*, зажгли вату с широкого конца и начали дуть в этот конец. После двух дуновений Семенов, обожженный и прокопченный дымом до самой глубины легких, лишился чувств. На другой день его замертво стащили в больницу, где он никак не мог объяснить причины своей болезни. Если Семенову после этой переделки удалось выздороветь и если он не догадался покинуть навсегда враждебную бурсу, то можно сказать наверное, что Гороблагодатский не оставил его в покое. Из всех сообщенных подробностей читатель видит ясно, что этот человек не мог и не умел прощать.

Любопытно было бы узнать, каким образом Гороблагодатский относится к Аксютке. Эти две личности, одинаково умные и сильные, но не одинаково честные, должны жестоко ненавидеть друг

друга. Постоянные столкновения между ними тем более неизбежны, что они сидят в одном классе. Эта борьба между двумя самыми блестящими личностями, представителями бурсацкой цивилизации, наполнена самыми оригинальными и занимательными эпизодами. К сожалению, Помяловский не сообщает об этой борьбе решительно никаких сведений. Аксютка и Гороблагодатский совсем не встречаются между собою, точно будто они живут на двух разных планетах. В первом очерке Помяловского господствует Гороблагодатский; тут не упоминается ни разу даже имя Аксютки. В двух следующих очерках царствует Аксютка; тут имя Гороблагодатского упоминается мимоходом, раза два или три. Если бы «Очерки бурсы» были совершенно законченным сочинением, то молчание Помяловского об отношениях двух героев бурсы оказалось бы со стороны автора очень важною ошибкою. Но так как Помяловский хотел написать около десяти или двенадцати очерков, а успел написать только четыре, то осуждать автора за пробелы было бы несправедливо; и, следовательно, остается только пожалеть о том, что замечательный труд Помяловского не мог быть доведен до конца.

По выходе из бурсы Гороблагодатский, наверное, погибнет так или иначе. Попадет ли он в мертвый дом — этого я не знаю. Но что он не сносит своей буйной головы и шибко напакостит себе и другим — это вряд ли может подлежать сомнению. Гороблагодатский придет к погибели, конечно, не тем путем, по которому бежит Аксютка. Гороблагодатский останется навсегда безукоризненно честным человеком. Кто терпел голод, имел под руками возможность взяточничать и не пользовался выгодами своего положения, тот, наверное, выйдет чист и невредим из всевозможных испытаний. Кого в молодых летах не развратила бурса, того вряд ли развратит последующая жизнь. Но Гороблагодатского, честного, умного и сильного человека, загубят вынужденная праздность, дикое безобразие пьяного разгула и бестолковые схватки с мелкими проявлениями общественного зла. Гороблагодатский учится в бурсе хорошо. Поэтому для него есть надежда получить аттестат. Хорошо. Получит он аттестат, пристроится к месту, возьмется за добросовестное исполнение своих почтенных обязанностей. Но разве же эти обязанности, очень почтенные, но очень скромные, тихие и однообразные, могут удовлетворить Гороблагодатского? К этим обязанностям можно только привыкнуть, в эту идиллию можно только втянуться, а Гороблагодатскому необходимо пристраститься. Ему нужна борьба. Его кипучая природа требует себе такой жизни, которая держала бы в постоянном напряжении всю нервную систему, такой жизни, в которой ценою великих трудов и тяжелых страданий покупались бы минуты невыразимого наслаждения, непонятного и недоступного для мелких и вялых людишек. Не имея возможности создать себе такую полную и деятельную жизнь, Гороблагодат-

ский, подавленный избытком своих собственных непристроенных сил, будет поневоле разгонять свою хроническую скуку теми нехитрыми средствами, которые окажутся у него под руками. Прежде всего под руками окажется водка; наш скучающий богатырь примет ее в соображение, тем более что он и в бурсе считал ее вернейшим средством *от всех скорбей*. Далее, в пьяные минуты под руками будет оказываться жена, приобретенная вместе с закрепленным местом и, следовательно, вряд ли способная внушать мужу особенно сильную привязанность. В этой жене Гороблагодатский будет усматривать различные пороки, за искупление которых он примется с свойственною ему энергиею; борьба с недостатками супруги будет служить Гороблагодатскому очень сильным средством развлечения, но от этой борьбы получится немного пользы как для семейного счастья нашего героя, так и для всего направления его жизни. Живя в каком-нибудь бедном сельском приходе, Гороблагодатский будет встречаться с различными очень возмутительными проявлениями насилия, произвола, несправедливости и вымогательства. Как честный и страстный человек, он будет протестовать, не жалея и не выгораживая самого себя. Протесты эти, при всей своей искренности и бескорыстности, будут очень узки, поверхностны и бесплодны. Гороблагодатский, подобно всем неразвитым людям, будет сражаться с внешними симптомами зла, с недобросовестными или тупоумными личностями, вместо того чтобы действовать против настоящих причин зла, против тех общих условий и идей, вследствие которых тупоумные и недобросовестные личности могут играть важные роли и отравлять жизнь своих умных и честных ближних. Дон-кихотская борьба Гороблагодатского с подлецами и с дураками окончится полнейшим поражением нашего героя; его замнут, затрут, отрешат от должности, сошлют куда-нибудь на покаяние, у него отнимут насущный хлеб; его доведут до самого нищенства, и эта погибель будет тем более ужасна, что она останется совершенно бесплодною. Тысячи таких безалаберных погибелей проведут по одной лишней морщинке на лице тех самодовольных идиотов, с которыми боролись эти побежденные протестанты.

Чего же недостает Гороблагодатскому для того, чтобы сделаться полезным деятелем и занять в ряду мыслящих работников то место, на которое он имеет право по своим способностям и по железной силе своего характера? На этот вопрос я смело отвечаю, что ему недостает *развития*, или, проще, *знаний*. Отвечаю я так, несмотря на то, что меня еще в прошлом году упрекали печатно, из дружеского лагеря, в зловредных стремлениях основать на умственном развитии новую аристократию. [2] Если считать такой упрек за что-нибудь серьезное, то его пришлось бы распространить на всех тех людей, которые желают и требуют для народа грамотности. Сила грамотности, очевидно, заключается не в тех каракульках, которые человек разбирает в книге

или выводит пером на бумаге, а в тех знаниях, к которым каракульки открывают доступ. Но знания поверхностные, шаткие или ограниченные, не разрушающие в уме человека ни одного старого заблуждения и не обогающие его новыми идеями, — составляют только лишний балласт для памяти. Значит, желая для народа грамотности, мы требуем для него таких знаний, из которых могли бы выработаться прочные положительные убеждения. Грамотность драгоценна для нас только как дорога к развитию. Но если мы желаем народу развития, то, разумеется, мы считаем это развитие за благо, потому что с какой же стати мы стали бы желать народу того, что само по себе не имеет никакого достоинства. Если же развитие есть благо, то приходится согласиться, что меньшинство, обладающее этим благом, стоит в более выгодном положении и может работать на общую пользу с бо́льшим успехом, чем то большинство, которое не приобрело себе этого сокровища.

Где же тут аристократизм? — Никто не думает говорить, что всякий развитой человек честнее и умнее всякого неразвитого. Я говорю только, что ум и честность развитого человека приносят обществу и самому обладателю этих качеств гораздо больше пользы и наслаждений, чем ум и честность человека неразвитого. Эту мысль, которая по своей простоте и очевидности похожа даже на общее место, можно повести дальше и выразить более определенным образом. Можно сказать, что без развития сильный ум и сильный характер становятся не только бесполезными, но даже вредными, как для общества, так и для самого данного субъекта. Посредственность уживается лучше гения с такою обстановкою, при которой ум и страсти осуждены на бездействие. Тихий и скромный бурсак Васенда проживет на свете гораздо приличнее, благоразумнее и безобиднее для себя и для всех, чем даровитый и замечательный Гороблагодатский, который насолит себе, насолит другим и в то же время не произведет никакой существенной перемены во всем том, что стесняло, волновало и бесило его. Это неуменье сильных натур мириться с пошлостями жизни драгоценно тем, что оно выводит замечательных людей на лучшую дорогу, заставляет их искать и иногда помогает им найти те знания, при содействии которых они могут развернуть в полезной работе все свои силы. Но для тех людей, которым выход на лучшую дорогу не удается, это неуменье помириться становится обильным источником мучений и ошибок. Гороблагодатский не может сделаться Васендою; он не может урезать от своего ума и от своих страстей те излишки, которым некуда деваться при данных условиях. Но если нет возможности превратить себя в тихую и приличную посредственность, зато есть полная возможность убить в себе диким разгулом все порывы к лучшей жизни и вместе с этими неуместными порывами убить все способности своего ума; словом, можно превратить себя в ходячую развалину, и эту

операцию проделывают над собою так или иначе почти все замечательные люди, которые, нуждаясь в знаниях, сами не умеют понять, чего именно им недостает. Таким людям нечем успокоить свою тревогу, потому что знания составляют единственный ключ ко всякой широкой и разумной деятельности, какая бы она ни была, теоретическая или практическая, ученая или социальная.

IX

Бурса распоряжается с своими даровитейшими воспитанниками очень бесцеремонно: одних она развращает голодом, наподобие Аксютки; другим, неприступным с нравственной стороны, она навсегда засоряет головы и загораживает дорогу к образованию. Таким образом молодая жизнь, так или иначе, оказывается изломанною. Блестящие исключения из этого правила не должны подкупать нас в пользу бурсы, во-первых, потому, что эти исключения очень малочисленны, а во-вторых, потому, что все они относятся к таким личностям, которые по выходе из бурсы сворачивали в сторону с торной бурсацкой дороги. Эти личности, подобные Добролюбову и Помяловскому, развиваются и совершенствуются именно только тогда, когда стараются как можно быстрее и полнее забыть все то, чем наградила их alma mater * бурса. Только эти блестящие ренегаты бурсы и привлекли внимание общества на замкнутый бурсацкий мир. Принимая этих ренегатов за образчики, общество расположено было думать, что бурса — таинственная лаборатория, в которой рутинные педагогические средства, на удивление почтенной публики, дают превосходнейшие результаты и выковывают *сердца из золота и стали.* Общество забывало, что бурсу следует судить по тем ее продуктам, которые остаются навсегда в предначертанной для них колее. Об этих продуктах я распространяться не желаю; но замечу мимоходом, что ими не совсем доволен был г. Иван Аксаков, [3] который в этом деле может быть более компетентным судьею, чем я.

Посмотрим теперь, как действует на своих воспитанников мертвый дом. Об одном из обитателей этого дома г. Достоевский говорит не только с уважением, но даже с самым горячим восторгом. «Его место на нарах, — говорит автор «Записок», — было рядом со мною. Его прекрасное, открытое, умное и в то же время добродушно-наивное лицо с первого взгляда привлекло к нему мое сердце, и я так рад был, что судьба послала мне его, а не другого кого-нибудь в соседи. Вся душа его выражалась на его красивом, можно даже сказать прекрасном лице. Улыбка его была так доверчива, так детски простодушна; большие черные глаза

* Мать-кормилица *(лат.)*. Так обычно называли студенты свое учебное заведение. — *Ред.*

были так мягки, так ласковы, что я всегда чувствовал особое удовольствие, даже облегчение в тоске и в грусти, глядя на него» (⟨I,⟩ стр. 99). «Трудно представить себе, — говорится далее о том же каторжнике, — как этот мальчик во все время своей каторги мог сохранить в себе такую мягкость сердца, образовать в себе такую строгую честность, такую задушевность, симпатичность, не загрубеть, не развратиться. Это, впрочем, была сильная и стойкая натура, несмотря на всю видимую свою мягкость. Я хорошо узнал его впоследствии. Он был целомудрен, как чистая девочка, и чей-нибудь скверный, цинический, грязный или несправедливый, насильственный поступок в остроге зажигал огонь негодования в его прекрасных глазах, которые делались от того еще прекраснее. Но он избегал ссор и брани, хотя был вообще не из таких, которые бы дали себя обидеть безнаказанно, и умел за себя постоять. Но ссор он ни с кем не имел: его все любили и все ласкали. Сначала со мной он был только вежлив. Мало-помалу я начал с ним разговаривать; в несколько месяцев он выучился прекрасно говорить по-русски, чего братья его не добились во все время своей каторги. Он мне показался чрезвычайно скромным и деликатным и даже много уже рассуждавшим. Вообще скажу заранее: я считаю Алея далеко не обыкновенным существом и вспоминаю о встрече с ним как об одной из лучших встреч в моей жизни. Есть натуры до того прекрасные от природы, до того награжденные богом, что даже одна мысль о том, что они могут когда-нибудь измениться к худшему, вам кажется невозможною. За них вы всегда спокойны. Я и теперь спокоен за Алея. Где-то он теперь?» (т. I, стр. 100—101).

Этот Алей, при благоприятных обстоятельствах, сделался бы, наверное, украшением и гордостью отборного кружка, составленного из самой лучшей, самой умной и самой честной университетской молодежи. Характеристика Алея возбуждает собою два вопроса: во-первых, каким образом такая личность дошла до каторги, а во-вторых, какими средствами этот двадцатилетний юноша мог сохранить в остроге свои превосходные качества. Алей — младший сын дагестанского татарина; у него было на родине пять старших братьев, которым он, по молодости своих лет, повиновался беспрекословно; однажды эти старшие братья повезли его с собою на грабеж. «Уважение к старшим, — говорит г. Достоевский, — в семействах горцев так велико, что мальчик не только не посмел, но даже и не подумал спросить, куда они отправляются» (I, 99). Набег удался, но потом вся история раскрылась; Алея вместе с братьями осудили, подвергли телесному наказанию и сослали в каторгу; впрочем, принимая в соображение молодость его лет, суд назначил Алею *только* четыре года каторжной работы; но после этих четырех лет Алею предстояло поселиться в Сибири; возвращение на родину, под прекрасное небо Дагестана, к матери и сестрам, было навсегда отрезано бедному мальчику за избыток

его послушности, в которой, впрочем, он решительно не мог отказать своим старшим родственникам.

Итак, скажем вместе с читателем: поделом вору мука! — и перейдем ко второму вопросу: что поддерживало Алея на каторге? — Мне кажется, что его, с одной стороны, спасал от развращения постоянный труд, а с другой стороны, что и товарищи его по каторге вовсе не были такими заразительно-скверными людьми, каких мы, добропорядочные и сытые граждане, привыкли себе воображать под именем каторжников или арестантов. — Алей трудился постоянно; у него, как и у большей части его товарищей, была своя работа, совершенно отличная от казенной или обязательной. «Между прочим, — говорит г. Достоевский, — у него было много способностей механических; он выучился порядочно шить белье, тачал сапоги и впоследствии выучился, сколько мог, столярному делу» (I, 103). Труд не был запрещен; но запрещалось иметь при себе в остроге инструменты, без которых работа невозможна; но инструменты все-таки имелись, и работа принимала, таким образом, характер запрещенного плода. Арестанты принуждены были спасать себя от праздности и деморализации вопреки распоряжениям начальства. При таких условиях арестантская промышленность не могла развиваться; надо было ограничиваться такими отраслями труда, которые не требуют больших и громоздких инструментов; надо было вести работу так, чтобы во всякую данную минуту можно было скрыть все следы и признаки ее; кто попадался с инструментами или с деньгами, тот терял все свое достояние и, кроме того, ложился под розги. «Но после каждого обыска тотчас же пополнялись недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому» (I, 27). Борясь постоянно с этими искусственно созданными трудностями и опасностями, арестанты не только продолжали работать, но даже умели выучиваться новым ремеслам. «Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и золотильщики» (I, 26).

Тех людей еще нельзя считать безнадежно погибшими, у которых проявляется такое сильное стремление к труду. Но любопытно заметить, что, выучиваясь ремеслу и приобретая себе возможность сделаться честным и полезным гражданином, арестант нарушал приказания начальства. Арестанта можно и должно было сечь за то, что он на будущее время старался избавить себя от печальной необходимости воровать и грабить. Впрочем, арестанты, по своей скотской бесчувственности, не боялись розог и оказывались неисправимыми, несмотря на добросовестные старания острожного начальства отвадить их от ремесленной деятельности. Они чувствовали, что работа спасала от преступлений и что без работы арестанты, по выражению г. Достоевского,

поели бы друг друга, как пауки в склянке. Начальственное преследование рабочих инструментов обусловливалось, по всей вероятности, тем опасением, что арестанты могут передраться и искалечить друг друга разными ножами, ножницами, шилами и другими острыми орудиями; нельзя сказать, чтобы это опасение было совершенно неосновательно; сам г. Достоевский рассказывает, что однажды один арестант пырнул своего товарища шилом; но опираться на такие случаи и преследовать из-за них рабочие орудия — значит пускать в ход такое лекарство, которое оказывается хуже самой болезни.

Осуждая арестантов на праздность и на скуку, начальство значительно усиливало в них задорное настроение; если бы начальству удалось окончательно очистить острог от рабочих инструментов, то драки стали бы затеваться каждый день, и за неимением острых орудий арестанты ухитрились бы наносить друг другу тяжелые раны поленами или даже просто кулаками. Главное соображение, мешавшее развитию ссор между каторжниками, состояло в том, что каждый из них имел свои тайны, которые могли быть раскрыты обыском; поэтому все старались отвращать такие скандалы, за которыми должно было последовать появление разгневанного начальства. Когда начиналась ругань между двумя арестантами, то масса публики тщательно наблюдала за тем, чтобы противники словесного препирательства не переходили к кулачным упражнениям. Диспутантов прерывали именно тогда, когда они входили в азарт; все это делалось потому, что каждый берег себя и свое собственное трудовое гнездо. У каждого были кое-какие крошечные удобства, которыми он дорожил и которые он мог потерять в случае начальственного разгрома. Поэтому все вместе, общими силами, унимали друг друга и поддерживали у себя мир и благочиние. Эта причина, предотвращавшая бесчисленное множество драк и скандалов, совершенно перестала бы действовать, если бы начальство достигло своей цели и конфисковало все орудия, необходимые для работы.

Страдая от самой безвыходной скуки и потерявши уже все, что только можно было потерять, арестанты действительно поели бы друг друга, как пауки в банке. Другая причина, побудившая начальство преследовать орудия, могла состоять в том предположении, что арестанты своими инструментами перепилят железные решетки, проломают каменные стены, пророют подземные галереи и, наконец, разбегутся на все четыре стороны. Против этого соображения можно возразить, что гений побегов дается очень немногим и что эти немногие избранные, подобные барону Тренку или Латюду, умеют устроивать побеги при таких обстоятельствах, которые в глазах обыкновенных людей считаются непреодолимыми препятствиями. Побеждая то, что кажется непобедимым, эти люди, конечно, ухитрятся промыслить или даже смастерить себе то орудие, в котором они нуждаются. Поэтому отбирать орудия

у целого острога только для того, чтобы удержать от побега какого-нибудь гениального бегуна, способного просверлить незаметным образом целые каменные горы, — значит стеснять и деморализировать сотни невинных для того, чтобы доконать одного виновного, который все-таки сумеет поставить на своем. Кроме того, и это самое важное, побег из казармы невозможен, потому что все предварительные операции — перепиливание решеток или ломание стен, должны производиться в присутствии нескольких десятков человек самого разнокалиберного характера. В таком обществе никакой заговор не может составиться и никакая тайна не может удержаться. Г. Достоевский описывает один побег, окончившийся поимкою бежавших арестантов; но этот побег устроился без всяких романических проломов и подкопов. Двое арестантов просто подговорили конвойного ефрейтора и убежали вместе с ним. Рабочие инструменты нисколько не содействовали этому побегу.

Впрочем, я, может быть, совершенно напрасно тружусь над приискиванием общепонятных причин, внушавших начальству мертвого дома те или другие распоряжения. Начальство этого мертвого дома, о котором пишет г. Достоевский, распоряжалось часто так оригинально, что невозможно приискать никаких причин, кроме начальственного желания и добродетельной ненависти к нарушителям закона, лишенным всех прав состояния. Так, например, г. Достоевский рассказывает, что плац-маиор врывался в острог иногда даже по ночам и «если замечал, что арестант спит на левом боку или навзничь, то наутро его наказывал: «Спи, дескать, на правом боку, как я приказал» (I, 49). Несмотря на такие нашествия, несмотря на все трудности, опасности, наказания, арестанты все-таки работали на себя, по собственному желанию и для собственной выгоды. Это обстоятельство дает арестантам огромное преимущество над бурсаками, у которых обязательная работа была, а собственной работы никакой не было и быть не могло. Впрочем, в свободные часы, когда арестанты могли считать себя до некоторой степени безопасными со стороны начальственных визитов, — казармы каторжников превращались в огромные мастерские. Каждый углублялся в мирное, честное и разумное занятие; каждый желал, чтобы ему не мешали другие, и вследствие этого каждый, в свою очередь, старался не мешать соседям. В такие минуты мертвый дом был несравненно приличнее и благоразумнее, чем бурса во время рекреации. Вернее было бы сказать, что мертвый дом в свободные часы был совершенно приличен, между тем как бурса не знала, куда девать свое свободное время, и доходила в минуты рекреационного мрака до фантастических нелепостей. «В классе так темно, — говорит Помяловский, — что за два шага не распознать лица человеческого. Всякие игры прекращались в эти часы, и бурсак мог развлекаться звуками странными и разнообразными. Общее впечат-

ление было дико... Звуки мешаются. Раздается крик какого-то несчастного, которому, вероятно, *въехали в загорбок;* слышен напев на «*Господи воззвах, глас осьмый*»; вырывается из концерта патетическая нота в *верхнее ге*; кого-то еще треснули по роже; у печки поют: «Отроцы семинарии, посреде кабака стояще, пояху: подавай, наливай; мы книги продадим, тебе деньги отдадим»; слышен плач; *грегочет* какая-то тварь, то есть ржет по-лошадиному, выделывая: и-и-го-го-го-го! Ругань висит в воздухе, крики и хохот, козлоглагольствуют, грегочут, поют на гласы и вкушают затрещины» (стр. 40). Тут же придумывается для разнообразия избиение приходчины.

Таких явлений в мертвом доме нет, и возможны такие эпизоды только в бурсе и, в слабейшей степени, в других учебных заведениях, возможны собственно потому, что педагоги считают полную праздность превосходным отдыхом после умственных занятий. Полная праздность всегда порождает дикие развлечения, которые не доставляют ни пользы, ни удовольствия самим развлекающимся субъектам. Этими дикими развлечениями медленно и нечувствительно, но неизбежно уродуются умы и характеры. Заставьте человека выдерживать каждый день, в продолжение пяти или шести лет, часа по три бурсацкой рекреации, и этот человек непременно огрубеет и ожесточится. Если бы Алей попал в бурсу, то вся его грация, воспетая г. Достоевским и устоявшая против влияния мертвого дома, истрепалась и уничтожилась бы в водовороте смазей, салазок и затрещин, от которых невозможно увернуться и за которые непременно надо расплачиваться тою же монетою. Каторжники работают; поэтому каждый из них хочет и может сосредоточиваться в самом себе и уединяться от товарищей, продолжая сидеть с ними в одной комнате и на одних нарах. Бурсаки, напротив того, развлекаются, то есть озорничают друг над другом, вследствие чего обособление личности становится невозможным.

X

Г. Достоевский говорит, что Алея *все любили и все ласкали.* Это значит, что каторжники умели ценить красоту тех качеств, которыми отличался Алей. Это значит, что каторжники вообще были способны любить бескорыстно чистое, свежее, кроткое и прекрасное существо. Это обстоятельство в значительной степени помогло Алею сохранить себя во всем блеске своей нравственной чистоты. Это же обстоятельство показывает ясно, что товарищи Алея были не бог знает какие безнадежно гнусные люди. Мыслящему читателю вряд ли есть надобность доказывать, что преступник, лишенный всех прав состояния, все-таки не перестает думать и чувствовать по-человечески. Но не всех читателей можно назы-

вать мыслящими, и потому говорить о человеческом достоинстве каторжников в наше время не только необходимо, но даже и до некоторой степени опасно. Если вы скажете, что каторжник — не лютый зверь и не грязная гадина, что в нем не замерли лучшие инстинкты человеческой природы, что он способен подняться на ноги и начать новую жизнь, то суровые мудрецы, солидные моралисты и непогрешимые censores morum * сочтут себя оскорбленными до глубины души: они подумают, что вы ставите их на одну доску с презренным каторжником; они закричат во все горло, что вы унижаете добродетель и прославляете порок; они обвинят вас в том, что вы потворствуете воровству, поощряете убийство и стараетесь подорвать авторитет закона, карающего похитителей чужой собственности и чужой жизни. Ввиду такого жалкого неразумия, заявляющего себя публично и торжественно, с апломбом и с величественным самодовольством, становится необходимым говорить подробно, но с некоторою осторожностью, о тех истинно человеческих чувствах, которые подмечены г. Достоевским в несчастных обитателях мертвого дома. Описывая человеческие чувства каторжников, я постоянно должен упрашивать читателя, чтобы он не увлекался примером арестанта и не старался подражать его преступлениям. При таких условиях интересы истины будут соглашены с требованиями осторожности, и самые строгие ценители литературных заслуг не решатся заподозрить меня в посягательстве на чистоту и непорочность читающей публики.

Хорошие черты, собранные г. Достоевским, особенно драгоценны потому, что они вырываются у него почти невольно и что он сообщает их читателю без всякой предвзятой мысли. Большая часть этих подробностей брошена мимоходом, так что автор сам не вглядывался в них и не ставил их в заслугу каторжникам.

Итак: *первая черта* — любовь каторжников к Алею.

Вторая черта. На каторге был один старик из раскольников, безукоризненно честный и чрезвычайно добродушный. «Во всем остроге, — говорит г. Достоевский, — старик приобрел всеобщее уважение, которым нисколько не тщеславился. Арестанты называли его дедушкой и никогда не обижали его» (т. I, стр. 61). «Вот этому-то старику мало-помалу почти все арестанты начали отдавать свои деньги на хранение. В каторге почти все были воры, но вдруг все почему-то уверились, что старик никак не может украсть» (I, ⟨61 —⟩ 62). Это уважение к старости и к честности, это безграничное доверие, это слово *дедушка* заключают в себе так много глубоко трогательной теплоты и задушевности, что мой добродетельный читатель рискует увлечься и расчувствоваться, если я, соблюдая долг осторожности, не напомню ему о надлежащем презрении к клейменым лицам и к бритым головам.

---

* Блюстители нравов (*лат.*). — *Ред.*

Третья черта. «Помню, — говорит г. Достоевский, — как однажды один разбойник, хмельной (в каторге иногда можно было напиться), начал рассказывать, как он зарезал пятилетнего мальчика, как он обманул его сначала игрушкой, завел куда-то в пустой сарай, да там и зарезал. Вся казарма, доселе смеявшаяся его шуткам, закричала как один человек, и разбойник принужден был замолчать; не от негодования закричала казарма, а так, потому что *не надо* было *про это* говорить, потому что говорить *про это* не принято» (I, 15⟨—16⟩). Факт замечателен, но объяснение, прибавленное автором, ровно ничего не объясняет и решительно не выдерживает критики. Почему автор знает, что казарма закричала *не от негодования?* И что это за резон выражен словами: *а так?* И если рассказ разбойника ни в ком не возбуждал негодования и отвращения, то почему же *не надо* и *не принято* было говорить о таких предметах? — На эти вопросы автор опять ответит: *так*, но кто же удовлетворится подобным ответом? — Мне кажется, что казарма закричала именно от негодования, потому что ей показалось чересчур отвратительным, во-первых, умерщвление беззащитного ребенка, а во-вторых, наглое хвастовство. Слушатели почувствовали, что это хвастовство глубоко оскорбляет их человеческое достоинство. За кого же, дескать, этот осел нас принимает, если он думает, что мы будем любоваться такими мерзостями? Г. Достоевский полагает, что «*про это* говорить не принято». — То есть про что же именно? Про какое *это?* Если под словом *это* г. Достоевский подразумевает вообще убийство, то он ошибается и сам себя опровергает. В том же томе, на стр. 182 и 183, Лучка рассказывает товарищам очень подробно, как он зарезал одного сердитого плац-маиора, и все его слушают, и никто на него не кричит. Значит, об убийстве говорить можно, и, значит, крик казармы в первом случае был направлен не против нарушения каторжного этикета, а против отвратительности разбойнических излияний.

Четвертая черта. Арестанты любят докторов за их гуманное обращение и вспоминают со вздохами и с умилением о тех начальниках, в которых заметны были хоть какие-нибудь проблески добродушия. «Душа человек! Отца не надо!» — говорят арестанты, вспоминая поручика Смекалова (II, 44), который, однако, наказывал их за провинности, но только при этом не смотрел на них как на отверженцев и не придирался ко всяким пустякам. «Даже, — говорит г. Достоевский, — подчас какой-то маниловщиной отзывались воспоминания о добрейшем поручике» (II, 47). Значит, самая ничтожная ласка находит себе доступ к сердцу арестанта. Где же тут закоренелость и неисправимость? Но при этом осторожность все-таки заставляет меня напомнить читателю, что подражать арестантам не годится.

Пятая черта. Накануне рождества во всем остроге господствует торжественная тишина. Все арестанты ведут себя осо-

бенно чинно и спокойно. Нет ни балагурства, ни каторжной игры. Кто нарушает общее строгое спокойствие, того унимают и бранят за неуважение к празднику. Словом, арестанты хотят, чтобы у них в их тесной и душной острожной сфере было то же самое, что делается в мире свободных и добропорядочных людей. Арестанту очень хочется поддержать в своих собственных глазах свое человеческое достоинство, и он приступает к этой задаче с теми средствами, которые дает ему в руки его нероскошное умственное развитие. В каких бы формах ни проявлялось это стремление уважать в самом себе человека, — оно во всяком случае показывает, что, несмотря на всю безвыходную грязь и тоску острожного прозябания, арестант все-таки не хочет и не может окончательно махнуть на себя рукою.

Шестая черта. В самый день рождества из города привозят и приносят в острог целые горы подаяний в виде всевозможных сдобных печений. Начинается дележ. «Не было ни спору, ни брани, — говорит г. Достоевский, — дело вели честно, поровну. Что пришлось на нашу казарму, разделили уже у нас; делил Аким Акимыч и еще другой арестант; делили своей рукой и своей рукой раздавали каждому. Не было ни малейшего возражения, ни малейшей зависти от кого-нибудь; все остались довольны; даже подозрения не могло быть, чтоб подаяние можно было утаить или раздать его не поровну» (I, 222⟨—223⟩).

Седьмая черта. На святках арестанты устроили театр. «Унтер-офицер взял с арестантов слово, что все будет тихо и вести будут себя хорошо. Согласились с радостью и *свято исполняли обещание; льстило тоже очень, что верят их слову»* (I, 241). Это все прекрасно; но ты, читатель, все-таки не забывай, что ты в лице арестантов обязан ненавидеть и презирать порок и преступление.

Восьмая черта. Ссыльные поляки, гнушаясь арестантами, не хотели ходить на их театральные спектакли. Наконец, из любопытства, они решились один раз посмотреть на арестантские затеи. «Брезгливость поляков нимало не раздражала каторжных, а встречены они были четвертого января очень вежливо. Их даже пропустили на лучшие места» (I, 247). Такое спокойное и простое великодушие могло бы сделать честь даже какому-нибудь очень образованному и блестящему обществу.

Девятая черта. Театром своим арестанты восхищаются, как дети. Их наивная радость, превосходно описанная в XI главе I тома, доказывает две вещи: во-первых, то, что вся их прежняя жизнь была чрезвычайно однообразна и бедна приятными впечатлениями, а во-вторых, что эти люди, несмотря на свой каторжнический сан, представляют собою в умственном отношении совершенно девственную почву, на которой искусный воспитатель, при некотором старании, мог бы возрастить богатую жатву хороших мыслей, великодушных чувств и честных намерений. Если для них ново и драгоценно самое ничтожное эстети-

ческое наслаждение, то, значит, ясно, что ум их спал глубоким сном во все то время, когда они совершали преступления. А если ум их ничем не был пробужден и затронут с самого их рождения, то, спрашивается, какую же силу они могли противопоставить тем искушениям, которые осаждают со всех сторон голодного и беспомощного бедняка? Далее, если для них новы *все впечатления бытия*, то можно ли их считать погибшими людьми? Погибшим можно назвать только того человека, который весь поглощен одною страстью, вредною для общества. Плюшкин, для которого не существует на свете ничего, кроме денег, погибший человек, хотя он никогда не попадет на каторгу. Но каторжник, способный отдаваться всевозможным впечатлениям с порывистою страстностью ребенка, может воскреснуть и начать новую жизнь, лишь бы только общество решилось дружелюбно протянуть ему руку помощи. Но вы, читатели, разумеется, подобной глупости не сделаете, потому что вы обязаны помнить то огромное расстояние, которое отделяет вас, честных людей, от презренных обитателей мертвого дома.

Десятая черта. Преступников, наказанных шпицрутенами, приводили обыкновенно в гошпитальную палату, и тут больные арестанты, принимая их на свое попечение, ухаживали за ними самым тщательным образом. «Всю ночь ухаживали за ним арестанты, — говорит г. Достоевский о наказанном разбойнике Орлове, — переменяли ему воду, переворачивали его с боку на бок, давали лекарство, точно они ухаживали за кровным родным, за каким-нибудь своим благодетелем» (I, 89). «Молча помогали несчастному и ухаживали за ним, особенно если он не мог обойтись без помощи. Фельдшера уже сами знали, что сдают битого в опытные и искусные руки. Помощь обыкновенно была в частой и необходимой перемене смоченной в холодной воде простыни или рубашки, которою одевали истерзанную спину, особенно если наказанный сам уже был не в силах наблюдать за собой, да, кроме того, в ловком выдергивании заноз из болячек, которые зачастую остаются в спине от сломавшихся об нее палок» (II, 14⟨—15⟩).

Если бы я захотел приводить здесь все хорошие черты, подмеченные г. Достоевским в отдельных личностях, то мне еще долго не пришлось бы кончить. Но я нарочно ограничился только теми чертами, которые относятся к общей массе каторжников и характеризуют собою господствующее настроение. Взятые порознь, эти черты очень мелки и незначительны; но если сложить их все вместе и если дополнить их теми нравственными свойствами, с которыми эти мелкие черты неразрывно связаны, то получится общий результат, далеко не отвратительный. Говоря о каторге, следует перевернуть известную пословицу: «не место красит человека, а человек место», пословицу, которая, впрочем, нигде и никогда не оказывается верною. О каторге можно сказать,

что тут не люди портят место, а место портит людей. Острог ужасен не тем, что в нем живут ужасные люди, а тем, что эти люди, совсем не ужасные, терпят в нем значительные лишения и стеснения, которые притупляют их умы и портят их характеры. Когда начальству угодно будет устранить некоторые из этих лишений, тогда острог, превращаясь понемногу в мастерскую и в ремесленную школу, утратит бо́льшую часть своей отвратительности и начнет приносить действительную пользу тем заключенным, которым не удалось приобрести себе на свободе ни технических знаний, ни житейской сноровки. Мертвый дом, описанный г. Достоевским, заключает в самом себе задатки своего усовершенствования. Эти задатки развернутся, и нравственность арестантов улучшится, как только им дадут возможность смело и открыто заниматься собственною работою.

В бурсе, описанной Помяловским, я не заметил таких задатков развития. Начальство может, конечно, заменить розги карцером, а карцер еще каким-нибудь другим более деликатным наказанием. Начальство может улучшить стол воспитанников, истребить сырость и грязь, вентилировать комнаты и зажигать лампы на целый вечер. Все это, конечно, значительно облегчит участь бурсаков, но основное зло бурсы останется нетронутым, потому что оно неизлечимо. Это основное зло заключается в той антипатии, которая существует между умами учеников и бурсацкою наукою. Эту антипатию невозможно искоренить, потому что бурсацкую науку невозможно сделать привлекательною. Все лучшие силы общества устремлены совсем не на те занятия, которые могут сформировать хороших бурсацких преподавателей. Общество интересуется совсем не тем, что интересовало его несколько столетий тому назад. То, что оставляется без внимания лучшими умами и самыми блестящими талантами, поневоле облекается в такие сухие и черствые формы, которые никому не могут нравиться и которые приходится навязывать ученикам насильно, посредством розог, или посредством карцера, или при содействии каких-нибудь еще более утонченных и облагороженных средств угнетения. Ученики воспринимают неохотно, забывают немедленно и выносят с собою в жизнь вместо полезных знаний отвращение к умственному труду. Очень жаль, но счастливые времена Абеляра все-таки остаются невозвратимыми.

ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ДОКТРИН

I

В статье «Времена метафизической аргументации» [1] было брошено несколько отрывочных замечаний о французской литературе XVIII века. Чтобы выяснить и дополнить эти замечания, я постараюсь теперь определить общий характер того великого умственного движения, которое положило конец средневековому порядку вещей.

Во время продолжительного царствования Людовика XIV французы совершенно разучились сопротивляться королевской власти; волнения Фронды были забыты; дворянство служило при дворе и танцевало менуэты; парламенту было объяснено раз навсегда, что Людовик XIV не король, а государство; [2] галликанская церковь, [3] в лице своего величайшего светила, Боссюэ, провозглашала торжественно, что пассивное повиновение королю, наперекор всему и всем, наперекор папе, наперекор здравому смыслу и совести, составляет самую священную обязанность настоящего христианина. Людовик XIV в продолжение пятидесяти лет с лишком делал все, что ему было угодно. Хотел тратить миллионы на постройку версальских дворцов — и тратил; хотел вести бестолковые войны — и вел; хотел опустошать в своем собственном королевстве целые области, населенные мирными и трудолюбивыми протестантами, — и опустошал. Словом, запрету не было ни в чем, и удовольствия получались самые разнообразные. Дело короля состояло в том, чтобы выдумывать затеи и требовать денег; это значило, что король заботится о своей славе, поощряет промышленность и кормит бедняков, доставляя им возможность строить фонтанчики и павильончики, плести кружева, делать огромные парики и вышивать золотом атласные жилеты и бархатные кафтаны.

Счастливая Франция, осыпаемая в продолжение многих десятков лет такими истинно королевскими благодеяниями, пре-

успела до того, что дальше преуспевать было уже невозможно. Дальше оставалась одна только голодная смерть. Те люди, на которых лежала обязанность представлять королю деньги по первому востребованию, видели, что с каждым годом собирание доходов становится более затруднительным и что этому горю не помогают никакие военные экзекуции. Эти люди занимали сами очень теплые места, и поэтому они вовсе не были расположены ни к вольнодумству, ни к сентиментальности; но и этим людям нельзя было не заметить, что все государственное хозяйство идет из рук вон дурно и что рабочие силы нации находятся при последнем издыхании. Министры, интенданты, епископы, генеральные откупщики [4] — все чувствовали более или менее смутно, что *так* нельзя продолжать. Бедность была так широко распространена, что она мозолила глаза всем, кроме короля, который ограждался от непристойных зрелищ постоянными стараниями раззолоченной и улыбающейся придворной толпы. Когда какая-нибудь печальная истина упорно выглядывает на свет из каждой прорехи существующего порядка, когда эту истину нельзя замазать никакою штукатуркою, ни официальными софизмами, ни бюрократическими паллиативами, ни величественным игнорированием, ни внушительною строгостью, тогда, рано или поздно, эта истина высказывается во всеуслышание и овладевает всеми умами. Чтобы высказать то, что ощущается всеми, не надо обладать особенною гениальностью; но чтобы заговорить о таком предмете, о котором все думают и о котором никто не смеет произнести ни одного слова, надо отличаться от других недюжинною любовью к истине или к тем интересам, которые страдают от общего молчания.

При Людовике XIV общеобязательное молчание было нарушено тремя тихими и почтительными голосами. О несовершенствах господствующей системы заговорили архиепископ Фенелон, маршал Франции Вобан и чиновник руанского суда Буагильбер. Всем троим демократические тенденции были совершенно не по чину, да и не по темпераменту. Все трое хлопотали не о каких-нибудь размашистых теориях, а только о том, чтобы у народа не совсем были отняты средства питаться, плодиться, работать и платить подати. Самым дерзновенным сочинением Фенелона были «Приключения Телемака». Но это сочинение, уносящее читателя в Грецию и в глубокую древность, казалось столь дерзновенным самому автору, что он вовсе не считал возможным выпускать его в свет. Книга эта была напечатана без ведома автора, который написал ее исключительно для своего воспитанника, герцога бургонского, внука Людовика XIV. Печатание этой книги было остановлено парижскою полициею и оказалось возможным только в голландском городе Гаге. Ядовитость этой ужасной книги состоит в том, что она воспевает добродетели и мудрость таких благодетельных монархов, которые не ведут разорительных войн

и не забавляются великолепными постройками, а развивают земледелие, поощряют торговлю и водворяют в народе патриархальную простоту нравов. Злостность этого памфлета была так очевидна, что Людовик XIV отнял у Фенелона место воспитателя и запретил ему, как обличителю и критикану, являться ко двору. Другой, конечно, за такое неистовство просидел бы лет двадцать в Бастилии, но Фенелону, при всей его преступности, многое можно было простить за его архиепископское достоинство. Чрез три года после истории о Телемаке герцогу бургонскому пришлось проезжать через город Камбре, в котором находилась епископская резиденция Фенелона. Король был так великодушен, что позволил герцогу повидаться с преступным обличителем войн и построек; но так как герцог был очень молод, а Фенелон очень лукав и опасен, то им строго запрещено было оставаться вместе без свидетелей. Таким образом разрушительная ярость Фенелона была обуздана.

Другим разрушителем оказался на старости лет знаменитый инженер Вобан. Основавши на своем веку тридцать три новые крепости и перестроивши триста старых крепостей, Вобан должен был не только изъездить всю Францию вдоль и поперек, но еще, кроме того, жить, более или менее долго, в различных местностях своего отечества. Он внимательно всматривался во все, что его окружало, везде находил бедность и злоупотребления, везде подмечал одни и те же причины народных страданий и, наконец, решился изложить результаты своих наблюдений в политико-экономическом трактате под заглавием: «Projet d'une dîme royale» («Проект королевской десятины»). В этой книге он старался доказать, что основная причина народных бедствий заключается в неравномерном распределении налогов, то есть в том, что чернь и бедняки платят бесконечно много, а богатые и знатные люди — духовенство, дворянство и чиновничество — избавлены от всяких денежных и натуральных повинностей. Эту книгу, в которой привилегированные тунеядцы были названы *порождением ехидны*, старый маршал представил самому королю, с тем трогательным и смелым простодушием, которым отличаются только малолетние ребята и гениальные люди. Вобан, конечно, судил короля по самому себе; и, разумеется, он оказывал Людовику XIV слишком много чести. Книгу Вобана запретили, конфисковали и уничтожили. Старик не вынес этого удара и умер чрез одиннадцать дней после уничтожения книги. Умер он, конечно, не от того, что на него прогневался повелитель Франции, не от того, что этот гнев мог преградить ему дорогу к дальнейшему повышению или даже отнять у него те преимущества, которыми он пользовался. Вобана сразило то, что он принужден был в одну минуту жестоко разочароваться. Верования всей его жизни погибли перед его глазами. Он был уверен, что король не знает и что *порождения ехидны* отводят ему глаза от народных страданий. И вдруг оказалось, что король не хочет знать и что все *порождения ехидны*

пользуются его сознательным покровительством. Во что же превращались при таких условиях все труды и все подвиги честного патриота и храброго солдата Вобана? Какой смысл получали его триста тридцать три крепости, сто сорок сражений и пятьдесят три осады? Он думал прежде, что он сражался за свое отечество. Теперь оказывалось, что своими победами он усилил и возвеличил самых опасных врагов и самых ненасытных грабителей Франции. Сделавши такое открытие, молодой человек круто повернул бы в противоположную сторону все свои мысли и всю свою жизнь. Но такому старику, как Вобан, оставалось только назвать себя старым дураком и умереть, проклиная день и час своего рождения.

Буагильбер, в книге своей «Détail de la France sous le règne de Louis XIV» («Подробное описание Франции в царствование Людовика XIV»), доказывал, подобно Вобану, что для спасения и благосостояния государства необходимо равномерное распределение податей. Финансовое искусство, по еретическим мнениям Буагильбера, должно было состоять не в выжимании денег всеми правдами и неправдами, а в разумном возвышении производительных сил нации. За эти дерзкие умствования Буагильбер потерял свое место, но так как у него была при дворе сильная протекция, то его скоро простили и снова определили к прежней должности.

Таким образом королевская власть, в лице Людовика XIV, получила свое первое предостережение с лишком за восемьдесят лет до начала революции. Раскаяться и исправиться было еще очень возможно. В продолжение всей первой половины XVIII века политические стремления самых смелых французских мыслителей были чрезвычайно умеренны. Просвещенный и заботливый деспотизм, обуздывающий ярость клерикалов и расходующий разумным образом государственные доходы, — составлял венец их желаний. Если бы преемники Людовика XIV были похожи на Петра I или на Фридриха II прусского, если бы они понимали необходимость радикальных преобразований, то вся литература оказалась бы их усердною союзницею. Руссо стал бы воспевать высокие совершенства феодальной системы, французский народ продолжал бы гордиться своими верноподданническими чувствами, и революция сделалась бы ненужною и невозможною. Но Филипп Орлеанский и Людовик XV хотели наслаждаться жизнью и не умели возвыситься до каких бы то ни было твердых и определенных политических убеждений. Их ребяческие капризы, их скандальная бездарность, их самодовольная фривольность доказали, наконец, французам, что возлагать все упование на добродетели и таланты отдельной личности — дело очень рискованное и неблагоразумное. Людовик XIV, Филипп Орлеанский и Людовик XV оказались, таким образом, самыми замечательными популяризаторами отрицательных доктрин, такими популяризаторами, без

содействия которых ни Вольтер, ни Монтескье, ни Дидро, ни Руссо не нашли бы себе читателей и даже не вздумали бы приняться за свою критическую деятельность. Популяризаторская работа Людовика XIV оказалась до такой степени успешною, что народ обезумел от радости, узнавши о его смерти. Конечно, никто, кроме самого Людовика XIV, не мог насадить и воспитать такие нежные чувства в сердцах французского народа, гордившегося своею пламенною привязанностью к династии Бурбонов. А без этого основного фундамента, заложенного самим Людовиком XIV, развитие и распространение отрицательных доктрин было бы невозможно. Смелые и проницательные мыслители могли бы, правда, понимать нелогичности и неточности господствующего миросозерцания; они могли бы замечать неразумность установившихся междучеловеческих отношений; но они постоянно чувствовали бы свое одиночество и вряд ли даже решились бы делиться с массою своими непочтительными размышлениями. Масса не стала бы их слушать. Масса заставила бы их молчать, потому что масса очень охотно мирится со всякими несообразностями, если только она к ним привыкла и если они не причиняют ей чересчур невыносимой боли. Но так как французские Людовики и Филиппы позаботились о том, чтобы эта боль сделалась действительно невыносимою, то размышление, анализ и отрицание оказались настоятельною потребностью для самых обыкновенных умов, и масса, вынужденная своими правителями, направилась поневоле к древу познания добра и зла.

II

Открытие Америки, кругосветное плавание Магеллана и астрономические исследования Коперника, Кеплера и Галилея показали ясно всем знающим и мыслящим людям, что мироздание устроено совсем не по тому плану, который рисовали в продолжение многих столетий папы, кардиналы, епископы и доктора всех высших схоластических наук. Разрыв между свободною мыслью исследователей и вековыми традициями католицизма и протестантизма был очевиден, но очевиден только для тех немногих людей, которые серьезно посвящали себя научным занятиям. Массе до этого разрыва не было никакого дела, и она продолжала подчиняться традициям, которых несостоятельность была доказана с математическою точностью. Увлечь массу вслед за передовыми мыслителями могла только невыносимая боль, причиненная ей ее любезными традициями. Такая боль действительно явилась к услугам массы в виде тех преследований, которым остроумный король Людовик XIV вздумал подвергнуть протестантов в конце XVII века. Все мы, конечно, слышали слово *драгоннады*, [5] и все мы знаем, что этим словом обозначаются какие-то скверные штуки,

которые проделывались французскими драгунами над французскими протестантами. Но далеко не все мы знаем, до каких пределов простиралась скверность этих штук. Представьте себе, что на мирных и беззащитных граждан напускали солдат, которым было дано право забавляться над ними как угодно, лишь бы только эти граждане не умирали на месте от солдатских увеселений; представьте себе далее, что тогдашние солдаты, получивши такие завидные права, обнаружили остроумие и тонкую изобретательность краснокожих индейцев, захвативших в плен злейшего и опаснейшего врага. Что они насиловали жен и дочерей протестантов в присутствии родителей и мужей, — это уже само собою разумеется и составляет только добродушно-комическую прелюдию их веселых шалостей. Настоящие же шалости были более серьезного характера: солдаты втыкали в упорных еретиков булавки с ног до головы, резали их перочинными ножами, рвали носы раскаленными щипцами, вырывали ногти на пальцах рук и ног, лили в рот кипяток, ставили ноги в растопленное сало, которое постепенно доводилось до кипения. «Одного из протестантов, — говорит Бокль, — по имени Рио, они крепко связали, сжали пальцы на руках, воткнули булавки под ногти, жгли порох в ушах, проткнули во многих местах ляжки и налили уксусу и насыпали соли в раны» (т. I, стр. 510). [6] В это же самое время такие же точно эпизоды разыгрывались по приказанию Иакова II в Шотландии над тамошними пресвитерианцами. [7] Такие вещи, совершающиеся не в глухом застенке, не по приговору судьи, не по правилам уголовной практики, а на улицах или в частных домах, по свободному вдохновению пьяных солдат, — могли бы произвести очень неприятное впечатление даже на такую страну, которая была бы сплошь заселена фанатическими и совершенно невежественными католиками. Но Франция Людовика XIV уже гордилась своею блестящею литературою, своим высокоразвитым искусством, своими утонченными и отполированными манерами. Эта Франция была уже достаточно вылечена от средневекового фанатизма страданиями междоусобных войн и ужасами Варфоломеевской ночи. Отменение Нантского эдикта [8] и драгоннады не могли быть особенно приятны даже и для католического населения страны. Протестанты были народ трудолюбивый, промышленный, торговый и зажиточный; у них было много деловых сношений и связей со всем промышленным и торговым миром Франции; все эти связи должны были вдруг оборваться; при этом, конечно, многим католическим купцам и фабрикантам пришлось ухватиться за карман и усомниться в излишнем усердии великого короля. Во всей торговле должно было произойти такое замешательство, которое, вероятно, доказало многим искренним католикам, что фанатические преследования ведут за собою чувствительные неудобства.

Вслед за отменением Нантского эдикта полмиллиона протестантов выселились из Франции. Они бежали в Голландию,

в Швейцарию, в Пруссию, в Англию и даже в Северную Америку. Можно себе представить, какое потрясающее впечатление должны были производить на всех ближайших соседей Франции эти длинные вереницы переселенцев, из которых многие были истомлены нуждою и голодом и из которых каждый сообщал какие-нибудь новые подробности о разыгравшихся сценах угнетения, грабежа, насилия и мучительства. В том поколении, которое видело этих измученных беглецов, еще были живы страшные предания о насилиях и опустошениях Тридцатилетней войны; сближая эти свежие предания с теми картинами, которые развертывались теперь перед его глазами, всякий лавочник, всякий ремесленник, всякий простой мужик мог думать, что подвигается новая Тридцатилетняя война католиков с протестантами. Такой войны не мог желать ни один здравомыслящий человек, тем более что следы этой войны были еще слишком заметны на всем пространстве германской территории. Но, глядя на французских изгнанников, каждый неглупый человек легко мог сообразить, что война, подобная Тридцатилетней, будет постоянно, как дамоклов меч, висеть над Европой до тех пор, пока протестанты и католики не перестанут ненавидеть и преследовать друг друга. Когда масса была наведена на подобные мысли живыми и яркими впечатлениями действительной жизни, тогда проповедь всеобщей терпимости становилась в высшей степени уместною, и давнишняя борьба передовых мыслителей против фанатизма получала возможность увенчаться самым блистательным успехом. Мыслители, опираясь на общеизвестные факты, могли сказать массе громко и торжественно, что ее страданиям и преступлениям не будет конца до тех пор, пока не уничтожится в ее коллективном уме то основное заблуждение, из которого развиваются фанатический энтузиазм и фанатическая ненависть. При всей своей ребяческой нежности к основному заблуждению, несогласному с дознанными законами природы, масса все-таки была расположена терпеливо слушать серьезные поучения мыслителей, потому что воспоминания о Тридцатилетней войне и бледные лица французских беглецов поневоле наводили массу на непривычные для нее размышления. Католические и протестантские клерикалы, с своей стороны, старались по мере сил помогать мыслящим проповедникам терпимости разными мелкими гадостями и прижимками, которые каждый день напоминали понемногу массе о крупных страданиях и преступлениях, вытекающих, вместе с фанатизмом, из основного заблуждения.

Драгоннады одобрялись безусловно самыми блестящими представителями галликанской церкви.

L'illustre Bossuet * был ревностным и красноречивым панегиристом этих энергических распоряжений. Либерал и филантроп Фенелон, часто критиковавший действия правительства в

* Знаменитый Боссюэ *(франц.)*. — *Ред.*

письмах к влиятельным лицам, во всю свою жизнь не сказал ни одного слова против преследования протестантов. Подобные факты постоянно вели общество к тому убеждению, что клерикалы давно и навсегда разучились служить делу любви и милосердия и что их одряхлевшая корпорация с каждым годом становится более вредною для общественного развития. На этом убеждении рассуждающая масса начала сходиться с передовыми умами. Мыслители заметили признаки такого зарождающегося взаимного понимания и, пользуясь благоприятными условиями времени, заговорили против суеверия и фанатизма таким смелым и вразумительным языком, какого никогда еще не слыхала Европа.

В то самое время, когда Людовик XIV безобразничал и неистовствовал во Франции, один из его верноподданных, протестант Пьер Бэйль, издавал в Голландии журналы, книги и брошюры, в которых общепонятным, живым и увлекательным французским языком провозглашалась полная автономия разума и доказывалась совершенная непримиримость его требований с духом и буквою традиционных доктрин. Живя в свободной стране, Бэйль все-таки не мог высказываться вполне откровенно. Его убеждения испугали и оттолкнули бы его современников. Эти убеждения пришлись не по вкусу даже Вольтеру. Поэтому Бэйль, не вдаваясь в догматическое изложение своих собственных идей, ограничивался постоянно вежливою, осторожною, но очень остроумною и язвительною критикою тех понятий, во имя которых сооружались костры и опустошались цветущие области. Тон Бэйля отличался обыкновенно почтительностью и смирением, но в этой смиренной почтительности слышится для каждого мыслящего читателя бездонная глубина сомнения и отрицания. Бэйль высказывал не все, что думал; но даже и то, что он высказывал, бывало иногда изумительно смело. Так, например, уже в 1682 году он утверждал печатно, что неверие лучше суеверия; поэтому он требовал от государства неограниченной терпимости даже и для крайних еретиков. Это требование повторялось не раз в его брошюрах, написанных по поводу преследования французских протестантов. Далее, тот же неустрашимый мыслитель задавал себе и обсуживал с разных сторон вопрос: может ли существовать государство, составленное из атеистов? На этот вопрос Бэйль не дает прямого ответа, но весь процесс его доказательств очевидно клонится к тому результату, что нравственность может существовать независимо от культа. — Эти мысли Бэйля остаются очень смелыми даже и для нашего времени. В журнале Бэйля «Nouvelles de la république des lettres» * забавлялся иногда антиклерикальными шалостями остроумный писатель Фонтенель. В 1686 году, в то самое время, когда французские протестанты терпели жестокое преследование, в журнале Бэйля появилась сатирическая аллего-

* «Новости республики наук» *(франц.)*. — *Ред.*

рия Фонтенеля, в которой осмеивался весь спор католиков с протестантами. «Письмо, — говорит Геттнер [9] — писанное будто бы в Батавии, рассказывает, что на острове Борнео спорили о престолонаследии две сестры: Меро (Mero — Rome) и Энег (Enègue — Genève), [10] то есть католицизм и протестантизм. Меро признана была без затруднения, но скоро невыносимым гнетом и притеснениями оттолкнула от себя все более свободные умы; все подданные должны были сообщать ей самые тайные свои мысли, приносить ей все свои деньги; высшая милость, которую оказывала королева, было целование ноги, но, прежде чем их допускали к этому, они должны были преклониться перед костями умерших любимцев. Тогда выступила новая королева, Энег. Она уничтожает все эти жестокие нововведения, требует себе престола, называет себя настоящею дочерью недавно умершей королевы и доказывает эти притязания своим сходством с матерью, между тем как Меро, с своей стороны, сильно заботилась о том, чтобы скрывать и подменивать портреты матери». — В том же 1686 году появилась книга Фонтенеля «Entretiens sur la pluralité des mondes» («Разговоры о множестве миров»). Эта книга развивала в популярной форме те самые мысли, за которые в начале XVII столетия сгорел на костре Джиордано Бруно. Фонтенель старался провести в сознание всего читающего общества астрономические открытия Коперника и философские идеи о природе, созданные творческою фантазиею Декарта. Тут, разумеется, было объяснено подробно, что неподвижные звезды — не лампады, прицепленные к небесному своду для освещения земли, а великие центры самостоятельных планетных систем, составленных из таких небесных тел, на которых, по всей вероятности, развивается своя собственная, богатая и разнообразная органическая жизнь. Эта мысль, за которую римская инквизиция сожгла Джиордано Бруно, очень благополучно сошла с рук Фонтенелю, несмотря на то, что его книга, изданная при Людовике XIV, произвела на читающую публику сильное впечатление и понравилась даже легкомысленным светским людям, совершенно не способным к серьезным умственным занятиям. В 1687 году Фонтенель издал «Историю оракулов», в которой он разбирал хитрости языческих жрецов, стараясь при этом навести читателя на разные поучительные размышления о современной действительности. Хранители общественной нравственности поняли наконец, куда клонятся литературные забавы Фонтенеля. Тут всплыла наверх и аллегория о двух царицах острова Борнео. Ключ к ее пониманию отыскался, и Фонтенелю было поставлено на вид, что его ожидает Бастилья. Фонтенель тотчас же раскаялся, исправился, стал изливать на иезуитов потоки хвалебных стихотворений и с тех пор навсегда перестал огорчать хранителей общественной непорочности. За такое благонравие Фонтенель сподобился прожить на свете сто лет. Он умер в 1757 году, когда Вольтер уже господствовал над общественным мнением всей Европы.

III

Людовик XIV умер в 1715 году. Вольтеру было в это время с небольшим двадцать лет, и он уже был настолько известен в парижском обществе своею язвительностью, что когда по рукам стала ходить рукописная сатира против покойного короля, — эта сатира была приписана Вольтеру, который, впрочем, был совершенно неповинен в ее сочинении. За это мнимое преступление Вольтер попал на год в Бастилью. В 1726 году Вольтер еще раз посидел в Бастилье за ссору с шевалье де Роганом, который, впрочем, был сам кругом виноват и вообще действовал в отношении к Вольтеру самым бесчестным и позорным образом.[11] Второе заключение Вольтера продолжалось недолго: по словам Бокля — полгода, а по мнению Геттнера — всего двенадцать дней. Кто из них прав, Бокль или Геттнер, этого я не знаю, да это и не важно. Если мы примем цифру Бокля, как более крупную, то и тогда окажется, что Вольтер, проживший на свете почти 84 года и сражавшийся с самыми сильными человеческими предрассудками с лишком 60 лет, просидел в тюрьме всего полтора года, да и то по таким причинам, которые с его литературною деятельностью не имеют ничего общего. Этими двумя ничтожными заключениями ограничиваются все враждебные столкновения Вольтера с предержащими властями. Вся остальная жизнь его протекла весело, спокойно, в почете и в довольстве. Он вел переписку почти со всеми европейскими государями, в том числе и с папами. Он со всех сторон получал пенсии и знаки отличия. Он был gentilhomme ordinaire de la chambre du roi;[12] камергером Фридриха Великого, официальным историографом Франции и членом французской академии. Он пускался во всякие спекуляции, играл на бирже, принимал участие в государственных займах и поставках для войска; он хитрил, барышничал, кляузничал и даже мошенничал. Он нажил и сохранил большое состояние. Он дошел до таких известных степеней, которым мог бы позавидовать даже Молчалин. И при всем том он постоянно оставался Вольтером, тем неутомимым бойцом, тем великим публицистом, который не имеет себе равного в истории и которого имя до сих пор наводит на всех европейских пиетистов самый комический ужас. — Каким образом мог Вольтер гоняться за двумя зайцами и успешно ловить их обоих? Каким образом мог он в одно и то же время стоять во главе философской оппозиции и пользоваться милостивым расположением всех высших начальств? — Это замечательное явление, которое теперь сделалось уже навсегда невозможным, объясняется, по моему крайнему разумению, только тем обстоятельством, что сила человеческой мысли и возможные последствия умственного движения были в то время еще очень мало известны всем начальствующим лицам и корпорациям.

Правители XVIII века, подобно средневековым государям и папам, не боялись мысли и преследовали оппозиционных мыслителей не как нарушителей общественного спокойствия, а как нахалов, осмеливающихся думать и говорить дерзости. Наказания клонились совсем не к тому, чтобы предотвратить вред, могущий произойти от деятельности писателя; об этом вреде никто и не думал. Какой, дескать, вред может сделать ничтожный и голодный прохвост, марающий бумагу для того, чтобы зашибить несколько грошей на хлеб и на дрова. Наказания имели только тот смысл, что, мол, не смей ты, бестия и прощелыга, соваться с твоими глупыми рассуждениями туда, где тебя не спрашивают. Наказания были мщением за дерзость и поэтому обусловливались исключительно силою того гнева, которым обуревалась важная особа, имеющая власть карать и миловать. Вследствие этого самою опасною была для писателей именно та отрасль литературы, которая была всего ничтожнее и всего менее могла действовать на общественную жизнь в каком бы то ни было направлении. Всего больнее доставалось сочинителям сатир или пасквилей, направленных против отдельных личностей. Напишите вы, например, игривые стишки о том, что дворецкий маркиза А обладает сизым носом и толстым брюхом, — вас почти наверное засадят в тюрьму, потому что маркиз А сочтет себя оскорбленным в лице своего любимого лакея и, пылая благородною амбициею, непременно выхлопочет на ваше имя lettre de cachet. [13] Попробуйте же вы, напротив того, не затрогивая брюха и носа, самым осязательным образом перевернуть вверх дном вашею книгою все господствующие в официальных сферах понятия о юстиции, о финансовом управлении, о сословных отношениях, о международном праве, о каком-нибудь другом предмете первостепенной важности — и опасность окажется для вас гораздо менее значительною, чем в первом случае. Если же вам желательно, чтобы эта опасность уменьшилась до нуля, то сделайте вот что: посвятите вы вашу книгу тому самому начальствующему лицу, которого идеи вы подвергаете самой разрушительной критике; кроме того, рассыпьте в вашем введении и в примечаниях множество самых восторженных и самых голословных комплиментов всем тем сильным особам, которых систему вы отрицаете наповал. Книга ваша пройдет тогда совершенно беспрепятственно. Все влиятельные лица скажут, что ваши идеи, конечно, довольно опрометчивы, но что вы сами человек благовоспитанный, скромный и почтительный и что, следовательно, нет никакой надобности огорчать вас запрещением вашей книги или препровождением вашей особы в Бастилью.

С тех пор как существуют человеческие общества и вплоть до самого XVIII века, литература считалась постоянно забавою, очень тонкою и благородною, пожалуй даже возвышенною, но совершенно лишенною всякого серьезного значения, политического или общественного. Писатель мог быть художником или мудрецом,

но в глазах деловых людей он всегда оставался балясником, кривляющимся для собственного удовольствия и потехи публики. Литература стояла на одной доске с музыкой, живописью и скульптурой. Она могла украшать жизнь фешенебельного общества, но никто не поверил бы, что она может отливать эту жизнь в совершенно новые формы.

В XVIII столетии чтение сделалось насущною потребностью для тех классов общества, которые распоряжаются судьбою народов. Тот материал, которым удовлетворяется эта новая потребность, получил очень важное значение. Фабриканты этого материала сделались изготовителями общественного мнения. Книги, журналы и газеты образовали между тысячами и десятками тысяч индивидуальных умов такую тесную и крепкую связь, которая до того времени была невозможна и немыслима. С тех пор как народилось на свет невиданное диво — общественное мнение целой нации, целой большой страны, — с этих пор, говорю я, писатели сделались для европейских обществ тем, чем были для крошечных греческих республик ораторы.

«Я думаю, — говорил в нижней палате член английского парламента Данверз, — я думаю, Великобританиею управляет власть, о верховном преобладании которой до сих пор не было слышно ни в какой век, ни в какой стране. Власть эта, сэр, не состоит в неограниченной воле одного государя, ни в силе войска, ни во влиянии духовенства, — это также и не власть юбок; это власть печати, сэр. Материалы, которыми наполняются наши еженедельные газеты, читаются с большим уважением, чем акты парламента; а мнение каждого из этих писак имеет в глазах толпы больше значения, чем мнение лучших политических людей королевства». Эти слова были произнесены в 1738 году, и Бокль говорит, что это — самое раннее указание на возникающую власть печати, которая в первый раз во всемирной истории сделалась выразительницею общественного мнения. В половине XVIII века Малерб, директор департамента по делам печати, вступая во французскую академию, говорил так: «Литература и философия теперь снова завоевали себе ту свободу, какую они имели в древней Греции; *они дают народам законодателей;* благородное одушевление овладело всеми умами; пришло время, когда каждый, способный мыслить и писать, *чувствует себя обязанным направить свои мысли к общему благу*». Академические речи всегда переполняются общими местами, приятными для слушателей, для правительства, для академии и для всех вообще присутствующих и отсутствующих, живых и умерших. Поэтому-то именно слова Малерба и должны иметь в наших глазах особенную знаменательность. Если та мысль, что литература и философия *дают народам законодателей*, сделалась общим местом, очень приличным в официальной академической речи, произнесенной важным и солидным чиновником, начальником французской печати, то, разумеется, взгляд на писа-

телей как на милых забавников окончательно сменился тем серьезным взглядом, вследствие которого каждый мыслящий писатель *чувствует себя обязанным направить свои мысли к общему благу.* Если же мы воротимся назад, не очень далеко, всего только к эпохе Людовика XIV, то мы увидим, что литература все еще продолжает забавлять публику (divertir le public, как говорит о самом себе Пьер Корнель) и ни о каком общем благе не смеет подумать. Кто стоит на первом плане во французской литературе XVII века? Корнель, Расин, Буало, Мольер. За какие заслуги? За чувствительные трагедии, за веселые комедии, за ничтожные сатиры и преимущественно за чистоту языка и за изящество стихов. Правда, что в «Тартюфе» Мольера можно уже заметить отдаленный пророческий намек на будущую роль литературы. Кто стоит на первом плане во французской литературе XVIII века? Вольтер, Монтескье, Дидро, Руссо, Гельвеций, Бомарше. За что? За такие произведения, которые затрогивают с разных сторон самые важные и глубокие вопросы миросозерцания, частной нравственности и общественной жизни. Ясно, стало быть, что перемена совершилась именно на рубеже двух столетий, XVII и XVIII. Впечатление, произведенное книгами Фонтенеля и журналами Бэйля, может считаться поворотным пунктом в великом превращении литературы из милой забавы в серьезное дело.

Так как деятельность Вольтера и его ближайших преемников вплоть до 1789 года была первым ярким проявлением серьезной и влиятельной литературы, превратившейся в общественную силу, то, разумеется, отношения этой деятельности к тогдашним властям были еще очень неясны, неопределенны и подвержены многим колебаниям. Власти видели, что народилась на свет новая сила, но они еще не знали, что это за сила, и чего от нее можно ожидать, и до каких размеров может дойти ее развитие, и каким образом следует с нею обращаться. Власти смотрели на возрастающую силу литературы не со страхом, а скорее с любопытством и даже с тщеславным удовольствием. Властям было приятно видеть, что под их господством плодятся такие чудеса, о которых прежние времена не имели понятия. В простоте души своей тогдашние власти играли с великими идеями так же весело и беззаботно, как невинные дети могут играть с заряженными пистолетами. Конечно, иногда задавались писателям сильные острастки, но именно эти-то острастки и обнаруживают всю невинность и беззаботность тогдашних властей; в этих острастках не было ничего систематического; они давались от полноты начальственной досады и для проявления начальственного величия; их можно было всегда предотвратить выражениями покорности и благовоспитанности, а также влиянием личных связей и сильных протекций. Словом, замечая совершенно новое положение литературы, тогдашние власти, по старой привычке, все-таки продолжали обходиться с этою обновившеюся литературою так, как взбалмошная барыня обходится с ком-

натною собачкою. У тогдашних властей не хватало характера и последовательности ни на то, чтобы обольстить и усыпить писателей постоянною любезностью, ни на то, чтобы запугать и раздавить их железною строгостью. Поэтому писатели очень сильно ненавидели правительство и очень мало боялись его.

Бокль с большим негодованием говорит о тех преследованиях, которым подвергалась в прошлом столетии французская литература. Такое негодование как нельзя более понятно со стороны английского радикала, для которого неограниченная свобода печати сделалась насущной потребностью организма. Но от глубокомысленного историка, подобного Боклю, ⟨мы⟩ имеем право ожидать и требовать более объективного взгляда на дело. Если мы просто будем сравнивать положение современных писателей с положением писателей прошлого столетия, то мы найдем, быть может, что положение первых почетнее и безопаснее. Но если мы вследствие этого выведем заключение, что положение литературы с прошлого столетия улучшилось и что мы должны сокрушаться над жестокими страданиями наших предшественников, то мне кажется, что мы сделаем ошибку. Как граждане более благоустроенных государств, современные европейцы действительно счастливее своих дедов; но как писатели, современные европейцы встречают себе больше препятствий и терпят больше преследований. Сравните общие уголовные законы и уголовное судопроизводство прошлого столетия с общими уголовными законами и уголовным судопроизводством нашего времени. Вы найдете громадную разницу: с одной стороны — пытка и мучительные смертные казни; с другой стороны — почти полное отменение простой смертной казни, пенитенциарная тюрьма [14] и суд присяжных. Положим, что пенитенциарная система не бог знает какое совершенство, но во всяком случае гораздо удобнее сидеть в тюрьме, чем умирать на колесе или на костре. Кроме того, гораздо удобнее защищаться перед присяжными, чем давать показания в застенке. Значит, улучшение есть, и значительное. Спросите же вы теперь, распространяется ли это улучшение на писателей? То есть задайте себе два вопроса: поступали ли с писателями XVIII века по всей строгости тогдашних уголовных законов? и поступают ли с теперешними писателями по всей строгости теперешних уголовных законов? На первый вопрос история XVIII века ответит вам: нет. На второй вопрос современная действительность ответит вам: да. С теперешними писателями обращаются точно так же, как с теперешними обыкновенными преступниками. С писателями XVIII века, напротив того, обращались гораздо деликатнее и гуманнее, чем с тогдашними обыкновенными преступниками.

Значит, положение писателей, а следовательно, и литературы ухудшилось с прошлого столетия, хотя в то же время всякому человеку, писателю и не-писателю, жить удобнее в XIX веке, чем в XVIII. Жить удобнее, но писать труднее. При этом, разумеется,

Англию невозможно принимать в расчет, потому что в Англии писатель как писатель не может сделаться преступником и не имеет никакого отношения к уголовным законам. Бокль собрал много примеров тех жестоких преследований, в которых он обвиняет французских администраторов прошлого столетия. В чем же состоят эти преследования? В том, что сочинение конфискуется или сжигается par la main du bourreau (рукою палача), автор сажается в крепость, в тюрьму. На долго ли по крайней мере сажается? Лет на тридцать или двадцать? Увы, нет! Всего чаще на несколько месяцев. Был ли хоть один из тогдашних писателей сожжен, колесован, повешен или по крайней мере сослан на галеры? Подвергался ли хоть один писатель пытке? Ни один. А между тем пытка была тут как нельзя более уместна. Большая часть самых знаменитых и смелых книг выходила тогда в свет без имени автора, и автор в случае переполоха обыкновенно отрекался от своего сочинения. Вот тут-то бы и следовало вывертывать ему руки и сокрушать ноги для получения чистосердечного признания. Если бы в XVIII столетии смотрели на литературу так же сурово, как смотрят на нее в XIX, то многим энциклопедистам пришлось бы побывать в застенке.

Самое строгое наказание, обрушившееся в прошлом столетии на французского писателя, изображено у Бокля следующим образом: «Дефорж, например, писавший против ареста претендента на английский престол, был только за это заключен на три года в подземелье, имевшее 8 квадратных футов» (т. I, стр. 554). А в примечании добавлена та подробность, что свет доходил к преступнику только сквозь расщелину церковной лестницы. По нашему теперешнему масштабу это очень сильно, но по тогдашнему масштабу это сущие пустяки. Латюд высидел больше двадцати лет в разных тюрьмах единственно за то, что, желая приобрести себе протекцию маркизы де Помпадур, пустил в ход очень плоскую и неискусную мистификацию. Некоторые из тюрем Латюда были не лучше того подземелья, в котором сидел Дефорж. — Драматический писатель Фавар был посажен в крепость за то, что его жена, актриса Шантильи, не хотела сделаться любовницею Мориса Саксонского. Долго ли он просидел, этого я не знаю, но уж и то достаточно выразительно, что его посадили за такую провинность. Наконец, надобно еще заметить, что lettres de cachet (приказы об арестовании) для некоторых важных особ составляли предмет выгодной торговли. За известную сумму денег можно было получить бланк и написать на нем имя того лица, которое, по соображениям покупщика, должно было переселиться в Бастилью. Однажды случилось, что двое супругов смертельно надоели друг другу; обе заинтересованные стороны отправились хлопотать о lettres de cachet, и обе достигли своей цели, так что мужа посадили в тюрьму по ходатайству жены, а жену по ходатайству мужа. Ясное дело, что личная свобода граждан ставилась ни во что.

Человека сажали в тюрьму, человека забывали в тюрьме на десятки лет, власти забывали даже, за что был посажен человек, — и никто не находил это особенно удивительным. Но мало-мальски известный и замечательный писатель не мог быть таким образом забыт и заброшен. Его помнили, об нем хлопотали, его вытаскивали на свободу. Словом, в тогдашнем обществе, в котором было сносно жить только привилегированным классам, писательство было знаком отличия, дававшим некоторые льготы и преимущества. Чем самостоятельнее и смелее был писатель, тем значительнее была его известность и тем бережнее обходились с ним власти, потому что он в их глазах получал значение аристократа. Все это происходило, разумеется, от неопытности властей, но именно вследствие этой неопытности официальных деятелей Вольтер имел возможность вести свою пропаганду под покровительством важных особ, охранявших общественную нравственность.

Кому дороги результаты вольтеровской деятельности, тот не должен ставить Вольтеру в упрек его хитрости, ухаживания и заискивания. Все эти маневры помогали успеху главного дела; сгибаясь часто в дугу, вместо того чтобы драпироваться в мантию маркиза Позы, [15] Вольтер в то же время никогда не упускал из виду единственной цели своей жизни. Он льстил своим высоким покровителям и превращал их в свои орудия. Вольтер был достаточно мелочен, чтобы искать знаков отличия и тщеславиться ими, но его страстная любовь к идее была так сильна, эта любовь так безраздельно господствовала над всеми его поступками, что он невольно, по непреодолимому влечению и без малейшей борьбы, обращал на служенье своей идее все связи и протекции, которые ему удавалось приобретать. — Никому из высоких покровителей Вольтера даже и не приходило в голову, чтобы существовала какая-нибудь возможность подкупить или обезоружить Вольтера и отвлечь его ласками или почестями от той смертельной борьбы, которую он вел против клерикализма. Кто покровительствовал Вольтеру, тот сам становился под его знамя, подчинялся его могуществу и обязывался по меньшей мере не мешать распространению рационализма. В мире мысли Вольтер не делал никому ни малейшей уступки, да никто не осмеливался и требовать от него таких уступок. Зато в своих приемах и аллюрах Вольтер был гибок и эластичен, как хорошо закаленная стальная пружина. В своей частной жизни он готов был разыгрывать беспрекословно все те комедии, которых могло потребовать от него окружающее общество. Эта эластичность и гибкость составляет одну из основных причин и из важнейших сторон его значения. Именно это уменье не тратить сил на мелочи и не раздражать окружающих людей из-за пустяков доставило его пропаганде неотразимое могущество и беспримерное распространение. На массу робких и вялых умов, которые везде и всегда решают дело в качестве хора и черноземной силы, действовало чрезвычайно успокоительно и ободрительно то

обстоятельство, что антиклерикальные идеи проповедуются не каким-нибудь чудаком, сорванцом или сумасбродом, а солидным и важным барином, господином Вольтером, отлично устроивающим свои делишки и ведущим дружбу с самыми знатными особами во всей Европе. Поэтому нельзя не отдать должной дани уважения даже и тому чичиковскому элементу, который бесспорно занимает в личности Вольтера довольно видное место. Чтобы иметь какое-нибудь серьезное значение, пропаганда Вольтера должна была адресоваться не к лучшим людям, не к избранным умам, а ко всему читающему обществу, ко всему грамотному стаду, ко всевозможным дубовым и осиновым головам, ко всевозможным картофельным и тестообразным характерам. Всей этой толпе надо было говорить в продолжение многих лет: «Ослы, перестаньте же вы, наконец, лягать друг друга в рыло за такие пустяки, которых вы сами не понимаете и которых никогда не понимали ваши руководители!» — Принимаясь за такое дело, стараясь вразумить таких слушателей, надо было запастись колоссальным терпением и затем пустить в ход все средства, способные вести к успеху, все без исключения, беленькие, серенькие и черненькие. Одним из самых могущественных средств была наружная благонадежность и сановитость господина Вольтера. Надо было приобрести эту внушительную сановитость во что бы то ни стало, хотя бы даже от этого произошел большой ущерб для идеальной чистоты характера. Вольтеру это приобретение не стоило большого труда, потому что характер его никогда не отличался идеальной чистотою. Этот пронырливый характер, соединенный с бойким, острым, неутомимым, но очень неглубоким умом, был превосходно приноровлен к той задаче, за которую взялся Вольтер. С одной стороны, живой ум, пристрастившийся на всю жизнь к одной, очень нехитрой идее, спасал Вольтера от той тины, в которую тянул его чичиковский элемент характера; с другой стороны, чичиковский элемент предохранял Вольтера от смешного и вредного для общего дела донкихотства, которое могло развиться из необузданной любви к идее. Таким образом Вольтеру удалось соблюдать постоянно ту золотую умеренность, которую презирает и отвергает могучий творческий гений, но которая с неотразимою силою привлекает к себе умы и сердца респектабельной буржуазии, стоявшей в то время на очереди и составлявшей собою громадную аудиторию знаменитого популяризатора.

IV

Геттнер очень сильно нападает на Вольтера за различные проявления его уклончивости. «И что, наконец, сказать о том, — спрашивает он в пылу добродетельного волнения, — что он всегда, если приходила опасность, дерзко и лживо отказывался от своих книг, вместо того чтобы честно и мужественно признавать их

своими? 13 августа 1763 г. Вольтер пишет к Гельвецию: «Не нужно никогда ставить своего имени; я не написал даже и «Pucelle». * — И этой коварной лживостью он пользуется всегда с изобретательностью не слишком завидной».

Добродетельное негодование Геттнера смешно до последней степени. После этого остается только ругать подлецом того цыпленка, который с *коварной лживостью* улепетывает от повара, вместо того чтобы *честно* и *мужественно* стремиться в его объятия. Конечно, повар был бы очень доволен *честностью* и *мужеством* добродетельного цыпленка, но трудно понять, какую бы эта *честность* и это *мужество* могли принести пользу, во-первых, пернатому Аристиду, а во-вторых, всей его цыплячьей породе. Положим, что Вольтер исполнил бы желания Геттнера и признался бы *честно* и *мужественно* в своих литературных грехах. Что же бы из этого вышло? Вольтера засадили бы в Бастилию. Кому же бы это было выгодно, философам или иезуитам? Разве вольтерьянцы разгромили бы Бастилию, освободили бы своего предводителя? Ничуть не бывало. Вольтер просидел бы в каморке несколько месяцев, расстроил бы свое здоровье и потратил бы даром то время, которое он мог бы употребить на дальнейшее преследование клерикалов. И все это только для того, чтобы лишний раз удивить парижскую полицию *честностью* и *мужеством*. Нечего сказать: цель великая и достойная!

Герои свободной мысли так недавно выступили на сцену всемирной истории, что до сих пор еще не установлена та точка зрения, с которой следует оценивать их поступки и характеры. Историки все еще смешивают этих людей с бойцами и мучениками супранатурализма. [16] Вольтера судят так, как можно было бы судить, например, Иоанна Гуса. Когда Вольтер уклоняется от той чаши, которую Гус спокойно и смело выпивает до дна, тогда Вольтера заподозривают и обвиняют в недостатке мужества и честности. Это совершенно несправедливо. Утилитариста невозможно мерять тою меркою, которая прикладывается к мистику. Для Гуса отречься от своих идей значило отказаться от вечного блаженства и, кроме того, потянуть за собою в геенну огненную тысячи слабых людей, которых отречение Гуса сбило бы с толку и поворотило бы назад к заблуждениям папизма. Поэтому Гусу был чистейший расчет идти на костер, повторяя те формулы, которые он считал истинными и спасительными. Для Вольтера, напротив того, важно было только то, чтобы его идеи западали как можно глубже в умы читателей и распространялись в обществе как можно быстрее и шире. Хорошо. Книга напечатана, раскуплена и прочтена. На книге нет имени автора, а между тем она производит сильное впечатление. Значит, действуют сами идеи, не нуждаясь в том

* «Девственница» *(франц.)*, то есть поэма Вольтера «Орлеанская девственница». — *Ред.*

обаянии, которое было бы им придано именем известного писателя. Только такое действие и соответствует вполне цели и направлению вольтеровской пропаганды. Эта пропаганда должна была приучить людей к тому, чтобы они, не преклоняясь перед авторитетами, ценили внутреннюю разумность и убедительность самой идеи. Затем начинается тревога. Разыскивают автора. Призывают к допросу Вольтера. Вольтер отвечает: «знать не знаю, ведать не ведаю». Скажите на милость, кому и чему он вредит этим ответом? Он только отнимает у иезуитов и у полицейских сыщиков возможность помучить оппозиционного мыслителя. Это с его стороны очень нелюбезно, но ведь он никогда и не обязывался увеселять своею особою иезуитов и сыщиков. А читателей отречение Вольтера нисколько не обманывает и не смущает; читатели посмеиваются и говорят между собою: «Как же! Держи карман! Дурака нашел! Так сейчас он тебе и признается!» Конечно, все это очень похоже на тактику бурсаков в отношении к начальству; но что же делать? Бывают такие времена, когда целое общество уподобляется одной огромной бурсе. Виноваты в этом не те люди, которые лгут, а те, которые заставляют лгать.

Описывая старческие годы Вольтера, Геттнер находит новую пищу для добродетельного негодования. «Как прискорбно, — говорит он, — что при всем том и в это последнее и самое блестящее время Вольтера не было недостатка в пятнах! Он попрежнему отпирается от своих книг. Мало того, он причащается, ходит на исповедь, чтобы избавиться от клерикальных преследований, между тем как вся его деятельность направлена к уничтожению этих учений и обычаев. Фарнгаген несправедливо извиняет эти хитрости и притворство, эти засады и внезапные нападения, это искусное уменье идти вперед и быстро исчезать, — извиняет, как позволительные и необходимые вспомогательные средства партизанской войны. Эту временную покорность не только люди благочестивые считали безбожной дерзостью, но даже и люди его партии осуждали, как вещь жалкую и трусливую».

Что *люди благочестивые* были недовольны — в этом нет ничего удивительного. Но я опять-таки повторю, что Вольтер не подрядился утешать *людей благочестивых*. Чтобы узнать, похвальны ли или предосудительны поступки Вольтера, огорчающие Геттнера, надо только поставить вопрос: помогали они или мешали успеху его общественной работы? Придется ответить: помогали, — потому что избавляли знаменитого популяризатора от клерикальных преследований, которые доставляли бы ему лишние хлопоты, портили бы ему кровь, расстроивали бы его здоровье и, таким образом, отвлекали бы его от общественных занятий. Значит, позволяя себе мелкие хитрости, Вольтер, сознательно или бессознательно, повиновался естественному чувству самосохранения.

Здесь опять свободные мыслители смешиваются с сектаторами и верующими адептами. Если бы то, что делал Вольтер, было

сделано кальвинистом или лютеранином, тогда дело другое, тогда можно было бы говорить о *вещи жалкой и трусливой*, потому что лютеране и кальвинисты, подобно католикам, придают очень важное значение всем внешним подробностям культа. Но со стороны Вольтера тут нет ничего похожего на отступничество, потому что Вольтер питает самое полное равнодушие ко всякому культу со всеми его подробностями. Вольтер вовсе не хотел сделаться основателем какой-нибудь новой философской религии; он также вовсе не пылал фанатическою ненавистью к существующему культу; он ненавидел только ту своекорыстную или тупую исключительность, которая порождает убийства, религиозные преследования, междоусобные распри и международные войны. *Терпимость* была первым и последним словом его философской проповеди. Поэтому он, нисколько не краснея и не изменяя самому себе, мог подчиняться всевозможным формальностям, предписанным местными законами или обычаями. Геттнеру следовало бы все это знать и понимать, тем более что он в своей книге выписывает из «Essai sur les moeurs et l'esprit des nations» * следующие размышления Вольтера об английских деистах. «Эти люди согласны со всеми другими в общем почитании единого бога; они отличаются только тем, что у них нет никаких твердых положений учения и никаких храмов и что они, веря в божию справедливость, одушевлены величайшей терпимостью. Они говорят, что их религия — религия чистая и такая же старая, как свет; у них нет никакого тайного культа, *и потому они без угрызений совести могут подчиниться и публичным религиозным обычаям*». — Кто читал Вольтера, тот знает, что он сочувствовал английским деистам больше, чем каким бы то ни было другим мыслителям; говоря о них и за них, он говорит о себе и за себя; поэтому подчеркнутые мною слова окончательно решают вопрос и доказывают ясно, что, *подчиняясь публичным религиозным обычаям*, Вольтер не делал никаких *жалких и трусливых вещей*.

V

Вольтер ненавидел всякие метафизические тонкости, которые, — сказать по правде, — были ему решительно не по силам. Вольтера ни под каким видом нельзя назвать великим или даже просто замечательным мыслителем. Его ум хватал очень недалеко и был совершенно неспособен проследить какую бы то ни было идею до самого конца, до самых последних и отдаленных ее разветвлений. По своим умственным силам Вольтер стоял гораздо ниже многих людей, убивших все свои прекрасные дарования на бесплодные метафизические построения. Вольтер был совершенно застрахован

* «Опыт о нравах и духе народов». — *Ред.*

от всякой метафизической заразы своею — извините за выражение! — своею ограниченностью, соединенною с колоссальнейшим тщеславием и с неподражаемым искусством персифлирования. *

Ум Вольтера становился втупик на первых двух-трех шагах отвлеченного философствования; Вольтер терял возможность следить за ходом мысли, и тут немедленно подоспевало к нему на выручку драгоценное тщеславие. Не мог же он, он, Аруэ де Вольтер, он, великий Вольтер, признать свое бессилие и попросить пардона! Поэтому он тотчас решал безапелляционно, что тут совсем нечего и понимать. Затем он высовывал метафизику язык и отделывал его так ловко прелестнейшими шутками и насмешками, что метафизик, который, быть может, был гораздо умнее Вольтера, оставался в дураках и окончательно погибал во мнении всей читающей публики. Вся деятельность Вольтера изображает собою возмущение простого здравого смысла против ошибочных увлечений и бесплодных фейерверков человеческой гениальности. Основатели различных метафизических школ, например Декарт и Лейбниц, и даже светила схоластики, Фома Аквинский, Рожер Бэкон, Альберт Великий, обладали бесспорно громадными умственными силами, но все они имели несчастие, по обстоятельствам времени, потратить бо́льшую часть или даже всю совокупность своих сил на такие работы, которые, во-первых, не могли получить никогда никакого практического приложения и, во-вторых, по своей крайней трудности и головоломности, должны были навсегда остаться непонятными и недоступными для огромного большинства обыкновенных или посредственных человеческих умов. Человеческая посредственность, в лице самого блестящего и самого ловкого своего представителя, Вольтера, произнесла решительный и бесповоротный приговор отвержения над всеми этими громадными, титаническими, изумительными, но совершенно бесполезными трудами. Задача Вольтера была чисто отрицательная. Из той громадной кладовой, в которой хранятся умственные сокровища человечества, надо было выкинуть много разного добра; вместе с этим добром надо было выбросить и те шкафы, в которых оно лежало, выбросить для того, чтобы на будущее время человеческие силы не тратились больше на обогащение этих ненужных шкафов новым содержанием. Чтобы произвести это выбрасывание с должною решительностью и бестрепетностью, надо было во всех осужденных шкафах не видеть ни одной хорошей или привлекательной черты. Надо было ненавидеть сплошною и цельною ненавистью; презирать самым чистым и искренним презрением, не разбавленным никакими проблесками снисхождения или сострадания. А таким образом ненавидит и презирает только *непонимание*, потому что нет того человеческого чувства, нет того человеческого поступка, нет той человеческой мысли, в которых при полном и

---

* Высмеивания (от франц. persifler — высмеивать). — *Ред.*

всестороннем понимании нельзя было бы найти хоть чего-нибудь достойного уважения или любви, или по крайней мере теплого сожаления. Но так как беспощадное выбрасывание бывает иногда совершенно необходимо, то и непонимание оказывает иногда человечеству драгоценные и незаменимые услуги. Если бы Вольтер был способен понимать логическую красоту и величественность тех метафизических построений, которые ему надо было осмеять и выбросить, то в его сарказмах не было бы той непринужденности, той неподдельной искренности, той самодовольной грации, той заразительной веселости, которые сообщали им неотразимую силу и обеспечивали собою успех всей отрицательной работы. Вольтер не был бы Вольтером, если бы у него было побольше ума и поменьше тщеславия. В таком случае мысли его были бы более глубоки, а приговоры менее решительны. По этим двум причинам действие его на толпу было бы менее сильно. Таким образом, чуть ли не все недостатки Вольтера, как умственные, так и нравственные, шли на пользу его популяризаторской работы.

Когда Вольтер осмеивает различные дурачества умных и глупых людей, тогда он великолепен и неотразим. Но когда он начинает кропать что-то похожее на собственную систему, когда он сам стремится сооружать и мудрствовать, тогда у читателя с невероятною быстротою увядают уши. Особенно печально становится положение читателя тогда, когда Вольтера удручают высшие вопросы общего миросозерцания. Тут уже переполняется мера читательского терпения.

Вольтер — деист. Это бы еще ничего. Даже трогательно и похвально. Если бы он, подобно Магомету, крикнул просто во всеуслышание: *Аллах есть Аллах!* — все обстояло бы совершенно благополучно, и всякие возражения сделались бы невозможными. Но Вольтер, к несчастию, томится желанием доказывать основной тезис своей доктрины. Ему, изволите ли видеть, как философу, никак не возможно принимать что бы то ни было на веру, а так как он доказывать решительно не умеет и так как тут вообще на доказательствах далеко не уедешь, то перед несчастным читателем совершается настоящее столпотворение вавилонское. Гипотезы подпираются гипотезами; сравнения, сентиментальные восклицания и эффектные вопросительные тирады принимаются за доказательства; на каком-нибудь одном лядащем факте, неверно подмеченном и неправильно истолкованном, сооружается целая сложная теория; сам того не замечая, наш философ на каждом шагу путается в грубых противоречиях; сам того не замечая, он ежеминутно перепрыгивает с одной точки зрения на другую; словом, получается такая мерзость запустения, которая жестоко компрометирует почтенный тезис, не допускающий и не требующий никаких доказательств.

Любимым коньком Вольтера является идея о целесообразности и предустановленности всего существующего. В самом деле, глаз

создан для того, чтобы видеть, ухо — для того, чтобы слышать, зубы — для того, чтобы жевать, желудок — для того, чтобы переваривать пищу. Сделавши зараз столько открытий, Вольтер торжествует победу над дерзновенными скептиками, и затем начинаются чувствительные восклицания о том, как это все рассчитано, предусмотрено, приспособлено и направлено. Все это очень назидательно и убедительно, но только Вольтеру следовало бы набрать побольше примеров и повести процесс доказательства хотя бы, например, таким образом: баран создан для того, чтобы есть траву; волк — для того, чтобы есть барана; мужик — для того, чтобы убивать и обдирать волка; маркиз — для того, чтобы тузить и разорять мужика; а Людовик XIV — для того, чтобы сажать маркиза в Бастилью и конфисковать его наследственное имение. В этой лествице живых существ каждый пристроен к своему месту, каждый что-нибудь делает, и каждый щедро одарен необходимыми для того снарядами или орудиями. Значит, целесообразность выдержана великолепно. Остается только поставить и разрешить вопрос: для кого или для чего нужна эта прекрасная целесообразность, к чему она ведет и с какой стати сгруппированы эти живые существа, которые постоянно обижают и терзают и даже истребляют друг друга? Для кого сооружена вся лествица — для барана, для волка, для мужика, для маркиза или для Людовика XIV? Так как баран, волк и мужик играют тут совершенно страдательные роли, от которых они охотно отказались бы, то лествица построена, очевидно, не *для* них, а скорее *против* них. Значит, она построена для маркиза и для Людовика XIV? Прекрасно, но в таком случае только маркиз, пока он не попал еще в Бастилью, и Людовик XIV могут восхищаться порядком, красотою, гармониею и целесообразностью природы. Для мужика все эти прелести не существуют. Если бы мужику вздумалось философствовать по Вольтеру, то он пришел бы к таким результатам, которые привели бы Вольтера в неописанный ужас. Если сообразил бы мужик, что в природе все сделано и делается с тонким расчетом и с умыслом, то, стало быть, когда природа заставляет нас страдать, она также поступает умышленно. «Вот меня, — продолжал бы мужик, — эта милейшая природа донимает каждый день, с тех пор как я себя запомню, то голодом, то холодом, то палками; так это она, стало быть, все нарочно надо мною куражилась. Спасибо за угощение!» — «Позвольте, господин мужик, — заговорил бы Вольтер, понимая, что дело принимает самый неблагополучный оборот, — позвольте! Вас терзает не природа, вас терзают люди». — «Господин Вольтер, — отвечает мужик, — людей произвела та же природа. Если в природе все рассчитано, предусмотрено и целесообразно, то она может и должна отвечать за каждое из своих созданий».

Читатели мои, я сам вижу, что мужик неистовствует, но уверяю вас, что тут виноват не мужик, а Вольтер. Учение о целе-

сообразности в природе ведет за собою ужасные заключения, подрывающие или по крайней мере извращающие основной тезис вольтеровской доктрины. И от этих заключений вы ничем не отвертитесь до тех пор, пока в мире будет существовать страдание. А страдание неистребимо, потому что вся органическая жизнь основана на беспрерывном взаимном истреблении живых и чувствующих существ. Сам того не замечая и не желая, Вольтер подвергает себя опасности пасть ниц перед кровожадным Молохом или перед индейским Шивою, [17] на котором надето ожерелье из человеческих костей. Вся беда состоит в том, что вольтеровскую доктрину невозможно *доказать*. Ее можно только *принимать на веру*. Кто может — тот и верь. Кто не может... ну, тот, вероятно, и сам знает, что ему делать.

Прогуливаясь с философскими целями по кунсткамере мироздания, Вольтер, конечно, не мог оставить незамеченным такого слона, как страдание или зло. Вольтер понимал, что этот слон очень опасен для его доктрины, и много было потрачено бесплоднейших усилий на то, чтобы придать проклятому слону сколько-нибудь благопристойную и почтенную наружность. Сначала Вольтер, идя по следам английских мыслителей, Шэфтсбёри, Попа и Болинброка, старался доказать, что зло совсем не существует и что все на свете идет так, как оно должно идти. Тут можно было разыгрывать вариации на ту тему, что страдания дают особенную цену наслаждению и что они так же необходимы в жизни, как темные краски в картине. Метафор и красивых слов можно было набрать довольно, но сама по себе эта позиция была так слаба и неудобна, что Вольтер впоследствии бросил ее и даже самым жестоким образом осмеял жалкие и плоские софизмы тех приторных оптимистов, которые не сумели исправиться и образумиться вместе с ним. Что Вольтер честно и решительно отказался от тех ошибочных мнений, которые он сам защищал очень долго и очень упорно, — это, конечно, делает величайшую честь его прямодушию. Но ни малейшей чести не делает его философской сообразительности то обстоятельство, что для победы над очевидным заблуждением ему понадобился сильный толчок из окружающего мира. Вольтера поразило то знаменитое землетрясение, которое в 1755 году разрушило Лиссабон. Задумываясь над этим ужасным событием, он понял наконец, что зло, существующее в природе, не может быть замаскировано и затушевано никакими сладостными метафорами. Но чтобы додуматься до этих заключений, не было никакой надобности созерцать погибель португальской столицы. Разрушение Лиссабона не прибавило решительно ничего существенного к тому запасу опыта, которым давно располагали все современники Вольтера, начиная от академиков и кончая деревенскими старухами. Для кого же могла быть новостью та истина, что силы природы очень часто разрушают человеческое благосостояние и посягают на человеческую жизнь? Град, засуха, саранча, наводнения,

пожары от грозы, скотские падежи, моровые язвы — все это было достаточно известно всему миру за несколько тысячелетий до лиссабонского землетрясения. Каждая десятина, выбитая градом, каждая хижина, сожженная молниею, каждая телушка, околевшая от заразы, могли бы сказать Вольтеру точь-в-точь то же самое, что прокричало ему разрушение Лиссабона. Вольтер поступил в этом случае так, как обыкновенно поступает толпа. Он прошел спокойно и равнодушно перед тысячами мелких явлений и потом остановился с наивным изумлением перед одним крупным фактом, в котором не было ничего нового и удивительного, кроме величины. Чтобы как-нибудь примирить несомненное существование зла с своею основною доктриною, Вольтер ухватывается обеими руками за будущую жизнь. Наконец умствования утомляют Вольтера, и он смиряется духом. «Вопрос о происхождении зла, — говорит он, — остается неразрешимой путаницей, от которой нет другого спасения, как доверие к провидению». «Высшее существо сильно, — говорит он в другом месте, — мы слабы, мы так же необходимо ограничены, как высшее существо необходимо бесконечно; зная, что один луч ничего не значит против солнца, я покорно подчиняюсь высшему свету, который должен просветить меня во мраке мира». И давно бы так следовало распорядиться. Незачем было с самого начала портить чистый мед верующего смирения гнусным дегтем философского высокомерия.

Вольтер на старости лет очень сильно воевал с молодыми французскими писателями, дошедшими до крайнего скептицизма. Несмотря на все эти добродетельные усилия, клерикалы и пиетисты всей Европы до сих пор считают Вольтера патриархом и коноводом французских скептиков и материалистов. И надо сказать правду, клерикалы и пиетисты нисколько не ошибаются. На Вольтере воспитывались все молодые люди, способные и желавшие решать силами собственного ума высшие вопросы миросозерцания. Благодаря литературной деятельности Вольтера те антиклерикальные идеи, которые до того времени переходили потихоньку от одного мыслителя к другому, получили небывалое распространение и сделались общим достоянием всей читающей Европы. По милости Вольтера сомнение проникло в тысячи свежих и пылких голов. Всех своих читателей Вольтер хотел привести к всеобщей терпимости и остановить на точке зрения деизма. Первая цель была достигнута, но вторая была недостижима; всякое движение идет обыкновенно гораздо дальше, чем того желал первый коновод; каждое движение обыкновенно вырывается из рук первого защитника, который очень часто становится тормозом и при этом почти никогда не достигает своей цели, если только движение с самого начала было серьезно и соответствовало действительным потребностям времени и данного общества. В числе тех многих тысяч, которые восхищались остроумием вольтеровских памфлетов против католицизма, непременно должно было оказаться

хоть несколько десятков серьезных, сильных и последовательных умов. Для этих умов очень скоро сделались невыносимыми те внутренние противоречия, на которых Вольтеру угодно было благодушно почивать, как на победных лаврах. Эти умы не могли переваривать ту неестественную смесь поклонения авторитету и знания, которою упивался Вольтер. Им надо было что-нибудь одно — или credo quia absurdum, * или отрицание всего того, что не может быть положительно доказано. Им надо было или воротиться к положительным верованиям, или миновать всевозможные Геркулесовы столбы [19] и выйти в открытый океан совершенно свободного и строго-реального исследования. За погибшие души этих людей должен отвечать популяризатор Вольтер, потому что он первый взбунтовал их против клерикалов, у которых в это время, также по наущению Вольтера, была отнята возможность придерживать и придавливать человеческую мысль благонадежными мерами спасительной строгости. Виновность Вольтера нисколько не уменьшается тем обстоятельством, что он не одобрял крайних выводов, добытых его учениками. Поставивши этих учеников в такое положение, в котором не могут удержаться сильные и последовательные умы, Вольтер обязан отвечать за все дальнейшие умозрения французских мыслителей. Деизм Вольтера составляет только станцию на дороге к дальнейшим выводам Дидро, Гольбаха и Гельвеция.

VI

Чтобы составить себе понятие о громадных заслугах Вольтера, надо судить его не как мыслителя, а как практического деятеля, как самого ловкого из всех существовавших до сих пор публицистов и агитаторов. Вольтер особенно велик не теми идеями, которые он развивал в своих книгах и брошюрах, а тем впечатлением, которое он производил на своих современников этими книгами и брошюрами. Силою этого впечатления Вольтер сделал Европе такой подарок, которого цена растет до сих пор и будет увеличиваться постоянно с каждым столетием. Вольтер подарил Европе ее общественное мнение. Он, целым рядом самых наглядных примеров, показал европейским обществам, что их судьба находится в их собственных руках и что им стоит только размышлять, желать и настаивать для того, чтобы управлять по своему благоусмотрению всем ходом исторических событий, крупных и мелких, внешних и внутренних. Вольтер открыл европейским обществам тайну их собственного могущества. Вольтер доказал Европе, что она может и должна быть живою, деятельною и самосознательною личностью, а не мертвым и пассивным материалом, над

* Верую, потому что нелепо *(лат.)*. [18] — *Ред.*

которым различные канцелярии, дипломаты и полководцы обнаруживают свои таланты и производят свои эксперименты. Что же именно делал Вольтер для того, чтобы разрешить эту громадную задачу, от решения которой зависит дальнейшая постановка всех прочих общественных задач? — Вольтер писал, но писал так, как до него не умели и не смели писать; он затрогивал такие вопросы, к которым никто из его современников не мог относиться равнодушно; он разработывал эти вопросы таким неотразимо увлекательным образом, что его читали десятки, а может быть, и сотни тысяч людей. Знаменитость Вольтера росла и выросла, наконец, до таких размеров, до которых никогда, ни прежде, ни после, не доходила известность простого писателя. «Русская императрица, — говорит Кондорсе в биографии Вольтера, — короли прусский, датский, шведский старались заслужить похвалу Вольтера и поддерживали его благие дела; во всех странах вельможи, министры, стремившиеся к славе, искали одобрения фернейского философа (Вольтера) и доверяли ему свою надежду на успехи разума, свои планы распространения света и уничтожения фанатизма. Во всей Европе он основал союз, которого он был душой. Воинственным криком этого союза было: разум и терпимость! Совершена ли была где-нибудь большая несправедливость, оказалось ли кровавое преследование, нарушалось ли человеческое достоинство, — сочинение Вольтера перед всей Европой выставляло виновных к позорному столбу. И как часто рука притеснителей дрожала от страха перед этим верным мщением». — Цитируя эти слова Кондорсе, Геттнер говорит, что они совершенно справедливы. Итак, сила Вольтера была очень велика. Но эта сила была основана исключительно на доверии и сочувствии читающего общества. Значит, чем выше поднимался Вольтер, тем больше весу приобретали мнения и желания общества. *Рука притеснителей дрожала*, очевидно, не перед Вольтером. Вольтер был только докладчиком, а судьею являлась читающая Европа. Но для того чтобы этот суд был действительно страшен для притеснителей, надо было, чтобы голос докладчика во всякую данную минуту находил себе десятки тысяч внимательных слушателей. Чтобы вызвать к жизни общественное мнение и чтобы постоянно поддерживать его деятельность там, где оно еще не привыкло вмешиваться постоянно в общественные дела и где весь строй существующих учреждений враждебен такому вмешательству, — необходима необыкновенная сила таланта и непоколебимая твердость убеждений со стороны того человека, который, при таких невыгодных условиях, осмеливается принять на себя великие обязанности публициста. Сосредоточивши на себе внимание всей Европы, Вольтер сделал возможным существование общественного мнения, затем он сам сделался руководителем этого вновь созданного общественного мнения и показал, что общество может и обязано контролировать и судить своих опекунов. А что такое общество? Вы,

я, наши братья и сестры, дяди и тетки, отцы и матери, родственники и знакомые, родственники родственников и знакомые знакомых и так далее — вот вам и общество. Каждый из нас порознь слабее первого встречного полисмена. Но все мы вместе непобедимы и неотразимы. Судите же теперь, какою глубокою благодарностью обязаны мы тем великим людям, которые соединяют нас между собою обаятельною силою живого и горячего слова и которые, сплотивши нас в одну громадную и неотразимую лавину, ведут и направляют нас туда, где мы можем спасать наших братьев или увеличивать и упрочивать нашими приговорами наше собственное материальное и умственное благосостояние. Величайшим из этих великих людей надо признать Вольтера, потому что он первый соединил и повел за собою читающую Европу к светлому будущему, и еще потому, что после его смерти, в продолжение 88 лет, не появлялось ни одного человека, который был бы равен ему по глубине и обширности своего влияния.

Когда во время революции прах Вольтера был перенесен в Пантеон, тогда пьедестал его памятника получил следующую надпись: «Тени Вольтера. Поэт, историк, философ, он расширил пределы человеческого ума и научил его быть свободным. Он защитил Каласа, Сирвана, де ла Барра и Монбальи, он сражался с атеистами и с фанатиками; он внушал терпимость, он отстаивал права человека против феодального рабства». Защищение Каласа и других подсудимых поставлено наряду с самыми замечательными подвигами Вольтера. Так оно и должно быть. Роль Вольтера в этих четырех уголовных процессах имеет громадное общественное значение, не говоря уже о том, что она делает величайшую честь человеколюбию и великодушию Вольтера. Вмешательство Вольтера в первый раз показало всей Европе, что над высшими трибуналами есть еще одна инстанция, которая может пересматривать и кассировать приговоры, судить и осуждать недобросовестных или тупоумных судей, оправдывать и реабилитировать невинных, пострадавших от судейской оплошности или злонамеренности. В Тулузе сын Жана Каласа, Марк Антон, повесился в доме своего отца. Жан Калас был протестант, а Тулуза — населена самыми ревностными католиками. Наперекор всякому здравому смыслу и правдоподобию, какой-то негодяй распустил в городе слух, что Марк Антон повешен своими родителями за намерение перейти в католицизм. Самоубийцу превратили в мученика. Труп его, выставленный в церкви, стал творить чудеса. Семейство Каласов попало в тюрьму, было заковано в цепи и отдано под суд. Не имея никаких доказательств, кроме народного говора и чудес святого самоубийцы, тулузский парламент приговорил Жана Каласа, 72-летнего старика, к колесованию. Приговор был приведен в исполнение. Дети Каласа разосланы по монастырям и обращены силою в католицизм. Имение казненного конфисковано, и вдова его осталась одна, без земли и без средств к существованию. Значит,

правосудие удовлетворено, и дело кончено. Некому поднимать его и некуда его вести дальше. Тулузский парламент — верховное судебное место, и приговоры его, не нуждаясь ни в чьей конфирмации, не могут быть оспариваемы правильным апелляционным порядком. Но Вольтер впутывается в этот, благополучно оконченный, процесс. Вольтеру нет дела до юридической правильности и до канцелярского порядка. Вольтер раскапывает всю историю с самого начала, печатает свое знаменитое сочинение о терпимости,[20] излагает в нем процесс Каласа как возмутительный пример католического фанатизма, доведенного до людоедства, пишет письма к знаменитым адвокатам, к министрам, к государям, словом, работает за Каласов неутомимо и бескорыстно целые три года, и все это делает Вольтер, кумир всей мыслящей Европы, слабый и больной семидесятилетний старик. А ему-то что за дело? Что он за обер-прокурор? По какому праву мешает он тулузскому парламенту колесовать, с соблюдением всех законных формальностей, тех французов, которые, живя в Тулузе, имеют безрассудство не нравиться ему, всесильному тулузскому парламенту? Такие вопросы предлагались, конечно, многими непоколебимыми приверженцами спасительной юридической правильности, и на такие вопросы пылкие обожатели фернейского философа отвечали по всей вероятности, что Вольтер, по праву мыслящего человека и честного гражданина, обращается к верховному суду общественного мнения и требует от французской нации, чтобы она защищала своих детей от произвола парламентских советников, ослепленных религиозною ненавистью или запуганных криками фанатической уличной толпы. Подобные разговоры велись везде, где люди умели читать и понимать французские книги, а в Париже эти разговоры велись так громко, что государственный совет предписал тулузскому парламенту выслать документы по делу Каласа. Весь процесс был пересмотрен, и приговор тулузского парламента объявлен несправедливым. Почти в одно время с Каласом попал под суд протестант Сирван, которого, также без малейшего основания, подозревали в том, что он утопил в колодце свою дочь, насильно обращенную в католицизм местным епархиальным начальством. Сирван имел довольно верное понятие о французском правосудии и постарался убежать. Его заочно приговорили к смерти. Имение его конфисковали. «Вольтер, — говорит Геттнер, — и здесь явился защитником и мстителем. Правительства бернское и женевское, русская императрица, короли польский, прусский и датский, ландграф гессенский, герцоги саксонские по вызову Вольтера прислали несчастному семейству богатую помощь. Вольтер обратился прямо к тулузскому парламенту, который опять по закону был высшей судебной инстанцией в деле Сирвана; исход процесса Каласа дал перевес свободномыслящей партии, и Сирван был оправдан». Семнадцатилетнего мальчика де ла Барра обвинили в том, что он будто бы вместе с своим товарищем д'Эталлондом изломал

и опрокинул деревянное распятие, стоявшее на мосту в городе Аббевиле. Прямых улик не оказалось; но зато нашлись добрые и благочестивые люди, которые припомнили с сокрушением сердца, что однажды де ла Барр и д'Эталлонд, встретившись с процессиею, не сняли перед нею шляп и что, кроме того, де ла Барр как-то раз у себя на квартире пел легкомысленные куплеты, направленные против чести святой Марии Магдалины. Показания добрых и благочестивых людей решили участь безрассудных молокососов. Считая их преступление вполне доказанным, суд приговорил де ла Барра к колесованию, что и было исполнено в 1765 году. Д'Эталлонду же было оказано некоторое снисхождение. Суд приказал вырезать у него язык и отрубить ему руки. Д'Эталлонд не пожелал воспользоваться этими милостями и ухитрился бежать. Прибежал он прямо к Вольтеру, к общепризнанному и возлюбленному патриарху всех европейских вольнодумцев. Тут он с откровенностью ребенка рассказал все подробности дела. Вольтер препроводил д'Эталлонда в Пруссию и рекомендовал его Фридриху II, который принял его к себе на службу и дал ему офицерский чин. Вольтер, с своей стороны, в превосходном мемуаре раскрыл перед читающею Европою все закулисные пружины той грязной интриги, которая погубила де ла Барра. Эти пружины состояли в том, что один влиятельный господин, Беллеваль, начал строить куры тетке де ла Барра, настоятельнице женского монастыря. Получивши на свои авансы презрительный отказ, Беллеваль решился мстить и направил на молодого ветреника де ла Барра всех клерикалов и тартюфов города Аббевиля и его окрестностей. В результате получилось колесование. Старуха Монбальи выпила не в меру и умерла от апоплексического удара. Зеваки и сплетники города Сент-Омера увидали в этой скоропостижной смерти следы насилия и взвели подозрение на сына покойницы и на его жену. Подозрительные личности были арестованы и отданы под суд. Доказательств не нашлось никаких, но судьи, стремясь к исправлению общественной нравственности, не пожелали останавливаться на разных мелочных соображениях и смело приговорили обоих обвиненных к мучительной казни. Монбальи колесовали и сожгли, но казнь его жены была отложена по случаю ее беременности. В это время Вольтер послал мемуар об этом деле в министерство. Процесс пересмотрели, казненного Монбальи объявили невинным. Жену его, приговоренную к смерти, освободили.

Эти четыре процесса следовали один за другим, с очень короткими промежутками времени. Самый ранний из них, процесс Каласа, был решен в 1762 году и перерешен в 1765 году. Самый поздний, процесс Монбальи, разыгрался в 1770 году. Едва успевало утихнуть волнение, возбужденное в обществе одним вопиющим насилием, как начинались немедленно толки о новой, такой же очевидной и возмутительной несправедливости. В течение восьми лет раскрылось четыре юридические убийства, и высшие

государственные власти, заодно с общественным мнением страны, официально признали их убийствами. Два из этих убийств были совершены на юге Франции и два на севере. Значит, суды были одинаково ревностны, проницательны и справедливы на всем пространстве французской территории. Четыре гадости были открыты по инициативе частного человека, дряхлого и больного старика. Но сколько же гадостей оставалось в неизвестности? Сколько их совершилось в последние десятилетия? Сколько еще совершится в ближайшие двадцать или тридцать лет? И кто может сказать наверное, что эти будущие гадости не обрушатся ни на него, ни на его ближайших родственников и друзей? Ведь нельзя же в самом деле тащить все решенные процессы к Вольтеру, да и сам Вольтер все-таки не способен воскрешать своими защитительными мемуарами колесованных и сожженных людей. Питая свой дух такими мрачными и неуспокоительными размышлениями, каждый француз, способный подмечать и обобщать явления общественной жизни, должен был прийти к тому результату, что суды его родины, как две капли воды, похожи на аулы предприимчивых горцев, которые, без малейшей опасности для самих себя, распространяют ужас и опустошение по всем окружающим местностям. После этого нетрудно было добраться и до того практического заключения, что общество, уже возвысившееся до самосознания, обязано из чувства самосохранения сосредоточить все свои силы против этих воинственных аулов и против всего того, что поддерживает и упрочивает их существование.

Вступаясь за мучеников французского правосудия, Вольтер не развивал никаких отвлеченно широких теорий. Он просто и спокойно проводил самые широкие теории в действительную жизнь. Он не рассуждал о souveraineté du peuple. * Он прямо и решительно прикладывал ее к делу. Он не проповедывал против старого зла, а фактически уничтожал его. Процессы Каласа и всех других вольтеровских protégés ** нанесли старому порядку более жестокие удары, чем могли бы то сделать десятки томов самой тонкой, остроумной и разрушительной теоретической критики. Защитительные мемуары Вольтера были уже не словами, а делами. Это уже не подготовление переворота, а настоящее его начало. Здесь живая сила общественного мнения, живая воля мыслящего и энергического народа действительно, на самом деле, стала выше всех существующих законов. С этой минуты эти старые, средневековые законы могут уже считаться отмененными. Затем остается только облечь совершившийся факт в юридическую форму. Об этом уже позаботились деятели Учредительного собрания, открывшего свои заседания через одиннадцать лет после смерти Вольтера.

---

* Суверенитет народа *(франц.)*. — *Ред.*

** Протеже; пользующиеся покровительством *(франц.)*. — *Ред.*

Блестящую кампанию, открытую Вольтером против старых французских судов, тесно связанных со всею совокупностью старых общественных учреждений, — закончил достойным образом Бомарше, знаменитый автор «Севильского цирюльника» и «Свадьбы Фигаро». Бомарше находился в гораздо менее выгодном положении, чем Вольтер. Во-первых, Вольтер был знаменитейшим человеком во всей Европе, а Бомарше, вступая в борьбу с парижским парламентом, был еще совершенно неизвестен. Во-вторых, Вольтер вступался за других, а Бомарше за самого себя. В-третьих, вольтеровские процессы были процессами уголовными: тут шло дело о человеческой жизни и о чести целых семейств; тут являлись в виде декораций и атрибутов цепи, застенки, орудия пытки, костры и виселицы; тут было чем расшевелить в читающей публике любопытство, сочувствие и негодование. Процесс Бомарше, напротив того, был простым тяжебным делом, возникшим из-за незначительной денежной суммы и запутанным происками и интригами обеих состязавшихся сторон. Бомарше по-настоящему, при обыкновенных условиях, не мог бы даже рассчитывать на сочувствие публики, потому что он сам был далеко не прав, хотя, разумеется, противники его были еще более виноваты. Но ненависть общества ко всем частям старого государственного порядка была так беспредельна, что общество все простило смелому Бомарше и тотчас превратило его в героя и в великого деятеля, как только оно увидело в нем человека, способного наносить господствующей системе сильные и меткие удары. Дело было вот как. Финансист Дюверне, находившийся в постоянных деловых сношениях с ловким и предприимчивым Бомарше, умирая, признал в своих бумагах, что он остался должен Бомарше пятнадцать тысяч ливров. Наследник Дюверне, граф Лаблаш, вздумал оспаривать этот долг. Бомарше, никогда не отличавшийся уступчивостью, начал процесс в конце 1771 года. В 1772 году дело, решенное первою инстанциею в пользу Бомарше, перешло в парламент, известный в истории под именем парламента Мопу. Это было собрание, произвольно созданное королем Людовиком XV и его министром Мопу; оно заменяло собою парижский парламент, который за свою непокорность королевской власти был уничтожен и отправлен в изгнание. [21] Бомарше отправился к докладчику этого парламента, Гезману, но не успел повидаться с ним и окольными путями получил тот благой совет, что для умилостивления докладчика следует поднести подарок его жене. Бомарше с благодарностью принял этот совет и представил госпоже Гезман сто луидоров, золотые часы с алмазами и пятнадцать луидоров для передачи какому-то секретарю. Бомарше, как непобедимый кремень и кулак, вел все это дело с такою циническою откровенностью, что обязал госпожу Гезман отдать назад все сокровища, если процесс будет проигран. Госпожа Гезман, которой подобные объяснения и сделки были нипочем, совершенно согласилась на эти условия.

Процесс проигрался, потому что Лаблаш, с своей стороны, порадовал докладчика более убедительным приношением. Бомарше потребовал назад свои дары. Madame Гезман отдала ему часы и сто луидоров, но с пятнадцатью луидорами она почему-то ни под каким видом не хотела расстаться. Бомарше, взбешенный донельзя проигрышем процесса, тотчас же так громко разблаговестил скандальную историю о луидорах, что сам Гезман очутился в очень неудобном и опасном положении. Гезман решился на отчаянный маневр. Решительно отрицая всю историю о часах и о деньгах, он подал в парламент форменную жалобу на Бомарше как на клеветника. Теперь Бомарше очутился в тисках: если с его стороны не было клеветы, то, значит, была попытка подкупить членов суда. Альтернатива была печальная. Дело, как видите, пакостное во всех своих подробностях. Бомарше вышел из этого дела победителем, героем, мучеником, любимцем всей Европы, добродетельным Цицероном и чуть-чуть не отцом отечества. «Бомарше, — говорит Геттнер, — обратился к публике с четырьмя мемуарами. Неумолимо и с непреклонным мужеством, гневом и одушевлением преследуя врага во всех его убежищах и укреплениях, остроумный до наглости и шутовства и в то же время доходящий в нравственном раздражении до истинно поразительной возвышенности, он приводит целое общественное мнение в самое живое движение, делает свой интерес интересом всех, становится мстителем нарушенной справедливости и с проницательностью злобы выставляет все те страшные интриги и преступления, от которых страдало тогда французское правосудие. Впечатление, произведенное этими мемуарами, прошло все слои населения, даже всю Европу. Первый мемуар в первые же два дня продан был в числе десяти тысяч экземпляров; со второго мемуара его процесс сделался, как тогда выражались, la cause de la nation,* можно даже сказать, процессом всего образованного мира». В своем четвертом мемуаре Бомарше высказал уже самым категорическим образом, как общепризнанную истину, мысль о верховном господстве нации. «La nation, — говорит он, — n'est pas assise sur les bancs de ceux qui prononcent; mais son oeil majestueux plane sur l'assemblée. Si elle n'est jamais le juge des particuliers, elle est en tout temps le juge des juges» («Нация не сидит на скамьях тех людей, которые произносят приговоры; но ее величественный взор носится над собранием. Если она никогда не бывает судьею частных лиц, то она всегда бывает судьею судей»). Кажется, ясно и выразительно. Слышатся даже ноты той вкрадчивой лести державному народу, без которой впоследствии не могла обойтись ни одна речь революционных ораторов. А между тем, когда Бомарше писал свой четвертый мемуар, тогда еще жили на свете старики, помнившие век того короля, который считал себя государством. К числу этих стариков

---

* Процесс нации *(франц.)*. — *Ред.*

принадлежал и сам Вольтер. Все расстояние от чисто турецкого деспотизма до самодержавия народа было пройдено двумя поколениями. Крупные то были люди! Умели они и веселиться и работать. Парламент Мопу в начале 1774 года приговорил к ошельмованию (blâme) как госпожу Гезман, так и ее противника Бомарше. Ошельмование это влекло за собою потерю всех гражданских прав и состояло в том, что осужденного ставили на колени, а президент произносил во всеуслышание установленную формулу: «la cour te blâme et te déclare infâme» («суд шельмует тебя и объявляет тебя бесчестным»). Собственно говоря, решение парламента было совершенно справедливо; он ошельмовал одну сторону за то, что она брала взятки, а другую за то, что она их предлагала. Мудрее этого и Соломон ничего бы не придумал. Но французской нации было в то время не до мудрости парламентских советников и не до справедливости отдельных приговоров. Нация стремилась в то время всею силою своих мыслей и желаний к полному обновлению всех своих учреждений и к неограниченному господству над всеми отправлениями своей жизни. Когда, находясь в таком напряженном ожидании грядущих событий, нация слышала сильную и верную музыку, тогда нация называла музыканта героем и великим деятелем, нисколько не осведомляясь о том, ведет ли этот драгоценный музыкант трезвую и целомудренную жизнь. Нация была права в своем инстинкте. Когда целое общество переживает тяжелый и мучительный кризис, тогда тихие добродетели частной жизни отступают на самый задний план, оставляя поле действий совершенно открытым для тех могучих и блестящих дарований, от которых зависит решение великой общественной задачи, поставленной на очередь медленным и грозным течением исторических событий. Поэтому немудрено, что нация совершенно забыла проступок Бомарше и запомнила только его великолепные мемуары. «Бомарше, — говорит Геттнер, — явился перед судом; но общественное мнение сделало из осуждения Бомарше осуждение парламента. Бомарше получил бесчисленное множество визитов. На другой же день после осуждения принц Конти пригласил заклейменного на блистательный пир. «Nous sommes, — говорил принц в своем письме, — d'assez bonne maison pour donner l'exemple à la France de la manière dont on doit traiter un grand citoyen tel que vous» («Мы из достаточно хорошего дому, чтобы подать Франции пример, каким образом следует обращаться с великим гражданином, подобным вам»). Везде, куда ни показывался Бомарше, он принимаем был с восторженными криками. Парламент Мопу не мог долго сопротивляться этому удару. Нападения в стихах и прозе становились все многочисленнее и сильнее. Он влачил свое существование еще несколько месяцев, презираемый и гонимый всеми».

Принц королевской крови Конти не умел составить себе даже и приблизительного понятия о том результате, к кото-

рому ведет блистательная деятельность великих граждан, подобных Бомарше. В простоте своей доброй души принц Конти во всем этом деле не видел ничего, кроме чувствительного поражения, нанесенного парламенту Мопу. Принц решительно не понимал того, что общество, узнавшее свою собственную силу и сломившее этою силою одно из важнейших государственных учреждений, войдет во вкус и будет подавлять своим могуществом все то, что не соответствует его потребностям. Райское простодушие высшей французской знати, простодушие, до которого наш испорченный век уже не может возвыситься, выразилось еще рельефнее по поводу того же великого гражданина в деле о его знаменитой комедии «Свадьба Фигаро». Комедия эта была окончена в 1781 году. Слухи и толки о ней ходили по всему Парижу. Бомарше читал ее во многих аристократических отелях. Слушатели были в восторге. Но Людовик XVI решительно не позволял этой комедии появиться на сцене. Бомарше три года интриговал против этого запрещения и, наконец, победил сопротивление короля, и, разумеется, победил только потому, что короля осадили со всех сторон просьбами и воплями — королева, принцы и принцессы, которым чрезвычайно желательно было посмотреть, каким образом Фигаро, при всей парижской публике высших и низших сортов, будет отделывать своими убийственными насмешками привилегию дворянства и все закоренелые несообразности старого феодального порядка. Геттнер замечает очень основательно, что «теперь никакая театральная цензура не потерпела бы подобной пьесы». Комедия была дана в первый раз 27 апреля 1784 года. И затем театральная дирекция в продолжение десяти недель каждый день просвещала добрых парижан «Свадьбою Фигаро». Примеру Парижа последовали театры всех больших и маленьких провинциальных городов. Словом, по милости принцев и принцесс критика старых учреждений сделалась доступною всем французам, имевшим возможность заплатить какой-нибудь четвертак за место в театральном райке. Все эти французы увидели ясно, до какой степени все они единодушны в своей ненависти к старому злу. Все они почувствовали и поняли, что учреждения, осужденные и осмеянные целою нациею, не могут существовать. А между тем принцы и принцессы продолжали простодушничать. 19 августа 1785 года они сами разыграли «Свадьбу Фигаро» в Малом Трианоне. Королева Мария-Антуанетта исполнила роль Розины; а граф д'Артуа, будущий король Карл X, изобразил Фигаро и очень мило осмеял все то, на чем основывалось его собственное величие и благосостояние. Эти люди утешались такими забавами за *четыре года* до того переворота, который одних повел на эшафот, а другим приготовил разорение и двадцатилетнее изгнание.

VII

В течение всей второй половины XVIII века внимание французского общества сосредоточивается почти исключительно на литературе, и притом преимущественно на серьезных ее отраслях. Героями дня и властителями дум являются писатели. У французов в это время нет ни великих полководцев, ни смелых преобразователей, ни даже благоразумных правителей. Франция Людовика XV гордится только своими книгами. Книг у нее действительно очень много; они быстро и безостановочно появляются одна за другою; они покупаются и читаются нарасхват; они обсуживают с самых различных сторон самые важные и интересные вопросы; они говорят о религии и о нравственности, о природе и о человеке, о государстве и обществе, о правах и обязанностях, о душе и об умственных способностях, об английской конституции и о республиканских добродетелях, о земледелии и промышленности, о собственности и о распределении богатств. По всем этим вопросам книги поражают своих читателей смелостью и неслыханностью суждений, которые, при всем своем разнообразии, оказываются все до одного совершенно непримиримыми с общеобязательным кодексом традиционных доктрин и с укоренившимися формами государственной и общественной жизни. Удар следует за ударом. Под этими ударами падают одно за другим, в самых различных областях знания, коренные заблуждения, на которых выросли и сложились любимые привычки, условные идеалы, игрушечные радости и копеечные огорчения читающего общества. Каждый удар вызывает бурю разнородных страстей то в обществе, то в правительственных сферах; и без какого-нибудь удара не проходит почти ни одного года, так что умы читателей находятся в постоянном напряжении и в безвыходной тревоге. Чтобы составить себе некоторое понятие о том обилии сильных умственных впечатлений, которое переживала тогдашняя публика, и о той быстроте, с которою самые разнообразные впечатления сменяли и теснили друг друга, — надо посмотреть, в каком хронологическом порядке появлялись на свет самые замечательные произведения отрицательной философии. Я буду называть только те сочинения, которые вошли в историю литературы, и вошли не столько за свое абсолютное достоинство, сколько за свое историческое значение. Стало быть, мы здесь будем иметь дело только с такими книгами, которые в свое время произвели на читателей сильное и глубокое впечатление.

В 1748 году Монтескье издает «L'esprit des lois» («Дух законов»), в котором превозносит до небес английскую конституцию, совершенно не похожую на учреждения старой французской монархии и составляющую для Франции самую недостижимую из всех возможных утопий. Книга в полтора года выдерживает *двадцать два* издания.

В том же году Дидро издает свои «Pensées philosophiques» («Философские размышления»). Парламент сжигает эту книгу. Ее тотчас же издают вновь и распространяют тайно.

Вдохновившись *размышлениями* Дидро, Ламетри, около этого же времени, издает в Голландии две книги, проникнутые таким яростным материализмом, которого не может выдержать даже голландское общество и изгоняет Ламетри из своей среды. Непозволительные его книги называются: «Histoire naturelle de l'âme» («Естественная история души») и «L'homme machine» («Человек-машина»).

В 1749 году Дидро издает «Письмо о слепых» («Lettre sur les aveugles») и попадает за него на три месяца в Венсенскую крепость.

В 1749 году Руссо издает «Discours sur les sciences et les arts», * в котором он доказывает, что цивилизация развратила человека. Руссо получает премию от Дижонской академии и сразу становится европейскою знаменитостью.

В 1751 году выходит первый том «Энциклопедии». [22]

В 1752 году — второй том «Энциклопедии». Поднимается жестокая буря. Сорбонна осуждает книгу. Парижский архиепископ издает против нее (то есть против книги) пастырское послание. На оба тома накладывают запрещение. Вследствие всего этого «Энциклопедию» покупают и читают, по словам современника и очевидца Барбье, все парижские лавочники и тряпичники.

В 1753 году Дидро издает «Interprétation de la nature» («Истолкование природы»), а Руссо издает «Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes») («Рассуждение о причинах и основаниях неравенства между людьми»).

В том же 1753 году выходит третий том «Энциклопедии». Поссорившись с духовенством, правительство стало относиться к этому изданию довольно благосклонно.

В 1754 году Кондильяк издает «Traité des sensations» («Трактат об ощущениях»). Все отправления психической деятельности выводятся из чувственных ощущений. Психология сводится на физиологию нервной системы.

В 1755 году Морелли издает «Code de la nature» («Кодекс природы»). Проект нового общественного устройства. Все люди уравниваются в правах. Детям дается общественное воспитание. Земля и рабочие инструменты составляют общую собственность. Денег нет и быть не должно. Труд обязателен для всех. Труд соразмеряется с силами, а вознаграждение продуктами с потребностями каждого человека, по известной формуле: à chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins. ** Любопытно заметить, что министр Войе д'Аржансон, которому в 1755 году было больше

* «Рассуждение о науках и искусствах». — *Ред.*

** Каждому по его силам, каждому по его потребностям. *(франц.)*. — *Ред.*

шестидесяти лет, прочитавши «Code de la nature», назвал его *книгою книг* и поставил автора этой книги гораздо выше Монтескье. Это тот самый д'Аржансон, который принес в заседание королевского совета мужицкий хлеб, испеченный из мякины и коры, и сказал Людовику XV: «Вот, государь, какой хлеб едят ваши подданные!» Король отвечал с большою находчивостью: «Будь я на их месте, я бы давно взбунтовался». — Если книга Морелли подействовала на шестидесятилетнего министра, то не трудно себе представить, как сильно должна была она поразить более молодых и впечатлительных читателей.

В 1757 году Вольтер издает «Essai sur les moeurs et l'esprit des nations», книгу, за которую Бокль не совсем основательно называет Вольтера величайшим из всех европейских историков. Во всяком случае не подлежит сомнению, что эта книга составляет первый опыт бытовой истории и кладет основание всей новейшей историографии. При этом Вольтер, конечно, не упускает из виду своей любимой идеи, так что всю его книгу можно назвать огромным и убийственно-остроумным памфлетом против суеверия, фанатизма, клерикализма и туманных отвлеченностей.

С 1754 по 1756 год выходят четвертый, пятый и шестой томы «Энциклопедии». Главные редакторы ее, Дидро и д'Аламбер, стараются, не изменяя основной идее, вести дело немного осторожнее.

В 1757 году выходит седьмой том «Энциклопедии», в котором редакторы, ободренные затишьем, действуют смелее. Д'Аламбер пишет к Вольтеру, что седьмой том будет сильнее всех предыдущих. Вольтер кланяется и благодарит, но клерикалы бьют тревогу во всех своих журналах, и правительство принимает их сторону.

В 1758 году Гельвеций издает книгу «De l'esprit» («О разуме»). Из ощущений физической боли и физического удовольствия выводятся все человеческие страсти, чувства и поступки. Эгоизм признается единственным двигателем всякой человеческой деятельности, как самой преступной, так и самой возвышенно-честной и героической. Добром называется то, что согласно с общим интересом, а злом то, что вредит этому интересу и подрывает существование общества. Человек делает добро и зло вследствие одинаковых побуждений, то есть вследствие того удовольствия, которое доставляет или обещает ему данный поступок. — Против этой книги поднимается жестокая буря; иезуиты и янсенисты [23] преследуют ее общими силами; парижский архиепископ совершенно справедливо видит в ней отрицание свободной воли и нравственного закона; Сорбонна повторяет и усиливает эти обвинения; государственный прокурор усматривает в книге Гельвеция собрание самых опасных учений, пущенных в ход «Энциклопедией». Книгою недовольны даже и сами философы; Вольтер, Дидро, Бюффон и Гримм осуждают ее как собрание парадоксов или отзываются о ней насмешливо.

В 1759 году книгу Гельвеция публично сжигают по определению парламента; цензора Терсье, дозволившего ее печатание, отставляют от службы. Между тем книга раскупается; в самое короткое время она выдерживает *пятьдесят* изданий; ее переводят почти на все живые языки Европы. Гельвеций становится европейскою знаменитостью.

В том же 1759 году, через месяц после сожжения книги Гельвеция, следственная комиссия, наряженная по делу об «Энциклопедии», приводит свои работы к благополучному окончанию. Привилегия, выданная от правительства в 1746 году на издание «Энциклопедии», уничтожается; продажа вышедших и следующих томов запрещается «во внимание того, что польза, приносимая искусству и науке, совершенно не соответствует вреду, приносимому религии и нравственности».

В том же 1759 году Кенэ издал книгу «Essai sur l'administration des terres», * которая, вместе с книгою «Tableau économique», ** изданною в 1758 году, составляет основание теории физиократов, то есть экономистов, старавшихся обратить внимание правительства на земледелие как на единственный источник народного богатства. Этих экономистов можно назвать продолжателями Вобана и Буагильбера. Подобно этим двум писателям, они нисколько не восстают против деспотизма, не требуют никаких конституционных гарантий и желают только, чтобы правительство сделалось хорошим хозяином, понимающим свои собственные интересы. Направление всей школы характеризируется следующими словами, составляющими эпиграф к главному сочинению Кенэ, «Tableau économique»: «Pauvres paysans, pauvre royaume; pauvre royaume, pauvre roi» («Когда бедны мужики, тогда бедно государство; когда бедно государство, тогда беден король»). Средства, предлагавшиеся физиократами для устранения бедности, признаны теперь односторонними и неудовлетворительными; но важное значение этих писателей обусловливается не положительными их проектами, а отрицательною стороною их деятельности; все они твердят обществу постоянно, что Франция бедна и быстрыми шагами идет к окончательному разорению. Эти слова, подкрепленные множеством прилежно собранных фактов, действуют на общество, и действуют так сильно, что уже в 1759 году Вольтер в своих письмах жалуется на охлаждение общества к изящной словесности. «Грация и вкус, — говорит он, — кажется, изгнаны из Франции и уступили место запутанной метафизике, политике мечтателей, громадным рассуждениям о финансах, о торговле, о народонаселении, которые не прибавят государству ни одного экю, ни одного лишнего человека». Надо полагать, что *грация и вкус* прибавляют государству и то и другое!

---

* «Опыт об управлении землями». — *Ред.*

** «Экономическая таблица». — *Ред.*

В 1761 году Руссо издает свой роман «La nouvelle Héloïse». * *Грация и вкус* торжествуют, несмотря на успехи экономистов. Роман распродается с беспримерною и невероятною быстротою. Основные мотивы «Новой Элоизы» — любовь, добродетель и сельская природа. Знатные дамы проводят над этим романом целые ночи напролет, забывая о бале, который ожидает их, и о запряженной карете, которая стоит у подъезда. В библиотеке для чтения является такое множество читателей, требующих себе «Новую Элоизу», что плата назначается за чтение этой книги не по дням, а по часам, за час платится по 12 су.

В 1762 году Руссо издает книгу «Emile ou de l'éducation» («Эмиль, или о воспитании»). В этой книге находится знаменитое «Profession de foi du vicaire savoyard» («Исповедание веры савойского викария»), в котором Руссо опровергает клерикалов, с одной стороны, и материалистов, с другой стороны. Блистательный успех, и вместе с тем буря в клерикальных и правительственных сферах. В парламенте начинают говорить, что вместе с книгами следует сжигать и авторов. Книгу сжигают; автора посылают арестовать, но он бежит за границу. Женева, в которой Руссо ищет себе пристанища, гонит его вон. Берн поступает точно так же. Наконец Руссо находит себе приют в княжестве Нёфшательском, которое в то время принадлежало Пруссии. Между тем от всех этих преследований цена «Эмиля» быстро растет. Книга, стоившая сначала восьмнадцать ливров, продается за два луидора. Ее перепечатывают в Голландии и распространяют в бесчисленном множестве экземпляров. Один офицер, увлеченный идеями «Эмиля», стремится бросить службу и учиться столярному ремеслу. Сам Руссо отклоняет его от этого намерения. Начитавшись «Эмиля», знатные барыни начинают сами кормить своих детей. Это кормление входит в моду и производится в гостиных собственно для того, чтобы посторонние мужчины видели, во-первых, сокровища материнской нежности, а во-вторых, красоту обнаженной груди. В том же 1762 году Руссо издает книгу «Du contrat social ou principes du droit politique» («Об общественном договоре, или принципы государственного права»). Этою книгою Руссо кладет основание республиканской школе, так точно как Монтескье своим «Духом законов» положил основание конституционной школе. «Contrat social» сделался впоследствии настольною книгою Робеспьера и был положен в основание той конституции, которую выработал Конвент в 1793 году. «Эмиль» и «Общественный договор» доставили своему автору громадную популярность. «Трудно выразить, — писал Юм из Парижа в 1765 году, — даже вообразить народный энтузиазм к нему. Никто никогда не обращал на себя в такой степени народное внимание. Вольтер и все другие совершенно затемнены им». В том же 1762 году Вольтер написал свое сочинение

* «Новая Элоиза». — *Ред.*

о *терпимости* в защиту казненного Каласа. О впечатлении, произведенном этою книгою на весь образованный мир, уже было говорено выше.

В 1764 году правительство запрещает издание каких бы то ни было сочинений по вопросам, касающимся государственного управления.

В 1766 году выходят последние десять томов «Энциклопедии». Клерикалы плачут и шумят. Правительство сажает книгопродавцев на неделю в Бастилью. Продажа книги продолжается. Министр Шуазель и директор книжной торговли Малерб тянут руку энциклопедистов и успевают разными придворными хитростями склонить короля к снисходительности. Правительство решается смотреть сквозь пальцы на продажу «Энциклопедии», которая расходится великолепно. Уже в 1769 году было распродано *тридцать тысяч* экземпляров, и чистый барыш книгопродавцев-издателей дошел до 2 630 393 ливров, несмотря на то, что печатание стоило 1 158 958 ливров.

В том же 1766 году Гурнэ издал книгу «Essai sur l'esprit de la législation favorable à l'agriculture» («Опыт о духе законодательства, благоприятного для земледелия»). Гурнэ принадлежит к одному лагерю с Кенэ. Это опять рассуждения о финансах, о бедности и о народном хозяйстве, рассуждения, совершенно враждебные *грациям* и *вкусу*. Это — протесты против барщины, против обременительных налогов, против цеховых стеснений, против внутренних таможен, против мелочной и произвольной правительственной регламентации.

В 1767 году правительство угрожает смертною казнью каждому писателю, которого сочинения клонятся к волнованию умов. В то же время писателям запрещается, под страхом смертной казни, рассуждать о финансах.

В том же 1767 году Мерсье де ла Ривьер издает книгу «L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques» («Естественный и необходимый порядок гражданских обществ»). Автор обсуживает, с точки зрения физиократов, всевозможные вопросы государственного управления и народного хозяйства. Правительственные запрещения и угрозы остаются мертвою буквою.

В 1768 году Кенэ издает книгу «Physiocratie ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain» («Физиократия, или естественное устройство правления, самого выгодного для человеческого рода»). Задача поставлена широко, и на запрещения правительства обращается мало внимания.

В том же 1768 году Гольбах издает книгу «Lettres à Eugenie ou préservatif contre les préjugés» («Письма к Евгении, или предохранительное средство против предрассудков»). Эта книга, подобно всем остальным сочинениям Гольбаха, выходит в свет без имени автора, потому что все произведения этого писателя проповедуют такой необузданный материализм, который приводит в ужас даже многих философов вольтеровской школы.

В 1770 году Галиани издает «Dialogues sur le commerce des blés» («Диалоги о хлебной торговле»). Здесь начинается полемика с физиократами, которые сосредоточивали все свое внимание на земледелии. Галиани выдвигает вперед вопрос о промышленном труде и о фабричном работнике. В книге Галиани заключаются уже, по мнению Геттнера, зародыши новейшей социальной науки.

В 1770 году Гольбах издает книгу «Système de la nature» («Система природы»). Бокль считает появление этого сочинения важною эпохою в истории Франции. Об этой книге принято говорить не иначе, как с добродетельным ужасом и негодованием. Даже Гете, который никогда не был ни клерикалом, ни даже деистом, говорит, что он едва мог выносить присутствие этой книги и содрогался перед нею, как перед привидением. Вольтер, Фридрих Великий и д'Аламбер были глубоко возмущены «Системою природы». Вольтер старался уничтожить ее серьезными аргументами и легкими сарказмами. Однако же книга устояла, и сам Вольтер был принужден признаться печатно, что она распространена во всех классах общества и что ее читают ученые, невежды и женщины. Из всех первоклассных деятелей французской литературы только один Дидро совершенно одобрил книгу Гольбаха.

В 1773 году Бомарше печатает свои защитительные мемуары. Их сжигает палач, и, разумеется, они вследствие этого раскупаются с удвоенною быстротою.

В 1774 году Тюрго, самый замечательный из физиократов, издает свои «Recherches sur la nature et l'origine des richesses» («Исследование о природе и происхождении богатств»).

В 1775 году Бомарше ставит на сцену «Севильского цирюльника», в котором плебей Фигаро дурачит и осмеивает знатных господ.

В 1776 году Мабли издает книгу «De la législation ou principes des lois» («О законодательстве, или принципы законов»). Все люди, по мнению Мабли, имеют одинаковое право развивать свои способности и наслаждаться своим существованием. Кто удерживает для самого себя излишек, необходимый для жизни его ближнего, тот, по мнению Мабли, вносит в общество понятие войны, извращает божественный порядок мира и оказывается безбожником.

В 1778 году старик Вольтер приезжает в Париж. Его встречают так, как не встречали никогда владетельных особ. Демонстрации парижан до такой степени замечательны и так ярко характеризуют тогдашнее настроение умов, что я считаю необходимым привести здесь слова очевидца Гримма, внесенные Геттнером в его «Историю литературы XVIII века».

Сегодня, 31 марта, знаменитый старик в первый раз был в академии и в театре. Огромная толпа людей следовала за его экипажем даже во дворы Лувра, желая его видеть. Все двери, все входы академии были заняты; поток раскрылся только, чтобы дать ему место, и потом быстро сомкнулся снова и с громкой радостью приветствовал его. Вся академия вышла ему навстречу

в первую залу — честь, которой не получал еще никто из ее членов, даже никто из иностранных государей. Ему назначили место директора и выбрали его единогласно директором... Когда он ехал от Лувра к театру, это было совершенно похоже на триумф. Все было переполнено людьми обоего пола, всякого возраста и звания. Едва только показывалась вдали карета, раздавался всеобщий радостный клич; с приближением его восклицания, аплодисменты и восторг удвоивались. Наконец, когда толпа видела уже почтенного старика, отягощенного столькими годами, столькой славой, видела, как он, поддерживаемый с обеих сторон, выходил из экипажа, умиление и удивление достигали высшей степени. Все улицы, все балюстрады домов, лестницы, окна были усыпаны зрителями, и едва останавливалась карета, как все лезло на колеса и на экипаж, чтобы посмотреть вблизи на знаменитого человека. В самом театре, где Вольтер вошел в камергерскую ложу, суматоха радости, казалось, стала еще больше. Он сидел между г-жой Дени и г-жой де Виллет. Знаменитейший из актеров, Бризар, подал дамам лавровый венок с просьбой увенчать им старика. Но Вольтер тотчас положил венок в сторону, хотя публика громкими криками и рукоплесканиями заставляла его оставить венок на голове. Все дамы стояли. Вся зала наполнилась пылью от передвижения человеческой массы. Только с трудом можно было начать пьесу... Когда занавес упал, шум поднялся снова. Старик встал с своего места, чтобы благодарить, и тогда посреди сцены явился на высоком пьедестале бюст великого человека; его окружили все актеры и актрисы с венками и гирляндами из цветов; на заднем плане стали воины, выходившие в пьесе. Имя Вольтера раздавалось из всех уст; это было восклицание радости, благодарности и удивления; зависть ⟨и⟩ ненависть, фанатизм и нетерпимость должны были скрыть свою злобу, и общественное мнение в первый раз, быть может, высказалось свободно и в полном блеске. Бризар положил на бюст первый венок, за ним следовали другие актеры, наконец г-жа Вестрис обратила к виновнику торжества несколько стихов, написанных маркизом Сен-Марком, которые торжественно высказывали, что лавровый венок дает ему сама Франция. Минута, когда Вольтер оставлял театр, была, если можно, еще трогательнее, чем его вступление. Казалось, он изнемогал под тяжестью лет и лавров. Кучера просили ехать потише, чтобы можно было идти за ним: большая часть народа провожала его с криками: «Да здравствует Вольтер!».

После этого торжества, разумеется, не осталось во всем Париже ни одного блузника, которому было бы неизвестно имя Вольтера и который не имел бы по крайней мере самого общего и неопределенного понятия о его заслугах. Каждый блузник знал по меньшей мере то, что Вольтер — писатель и что писатель своими трудами может сделаться идолом и гордостью целого народа. Это уже очень важно и многознаменательно, когда одно имя повторяется с благоговением во всех слоях общества.

Через два месяца после своего триумфального шествия Вольтер умирает. Во избежание всяких выразительных демонстраций правительство на несколько времени запрещает актерам играть драмы Вольтера и не позволяет журналистам упоминать о его смерти.

Между тем события идут своим чередом, и положение с каждым годом становится более напряженным. Я закончу мой хронологический перечень следующими тремя фактами.

В 1781 году министр Неккер печатает свой «Compte rendu» («Отчет») о состоянии французских финансов. Отчет этот клонился к тому, чтобы сломить сопротивление привилегированных классов

и самого короля давлением общественного мнения. Поэтому этот отчет имеет чисто обличительное направление и производит на общество потрясающее впечатление. Более 6000 экземпляров раскупается в первый же день; а потом постоянная работа в двух типографиях не успевает удовлетворять всех требований из столицы, из провинций и из-за границы. Отчет Неккера лежит в кармане у каждого аббата и на туалете у каждой дамы. Другое сочинение Неккера «Administration des finances» * расходится в 80 000 экземпляров.

27 апреля 1784 года была дана в первый раз комедия Бомарше «Свадьба Фигаро». «С раннего утра, — говорит Геттнер, — Théâtre Français ** был осаждаем массами. Знатные дамы обедали в актерских ложах, чтобы обеспечить себе хорошие места; в толпе, как рассказывают достоверные известия, три человека были задавлены. Впечатление было неслыханное в истории сцены. Шестьдесят восемь представлений даны были без перерыва одно за другим». — Гримм определяет следующим образом значение комедий Бомарше: «Много и верно говорено было о великом влиянии Вольтера, Руссо и энциклопедистов, самый народ мало, однако, читал этих писателей. Но представление «Свадьбы Фигаро» и «Цирюльника» безвозвратно предало правительство, суд, дворянство и финансовый мир на осуждение всего населения, всех больших и маленьких городов».

В 1787 году архиепископ тулузский Ломени де Бриеннь, бывший в то время первым министром, представил парижскому парламенту королевский эдикт, предоставлявший протестантам все те гражданские права, которыми до того времени пользовались только одни католики. Парламент, несмотря на свое тогдашнее оппозиционное настроение, беспрекословно внес эдикт в протокол и придал ему таким образом силу закона. Итак, король, парламент и церковь, в лице архиепископа тулузского, признали необходимость полной веротерпимости. Таким неслыханным чудом Франция была обязана исключительно своей литературе, которая тихо и незаметно переработала все понятия не только в обществе, но даже и в высших правительственных сферах. Людовик XVI был также сыном своего века, и роль Людовика XIV была ему не только не по силам, но и не по убеждениям. Старый порядок опротивел даже и самому королю,

VIII

Сухая и сжатая хроника, наполняющая предыдущую главу, необходима читателю для того, чтобы он мог бросить общий взгляд на всю совокупность разнообразных умственных впечатлений,

* «Управление финансами». — *Ред.*
** Французский театр. — *Ред.*

пережитых читающею Франциею, а вслед за нею и всею мыслящею Европою, во второй половине прошлого столетия. Рассматривая внимательно эту хронику, читатель увидит три различные течения идей — три течения, действовавшие на умы с одинаковою силою и в одно время.

Во-первых, работы экономистов Кенэ, Гурнэ, Мерсье де ла Ривьера и многих других. Эти люди критикуют терпеливо, внимательно и добросовестно те части и отрасли феодального порядка, которые соприкасаются с народным хозяйством и действуют на производительные силы Франции. Этим людям часто недостает ширины взглядов, но зато они всегда превосходно знают те факты, о которых они говорят. Их можно упрекнуть в односторонности, но никогда нельзя заподозрить в поверхностном дилетантизме.

Во-вторых, труды энциклопедистов, продолжающих дело Вольтера и уничтожающих последние основания клерикализма и пиетизма.

В-третьих, деятельность писателей, рисующих яркие картины того всеобщего благополучия, к которому должно стремиться человечество и которое не может быть достигнуто при существовании старых учреждений. Самым сильным представителем этого последнего направления является Жан-Жак Руссо.

Об экономистах я распространяться не буду, во-первых, потому, что для этого пришлось бы вдаваться в очень подробные исследования о хозяйственных нелепостях старой французской монархии, а во-вторых, потому, что уже в 1776 году идеи французских физиократов были совершенно опрокинуты знаменитою книгою Адама Смита о народном богатстве. Так как главное сочинение Кенэ «Tableau économique» вышло в 1758 году, то, стало быть, могущество физиократов продолжалось всего восемнадцать лет. Главная же их ошибка состояла в том, что они видели в земле единственный источник народного богатства и труд земледельца считали единственным производительным трудом, имеющим право на исключительное поощрение со стороны государства. Слово *физиократия* значит *господство природы*. Французские экономисты прошлого столетия придали своему учению это название потому, что они старались доставить решительное преобладание тем интересам, которые опираются на землю, на почву, на производительные силы самой природы.

Гораздо обширнее было влияние представителей общественных теорий и энциклопедистов. Их идеи глубоко волновали всю Европу и, облекаясь постоянно в новые формы, продолжают действовать и развиваться до нашего времени. Поэтому я считаю необходимым остановиться здесь сначала на деятельности Руссо, а потом на миросозерцании энциклопедистов.

В настоящее время все или почти все мыслящие люди убеждены в том, что человечество постоянно идет вперед, совершенствуется и развивается. Кто признает теорию прогресса, тот знает также, что

этот прогресс совершается не по произволу отдельных личностей, а по общим и неизменным законам природы. Но в понимании обеих великих идей — прогресса и законности, надо тщательно избегать двух нелепых крайностей, ведущих за собою самый бессмысленный оптимизм. Человечество подвигается вперед — это верно; но никак не следует думать, что каждый шаг человечества есть непременно шаг вперед и каждое движение — движение к лучшему. Напротив того, человечество подвигается вперед не по прямой линии, а зигзагами; каждый успех покупается ценою многих ошибочных попыток. Правда, что ошибки эти не пропадают совершенно даром; они увеличивают запас опытности; они до некоторой степени предохраняют от ошибок в будущем; но ошибки все-таки остаются ошибками; и в ту минуту, когда нация гонится за призраком или отворачивается от своей существенной выгоды, — никак не возможно утверждать, что нация поступает очень благоразумно и что ее дела улучшаются.

То же самое надо сказать и об идее законности. Никак не следует утверждать, что отдельные личности своими поступками, своими личными качествами, складом ума и особенностями характера не могут подействовать ни в дурную, ни в хорошую сторону на общее течение событий. Напротив того, отдельные личности постоянно действуют то в дурную, то в хорошую сторону, но их влияния взаимно уравновешиваются и становятся незаметными, если мы берем для рассмотрения достаточно большие периоды времени, например целые тысячелетия. Если бы мы могли, например, взглянуть на положение Европы в 2866 году, то мы, разумеется, никак не могли бы определить, в каком направлении подействовали на европейскую цивилизацию личный характер и военные таланты Наполеона I. Оказалось бы, что все следы его влияния совершенно изглажены, и Европа прошла в тысячелетие как раз тот путь, который она должна была пройти по вечным и незыблемым законам природы. Но если вы теперь, в 1866 году, вздумаете утверждать, что ум и характер Наполеона I не имели никакого влияния на ход событий, то вам скажут, что будь, например, у Наполеона I поменьше военных талантов и тщеславия да побольше благоразумия, тогда бы вся Европа с 1807 года наслаждалась бы глубоким миром и тогда не было бы той бешеной католической реакции, которая могла развернуться в полном блеске только под покровительством торжествующего легитимизма. У Наполеона была своя историческая задача, не особенно завидная и блестящая, но все-таки такая, которую можно было выполнить хорошо и выполнить дурно. После того как революция была остановлена на всем ходу, военная диктатура сделалась сначала возможною, а потом неизбежною; но можно было воспользоваться ею благоразумно и воспользоваться нелепо; то или другое употребление доктрины зависело уже вовсе не от великих и общих причин, а просто от личных особенностей диктатора. Наполеон

выполнил свою задачу отвратительно дурно, и те люди, которым приходится жить в ближайшие десятилетия, чувствуют на себе дурные последствия его ошибок. То же самое можно сказать и обо всякой другой исторической задаче, достающейся на долю отдельной личности; каждая задача может быть решена и очень хорошо, и очень дурно, и с грехом пополам. В половине XVIII века стояла на очереди важная задача. Надо было повернуть против феодального государства то отрицание, которое в первой половине столетия действовало исключительно против клерикальной партии. Надо было громко объявить людям, что пора перейти от смелых мыслей к смелым делам. Эту задачу решил Руссо. Слово его было достаточно громко и увлекательно. Люди встрепенулись, и перед ними открылась перспектива новой жизни. А между тем нельзя не пожалеть о том, что решение этой капитальной задачи досталось именно Жан-Жаку Руссо. Нельзя не сказать, что Европа осталась бы в больших барышах, если бы Руссо умер в цвете лет, не напечатавши ни одной строки. Руссо решил задачу, но на свое решение он положил грязные следы своей бабьей, плаксивой, взбалмошной, расплывающейся, мелочной и в то же время фальшивой, двоедушной и фарисейской личности. У Руссо был тот талант, был тот ум, были те страсти, которые были необходимы для решения задачи. Но, кроме того, у Руссо было многое множество болезней, слабостей, пошлостей и гнусностей, без которых основатель французской социальной науки мог бы обойтись с величайшим удобством для самого себя и с огромною пользою для своего дела. Так, например, Руссо не было ни малейшей необходимости страдать расстройством мочевого пузыря и хроническою бессонницею. Дело всеобщей перестройки, очевидно, выиграло бы, если бы ее первым мастером был человек совершенно здоровый, крепкий, веселый, деятельный и неутомимый.

Читатели мои ужасаются или смеются. Можно ли в самом деле толковать о мочевом пузыре, когда рассматривается решение великой исторической задачи? Что общего имеет мочевой пузырь Руссо с идеями «Эмиля» и «Общественного договора?» — К сожалению, эти вещи имеют между собою гораздо больше точек соприкосновения, чем вы предполагаете, господа идеалисты. Я докажу вам это словами самого Руссо. В 1752 году была дана с большим успехом на придворном театре комическая опера Руссо «Деревенский гадатель». Король, которому очень понравилась музыка, выразил желание, чтобы Руссо был ему представлен. Теперь выступает на сцену мочевой пузырь. «Вслед за мыслью о представлении, — говорит Руссо в своих «Признаниях» (которые г. Устрялов напрасно назвал в русском переводе «Исповедью»), — я задумался над необходимостью часто выходить из комнаты вследствие моей болезни, что заставило меня много страдать в вечер, проведенный в театре, и что могло мучить меня и на следующий день, когда мне предстояло быть в галлерее или в комнатах

короля, среди всех вельмож, ожидающих появления его величества. *Эта болезнь была главной причиной*, по которой я держал себя в стороне от собраний и которая не позволяла мне ходить в гости к женщинам. Одна мысль о том положении, в которое могла поставить меня эта потребность, была способна усилить ее до такой степени, что мне сделалось бы дурно или дело не обошлось бы без скандала, которому я предпочел бы смерть. Только люди, знакомые с таким состоянием, могут понять, как страшно подвергать себя такой опасности». Сам Руссо, как видите, признается, что *болезнь была главною причиною*, удалявшею его от людей. Надо заметить, что эта болезнь была у него врожденною. Значит, он с самого детства чувствовал в обществе постоянное беспокойство. Эта совершенно определенная боязнь должна была, наконец, породить в нем общую неразвязность и застенчивость; эти особенности вызывали шутки и насмешки товарищей; от этих шуток и насмешек робость должна была увеличиваться, и к ней должна была присоединяться злобная недоверчивость к людям и, как подкладка этой недоверчивости, тоскливо-сентиментальное стремление к каким-то лучшим людям, сладким, чувствительным, нежным и слезливым. Все «Признания» Руссо составляют одну длиннейшую и скучнейшую жалобу на то, что люди не умеют его понимать, не умеют любить, стараются всячески изобидеть, составляют против него заговоры и причиняют его прекрасной душе такие страдания, которые им, простым и грубым людям, даже совершенно недоступны. И Руссо напрягает все свои силы, чтобы наплевать на людей и удалиться в пустыню, на лоно природы, которая никому не мешает *часто выходить из комнаты*. Но Руссо так мелочен, что он никак не может действительно наплевать на людей; его тревожит каждая светская сплетня, как бы она ни была невинна или глупа; в каждом слове и в каждом взгляде он отыскивает себе оскорбление; на каждом шагу он, отшельник и мудрец, вламывается в амбицию, лезет объясняться, выказывает свое достоинство, визжит, плачет, кидается в объятия и вообще надоедает всем своим знакомым до такой степени, что все действительно начинают тяготиться его присутствием. Руссо ненавидит то общество, в котором он живет, но в этой ненависти нет ничего высокого и прекрасного. Он ненавидит в нем не те крупные препятствия, которые парализуют полезную деятельность; он ненавидит только какие-то мелкие несовершенства отдельных личностей: бесчувственность злодея Дидро, суровость негодяя Гольбаха, высокомерие изверга Гримма, неискренность мерзавки д'Эпине. В «Признаниях» радикала Руссо вы не найдете ни одной сильной и глубоко прочувствованной политической ноты, но зато найдете груды замысловатых соображений о коварных происках Дидро и Гольбаха против репутации кроткого и добродетельного Жан-Жака.

Политическая дряблость радикала Руссо была так велика, что он по какому-то ничтожному личному поводу напал печатно на

Дидро и объявил публике о своем разрыве с ним в то самое время, когда Дидро, как редактор «Энциклопедии», нес на себе всю тяжесть правительственных и клерикальных преследований. Сен-Ламбер, которому Руссо, по старой дружбе, послал свою ядовитую брошюру, отвечал ему убийственным письмом, которого не дай бог никому получить от старого друга. «Поистине, милостивый государь, — пишет Сен-Ламбер, — я не могу принять вашего подарка. При чтении того места вашего предисловия, где вы, по поводу Дидро, приводите выписку из «Екклезиаста», [24] книга выпала у меня из рук... Вам не безызвестны преследования, которые он терпит, а вы примешиваете голос старого друга к крикам зависти. Не могу скрыть от вас, милостивый государь, как возмущает меня подобная жестокость... Милостивый государь, мы слишком расходимся в наших принципах, чтоб иметь возможность сойтись когда-нибудь. Забудьте мое существование; это не до́лжно быть для вас трудно... Я же, милостивый государь, обещаю вам забыть вашу особу и помнить только ваши таланты». И Руссо самодовольно выписывает это письмо в своих «Признаниях», считая себя и в этом случае жертвою человеческой испорченности.

Болезнь Руссо развивала в нем любовь к уединению, а уединение развивало мечтательность. Руссо сам рассказывает, каким образом он в лесах Монморанси окружал себя идеальными существами и проливал сладостные слезы над великими добродетелями Юлии и Сен-Пре, героев «Новой Элоизы». Болезнь внушала Руссо отвращение к деятельной и тревожной жизни: в то время, когда все кругом Руссо кипело ожесточенною борьбою, сам Руссо мечтал только о том, как бы найти себе где-нибудь спокойный уголок и устроить вокруг себя любезную идиллию. Так как борьба, требующая постоянных и разнообразных столкновений с людьми, была решительно не по силам больному мечтателю, то он и не мог никогда пристраститься к такой цели, которая может быть достигнута только путем упорной и продолжительной борьбы. У Руссо, у этого кумира якобинцев, не было в жизни никакой определенной цели. Он вовсе не желал ввести в сознание общества те или другие идеи. Если бы у него было это желание, то он, подобно Вольтеру, писал бы до последнего издыхания и устроивал бы всю свою жизнь так, как того требовали удобства писания и печатания. Но этого не было. Он бросил литературную деятельность, как только получил возможность жить потихоньку на заработанные деньги. Выбирая себе место жительства, он обращает внимание только на красоту окружающей природы, а совсем не на ту степень свободы, которою пользуется в данной стране печатное слово. Не угодно ли вам полюбоваться на идеал счастливой жизни, нарисованной рукою самого Руссо. «Лета романических планов прошли, — говорит он в «Признаниях», — дым пустого тщеславия скорее отуманивал меня, чем льстил мне, мне оставалась одна последняя надежда — жить без принуждения, в вечной праздности. Это жизнь блажен-

ных на том свете, и я отныне полагал в ней мое высочайшее счастье в этом мире»... «Праздность, которую я люблю, — поясняет он далее, — не есть праздность ленивца, который, сложа руки, остается в совершенном бездействии, ни о чем не думая, ничего не делая. Это — праздность ребенка, находящегося беспрестанно в движении и все-таки ничего не делающего, и праздность болтуна, который мелет всякий вздор, между тем как руки его остаются в покое. Я люблю заниматься пустяками, начинать сто вещей и не кончать ни одной, ходить куда вздумается, каждую минуту переменять планы, следить за мухою во всех ее приемах, желать сдвинуть скалу, чтобы посмотреть, что под нею, с жаром принять работу, которой хватит на десять лет, и бросить ее через десять минут, целый день предаваться безделью без порядка и без последовательности и во всем подчиняться только минутному капризу».

Вряд ли можно найти другого знаменитого человека, который с таким искренним самодовольством любовался бы публично своею собственною дрянностью и тряпичностью. Вы видите из его слов, что когда он писал «Эмиля» и «Общественный договор», тогда он только *отуманивал себя дымом пустого тщеславия*. Теперь дым рассеялся, и Руссо понял, что *вечная праздность ребенка* составляет его настоящее призвание. Не умея быть героем и бойцом, Руссо не умеет также ценить и понимать бойцов и героев. Сила, энергия, смелость, настойчивость, эластичность, изворотливость, неутомимость — все эти качества, драгоценные с точки зрения бойца, в глазах Руссо не имеют никакого значения. Он дорожит только красивыми чувствами, трогательными излияниями, чистотою целомудренного сердца, кротостью голубиного нрава, способностью созерцать, благоговеть, ныть и обливаться теплыми слезами восторга. Он влюблен в какую-то добродетель и желает, чтобы все люди были по возможности добродетельны. Но при этом он самого себя считает за очень добродетельного человека и даже умиляется до слез над красотами своей души. Это обстоятельство ясно показывает читателю, что возлюбленная добродетель Руссо заключается именно *только* в тонкости прекрасных чувств, потому что эта добродетель не помешала ему отдать пять человек своих собственных детей в воспитательный дом и вообще не заставила его сделать ни одного сколько-нибудь замечательного поступка, ничего такого, что можно было бы хоть издали сравнить с великими подвигами человеколюбия, сделанными злым насмешником Вольтером, который никогда не толковал печатно о добродетели.

Итак, идеал Руссо был совершенно ложен; та мерка, которою он измерял достоинства людей, никуда не годится. Этот ложный идеал и эта негодная мерка, обязанные своим происхождением болезненному состоянию автора, бросают совершенно фальшивый колорит на самые замечательные произведения Руссо, на «Эмиля» и на «Общественный договор». В лице своего идеального воспитанника, Эмиля, Руссо формирует не гражданина, не мыслителя,

не героя той великой борьбы, которая должна перестроить и обновить общество, а только здорового и невинного ребенка, который сумеет до конца своей жизни уберечь от козней общества свою невинность и свое здоровье. Руссо боится до крайности, чтобы его Эмиль не провел ночи в объятиях камелии; но он нисколько не боится того, что вся жизнь Эмиля может пройти бесследно, в сонной идиллической беспечности, которая к тридцатилетнему возрасту превратит Эмиля в Афанасия Иваныча.

В своем «Общественном договоре» Руссо считает необходимым, чтобы законодатель и правительство делали граждан добродетельными. Это стремление кладет в идеальное государство Руссо зерно злейшего клерикального деспотизма. Руссо думает, что людей надо искусственным образом приучать к добродетели. Это — огромная ошибка. Каждый здоровый человек добр и честен до тех пор, пока все его естественные потребности удовлетворяются достаточным образом. Когда же органические потребности остаются неудовлетворенными, тогда в человеке пробуждается животный инстинкт самосохранения, который всегда бывает и всегда должен быть сильнее всех привитых нравственных соображений. Против этого инстинкта не устоят никакие добродетельные внушения. Поэтому государству незачем и тратить силы и время на подобные внушения, которые в одних случаях не нужны, а в других бессильны. Государство исполняет свою задачу совершенно удовлетворительно, когда оно заботится только о том, чтобы граждане были здоровы, сыты и свободны, то есть чтобы они на всем протяжении страны дышали чистым воздухом, чтобы они раньше времени не вступали в брак, чтобы все они имели полную возможность работать и потреблять в достаточном количестве продукты своего труда и чтобы, наконец, все они могли приобретать положительные знания, которые избавляли бы их от разорительных мистификаций всевозможных шарлатанов и кудесников. Если же государство не ограничивается этими заботами, если оно врывается в область убеждений и нравственных понятий, если оно старается навязать гражданам возвышенные чувства и похвальные стремления, то оно притупляет граждан, превращая их или в послушных ребят, или в бессовестных лицемеров. Официальные хлопоты о добродетелях открывают широкую дорогу религиозным преследованиям. Это мы видим уже в теоретическом трактате Руссо. Четвертая книга «Общественного договора» говорит, что в государстве должна существовать религия, обязательная для всех граждан. Кто не признает государственной религии, того следует выгонять из государства, не как безбожника, а как нарушителя закона. Кто признал эту религию и, однако же, действует против нее, тот подвергается смертной казни, как человек, солгавший перед законом. Этими двумя принципами можно оправдать и узаконить все, что угодно: и драгоннады, и инквизицию, и изгнание мавров из Испании, и вообще всевозможные формы религиозных преследо-

дований. И герцог Альба, и Торквемада, и Летеллье могут прикрыть все свои подвиги тем аргументом, что они наказывают не еретиков, а государственных преступников. Именно этим аргументом и оправдывались в Англии при Елисавете преследования, направленные против католиков. Руководствуясь принципами Руссо, Робеспьер погубил на эшафоте много таких людей, которые были очень полезны Франции, например Дантона, Демулена, Шометта, Анахарсиса Клоца. Он обвинял их, правда, в различных заговорах и сношениях с Питтом, но вряд ли даже он сам верил в существование этих заговоров. Настоящею причиною его ненависти к этим людям было то обстоятельство, что все они были скептиками и что вследствие этого Робеспьер, как послушный ученик Руссо, признавал их недостойными жить в добродетельной французской республике. [25]

IX

Из энциклопедистов я возьму только Дидро и Гольбаха. Оба они — здоровые, веселые, трудолюбивые люди, безгранично преданные своим идеям. Оба они гораздо моложе Вольтера, Дидро — на девятнадцать, а Гольбах — на двадцать девять лет. Дидро воспитывался в коллегии иезуитов и хотел сначала поступить в духовное звание, но потом, когда способности его развернулись, он совершенно отказался от этого намерения, стал заниматься с особенным жаром математикой, древними и новыми языками и, наконец, решительно объявил своему отцу, что никогда не выберет себе определенной профессии. Отец его, богатый и солидный буржуа, рассердился и вздумал запугать его лишениями. Дидро остался в Париже без копейки денег и начал заниматься литературными работами по заказу книгопродавцев. Потом женился по любви на бедной девушке и окончательно рассорился с отцом. Наконец, в 1746 году Дидро сошелся с книгопродавцем Лебретоном, у которого была в руках привилегия на издание английской «Энциклопедии» Чамберса во французском переводе, но не было под руками людей, способных взяться за перевод этой книги. Дидро, которому было в это время 33 года и который уже давно чувствовал в себе силы взяться за большой и важный труд, посоветовал Лебретону издать оригинальную французскую энциклопедию и составил для этого издания самый широкий план. Он задумал дать французскому обществу не какую-нибудь простую справочную книгу, не какое-нибудь мертвое собрание технических терминов и отрывочных фактов, а такое произведение, которое вместило бы в себе всю философию века и показало бы ясно жизненное значение нового миросозерцания, смело объявляющего войну клерикальному деспотизму. Работа началась с 1749 года и продолжалась по 1766 год. В продолжение первых восьми лет Дидро

разделял труды редакции с д'Аламбером, но в 1757 году, когда седьмой том «Энциклопедии» вызвал против себя жестокую бурю, д'Аламбер счел благоразумным удалиться от такого опасного предприятия, и вся тяжесть редакционной работы и ответственности упала на одного Дидро. Сотрудники чувствовали ежеминутно припадки трусости, Лебретон позволял себе, во избежание столкновений с властями, смягчать в статьях слишком резкие выражения, и Дидро все это должен был улаживать и устраивать, ободрять сотрудников, обуздывать книгопродавца, хлопотавшего только о барышах, вести дружбу и тонкую политику с властями, хитрить и уступать в одних статьях и потом наверстывать сделанные уступки под другими рубриками. Все это он выполнил с блестящим успехом. При этом он относился так добросовестно к мельчайшим подробностям своего дела, что для удовлетворительного описания различных ремесл и промыслов он проводил целые дни в мастерских, рассматривал с величайшим вниманием различные машины и усвоивал себе все технические приемы работников. Книгопродавцы, как мы видели выше, выручили за «Энциклопедию» больше двух с половиною миллионов ливров чистого барыша, а Дидро за всю свою семнадцатилетнюю работу получил 20 000 ливров единовременно, да по 2500 ливров за каждый том. Впрочем, Дидро был некорыстолюбив; он с беспредельною щедростью помогал своим друзьям деньгами и пером; он охотно поправлял и переделывал чужие рукописи, приставлял к ним предисловия и вообще разбросал множество блестящих мыслей по разным книгам своих единомышленников. Дело не в том, говорил он часто, кем сделана вещь, мною или другим; надо только, чтобы она была сделана, и сделана хорошо. Философские убеждения Дидро дались ему не сразу. Он купил их ценою тяжелых сомнений и продолжительной умственной борьбы. Его сочинения указывают на три фазы в его развитии. В 1745 году в сочинении «Essai sur le mérite et sur la vertu» («Опыт о заслугах и о добродетели») он является философствующим католиком и доказывает, что добродетель может основываться только на религии. В 1747 году в «Прогулке скептика» он, по словам Геттнера, «*бросается в пропасть большого сомнения*» и утверждает, что нет в человеческой жизни другой цели, кроме чувственных наслаждений. Затем начинаются попытки спасти что-нибудь из прежних верований, и Дидро на несколько времени становится деистом; но эти попытки не удовлетворяют его, и с 1749 года он уже на всю жизнь остается крайним материалистом. Этими последними убеждениями проникнуты все его работы, помещенные в «Энциклопедии». Умирая в 1784 году, он сказал, что *сомнение есть начало философии*. Это были его последние слова.

Барон Гольбах, богатый человек, получивший в Париже очень основательное образование, занимался естественными науками, в особенности химией, кормил философов великолепными обедами

и часто помогал им своими обширными знаниями. Он писал для «Энциклопедии» химические статьи и печатал материалистические книги, никогда не выставляя на них своего имени. Знаменитая его «Système de la nature» вышла в свет тогда, когда Гольбаху было уже сорок семь лет. В некоторых частях этого сочинения Гольбаху помогал Дидро. Принимая в соображение тот ужас, которым эта книга поразила всю философствующую Европу, мы можем утверждать положительно, что «Système de la nature» составляет последнюю, крайнюю вершину в развитии отрицательных доктрин XVIII века.

Гольбах думает, что все совершается в природе по вечным и неизменным законам. Эта идея служит фундаментом для всех его остальных построений. Человек, по его мнению, не может освободиться от законов природы даже в своей мысли. Как для чувствования, так и для мышления необходима, по мнению Гольбаха, нервная система, соприкасающаяся с внешним миром посредством органов и аппаратов зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния. Без органов и нервной системы нет ни мышления, ни чувствования, так точно, как без музыкального инструмента нет музыкального звука и, следовательно, нет также и отдельных качеств звука — нежности или пронзительности, певучести или пискливости, протяжности или отрывистости. Представить себе мысль, отрешенную от необходимых условий ее проявления, то есть от нервной системы, это, по мнению Гольбаха, все равно, что представить себе звук, существующий независимо от инструмента. Это значит — вообразить себе действие без причины... Материя, по мнению Гольбаха, неистребима; ни одна частица ее не может исчезнуть; но частицы эти беспрестанно передвигаются, и, вследствие этого передвижения, формы и комбинации беспрестанно разрушаются и возникают. Передвижения частиц совершаются по тем же вечным и неизменным законам, которыми обусловливается течение великих небесных светил. Это значит, что если частица материи сто миллионов раз будет поставлена в одинаковое положение, то она сто миллионов раз пойдет по одному и тому же пути и вступит в одни и те же комбинации. Те частицы материи, которые входят в состав человеческого тела, подчиняются, по мнению Гольбаха, в своих движениях таким же точно вечным и неизменным законам. Из этого правила нет исключения. Как частицы желудочного сока вступают в химические соединения с частицами пищи *по необходимости*, как кровяные шарики поглощают кислород *по необходимости*, так точно и частицы мозга передвигаются и претерпевают химические изменения *по необходимости*. Результатом этих передвижений и химических изменений оказывается процесс мышления, который, следовательно, также, по мнению Гольбаха, отличается всегда характером непреклонной *необходимости*. Человек поступает так или иначе, потому что желает так или иначе; желание обусловливается предварительным размышлением,

а размышление есть неизбежный результат данных внешних впечатлений и данных особенностей мозга. Значит, что же такое преступление и что такое наказание? Природа, по мнению Гольбаха, не знает ни того, ни другого; в природе нет ничего, кроме бесконечной цепи причин и следствий, такой цепи, из которой невозможно выкинуть ни одного звена.

Повидимому, Гольбах должен быть самым ужасным и отвратительным человеком. Иначе каким образом мог бы он быть и материалистом? Однако же, к удивлению всех любителей доброй нравственности, Гольбах оказывается человеком хорошим. «Я, — говорит Гримм, — редко встречал таких ученых и разносторонне образованных людей, как Гольбах; я никогда не встречал людей, у которых было бы так мало тщеславия и самолюбия. Без живой ревности к успеху всех наук, без стремления, ставшего у него второй природой, сообщать другим все, что казалось ему важно и полезно, он бы никогда не выказал своей беспримерной начитанности. С его ученостью было бы то же, что с его богатством. Его никогда бы не угадали, если бы он мог его скрыть, не вредя своему собственному наслаждению и особенно наслаждению своих друзей. Человеку таких взглядов не должно было стоить большого труда — верить в господство разума; потому что его страсти и удовольствия были именно таковы, каковы они должны быть, чтобы дать перевес хорошим правилам. Он любил женщин, любил удовольствия стола, был любопытен; но ни одна из этих склонностей не овладевала им вполне. Он не мог ненавидеть никого; только тогда, когда он говорил о распространителях угнетения и суеверия, его врожденная кротость превращалась в ожесточение и жажду борьбы».

Оканчивая эту статью, я советую читателям, заинтересовавшимся умственною жизнью прошлого столетия, прочитать книгу Геттнера: «История всеобщей литературы XVIII века». В этой книге читатели найдут толковое, беспристрастное и занимательное изложение биографических фактов и философских доктрин, в связи с общею картиною времени.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

I

Много есть на свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей, которые умеют их читать. Умение читать хорошие книги вовсе не равносильно знанию грамоты. Я оставляю в стороне тех отличных и усердных грамотеев, к разряду которых принадлежит чичиковский Петрушка. Я сосредоточиваю все свое внимание на тех счастливцах, которые понимают смысл читаемых слов, предложений и периодов. Рассматривая только этот избранный кружок, я все-таки прихожу к тому заключению, что очень немногие члены этой умственной аристократии обладают умением читать хорошие книги.

Если вам, читатель мой, удалось завоевать себе это драгоценное умение, то вы, конечно, помните, каким продолжительным и упорным трудом было куплено это завоевание. Во времена вашего студенчества вы начали замечать, что жизнь совсем не такая простая и легкая штука, которую можно было бы изучить и постигнуть вполне по наставлениям родителей и по казенным учебникам, растворившим перед вами двери университета. Наставления родителей могли дать вам несколько хороших привычек. Казенные учебники могли сообщить вам сотни основных научных истин. Но вопрос: «как жить?» остался нетронутым. Над решением этого вопроса каждый здоровый человек должен трудиться сам, точно так, как женщина должна непременно сама выстрадать рождение своих детей. Для решения этого основного вопроса вам понадобилось перебрать, пересмотреть, проверить все ваши понятия о мире, о человеке, об обществе, о нравственности, о науке и об искусстве, о связи между поколениями, об отношениях между сословиями, о великих задачах вашего века и вашего народа. Занимаясь этим пересмотром, вы замечали у себя ошибки, которых до поры до времени нечем было поправить, и огромные пробелы, которых нечем было пополнить. Вы волновались, ваше бессилие приводило вас

в ужас, вы тревожно искали ответов на такие вопросы, которых сами не умели еще поставить и сформулировать; вы чувствовали, что вам необходимы какие-то материалы, какие-то знания, какое-то положительное содержание для мысли; весь ваш организм томился умственными потребностями, но вы сами решительно не могли определить, в чем именно вы нуждались. Вообще вы были очень похожи на того древнего царя, который видел страшный сон и потом, утром, не мог не только понять, но даже и припомнить его. От придворных гадателей требовалось, чтобы они сначала рассказали, а потом объяснили царю его таинственное и ужасное сновидение. Во время ваших умственных тревог вы также были окружены гадателями, хотя и не придворными. Наставники и товарищи, пережившие прежде вас умственный кризис, смотрели с кротким и разумным участием на ваши необходимые мучения. Значительно преувеличивая силу и мудрость этих гадателей, вы требовали от них, чтобы они разъяснили вам ваше состояние и потребности вашей собственной измученной души, изнемогающей под гнетом непривычных сомнений и неразрешимых вопросов. Гадатели указывали вам на хорошие книги. Вы хватались за них с зверскою жадностью, но так как вы не умели их читать, то они усиливали ваше беспокойство, погружали вас в отчаяние или увлекали вас на такую дорогу, которая не соответствовала ни вашим естественным наклонностям, ни окружающим вас обстоятельствам места и времени.

По вашим пробудившимся умственным потребностям вы уже были мужчиною. По вашим привычкам вы оставались еще ребенком. Каждого умного человека вы принимали за учителя, каждую хорошую книгу за учебник. Вас не пугали трудности; вы готовы были, вы даже пламенно желали окунуться с головою в самую утомительную, самую скучную, самую добросовестную работу. Но вы, по старой привычке, хотели работать пассивно, не так, как трудится исследователь, а так, как занимается ученик. Вы готовы были одолевать груды книг и просиживать целые месяцы в библиотеке, но только с тем, чтобы знающий человек управлял вашими занятиями и ручался вам за их успех. В кругу ваших знакомых вы постоянно искали себе *развивателя;* на полках библиотек вы старались найти себе книгу *«развитие»*. Вы хотели, чтобы какой-нибудь человек или какая-нибудь книга влила в вас, как в бутылку, те знания, идеи и стремления, которые необходимы честному и дельному работнику нашего времени; вы доверялись безусловно и людям и книгам; вы не умели выбирать; если вам нравилась в человеке или в книге одна какая-нибудь сторона, то вы, увлекаясь одною этою стороною, принимали вместе с нею и весь остальной запас мыслей, в котором наверное было много непригодного и несостоятельного; если вас поражала в человеке или в книге какая-нибудь одна очевидная нелепость, то вы точно так же, из-за одной этой нелепости, браковали весь груз, в котором наверное можно было найти много интересных фактов и даже, быть может, не-

сколько верных и глубоких идей. Само собою разумеется, что ни книги, ни люди не удовлетворяли вас вполне, потому что вы требовали от них невозможного; ни один человек не может быть *развивателем*, и ни одна книга не может быть *развитием*. И люди и книги могут быть только материалами, над которыми упражняется ваша пробудившаяся мысль. Эти материалы необходимы, потому что без впечатлений невозможна умственная работа. Но все-таки это материалы, а не готовые убеждения. Готовых убеждений нельзя ни выпросить у добрых знакомых, ни купить в книжной лавке. Их надо выработать процессом собственного мышления, которое непременно должно совершаться самостоятельно в вашей собственной голове, так точно, как процесс пищеварения совершается вполне самостоятельно в вашем собственном желудке.

Сталкиваясь с различными людьми, читая различные книги, гоняясь за призраком *развития* и *готовых убеждений*, точно так, как алхимики гонялись за призраком философского камня, вы невольно сравнивали получаемые впечатления, становились втупик над противоречиями, подмечали нелогичности, обобщали вычитанные факты и таким образом укрепляли понемногу вашу мысль, закладывая фундамент собственных убеждений, и становились в критические отношения к тем людям и к тем книгам, от которых вы ожидали себе сначала чудесной благодати немедленного умственного просветления.

Наконец ваши наклонности и способности развернулись и обозначились настолько, что вы перестали быть для самого себя мучительною загадкою. Познакомившись с своею собственною особою, вы в то же время поняли общее направление окружающей жизни; вы отличили передовых людей и честных деятелей от шарлатанов, софистов и попугаев; вы сообразили, куда передовые люди стараются вести общество; все эти сведения вы получили не зараз, не от одного человека и не из какой-нибудь одной книги; все эти сведения собраны вами по кусочкам, извлечены из множества различных впечатлений, заронены в ваш ум всякими крупными и мелкими событиями частной и общественной жизни. Незаметно проникая в вашу голову, все эти основные сведения срастались с вашим умом так крепко и превращались в такое неотъемлемое достояние вашей личности, что вы скоро потеряли всякую возможность определить, где, когда и каким образом приобретены составные части самых дорогих и непоколебимых ваших убеждений.

Когда убеждения выработаны, когда цель жизни отыскана, тогда начинается сознательное, разумное и плодотворное чтение хороших книг. До этого времени вы читали ощупью. Книги нравились или не нравились вам так, как может нравиться или не нравиться шелковая материя, кусок обоев, фарфоровая чашка, соус или пирожное; когда автор шутил, вы смеялись; когда он впадал в элегический тон — вы умилялись; когда он аргументировал горячо и красноречиво — вы соглашались; когда он изла-

гал свои мысли вяло и скучно, вы зевали. Из совокупности этих ощущений, воспринятых совершенно пассивно, составлялся ваш общий взгляд на книгу. Автор не мог быть ни вашим союзником, ни вашим противником, серьезная цель книги оставалась вам непонятною, вы не могли судить ни о достоинстве этой цели, ни о том, насколько эта цель достигается и насколько автор остается верен самому себе. Вы не могли и не умели уловить связь, существующую между данною книгою и всеми явлениями окружающей жизни; книга казалась вам отрывочным явлением, без корней в прошедшем, без влияния на будущее; поэтому вы и не могли сказать, что это за явление — дурное или хорошее и почему оно дурно или почему хорошо. Когда же знания ваши увеличились настолько, что дали вам возможность примкнуть сознательно к тому или к другому знамени, тогда вы начинали пылать тем фанатическим жаром, который составляет неотъемлемую принадлежность всевозможных неофитов. Дух вашей фанатической исключительности вы, разумеется, применили также и к чтению книг. Вы считали достойными внимания только те книги, которые написаны людьми вашего лагеря. Все остальные книги следовало, по вашему мнению, если не сжечь, то по меньшей мере осмеять и забыть. Читая книгу, вы производили над автором строжайшее следствие, и, чуть только вы замечали, что автор в чем-нибудь погрешил против вашего корана, вы немедленно причисляли этого автора к огромной толпе пишущих идиотов и негодяев. Но чем больше вы читали, тем яснее становилась для вас та истина, что цельные приговоры вроде восклицаний *«лоб!»* и *«затылок!»* неуместны и в отношении к людям и в отношении к книгам. Под влиянием жизни и чтения ваши собственные убеждения очистились, выяснились и окрепли; вы пристрастились к ним еще сильнее прежнего, вы сделались еще непоколебимее, но вы в то же время поняли, что для торжества вашей же собственной любимой идеи вы принуждены ежеминутно пользоваться трудами и мыслями таких людей, которые во многих отношениях уклоняются от вашего корана. Положим, например, что вы материалист. Краеугольными камнями вашего миросозерцания оказываются труды Коперника, Галилея и Ньютона, которые постоянно были деистами и веровали даже в откровение. Не станете же вы из-за этого обстоятельства отвергать их астрономические открытия? А если не станете, то вы не должны также относиться с пренебрежением ни к химическим работам Либиха, ни к физиологическим исследованиям Рудольфа Вагнера, ни даже к добросовестным компилятивным трудам Теодора Вайца, несмотря на то, что все они спиритуалисты, а Рудольф Вагнер даже пиетист.

Положим далее, что вы фурьерист или прудонист. Спрашивается, каким образом отнесетесь вы к общественной физике О. Конта или к историко-философской теории Бокля? Причислите ли вы эти книги к вредным или к полезным явлениям? Станете ли вы отвергать или защищать эти идеи? С одной стороны, вы не можете

не сочувствовать основной мысли Конта и Бокля, той мысли, что вся история есть борьба рассудка с воображением и что сильнейшим двигателем прогресса оказывается накопление и распространение знаний. Успеху этой мысли вы должны содействовать всеми вашими силами; с другой стороны, вы никак не можете сочувствовать ни контовской апологии нищенства, ни боклевскому мальтузианству. Но если бы вы вздумали, возмутившись этими нелепостями, забраковать целиком Конта и Бокля, то вы бы значительно ослабили ваши собственные идеи, отнявши у них ту подпору, которую они могут найти себе в исследованиях и размышлениях этих двух первоклассных умов. Значит, вы должны отделить светлые идеи от ошибочных суждений; вы должны пользоваться первыми и опровергать вторые. Пользуясь светлыми идеями Конта и Бокля, вы вовсе не принимаете на себя обязанности соглашаться с этими писателями во всем и превозносить каждое слово их сочинений. Опровергая то, что кажется вам ошибочным, вы нисколько не отступаете от того уважения, которое должны внушать вам великие мыслители. Сказать и доказать, что Бокль ошибся, вовсе не значит разбить авторитет Бокля и не значит также поставить самого себя выше этого замечательного мыслителя. С другой стороны, сказать и доказать, что у Гизо или у Маколея встречаются иногда светлые мысли, вовсе не значит превратиться в единомышленника этих узких доктринеров. В том и в другом случае, то есть опровергая Бокля и соглашаясь с Гизо, вы все-таки остаетесь верны вашим собственным убеждениям, и вы пользуетесь тою необходимою самостоятельностью, без которой невозможно сильное и плодотворное мышление и которая не должна стесняться ни раболепным благоговением перед великими именами, ни фанатическою исключительностью партий.

Так как критика должна состоять именно в том, чтобы в каждом отдельном явлении отличать полезные и вредные стороны, то понятно, что ограничиваться цельными приговорами значит уничтожать критику или по крайней мере превращать ее в бесплодное наклеивание таких ярлыков, которые никогда не могут исчерпать значение рассматриваемых предметов. В теории эта мысль не может вызвать против себя никаких возражений. Всякий скажет, что это очень старая истина и что несостоятельность цельных приговоров давным-давно засвидетельствована общеизвестными изречениями о пятнах на солнце и о золоте в грязи. Но в практической жизни цельные приговоры продолжают господствовать, и особенно сильно проявляется это господство у нас в России, где партии только что обозначились и почувствовали свою непримиримость. У каждой из наших партий есть свои кумиры, которые для противоположной партии оказываются чучелами и страшилищами. Каждое знаменитое имя европейской науки или литературы вызывает с одной стороны восторженное поклонение, а с другой — беспредельное и страстное порицание. Разногласие партий очень естественно, необ-

ходимо и безысходно, потому что настоящие причины противоположных суждений заключаются в противоположности интересов. Всякая попытка примирить партии была бы бесполезна и бессмысленна. Вместо примирения партий надо желать, напротив того, чтобы каждая партия обозначалась яснее и договорилась до последнего слова. Только тогда общество может узнать своих настоящих друзей и дать окончательную победу тому направлению мысли, которое всего более соответствует действительным потребностям большинства. Но именно для того, чтобы договориться до последнего слова, партии должны отказаться от цельных приговоров и подвергнуть одинаково тщательному анализу как своих кумиров, так и злейших своих противников. Вследствие такой операции многие кумиры утратят значительную долю своего сказочного великолепия, многие чучела и страшилища превратятся в довольно обыкновенных и безобидных людей, но основные идеи партий обозначатся яснее, именно потому, что эти идеи управляли всем ходом анализа, проникшего в самую глубину предмета и оценившего все его подробности.

II

Читатель простит мне мое длинное и утомительное введение, когда узнает, что я намерен говорить о Гейне, обращая при этом особенное внимание на слабые стороны его поэзии. Гейне один из наших кумиров, и, конечно, в мире не было до сих пор ни одного поэта, который в более значительной степени заслуживал бы уважение и признательность мыслящих реалистов. Но чем важнее и колоссальнее какое-нибудь явление, тем необходимее знать ему настоящую цену. Чем больше пользы может принести нашему умственному развитию чтение Гейне, тем сильнее надо стараться о том, чтобы к массе этой пользы не примешивалась ни одна частица вреда. Чем неотразимее действует поэзия Гейне на умы читателей, тем тщательнее эти читатели должны оберегать себя от умственного раболепства перед Гейне, потому что из этого раболепства может развиться вредное обожание тех недостатков и пятен, которые наложены на поэзию Гейне обстоятельствами времени и места. Приступая к разбору этих недостатков и пятен, я непременно должен был напомнить читателю, что критика не имеет ничего общего с враждою, что без постоянной, строгой и тщательной критики невозможно никакое разумное и плодотворное чтение и что всякое умственное идолопоклонство вредит той самой идее, во имя которой оно производится.

Принявши в соображение эти простые истины, читатель, конечно, поймет, что, критикуя Гейне, я нисколько не желаю ослабить его влияние на русское общество, а, напротив того, стараюсь направить, сосредоточить, усилить это влияние, так чтобы ни одна

его частица не пропадала даром и не вырождалась в нелепые и вредные уклонения, к которым сам Гейне очень часто подает повод своими эксцентричностями и внутренними противоречиями.

В настоящее время г. Вейнберг издает «Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей». Одиннадцать томов уже находятся в руках читающей публики, а все издание будет состоять из 15 томов. Можно надеяться, что это издание найдет себе многих читателей, но в то же время надо желать, чтобы эти читатели сумели усвоить себе такую точку зрения, с которой были бы ясно видны как достоинства, так и недостатки Гейне. Эту точку зрения я постараюсь указать читателю в моей теперешней статье.

Как понимает сам Гейне себя и свою литературную деятельность? На этот вопрос Гейне отвечает не раз стихами и прозою. Один из этих ответов особенно замечателен. «Я, право, не знаю, — говорит Гейне, — стóю ли я, чтобы мне когда-нибудь украсили гроб лавровым венком. Поэзия, как ни любил я ее, была для меня всегда лишь священною игрушкой или освященным средством для небесных целей. Я никогда не придавал большой цены славе поэта, и хвалить ли или бранить будут мои песни, меня мало беспокоит. Но я желаю, чтобы на гроб мой положили меч, потому что я был храбрым солдатом в войне за благо человечества» (т. II, стр. 120).

В этих словах заключается двойное противоречие. Ведя войну за благо человечества и считая себя *храбрым солдатом*, Гейне хочет в то же время служить чистому искусству. Два совершенно враждебные взгляда на искусство, — утилитарный и художнический, — укладываются рядом, один возле другого, в приведенных словах Гейне. *«Поэзия была для меня лишь священною игрушкой»*, — говорит Гейне. В этих словах художнический взгляд на искусство выразился во всей своей наивности, и в этих словах заключается второе внутреннее противоречие, доведенное до самой поразительной рельефности. В самом деле, что такое *священная игрушка?* Есть ли какая-нибудь психическая возможность играть тем, что вы действительно считаете святынею, или считать священным то, что служит вам игрушкою? Противоречия очевидны, а между тем все приведенные мною слова Гейне выражают чистейшую истину и дают превосходнейший ключ к пониманию всего Гейне, его миросозерцания, его стремлений, его поэзии. Когда есть внутренние противоречия в самом предмете, тогда они неизбежны и в его определении, и чем полнее и вернее определение, тем ярче должны в нем выступать внутренние противоречия. — Да, Гейне был действительно и храбрым солдатом и чистым художником; и поэзия была для него действительно *священною игрушкой*, хотя такое сочетание понятий дико и неестественно до последней степени.

Боевая храбрость Гейне достаточно известна. Его сарказмы, направленные против традиционных доктрин, против политического шарлатанства, против национальных предрассудков, против

ученого педантизма, против всех бесчисленных проявлений общеевропейской и специально немецкой глупости, — его сарказмы составляют, без сомнения, самую яркую и единственную бессмертную сторону его поэзии. Не будь у него этих сарказмов, он замешался бы в толпу немецких поэтов, писавших гладкие стихи, и мы знали бы о нем столько же, сколько знаем, например, о каком-нибудь Людвиге Уланде, или Леопольде Шефере, или Эммануэле Гейбеле. Если мы в продолжение целого десятилетия переводим по частям прозу и стихи Гейне, если мы теперь издаем собрание его сочинений, если мы раскупим и прочитаем эти сочинения не только с удовольствием, но даже с некоторым благоговением, то, разумеется, все это делалось, делается и будет делаться только из любви к сарказмам, или, другими словами, из ненависти к тем общеевропейским подлостям и глупостям, которыми эти сарказмы были вызваны. Когда вы читаете Гейне, то самое течение мыслей почти никогда не занимает и не может занимать вас; мысли не новы, не оригинальны и не глубоки; вы даже редко можете найти что-нибудь похожее на развитие мыслей; чаще всего вы имеете перед собою легкую и кокетливую болтовню о легких пустяках; но вы читаете терпеливо, внимательно, потому что вы постоянно находитесь в напряженном ожидании, вы знаете, что вдруг блеснет такая молния, которая с избытком вознаградит вас за незначительность всей прочитанной вами болтовни. Несмотря на ваше постоянное ожидание, молния все-таки застает вас врасплох и поражает вас своей неожиданностью. Она явилась безо всяких приготовлений, совсем не с той стороны, откуда вы ее ожидали; она изумила, очаровала вас и исчезла; начинается опять веселая болтовня, и вы опять с радостью готовы читать десятки страниц этой болтовни, лишь бы только добраться до новой молнии, такой же неожиданной и такой же очаровательной, как первая. Надежда на новую молнию и воспоминание о прежней помогает вам перебираться через те пустынные поляны, над которыми господствует бессмыслица романтически чистого искусства.

Но как ни великолепны молнии боевой храбрости и ядовитого сарказма, однако нельзя не заметить, что пустынные поляны очень обширны и чрезвычайно многочисленны. Путешествуя по этим полянам, читатель начинает понимать, что такое *священная игрушка*. Смысл этих загадочных слов очень печален. Когда Гейне творит образы, не имеющие никакого, даже самого отдаленного, отношения к борьбе за благо человечества, тогда он благоговеет перед своею собственною виртуозностью и играет теми чувствами и мыслями, на которые нанизываются яркие и роскошные картины. Соедините это благоговение с этим игранием, и в общем результате вы получите *священную игрушку*.

Но эти два потока — благоговение и игранье — не могут идти постоянно рядом, не действуя друг на друга и не смешиваясь

между собою. С одной стороны, благоговение не может оставаться глубоким и совершенно искренним, потому что предмет этого благоговения, художническая виртуозность, растрачивается на мелочи, которые сам художник признает мелочами, годными только для забавы. Следовательно, сама виртуозность унижается и становится до некоторой степени смешною в глазах художника. С другой стороны, игра чувствами и мыслями становится почти серьезным и торжественным делом, когда художник увлекается процессом творчества и одушевляется силою благоговения перед собственным волшебным могуществом. Словом, ни читатель, ни художник не знают наверное, какие чувства и мысли им приходится переживать вместе; ни читатель не верит художнику, ни художник не доверяется читателю; читатель боится принять слова художника за выражение искреннего чувства, боится увлечься этим чувством, потому что художник тотчас начнет смеяться над тем, что могло показаться искренним порывом, и тогда читатель, распустивший нюни, попадет в число сентиментальных дураков, неспособных понимать тонкую иронию; художник, с своей стороны, знает, что читатель остерегается и предвидит ироническую улыбку или циническую выходку; художник боится оказаться сентиментальнее читателя. Поэтому каждое чувство умышленно выражается так, что нет никакой возможности ни поверить его искренности, ни сказать наверное, что тут кроется ирония. «Еще рано, — говорит Гейне в конце своего «Путешествия на Гарц», — солнце совершило только половину своего пути, а мое сердце благоухает так сильно, что пары его бьют мне в голову, и в этом опьянении я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо» (т. I, стр. 97). Эти последние слова прилагаются ко всей поэзии Гейне, и в этом постоянном отсутствии границы между иронией и небом, в этой невозможности отличить иронию от неба и положиться на искренность чувства заключается типический характер гейневской поэзии.

Благодаря этой особенности бо́льшая часть произведений Гейне в целом оказываются совершенно непонятными, или, еще вернее, в них нет никакой целости. Каждое произведение Гейне не что иное, как цепь причудливых арабесков или гирлянда фантастических цветов, очень ярких, очень пестрых, очень разнообразных, но набросанных неизвестно для чего, рассыпанных без всякого общего плана и не имеющих между собой никакой связи. В предисловии к первому тому русского перевода г. Вейнберг высказывает следующие мысли: «Нам до сих пор случается встречать людей очень умных, развитых, но которые, будучи знакомы с Гейне только по тем переводам из него, которые существуют на русском языке, с каким-то странным изумлением смотрят на него и сами сознаются, что не понимают его, не понимают прелести, заключающейся в некоторых его произведениях. Это непонимание, как мы только что заметили, происходит от неполного знакомства с поэ-

том, с его своеобразною манерою, с его прихотливыми прыжками от одного предмета к другому, с его роскошною фантазиею; не говорим уже здесь о жгучем остроумии, которое и каждому непосвященному бросается в глаза» (т. I, стр. VII⟨—VIII⟩). Мне кажется, что с этим мнением невозможно согласиться. Если *непосвященные* выучат наизусть все произведения Гейне, с первого до последнего, — они все-таки останутся *непосвященными*, то есть не дороются ни до какого осязательного смысла, не вынесут никакого определенного впечатления и, наконец, убедятся только в том, что тут решительно нечего искать и что под этими цветочными иероглифами нет ничего похожего на скрытую мудрость или на таинственную глубину. Своеобразность манеры, прихотливость прыжков и роскошь фантазии — все это заметно с первого взгляда, все это бросается в глаза каждому *непосвященному* наравне *с жгучим остроумием*. Но все это — и фантазия, и прыжки, и манера — относится только к *форме*, а не к *содержанию* поэтического произведения. Непосвященный видит очень хорошо, не хуже г. Вейнберга, *как* выражает Гейне, но *что* именно он выражает, *что* он хочет выразить и передать читателям, *какие* чувства и мысли рвутся наружу из его души, *какие* внутренние убеждения управляют его пером и заставляют его рисовать бессмысленно блестящие арабески — это остается тайною для непосвященного, это останется вечною тайною не только для непосвященного, но даже и для самого г. Вейнберга, и я осмеливаюсь думать, что ключа к этой тайне не было даже и у Гейне. Мне кажется, Гейне ясен для себя и для других только тогда, когда он обнаруживает свое *жгучее остроумие*, то есть когда он в качестве *храброго солдата* истребляет пронзительным смехом окружающие глупости и подлости. Когда же он обращается к более мирным занятиям, тогда он начинает небрежно и презрительно выкидывать из себя на бумагу какие-то клочки мыслей и чувств, которых он сам не понимает и которые, следовательно, навсегда останутся непонятными для его читателей. Я очень желал бы подтвердить мои слова наглядными и убедительными примерами, но сделать это очень трудно. Примеров существует очень много, и даже выбор не представляет никаких затруднений. Но вот в чем беда: чтобы доказать бессвязность и бесцельность произведений Гейне, надо рассказать их сюжеты; но бессвязность и бесцельность колоссальны до такой степени, что невозможно уловить никакого сюжета. Образы, восклицания, слезливые шутки, насмешливые вздохи, притворные слезы, эротические порывы мелькают и кружатся перед глазами, как снежинки во время метели. Разнообразие картин удивительное! Быстрота в смене впечатлений непостижима! Вы подавлены и ошеломлены пестротою красок. Вы принуждены сознаться, что автор обладает невероятною силою и подвижностью фантазии. Но зачем поднят весь этот ураган маленьких, пестреньких, недочувствованных чувств и недодуман-

ных мыслей, к чему он клонится, что он хочет опрокинуть или построить — этого вы не будете понимать до тех пор, пока не преподаст вам своей таинственной мудрости какой-нибудь *посвященный*, в существовании и возможности которого я решительно сомневаюсь. Если такие посвященные действительно существуют и если до них дойдут когда-нибудь эти страницы, то я убедительно прошу их объяснить мне и другим недоумевающим профанам, каким образом возможно и следует понимать, например, известное произведение Гейне «Идеи. Книга Легран». Желая показать читателю, что без помощи мистагогов и иерофантов[1] нет возможности проникнуть в таинства этого произведения, которым всякий развитой человек восхищается по заказу, — я постараюсь перечислить хоть малую долю тех странных картин, которые мелькают одна за другою в «Книге Легран».

В первой главе — комическая картина ада в виде огромной мещанской кухни. В аду слышится роковой напев песни о невыплаканной слезе, о той слезе, которой не выронила она, женщина, любимая поэтом, но не отвечающая ему взаимностью.

Во второй главе поэт, он же и граф Гангесский, хочет застрелиться, покупает себе пистолет, отправляется с ним завтракать в трактире и видит в стакане рейнвейна ост-индские пейзажи. Потом, выйдя на улицу, он встречается с хорошенькою женщиною, которая своим взглядом заставляет его остаться в живых.

В третьей главе поэт выражает свою радость и свою любовь к жизни.

В четвертой главе поэт представляет себе, как он на старости лет схватит арфу и споет молодым людям песню *про цветы Бренты.*

В пятой главе: «Сударыня, я обманул вас! Я не граф Гангесский!» Оказывается, что поэт родился на берегах Рейна. Потом являются три девушки: Гертруда, Катарина и Гедвига, и тетка их Иоганна. Все они только являются и ровно ничего не делают. В этой же главе г. Вейнберг показывает ясно, что он не принадлежит к числу *посвященных* и вряд ли может исправлять должность мистагога. «При прощании, — говорит Гейне, — она (Иоганна) подала мне обе руки — белые, милые руки — и сказала: «Ты очень добр, а когда ты сделаешься злым, то думай снова о маленькой умершей Веронике» (т. I, стр. 165). К этим словам г. Вейнберг присоединяет следующее подстрочное замечание: «Вероника — какое-то загадочное существо, о котором Гейне упоминает несколько раз с какою-то особенною грустью. Надо предположить, что это была женщина, которую он сильнее всех любил». Такое примечание мог бы, пожалуй, сделать и всякий *непосвященный*. Предположение совершенно произвольное, и неизвестно, почему оно прицеплено к имени Вероники, а не к какому-нибудь из многих других женских имен, которые Гейне поминает также со вздохами и причитаниями такой же точно сентиментальной искренности. Г. Вейнберг мог бы, например, с бо́льшим удобством сказать

то же самое о Марии, которую Гейне во второй части «Путевых картин» вспоминает очень часто, постоянно называя ее *умершею* или *мертвою*, постоянно окружая ее имя ореолом загадочности, постоянно напуская на себя по этому случаю колорит интересной элегической томности, сквозь которую просвечивает вечная насмешливая улыбка, и ежеминутно намекая читателю на какие-то очень таинственные, никому не известные и нисколько не замечательные события, которых он все-таки не рассказывает и которые, по всей вероятности, никогда ни с кем не случались. Вообще надо обладать огромным запасом доверчивости и добродушия, чтобы принимать женские имена, рассыпанные по книгам Гейне, за имена действительно существовавших женщин, — или чтобы видеть в тех любовных руладах и фиоритурах, которыми забавляется Гейне, намеки на радости и огорчения, действительно пережитые самим поэтом. Мне кажется, что все это — чистейшая фантасмагория, вызванная великим виртуозом единственно для того, чтобы насладиться собственным волшебным могуществом, собственною необыкновенною способностью творить из ничего и разрушать в одну секунду самые яркие образы.

В шестой главе — воспоминания детства и превосходный рассказ о том, как курфирст выехал из Дюссельдорфа и как вошли в город французские войска.

В седьмой главе — юмористические подробности о школьном учении. Тут появляется барабанщик Легран, и Гейне рассказывает очень остроумно, каким образом этот Легран объяснял ему посредством барабанного боя смысл новейшей истории. Тут Гейне выходит на политическую тропинку и поэтому становится, разумеется, великолепен. Но уже в конце этой главы Гейне, как достойный ученик наполеоновского барабанщика, падает на колени перед великим императором.

Этими коленопреклонениями наполнены восьмая и девятая глава. «И святая Елена, — говорит Гейне в IX главе, — сделается священным местом, куда народы Запада и Востока будут стекаться на поклонение на судах, изукрашенных флагами, — и сердца их окрепнут великим воспоминанием о деяниях великого человека, пострадавшего при Гудсоне Ло, как сказано в писании Лас-Каза, Омеары и Антомарки» [2] (т. I, стр. 192). Как вам нравится это пророчество новой религии — наполеонпанства? Впрочем, благоговение Гейне перед *великим императором* составляет такой интересный патологический феномен, что я буду говорить о нем ниже очень подробно.

В десятой главе барабанщик Легран, воплощенная скорбь великой армии о великом императоре, умирает, и Гейне, угадавши его последнее желание, прокалывает его барабан, чтобы он не был «*рабским инструментом в руках врагов свободы*». — Из этих последних глав читатель узнает, что великий император был другом свободы и что барабаны его армии спасали Европу от рабства.

XI глава начинается словами: «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame!» («От великого до смешного — один шаг, сударыня!»). Эта истина доказывается тем, что когда Гейне оканчивает главу о смерти Леграна, тогда пришла старуха и попросила Гейне как доктора вырезать ее мужу мозоли. *Смешное* состоит в том, что старуха приняла доктора прав за медика. Что же касается до *великого*, то его надо искать в рассказе о смерти Леграна; чтобы найти это *великое*, надо непременно обратиться к помощи иерофантов и мистагогов.

В XII главе написаны слова «немецкие цензоры» и затем десять строк точек. Переход от смешного и от глупой старухи к немецким цензорам не может никому показаться удивительным и резким.

В XIII главе — очень остроумные насмешки над немецким педантизмом и над ученой страстью к бестолковым цитатам.

Главы XIV и XV рассуждают о дураках и отличаются неподражаемым остроумием. «Я живу в том же городе, — говорит Гейне, — и могу сказать, что ощущаю истинное удовольствие, когда подумаю, что всех дураков, которых я вижу, я могу употребить для своих сочинений: это чистые наличные деньги. Теперь у меня обильная жатва: бог благословил меня, дураки отлично уродились в этом году, и я, как хороший хозяин, потребляю их в небольшом числе, отбираю самых лучших и откладываю на будущее время. Меня очень часто можно встретить теперь на гулянье — радостного и веселого. Как богатый купец, потирая от удовольствия руки, ходит между ящиками, бочками и тюками своих товаров, так я прохаживаюсь посреди моего народа. Все вы мне принадлежите, все вы мне одинаково дороги, и я люблю вас, как вы сами любите свои деньги, — а это много значит» (т. I, стр. 216 и 217). По этому отрывку вы можете судить об оригинальности и дерзкой веселости этих двух глав.

В XVI главе появляется милая подруга с коричневою собакою. Гейне вместе с коричневою собакою сидит у ног милой подруги, смотрит ей в глаза, целует ее руки и рассказывает ей о маленькой Веронике. Что он рассказывает ей — неизвестно.

В XVII главе продолжаются сладостные подробности о милой подруге.

В XVIII главе мы узнаем, что «грудь рыцаря была полна тьмою и скорбью». У рыцаря происходит свидание с синьорою Лаурою на берегах Бренты, и «таинственно-темный покров лежит над этим часом». — При этом читателю, по обыкновению, предоставляется понимать как угодно или даже совсем не понимать эту таинственную темную главу, заключающую в себе всего полторы странички.

В XIX главе — опять подруга с коричневою собакой, опять Вероника, растрогавшая г. Вейнберга, опять ост-индские пейзажи, хотя уже было объяснено, что Гейне — не граф Гангесский, и, наконец, желтые пеньковые панталоны, повредившие

молодому человеку во время любовного объяснения. Словом, ряд иероглифов-ребусов.

В XX главе — что-то такое о страдании и о том, что молодой человек хотел застрелиться. Этою главою оканчивается «Книга Легран».

III

Подведем итоги. Из 20 глав только пять — VI, VII, XIII, XIV и XV — удобопонятны и замечательны по своему остроумию. Затем три главы — VIII, IX и X — славословят Наполеона; одна глава — XI — повествует о глупой старухе; одна глава — XII — состоит из точек, и, наконец, десять глав не заключают в себе ничего, кроме неясных намеков на какие-то чувства, которые испытал или о которых фантазировал поэт. Конечно, никто не запрещает поэту делиться с публикою своими чувствами или фантазиями; это даже прямая обязанность поэта; но во всяком случае публика имеет право желать, чтобы с нею говорили удобопонятным языком, чтобы все слова и образы, употребленные поэтом, имели какой-нибудь ясный и определенный смысл, чтобы поэт не задавал ей неразрешимых загадок и не превращал своих произведений в длинную и утомительную мистификацию. Что такое *цветы Бренты*, что такое *Вероника*, что такое *невыплаканная слеза*, что такое *граф Гангесский* и какой общий смысл выходит из всех этих таинственных незнакомцев —все это такие вопросы, на которые читатель имеет полное право требовать себе ответа, и если он этого ответа не получает, то имеет полное право подумать и сказать, что поэт шутит с ним очень плоские шутки.

Было бы очень наивно думать, что в «Книге Легран» есть и общий смысл и великая цель, но что эта цель и этот смысл запрятаны в ней чересчур глубоко и вследствие этого могут быть отысканы и постигнуты только особенно развитыми и сведущими читателями. Ни цели, ни смысла в ней нет. Такою же точно бесцельностью, бессвязностью отличаются и все прочие сочинения Гейне, если брать и рассматривать каждое произведение в целом, а не по частям. Рассмотрите каждое произведение Гейне так, как я рассмотрел «Книгу Легран», и вы поневоле признаете верность моего непочтительного приговора.

Было бы также в высшей степени наивно думать, что бессвязность, бесцельность и бессмысленность могут когда-нибудь и при каких бы то ни было условиях превратиться в достоинства. Есть, конечно, любители, способные восхищаться этими уродливыми особенностями гейневской поэзии; есть даже простофили, желающие прививать эти уродливые особенности к ничтожным выкидышам своей собственной музы. Но те люди, которых ум не поврежден раболепными отношениями к авторитетам и не вертится, как флюгер, сообразно со всеми капризами эстетической

моды, будут говорить постоянно, что стройность, цельность и целесообразность составляют необходимые качества каждого замечательного произведения, к какой бы отрасли науки и литературы оно ни принадлежало. Безалаберность всегда и везде останется крупным недостатком.

Но, с другой стороны, для человека, сколько-нибудь способного понимать и чувствовать, нет ни малейшей возможности отрицать чарующую прелесть гейневской поэзии. Прелесть эта состоит, конечно, не в безалаберности, не в своеобразной манере, не в прихотливых прыжках, словом, совсем не в том блистательном юродстве, которое, по мнению поверхностных ценителей, образует всю настоящую сущность и весь букет этого небывалого и невиданного литературного явления. Прелесть эта освещает и согревает туманы безалаберности, она заставляет нас забывать и прощать все: и нелепость манеры и безобразия обезьяньих прыжков; она заставляет нас читать с удовольствием то, в чем нет никакого человеческого смысла; но она сама, эта загадочная прелесть, выходит из гораздо более глубоких источников, не имеющих ничего общего с достоинствами или недостатками отдельных поэтических произведений. Прелесть эта заключается в неотразимом обаянии той сильной, богатой, нежной, страстной, знойной, кипучей и пылающей личности, которая смотрит на вас во все глаза из-за каждой строки, как бы ни была эта строка ничтожна или безумна. Что-то дышит, что-то волнуется, что-то смеется и плачет, что-то томится и кипит во всех этих хаотических образах, во всей этой дикой гармонии шальных и разбросанных слов.

Перед вами стоит живописец. На палитре его горят краски невиданной яркости. Он взмахнул кистью, и через две минуты вам улыбается с полотна или даже просто со стены прелестная женская физиономия. Еще две минуты, и вместо этой физиономии на вас смотрят демонически-страстные глаза безобразного сатира; еще несколько ударов кисти, и сатир превратился в развесистое дерево; потом пропало дерево, и явилась фарфоровая башня, а под ней китаец на каком-то фантастическом драконе; потом все замазано черной краской, и сам художник оглядывается и смотрит на вас с презрительно-грустною улыбкою. Вы глубоко поражены этой волшебно-быстрой сменой прелестнейших картин, которые взаимно истребили друг друга и от которых не осталось ничего, кроме безобразного черного пятна. Вы спрашиваете у художника с почтительным недоумением, зачем он губит свои собственные великолепные создания и зачем он, при своем невероятном таланте, играет и шалит красками, вместо того чтобы приняться за большую и прочную работу.

— Нечего работать, — отвечает вам художник.

Вы этого ответа не понимаете и просите дальнейших объяснений.

— Нет сюжетов, — поясняет художник.

Изумление ваше увеличивается, и вы скромно возражаете, что сюжетов везде и всегда можно найти бесчисленное множество.

Улыбка художника становится еще презрительнее и еще грустнее.

— Сюжетом, — говорит он, язвительно отчеканивая каждое слово, — я называю такую мысль, которая овладевает всем моим существом и не дает мне покоя ни днем, ни ночью до тех пор, пока я не вырву ее из себя и не прикую ее к полотну. Таких сюжетов я не вижу и не чувствую в окружающей меня атмосфере.

— Но ведь были же у вас мысли, — говорите вы, — когда вы сейчас набрасывали одну картину за другою, или, вернее, одну картину на другую.

— Это не мысли, — отвечает художник, — это мимолетные настроения. Вы сами видели, как они рождались и как исчезали. Такими мыльными пузырями, как эти настроения, можно только удивлять и забавлять глупых ребятишек вроде вашей милости.

Вы обижены и прекращаете этот щекотливый разговор.

Я взял тут живописца единственно для того, чтобы мысль моя выразилась как можно нагляднее. Действуя в области такого искусства, которое по своим средствам неизмеримо богаче и по своему влиянию на общество неизмеримо сильнее живописи, Гейне, подобно моему фантастическому живописцу, не находит себе сюжетов и вследствие этого постоянно шалит и играет, вместо того чтобы творить. Играми и шалостями наполнена вся его жизнь, но можно сказать наверное, что он с радостью отдал бы половину этой жизни, лишь бы только какая-нибудь высшая сила дала ему возможность бросить поэтические шалости и посвятить остальную половину жизни серьезным и великим подвигам творчества. Грациозное бездельничанье мучительно и невыносимо для такого титана, который чувствует себя способным взбросить Пелион на Оссу [3] и вступить в крупный разговор со всеми обитателями Олимпа. Во время своих хронических шалостей Гейне небрежно роняет на пол свои жгучие сарказмы, которые возбуждают в окружающих людях чувства ужаса или восторга; но эти сарказмы могут только служить образчиками титанической силы и не дают никакого приблизительного понятия о тех колоссальных подвигах, которые совершил бы этот титан, если бы ему удалось найти сюжет и взяться за работу, способную овладеть всем его существом. Но сюжет не нашелся, и титан умер, не совершивши ничего такого, что было бы вполне достойно его собственных сил. Титан не виноват. Если он не нашел сюжета, то, значит, сюжета действительно и не было, по крайней мере для него, для титана. — Лень было искать, — скажете вы, — оттого и не нашел. — Ошибаетесь, — отвечу я. Титану нужен великий сюжет, а такой сюжет — не иголка. Он не прячется от людей и не заставляет себя искать днем с огнем; такой сюжет сам дерзко и нахально лезет людям в глаза,

поражает их воображение, разнуздывает их страсти и возбуждает вокруг себя ожесточенную борьбу, которая, начавшись в области мысли, быстро захватывает и наполняет сферу реальной жизни. Только такой мировой сюжет способен зажечь в груди титана тот великий пожар, от которого полетят во все стороны, как блестящие искры, гениальные произведения. У Гейне такого сюжета не было и не могло быть.

Чтобы подкрепить это мнение прочными доказательствами, надо сначала окинуть общим взглядом главные отрасли титанической деятельности, а потом объяснить смысл той исторической эпохи, которая произвела и воспитала поэзию Гейне.

IV

Титаны бывают разных сортов.

Одни из них живут и творят в высших областях чистого и бесстрастного мышления. Они подмечают связь между явлениями, из множества отдельных наблюдений они выводят общие законы; они вырывают у природы одну тайну за другою; они прокладывают человеческой мысли новые дороги; они делают те открытия, от которых перевертывается вверх дном все наше миросозерцание, а вслед за тем и вся наша общественная жизнь. Их открытия дают оружие для борьбы с природою сотням крупных и мелких изобретателей, которым наша промышленность обязана всем своим могуществом. Это — Атласы,[4] на плечах которых лежит все небо нашей цивилизации (премилое небо, не правда ли?). Но, подобно Атласу, эти *титаны мысли* покрыты вечным снегом. Они ищут только истины. Им некогда и некого любить; они живут в вечном одиночестве. Их мысли хватают так высоко и так далеко, их труды так сложны и так громадны, что они, во время своей многолетней работы, ни в ком не могут встретить себе сочувствия и понимания и ни с кем не могут поделиться своими надеждами, радостями, тревогами или опасениями. Их начинают понимать и боготворить тогда, когда цель достигнута и результат получен. Но и тогда между ими и массою остается длинный ряд посредников и толкователей. Только при содействии этих второстепенных и третьестепенных деятелей масса получает кое-какое слабое и смутное понятие о том, что выработалось в громадных черепах этих Давалагири и Гумалари [5] нашей породы. Чистейшим представителем этого типа может служить Ньютон.

Другой тип можно назвать *титанами любви*. Эти люди живут и действуют в самом бешеном водовороте человеческих страстей. Они стоят во главе всех великих народных движений, религиозных и социальных. Несмотря ни на какие зловещие уроки прошедшего, несмотря на кровавые поражения и мучительную расплату, люди такого закала из века в век благословляют своих ближних

бороться, страдать и умирать за право жить на белом свете, сохраняя в полной неприкосновенности святыню собственного убеждения и величие человеческого достоинства. Гальванизируя и увлекая массу, титан идет впереди всех и с вдохновенною улыбкою на устах первый кладет голову за то великое дело, которого до сих пор еще не выиграло человечество. Титаны этого разбора почти никогда не опираются ни на обширные фактические знания, ни на ясность и твердость логического мышления, ни на житейскую опытность и сообразительность. Их сила заключается только в их необыкновенной чуткости ко всем человеческим страданиям и в слепой стремительности их страстного порыва. В былое время, впрочем еще не очень давно, они искали себе точку опоры в бездонном пространстве голубого эфира, потом они стали верить в какую-то отвлеченную справедливость, которая уже давно собирается восторжествовать над земными гадостями и наконец, по мнению добродушных титанов любви, должна когда-нибудь приступить к выполнению своего давнишнего замысла. Впрочем, с тех пор как изобретено книгопечатание и усовершенствована во всей Европе сельская и городская полиция, титаны любви во многих отношениях изменились к лучшему. Им теперь уже нельзя и незачем проповедывать на открытом воздухе, где голубой эфир рассказывает всякому желающему заманчивые сказки о всевозможных точках опоры для всевозможных воздушных замков. Им нельзя увлекать слушателей восклицаниями и телодвижениями. Им пришлось взяться за перо. Они превратились в кабинетных работников и поневоле должны были познакомиться с великими трудами титанов мысли. Это сближение между двумя главными областями человеческого титанизма, это слияние деятельной любви и трезвой науки заключает в себе единственные возможные задатки будущего обновления.

Третью и последнюю категорию можно назвать *титанами воображения*. Эти люди не делают ни открытий, ни переворотов. Они только схватывают и облекают в поразительно яркие формы те идеи и страсти, которые воодушевляют и волнуют их современников. Но идеи должны быть выработаны и страсти предварительно возбуждены другими деятелями — титанами двух высших категорий. Материалом может служить для титанов воображения только то, что люди знают, и то, чего они хотят. Само собою разумеется, что не все человеческие знания с одинаковым удобством облекаются в яркие и блестящие формы; никакому титану не придет в голову дикая и смешная мысль писать поэму о спутниках Юпитера, или о скрытом теплороде, или о произвольном зарождении. Для поэмы годится только та часть человеческих знаний, которая глубоко затрогивает человеческие страсти, и притом не только страсти одних специалистов, способных даже горячиться и ссориться из-за спутников Юпитера, но страсти всех людей, имеющих возможность познакомиться с данным вопросом. Такими вечно

жгучими знаниями могут быть только знания человека о междучеловеческих отношениях. В этой же области междучеловеческих отношений разыгрываются также и все серьезные и упорные человеческие желания, все те желания, которыми характеризуются и отличаются друг от друга различные исторические эпохи. Значит, титаны воображения располагают богатым запасом материала тогда, когда социальные знания и понятия людей отличаются большою определенностью и когда желания или стремления очень ясно обозначены, очень сильны, настойчивы и решительны. Напротив того, когда люди сомневаются в состоятельности своих знаний и в то же время не умеют отдать себе ясный отчет в своих собственных желаниях, когда им противно прошедшее и когда они плохо верят в лучшее будущее, тогда титаны воображения сидят без сюжетов и от нечего делать шалят и играют красками, звуками, словами и образами.

Великое несчастие титана Гейне состоит вовсе не в том, что какой-нибудь Меттерних или какой-нибудь союзный сейм [6] мешали ему откровенно объясняться с немецкою публикою. Это несчастие состоит даже и не в том, что сама немецкая публика отличалась поразительным тупоумием и во всякую данную минуту была готова и способна облизать ноги своим злейшим врагам, разорвать на части своих лучших и бескорыстнейших друзей и подарить миру из своих собственных недр тысячи новых Меттернихов и тысячи новых союзных сеймов; когда человеку мешает работать грубая материальная сила, — это, конечно, очень неприятно. Когда человека не понимает то общество, которому он отдает кровь своего сердца и сок своих нервов, — это еще более неприятно, это даже очень больно, обидно и досадно.

Но все это такие препятствия, которые могут и должны быть побеждены сильным напряжением ума и воли. При всех этих препятствиях настоящий источник мужественной энергии и боевого задора остается нетронутым и незасоренным. Против материальной силы можно действовать хитростью. Инквизиторскую проницательность меттерниховских ищеек можно всегда обманывать неистощимым запасом тех уловок, изворотов, цветистых образов и иронических двусмысленностей, которые постоянно находятся под руками каждого даровитого писателя и которые придают искусно затаенной мысли особенную шаловливую прелесть и раздражающую пикантность. Нет той гремучей змеи, которую нельзя было бы опрятно и грациозно уложить в невиннейшую и грациознейшую корзинку, наполненную самыми великолепными и душистыми цветами. И в этой борьбе между меттерниховской ищейкой и даровитым писателем победа непременно должна склоняться на сторону последнего, потому что ищейка действует по обязанности службы, а писатель повинуется повелительному голосу всепоглощающей страсти.

Равнодушие и непонимание публики — это также не бог знает какое неодолимое препятствие. Если бы это равнодушие и непонимание простиралось на всю литературу без малейшего исключения, то есть если бы публика не обнаруживала никакой охоты к чтению и не имела бы никакого понятия об умственных наслаждениях, — тогда препятствие было бы действительно очень серьезно и далеко превышало бы силы не только одного даровитого писателя, но даже и целого поколения даровитых писателей. Но когда занятия текущею литературою сделались насущною потребностью для того общества, которое считает и называет себя образованным, тогда даровитому писателю уже вовсе не трудно сформировать себе в самое короткое время понимающих и страстно внимательных читателей. Если общество равнодушно к политике и не понимает современной истории, то, по всей вероятности, оно не равнодушно к театру и превосходно понимает микроскопические красоты лирического пустословия и романического селадонства. Чем равнодушнее становится общество к великим жизненным идеям, тем страстнее оно привязывается к прекрасным формам, которых понимание, впрочем, также извращается и мельчает под влиянием общего умственного оцепенения. В Европе так бывало всегда. Эпохи политического застоя и отупения были всегда золотыми годами для чистого искусства, которое быстро овладевало всеми умственными силами общества и потом немедленно вырождалось и доходило до последних пределов вычурности и уродливой аффектации. Если титан воображения хочет при таких условиях овладеть вниманием общества, то ему стоит только воспользоваться теми формами, которые нравятся его современникам, отчистить, отполировать эти формы, навести на них новый, волшебно-ослепительный блеск и потом влить в них то живое содержание, которое было вытеснено из жизни и из литературы тяжелыми годами невольной умственной неподвижности. Современники накинутся сначала на ослепительную форму, сияющую пуще всякого медного таза, но процесс мышления, направленного на ближайшие и важнейшие интересы и вопросы жизни, обладает всегда и для всех такою неотразимою, такою раздражительною и затягивающею прелестью, что ядро ореха очень скоро будет вынуто из шелухи и что шумные споры о красотах и недостатках оболочки уступят место гораздо более ожесточенным прениям о питательности или ядовитости содержания. Пробуждение притупленного и деморализованного общества начинается обыкновенно с очищения его эстетических понятий, совсем не потому, что эти понятия важнее всех остальных, а потому, что деморализованное и притупленное общество только с этой стороны оказывается доступным для вразумлений. Эту сторону слабее караулят официальные аргусы, любители тупости и безнравственности; кроме того, сама публика только с одной этой стороны сохраняет способность видеть, слышать, чувствовать, понимать, интересо-

ваться и увлекаться. Руководствуясь тем инстинктом, которым обладают титаны, Лессинг — в Германии — и Белинский — в России — начали обновление общества со стороны его эстетических понятий, которые при дальнейшем развитии умственного движения должны были отодвинуться на самый задний план. Гейне также очень ловко умел бороться с равнодушием публики и побеждать ее непонимание. Как Лессинг и Белинский сами делались на всю жизнь эстетиками для того, чтобы положить конец неограниченному господству эстетики, так точно Гейне, осмеивая и убивая бессодержательный романтизм, пользовался в течение всей своей жизни романтическими формами, которых причудливая и необузданная дикость очаровывала его современников.

Стало быть, великое несчастие Гейне заключалось не в умственной убогости немецкой публики.

Настоящее, роковое несчастие, гораздо более неотразимое, чем Меттерних и филистерство, состояло в том, что сама соль земли находилась в недоумении и не знала наверное, что и как солить. Лучшие люди, самые умные, самые честные и самые страстные, искали вокруг себя и внутри себя твердую точку опоры и не могли ее найти. Их мучило безверие в самом обширном и глубоком значении этого слова. Они не знали, на что надеяться и чего желать. В этом отношении лучшие люди первой половины XIX века были гораздо несчастнее своих предшественников и своих преемников. Предшественники верили в политический переворот; преемники верят в экономическое обновление; а посредине лежит темная трущоба, наполненная разочарованием, сомнением и смутнобеспокойными тревогами; и в самом центре этой темной трущобы сидит самый блестящий и самый несчастный ее представитель — Генрих Гейне, который весь составлен из внутренних разладов и непримиримых противоречий.

V

Передовые мыслители XVIII века были глубоко убеждены в том, что хорошее правительство может в самое короткое время поставить любой народ на высшую ступеньку цивилизации и блаженства. Мудрый законодатель и золотой век — это, по их мнению, были два понятия, неразрывно связанные между собою, как причина и следствие. Задача человечества представлялась в самом простом и элементарном виде: обезоружь тиранов, посади мудрецов в государственный совет и потом блаженствуй. Если ты хочешь упрочить свое блаженство на вечные времена, то наблюдай только за тем, чтобы мудрецы не глупели и не лукавили. Чуть заметил недосмотр или фальшь, сейчас отставляй мудреца от должности, замещай его новым благодетелем и будь уверен, что блаженству твоему не предвидится конца. Те люди, которые веруют

в конституцию как в универсальное лекарство, рассуждают именно таким образом, потому что всевозможные конституционные гарантии и уравновешивания клонятся исключительно к тому, чтобы регулировать смещение мудрецов, пришедших в негодность, и выбор новых мудрецов, долженствующих занять их место. Откуда взялось это заблуждение, обольстившее XVIII век и не совсем утратившее свою силу до настоящего времени, — понять не трудно. Дело в том, что дурное правительство действительно может причинить народу необъятную массу разнообразного зла. Если бы дурному правительству, вроде турецкого или персидского, удалось при помощи вооруженной силы утвердиться в роскошной стране, населенной деятельным и даровитым народом, и если бы это дурное правительство успело задушить все взрывы народного негодования, то через несколько десятилетий страна превратилась бы в пустыню, и остатки народа сделались бы толпою нищих, идиотов и негодяев. Такое разрушение народного богатства, народных сил и народного ума производилось перед глазами тех мыслителей, которых работы положили свою печать на все умственное движение прошлого столетия. Дурное правительство Людовика XIV, Филиппа Орлеанского и Людовика XV превращало Францию в пустыню, а французов в нищих, которым были одинаково сподручны идиотизм, негодяйство и голодная смерть. Мыслители могли проследить шаг за шагом все развитие зла; они могли доказать самым осязательным образом, что все это зло сделано дурным правительством. Они видели собственными глазами, как колоссально может быть влияние правительства в дурную сторону; они умозаключали совершенно справедливо, что народ испытал бы значительное облегчение, если бы правительство на будущее время просто и скромно стало воздерживаться от грубых ошибок и от слишком скандалезного озорства. Но тут уже трудно было остановиться во-время на пути умозаключений. Тут сейчас подвертывалась та, повидимому, несомненно истинная мысль, что если правительство может все погубить, то оно может также все спасти, воссоздать, исправить, обновить и довести до высшей степени совершенства.

Итак, в XVIII веке дело шло о том, чтобы вручить правление искренним друзьям и достойным представителям народа. Такой опыт был произведен во Франции и окончился неудачею. Неудачею не в том смысле, что революция не принесла Франции никакой пользы, а только в том смысле, что результат не соответствовал наивно преувеличенным ожиданиям народа и его вождей. Феодализм был вырван с корнем; поземельная собственность распределилась равномернее. Вместо тысячи местных обычаев выработан один общий кодекс гражданских и уголовных законов, одинаково обязательных для герцога и для мужика; наследственное чиновничество уничтожено; старое, дорогое и запутанное судопроизводство заменено новым, гораздо более рациональным, быстрым и деше-

вым. Словом, великое множество авгиасовых стойл, не чищенных со времен Гуго Капета, снесено прочь до основания. В числе этих стойл цехи заслуживают самого почетного упоминания. Вообще в одно десятилетие был сделан невероятно громадный и совершенно бесповоротный шаг вперед, которого потом не могла затушевать самая бешеная реакция. Восстановить цехи, внутренние таможни, местные обычаи, церковную десятину, помещичьи права, — шалишь! Об этом не осмеливалась заикнуться даже *Chambre introuvable* [7] того толстого Людовика, который, наперекор всем историческим фактам, упорно называл себя XVIII-м.[8] Это значило бы буквально искать вчерашнего дня или прошлогоднего снега. Но золотой век все-таки не наступил, а надежды были так неудержимо размашисты и так сильно возбуждены, что уже одно это обстоятельство, одно это ненаступление золотого века повело за собою великое, долговременное и мучительное разочарование.

В это время, под влиянием разочарования и реакции, в Европе распустился чахлый и бледный цветок либерализма. Надежды наши разбиты, думали искренние либералы, потому что эти надежды вообще были неосуществимы. Золотой век всеобщего довольства и ненарушимого братолюбия не наступит никогда. Мечтать нам бесполезно. Стремиться к нему безумно и преступно. Земля слишком мала и бедна. Люди слишком многочисленны. Страсти их слишком пылки и разнообразны. Вечная борьба между людьми неизбежна. Поэтому надо заботиться только о том, чтобы борьба всегда и везде решалась личными достоинствами, а не прерогативами рождения. Надо твердо стоять на той почве, которую расчистили для нас великие принципы 1789 года. С одной стороны, надо отстаивать приобретения великого переворота против отвратительных замыслов реакционеров, мечтающих о восстановлении феодализма; с другой — надо держать в ежовых рукавицах тех сумасбродов, которые, считая себя законными преемниками тех великих деятелей, стараются увлечь общество в бездну анархии, разорения и варварства. Так рассуждали либералы, и по этой программе располагались все их действия.

Искренние либералы, желавшие доставить народу счастье, но считавшие это счастье недостижимым для масс, составляли незначительное меньшинство. Настоящая боевая армия либерализма состояла из таких людей, которые жадно собирали плоды великого переворота и нисколько не желали, чтобы число счастливых собирателей увеличилось. На развалинах старого феодализма утвердилась новая плутократия, и бароны финансового мира, банкиры, негоцианты, коммерсанты, фабриканты и всякие *надуванты* вовсе не были расположены делиться с народом выгодами своего положения. Слово *плутократия* происходит от греческого слова *плутос*, которое значит *богатство*. Плутократиею называется господство капитала. Но если читатель, увлекаясь обольстительным созвучием, захочет производить *плутократию* от русского слова

плут, то смелая догадка будет неверна только в этимологическом отношении.

Бароны финансового мира образовали новый класс привилегированных особ и, прикрываясь великими принципами 1789 года, стали защищать только свои собственные привилегии. Те искренние друзья народа, которым пришлось жить и действовать в первой половине текущего столетия, очутились таким образом в компании самого сомнительного достоинства.

Рыхлая и бессвязная политическая партия, составленная из близоруких лавочников, честолюбивых шарлатанов, уклончивых юристов и немногих искренних, но глубоко разочарованных друзей народа, могла иметь некоторый смысл и кое-какую энергию только тогда, когда надо было осаживать и обуздывать шальных реакционеров, потерявших на старости лет последние остатки здравого человеческого рассудка. Император Франц, князь Меттерних, союзный сейм, герцог Веллингтон, маркиз Лондондерри, Chambre introuvable, Карл X, иезуиты и пиетисты были настоящим и неоцененным сокровищем для комически несчастной партии либералов. В самом деле, чем бы эти несчастные либералы стали наполнять свои досуги, чем могли бы они заработать себе европейскую знаменитость, какими терновыми венцами могли бы они избороздить свои интересно-бледные лбы, — если бы великодушные реакционеры не доставляли им обильных случаев оппонировать и будировать, ужасаться и хныкать, горячиться и доказывать торжественно, что дважды два — четыре и что мужик не любит платить десятину? Как только пылкие обожатели средневекового порядка вымерли или перестали быть опасными, как только либеральная партия одержала победу над своими благодетелями, так тотчас же либеральная партия расползлась на свои составные части. Честные и умные люди отшатнулись от нее прочь; а легион пройдох и торгашей, осененный знаменем *великих принципов*, стал представлять такое уморительное зрелище, что обнаружилась настоятельная необходимость свернуть и спрятать тихим манером компрометирующее знамя и выставить новый штандартик, на котором вместо крикливых слов «*братство, равенство, свобода!*» было написано приглашение не воровать носовых платков и не ломать мостовую. Либералы очень горячо и настойчиво добивались свободы печати, но свобода печати была им необходима только для того, чтобы доказывать ежедневно, что дважды два — четыре, что бережливость есть мать всех миллионов и всех добродетелей, что силою ума и характера поденщик может сделаться банкиром и пэром Франции, что евреи имеют основательные причины считать себя людьми и что папе было бы очень полезно познакомиться с системою Коперника, открыть свои объятия всему человечеству и записаться в ряды просвещенных и умеренных либералов. Когда же свободная печать начала знакомить мир с новыми истинами, опасными для финансового феодализма, тогда либералы первые

закричали «караул!» и выдумали новое слово *licence* * для обозначения печатных ужасов, от которых надо укрываться под защиту городского сержанта.

Барышники знали, чего хотели. Они были очень довольны собою и своею политикою. Внутренние противоречия их не смущали. Они говорили, что жизнь — не математика и что непоколебимая верность основной идее так же невозможна в жизни, как невозможен в природе математический маятник. Этим людям было хорошо, тепло и весело. Смотря по требованиям данной минуты, они то отвергали принцип, допуская в то же время его последствия, то отвергали последствия, допуская принцип.

Так, например, в первой четверти нашего столетия многие английские лорды пожелали увеличить доходность своих владений и с этою целью нашли удобным превратить пахотные земли в пастбища, на которых должны воспитываться феноменально жирные и прекрасные быки и бараны. Когда окончился срок заключенным контрактам, тогда владельцы предложили фермерам уходить на все четыре стороны и вслед за тем немедленно приказали разрушить те усадебные строения, в которых эти люди родились, выросли, быть может даже состарились и надеялись умереть. Тысячи семейств оказались без приюта, старики и дети умирали от истощения сил; женщины разрешались от бремени в открытом поле; словом, происходили такие странные сцены, которые, повидимому, были уместны и позволительны только во время нашествия неприятеля. Либеральная европейская пресса ударила в набат. Вот, мол, они каковы — эти олигархи, эти феодалы, эти варвары и кровопийцы!

Все эти либеральные завывания можно было приостановить одним простым вопросом: земля чья?

— Земля господская.

— Так чего же вы беснуетесь?

— Но эти несчастные фермеры! Куда же они пойдут?

— Куда угодно. В рабочий дом, в тюрьму, в Ирландский канал, в Немецкое море, в ближайший пруд, на виселицу, к черту на кулички или в какое-нибудь другое злачное и приятное место. Лорды не имеют права и, как добрые граждане, уважающие законы своего отечества, даже не желают стеснять своих бывших фермеров в выборе новой резиденции.

— Это ужас, это убийство!

— Неправда! Это логика!

Вы, господа либералы, учились римскому праву. Вы называете его *писаным разумом* (la raison écrite). Вам должно быть известно, что право собственности есть *jus utendi et abutendi* (право пользоваться и злоупотреблять). Желая получать с своей земли возможно бо́льшие доходы, лорд только пользуется этою землею, а не злоупотребляет. Значит, он не только не выступает из должных

* «Распущенность» *(франц.)*. — *Ред.*

границ своего неотъемлемого и священного права, но даже далеко не доходит до тех границ, которые очерчены вокруг него вашим *писаным разумом.* Из-за чего же вы лезете на стену, когда все в обществе обстоит благополучно и когда спокойно и торжественно развертываются прямые и законные последствия той идеи, перед которой вы стоите на коленях? Если же римское определение кажется вам неудобным, попробуйте сочинить новое. Но при этом будьте осторожны. Вы рискуете поднять из свежей могилы труп обезглавленного Бабефа. Вы рискуете вызвать из глубины далекого прошедшего великие тени Кая и Тиверия Гракхов. Вы рискуете потревожить грозный призрак аграрных законов.

Много таких потоков красноречия можно было бы направить против европейских либералов, осуждавших энергические хозяйственные распоряжения английских землевладельцев. Но все эти потоки пропали бы даром, потому что либералы решительно ничем не рисковали. Опасность угрожала бы им только в том случае, если бы они хоть сколько-нибудь уважали логику. Для человека последовательного изменить римское определение собственности значит перестроить сверху все здание междучеловеческих отношений. Для просвещенного либерала это значит внести в книгу законов лишнюю ограничительную закорючку, способную порождать ежегодно две-три сотни лишних процессов.

Когда благоухания какого-нибудь авгиасова стойла доводят просвещенного и чувствительного либерала до тошноты или до обморока, тогда либерал, очнувшись и собравшись с силами, брызгает в убийственное стойло одеколоном, или ставит в него курительную свечку, или выливает в него банку ждановской жидкости.

И к этой либеральной партии, к этому разлагающемуся трупу Жиронды,[9] был привязан в течение всей своей жизни гениальный поэт Генрих Гейне.

VI

Сарказмы Гейне злы, метки и картинны. Но те политические убеждения, из которых они вытекают, очень неглубоки, неясны и нетверды. Гейне — *храбрый солдат;* он превосходно владеет оружием; но в его нападениях нет общего плана и руководящей идеи.

Гейне — либерал, но как человек очень умный, очень страстный, переполненный горячею любовью к людям, он никогда не мог застыть и одеревенеть в близорукой и самодовольной рутине либерализма. Он оставался вечно неудовлетворенным не только в действительной жизни, но даже в области мыслей и желаний. Вокруг себя он не находил ни одного явления, к которому можно было бы привязаться горячею и безраздельною любовью. Внутри себя он

не находил ни одной идеи, на которую можно было бы опереться, ни одного желания, ради которого стоило бы очертя голову броситься в пропасть, ни одной мечты, которой умный человек мог бы отдаться без оглядки всеми силами своего существа.

Находясь в таком положении, спокойные и холодные натуры, подобные Гете и Горацию, мирятся с тем убеждением, что *жизнь пустая и глупая шутка*, принимают за правило, что надо *жить, пока живется*, устроивают свое существование по рецепту умеренной и светлой эпикурейской мудрости, пишут грациозные оды к Лигурину и к Делии или делают свой кейф на пестрых и мягких подушках западно-восточного дивана.[10]

Но для настоящих титанов, для бурных и вулканических натур, подобных Гейне и Байрону, такое сахарное блаженство остается навсегда непонятным и недоступным. Эти люди могут быть до некоторой степени счастливы только тогда, когда они окунаются с головою в омут страстной и ожесточенной борьбы за идею. Этим людям необходимы цельные и громадные чувства, сильные и мучительные потрясения нервной системы. Им необходимо любить, ненавидеть, желать, стремиться и бороться так, чтобы при этом совершенно забывать о мелких будничных интересах собственной личности. Все это не всегда оказывается возможным, потому что в истории случаются длинные и томительно скучные антракты, когда старые идеи блекнут и линяют, а новые только что начинают зарождаться в рабочих кабинетах немногих титанов, еще не известных своим современникам. Во время таких антрактов цельным и громадным чувствам не к чему привязаться; а между тем эти чувства все-таки ищут себе выхода и все-таки никак не могут разменяться на мелкую монету усладительных вздохов, грациозных симпатий, миловидных волнений, покорных улыбок и официальных восторгов. Зная пустоту и бесцветность своего времени, несчастные титаны воображения, удрученные потребностью любить, ищут себе предмета любви до конца своей жизни, мечутся, как угорелые, из угла в угол, перерывают весь мир существующих идей, стараются влюбить себя насильно и при этом смеются над своими бесплодными усилиями таким демоническим смехом, от которого у слушателей мороз пробегает по коже. Наконец, длинный ряд бесплодных усилий доводит титана до такой лихорадочной раздражительности и награждает его на всю жизнь такою болезненною недоверчивостью, что ему случается брать в руки, осматривать со всех сторон и потом бросать с презрительным смехом в общую кучу забракованных нелепостей ту самую идею, в которой заключается заря лучшей исторической будущности и которая могла бы доставить ему, несчастному титану, самые высокие из всех доступных человеку наслаждений.

Сам Гейне превосходно понимал или по крайней мере очень верно угадывал настоящую причину своего рокового несчастия, не имевшего, конечно, ничего общего с какою-нибудь личною

утратою или с старою историею о том, что он *ее* любил, а она *его* любила.

Любезный читатель, — говорит Гейне во второй части «Путевых картин», — может быть, и ты из числа тех благочестивых птичек, что согласно вторят песне о байроновской разорванности, песне, которую мне уже лет десять насвистывают и напевают на все лады и которая даже в черепе маркиза, как ты видишь, нашла отголосок? Ах, любезный читатель, если ты вздумаешь горевать об этой разорванности, пожалей лучше, что самый мир разорван из конца в конец. Ведь сердце поэта — центр мира; как же не быть ему в настоящее время разорванным? Кто хвалится своим сердцем, что оно осталось у него цело, тот только доказывает, что у него прозаическое, оторванное от всего мира сердце. По моему же сердцу прошел большой мировой разрыв, и в этом я вижу доказательство, что судьба почтила меня высокою милостью в сравнении с другими и сочла достойным поэтического мученичества. Прежде, в древние и средние века, мир был цел; несмотря на внешние борьбы, было единство в мире; были и цельные поэты. Станем чтить этих поэтов и радоваться ими; но всякое подражание их целостности будет ложью, ложью, которая не обманет ничьего здорового глаза и не избегнет тогда насмешки. Недавно, с большим трудом, добыл я в Берлине стихотворения одного из таких цельных поэтов, очень жаловавшегося на мою байроническую разорванность, и от фальшивых красок его и нежных сочувствий к природе, которыми веяло на меня от книги, как от свежего сена, бедное сердце мое, и без того надорванное, чуть было не лопнуло от смеха, и я невольно вскричал: «Любезный мой интендант-советник Вильгельм Нейман! Что вам за дело до зеленых деревьев?» (т. II, стр. 154⟨—155⟩).

Большой мировой разрыв, проходящий по сердцу поэта и отражающийся в разорванности его произведений, — это, конечно, очень смелый поэтический образ, но в этом образе нисколько не искажена и даже не преувеличена самая чистая истина. Читателя могут ввести в заблуждение только слова Гейне о цельности мира в древние и средние века. Основываясь на этих словах, читатель может подумать, что сердце поэта могло быть цело только тогда и что поэтическая разорванность родилась на свет вместе с началом великой борьбы против средневековых идей и учреждений. Такое мнение читателя было бы совершенно ошибочно. Разорванность лежит в гораздо более тесных и ясно обозначенных границах. Никаких признаков разорванности нельзя найти не только в поэтах времен Людовика XIV, не только в Мильтоне и Клопштоке, но даже в Шиллере и во всех передовых мыслителях, господствовавших над умами французов во второй половине прошлого столетия. При Людовике XIV мир был еще цел, хотя средневековой порядок был уже нарушен в самых существенных своих чертах. В XVIII веке мир был уже разорван диаметрально противоположными стремлениями двух непримиримых партий, из которых одна тянулась к будущему, веровала в разум, а другая ухватывалась за прошедшее и не веровала ни во что, кроме штыков и картечи. Мир был разорван, но сердца поэтов и друзей человечества были в высшей степени цельны, здоровы и свежи. Эти сердца очутились целиком по одну сторону разрыва. В мыслях, в чувствах, в желаниях Вольтера, Дидро, Гольбаха не было ничего

похожего на раздвоенность или нерешительность. Эти люди не знали никаких колебаний и не чувствовали никогда ни малейшей жалости или нежности к тому, что они отрицали и разрушали. По силе своего воодушевления, по резкой определенности своих понятий, по своей невозмутимой самоуверенности эти люди могут выдержать сравнение с любым средневековым фанатиком. А фанатизм и разорванность — два понятия, взаимно исключающие друг друга. Та разорванность, которую Гейне видит в самом себе и в Байроне, составляет прямой результат громадного разочарования, овладевшего лучшими людьми образованного мира после неудачного финала французской революции. Тут лучшие люди стали сомневаться в верности своих идей, тут они бросили грустный и тревожный взгляд назад, на оторванное прошедшее, и тут их сердца попали под черту мирового разрыва, потому что им показалось, что вместе с прошедшим они оторвали от себя часть своей собственной души. Это был оптический обман. Эти ужасы привиделись им только потому, что будущее было заслонено серыми и грязными тучами, сквозь которые еще не пробивался луч новой руководящей идеи, способной заменить собою потерянную веру в чудотворную силу голых политических переворотов. Когда появилась эта идея, тогда исчезла разорванность лучших людей, исчезла впредь до ближайшего общеевропейского разочарования,— если только такое разочарование действительно возможно. На наших глазах живут и действуют снова цельные люди, идущие вперед очень твердыми шагами к очень определенной цели. В Прудоне, в Луи Блане, в Лассале нет уже никаких следов байроновской или гейневской разорванности. Если бы в наше время сформировался великий поэт, то его сердце, наверное, было бы также перекинуто целиком за черту мирового разрыва, и эта цельность не имела бы ничего общего с интендант-советником Вильгельмом Нейманом и с запахом свежего сена.

Замечу между прочим, что стрела, пущенная мимоходом в какого-то неизвестного или, может быть, даже не существующего интендант-советника Вильгельма Неймана, попадает прямо в грудь тайного советника Вольфганга фон Гете. Трудно предположить, чтобы это косвенное нападение было сделано нечаянно. «Путевые картины» были изданы в 1826 году, тогда, когда Гете был еще жив и когда все немцы, считавшие себя сколько-нибудь компетентными судьями в деле поэзии и возвышенных ощущений, буквально лежали у ног этого человека, торжественно возведенного в сан величайшего из европейских поэтов. Поэтому нет почти ни малейшей возможности допустить то предположение, что Гейне, размышляя о характеристических особенностях истинного поэта, упустил из вида ту крупную личность, которая считалась в то время настоящим воплощением поэзии. Если же Гейне, рассуждая о мировом разрыве, хорошо помнил поэтическую физиономию Гете, то Гейне должен был также видеть и понимать очень ясно,

что сердце Гете осталось совершенно нетронутым, что в этой цельности нет ничего похожего на страстную цельность Вольтера и Дидро, что, следовательно, сердце Гете *оторвано от всего мира* и что *судьба не сочла его достойным поэтического мученичества*. Эти заключения совершенно неотразимы. — Никто, конечно, не скажет о произведениях Гете, что они распространяют *запах свежего сена* и возбуждают в читателях гомерический хохот, но зато можно сказать наверное, что бесчисленное стадо подражателей великого индиферентиста наградило Германию целыми стогами *свежего сена* и что *любезный интендант-советник Вильгельм Нейман*, от которого едва не лопнуло бедное сердце Гейне, наверное падал ниц перед Гете и со всею добросовестною аккуратностью прусского чиновника старался идти по его следам. Quod licet Jovi, non licet bovi (что позволено Юпитеру, то не позволено быку); но тот Юпитер, который увлекает многие тысячи быков на ложную дорогу, быкам вовсе не свойственную, никак не может считаться просветителем скотного двора. Гете, конечно, очень умен, очень объективен, очень пластичен и так далее; все это при нем и остается на вечные времена. Но своему отечеству Гете сделал чрезвычайно много зла. Он, вместе с Шиллером, украсил, тоже на вечные времена, свиную голову немецкого филистерства лавровыми листьями бессмертной поэзии. Благодаря этим двум поэтам немецкий филистер имеет возможность мирить высшие эстетические наслаждения с самою бесцветною пошлостью бюргерского прозябания. Он читает своих великих поэтов, и вздыхает над ними, и умиляется, и заводит глаза, как откормленный кот, и остается безнадежным пошляком, и твердо уверен при этом, что он человек и что ничто человеческое ему не чуждо. И все это происходит от того, что в великих поэтах немецкого филистерства нет живой струи отрицания. Именно по этой причине их любят и читают немецкие филистеры, и по этой же самой причине, любя и читая их, остаются филистерами. Где нет желчи и смеха, там нет и надежды на обновление. Где нет сарказмов, там нет и настоящей любви к человечеству. Если хотите убедиться в этой истине, припомните, например, великолепные сарказмы против книжников и фарисеев. Тогда вы увидите, до какой степени неразлучны с истинною любовью ненависть, негодование и презрение.

VII

Не удовлетворяясь либерализмом и в то же время не имея возможности выработать себе собственными силами другой, более широкий и разумный взгляд на явления общественной жизни, Гейне в деле политики поневоле остался навсегда блестящим дилетантом. Лучший из немецких либералов, Людвиг Бёрне, стоявший уже на пороге новых экономических теорий, не раз печатно

упрекал и уличал Гейне в легкомыслии, в бесхарактерности и даже в совершенном отсутствии серьезных политических убеждений.

Я, — говорит Бёрне в своих «Парижских письмах», — могу снисходительно смотреть на детские игры, на страсти юноши. Но когда в минуту самой кровавой битвы мальчишка, гоняющийся на поле сражения за бабочками, попадет мне под ноги; когда в минуту большого бедствия, когда мы горячо молимся богу, молодой фат становится подле нас в церкви и только глазеет на молодых девушек, и перемигивается, и перешептывается с ними, тогда, не будь сказано в обиду нашей философии и гуманности, мы не можем не сердиться... Кто признает искусство своим божеством и тут же, смотря по расположению духа, обращается с молитвами к природе, тот в одно и то же время является преступником против искусства и против природы. Гейне выпрашивает у природы ее нектар и цветочную пыль и строит ее улей из воска искусства, но он не строит улья для того, чтобы хранить в нем мед, а собирает мед для того, чтобы наполнить улей. Оттого-то он не трогает, когда плачет, потому что вы знаете, что слезами он только поливает свои цветочные гряды. Оттого-то он не убеждает тогда, когда говорит правду, потому что в правде он любит только прекрасное. Но правда не всегда прекрасна, она не всегда остается прекрасною. Проходит много времени, пока она зацветет, а отцветает она прежде, чем принесет плоды. Гейне поклонялся бы немецкой свободе, если бы она была в полном цвету; но так как по причине холодной зимы она закрыта навозом, то он не признает и презирает ее. С каким прекрасным одушевлением он говорит о республиканцах в церкви св. Марии, о их геройской смерти! [11] То была счастливая битва, в которой бойцы могли выказать прекрасное сопротивление своим врагам и умереть прекрасною смертью за свободу! Но если б в этой битве не было столько прекрасного, Гейне посмеялся бы над нею. Если бы в ту приснопамятную минуту, когда Франция очнулась от своего тысячелетнего сна и поклялась, что не будет больше спать, Гейне посадили в зале Мяча (Jeu de Paume), [12] он сделался бы самым отчаянным якобинцем. Но заметь он в кармане Мирабо трубку с красно-черно-золотой кисточкой — к черту свободу! И он ушел бы оттуда и стал бы писать прекрасные стихи в честь прекрасных глаз Марии-Антуанетты.

Политический дилетантизм Гейне охарактеризован здесь великолепно. Но Бёрне очень сильно ошибается в одном пункте. Он отрицает у Гейне способность глубоко любить и ненавидеть. Он говорит, что Гейне плачет для того, чтобы слезами поливать свои цветочные грядки. Он думает, что великому разорванному поэту легко, приятно и весело быть дилетантом. Он не видит трагической, роковой и мучительной стороны этого дилетантизма. Это грубая ошибка, впрочем совершенно естественная со стороны раздражительного и страстного политического бойца. Что Гейне не был на самом деле счастливым и легкомысленным мотыльком, что его слезы и его смех стоили ему не дешево, что ему были коротко знакомы жестокие внутренние бури и разрушительные умственные тревоги, — это доказывается всего убедительнее тем страшным расстройством нервной системы, которое под конец его жизни буквально положило на него венец *поэтического мученичества*. Если бы Бёрне мог предвидеть такой исход, он, по всей вероятности, не решился бы упрекнуть в поливании цветочных грядок великого и несчастного поэта, изнемогавшего под блестящим, но тяжелым крестом вынужденного дилетантизма. Далее, очень

странен упрек в том, что Гейне презирает немецкую свободу, закрытую навозом по причине холодной зимы. Тут Бёрне, повидимому, зарапортовался. По крайней мере трудно понять, какой осязательный смысл вложен в эту хитрую метафору. *Холодная зима* — торжество феодалов и ретроградов. *Навоз* — система Меттерниха и союзного сейма. Прекрасно! Но во время такой *холодной зимы* нечего и говорить о немецкой свободе как о реальном факте. Немецкая свобода как реальный факт положительно не существует, если она боится простуды и благоразумно почивает под навозом. А что не существует, того нельзя ни презирать, ни уважать. Если же Бёрне толкует тут об *идее* немецкой свободы, то, во-первых, идея не знает никаких времен года, всегда находится в полном цвету, никогда не лежит под навозом и вообще повинуется только законам своего собственного внутреннего развития. А вовторых, Гейне, при всей своей необузданной страсти персифлировать * врагов и друзей, никогда не отзывался насмешливо или презрительно об идее немецкой свободы. Как бы то ни было, главный факт — действительное существование гейневского дилетантизма — все-таки не подлежит ни малейшему сомнению.

В книге своей о Людвиге Бёрне Гейне выписывает приведенный выше отрывок из «Парижских писем» для того, чтобы показать, какие на него взводились неосновательные обвинения. «Не определенными словами, но всевозможными намеками меня обвиняют там, — говорит Гейне, — в самом двусмысленном образе мыслей, если уже не в совершенном отсутствии его. Точно таким же образом дается там заметить, что я отличаюсь не только индиферентизмом, но и противоречием с самим собою» (т. VI, стр. 316).

Гейне совершенно напрасно говорит о каких-то *всевозможных намеках*. Бёрне, напротив того, выражает свои обвинения самыми *определенными словами*. Читатель уже видел образчик этих обвинений и, по всей вероятности, согласится, что в резких сравнениях и антитезах Бёрне нет ничего похожего на косвенный намек. Кажется, нет возможности выражаться яснее, прямее и нагляднее. Гейне думает и утверждает, что он стоит выше подобных обвинений, и не хочет оправдываться. Но именно в той самой книге, в которой он цитирует «Парижские письма», он чуть не на каждой странице дает внимательному читателю самые поразительные доказательства своего политического безверия и дилетантизма. Он, как будто нарочно, старается подтвердить все те обвинения, к которым он относится с самою великолепною самонадеянностью.

Гейне не хочет, чтобы его считали союзником Бёрне. Книга о Людвиге Бёрне была написана именно для того, чтобы провести между обоими писателями ясную пограничную черту. Стараясь отделить себя от Бёрне, Гейне в то же время не может не уважать его. Этим искренним и глубоким уважением проникнута вся книга,

---

* Осмеивать (франц. persifler). — *Ред.*

в которой автор, тем не менее, сурово осуждает Бёрне и нередко персифлирует его. Отклоняя от себя всякую умственную солидарность с таким писателем, которому он сам не может отказать в глубоком уважении, с таким писателем, который все-таки до конца жизни боролся и страдал за великую и святую идею, — Гейне, очевидно, должен был собрать все свои силы, пересмотреть все свои убеждения и представить самую полную и отчетливую картину своего собственного образа мыслей, такую картину, которая доказала бы неопровержимо ему самому и всем его читателям неизбежность, необходимость и глубокую законность его разрыва с величайшим предводителем немецких либералов. Гейне сам понимает главную задачу своей книги именно таким образом: «Я считаю себя обязанным, — говорит он, — изобразить в этом сочинении и мою собственную личность, так как вследствие сплетения самых разнородных обстоятельств как друзья, так и враги Бёрне, говоря о нем, непременно заводили с бо́льшим или меньшим доброжелательством или зложелательством речь о моей литературной и общественной деятельности» (т. VI, стр. 311).

Какими же чертами изображает Гейне свою собственную личность? Такими чертами, которые приводят читателя в изумление, но вместе с тем отнимают у него всякое право пожаловаться на недостаток откровенности. Дилетант нисколько не драпируется в мантию глубокомысленных соображений. Художник сам себя выдает головою.

Надо, — говорит Гейне, — собственными глазами видеть народ во время действительной революции, надо нюхать его собственным носом, надо слышать его собственными ушами, чтобы понять, что хотел сказать Мирабо словами: «Нельзя сделать революцию лавандным маслом». Пока мы читаем о революциях в книгах, все выходит очень красиво, и с ними повторяется та же история, что с пейзажами, отлично вырезанными на меди и превосходно отпечатанными на дорогой веленевой бумаге; в этом виде они чаруют ваш взор, а посмотришь на них в натуре, то убедишься совсем в противном: вырезанный на меди навоз не воняет, а через вырезанное на меди болото легко перейти вброд глазами (т. VI, стр. 240⟨—241⟩).

В той же самой книге Гейне пускает следующую тираду по поводу Июльской революции:

Лафайет, трехцветное знамя, Марсельеза...

Кончилась моя жажда спокойствия. Теперь я снова знаю, чего я хочу, что должен, что обязан делать... Я — сын революции и снова берусь за оружие, над которым моя мать произнесла свое полное чар благословение... Цветов, цветов! Я увенчаю ими свою голову для смертельной битвы! И лиру, дайте мне лиру, чтобы я спел боевую песню. Из нее вылетят слова, подобные пламенным звездам, которые стреляют вниз с небесной высоты, и сжигают чертоги, и освещают хижины... Слова, подобные метательным копьям, которые взлетают в седьмое небо и поражают набожных лицемеров, которые пробрались там в святую святых... Я весь — радость и песнопение, весь — меч и огонь (т. VI, стр. 208).

Теперь читатель, сравнивая оба приведенные отрывка, начинает понимать сурово-печальные слова Бёрне о мальчишке, преследующем пеструю бабочку на поле кровопролитного сражения. *Во-первых,* весь лирический восторг Гейне происходит, — если верить его собственному объяснению, — оттого, что он созерцает революцию на столбцах газеты, где напечатанный навоз не воняет и где можно легко перейти вброд глазами через напечатанное болото. Гейне называет себя сыном революции, но его сыновняя любовь кончается там, где она становится несовместною с лавандным маслом. Все эти ужасные минуты борьбы между матерью и лавандным маслом несчастный поэт остается неизменно верен портрету матери, отлично вырезанному на меди и превосходно отпечатанному на дорогой веленевой бумаге. Благоговение перед портретом тем более прочно, что оно никогда не может помешать обожанию лавандного масла. *Во-вторых,* любуясь портретом своей матери, Гейне, как настоящий ребенок, сосредоточивает свое внимание не на выражении ее лица, а на ярких лентах ее чепчика, на тонком узоре ее шитого воротничка и на блестящих камушках ее дорогого ожерелья. Знакомясь с революциею по газетам, он не задумывается над ее результатами, а только восхищается ее шумом, блеском и эффектностью самой борьбы. *Лафайет, трехцветное знамя, Марсельеза!* Экая, подумаешь, благодать! Дряхлый старик, которого водит за нос первый искатель приключений! Пестрый лоскут, напоминающий миру о колоссальных разбоях Наполеона! И плохие стишонки, положенные на бравурную музыку! Гейне забавляется сувенирчиками в то время, когда решается участь даровитого и энергического народа, которому до сих пор постоянно подсовывали пестрые лоскутья и эффектные песенки вместо здоровой пищи, разумного труда, свободных учреждений и общедоступного образования. Смотреть на революцию с эстетической точки зрения — значит оскорблять величие народа и профанировать ту идею, во имя которой совершается переворот. В жизни народов революции занимают то место, которое занимает в жизни отдельного человека вынужденное убийство. Если вам придется защищать вашу жизнь, вашу честь, жизнь или честь вашей матери, сестры или жены, то может случиться, что вы убьете нападающего на вас негодяя. Впоследствии вы будете вспоминать об этом убийстве безо всякого особенного смущения, потому что, рассматривая ваш поступок со всех сторон и обсуживая его строжайшим образом, вы постоянно будете получать тот результат, что убийство было неизбежно и что всякое другое поведение было бы с вашей стороны низкою трусостью и подлою изменою в отношении к тем лицам, которые имели полное право рассчитывать на вашу защиту. Но, совершенно оправдывая свой насильственный поступок, вы все-таки никогда не будете считать особенно счастливым тот день, в который вы были принуждены зарезать или застрелить человека. Вы не будете желать, чтобы такие эффектные случаи повторялись

в вашей жизни почаще. Печальная необходимость, в которую вы были поставлены, никогда не перестанет казаться вам очень печальною. Если же вы, паче чаяния, начнете гордиться, хвастаться и восхищаться тем мужеством, которое вы обнаружили во время схватки, то благоразумные люди подумают о вас совершенно справедливо, что вы — человек пустой и трусливый, которому как-то раз удалось не струсить и который потом носится с своим неожиданным припадком храбрости как с каким-нибудь восьмым чудом света.

То же самое можно сказать и о насильственных переворотах, которые, кроме того, можно также сравнить с оборонительными войнами. Каждый переворот и каждая война, сами по себе, всегда наносят народу вред как матерьяльный, так и нравственный. Но если война или переворот вызваны настоятельною необходимостью, то вред, наносимый ими, ничтожен в сравнении с тем вредом, от которого они спасают, так точно, как вред, наносимый меркуриальным лекарством, ничтожен в сравнении с тем вредом, который причинило бы развитие сифилитической болезни. Тот народ, который готов переносить всевозможные унижения и терять все свои человеческие права, лишь бы только не браться за оружие и не рисковать жизнью, — находится при последнем издыхании. Его непременно поработят соседи или уморят голодною смертью домашние благодетели. Но, с другой стороны, такой народ, который тешится переворотами, как привычною забавою, всегда оказывается пустым, ничтожным, жалким, больным и глубоко развращенным народом. Для примера достаточно сослаться на испано-американские республики, в которых правительства сменяются чуть ли не ежемесячно; при этом не мешает сравнить их с Соединенными Штатами, в которых со времени войны за независимость был всего только один переворот.

Чтобы судить о каком-нибудь перевороте, надо всегда сравнивать то, что было накануне борьбы, с тем, что получилось на другой день после победы. Тогда можно будет решить, законен ли данный переворот в своей исходной точке и плодотворен ли он в своих результатах. Переворот, вырванный из своей естественной связи с ближайшим прошедшим и с ближайшим будущим, оказывается просто грязною свалкой, которою может восхищаться только пустоголовый батальный живописец. Относясь с почтительным сочувствием к какому-нибудь перевороту, мыслящие защитники народных интересов поступают таким образом вовсе не из любви к шумным демонстрациям и занимательным потасовкам, а только из любви к тем бедным людям, которым после переворота сделалось немного легче жить на свете. Если бы это облегчение могло быть достигнуто путем мирного преобразования, то мыслящие защитники народных интересов первые осудили бы переворот как ненужную трату физических и нравственных сил.

Если бы Гейне, понимая ясно цель и смысл великих переворотов, видел возможность их полного успеха, если бы он держал в руках ариаднину нить, способную вывести массу из лабиринта лишений и страданий, то, разумеется, созерцание великой идеи, заключающей в себе спасение человечества и пробивающей себе дорогу в действительную жизнь, доставило бы нашему поэту такое высокое умственное наслаждение, которое совершенно отбило бы у него охоту развлекаться мелкими сувенирчиками вроде трехцветной тряпки или справляться о том, употребляется ли лавандное масло во время народных движений. Но так как Гейне был заранее убежден в том, что народ и после переворота останется при своей прежней грязной нищете, то эстетический взгляд батального живописца и одерживал решительную победу над смутными и безнадежными стремлениями разочарованного прогрессиста. Не имея возможности интересоваться серьезным смыслом переворота, потому что такого смысла он в нем не предполагал, — Гейне любовался и восхищался позами, костюмами, смелостью и стойкостью патриотических бойцов. Восхищение это производилось издали. Когда же Гейне подошел поближе и заметил отсутствие лавандного масла, тогда он спокойно зажал себе нос и просвистал свою насмешливую песенку. Все это со стороны Гейне очень понятно, но все это вместе составляет полное и отчетливое отречение от серьезной политической деятельности. Кто смотрит на события с эстетической точки зрения, тот не может быть двигателем событий, так точно как не может быть хирургом тот ребенок, который смотрит на ланцеты как на блестящие игрушки.

Далее Гейне характеризует свой политический образ мыслей тою любопытною подробностью, что ему, в молодости, очень хотелось сделаться народным оратором, но что, к сожалению, он не может привыкнуть к табачному дыму, жестоко свирепствующему в собраниях немецких республиканцев.

Затем он объявляет, что если народ пожмет ему руку, то он, Гейне, немедленно вымоет ее. Подаривши миру такие великие политические истины, Гейне считает себя вправе третировать Бёрне с высоты своего величия, потому что Бёрне переносит табачный дым и не таскает с собою рукомойника в народные собрания, где производятся крепкие и многочисленные рукопожатия.

Гейне заподозривает Бёрне в личной зависти.

И именно в отношении ко мне, — говорит Гейне, — покойный (Бёрне) предавался таким личным чувствам, и все его нападения на меня были ⟨...⟩ не что иное, как мелкая зависть, которую маленький барабанщик чувствует к большому тамбур-мажору. Он завидовал моему высокому плюмажу, который так смело развевался по воздуху, моему богато вышитому мундиру, на котором было столько серебра, сколько он, маленький барабанщик, не мог бы купить за все свои деньги, завидовал ловкости, с которою я махал тамбур-мажорским жезлом, любовным взглядам, которые бросали на меня молодые девушки и на которые я, может быть, отвечал с некоторым кокетством (т. VI, стр. 261).

Гейне влюблен в самого себя, потому что ему не удалось влюбиться в идею. Это очевидно и нисколько не удивительно. Но мы имеем полное право не считать Бёрне мелким завистником, тем более что сам Гейне дает нам материалы для его оправдания.

Страстные речи, — говорит Гейне, — в духе рейнско-баварских ораторов доводили до фанатизма многие умы, и так как республиканизм такое дело, которое понять гораздо легче, чем, например, конституционную форму правления, для уяснения которой необходимы многие другие сведения, то прошло немного времени, как тысячи немецких ремесленников сделались уже республиканцами и проповедовали новые убеждения. Эта пропаганда была гораздо опаснее всех тех выдуманных пугал, которыми вышеупомянутые доносчики пугали немецкие правительства, и писаное слово Бёрне, может быть, много уступало в могуществе его устному слову, с которым он обращался к людям, принимавшим эти слова с немецкою верою и распространявшим их у себя в отечестве с изумительным рвением (т. VI, стр. 237).

Итак, Гейне хотел и не мог сделаться народным оратором по неспособности переносить табачный дым. А Бёрне хотел, и мог, и переносил дым, и действовал, и фанатизировал тысячи немецких ремесленников, которые оставались для Гейне *зеленым виноградом*. Кто же из двух, Гейне или Бёрне, обладал богато вышитым мундиром и махал тамбур-мажорским жезлом? Кто из двух имел более основательные причины завидовать другому?

VIII

Политический дилетантизм отравляет всю литературную деятельность Гейне и постоянно мешает ему сосредоточить свои силы на каком бы то ни было предмете. Гейне не может ни подчиниться политической тенденции, ни отделаться от нее. Гейне решительно не знает, в каких отношениях находятся к политике все другие отрасли человеческой деятельности — наука, искусство, промышленность, религия, семейная жизнь, умозрительная философия и т. д. Но Гейне понимает, что какие-нибудь отношения должны существовать между всеми этими отраслями и что так или иначе все эти отрасли могут ускорять или замедлять движение человечества к лучшему будущему. Предчувствуя существование какой-то общей связи между различными отраслями человеческой деятельности, сознавая необходимость общего взгляда на всю совокупность этих различных отраслей и в то же время не умея отыскать тот высший принцип, во имя которого можно было бы обсуживать и сортировать эти отрасли по их действительному внутреннему достоинству, — Гейне находится в хроническом недоумении и постоянно колеблется между тенденциозными суждениями недоразвившегося прогрессиста и непосредственными ощущениями простодушного эстетика. Эти колебания замаскированы от глаз легкомысленных читателей удивительным блеском

внешней формы, неистощимым богатством картин, прелестью тонкого юмора и неожиданною силою отдельных сарказмов. Но если вы, закрывши книгу, попробуете отдать себе отчет в содержании прочитанных страниц, если вы захотите узнать, в чем убедил и в чем хотел убедить вас автор, то на все эти вопросы вы не найдете у себя в голове ни одного определенного ответа, ничего, кроме какого-то приятного хаоса удачных шуток и грациозных сравнений, под которыми скрываются неясные мысли, общие места или внутренние противоречия. Так, например, если вы захотите узнать от Гейне, как он понимает отношения искусства к жизни, то вы не узнаете ровно ничего, или, вернее, вы узнаете сегодня одно, завтра совсем другое, послезавтра ни то ни се. Может случиться и так, что вы в один день получите три разнохарактерные ответа, которых несовместность поэт не заметил или не хочет заметить, считая ее, по всей вероятности, неизбежным атрибутом поэтической разорванности. В одной из предыдущих глав мы видели, что Гейне понимает поэзию как *священную игрушку* или как *освященное средство для необходимых целей*. Как ни сбивчиво это определение, однако же из него все-таки можно заключить, что поэзия, по мнению Гейне, должна подчиняться каким-то высшим соображениям. Цель важнее средства, и средство всегда должно приноровляться к цели; в противном случае средство перестает быть средством и превращается в самостоятельную цель. Стало быть, если Гейне признает существование *небесных целей*, предписанных для поэзии и лежащих за ее собственными пределами, то он обязывает поэзию видоизменяться сообразно с теми условиями, при которых *небесные цели* могут быть достигнуты. При таком взгляде самою лучшею оказывается та поэзия, которая всего больше облегчает достижение *небесных целей*. Если *небесные цели* могут быть достигнуты без содействия поэзии, то поэзия должна скромно и покорно согласиться на самоуничтожение. Иначе получится вопиющая нелепость: священная игрушка заставит людей забыть о *небесных целях*, и *храбрые солдаты* превратятся в легкомысленных школьников. Признавая существование *небесных целей* и называя себя храбрым солдатом, Гейне, повидимому, никак не может желать подобного результата. А между тем он его желает. По крайней мере он горько плачется на тех людей, [для] которых поэзия не имеет самостоятельного значения и которые, стремясь к *небесным целям*, не хотят развлекаться *священными игрушками*.

Ах, — говорит Гейне в своей книге о Людвиге Бёрне, — пройдет много времени прежде, чем мы отыщем великое целебное средство; до тех пор придется нам сильно хворать и употреблять всевозможные мази и домашние средства, которые будут только усиливать болезнь. Тут прежде всего приходят радикалы, прописывающие радикальное лечение, которое, однако, действует только наружным образом, потому что разве только уничтожает общественную коросту, но не внутреннюю гнилость. А если им и удается на короткое время избавить [страждущее] человечество от страшнейших мук, то это делается в ущерб последним следам красоты, до тех пор остававшимся

у больного; гадкий, как вылечившийся филистер, встанет он с постели и в отвратительном госпитальном платье, пепельно-сером костюме равенства, станет жить со дня на день. Вся безмятежность, вся сладость, все благоухание, вся поэзия будут вычеркнуты из жизни, и от всего этого останется только Румфордов суп [13] полезности. — Красота и гений не находят себе никакого места в общественной жизни наших новых пуритан и подвергаются таким оскорблениям и угнетениям, каких они не испытывали даже при существовании старого порядка... Потому что красота и гений не могут жить в обществе, где каждый, с неудовольствием сознавая свою посредственность, старается унизить всякое высшее дарование и свести его к самому пошлому уровню.

Сухое будничное настроение новых пуритан распространяется уже по всей Европе, точно серые сумерки, предшествующие суровому зимнему времени... (т. VI, стр. 328⟨—329⟩).

Читателю русских журналов достаточно знакомы эти старушечьи вопли против сухости новых пуритан и против Румфордова супа полезности. Гейне, к стыду своему, подает здесь руку г. Николаю Соловьеву [14] и т. п. Гейне унижается даже до того бессмысленного предположения, что новые пуритане говорят и действуют под влиянием личной зависти. Все они, изволите видеть, маленькие барабанщики, желающие ободрать и испортить галуны с блестящих мундиров больших тамбур-мажоров. Эту плоскую и избитую выдумку, родившуюся в голове какой-нибудь старой сплетницы и повторявшуюся всеми врагами народа и здравого смысла, можно опрокинуть простым указанием на тот факт, что новые пуритане глубоко уважают тех людей, которые лучше других варят Румфордов суп полезности или выдумывают для этого супа усовершенствованный способ приготовления.

Новые пуритане охотно признают превосходство этих людей, сознательно подчиняются их влиянию и, предоставляя им видные роли вождей и распорядителей, добровольно берут себе скромные обязанности учеников, последователей, исполнителей, переводчиков или компиляторов и комментаторов. Новые пуритане, без сомнения, очень уважают науку. У новых пуритан, конечно, есть также свои социальные понятия, которыми они дорожат очень сильно. Но как в реальной науке, так и в области социальных понятий работали и работают до сих пор гении первой величины и множество талантов крупных и мелких. И новые пуритане вовсе не отрицают гениальности первоклассных деятелей и даровитости второстепенных работников. Значит, пуритане восстают вовсе не против *всякого высшего дарования* вообще, а только против непроизводительной затраты всяких дарований, высших, средних и низших. *Пепельно-серый костюм равенства*, на который так умилительно жалуется любитель трехцветного знамени Гейне, надевается на людей совсем не для того, чтобы умные и глупые люди пользовались одинаковым влиянием на общественные дела. Это — вещь невозможная. И об этом могли мечтать люди XVIII века только потому, что они придерживались той теории, которая признавала все интеллектуальные различия между людьми — про-

дуктами различных впечатлений, воспринятых после рождения. Но так как в наше время уже достаточно известна та физиологическая истина, что люди приносят с собою на свет вместе с особенным телосложением особую организацию мозга и нервной системы, полученную по наследству от родителей и не изменяющуюся в своих существенных чертах ни от каких позднейших впечатлений, — то новые пуритане нашего времени вовсе и не мечтают об абсолютном равенстве. Смысл того стремления, которое Гейне называет *пепельно-серым костюмом*, состоит только в том, что тысячи не должны ходить босиком и питаться отрубями для того, чтобы единицы смотрели на хорошие картины, слушали хорошую музыку и декламировали хорошие стихи. Кто находит подобное стремление предосудительным, тот желает, чтобы хлеб, необходимый для пропитания голодных людей, превращался ежегодно в изящные предметы, доставляющие немногим избранным и посвященным тонкие и высокие наслаждения. Здесь Гейне стоит, очевидно, на стороне эксплуататоров и филистеров, но он не всегда рассуждает таким образом.

Это свойство, — говорит Гейне в «Романтической школе», — эту целостность мы встречаем и у писателей нынешней «Молодой Германии», [15] которые также не допускают различия между жизнью и литературною деятельностью, не отделяют политики от науки, искусства от религии и в одно и то же время являются художниками, трибунами и проповедниками правды.

Да, я повторяю слово *проповедники*, потому что не могу найти более характеристического слова. Новые убеждения наполняют душу этих людей такою страстностью, о какой писатели прежнего периода не имели и понятия. Это — убеждения в силе прогресса, убеждения, вышедшие из науки. Мы делали измерения земель, исследовали силы природы, высчитывали средства промышленности — и вот, наконец, нашли, что эта земля достаточно велика, что она дает каждому достаточно места для того, чтобы построить себе на нем хижину своего счастья, что эта земля может прилично питать всех нас, если мы все хотим работать и не жить на счет другого, что, наконец, нам нет никакой надобности отсылать более многочисленный и более бедный класс к небу. Число этих знающих и верующих, конечно, еще весьма невелико (т. V, стр. 339⟨—340⟩).

Здесь *пепельно-серый костюм равенства* представляется в самом привлекательном виде, а *новые пуритане*, которые выше были заподозрены в мелкой зависти, оказываются художниками, трибунами и проповедниками правды, людьми страстно убежденными, людьми целостными, людьми знающими и верующими. Нет ни малейшей возможности провести какую-нибудь границу между писателями «Молодой Германии», к которым Гейне относится с величайшим сочувствием, и теми радикалами, которых тот же Гейне с комическим негодованием обвиняет в исключительном пристрастии к Румфордову супу полезности. Гейне называет писателей «Молодой Германии» художниками, но ведь это художество проникнуто насквозь трибунскими стремлениями и проповедованием правды. Это художество стремится доказать образами, что каждый, при соблюдении известных условий, может построить

себе на земле хижину своего счастья. Это художество выводит на свежую воду те глупости и подлости, вследствие которых земля кажется тесною и люди принуждены строить себе хижины горя и бедности или жить в качестве батраков в чужих чуланах, конюшнях или закутках. Стало быть, это художество приурочено к Румфордову супу полезности и составляет одну из самых важных и питательных его приправ. Стало быть, между Румфордовым супом и художеством вовсе не существует радикального и необходимого антагонизма, хотя, с другой стороны, не подлежит сомнению, что в жизни людей, построивших себе собственным трудом хижины своего счастья, художество не может иметь того преобладающего значения, которое принадлежит ему теперь в жизни людей, построивших себе чужим трудом великолепные замки и виллы. Наука, конечно, доказывает, что все мы можем построить себе теплые и сухие хижины, вмещающие в себе достаточное количество чистого воздуха, но наука до сих пор не думала доказывать, что все мы можем увешать стены наших хижин превосходными картинами, поставить в каждой хижине по одному великолепному роялю, держать при каждой сотне хижин труппу хороших актеров и тратить каждый день по нескольку часов на сочинение и чтение звучных лирических стихов. Счастье, доступное для всех, должно быть, по крайней мере на первых порах, гораздо проще и скромнее того счастья, которое в настоящее время доступно немногим. Величайшая прелесть общедоступного счастья состоит не в разнообразии и яркости наслаждений, а преимущественно в том, что у этих наслаждений нет обратной стороны, то есть что эти наслаждения не покупаются ценою чужих страданий.

Внутреннее противоречие, в которое впадает Гейне, очевидно и безвыходно. Он восхищается в одном месте теми идеями и стремлениями, против которых он вооружается в другом месте. Он бросается с одной точки зрения на другую и ни на одной из них не может остановиться. Когда художник поет как соловей, безо всякой тенденции, тогда Гейне находит в его произведениях запах свежего сена. Когда художник становится на всю жизнь под знамя одной, строго определенной идеи, тогда Гейне кричит, что мир затоплен волнами Румфордова супа. И в то же время тот же Гейне, смотря по минутному настроению, хвалит соловьев, подобных Уланду, Тику и Арниму, и пропагандистов, подобных Лаубе и Гуцкову. Словом, перед глазами читателя проходит целая радуга всех возможных мнений об искусстве, и читатель, к ужасу своему, замечает, что вся эта радуга выходит из головы одного человека.

В выписанном мною отрывке о писателях «Молодой Германии» я должен обратить внимание читателя на то место, где Гейне говорит о *целостности* новых людей; этими словами сам Гейне подтверждает мое мнение о том, что и в наше время, при совершенной разорванности окружающего мира, возможна в писателе внутренняя целостность, выходящая не из тупого равнодушия, а из страстного

воодушевления. Эта страстная целостность, характеризующая представителей «Молодой Германии», проводит резкую границу между этими писателями, выступившими на литературное поприще в начале 30-х годов, и самим Гейне, у которого никогда и ни в чем не было никакой целостности.

IX

При своем неизлечимом политическом дилетантизме, которого не искоренило даже умственное движение «Молодой Германии», Гейне никогда не мог подвергать правильной и точной оценке ни события современной истории, ни явления современной литературы. У Гейне не было никакого твердого принципа, на котором бы он мог построить свою критику. А между тем он любил прогуливаться с критическими намерениями и ухватками по различным областям настоящего и ближайшего прошедшего. Он любил рассуждать глубокомысленно и проницательно о политике и литературе. Он написал целую довольно большую книгу «О Германии», и написал по-французски собственно для того, чтобы познакомить французов с великими и плодотворными тайнами немецкой философии и немецкой поэзии. Не знаю, насколько эта книга просветила французских читателей; но знаю очень хорошо, по собственному горькому опыту, что русскому читателю эта книга не дает ровно ничего, кроме того неопределенно-приятного ощущения, которое возбуждается каждою страницею Гейне, написанною очаровательным языком и всегда переполненною самыми яркими и прелестными образами. Общей мысли в этой книге нет ровно никакой, а есть в ней только хорошо рассказанные анекдотцы, забавные параллели между французами и немцами, да попадаются иногда такие дикие историко-философские соображения и пророчества, что читатель не может разобрать, шутит ли автор или говорит серьезно; и если автор шутит, то читателю становится досадно, с какой стати шутка тянется так долго и до такой степени лишена игривости, забавности и язвительности; а если автор мудрствует серьезно, то читателю становится положительно совестно за автора.

По глубокомысленным соображениям Гейне оказывается, например, что различные фазы немецкой философии в точности соответствуют различным фазам французской революции. Умеренный и аккуратный Кант изображает собою террор Конвента и, по мнению Гейне, оказывается гораздо смелее и неумолимее Робеспьера. Фихте исправляет должность Наполеона, а Шеллинг играет роль Реставрации. Эти ребяческие сближения до такой степени забавляют Гейне и наполняют его сердце такою святою патриотическою гордостью, что он несколько раз с видимым удовольствием возвращается к этой приятной и затейливой выдумке.

В конце своего сочинения о немецкой философии он до такой степени воодушевляется, что пророчествует миру о великих и ужасных событиях, которые вырастут со временем из философских сочинений Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, благополучно похороненных и забытых ближайшим потомством. «Если, — говорит Гейне, рассуждая об ужасах будущей немецкой революции, имеющей вырасти из умозрительной философии, — рука кантиста бьет сильно и метко, потому что сердце его не волнуется никаким переходящим по преданию уважением, если фихтеанец смело презирает всякие опасности, потому что они в действительности для него не существуют, то натурфилософ ужасен потому, что вступает в союз с первородными силами природы, может вызвать все силы древнегерманского пантеизма и тогда получает ту жажду борьбы, которую мы встречаем у древних германцев, сражающихся не для разрушения, не для победы, но только для того, чтобы сражаться» (т. V, стр. 165⟨—166⟩). Немецкая гроза, воспитанная Кантом, Фихте и Шеллингом, будет, по соображениям Гейне, необыкновенно ужасна. «При этом грохоте, — говорит он, — орлы падут мертвые с воздушных высот, и львы, в самых далеких пустынях Африки, опустят хвосты и спрячутся в свои вертепы» (т. V, стр. 167). Вся эта невинная игра яркими красками и громкими словами была бы смешна до последней степени, если бы тут не видно было, что несчастному поэту больно и стыдно смотреть на тупое усыпление отечества и что он старается оглушить и отуманить себя громом несбыточных и неправдоподобных предсказаний. Хотя читатель и понимает до некоторой степени то настроение, которое породило эти хвастливые рулады, однако, во всяком случае, восторженные фразы Гейне о мировом значении немецкой философии оказываются для нашего времени неудачною шуткою или бессмысленным набором слов. Так же ничтожны и бесполезны для читателей разные отрывочные заметки и рассуждения о Тике, Шлегелях, Новалисе, Арниме и других забытых писателях, о которых распространяется Гейне в своей «Романтической школе». Но здесь, как и везде, Гейне роняет по временам превосходные сарказмы, которые почти достаточно вознаграждают читателя за отсутствие общей мысли и за совершенную мертвенность самого сюжета.

О политических деятелях, как и обо всех остальных предметах, Гейне судит с плеча, по свободному вдохновению, рассыпая совершенно произвольно в разные стороны лавровые венки и дурацкие колпаки. Так как в новейшей истории очень много мизерного, то дурацкие колпаки почти всегда попадают без промаха туда, где им следует находиться. Зато лавровые венки, по тем же самым причинам, почти всегда залетают туда, где присутствие их решительно ничем не может быть оправдано.

Особенно замечательно то несчастное упорство, с которым Гейне увенчивал Наполеона, одного из самых вредных людей во всей

истории человечества. Обожание Наполеона было для Гейне любимым коньком, с которого он не слезал до конца своей жизни. Этот конек был отчасти боевою лошадью, при содействии которой Гейне дразнил и огорчал, с одной стороны, немецких радикалов, последователей Бёрне, с другой — юродствующих патриотов, подобных Менцелю и Масману. Первые ненавидели Наполеона как представителя деспотизма и солдатчины. Вторые не могли простить Наполеону того, что он осмелился многократно разбивать немецкие армии, вступать с войском в немецкие столицы и держать у себя в передней немецких отцов отечества, которых предшественник, Арминий, одержал такую блистательную победу над римским полководцем Варом. Гейне, с своей стороны, не любил радикалов за их серьезность и презирал тевтоманов за их действительную и поразительную тупость. В пику обеим партиям он падал на колени перед великим и божественным императором при каждом удобном и неудобном случае. Эти коленопреклонения были также направлены в очень значительной степени против тех официальных политиков, которые, победивши Наполеона, распоряжались судьбою Европы в первой четверти нынешнего столетия. Нерасположение Гейне к этим политикам — к Меттерниху, к Веллингтону, к Кестльри — очень понятно и совершенно основательно. Но как бы ни были вредны и отвратительны эти победители Наполеона, из этого, однако, нисколько не следует, чтобы сам Наполеон был очень полезен и прекрасен. Если благоговение Гейне перед Наполеоном имело исключительно значение протеста, то нельзя не заметить, что для этого протеста выбрана очень неудобная форма, по милости которой Гейне принужден был написать десятки страниц вопиющей бессмыслицы. Если же это благоговение было чистосердечно, то я должен признаться, что процесс мышления, совершающийся в голове великих художников, заключает в себе тайны, непостижимые для простых людей. Всего мудренее и любопытнее та штука, что Гейне, пророчествуя людям о том, что Наполеон сделается божеством новой религии, в то же время видит очень ясно и показывает своим читателям с полною откровенностью пятна «обожаемого кумира».

Пожалуйста, — говорит Гейне во второй части «Путевых картин», — не считай меня безусловным бонапартистом, любезный читатель. Я благоговею не перед действиями, а перед гением этого человека. Безусловно люблю я его только до 18 брюмера.[16] Тут изменил он свободе. И не по необходимости сделал он это, а из тайной склонности к аристократизму. Наполеон Бонапарт был аристократом, аристократическим врагом гражданского равенства, и мне кажется колоссальным недоразумением, что европейская аристократия, в лице Англии, с таким ожесточением боролась с ним... Любезный читатель, объяснимся однажды навсегда. Я никогда не превозношу дел и хвалю лишь гений человека; дело — только его одежда, и история не что иное, как старый гардероб человеческого гения (т. II, стр. 111⟨—112⟩).

Решительное объяснение с любезным читателем ни к чему не ведет и заключает в себе очень мало осязательного смысла. Стараясь

отделить гений человека от его дел, Гейне желает открыть самый широкий простор эстетическому произволу. Полезны ли, вредны ли дела человека, это, по мнению Гейне, все равно; это мелкие подробности старого гардероба; надо только, чтобы в исполнении этих вредных или полезных дел проявлялась некоторая виртуозность, некоторая фешенебельная грация и развязность. Эти качества, от которых окружающим людям ни тепло, ни холодно, составляют, по мнению Гейне, настоящую квинтэссенцию человека и требуют себе нашего благоговения. Политическому деятелю предписывается, таким образом, быть эффектным, интересным и привлекательным. При соблюдении этих условий ему отпускаются все его глупости и низости, промахи и преступления. И чем громаднее его ошибки, тем лучше для него, потому что тем поразительнее становится его эффектность. С эстетической точки зрения огромная гадость заслуживает гораздо большего уважения, чем маленькое доброе дело. Но при таком отделении *гения* от *дел* совершенно искажается настоящее значение слова *гений*. Этим словом перестает обозначаться то умственное превосходство, перед которым преклоняются с восторженною любовью все мыслящие люди. И после такого превращения *гений* сохраняет свою обаятельность только для слабоумных любителей театральной грандиозности. Гейне об этом не подумал. Иначе он понял бы, что с гения нет возможности снимать ответственность за направление и результаты дел. Гений сам задает себе работу. Следовательно, мы имеем полное право требовать от него отчета не только в том, искусно ли и удачно ли выполнена работа, но еще и в том, почему и зачем, с какою целью и на основании каких предварительных соображений он, гений, принялся именно за эту работу, а не за другую. Данный исторический деятель только тогда и может быть признан гением, когда его дела и вся его жизнь дают совершенно удовлетворительные ответы на все вопросы, которые могут быть поставлены мыслящим историком. Выступая на арену борьбы и серьезной деятельности, человек бросает общий взгляд на положение партий, вдумывается в потребности и в понятия своих современников, задает себе вопрос о том, куда идет главный поток идей и событий, словом, ориентируется в лесу быстро сменяющихся явлений и затем, вооружившись своими наблюдениями, присоединяется более или менее сознательно к какой-нибудь одной группе бойцов или работников. Если собранные наблюдения неточны и сделанный выбор неудовлетворителен, молодой деятель переходит к другой партии или старается сообщить новое направление мыслям и работам своих союзников. Становясь под то или другое знамя, изменяя своим влиянием так или иначе характер своей партии, человек набрасывает в общих чертах весь план своей будущей деятельности. Достоинства или недостатки этого плана дадут себя знать впоследствии и во всяком случае одержат перевес над достоинствами или недостатками выполнения. Если план

был составлен разумно, если при его составлении настоящие потребности времени были поняты верно, то вся деятельность будет плодотворна и благодетельна, хоть бы даже в выполнении было много отдельных ошибок и шероховатостей. Если же при составлении плана потребности времени были поняты навыворот, то вся деятельность будет тем более бессмысленна и вредна, чем больше остроумия будет потрачено на потребности выполнения. Но если план составлен неверно, если всей деятельности дано ложное направление, что же это значит? Значит очевидно, что у составителя недостало проницательности, сообразительности и глубокомыслия. Значит, в гениальности составителя имеется такой крупный изъян, который портит все дело и превращает неудавшегося гения в опасного и вредного сумасброда.

Гейне говорит, что Наполеон изменил свободе и был аристократическим врагом гражданского равенства. Говоря это, Гейне думает, что это обстоятельство не наносит никакого ущерба гениальности Наполеона, точно будто это обстоятельство нисколько не зависело от процесса его мышления, точно будто измена и аристократизм составляют прирожденные качества Наполеона, подобные цвету его глаз и волос. Изменил свободе и сделался аристократом. Где ж у него было соображение, куда девалась его прославленная гениальность в то время, когда он решился идти наперекор таким стремлениям, которые, выходя из самых глубоких потребностей человеческой природы, доросли уже до своей окончательной зрелости? Если он решался на борьбу с этими стремлениями, значит он надеялся победить. А если он надеялся победить и упрочить результаты своей победы, значит он не знал людей, не понимал ни прошедшего, ни настоящего и не составлял себе никакого приблизительно верного понятия о ближайшем будущем. Если же, с другой стороны, он говорил: après moi — le déluge * и хотел победить только для того, чтобы весело прожить на свете, то, стало быть, у него не было даже того величественного размаха мысли, который побуждает всех истинных гениев строить для далекого будущего. При всем том он, конечно, был, если хотите, гениальным полководцем и за это может быть поставлен наряду с каким-нибудь Мальборо, перед которым Гейне ни за что не согласился бы падать на колени. Эта частичная гениальность, или, вернее, эта виртуозность в каком-нибудь одном деле, это умение быть превосходным орудием какой угодно партии не имеет ничего общего с тем светлым умственным величием, которое характеризует настоящих благодетелей нашей породы, людей, способных угадывать наши потребности и создавать средства для их удовлетворения. Не всякий способен сделаться отличным полководцем, так точно, как не всякий способен сделаться отличным танцором или отличным знатоком красных вин, но из этого еще

* После меня — хоть потоп *(франц.)*. — *Ред.*

не следует, чтобы каждый отличный полководец имел право на то благоговение, с которым мы относились к гению, согревшему и украсившему нашу жизнь своими трудами.

Гейне сам знает очень хорошо настоящую цену всякой славы.

Смешно было бы, — говорит он, — поставить статую Лафайету на Вандомскую колонну,[17] вылитую из пушек, отбитых в стольких сражениях, — на эту колонну, вида которой не может вынести ни одна французская мать, как поет Барбье. На этой железной колонне поставьте Наполеона — железного человека. Пусть ему и здесь, как в жизни, служит подножием его пушечная слава; пусть он в ужасающем одиночестве касается челом облаков, чтобы каждый честолюбивый солдат, увидав его там вверху, недостижимо, мог исцелиться от суетной жажды славы и чтобы эта колоссальная металлическая статуя служила для Европы громоотводом против завоевательного героизма, орудием мира. Лафайет воздвиг себе колонну лучше Вандомской, статую лучше металлической или мраморной (т. VII, стр. 46).

Итак, Лафайет выше Наполеона; военная слава объявлена суетною, и Вандомская колонна должна служить честолюбивым солдатам тем наглядным предостережением, которым, по соображениям мудрых криминалистов, виселица служит похитителям собственности. Стало быть, памятник, поставленный Наполеону, изображает собою не уважение потомков к его гениальности, а только то чувство ужаса, вследствие которого люди стараются увековечить воспоминание о каком-нибудь громадном национальном бедствии, вроде наводнения, пожара, землетрясения или чумы.

Гейне понимает также, каким образом наполеоновская система подействовала на французское общество.

Люди среднего возраста, — говорит он, — утомлены раздражающей оппозицией, выпавшей на их долю в период Реставрации, или развращены Империей, которая своей блестящей солдатчиной и своей шумной славой умерщвляла⟨...⟩ всякую любовь к свободе (т. VII, стр. 60).

Наконец Гейне договаривается до самого наивного и неожиданного признания.

Правда, — говорит он, — что умерший Наполеон больше любим французами, чем живущий Лафайет, может быть, именно потому, что он умер. Мне по крайней мере это всего больше нравится в Наполеоне, потому что, будь он в живых, мне пришлось бы идти воевать против него (т. VII, стр. 47).

Это признание нисколько не мешает Гейне обожать Наполеона попрежнему. Пользуясь правами поэта, Гейне презирает последовательность и перелетает с удивительною развязностью от самой злой насмешки к самому восторженному панегирику. Тот человек, который развратил Францию *блестящею солдатчиною* и систематически старался умертвить в своих современниках *всякую гражданскую доблесть*, тот человек, которого лучший подвиг состоит

в том, что он умер, тот человек, которого надо поставить на колонну для вечного устрашения честолюбивых солдат, оказывается вдруг *божеством от головы до ног* (т. III, стр. 99), божеством, которого имя сделалось *лозунгом для народов* (т. III, стр. 100), так что *Восток* и *Запад*, встречаясь между собою, *понимают друг друга только посредством этого имени* (там же). В подтверждение той мысли, что имя Наполеона действительно может служить умственною связью между Востоком и Западом, Гейне рассказывает следующий случай. В лондонскую гавань вошел корабль, прибывший из Бенгалии; Гейне посетил этот корабль, почувствовал особенное влечение к его пассажирам и захотел сказать им какое-нибудь приветствие. Не зная их языка, Гейне, чтобы выразить им свое сочувствие, произнес очень почтительно имя «Магомет». Индейцы, желая ответить на его любезность, произнесли имя «Бонапарте». На этом и остановился разговор, так что обмен мыслей между Востоком и Западом оказался не очень значительным, несмотря на существование чудотворного имени, *сделавшегося лозунгом для народов*.

Довольно трудно сообразить, для какой цели рассказан этот случай и какое из него можно вывести заключение. Что индейцы знают о существовании Наполеона? Прекрасно. Но что же из этого следует? Этою честью пользовались в свое время Аттила, Чингисхан, Тамерлан, Надир-шах, словом, все разбойники, занимавшиеся своим ремеслом в обширных размерах. Имена этих людей всегда были гораздо более известны, чем имена великих исследователей и изобретателей. Эти имена поражали народное воображение и делались лозунгом для народов, но эти имена всегда облегчали международные сношения точно настолько же, насколько имя Наполеона помогло индейцам разговаривать с Гейне. Все это очень хорошо известно и самому Гейне, но ему, как разорванному поэту, нет никакого дела до самых элементарных требований здравого смысла, если только эти требования мешают ему в данную минуту уронить с пера эффектный эпитет, блестящую метафору или грациозную картинку.

Гейне излагает очень обстоятельно те причины, которые побуждают его считать Наполеона богом. Причины эти заключаются в том, что у Наполеона не шевелились глаза. «Вообще, — говорит Гейне, — твердый, смелый взгляд есть отличительный признак богов. Поэтому, когда Агни, Варуна, Яма и Индра приняли образ Наля на свадьбе Дамаянти,[18] последняя узнала своего возлюбленного по движению его зрачков; ибо, как сказано, глаза у богов всегда неподвижны. У Наполеона также глаза имели это свойство, а потому я и убежден, что он тоже был из богов» (т. V, стр. 243).

Что вы скажете об этом пассаже? Вы скажете, по всей вероятности, что это шутка. Но я с вами не соглашусь и скажу вам, что это просто бессмыслица, которую сам поэт тоже считает за бессмыслицу и которую он, тем не менее, выбрасывает из себя на

бумагу, потому что он находит ее оригинальною и грациозною. И это самодовольное выбрасывание бессмыслиц совершается у Гейне до такой степени часто, что читатель, наконец, теряет возможность определить, где кончается серьезное размышление и где начинается сознательное и умышленное юродство, желающее изображать собою грацию. Гейне положительно думает, что поэт имеет право производить на свет такие сочетания понятий, которые никогда и ни при каких условиях не могут залезть ни в какую человеческую голову. Он часто пишет то, чего он никогда не мог думать и чего вообще не может подумать ни одно мыслящее существо.

НАШИ УСЫПИТЕЛИ

I

Мы переживаем мудреное и тяжелое время. У нас зарождаются противоположные партии, и это зарождение, — процесс совершенно естественный, законный и необходимый, — при нашей неопытности, при нашем полном неумении жить и думать собственным умом, кажется нам началом ужасной общественной болезни. Добродушные и недальновидные люди недоумевают, унывают и приходят в отчаяние. Вот тебе и прогресс, толкуют они, вот тебе и развитие, вот тебе и просвещение. Просветились до того, что знать друг друга не хотят. Сын сторонится от отца как от взяточника и низкопоклонника. Дочь говорит матери, что не намерена стеснять себя ее предрассудками. Подчиненный желает иметь и заявлять в присутствии начальника самостоятельные убеждения. Ученик осмеливается требовать, чтобы учитель уважал его человеческое достоинство. Общественные связи разрываются, субординация исчезает, нравственность гибнет, а литераторы, которые должны вразумлять и усовещивать заблуждающихся соотечественников, проводят время в гибельных раздорах и ни в чем не могут между собою согласиться. Куда же мы идем? И чем все это может кончиться? Кто объяснит нам наконец, что хорошо и что дурно, что полезно и что вредно, как надо думать, чувствовать и жить, чтобы уподобиться цивилизованным народам и удивить Европу красотою и безобидностью нашего постепенно-прогрессивного развития?

Добродушные и недальновидные люди, изливающие таким образом свое уныние, составляют во всяком обществе огромное большинство. Когда эти люди затвердят и начнут напевать какую-нибудь самую нехитрую песенку, тогда эта песенка слышится на всех перекрестках, во всех клубах и ресторанах, во всех гостиных и, пожалуй, даже, с некоторыми вариантами, во всех передних. Эта песенка, обыкновенно самая глупая и самая ничтожная,

становится лозунгом и боевым криком всех, а все — это такая сила, которая увлекает за собою не одних Репетиловых. Чтобы сопротивляться голосу всех, чтобы уцелеть невредимым среди какой-нибудь умственной эпидемии, надо быть очень твердым и очень глубоко убежденным человеком. Понятно поэтому, какую великую и неодолимую силу доставляет поголовное уныние добродушных и недальновидных людей тем умствующим субъектам, которые, по своей интеллектуальной неповоротливости и трусливости, стараются затормозить всякое серьезное движение мысли и которые в то же время, по своему тщеславию, стремятся приобрести себе своими гасильническими подвигами репутацию истинных патриотов. Понятно, что эти философствующие и политиканствующие гасильники [1] пускают в ход все свои усилия, чтобы поддержать это поголовное уныние и довести его до меланхолической мономании. И старания их увенчиваются успехом, потому что задача, за которую они принимаются, не представляет никаких трудностей. Им, этим гасильникам, приходится катить камень под гору, туда, куда его тянет собственная тяжесть, значит, гасильникам остается только слегка придерживать и направлять его, чтобы он не сбился куда-нибудь в сторону. Дело легкое, приятное, обещающее своему виновнику десятки лавровых венков и поздравительных телеграмм [2] и требующее от него только достаточной дозы тупоумия и бесстыдства. Если награды так обильны и лестны, а требования так ничтожны и удобоисполнимы, то возможно ли сомневаться в том, что дело гасильничества будет доведено до конца с полным успехом, от которого переполнятся восторгом все невинные сердца алчущих и жаждущих спокойного умственного сна?

Быть гасильником всегда приятно и легко. Положение гасильника в высшей степени прочно и почетно во всяком обществе и при всяких условиях. Впрочем, я считаю удобным заменить слово *гасильник* словом *усыпитель*. Это последнее слово не так избито и, по моему мнению, гораздо более выразительно. Итак, быть усыпителем приятно и легко.

Почему?

По той весьма простой причине, что люди любят спать и всегда готовы превозносить того милого человека, который помогает им предаваться этому сладчайшему занятию, которое, даже с нравственной точки зрения, очень похвально, как предохранительное средство против грехов. Кто больше спит, тот меньше грешит, а кто помогает спать, тот, следовательно, уменьшает количество человеческих беззаконий.

В самом деле, как не любить усыпителей? Ум наш от природы расположен к неподвижности. Нам приятно думать, что мы обладаем полным знанием истины, нам приятно успокоиваться на том складе идей, к которому мы привыкли, нам приятно ласкать себя тою уверенностью, что наше миросозерцание, не стоившее нам

ни малейшего личного труда, доставшееся нам по наследству или приобретенное в раннем детстве от старой няньки, — составляет для нас такую надежную крепость, которую не могут разбить никакие вражеские возражения и в которую не могут пробраться никакие лукавые сомнения. И вдруг мы встречаем на жизненном пути двух странников, очень похожих друг на друга, и оба эти странника вступают с нами в разговор, сначала о прекрасной погоде, потом о красотах данного местоположения и, наконец, о предметах, вызывающих на размышление, о природе, о человеке, о жизни, об обществе. Мы, конечно, выкладываем перед обоими странниками весь запас сокровищ, подаренных нам старою нянькою. Эти сокровища производят на странников весьма различное впечатление.

Один из них, из себя невзрачный, с дерзким взглядом и с насмешливою улыбкою на бледных губах, говорит спокойно и презрительно: «Знаю я эти сокровища. Мне были подарены точно такие же золотые горы. Вам они достались от Феклы, мне — от Матрены. Сущность дела от этого не изменяется. Это — пыль и сор, которые незаметным и нечувствительным образом забираются к вам в глаза и мешают вам ясно видеть окружающие предметы. Вы почти совсем слепы, вы не имеете ни о чем правильного понятия, поэтому вы воображаете себе, что вы богаты, что вы счастливы, что вы честны, что вы умеете размышлять собственным умом, что вы сохраняете в полной неприкосновенности ваше человеческое достоинство. Бросьте ваши мнимые сокровища, промойте себе глаза у источника чистой истины, и вы увидите с ужасом, до какой степени вы нищи, убоги и жалки во всех отношениях».

Другой странник очень похож на Чичикова. Такой же степенный, кругленький, гладенький и благообразный. Выслушав речь первого путника, он обращается к вам с выражением самого искреннего и глубокого участия.

— О прекрасный и невинный юноша, — говорит он самым мягким и ласковым тоном, — не слушайте ядовитых советов этого суетного и злобного интригана. Эти советы повлекут вас в бездну или по меньшей мере в ближайшее полицейское управление, где вы, наверное, будете подвергнуты сначала строгому допросу, а потом — соответствующему взысканию. Коварный соблазнитель говорил вам, что вы нищи, убоги и жалки во всех отношениях. Это наглая ложь. В нем говорила низкая зависть. Испорченный своими преступными помыслами, он не может воротить себе безмятежную невинность своей ранней молодости. Поэтому он желает отнимать эту невинность у всех молодых людей, с которыми он встречается на жизненном пути. Но вы ему не верьте. Ваши сокровища чище и драгоценнее всякого золота. Вы действительно богаты, счастливы и честны. Ваш ум работает совершенно самостоятельно. Ваше человеческое достоинство находится в полной безопасности. Перед вами лежит широкий путь, усеянный цветами

и ведущий к высшим ступенькам земного блаженства. Умейте только беречь и ценить те великие истины, которыми вас наградила ваша почтенная, ваша достойная, ваша доблестная Фекла. Идите смело по широкому пути, не задумывайтесь над мудреными вопросами жизни, будьте уверены, что все решено без вас, и решено совершенно удовлетворительно, улыбайтесь простодушно и доверчиво всему, что попадется вам на глаза, — и вы пройдете все ваше земное поприще так счастливо и так почетно, что вы будете в состоянии ставить себя в пример вашим детям и внукам.

Теперь не угодно ли вам сравнить речи обоих путников.

Один говорит вам дерзости, называет вас слепым, нищим, убогим, жалким, осмеивает вашу Феклу, которая носила вас на руках и рассказывала вам прекрасные сказки, посылает вас к какому-то источнику знания, велит вам промыть глаза и за все эти непривычные для вас труды обещает вам в будущем только то, что вы увидите ясно наготу вашего безобразия. Другой, напротив того, говорит вам самые милые любезности, одобряет все ваши понятия, ставит Феклу на пьедестал, выше всяких Сократов и Аристотелей, требует от вас, чтобы вы следовали постоянно всем вашим любимым умственным привычкам, и обещает вам впереди все то, что может веселить сердце благорожденного человека.

Кто же из двух имеет больше шансов произвести на вас благоприятное впечатление и убедить вас своею проповедью? Я думаю, что на этот счет едва ли может существовать какое-нибудь сомнение. Первый подействует только на тех людей, которые любят истину больше всего на свете, или же на тех, которых жизнь держала в ежовых рукавицах с самого дня их рождения. Второй потянет за собою всю остальную толпу — огромное большинство.

Пламенная и бескорыстная любовь к истине составляет исключительное достояние очень немногих избранных и богато одаренных личностей. Любить истину и переносить ее ослепительное сияние может только тот человек, для которого святые и великие умственные наслаждения стоят выше всех остальных житейских радостей. Такой человек размышляет не только для того, чтобы решить так или иначе практическую задачу и приобрести себе те или другие удобства, а для того, чтобы процессом мышления удовлетворить одну из самых настоятельных своих органических потребностей. Он размышляет по тому же самому непроизвольному влечению, которое заставляет его выпить стакан воды или съесть кусок хлеба. Он пьет потому, что чувствует жажду, он ест потому, что чувствует голод; он думает потому, что чувствует у себя в мозгу накопление силы, которому надо дать выход. У кого потребность размышлять так сильна, что ее можно поставить рядом с самыми важными органическими потребностями, — тот относится к качеству своего мышления с такою же невольною строгостью, с какою каждый из нас относится к качеству своей пищи или своего питья. Каждый

из нас счел бы для себя настоящим мучением, если бы его заставили пить постоянно вонючую воду или есть постоянно испорченную пищу. Мучение тут состоит преимущественно не в том, что мы боимся за наше здоровье, а в том, что мы постоянно испытываем неприятное ощущение. Так точно и человек, одержимый потребностью размышлять, не может терпеть в своем мышлении никакой фальши, никаких искажающих стеснений, никакой посторонней регламентации; и это отвращение ко всему, что задерживает свободное развитие мысли, происходит вовсе не от той боязни, что из софизмов родятся ложные и вредные поступки, а просто потому, что оскопленная и сдавленная мысль так же непосредственно противна всякому мыслителю, как вонючая вода или гнилая пища противны всякому здоровому человеческому организму.

Тот человек, которому бесконечно дорог самый процесс мышления, ищет истины во что бы то ни стало, помимо всяких практических соображений, как бы ни были эти соображения важны и уважительны.

Если этот человек задает себе какой-нибудь вопрос, то он старается получить на него точный, правильный и верный ответ, и, убедившись в том, что полученный ответ соединяет в себе все эти качества, наш добросовестный мыслитель принимает его за истину, хотя бы от этого ответа перевернулись вверх дном все его прежние понятия.

Истина может оказаться очень неутешительною; она может разбить множество прелестнейших фантазий; она может привести самого мыслителя в смущение и в ужас. Открытие такой печальной истины может стоить мыслителю многих мучительно-бессонных ночей. Но нет нужды. Истина есть истина, и, встретившись с нею лицом к лицу, мыслитель, достойный этого имени, признает ее беспрекословно и не позволяет себе ни под каким видом замаскировывать ее строгие черты различными робкими умолчаниями или мошенническими искажениями.

Человек, воодушевленный такою страстною и неустрашимою любовью к истине, какова бы она ни была, задумается очень серьезно и глубоко, когда увидит, что умственные сокровища, унаследованные им от Феклы, подвергаются одним из его собеседников самому беспощадному осуждению. «Что за чудеса! — скажет он себе. — Стало быть, есть возможность сомневаться в том, что я считал стоящим неизмеримо выше всякого сомнения. Стало быть, существует такая точка зрения, о которой я до сих пор не имел ни малейшего понятия. Надо осмотреть эту точку зрения. Я, конечно, уверен в том, что она ошибочна, потому что, в самом деле, не могла же Фекла ошибаться и не могли же вместе с нею ошибаться и папаша, и мамаша, и дяденька, и тетенька, и все мои гувернеры и гувернантки. Но надо все-таки узнать, как и почему возможна такая ошибочная точка зрения, откуда взялось

это странное заблуждение, чем оно укрепилось и какими доказательствами оно поддерживается в настоящую минуту».

Юный любитель истины начинает расспрашивать, читать, вдумываться и, наконец, приходит, разумеется, к тому убеждению, что Фекла, при всех своих превосходных качествах, была очень посредственною мыслительницею.

Но толпа не придет к этому заключению, потому что толпа твердит стихи своего любимого поэта:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.[3]

Истина сама по себе не имеет в глазах толпы никакой цены, и тот чудак, который вздумает возвещать толпе истины, противоречащие ее привычным понятиям, нарушающие ее умственный комфорт, разбивающие ее иллюзии и налагающие на нее обязанность встревожиться и задуматься, — может смело рассчитывать на все те мелкие, но чувствительные неприятности, преследования, подозрения и оскорбления, которые в наше филантропическое время заменяют собою мученический венец.

II

Те люди, для которых жизнь была в детстве суровою мачехою, могут также вместе с бескорыстными искателями истины увлечься идеями смелого отрицателя. Кому тяжело и больно жить на свете, тому трудно воспитать в себе особенно сильную любовь к тем понятиям, на которых построен и которыми держится угнетающий его порядок вещей. Измученный и озлобленный человек привык с детства считать некоторые положения за неопровержимые истины, но эта привычка образовалась в нем только потому, что он ни разу не слыхал ни одного противоположного мнения. Эта привычка имеет чисто пассивный характер. В ней нет деятельной любви, и человек при первой возможности поспешно и с радостью отрывается от этой привычки, которая не связывается в его уме ни с какими светлыми и приятными воспоминаниями. Мрачное и печальное детство, наполненное лишениями и незаслуженными оскорблениями, всего чаще достается на долю тем людям, которые принадлежат к низшим и беднейшим классам общества.

В этих классах общества идеи отрицателей нашли бы себе, конечно, самый восторженный прием, но именно в эти классы общества серьезная мысль до сих пор никогда не заглядывала; во-первых, потому, что людям, ежедневно отбивающимся от голодной смерти самым напряженным трудом, некогда заниматься размышлениями, как бы ни были эти размышления серьезны и полезны; во-вторых, потому, что умственный сон низших классов охра-

няется во всех благоустроенных государствах многими сотнями бдительных аргусов.

Но везде, где так или иначе, по тому или по другому случаю, происходит соприкосновение между бедностью, с одной стороны, и серьезною мыслью, с другой, — там тотчас же идеи отрицания находят себе многочисленных адептов и распространителей.

Так, например, было замечено не раз, что в наших духовных училищах сформировались самые крупные и яркие представители отрицательного направления, которое и до сих пор воспринимается с особенною жадностью воспитанниками этих же самых училищ. Наши гасильники, или усыпители, старались объяснить этот, очень печальный для них, факт различными недостатками господствующей педагогической системы. [4] Система действительно плоха, и я нисколько не намерен ее отстаивать. Но нельзя не заметить, что никакие педагогические усовершенствования не поворотят мир назад к докоперниковской и догалилеевской философии и не затушуют также того вопиющего противоречия, которое существует между остатками этой философии и непоколебимыми естественнонаучными истинами. Что же касается до водворения отрицательных идей в таких учебных заведениях, которые, по самой сущности своей, совершенно враждебны этим идеям, — то оно объясняется не какими-нибудь несовершенствами в программе или в распределении занятий, а просто тем чрезвычайно важным обстоятельством, что в этих именно заведениях крайняя бедность встречается с умственною деятельностью.

Бурсаки очень бедны, беднее всех других обучающихся в России юношей, и при этом они, однако же, имеют возможность и желание читать серьезные книги. Этого совершенно достаточно, чтобы приготовить самое полное торжество отрицательных идей во всех духовных училищах.

Дело в том, что отрицательным идеям, и только им одним, безраздельно принадлежит будущее. В настоящее время большинство образованных классов во всем цивилизованном мире враждебно этим идеям. Но это ровно ничего не значит. Напротив того, именно это обстоятельство и дает нам возможность заметить, как неотразимо сильны отрицательные идеи и как ничтожен тот грязный хаос, который долго может задерживать своим присутствием умственное развитие человечества, но который никогда не может одержать окончательную победу, потому что никогда не может произвести из себя ничего прочного, ничего живого, ничего способного развиваться и совершенствоваться.

Большинство враждебно отрицательным идеям. Это верно. Но что же это значит? Это значит только, что большинство подкуплено в пользу *status quo*, [5] которого оно не может находить ни справедливым, ни разумным и которого оно не может защищать, не впадая ежеминутно в грубейшие внутренние противоречия,

не прибегая ежеминутно к самым неправдоподобным выдумкам и не доходя на каждом шагу до самых вопиющих абсурдов.

Большинство превозносит своих усыпителей. Не мудрено. Еще бы не превозносить тех услужливых людей, которые, из году в год и с утра до вечера, тратят все силы своего ума на то, чтобы заглушить в нас те невольные угрызения совести, с которыми мы сами, как люди простые и не хитрые, не умеем справляться.

Страсбургские пироги, конечно, очень вкусны; шампанское, бургондское, рейнвейн и херес веселят сердце человека; абонированная ложа в бельэтаже итальянской оперы доставляет бочки эстетического наслаждения; карета на лежачих рессорах, запряженная парою великолепных серых жеребцов, превращает каждую деловую поездку в приятнейшую прогулку; но хорошая консервативная газета, издаваемая искусным усыпителем, приятнее и драгоценнее каждого из этих земных благ, взятых отдельно; или, точнее, хорошая консервативная газета придает всем этим земным благам тот утонченнейший вкус и высший аромат, которые удвоивают, а может быть, даже и утроивают их цену. Хорошая консервативная газета одухотворяет все эти блага. Факт возводится ею в священное право, и обладатель земных благ узнает из нее каждое утро, за чашкою цветного чаю или моккского кофе, что он — некое маленькое божество, на алтарь которого простые и темные люди обязаны, нравственно обязаны, нести со всех концов света превосходнейшие произведения природы и великолепнейшие продукты человеческой промышленности.

На обладателя земных благ может иногда напасть тяжелое раздумье. На что я в самом деле годен, что я делаю? Другие кругом меня трудятся, суетятся, волнуются, выбиваются из сил, терпят лишения, страдают и борются, а я только и делаю, что ем, пью, сплю и заплываю жиром. Кому я приношу пользу? Кому нужно мое глупое существование?

Против такого раздумья не помогают ни страсбургские пироги, ни шампанское, ни опера, но хорошая консервативная газета в пять минут может разогнать мрачные тучи этих лукавых помышлений. — Помилуй, друг мой, — говорит такая газета задумавшемуся обладателю земных благ. — Как мог ты, хоть на одну минуту, допустить в свою светлую голову странную мысль о том, будто ты бесполезен. Ты один из самых твердых столбов общественного здания. Каждый, повидимому, ничтожнейший акт твоей жизни составляет благодеяние. Вся твоя жизнь есть одно постоянное служение обществу. Вот, например, друг мой, ты достаешь из кармана платок. Ты думаешь может быть, что это в самом деле только носовой платок, бездушная и бессмысленная тряпка? Нет, друг мой, это маленький памятник твоей невольной заботливости о благосостоянии твоих младших братьев. Платок этот выткан ткачом, подрублен и замечен швеею, вымыт и выглажен прачкою. Теперь подумай только, в каких бы дураках остались

все эти бедные люди, если бы тебя не было на свете или если бы ты, бывши на свете, был так черств сердцем и так суров в своих привычках, что сморкался бы в собственную руку, а не в батистовый платок. Но, слава создателю, ты существуешь, ты так великодушен, так мягкосердечен, так возвышенно умен и так утонченно цивилизован, что понимаешь вполне, насколько батистовый платок удобнее собственной руки. Ты покупаешь себе дюжину платков, и довольство разливается тихими ручьями в скромные хижины и мансарды честных тружеников. Ткач садится за свой простой, но здоровый обед и говорит растроганным голосом, возводя к небу свои глаза, наполненные слезами благодарности: «Пошли, господи, многие лета добрым господам, что сморкаются в батистовые платки». Швея приобретает себе простые, но прочные башмаки и, обливая их радостными слезами, шепчет прерывающимся голосом: «Дай, господи, доброго здоровья тому барину, что отдавал мне подрубать и метить платки». Ты недавно говорил, мой друг, что ты заплываешь жиром. О, не смущайся и не тяготись этим обстоятельством. Это не простой жир. Это награда за твои заслуги. Это такой жир, которым ты имеешь полное право гордиться. Это — результат тех теплых молитв, которые несутся к престолу создателя из всех хижин честных тружеников, питающихся твоими благодеяниями. Я вижу, друг мой, что ты совершенно убежден моими доказательствами, взволнован и растроган: слезы льются из глаз твоих, нос твой переполняется жидкостью, и ты поспешно хватаешься за маленький памятник твоей заботливости о благосостоянии младших братьев. Ты сморкаешься, да, ты сморкаешься, но понимаешь ли ты высокое значение этого поступка? Этим поступком ты спешишь на помощь к бедной прачке, которая в настоящую минуту нуждается в лекарствах для своего больного ребенка. Еще пять, шесть таких же великодушных поступков, и твой платок отправится в грязное белье и привлечет на тебя новые реки благословений и новые слои благодатного жира, вымоленного для тебя твоими трудолюбивыми protégés. *

Но все это, друг мой, только одна сторона твоей общеполезной и доблестной деятельности. Ты еще более велик и прекрасен, если посмотреть на тебя с политической точки зрения. Тут ты изображаешь собою охранительный элемент нашего общества. Тут ты служишь лучшим представителем нашей нравственной самостоятельности. Подкупить тебя нельзя, потому что ты богат. Запугать тебя тоже нельзя, потому что с человеком, сморкающимся в батистовые платки, принято обращаться вежливо. Ты сегодня пообедал хорошо и желаешь завтра пообедать так же хорошо, следовательно, ты консерватор. Но, с другой стороны, ты согласен пообедать завтра еще лучше, чем сегодня, следовательно, ты также и прогрессист. Вся твоя политика исчерпывается

---

* Протеже; покровительствуемые *(франц.)*. — *Ред.*

этим желанием и этим согласием. Твоя политика проста и ясна, как все великое. Ты совмещаешь в высшем и всеобъемлющем синтезе все хорошее и разумное, что когда-нибудь было произведено на свет какими бы то ни было политическими школами. И здесь, друг мой, я опять должен возвратиться к твоему благодатному жиру, на который ты жаловался с такою странною неосновательностью. Этот жир, даже и с политической точки зрения, имеет высокое и спасительное значение. Этот жир придает тебе ту солидность, ту медленность, ту драгоценную неповоротливость, вследствие которой ты делаешься самым надежным хранителем преданий, привычек и установившихся отношений; твой жир мешает тебе увлекаться новыми идеями и модными бреднями. Наш государственный корабль, нагруженный целыми тоннами такого же благодатного жира, плывет, по милости этого спасительного балласта, с подобающею медленностью и с привычною величественностью, вместо того чтобы лететь на всех парусах, подвергаясь опасности наскочить на подводные камни. Итак, друг мой, знай это раз навсегда: всякий раз, как ты кладешь в рот кусок вкусной и питательной пищи, способной превратиться в частицу жира, — ты оказываешь отечеству малую, но существенно важную услугу. Я повторяю тебе, что ты можешь созерцать свой жир с законною гордостью. Если ты когда-нибудь разжиреешь до того, что задохнешься, то все мы, твои друзья, все мы, искренние патриоты, все мы, благоразумные прогрессисты, поставим на твоей могиле великолепный памятник и будем говорить о тебе со слезами умиления: он умер за отечество!

Спрашиваю я вас теперь, какой цветочный чай или какой мокский кофе может, по своему вкусу и по своему аромату, выдержать сравнение с хорошею консервативною газетою, из которой обладатель всех земных благ вычитывает каждый день столь возвышенные и утешительные соображения.

III

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.

Этими бессмертными стихами Крылова объясняются многие блистательнейшие и скандальнейшие успехи. Этими же самыми стихами объясняется также успех наших усыпителей, успех очень блистательный и в высокой степени скандальный.

Дело усыпителя состоит в том, чтобы постоянно приискивать красивые названия и искусные оправдания для всех умственных и нравственных слабостей читающего общества. Раболепство, низкопоклонство, суеверие, тупоумие, самодурство, корыстолюбие, бесхарактерность, двоедушие — все, что в пробуждающемся

обществе бывает принуждено прятаться и стушевываться, снова реабилитируется и возводится на пьедестал неусыпными стараниями ловкого усыпителя. Читатели видят, что их подлость и их глупость могут смело поднять голову и ходить по улицам, требуя себе от встречных и поперечных сочувствия и уважения. Сначала читатели не смеют верить такому избытку блаженства. Они все еще боятся, что за панегириком скрывается злая и убийственная сатира. Они еще не могут себе представить, что есть возможность хвалить в них то, что они сами признают в себе одним из многих проявлений человеческой слабости. Но между тем панегирик все продолжается, сатира ниоткуда из-за него не выглядывает, читатели, наконец, успокоиваются и убеждаются в том, что всем их любимым пошлостям действительно воскуряется фимиам; тогда начинается общее и неудержимое ликование; все кукушки данного общества выскакивают из своих притонов и начинают славословить петуха, зная очень хорошо, что чем выше они вознесут эту почтенную птицу, тем больше силы и веса они придадут его песням, прославляющим всевозможные кукушечьи качества, привычки, ухватки, низости и мерзости. Значит, вознося петуха, кукушки возвеличивают самих себя. А кто же откажется говорить самому себе любезности и комплименты, если это может быть сделано косвенным образом и под благовидным предлогом.

Итак, усыпители и читатели носят друг друга на руках и плавают в море блаженного самообожания. Наконец, в разгаре своего торжества, они чувствуют непобедимое желание призвать к себе на помощь поэзию, чтобы она увековечила их прекрасные черты, сделавши их предметом эпоса. Ноздревы, Чичиковы и Собакевичи, найдя себе такого публициста, который оправдал и превознес все их поползновения, ищут себе также и таких художников, которые, сохраняя им все их типические особенности, превратили бы их в милых, интересных и очаровательных героев романа. «Мы победители, мы триумфаторы, мы вожди общества, — говорит раздувшаяся грязь, проникшаяся вдруг чувством собственного достоинства. — Эй, поэты, воспойте нас, да воспойте так, чтобы всякий сразу понял, что мы — первые красавцы и величайшие герои во всем подлунном мире. За деньгами мы не постоим».

Поэтам свойственно воспевать триумфаторов и получать за то подачку с их богатого стола. Многим поэтам было бы особенно приятно превратить торжествующую грязь в очаровательных героев. Поступая таким образом, многие поэты оказали бы очень важную услугу собственным особам, носящим в себе достаточное количество той же величающейся грязи. Стало быть, в побудительных причинах для начала эпических песнопений не могло быть недостатка. Охотников тоже оказалось по этой части очень довольно. И, однако же, все старания не только остались безуспешными, но даже все до одного повернулись против интересов

торжествующей грязи. Все романы, написанные для прославления грязи и для посрамления ее противников, доказали, наперекор всем усилиям их авторов, что грязь решительно ни на что не годится и что сила, мужество, честность, ум, любовь к идее составляют исключительную и безраздельную собственность тех противников, которых авторы желали опозорить, оклеветать и стереть с лица земли. К этому результату пришли и «Взбаламученное море», и «Марево», и «Некуда». Образы и характеры сказали как раз противное тому, что хотели сказать авторы.

Кто оказывается самым чистым и светлым характером в «Взбаламученном море»? — Валериан Сабакеев.

А в «Мареве»? — Инна Горобец.

А в «Некуда»? — Лиза Бахарева.

То есть именно самые непримиримые, самые страстные противники той ноздревщины и чичиковщины, которую господа тенденциозные романисты старались реабилитировать и взгромоздить на пьедестал.

Так как тенденциозные романы пишутся всегда по рецепту, то в них тотчас можно заметить, что некоторые фигуры вдвинуты в картину для симметрии, для того чтобы оттенить собою какое-нибудь лицо, действительно важное и имеющее самостоятельное значение.

Во всех трех тенденциозных романах, украсивших собою в недавнее время нашу изящную словесность, — рядом с энергическими фигурами бойцов, навлекающих на себя неудовольствие авторов, поставлены, ради большей поучительности, фигуры молодых, но благонравных особ, на которых авторы смотрят с одобрительною улыбкою.

Валериан Сабакеев оттеняется Варегиным.

Инна Горобец — молодою и прекрасною девицею Мальвиною Францевною, фамилию которой я теперь не могу припомнить.

Лиза Бахарева — своею приятельницею, Евгениею Гловацкою.

Все благоволение авторов покоится на этих поучительных особах. И между тем, при всем своем благоволении, авторы не могут из них решительно ничего сделать.

Все это — образы без лиц, воплощенные нравоучения, кроткие и улыбающиеся бесцветности, похожие до чрезвычайности на Здравосудов и Стародумов старых комедий.

Все это такие фигуры, которые могут обманывать читателя и прикидываться живыми только до тех пор, пока они остаются в тени, на самом заднем плане романа, находясь в совершенном бездействии, произнося благоразумные речи и выделывая кроткие гримасы.

Попробуйте выдвинуть эти фигуры на первый план, попробуйте сделать их центром романа, заставьте их самих чувствовать и действовать, вместо того чтобы выражать благоразумные сужде-

ния о чужих страстях и поступках, — и тогда картон и проволока, из которых составлены эти поучительные особы, в одну минуту обнаружат свою безжизненность и неповоротливость.

Почему же, однако, все это сложилось таким образом? Почему господам авторам тенденциозных романов пришлось поневоле воплощать в ярких и привлекательных образах только те враждебные идеи, которым они старались нанести смертельный удар? И почему, с другой стороны, им не удалось соорудить ни одного живого лица из тех материалов, которым они желали засвидетельствовать свое глубочайшее уважение и свою неизменную преданность?

Дело в том, что вообще на всякой важной идее несравненно легче построить довольно сносное отвлеченное рассуждение, чем живой и занимательный рассказ. Для рассуждения вы можете выбирать именно только те стороны предмета, которые не противоречат вашей ложной идее. Вы можете ограничиться очень незначительным числом фактов; вы можете оставить без внимания все то, что не подходит под вашу узкую теорию; вы можете перетолковать, сообразно с вашими видами, значение тех фактов, которые вы сами подобрали и сгруппировали; вы можете указать между этими фактами такую связь, которая вовсе не существует между ними в действительности. Все эти фокусы сойдут вам с рук самым благополучным образом, если только вы обладаете достаточною дозою самоуверенности и диалектической ловкости. Умышленные пропуски, натяжки, ложная группировка и ложное освещение фактов — все это будет замечено только теми немногими людьми, которые сами изучили предмет вашего рассуждения. Таких людей во всяком обществе найдется очень немного, и ваша шарлатанская работа адресуется вовсе не к ним, а к доверчивой и совершенно беззащитной массе читателей. Эта масса будет любоваться красотами вашего языка и благоговеть перед вашею нахальною самоуверенностью, которую она будет принимать за несомненное доказательство вашей неисчерпаемой учености и безукоризненной добросовестности. Положим, что знатоки дела не будут молчать. Они начнут разбивать вашу работу и раскритикуют ее так, что в ней не останется ни одного живого места. Вам и тут еще нет достаточного основания считать свое дело окончательно проигранным. Во-первых, критика опасна для вас только в том случае, если она написана так же общедоступно и увлекательно, как ваше шарлатанское рассуждение. Очень серьезная и величественно-скучная критика останется непрочитанною, хотя бы в ней заключались несметные сокровища знания, мудрости, основательности и добросовестности. Во-вторых, какая бы то ни было критика может убить вас окончательно только в глазах тех людей, которые имеют достаточное понятие о вашем предмете и которые вследствие этого должны презирать вас с самого начала, после самого первого знакомства с вашим литературным

фокусничеством. Что же касается до обманутых вами профанов, то они увидят только, что вы говорите одно, а критик ваш — совсем другое. Кто из вас говорит правду и кто лжет — этого профаны определить не могут, потому что для этого необходимы знания, которых у них не имеется. На самую убийственную критику вы можете отвечать новыми софизмами, новым подтасовыванием фактов, новым извращением мыслей; и победа может остаться на вашей стороне, если только во все время ожесточенной борьбы ваша самоуверенность и ваша диалектическая развязность не покинут вас ни на минуту.

Всеми этими выгодами и преимуществами вы пользуетесь в том случае, если вы стараетесь отуманивать ваших читателей отвлеченными рассуждениями.

Но дело принимает совсем другой оборот, когда вы делаете попытку облечь вашу возлюбленную ложь в живые образы. Тогда оказывается одно из двух: или эти образы приводят вас в отчаяние и обличают вас во лжи своею безнадежною и неизлечимою деревянностью, над которою смеются или зевают все ваши читатели, от мала до велика; или же эти образы оживают под вашим пером, но оживают не на радость вам и вашей ложной идее. Они оживают затем, чтобы взбунтоваться против вас, возвеличить то, что вы хотели оплевать, и оплевать то, что вы хотели возвеличить. Когда вы предлагаете публике роман или повесть, тогда вашим критиком является каждый из ваших читателей, каждый человек, наделенный от природы самым простым здравым смыслом и успевший приобрести себе самое обыкновенное знание жизни. В отношении к романам и повестям нет и не может быть профанов. Каждый читатель может понять или по крайней мере почувствовать, что натурально и что ненатурально, что правдоподобно и что неправдоподобно, что занимательно и что скучно. — В отвлеченном рассуждении вы могли доказывать сколько вам угодно, что душевные свойства, украшающие Чичикова и Молчалина, необходимы для процветания, для благоденствия, даже для существования России. Вы могли объяснять очень пространно и красноречиво, какими педагогическими приемами следует возращать эти спасительные качества в молодом поколении. Публика могла слушать ваши речи с благоговением, потому что, с одной стороны, эти речи были пересыпаны патриотическими словами; с другой стороны, они гладили по шерсти чичиковские и молчалинские инстинкты, сидящие в душе очень многих читателей; а с третьей стороны, эти читатели были совершенно не приготовлены к каким бы то ни было размышлениям о судьбах России и об умственных потребностях молодого поколения. Значит, перед этими читателями можно было с полным успехом выкладывать на стол все те инструменты, при содействии которых предполагалось приготовлять из наших юношей Чичиковых и Молчалиных. Читатели только любовались этими инструментами и выражали пламенное

желание, чтобы они были разосланы в достаточном количестве во все губернские города нашего отечества.

Но вы вздумали собрать воспетые вами чичиковские и молчалинские свойства в один образ, вы пожелали, чтобы публика смотрела на этот образ с любовью и с уважением, — и тут вы провалились жестоко. Ваша послушная, ваша доверчивая, ваша безответная публика откровенно засмеялась или стыдливо отвернулась прочь, вместо того чтобы, согласно с вашим требованием, восхищаться, любить и уважать.

Что ж с этим делать? Чичиков и Молчалин совсем не для того существуют на свете, чтобы возбуждать в своих ближних восторги, любовь и уважение. Чичиков и Молчалин, как люди далеко не глупые, сами знают это как нельзя лучше и уже давно помирились с этим обстоятельством, тем более что восторг, любовь и уважение не могут быть занесены ни в одну из двух интересных для этих господ рубрик — ни в рубрику движимого, ни в рубрику недвижимого имущества.

Чичиков и Молчалин преуспевают, живут в свое удовольствие, откладывают копеечки на черный день и, в то же время, обделывают свои дела так искусно и так осторожно, что черные дни никогда не являются. Но Чичиков и Молчалин, по своей благоразумной скромности, вовсе не желают обращать на себя, с какой бы то ни было стороны и по какому бы то ни было случаю, внимание своих современников и сограждан. Чичиков и Молчалин любят оставаться в тени и в неизвестности, потому что их мелкие предприятия требуют для своего процветания мрака и тишины.

Предложите любому Чичикову и Молчалину взлезть на пьедестал и сделать себя центром романа, то есть обратить на себя внимание публики и рассказать ей, с какой угодно точки зрения, полную и подробную повесть всех его чичиковских или молчалинских действий, чувств и помышлений, — и вы увидите, что ваш Чичиков или Молчалин с ужасом и с ожесточением начнет отмахиваться обеими руками от вашего предложения, как от самой оскорбительной и опасной для него затеи.

Чичиков и Молчалин понимают очень хорошо, что они мелки, низки и ничтожны и что взгромоздить их на пьедестал — значит нечаянно или умышленно предать их общему посмеянию. Чичиков и Молчалин знают, что когда их поставят на видное место и осветят со всех сторон ярким светом психологического анализа, — тогда над их жалкими и мизерными фигурами засмеются с беспощадным злорадством их же собственные двойники, те Чичиковы и Молчалины, которым удалось остаться в тени. Чичиков и Молчалин чувствуют, что никакие натяжки, никакие поэтические вольности и идеализации не могут превратить их в красавцев. Поэтому Чичиков и Молчалин просят поэтов только об одном: оставьте нас в покое, забудьте о нашем существовании, не вытаскивайте на свет и не прославляйте наших скромных подвигов.

Но поэты, разогретые своею любовью к солидности, увлеченные общими порывами филистерского восторга, одержимые, кроме того, неизлечимою наивностью, желают непременно содействовать с своей стороны посрамлению и истреблению так называемых нигилистов. «Мы покажем миру, — кричат бестолковые поэты, — что наша солидность и благонамеренность имеет также своих героев. Мы покажем, что наше филистерство выработало из себя такой тип, к которому можно и должно относиться с сочувствием».

И затем несчастного Павла Ивановича Чичикова подхватывают на руки и несут на пьедестал, несмотря на его отчаянное сопротивление.

Очутившись на пьедестале, Павел Иванович, разумеется, не знает, куда девать глаза, и готов провалиться сквозь землю, и сами поэты замечают, наконец, слишком поздно, что они сделали большую глупость, которой могут от души порадоваться их противники.

Неужели же однако, спросит читатель, тот тип солидных молодых деятелей, который хотели воспеть в последнее время наши романисты, имеет действительное сходство с Чичиковым и с Молчалиным?

На это я отвечу, что все в природе развивается, совершенствуется и облагоображивается, но что внимательный наблюдатель может и должен узнавать своих старых знакомых, несмотря на их новые костюмы, манеры и разговоры. Чичиковым бывает часто такой человек, который не только не торгует мертвыми душами, но даже не позволяет себе ни одной сколько-нибудь двусмысленной спекуляции. Молчалин остается Молчалиным даже тогда, когда он с почтительною твердостью представляет своему начальнику основательные возражения.

Настоящая сущность чичиковщины и молчалинства состоит в отсутствии таких убеждений, которые выработаны самостоятельным умственным трудом, которые управляют всею жизнью человека и от которых человек не может отречься, если бы даже в минуту тяжелого страдания за любимую идею ему пришла в голову эта фантазия.

Молчалиным и Чичиковым следует признавать каждого человека, у которого нет в жизни никакой другой цели, кроме приобретения и упрочивания личного довольства и комфорта.

Если понимать чичиковщину и молчалинство в таком широком смысле, то надо будет признаться, что все образованные общества переполнены более или менее яркими представителями этих двух типов.

При этом не забудьте также заглянуть и в зеркало, для очистки собственной совести.

Большинство сытых, одетых и грамотных людей проникнуто консервативною солидностью и отстаивает те понятия и те отношения, среди которых ему приходится жить.

Почему оно их отстаивает? Потому ли, что оно их любит? Потому ли, что оно убеждено в их верности и в их справедливости? Потому ли, что оно находит их полезными для общего благосостояния?

Ничуть не бывало. Консервативные тенденции большинства объясняются тремя главными причинами, которые действуют или порознь, или все вместе.

Во-первых, сытая, одетая и грамотная толпа отстаивает то, что дает ей доход. Разве это не чичиковщина?

Во-вторых, та же толпа соображает очень основательно, что преклоняться перед существующим фактом гораздо безопаснее, чем гоняться за неосуществленными идеями. А это разве не молчалинство?

В-третьих, та же толпа повинуется силе привычки и считает хорошим то, к чему она присмотрелась. В этой третьей причине проглядывают очевидно умственные свойства помещицы Коробочки.

Итак, Чичиков, Молчалин и Коробочка — вот те ингредиенты, из которых романисты, вдохновленные «Московскими ведомостями», [6] старались построить героя, долженствующего победить и уничтожить Базарова и Рахметова.

ОБРАЗОВАННАЯ ТОЛПА

(Сочинения Ф. М. Толстого. Два тома)

I

Книга, которой заглавие мы здесь выписали, составляет в нашей текущей литературе явление утешительное и даже до некоторой степени замечательное. Автора этой книги не следует смешивать ни с графом Л. Н. Толстым, написавшим «Детство, Отрочество и Юность» и основавшим яснополянскую школу, ни с графом А. К. Толстым, написавшим несколько удачных стихотворений (например, поучительный разговор России с царем Петром Алексеевичем), [1] «Князя Серебряного» и «Смерть Иоанна Грозного». Если не ошибаемся, автор разбираемой нами книги — музыкант, композитор и музыкальный критик, писавший свои музыкальные рецензии под псевдонимом *Ростислав*. Мы говорим: *если не ошибаемся,* потому что музыка для нас закрытая область и потому что мы, не умея отличать do от fa и бемоля от диеза, никогда не заглядывали в сочинения наших музыкальных критиков и, следовательно, никак не можем ручаться за тождественность которого-нибудь из этих недосягаемых деятелей с автором рассматриваемых нами двух томов.

Как бы то ни было, писал или не писал наш автор под псевдонимом Ростислав, во всяком случае остается достоверным и несомненным тот факт, что музыкальный элемент дал себя знать самым выразительным образом в повести «Моргун — капельмейстер-самоучка», наполняющей бо́льшую часть второго тома. Подавленные непостижимыми рассуждениями о la majeur и do mineur, о smorzando * и о прекрасных качествах Бетховена, мы скромно проникаемся сознанием нашего невежества и еще скромнее проходим всю повесть почтительным молчанием, тем более что основная мысль этой повести — мысль о том, что крепостное право не всегда обходилось любовно и бережно с богатыми даро-

* Замирая *(итал., муз.)*. — *Ред.*

ваниями, прирожденными русскому простолюдину, — не может похвалиться особенною поразительною глубиною, новизною и смелостью.

Пройдем мы тем же смиренным молчанием драму «Пасынок», которая занимает остальную часть второго тома. Эффекты этой драмы — распри между глупым стариком и глупым юношей, удушение первого дурака вторым, угнетенная невинность, корыстолюбивый судья, тюремный замок, исхищение невинности из зияющей бездны — могут приводить в трепет или в умиление добродушную публику, довершающую свое эстетическое образование в залах столичных и провинциальных театров, но все эти эффекты не могут навести читателя ни на одну плодотворную мысль, относящуюся к жизни общества или отдельной человеческой личности.

Раскланявшись таким образом со вторым томом, мы сосредоточиваем все наше внимание на первом, в котором помещены две замечательные повести: «Болезни воли» и «Ольга». Обе повести замечательны, хотя и не в одинаковой степени. Начнем с «Ольги», как с произведения менее оригинального, менее обширного и менее глубоко задуманного.

Повесть «Ольга» вводит нас в благоухающий мир блестящей петербургской молодежи, той веселой и беззаботной молодежи, которая в умнейших своих представителях возвышается до онегинской пресыщенности и разочарованности, а в глупейших опускается довольно часто ниже точки замерзания человеческого смысла и человеческой совести. Это мир рысаков, камелий, устриц и шампанского, загородных гуляний, заимствованных каламбуров, сладостных комплиментов и неистощимых разговоров на такие темы, о которых непосвященный смертный не сумеет произнести ни одного слова. Один из молодых людей, порхающих в этом блестящем кругу, рассказывает своим сподвижникам эпизод из своей собственной жизни, и этот рассказ составляет собою повесть «Ольга».

Этот рассказ объясняет читателю, какие влияния и обстоятельства могут превратить честную и образованную девушку, гордость и украшение великосветской гостиной, — в продажную женщину, или, другими словами, в роскошную и блистательную камелию. — Этому рассказу можно сделать до некоторой степени тот упрек, что он слишком умен. Рассказчик сам принадлежит к тому веселому обществу, которое с постоянно возрастающим успехом занимается изготовлением очаровательных женщин, способных только пить шампанское и продавать с аукциона свои поцелуи. Рассказчик сам играет видную и деятельную роль в слишком обыкновенной истории Ольги. И, однако ж, этот самый рассказчик ясно понимает связь между причинами и следствиями и бросает на все сообщаемые факты очень яркое, верное и беспристрастное освещение. Он, действующее лицо, является неподкупным судьею и не утаивает ни от самого себя, ни от своих слуша-

телей ни одной из тех подробностей, которые кладут на его собственную личность достаточное количество темных пятен. Читателю остается только недоумевать, каким это образом молодой человек, так верно понимающий жизнь, может играть в этой жизни такую позорную и жалкую роль или же — каким образом пустой и ничтожный человек может возвышаться в своем рассказе до таких спокойных и обыкновенных отношений к собственной личности. Автор, г. Толстой, очевидно наделил рассказчика своими собственными умственными качествами, или, выражаясь точнее, автор ссудил рассказчика такою проницательностью и сообразительностью, которая нисколько не находится в гармонии со всеми остальными атрибутами блистательного юноши, изучающего жизнь в Излеровском университете. [2] Г. Толстой постоянно увлекается процессом психического анализа и, увлекаясь таким образом, влагает нередко в уста своих действующих лиц такие умные речи, которые он должен был и мог бы произносить только от своего имени. В эту ошибку впадают обыкновенно те писатели, в которых мыслитель преобладает над художником. Этою погрешностью страдают обыкновенно те произведения, в которых содержание преобладает над формою. Но так как, с одной стороны, все литературы наводнены такими произведениями, в которых ничтожность и мизерность мысли идет рука об руку с блистательною красотою выражения, и так как, с другой стороны, все литературы до крайности бедны такими созданиями, в которых выражается замечательная и общеполезная идея, — то мы чувствуем неотразимую потребность отнестись очень снисходительно к тому недостатку, который может быть подмечен записным эстетиком в повестях г. Толстого.

Мы позволим себе выразить предположение, что г. Толстой сам чувствует в себе упомянутый недостаток. Он, повидимому, постоянно боится, что образы и сцены недостаточно ясно и осязательно выразят его идею; он постоянно старается дополнить впечатление отвлеченными рассуждениями и пояснениями; написавши ряд картин, он вслед затем сам же рассказывает читателю, с какою целию написаны эти картины и какую именно идею желательно было в них провести. С точки зрения неутомимого эстетика, такой образ действий заключает в себе двойное преступление; во-первых, он обнаруживает в авторе недостаточное развитие художественной виртуозности; во-вторых, он указывает бесспорно на предвзятую цель, на тенденциозность, на дидактичность данного произведения, которое вследствие этого пятна теряет, по мнению эстетика, всякое право называться художественным. Напротив того, с точки зрения человека, относящегося с горячею и деятельною любовью к действительным и осязательным интересам общества и человеческой личности, совершенство художественной техники имеет второстепенное и служебное значение, а тенденциозность или дидактичность беллетристического произ-

ведения оказывается не предосудительным пятном, а необходимым оправданием автора перед читающею публикою. Мы должны сознаться с достодолжною скромностью, что, по всему складу наших убеждений, мы подходим гораздо ближе к людям второй категории, чем к заклятым эстетикам. Поэтому, встречаясь с тенденциозным произведением, мы не приходим в безусловный ужас, не отлучаем провинившегося автора от сонма истинных художников, а только стараемся ответить себе на вопрос о том, каковы симпатии и антипатии данного писателя, что именно защищается и что опровергается его произведением. Дальнейшие наши отношения слагаются сообразно с тем ответом, который получит себе наш вопрос. Если мы подметим в авторе честную и сознательную любовь к людям, если мы увидим в его произведениях здоровый и верный взгляд на междучеловеческие отношения, то нас нисколько не покоробит и не возмутит его старание договорить отвлеченными пояснениями ту мысль, которую он не сумел с достаточною наглядностью воплотить в свои образы и сцены. Это старание докажет нам только, что писатель всею душою предан своему делу и что для успеха этого дела он с радостью пускает в ход даже такие средства, которые могут внушить читателям сомнение в силе его художественной виртуозности.

II

Своему рассказу «Ольга» г. Толстой предпосылает несколько размышлений, в которых он доказывает пользу и своевременность небольших повествовательных очерков, записанных со слов молодых людей, совершенно не способных «приняться когда-либо за перо». Г. Толстой говорит, что наша жизнь спешит и стремится куда-то вперед и что в наше время «для наблюдательного глаза главное дело смотреть в оба и не прозевать быстро мелькающие явления жизни».

Не видя большой пользы, — продолжает он, — в дидактических приемах для поучения нашей молодежи, я нахожу, однако же, что литература наша обязана изучать ее нравы, обычаи и стремления. Называть одних нигилистами, других кутилами, третьих просто фатами — сущее пустословие; ведь есть же и другие категории. Дело литературы поглубже вникать — отчего у молодых людей наших составилось то или другое воззрение, хоть, например, на женщину. Это дело важное! (т. I, стр. 273).

Если мы верно понимаем эти слова г. Толстого, то в них заключается энергический протест против поверхностного и легкомысленного вписывания живых явлений, изумляющих мыслящего наблюдателя своим бесконечным разнообразием, в очень ограниченное число рубрик и категорий, над которыми пришпилены раз навсегда вывески и ярлыки, вовсе не соответствующие внутреннему содержанию вписываемых предметов. Произвольная класси-

фикация, любимый конек бездарных тружеников, наделала много путаницы даже в естественных науках, где исследователи имеют полную возможность относиться к своему предмету спокойно, бесстрастно и объективно. В тех отраслях знания и литературы, которые рассматривают явления общественной жизни, всякая подобная классификация оказывается еще несравненно более вредною, потому что здесь ярлыки и вывески пришпиливаются нарочно для того, чтобы возбудить в массе читающих людей те или другие, враждебные или любовные, чувства к рассматриваемому предмету. Каждая вывеска становится непременно или знаком отличия, или позорным клеймом, смотря по тому, какая голова, дружеская или вражеская, потрудилась над ее измышлением. Поэтому почти ни одна вывеска не говорит нам ровно ничего о действительных свойствах того предмета, к которому она прицеплена. Одни из этих вывесок говорят прохожему: остановись, нахмурь свое чело, сдвинь брови и брось сюда молниеносный взгляд, полный убийственного презрения. Другие говорят тому же прохожему: остановись, разгладь грозные морщины твоего нахмуренного чела и препроводи сюда самую очаровательную из твоих улыбок. А так как прохожие по большей части отличаются сговорчивостью и податливостью, то приказание вывесок исполняются буквально, свирепые взгляды и прелестные улыбки летят куда следует в роскошном изобилии, и самосознание так называемого образованного общества не делает ни шагу вперед, потому что основательное знание всех измышленных ярлыков и вывесок, ругательных и хвалительных, кажется этому образованному обществу весьма достаточным удовлетворением его политической любознательности. В каждом образованном обществе есть, правда, мыслящие люди, способные и желающие усомниться в безусловной верности и характеристической выразительности общепринятых вывесок и ярлыков. Эти люди возвышают голос и стараются вразумить массу слишком податливых и сговорчивых прохожих. Но многочисленные почитатели готовых ярлыков и вывесок находят себе в своих излюбленных ярлыках и вывесках самое сильное оружие против непрошенных вразумителей, нарушающих сладостную дремоту ленивых и неразвитых умов. Чтобы в значительной степени подорвать влияние оригинального мыслителя на общество, достаточно измыслить для него и для его единомышленников какую-нибудь хулительную кличку или, еще того лучше, включить его, вместе с его последователями, в какую-нибудь из существующих и уже достаточно опозоренных категорий. Если бы, например, какой-нибудь смелый чудак вздумал утверждать публично, что назвать человека какою-нибудь кличкою еще не значит доказать неопровержимо его абсолютную негодность и зловредность, что под одною вывескою могут находиться, по воле близоруких или недобросовестных классификаторов, очень многие предметы, друг на друга очень не похожие, и что, наконец,

в отношении к самым безнадежным негодяям надо все-таки соблюдать известное юридическое правило: audiatur et altera pars, * — то подобного чудака усмирили бы немедленно те самые классификаторы, которых он, чудак, старался уличить в пристрастии или близорукости. Над этим чудаком усердные классификаторы немедленно соорудили бы такую компрометирующую вывеску, которая в самом скором времени привлекла бы на его несчастную голову все свирепые и презрительные взгляды всех податливых и сговорчивых прохожих. Г. Толстой вооружается совершенно справедливо против готовых ярлыков и вывесок, посредством которых наши глубокомысленные классификаторы стараются решить с плеча самые сложные и запутанные вопросы общественной жизни. Г. Толстой требует изучения и анализа там, где любители готовых рубрик дают только ни на чем не основанные сентенции и резолюции. Г. Толстой старается спокойно и хладнокровно рассуждать с тою читающею публикою, которую наши классификаторы с полным успехом запугивали до сих пор блистательным арсеналом мудреных иностранных слов, кончающихся на -изм и долженствующих изобразить собою всякую умственную нечистоту. Нельзя не желать и в то же время трудно надеяться, чтобы этот хороший пример, поданный г. Толстым, нашел себе многочисленных подражателей.

Г. Толстой советует литературе обратить внимание на тех молодых людей, которым и в голову не придет приняться когда-либо за перо. Это — совет очень благоразумный. До сих пор наша литература занималась преимущественно или даже почти исключительно теми, сравнительно немногочисленными, молодыми людьми, которые размышляют или по крайней мере стараются размышлять за все свое поколение. Почти в каждом романе и в каждой повести весь интерес действия сосредоточивался вокруг какой-нибудь личности, которая по своему уму и развитию стояла выше всего окружающего. Роман или повесть очень часто стремились к тому, чтобы доказать несостоятельность, фальшивость и искусственность всех убеждений, воодушевлявших передового и развитого человека. Романист развенчивал и сводил с пьедестала своего героя, но, даже вступая с ним в ожесточенную борьбу, он все-таки занимался почти исключительно им одним, как воплощением тех идей, которые в данную минуту занимали собою лучшие и сильнейшие умы, поставленные в наиболее выгодное положение. Защищая или стараясь разбить те или другие идеалы, наша литература, в лице лучших своих представителей, в значительной степени упускала из виду жизнь, понятия и стремления тех очень многочисленных людей, которые прозябают со дня на день без всяких идеалов, без всяких умственных тревог, под всеподавляющим влиянием своих желудочных побуждений и иных инстин-

* Да будет выслушана и другая сторона *(лат.)*. — *Ред.*

ктов. Наши Чацкие, Печорины, даже, пожалуй, Онегины, наши Рудины, Бельтовы, Базаровы, все почти герои лучших наших беллетристических произведений, размышляют, сомневаются, волнуются, ищут себе в жизни какой-нибудь цели и смысла или же, усвоив себе определенный взгляд на вещи, стараются доставить ему полную победу над тем, что они считают человеческими предрассудками и заблуждениями. Все эти герои — или борцы за идею, или люди, тоскующие о том, что они не умеют сделаться такими борцами. Фон тех картин, на которых красуются эти герои, мыслящие или старающиеся мыслить, составлен всегда из таких людей, которые спят непробудным умственным сном и живут по силе инерции. Являясь в качестве хористов и аксессуарных принадлежностей, эти нетронутые мыслью люди оказываются до некоторой степени сносными и приличными, особенно в тех случаях, когда романист старается разоблачить ложность идеалов, увлекающих за собою передового человека. Чтобы убедиться в действительных достоинствах этих нетронутых людей, надо выпустить их на первый план и подвергнуть тщательному анализу все их отношения между собою. Этот полезный труд до сих пор не был предпринят во всем своем объеме. Людей толпы, дюжинных фланеров и виверов изображали и осмеивали до сих пор только фельетонисты и второстепенные художники, подобные Ивану Панаеву, художники, остававшиеся поверхностными фельетонистами даже в обширнейших своих романах. Пустые и ничтожные люди никогда не подвергались в нашей литературе тому тщательному и разностороннему изучению, которому подвергались и подвергаются до сих пор выдающиеся личности, способные увлекаться идеалами и жить в светлом и обширном мире умственного труда. От этого важного пробела в нашей литературе произошло для нас то неудобство, что мы слишком строго и, следовательно, несправедливо относимся к нашим мыслящим людям. Нам не с чем сравнивать этих людей; у нас нет такой мерки, которая дала бы нам точное понятие об их действительной ценности. Типы различных героев, сменявших друг друга в течение последних трех или четырех десятилетий, известны нам вдоль и поперек. Зная во всех подробностях, как они мыслят, как страдают, как любят, как спотыкаются и падают, мы можем пересчитать все мельчайшие пятна их жизни по тем документам, которые доставлены нам лучшими нашими писателями. Людей толпы мы, напротив того, знаем только из наших ежедневных сношений и столкновений с ними; но каждый из нас охотно сознается, что ему никогда не удастся подметить в явлениях жизни столько новых и характерных сторон, сколько способен уловить и фиксировать на бумагу великий поэт, подобный Диккенсу, Теккерею, Бальзаку или нашему Тургеневу. Отлично зная героев и плохо зная дюжинных людей, мы не можем отдать себе ясный отчет в том, насколько первые во всех своих поступках оказываются выше, чище и разумнее последних.

Типические особенности мыслящих героев изменяются сообразно с обстоятельствами времени и места; вместе с этими типическими особенностями изменяются также и отношения общества к мыслящим героям. Бывают такие времена, когда общество относится к этим людям особенно несправедливо; оно придирается с близоруким злорадством ко всем внешним, мелким и безвредным шероховатостям их характера; оно осмеивает и порицает их костюм, их прическу, их манеры, их резкий тон; в каждой безразличной мелочи оно видит или подозревает преступные и разрушительные тенденции. В такие времена бывает особенно полезно обращать внимание общества на образ жизни людей немыслящих; в этом образе жизни, в этих нравах и обычаях, в этих взглядах и, понятиях, сформировавшихся во мраке полуживотной бессознательности, находят себе объяснение все те резкости мыслящих героев, которые возмущают и скандализируют так называемое образованное общество. Рассматривая внимательно и беспристрастно понятия, стремления и поступки бессознательного большинства, те читатели, которые еще не утратили способности учиться и совершенствоваться, должны неизбежно прийти к тому убеждению, что мыслящие люди, со всеми своими странностями, резкостями, угловатостями и крайними увлечениями, стоят в психологическом отношении все-таки неизмеримо выше праздных и неподвижных коптителей неба. Повидимому, это такая простая и очевидная истина, которую совестно не только доказывать, но даже и высказывать.

III

Приступаем, наконец, к рассказу «Ольга». Дело начинается с того, что один веселый молодой человек, в один прекрасный летний вечер, целует *прямо в суставчик под локтем* одну совершенно незнакомую ему молодую девушку, которую он увидал у решетки ее сада на Аптекарском острове и которую он принял по ошибке за камелию. В тот же вечер молодой любитель *суставчиков* узнает от своего собутыльника, князя Вольского, что мнимую камелию зовут Ольгою и что она — воспитанница старой княгини Бецкой, при которой Вольский, в качестве внучатного племянника, состоит единственным законным наследником. Сообщивши эти сведения своему предприимчивому приятелю, Вольский немедленно предлагает ему представить его старой княгине, именно для того, чтобы приятель мог поволочиться за хорошенькою девушкою и, в случае успеха, соблазнить ее. Этот план кажется до некоторой степени смелым и предосудительным как самому приятелю, об интересах которого заботится добрейший Вольский, так и другим товарищам Вольского, рассматривающим его предложение у Излера, за многими бутылками шампанского.

«— Все-таки из этого ничего не выйдет, — утверждает отнекивающийся приятель. (Так как у г. Толстого эта особа, рассказывающая всю историю, оставлена без фамилии, то мы так и будем называть его *приятелем* во всей нашей рецензии.) — Ведь не свататься же мне.

— Какой вздор! — отвечал князь Вольский, — зачем свататься, и без того, может быть, обойдется. Вот как мы вдвоем приударим, так авось голубке и не отвертеться» (т. I, стр. 289). Воззрения веселых юношей на женщину обрисовываются весьма достаточно этим кратким, но выразительным обменом идей. Один говорит: ведь не свататься же мне, а другой находит чистейшим вздором даже самый легкий намек на сватовство. В том кругу, в котором вращается *приятель*, женитьба считается величайшею из всех возможных человеческих глупостей и оправдывается только настоятельною необходимостью поправить расстроенные финансы или приобрести могущественные связи. Когда *приятель*, познакомившись с княгинею Бецкою, влюбился в Ольгу по уши, тогда ему представилась следующая дилемма: «или бежать из Петербурга, или решиться переступить Рубикон, то есть просто жениться». «Как ни дико, — продолжает приятель, — как ни противно было мне последнее средство, но после нескольких дней затворничества и глубоких дум и рассуждений я уже мало-помалу начинал свыкаться с этою мыслью» (т. I, стр. 303). «Все эти думы,— говорит далее тот же приятель, — я хранил, разумеется, про себя и ни с кем не советовался, потому что в кругу моих знакомых меня подняли бы на смех, а из родных моих никого под рукою не было» (стр. 303).

Итак, жениться по любви на молодой, красивой, умной и образованной девушке, то есть завоевать себе самое живое, прочное и плодотворное из личных наслаждений, доставить счастье милому существу и его счастьем наполнить и осмыслить собственную жизнь — все это, по мнению веселых юношей, дико, противно и достойно самого беспощадного осмеяния. Во имя какой же идеи производится это ожесточенное отрицание семейной жизни, которая, по справедливому замечанию г. Толстого, «есть надежнейший оплот государственной жизни» (т. I, стр. 273)? Идеи нет никакой, а есть только непреодолимое отвращение ко всякому правильному и последовательному труду; во имя этого отвращения, всосанного веселыми юношами с молоком матери, взлелеянного в них домашними воспитателями, укрепленного примерами старших товарищей, обратившегося, наконец, в их вторую природу, — процветают и плодятся во всех европейских обществах старые брюзгливые холостяки, старые сварливые девы, блистательно несчастные и грязно несчастные камелии, побочные дети, принужденные христарадничать или воровать, воспитательные дома, поглощающие миллионы рублей, франков или гиней, заразительные болезни, отравляющие с самой колы-

бели целые поколения, и увеселительные заведения, отнимающие у безбородых юношей деньги, силы, совесть и ум. Отвращение к труду, порождаемое умственною пустотою и, в свою очередь, поддерживающее эту пустоту, заставляет веселых юношей отплевываться и открещиваться от таких отношений, которые могут наложить на них какие бы то ни было обязанности и подвергнуть их какой бы то ни было нравственной ответственности. Кто женится, тот почти наверняка подвергает себя опасности сделаться отцом. А детей надо кормить, одевать, обувать, обмывать, учить, воспитывать, вывозить в свет, выдавать замуж, выводить в люди, определять на службу. На все это необходимы деньги, а деньги — такая превосходная штука, на которую счастливый отец, если бы он не был счастливым отцом, мог бы добывать собственно для своей особы весьма достаточное количество самых свежих фленсбургских устриц, самых модных французских камелий, самых тонких шармеровских пиджаков и многих других самых изящных продуктов современной промышленности. Да и одни ли деньги требуются для того, чтобы поставить на ноги плаксивых ребятишек и сделать из них приличных джентльменов, способных носить громкое имя, не позоря его ни каким-нибудь вопиющим физическим уродством, ни вульгарными манерами, ни безобразным невежеством, ни чересчур грязною порочностью наклонностей и привычек? Надо не только нанимать, но еще и выбирать, и даже до некоторой степени контролировать наставников. Надо усовещевать, урезонивать, уговаривать резвого отрока, желающего раньше времени превратиться в веселого юношу и запустить предприимчивую руку в папашины карманы, уже достаточно опустошенные сначала подвигами холостой жизни, а потом держанием дома на приличной ноге. Надо сдерживать порывы пылкого юноши авторитетом и поучительным примером отца, а ведь это штука какая мудреная! Где их возьмешь — пример и авторитет? В каких магазинах счастливый отец пойдет покупать или заказывать себе эти вещи, когда они ему понадобятся?

Невыгодная сторона брака, с точки зрения веселого юноши, чересчур очевидна. Расходы, заботы, детский плач, марание шелковой мебели, женские причуды, однообразие супружеского счастия — этого слишком достаточно, чтобы превратить семейное счастие в отвратительное страшилище, на которое человек может броситься только очертя голову, под влиянием всепоглощающей страсти или теснимый безвыходностью финансового своего положения.

Привлекательная сторона супружеской жизни, с той же точки зрения веселого юноши, гораздо менее заметна. Можно даже сказать, что она совершенно исчезает за серым туманом забот и расходов. Любить жену и детей — это, повидимому, так просто и естественно, что каждый самый дюжинный человек должен был бы в этом отношении оказываться совершенно состоятельным.

Но действительная жизнь говорит нам совсем другое: счастливые супружества и нормальные отношения родителей к детям рассеяны, как крошечные оазисы, в целой неизмеримой Сахаре разнообразнейших семейных раздоров, которые начинаются обыкновенно с затаенной взаимной антипатии и кончаются нередко грязными скандалами или даже уголовными преступлениями. Чтобы действительно любить жену и детей и чтобы этою любовью доставлять первой прочное счастие, а вторым — истинную пользу, надо быть высоко развитым человеком, или по крайней мере надо жить постоянно в здоровой и укрепляющей атмосфере честного труда. Мыслящий человек достоин быть другом своей жены и своих детей; работник, добывающий свой насущный хлеб ценою тяжелых и постоянных усилий, способен также уважать в своей жене добрую и расторопную помощницу и воспитывать в своих детях честных и полезных тружеников. Но те люди, у которых нет в жизни ни определенной цели, ни любимого умственного труда, ни тяжелой необходимости заниматься ручною работою, те люди, которые живут для того, чтобы платить оброк виноторговцам и содержателям увеселительных заведений, — те могут понимать женщину только со стороны ее пластической привлекательности и относиться к своим детям так, как многие старики и старухи относятся к забавным комнатным зверкам. Чего может искать в своей жене какой-нибудь г. Вольский или его приятель, целующий незнакомых женщин в разные суставчики? Какими мыслями или чувствами, желаниями или опасениями могут такие господа делиться с своими супругами? — Г. Вольский может сообщать своей жене, хорошо или дурно улегся в его желудке воль-о-ван [3] или майонез, съеденный им за домашним обедом. Он может высказать ей, что чувствует головную боль после слишком усердного знакомства с бутылкою коньяка или мараскина. Он может открыть ей, что желает приобрести новую пару серых или рыжих жеребцов. Он может делиться с нею опасениями насчет того, что мошенник староста не вышлет во-время из черноземной губернии необходимое количество кредитных билетов. Он мог бы пожалуй, если бы дело пошло на откровенность, рассказать ей конфиденциально, что ему чрезвычайно понравилась нога такой-то балетной солистки или роскошные плечи такой-то камелии. Но так как подобные разговоры вести с женою не принято и даже не безопасно, то, по всей вероятности, дело на откровенность не пойдет, и ноги вместе с плечами будут исключены из репертуара супружеских разговоров. Надо сказать правду, репертуар этот не роскошен; истощить его нетрудно; и когда он окажется истощенным, тогда томительная скука и взаимное презрение усядутся за семейным очагом рядом с фешенебельными супругами.

У Вольского и его веселых товарищей, когда они имеют неосторожность жениться по так называемой страстной любви, томительная скука начинается тотчас после восторгов медового

месяца. А так как люди этой категории могут доставлять себе подобные восторги по нескольку раз в год, нисколько не обременяя себя неразрушимыми обетами, то не трудно понять, почему господа Вольские чувствуют глубокое отвращение к браку и предпочитают покупать себе временных подруг жизни за наличные деньги. Когда же слишком частые покупки подруг доводят господ Вольских до позорного разорения, тогда они в свою очередь продают себя богатой женщине или девушке, также за наличные деньги.

Так слагаются в веселом обществе г. Вольского отношения между мужчинами и женщинами; понятно, что это не те отношения, которые, по замечанию г. Толстого, составляют «надежнейший оплот государственной жизни».

В нашей литературе уже не раз слышались вопли о том, что семейные добродетели начинают увядать в нашем отечестве, и виновниками этого увядания выставлялись, с свойственною нашим литераторам догадливостью, какие-то теоретики, открыто проповедующие людям голый разврат, во имя каких-то новых идей. [4] — Это предположение, делающее очень много чести остроумию и добросовестности наших литераторов, блистательно опровергается тем нравоучением, которое без малейшей натяжки может быть выведено из повести «Ольга». В самом деле, процветает ли семейная жизнь в веселом обществе г. Вольского, которое никогда не увлекалось никакими идеями, ни старыми, ни новыми? — Если не процветает, то, стало быть, ее процветанию мешают не зловредные проповеди каких-нибудь двух, трех увлекающихся фантазеров, а те или другие общие условия, засевшие очень глубоко в нашу вседневную жизнь и подчиняющие себе все то, что пассивно увлекается течением этой жизни. Семейные добродетели вянут и гибнут не от умственных заблуждений, которые, доразвившись до абсурда, сами себя уничтожают и во всяком случае обогащают общество новым запасом опытности.

IV

Приятель князя Вольского знакомится с княгинею Бецкою, видается часто с ее воспитанницею Ольгою, влюбляется в нее и, наконец, при всем своем отвращении к женитьбе, уже решается сделать ей предложение, как вдруг узнает, что Ольга — крепостная девушка, дочь лакея Петра, находящегося еще в услужении у старой княгини. Сделав это замечательное открытие, приятель приезжает к Ольге и с особенно язвительным намерением называет ее по имени и по отечеству. Что веселый юноша старается таким лакейским манером оскорбить ту девушку, в которую он влюблен, — это нисколько не удивительно. На то он и веселый юноша, на то он слушает эстетические лекции в Излеровском университете,

на то он — приятель г. Вольского, хладнокровно рассуждающего о средствах погубить молодое и чистое существо! — Но удивительно и даже неправдоподобно то, что он, рассказывая всю историю своим собутыльникам, сам, без всякой надобности и с особенною настойчивостью, упоминает о своем мальчишеском старании уязвить бедную девушку намеком на ее слишком скромное происхождение. Это тем более неправдоподобно, что вслед за глупою выходкою нашего приятеля приводится длинное объяснение его с Ольгою, — объяснение, в котором нелепость и мизерность его язвительных стараний выставляется на вид самым убедительным образом. Вследствие этого его рассказ о глупой выходке превращается в сознательное самообличение, до которого, по нашему мнению, веселые юноши решительно не способны возвыситься. Веселым юношам даже до Гамлета Щигровского уезда, как до звезды небесной, далеко.

В своем объяснении с приятелем, к которому она очень неравнодушна, Ольга высказывает очень верный и спокойно объективный взгляд на свое невыносимое положение.

Если бы княгиня, — говорит она между прочим, — подумала о моей будущности, то она позаботилась бы пристроить как-нибудь моего отца и уволила бы его от лакейской должности. Скажите, сообразно ли это с чем-нибудь? Меня воспитывают, дают мне образование, развивают мои понятия — и тут же под боком держат отца моего в унижении! Да это безнравственно в высшей степени, подумайте, ради бога! Чего же хотели от меня? Чтоб я отвернулась от отца, стала бы гнушаться, презирать его? Да они чуть и не добились этого! Когда я была маленькая, я избегала отца; но благодаря бога, с развитием разума, поняла, что он ни в чем тут не виноват (т. I, стр. 309).

Почему именно ум Ольги развился правильно в такой атмосфере, где искажаются все лучшие человеческие инстинкты и где атрофируются все благороднейшие человеческие способности, — это важная психологическая задача, которая у г. Толстого оставлена совершенно нетронутою. В этом замечательном факте нет ничего абсолютно невозможного. Бывают в жизни такие стечения обстоятельств, вследствие которых живая мысль прокрадывается в самые темные убежища рутины. Но автор, по нашему мнению, не в праве оставлять читателя в недоумении, и читатель вовсе не обязан присочинять от себя то, что не договорено или не додумано автором. Если читатель видит следствия, то он должен видеть и причины. Если он слышит умные речи от воспитанницы глупой и надутой барыни, княгини Бецкой, то он имеет право требовать, чтобы ему показали главные моменты того процесса развития, посредством которого молодая девушка доработалась до верного понимания окружающих людей и своего собственного положения.

Приятель князя Вольского, слушая возлюбленную Ольгу, волнуется духом, проливает слезы глупейшего умиления, припадает к рукам несчастной девушки и, разумеется, кончает все эти

раздирательные сцены тем, что прощается с нею, потому что, в самом деле, не резон же ему, ведущему хлеб-соль с великосветскими фатами и напивающемуся каждый день в самом отборнейшем обществе, венчаться с холопкою. Ольга расстается с ним как с другом. По нашему мнению, это обстоятельство составляет со стороны автора довольно важную психологическую ошибку, которая, правда, была необходима для того, чтобы Ольга впоследствии могла рассказать веселому юноше окончание своей печальной истории, но которая все-таки нисколько не оправдывается этим соображением. Если Ольга силами собственного ума доработалась до верного и честного взгляда на междучеловеческие отношения, если она, блестящая барышня, не стыдится целовать в обе щеки своего отца, перемывающего княжескую посуду, то она должна смотреть с глубоким презрением на мужчину, который, имея полную возможность развиваться, совершенствоваться и бороться с смешными заблуждениями общества, малодушно отступает перед фантастическим препятствием, поставленным людскою глупостью между ним и любимою девушкою. «Чем более я думаю, — говорит Ольга своему обожателю, — тем более убеждаюсь, что для меня нет будущности» (т. I, стр. 330). Невозможно понять, каким образом умная девушка не видит, что будущность ее уничтожается не фальшивостью ее положения, а просто нравственною дряблостью и умственною убогостью ее возлюбленного. Как бы то ни было, психологическая ошибка очевидна, и прямым следствием этой ошибки оказывается конфиденциальный разговор, веденный между Ольгою и приятелем в великолепной карете, в которой Ольга, сделавшаяся блистательною лореткою, или камелиею, везет своего бывшего поклонника на Елагин остров и обратно. В этом разговоре Ольга объясняет веселому юноше, каким путем она дошла до необходимости продавать свои поцелуи.

Смерть глупой графини Бецкой дала новый поворот всему существованию ее несчастной воспитанницы. Княгиня до последней минуты осталась верна своему характеру, то есть завершила блистательною глупостью тот длинный ряд нелепостей, которыми она отравила жизнь бедной Ольги с самой колыбели. Желая обеспечить положение своей воспитанницы, она написала по-французски инструкцию своему единственному наследнику, князю Вольскому, и этого же самого Вольского назначила своим душеприказчиком. Вольский, разумеется, поступил так, как должен поступить роскошный цветок, распустившийся на грядках Излеровского палисадника. Он употребил инструкцию своей бабушки на раскуривание сигары и предложил Ольге сделаться его любовницею за очень хорошую цену. Делая ей это предложение, он говорил с нею так, как приличному молодому человеку подобает говорить с лакейским отродьем. Он называл ее просто Ольгою и не баловал ее местоимением *вы*. Ольга, с свойственною ее сословию бесчувственностью, и черною неблагодарностью, отвечала на

почтенное предложение великодушного князя горделивым и дерзким отказом. Если за эту непристойную выходку ей не пришлось дорого поплатиться, то этим счастливым для нее обстоятельством она обязана никак не предусмотрительности своей незабвенной благодетельницы и воспитательницы, а только тому случаю, что старая княгиня умерла уже после реформы 19 февраля 1861 года. Князь Вольский с своей стороны сделал все, что было в его власти. Он немедленно выгнал строптивую холопку из своего княжеского дома.

Для Ольги началось мучительное искание честного труда. Она хотела есть хлеб свой в поте лица своего, но это лицо было так красиво, что добрые люди никак не могли допустить, чтобы ее белая и тонкая кожа покрывалась каплями грубого неизящного трудового пота.

Чтобы найти себе работу и отвадить от себя любителей продажных наслаждений, Ольге надо было залить себе лицо купоросным маслом. Она не догадалась или не решилась употребить это героическое средство. После долгой борьбы с гнетущею нищетою, она продала себя и была вознаграждена за благоразумную уступчивость удобною квартирою, мягкою мебелью, быстрыми рысаками и всем тем, что веселит сердце человека, не испорченного завирательными идеями.

Этот очерк может быть дополнен еще двумя выразительными подробностями. Окончив свой рассказ, отставной поклонник Ольги задает своим веселым собеседникам вопрос, как им держать себя с Вольским, который, как им известно из рассказа, оказывается непристойным пакостником. Толпа погружается в недоумение, от которого ее спасает следующий возглас одного из присутствующих: «Может и врет твоя прелестница?» (стр. 323). Вся толпа с единодушным восторгом ухватывается за этот неожиданный выход из затруднительного положения. Князь Вольский попрежнему остается в глазах своих товарищей веселым малым, отличным собеседником и душою общества.

Вторая выразительная подробность состоит вот в чем. Молодой человек серьезной наружности, нечто в роде Здравосуда старых комедий, произносит после окончания рассказа сердитый монолог, который читатели могут найти на стр. 324 и 325. В этом монологе он отделывает очень справедливо всех деятелей выслушанного рассказа: самого рассказчика за малодушие, Вольского за воровство, Бецкую за младенческое незнание жизни, Ольгу за безхарактерность, побудившую ее продаться, чтобы спастись от нищеты. В монологе юного цензора нравов выразилось полнейшее презрение ко всем понятиям того кружка, среди которого он присутствовал; однако же юный цензор сам бражничает с разгромленными им негодями, а оплеванные негодяи продолжают обращаться с ним как с милым товарищем. Они хорошо понимают, что гром не всегда бывает из тучи.

V

Роман «Болезни воли», напечатанный в первом томе сочинений г. Толстого, составляет начало целого ряда очерков, в которых автор хотел описать развитие некоторых наиболее замечательных нервных или душевных болезней. «По первоначальному плану, — говорит г. Толстой, — автор намерен был написать под этим заглавием четыре очерка. Первый, — *правдомания* (предмет ныне перепечатываемой повести из «Русского вестника» 1859 года), [5] второй — *лжемания,* или, вернее, *мания лжи,* третий — *пиромания* и четвертый — *убийствомания*».

К сожалению, этот план остался невыполненным, и в печати появился до сих пор только один первый очерк. «Равнодушие литературной нашей критики, — продолжает г. Толстой, — к первому очерку, о котором ни в одном из журналов не было даже и упомянуто, заставило автора предположить, что несвоевременно еще вводить психиатрические исследования в область нашей беллетристики».

Равнодушное молчание литературной критики может, конечно, огорчить и обескуражить талантливого писателя, выбирающего себе совершенно самостоятельную дорогу и старающегося поднять в своих произведениях еще нетронутые психологические и общественные вопросы, — но тем не менее мы решительно не считаем возможным согласиться с тем предположением, на которое навела г. Толстого невнимательность журнальных рецензентов. Журнальная толпа молчала потому, что не знала, каким образом отнестись к совершенно оригинальному явлению, а лучшие люди литературы не заметили психиатрического очерка, потому что их внимание было постоянно устремлено на самые насущные потребности народной жизни, на самые животрепещущие общественные вопросы, решение которых в то время встречало себе множество явных и тайных препятствий. [6]

В 1859 году еще надо было доказывать, что русским крестьянам необходима земля; надо было отстаивать крестьянскую общину против инсинуаций московских англоманов; [7] надо было воспитывать в русских читателях уважение к человеческой личности; надо было обучать русское общество азбуке политической и даже семейной нравственности; надо было анализировать самодурство во всех его разнообразных проявлениях; надо было, наконец, объяснить самой литературе, что, забавляя и усыпляя общество сладкими звуками, пестрыми картинами и самодовольными взглядами на собственные прелести, она, литература, самым позорным образом изменяет своему высокому назначению. Работы было много; работа не терпела отлагательства, а лучшие люди были наперечет, так что им невозможно было обнять и оценить все те литературные явления, которые стоили серьезной оценки и которые останавливали на себе внимание читателей. В лучших наших

журналах критика никогда не гналась за полнотою обзора; писатели выбирали обыкновенно только то, что давало им повод развить в печати самые задушевные свои убеждения и поделиться с читателями самыми своевременными советами. От этих писателей, заваленных общеполезною работою и боровшихся с самыми серьезными трудностями, нельзя было требовать даже и того, чтобы они сами прочитывали всю массу беллетристических произведений, появлявшихся в наших журналах. Чтобы не осудить себя на вечное чтение и отыскивание работы, этим писателям необходимо было в большей части случаев руководствоваться заглавием повести или романа, подписью автора, фирмою журнала, в котором напечатано данное произведение, или отзывами своих знакомых. Если бы, например, сам Добролюбов прочитал «Болезни воли», то легко может быть, что он по поводу этого романа написал бы одну из лучших своих критических статей. Но по всей вероятности отношения Добролюбова к «Болезням воли» ограничились тем, что он бросил беглый взгляд на обертку «Русского вестника» и потом быстро пробежал в романе г. Толстого несколько страниц, которые показали ему только, что действие происходит в сумасшедшем доме. Сделав это открытие, Добролюбов, вероятно, отложил книгу в сторону и перешел к другим занятиям.

Таким образом, критика промолчала о «Болезнях воли», но публика заметила этот роман и прочитала его со вниманием. О нем в свое время много говорили, и люди, познакомившиеся с ним семь лет тому назад, помнят его до настоящей минуты. Поэтому мы никак не можем найти особенно похвальным то обстоятельство, что автор сложил руки и до сих пор оставляет ненаписанными те три очерка, которые входили в состав его первоначального плана. Литература наша совсем не так богата умными и добросовестно обдуманными произведениями, чтобы мы могли относиться с снисходительным равнодушием к бездействию даровитых мыслящих писателей, подобных г. Толстому. Это бездействие тем более предосудительно, что его в данном случае нельзя объяснить отсутствием сюжетов. Сюжеты готовы, план обдуман, остается только приняться за выполнение, а между тем писатель сидит сложа руки и сетует на равнодушие критики, вместо того чтобы бороться с этим мнимым равнодушием новыми подвигами живого творчества. Если предосудительное бездействие автора вызвано действительно невниманием литературной критики к прежним его произведениям, то мы по мере наших сил постараемся отнять у этого бездействия его единственное и далеко не удачное оправдание.

Мы желали бы именно, чтобы г. Толстой привел в исполнение тот план, который он называет *первоначальным*. Мы требуем от него не повестей и романов вообще, а именно психиатрических очерков. Мы совершенно несогласны с его рискованным предположением, будто «несвоевременно еще вводить психиатрические

исследования в область нашей беллетристики». Автор сам же говорит в конце того же предисловия, что во многих случаях психиатрия и криминалистика должны идти рука об руку и что психиатрические вопросы приобретают особенно важное значение при новом уголовном судопроизводстве с участием присяжных заседателей. Это последнее мнение мы признаем совершенно справедливым. Присяжные заседатели, не имеющие никакого понятия о душевных болезнях, никогда не размышлявшие над сложными психологическими и психиатрическими задачами и твердо убежденные в том, что сумасшедший должен непременно бесноваться, драться, кусаться и плеваться, орать, хохотать, безчинствовать и городить невыносимейшую чепуху, — такие присяжные, разумеется, рискуют произнести осуждение над сотнями таких людей, которые нуждаются не в наказании, а в систематическом лечении. Если эти присяжные захотят руководствоваться исключительно судебно-медицинским исследованием подсудимых, то остроги, наверное, присвоят себе то, что по всем правам принадлежит психиатрической лечебнице. Во-первых, медицинское исследование считается необходимым только тогда, когда в преступлении оказывается что-нибудь до крайности странное и нелепое или когда подсудимый во время своего содержания под стражею начинает вести себя чересчур оригинально. Во-вторых, это исследование производится часто с поверхностною формальностью в тех случаях, когда оно ускользает от внимательного и просвещенного контроля общественного мнения. В-третьих, каждый знающий и добросовестный медик сознается в настоящее время, что в очень многих случаях помешательства мы, при самом внимательном исследовании, видим только следствия, но не видим причин, то есть, другими словами, наблюдатель замечает у пациента ненормальность в процессе мышления и в образе действий, но при всех своих стараниях не может открыть в его теле никакого расстройства. Когда совершено преступление, тогда самый факт преступления служит ясным доказательством ненормальности в процессе мышления и в образе действий; затем остается только найти причину этой ненормальности; причину отыскивают посредством медицинского исследования, а когда это исследование не ведет к открытию органического расстройства, тогда решают, что преступление совершено подсудимым сознательно, при полном обладании всеми умственными способностями. Неосновательность такого рассуждения совершенно очевидна, и присяжные, чтобы не рассуждать таким образом и чтобы не наказывать больных людей, должны подвергать тончайшему психологическому анализу всю длинную цепь поступков, раскрытых судебным следствием и завершившихся тою катастрофою, которая привела человека на скамью подсудимых. Но чтобы анализировать человеческие поступки с психологической стороны, надо же по крайней мере знать приблизительно, что́ делается здоровым человеком и что́ больным,

надо иметь хоть какое-нибудь понятие о том, где кончаются проявления нормальной умственной деятельности и где начинаются мысли, слова и поступки, подлежащие ведению психиатра. Эти общие понятия о границах нормальной душевной деятельности должны иметь не судьи, не адвокаты, не прокуроры, а именно присяжные, то есть люди, которые берутся для решения уголовных дел из всех возможных профессий и классов общества. Эти люди почерпают свои знания не из какой-нибудь одной учебной книги, не из лекций какого-нибудь одного профессора, а из того общего фонда сведений, взглядов и идей, который в данный период времени находится в распоряжении всей читающей массы. Не подлежит сомнению, что беллетристические произведения находят себе наибольшее число читателей, и чем ниже стоит в обществе уровень знаний и умственного развития, тем значительнее разница, существующая всегда между числом читателей, преданных одной беллетристике, и числом читателей, посягающих также и на чисто научные произведения. У нас эта разница чрезвычайно значительна, вследствие этого на нашей беллетристике лежат такие важные обязанности, которые не могут быть выполнены за нее никакою другою отраслью литературы.

Одна беллетристика и с нею вместе ее неразлучная спутница, литературная критика, могут пускать в обращение такие идеи, которые для пользы и успешного развития нации должны становиться общим достоянием всей читающей массы. Только беллетристика и литературная критика могут указывать обществу на те многочисленные пробелы, которые бросаются в глаза каждому мыслящему наблюдателю в так называемом общем образовании. Пополнять эти пробелы — дело строгой науки. Но направлять внимание общества на те пункты, где необходимы знания и где их не имеется в наличности, — это может делать только самая распространенная и общедоступная отрасль литературы.

В том деле, о котором мы говорим в настоящую минуту, в деле расширения и выяснения наших взглядов на умственные отправления и душевные болезни, беллетристика незаменима.

Превратить наших присяжных в тонких психологов и опытных психиатров беллетристика, конечно, не может; это совсем не ее дело, да этого даже и не требуется. Но она действительно может убедить каждого добросовестного и неглупого человека в том, что все психологические вопросы отличаются чрезвычайною сложностью и запутанностью, что вопрос о преступности или непреступности провинившейся личности есть вопрос чисто психологический и, следовательно, чрезвычайно сложный и запутанный и что при решении подобных вопросов необходима самая строгая осмотрительность и самая тщательная точность умозаключений.

Пробуждая в читающих людях мучительное сознание их теперешней некомпетентности в решении сложных психологических вопросов, из которых слагается еще более сложный вопрос

о виновности или невиновности подсудимого, беллетристика может и должна привести общество к тому убеждению, что в программу общего образования необходимо ввести науку о человеке, о его умственных отправлениях и душевных болезнях. В виду такой задачи, которую только беллетристика может решить удовлетворительно, мы считаем совершенно неосновательным то предположение г. Толстого, что «несвоевременно еще вводить психиатрические исследования в область нашей беллетристики».

VI

Душевные болезни отличаются от многих других человеческих недугов тем, что в них есть одна сторона, интересная не только для медика-специалиста, но и для всякого образованного человека, способного задумываться над явлениями общественной жизни. Душевные болезни развиваются всегда под постоянным влиянием тех отношений, которые существуют между данным субъектом и окружающими его людьми и обстоятельствами. На развитие какого-нибудь воспаления в легких или в мочевом пузыре общественные условия не могут иметь никакого прямого влияния, но на развитие тех или других галлюцинаций, той или другой мономании действует так или иначе каждое столкновение заболевающей личности с родственниками, с начальством, с друзьями и с врагами, с бедностью и заботами, с чужими взглядами, интересами, странностями или заблуждениями. Поэтому, прослеживая шаг за шагом постепенное усиление помешательства, романист и вслед за ним критик могут навести внимательного читателя на длинный ряд плодотворнейших размышлений о характеристических особенностях общественной жизни в данный период времени.

Первый и единственный изданный психиатрический очерк г. Толстого посвящен подробному описанию одного из самых интересных видов душевного расстройства. Герой романа, князь Пронский, одержим непреодолимою страстью всегда и везде говорить людям всю правду, и только правду. Его коробит, возмущает и, наконец, доводит до исступления всякая ложь, всякая неискренность, всякая несправедливость и недобросовестность, в чем бы она ни выразилась — в словах, в поступках или в целом строе междучеловеческих отношений. Такой больной, как Пронский, в высшей степени способен быть героем романа. С первого своего появления на сцену этот неустрашимый и пылкий обожатель истины приковывает к своей светлой личности, над которой горит с детства венец подвижника и мученика, — всю любовь, всю нежность, все глубокое и до болезненности страстное сочувствие не испорченного и не засосанного тиною жизни читателя. Невольно складывается в уме изумленного читателя нескромный вопрос:

на чьей же стороне находится заблуждение? На стороне ли того безукоризненно-чистого и хрустально-прозрачного Дон-Кихота, который с четырнадцати лет садится на коня, ломает копья за свою возлюбленную красавицу Правду и, наконец, влетает на своем Россинанте прямо в сумасшедший дом, или же на стороне того общества, которое с ужасом и с негодованием отворачивает лицо и закрывает глаза перед ослепительным сиянием Правды? Вопрос этот у большинства читателей остается без ответа. С одной стороны, они не осмеливаются сказать человеку: ты виноват тем, что не хочешь и не умеешь лгать. С другой стороны, они не решаются осудить общество за то, что оно, требуя от человека постоянной лжи, этим мучительным и позорным требованием доводит его до помешательства и загоняет его в сумасшедший дом. Мы не будем останавливаться на этом вопросе и не попробуем решать его ни в ту, ни в другую сторону. Пронского свидетельствуют в губернском правлении и признают помешанным; Пронского везут в Петербург и сдают с рук на руки опытному и добросовестному психиатру как человека, неспособного жить в обществе и пользоваться гражданскими правами. Опытный и добросовестный психиатр принимает его в свою лечебницу как человека, действительно нуждающегося в медицинской помощи. Этих фактов чересчур достаточно для того, чтобы признать Пронского действительно помешанным. Признаем этот пункт; согласимся с приговорами медицинских и чиновных авторитетов; примем на веру их решение и рассмотрим внимательно, во всех подробностях, какой ряд столкновений с обществом довел князя Пронского до невозможности жить на свободе.

Попавши в лечебницу, Пронский по совету главного доктора, Пусловского, пишет свои воспоминания с той минуты, как он начал отдавать себе отчет в своих собственных ощущениях и во всем том, что вокруг него происходило. В своих записках Пронский рассказывает очень толково все важнейшие события своей жизни и анализирует очень отчетливо и тонко все главные фазы своего внутреннего развития. Читателя не должно изумлять и озадачивать то обстоятельство, что сумасшедший пишет так складно, умно и последовательно. Те явления, которые мы еще до сих пор сваливаем в кучу, под одну общую надпись: *безумие, сумасшествие* или *помешательство,* — отличаются бесконечным разнообразием. Безумными, сумасшедшими или помешанными называются на нашем, до крайности неточном, разговорном языке и такие субъекты, которые бросаются на людей, чтобы избить или искусать их, и такие, которые потеряли способность составлять в голове своей самые простые понятия, и такие, которые с утра до вечера, без цели и без смысла, твердят какие-нибудь два-три слова, и такие, которые создают себе силою своего разыгравшегося воображения целый мир, доступный им одним и переполненный сказочным блеском и великолепием, и, наконец, даже такие, с кото-

рыми вы можете, не без пользы и не без удовольствия, рассуждать и спорить в продолжение целых часов о самых головоломных, запутанных и отвлеченных вопросах науки, политики и литературы. К этой последней, самой интересной и трогательной категории помешанных принадлежал и князь Пронский. Вот какими красками сам Пронский рисует свое душевное расстройство.

Признаками помешательства, — говорит он на первой странице своего дневника, — или болезненного состояния разума, почитаются менее или более сильные уклонения от общепринятых форм как в действиях, так и в мышлении. Абсолютное приложение этого афоризма повело бы к весьма странным результатам, а потому придумана следующая оговорка: уклонение от общепринятых форм в действиях или мышлении тогда только признается помешательством, когда оно клонится ко вреду большинства членов гражданского общества. Так, например, ложь официальная может иногда быть признана полезною, а правда — вредною. Положим, что общественный порядок действительно иногда этого требует, но из этого еще не следует чтобы человек, увлекающийся правдою, был помешанный. Каждый, без сомнения, испытывает по временам желание сказать пьянице, что он пьяница; вору, что он мошенник; тупоумному, что он дурак, но воздерживается, то есть укрощает это желание помощию таинственной пружины, называемой *волей*. Так вот в чем дело! у меня попорчена пружина воли! Что же толкуют о болезненном состоянии моего разума, тогда как у меня вполне сохранилась способность мышления? О люди, люди! Когда же вы будете называть предметы настоящим их именем? Когда перестанете вы отвечать, как говорит Пигасов Тургенева, на вопрос, сколько составляет дважды два, — стеариновая свечка? (т. I, стр. 25—26).

Говоря о *таинственной пружине,* Пронский повторяет подлинные слова автора. В предисловии к «Болезням воли» было сказано, что автор намеревался целым рядом очерков изобразить «тот малоизведанный еще душевный недуг, при котором ослабевает таинственная пружина, называемая *волею*». Нам кажется, что в деле князя Пронского незачем было останавливаться на таинственной пружине. Здесь анализ мог бы пойти несколько глубже, и таинственность, окружающая пружину, могла бы, таким образом, до некоторой степени рассеяться. Этот более глубокий анализ мог быть произведен с особенным удобством самим князем Пронским, потому что он сам лучше всякого постороннего наблюдателя может отдать себе отчет в тех побуждениях, которые заставляют его называть каждый предмет его настоящим именем, то есть, пьяницу — пьяницей, вора — вором и дурака — дураком.

Когда впечатлительный человек, подобный князю Пронскому, встречается с каким-нибудь нравственным безобразием, тогда в нем пробуждается отвращение и является потребность как можно скорее избавить себя от мучительного зрелища. Если бы нравственное безобразие могло развертываться и обнаруживаться, не нанося никому ни боли, ни ущерба, то всякий князь Пронский поступил бы при встрече с безобразием так, как поступаем мы все, наткнувшись где-нибудь в поле на разлагающуюся падаль. Он постарался бы пройти мимо ускоренным шагом, зажимая нос,

глаза или уши, смотря по тому, на который из этих органов данное безобразие производит наиболее тягостное впечатление.

Но каждое нравственное безобразие непременно обрушивается так или иначе на какую-нибудь жертву. Пьяница пропивает деньги, в которых нуждается его семейство; вор посредством различных хитростей отнимает у других людей продукты их честного труда; дурак своею глупостью портит такие дела, от которых зависит благосостояние посторонних лиц. Видя таким образом нравственное безобразие как причину и физическое или нравственное страдание как неизбежное следствие, впечатлительный человек, подобный князю Пронскому, проникается неудержимым желанием уничтожить или обезоружить безобразие и прекратить ту пытку, которую терпит несчастная жертва. В этом желании нет еще ничего болезненного, ничего такого, что должно было бы открыть впечатлительному человеку гостеприимные двери сумасшедшего дома. Но далее пути расходятся, и люди, глубоко и тонко чувствующие, отделяются от массы людей, прозябающих и ставящих выше всего интересы своего желудка и своего кармана. Рыцарское и, пожалуй, дон-кихотское (Дон-Кихот был очень честный человек) желание вступить в смертельный бой с нравственным безобразием и вырвать из его грязных лап измученное им живое существо встречает себе некоторое противодействие со стороны спокойного и хладнокровного размышления на ту тему, что, мол, одолею ли я это гнусное чудовище, и не найдет ли оно себе многочисленных и усердных защитников, и что скажут окружающие зрители, и не намнут ли мне самому мои рыцарственные бока.

Голос практической мудрости, или, другими словами, животный инстинкт самосохранения, в огромном большинстве случаев одерживает перевес над всеми остальными влечениями и соображениями. Добрые люди опускают глазки и стыдливо проходят мимо нравственного безобразия, причем в их скромных душоночках шевелится какое-то подобие радости и благодарности, которое может быть сформулировано так: слава тебе, господи, за то, что в настоящую минуту бьют и оскорбляют не меня, а одного из моих ближних! Именно это малодушное желание соблюсти во что бы то ни стало неприкосновенность собственных боков и собственных интересов действует на *таинственную пружину* и дает ей такое положение, что язык человека, смотрящего на безобразие, прилипает к гортани, а губы, из которых должно было вылететь слово *пьяница*, *вор* или *дурак*, слагаются в неопределенно-благодушную улыбку.

Человек *воздерживается*, но из этого еще не следует то заключение, что у него *таинственная пружина* крепче, чем у другого человека, который, вместо того чтобы воздержаться, разражается бурею негодования. Факт воздержания значит только то, что у данного субъекта чувство самосохранения одерживает верх над любовью к ближнему, терпящему обиду от нравственного

безобразия. Чтобы победить в себе это очень естественное чувство страха за собственную особу, надо сделать над собою усилие воли, или, точнее, надо, чтобы таинственная пружина в данном случае попала под влияние сильного чувства, возбужденного видом чужого страдания. Таинственная пружина может быть одинаково крепка и у того, кто воздерживается, и у того, кто бросает в глаза негодяям те имена, которые принадлежат им по праву. Вся разница между обоими людьми состоит в том, что у первого пружина подчиняется чувству робости, а у второго — чувству деятельной любви, которая побеждает и заглушает в решительную минуту животный инстинкт самосохранения. Словом, воздерживается в большей части случаев тот, кто любит ближнего вялою и хилою любовью, а разражается тот, кто способен любить глубоко и страстно.

Для людей последней категории, для людей, недоступных страху и способных возвышаться до самого чистого героизма, существует также возможность сдерживать взрывы великодушного негодования.

Чтобы воздерживаться от мелких, разрозненных и совершенно бесполезных вспышек, им надо только знать общие и коренные причины того нравственного безобразия, отдельные проявления которого бросаются им в глаза и возбуждают против себя их негодование. Когда общие причины зла исследованы и приведены в известность, тогда не трудно сообразить, что надо действовать всеми силами ума и всею энергиею таинственной пружины против этих причин, потому что после упразднения причин следствия должны уничтожиться сами собою. Придя к тому убеждению, что мелкая и беспорядочная война против мелких и второстепенных проявлений зла ведет только к бесполезному изнурению самого бойца, человек, любящий своих ближних, рассмотрит как можно внимательнее положение общих и коренных причин; увидит, какие главные задачи представляются искренним и неустрашимым противникам зла; поймет, что вся работа в ее совокупности оказывается не по силам самому сказочному из всех сказочных богатырей; попробует свои способности на нескольких различных отраслях предстоящей работы и, наконец, возьмет себе на всю свою жизнь ту часть великого труда, которая всего более соответствует складу его ума. Когда совершится этот выбор, когда будет сделан этот важнейший шаг в жизни мыслящего мужчины, — тогда уже беспорядочное разбрасывание умственных сил и нравственной энергии на шлифование мелких житейских шероховатостей становится невозможным. После сделанного выбора в жизни человека есть смысл, есть цель, есть общественная задача, разрешение которой для него дороже самой жизни. Человек, сделавший разумный выбор и идущий твердыми шагами по выбранной дороге, может при встрече с пьяницею, с вором, с дураком воздержаться от таких возгласов, которые были бы способны

вовлечь его в неприятную историю, перессорить его с обществом и поставить его в затруднительное положение. Он воздержится не вследствие трусости, а вследствие горячей любви к своей задаче. Он знает, что перед ним действительно находится пьяница, или вор, или дурак, знает он также и то, что эти уроды занимают не то положение, которое приличествует людям их категории; он испытывает также свойственное честному человеку желание опозорить и заклеймить негодяев. Но прежде чем был сделан его выбор, он в этом опозоривании и наложении клейм на вредных негодяев видел свою прямую обязанность и единственную доступную ему форму служения человечеству. От этого привлекательного занятия его могло удерживать только чувство самосохранения, и он совершенно основательно не доверял этому чувству, которое действительно всего чаще вовлекает человека в подлость и в самое грязное поругание собственного достоинства. Теперь, после выбора, дело совсем другое. Теперь ему сделалась доступною такая форма служения, для которой он развил в себе известные способности, приобрел специальные знания, усвоил себе путем более или менее продолжительной работы необходимую сноровку. Теперь он имеет право проходить молча мимо подлости и глупости; его молчание не может быть поставлено ему в укор и принято за потворство или нравственное сообщничество; вся его жизнь — постоянная борьба против преобладания глупости и подлости; он борется с ними решением своей специальной задачи, и этим образом действий он приносит людям гораздо больше пользы, чем сколько могло бы им принести самое настойчивое и неустрашимое называние всех воров — ворами, а всех дураков — дураками.

Нам кажется поэтому, что все несчастие князя Пронского состояло в его неуменье найти себе в жизни определенную общеполезную задачу. Его умственные и нравственные силы, не сосредоточенные ни на чем, потратились на бессвязные подвиги мелкой борьбы, в которой, при отсутствии всякого определенного плана, успех был совершенно невозможен. Безуспешность борьбы довела пылкого и впечатлительного молодого человека сначала до отчаяния, а потом до сумасшедшего дома.

Все отдельные подробности романа подтверждают эту общую мысль.

VII

Князь Пронский воспитывался в богатом деревенском доме своей доброй и глуповатой матери, под руководством французского эмигранта, m-r de Livry, который внушал своему воспитаннику, *«что бог создал свет для дворянского сословия»* и что *«дворянин не должен лгать, даже если ему угрожают смертью»*. Резвому и восприимчивому мальчику вбивался в голову кодекс таких нравственных понятий, которых необходимость и разум-

ность никогда не доказывается и никаким способом не может быть доказана. Из всех поучений m-r de Livry всего глубже подействовала на ребенка мысль о священной обязанности говорить всегда правду, но эту мысль ребенок принял на веру, нисколько не отдавши себе отчета в том, почему именно правда необходима, а ложь вредна во всяком человеческом обществе. Ребенок полюбил правду и возненавидел ложь инстинктивно; ему втолковали, что первое — хорошо, а второе — дурно, и он свыкся с этими взглядами, он привязался к ним, он поставил их в своей душе выше всякого сомнения.

Как бы ни были хороши сами по себе какие-нибудь правила нравственности, но если они преподаются догматическим тоном ребенку, неспособному проверять их силами собственного ума, то они могут сделаться впоследствии серьезным препятствием для его дальнейшего умственного развития. Вы говорите ребенку: не лги; вы сами никогда не лжете или никогда не попадаетесь во лжи так, чтобы ваш воспитанник мог уличить вас в нарушении вашего собственного правила; когда вы узнаете о том, что кто-нибудь солгал, вы обнаруживаете такое негодование и отвращение, которое приводит в ужас вашего воспитанника, наводя его на ту мысль, что и сам он может подвергнуться с вашей стороны точно такому же презрению, если ему случится как-нибудь исказить истину. По ребяческой слабости характера, желая скрыть от вас какую-нибудь свою шалость, ваш воспитанник говорит неправду, запутывается и выводится на свежую воду; вы отворачиваетесь от него и в продолжение нескольких дней обходитесь с ним сухо, холодно и презрительно; ребенок переживает всевозможные истязания, смотрит на себя как на обесчещенного и погибшего человека, чувствует мучительную потребность наплевать себе самому в лицо и путем своих страданий приходит к тому убеждению, что нет на свете ничего позорнее и ужаснее лжи. Через несколько времени после этого искуса кто-нибудь из товарищей вашего воспитанника впадает в ту же погрешность; ваш воспитанник, со всею ревностью новообращенного фанатика, орет, что он не хочет и не может иметь ничего общего с низким, отвратительным и бессовестным лгуном. Таким образом, путем ежедневных мелких житейских столкновений, совершающихся в тесных пределах детской и классной, в душе вашего воспитанника постепенно укореняется, растет, развертывается и зреет слепая, неразборчивая, неосмысленная и неумолимая ненависть ко всему, что сколько-нибудь похоже на ложь. Когда человек высказывает не то, что думает и чувствует, или когда он утаивает от другого свои поступки, чувства и мысли, тогда в душе вашего воспитанника начинает бушевать ураган негодования, во время которого процесс спокойного размышления прекращается и дрожащие губы выбрасывают в лицо провинившейся особы ругательные слова: лгун, лицемер, негодяй, подлец! — Вашему воспитаннику

нет дела ни до каких смягчающих обстоятельств; он не спрашивает о том, повредила ли кому-нибудь сказанная ложь; он не вникает в побуждения солгавшего человека; факт лжи совершился; он дознан и поставлен вне всякого сомнения. Этого совершенно достаточно, потому что ваш воспитанник ненавидит не зло, причиняемое ложью, а самую ложь, совершенно независимо от тех хороших или дурных последствий, которые она может за собою повести в каждом отдельном случае. Ваш воспитанник ненавидит ложь так точно, как иные люди ненавидят пауков, или крик пустушки, или жареную баранину, или запах дегтя. На вопрос о причинах этой ненависти все эти люди, в том числе и ваш воспитанник, ответят вам с нарочитым жаром: потому что это (то есть ложь, пауки, крик пустушки, жареная баранина и запах дегтя) гадко, гнусно, противно, отвратительно! Ваш воспитанник ко всем этим словам прибавит еще слово *безнравственно*, но эта прибавка, при всей своей эффектности, нисколько не изменит положения вопроса и не убедит ни одного здравомыслящего человека в том, что, например, во избежание безнравственности следует откровенно сообщать больному такое известие, которое может убить его во время болезни и которое он после своего выздоровления выслушает совершенно спокойно.

Ваш воспитанник скажет: *безнравственно*, но не сумеет и не захочет поставить вопрос на положительную почву, то есть вычислить для каждого отдельного случая количество обязательной пользы и осязательного вреда. Инстинктивное отвращение к неправде, возделанное в его душе во времена далекого детства, когда его ум еще не был в состоянии переработывать и контролировать воспринимаемые впечатления, это отвращение, сросшееся с его душою на всю его жизнь, сталкивается на каждом шагу с его сознательными нравственными убеждениями и производит во всем его образе мыслей и во всех его поступках неизлечимую путаницу. Ваш воспитанник знает обстоятельно, чтó полезно и чтó вредно для человеческой личности и для общества, пользу или вред каждого явления он может доказать с математическою строгостью; но эти знания и эта сила анализа не могут дать ему такую руководящую нить, по которой он расположил бы все свои поступки и весь строй своей жизни. Может случиться и случается на каждом шагу, что к полезному ведет извилистый путь хитрости и лукавства и что, с другой стороны, прямая дорога правды и откровенности приводит к вредным результатам. Тогда оказывается вдруг, что полезное сделалось отвратительным, а вредное прекрасным. Вашего воспитанника одолевает панический страх. Он бежит опрометью от ненавистного призрака лжи и делает одну за другою сотни глупостей, которые все приносят чувствительный вред ему самому, его друзьям и всему обществу.

Что же следует из всего этого рассуждения? То ли, что детям не следует внушать с самых ранних лет любовь к правде? То ли,

что детей надо исподволь приучать ко лжи? Нисколько. Из всего этого рассуждения получается только тот практический вывод, что вообще ничем не следует поражать слишком сильно детское воображение и класть тем или другим способом на детскую душу слишком глубокие нарезки или зарубки. Надо, чтобы ребенок, делаясь человеком, мог самостоятельною умственною работою переформировать весь строй своих убеждений. А для этого надо, чтобы в его душе было как можно меньше безотчетных и неистребимых симпатий и антипатий, приросших к ней наглухо со времен ребяческой бессознательности. Любить правду и ненавидеть ложь в высшей степени похвально. Но кто любит и ненавидит *слепо* что бы то ни было, тот никогда не сделается мыслящим и полезным человеком в высшем и лучшем смысле этого слова.

Вместо того чтобы озадачивать ребенка эффектными афоризмами вроде того, что дворянин никогда не должен лгать, даже под угрозою смерти, благоразумный воспитатель должен на деле, при каждом отдельном случае лжи, без мелодраматических взрывов негодования, без тирад и монологов, показывать своему воспитаннику, каким образом искажение или утаивание истины подрывает то взаимное доверие, которое необходимо во всяких отношениях между людьми вообще и которое придает особенную силу и прелесть отношениям между друзьями. Тогда в ребенке воспитается та необходимая доза отвращения ко лжи, которая, не ослабляя силы анализа непреодолимыми симпатиями и антипатиями, заставит его в каждом отдельном случае предпочитать прямой путь окольному, если только представляется возможность сделать выбор.

Влияние m-r de Livry, человека, принимавшего свои сентиментальные максимы и сентенции за убеждения, выработанные умственным трудом и житейским опытом, человека, привыкшего решать всякие нравственные общественные вопросы готовыми французскими поговорками и прибаутками или цитатами из великих поэтов времен великого короля Людовика XIV, — такое влияние могло быть только или ничтожно, или вредно для пылкого и восприимчивого мальчика, доверенного его просвещенным заботам. Оно было бы ничтожно, если бы в гувернере были какие-нибудь порочные наклонности, заметные для ребенка и способные возбудить в нем недоверие и презрение к личности воспитателя и ко всем его премудрым размышлениям и изречениям. Если бы m-r de Livry был обжорой, или пьяницей, или льстецом, или сплетником, или старым селадоном, то его воспитанник очень скоро выработал бы себе скептический взгляд на своего наставника и оценил бы по достоинству его попугайскую манеру решать нравственные вопросы. Но вышло совсем иначе. M-r de Livry был старичок опрятный, приличный и прямодушный, держал себя с достоинством, ни в ком не заискивал, не пьянствовал, не заводил

амуров с горничными княгини Пронской и непритворно любил своего воспитанника. Маленький Пронский с своей стороны любил и уважал своего воспитателя, видел в нем умнейшего из окружающих людей, искал его совета в трудных случаях своей детской жизни и навсегда сохранил о нем благодарное воспоминание. Вследствие всего этого де Ливри был вполне способен иметь на Пронского самое вредное влияние, то есть заразить его надолго, если не навсегда, своим бестолковым методом мышления.

Очень немногие люди способны решать важные вопросы жизни самостоятельною работою собственного ума. Огромное большинство страдает умственною леностью и чувствует свою умственную несостоятельность, хотя и старается всеми силами скрывать ее даже от своих собственных глаз. Когда возникает в жизни человека, принадлежащего к этому убогому большинству, какой-нибудь вопрос, требующий себе немедленного решения, тогда этот человек, удручаемый умственною леностью и тайным сознанием своей беспомощности, только обращает свои тусклые взоры на толпу и старается подметить, каким образом представившийся вопрос решается этою толпою. Если эти старания увенчиваются успехом, то есть если вопрос принадлежит к разряду таких, которые представляются всем и каждому и решаются по заведенному образцу, то удрученный человек успокоивается, перестает утруждать свою слабую голову несвойственными ей подвигами мышления и радостно устремляется вслед за толпою. Баран прыгает там, где прыгнуло все стадо. Если, напротив того, для данного случая не припасено готового и общеизвестного решения, то человек толпы, во избежание невыносимых умственных мучений, сопряженных с трудом самостоятельного обсуживания и размышления, — углубляется в архив своих воспоминаний и старается получить оттуда справку, не было ли такого же мудреного случая в жизни кого-нибудь из знакомых, и если такой случай действительно был, то какое воспоследовало решение. Если в архиве не оказывается ничего подходящего, то несчастный человек начинает терять голову. Как же быть, думает он, нельзя ли как-нибудь решить по пословицам, в которых, как известно, сложен запас тысячелетней народной мудрости? Нет ли чего-нибудь в этом роде в тех романах, которые я читал с таким наслаждением? Не помогут ли мне в моем затруднительном положении «Опыты» Монтеня, «Размышления» Паскаля, «Максимы» Ларошфуко, басни Лафонтеня или «Характеры» Лабрюйера? Наконец, когда ничто не берет и когда вопрос продолжает с прежнею назойливостью торчать перед носом несчастного барана, отбившегося от стада, тогда русское авось вступает во все свои права, и человек толпы, отчаявшись в своем спасении, начинает делать сплеча одну глупость за другою.

Как же формируются такие люди толпы, для которых самостоятельное размышление оказывается труднейшею из всех возможных работ и одною из самых невыносимых пыток? Неужели эти

люди от природы лишены способности мыслить? Нисколько. Их головы имеют такую же правильную форму, как головы самых смелых мыслителей и самых трудолюбивых ученых исследователей. Бывает даже и так, что кабинетный работник, обогащающий свою науку новыми наблюдениями и размышляющий очень самостоятельно над своими фолиантами или ископаемыми костями, оказывается в жизни очень робким и умственно-ленивым рутинером, прыгающим только там, где прыгнуло все стадо. Людей толпы формирует преимущественно то несокрушимое доверие, которое они имеют с колыбели сначала к кормилице и няньке, потом к родителям и воспитателям, к жене, к друзьям и знакомым и, наконец, ко всем особам, из которых составляется прилично одетая масса. Это несокрушимое доверие друг к другу нисколько не мешает людям толпы считаться друг с другом в каждой копейке и грызться между собою из-за каждой мельчайшей частицы житейских выгод и грошовых удовольствий. Это несокрушимое доверие состоит только в том, что каждый из людей толпы старается перебросить на соседа труд размышления о всяких нравственных и житейских вопросах, с тем чтобы потом воспользоваться для себя готовым решением, нисколько не пускаясь в обсуживание его пригодности и основательности. Что же касается до этого несокрушимого доверия, то оно поддерживается совокупными усилиями всех тех людей старшего поколения, которые так или иначе, в качестве родителей или воспитателей, стараются формировать подрастающее юношество по своему образу и подобию. Огромное большинство родителей и воспитателей заботятся прежде всего о том, чтобы доверенные им личности думали, чувствовали, говорили и поступали так, как думают, чувствуют, говорят и поступают *все*. Кто эти *все*, и чем таким особенным они отличились, и почему необходимо стремиться им вослед — этого вопроса господа формирователи себе не задают по той причине, что такого вопроса не задают себе *все* и что, следовательно, спасительность усердного подражания *всем* не может подлежать ни малейшему сомнению. Когда ребенок становится человеком, тогда в большей части случаев фраза: *так делают все* — получает для него какую-то магически обязательную силу и в виде последнего, неотразимого аргумента заканчивает собою всякие прения. Но в детском возрасте эта фраза не имеет еще никакого значения. На слова: *так делают все*—мало-мальски шустрый ребенок ответит непременно: «Ну так что ж такое? А мне что за дело?» Этот дерзкий вопрос или возглас переносит рассматриваемое дело на почву полезности и разумности, на такую почву, по которой большинство родителей и воспитателей не могут следовать за своими предприимчивыми птенцами. Убедить птенца становится очень трудно, отчасти потому, что требование старшего не отличается ни полезностью, ни разумностью, а отчасти и потому, что на случай недоверия со стороны птенца у старшего не припасено для него никаких убе-

дительных доказательств. Тут начинается со стороны старшего действие личного авторитета, которое очень часто оказывается совершенно удачным. Если нельзя убедить птенца, то его почти всегда можно поймать на удочку ласкового обращения и чувствительных излияний. Птенец разнежится, поступит по вашему желанию, откажется в угоду вам от своих возникающих сомнений, будет гордиться вашею дружбою и благодаря вашим попечениям сделается безукоризненно плоским человеком толпы. Все это произойдет только в том случае, если вы сумеете овладеть любовью и уважением птенца. А для этого вам необходимо быть добродушным и честным человеком в том узком смысле, в каком слово честность понимается образованною толпою. M-r de Livry обладал всеми качествами, которые необходимы воспитателю для того, чтобы опошлить и обессмыслить молодое существо, доверенное его заботам. Он сам был вполне человеком толпы. Он был настолько добродушен и честен, что мог приобрести и действительно приобрел себе доверие, любовь и уважение Пронского. Что же получилось в результате? Полного опошления не получилось, потому что в натуре мальчика было слишком много пылкости, страстности и нервной раздражительности. Но получилось, если можно так выразиться, значительное засорение молодого мозга самыми бестолковыми умственными приемами и привычками. Выслушивая от старого попугая разные сентенции и афоризмы, Пронский принимал их сначала за аксиомы нравственной философии. Эти аксиомы были для него крайними пределами, дальше которых не смел идти его анализирующий ум. Они были для него статьями закона, под которые он только подводил свои и чужие поступки. Пронский любил и хранил эти статьи закона, потому что они напоминали ему почтенную фигуру старого воспитателя. Он был подкуплен воспоминаниями детства в пользу сентенций m-r de Livry. Когда пришлось поневоле отбросить то, в чем слишком явно обозначились предрассудки старого эмигранта, Пронский сохранил из своего запаса все, что могло кое-как выдержать самую снисходительную критику. Он сохранил в особенности, сам того не замечая, ту манеру рассуждать, которою страдал m-r de Livry. Он продолжал подводить свои и чужие поступки под статьи своего кодекса, не спрашивая в каждом отдельном случае, сколько пользы или вреда приносит данный поступок какой-нибудь человеческой личности или целому обществу.

VIII

Пронскому было около четырнадцати лет, когда ему пришлось испытать первое серьезное столкновение с житейскою неправдою. Дом его матери был переполнен приживалками, между которыми первенствовала мелкопоместная дворянка, Аграфена Ивановна

Белова, дальняя родственница княгини. Эта Аграфена Ивановна, разумеется, старалась всеми силами угодить своей покровительнице для того, чтобы попользоваться от нее земными благами, и старая княгиня, по своей добродушной глупости, была твердо уверена в том, что все ласки и заискивания госпожи Беловой вытекают из полноты чистой и бескорыстной любви. Она целовалась и миловалась с своею Аграфеною Ивановною, не спускала с нее глаз и любила сидеть с нею по целым часам рука в руку.

Во время продолжительной и опасной болезни старой княгини, когда Аграфена Ивановна, сделавшаяся еще более необходимою, с неустрашимым постоянством исполняла все самые утомительные обязанности сиделки, молодому Пронскому случилось совершенно нечаянно подслушать конфиденциальный разговор, происходивший между этою самою Аграфеною Ивановною и ее мужем. Разговор начинается вопросом мужа: «*подписано ли, наконец, завещание?*» и ведется в таком откровенном тоне, что госпожа Белова произносит даже следующий энергический монолог: «А ты думаешь, что мне очень весело возиться с этою дурищей? Ночи не спи, на полу валяйся. Перевертывай ее, ухаживай, да еще целуй ее в вонючую морду. Натерпелась я, нанюхалась я порядком, — и при этом слове Белова плюнула с отвращением» (т. I, стр. 52).

«Что бы ей уж поскорей отправиться на тот свет, — прибавляет она далее, — до смерти надоела» (стр. 53). Любящему сыну, без сомнения, очень тяжело и больно слушать такие непочтительные и недоброжелательные отзывы о своей больной матери, но если рассмотреть дело беспристрастно и хладнокровно, то надо будет сознаться, что ни в словах, ни во всем поведении Аграфены Ивановны нет ничего особенно ужасного, ничего такого, за что образованная толпа имела бы право забросать ее каменьями. Рядом с Аграфеною Ивановною вы смело можете поставить любимого пушкинского героя, Евгения Онегина, к которому люди образованной толпы, конечно, нисколько не расположены относиться с негодованием и презрением. Не угодно ли вам будет припомнить, что «думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых».

По словам нашего великого поэта, он думал вот что:

«Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»

Размышляя таким образом, *молодой повеса*, *добрый приятель* или любимец великого поэта, *летит в пыли на почтовых* соб-

ственно для того, чтобы, в виду приближающегося наследства, предаваться *низкому коварству* у постели умирающего дяди. Госпожа Белова говорит: «Что бы ей уж поскорей отправиться на тот свет», а Онегин собирается думать про себя: «Когда же черт возьмет тебя!» Правда, одна уже говорит, а другой только еще собирается думать, но, во-первых, выражения последнего сильнее, чем выражения первой, во-вторых, есть достаточные основания предполагать, что Онегин, очутившись в закупоренной спальне своего дяди, быстро приведет в исполнение свой план усердного посылания больного к черту, и, наконец, в-третьих, Онегин изображает собою племянника, а Аграфена Ивановна всего только дальнюю родственницу. Принимая в соображение все эти обстоятельства, надо прийти к тому убеждению, что госпожа Белова и господин Онегин взаимно уравновешивают друг друга, как со стороны гуманных отношений к умирающим особам, так и в деле соблюдения своего собственного человеческого достоинства. Правда, *вонючая морда*, украшающая собою энергическую речь госпожи Беловой, не находит себе ничего равносильного в монологе *молодого повесы* и *доброго приятеля*, но и тут приходится принимать в расчет кое-какие обстоятельства, имеющие значительное влияние на постановку вопроса. Во-первых, Онегин только еще летит в пыли на почтовых и, стало быть, совершенно неспособен составить себе достаточно яркое понятие о букете испытаний, отделяющих его от желанного наследства. Мы еще не знаем, что бы он заговорил и какие бы он измыслил крепкие слова, если бы ему пришлось повозиться с больным стариком хоть десятую долю того времени, которое было потрачено неустрашимою Аграфеною Ивановною на возделывание княгини Пронской. Во-вторых, Онегин так воспитан, что он даже морду своего бульдога способен назвать физиономиею, между тем как Аграфена Ивановна, по условиям своего воспитания, способна даже свою собственную физиономию называть, смотря по вдохновению, то рылом, то мордой, то харей, то рожей.

После всего этого исследования мы имеем полное право торжественно повторить, что Аграфена Ивановна и Евгений Онегин ни в чем не должны завидовать друг другу. Уровняв между собою эти две личности, имеющие повидимому мало общего, спросим себя теперь, каким образом относится к Онегину, и даже именно к его размышлениям о больном дяде, огромное большинство людей, имеющих более или менее основательные претензии на образованность. Нам нет надобности ссылаться на суждения, которые произносятся иногда об Онегине в салонах или будуарах обожателями и обожательницами поэзии вообще и Пушкина в особенности. Verba volant — слова летают, уловить их очень трудно; доказать, что они действительно были произнесены, — еще труднее, и поэтому было бы совершенно бесполезно распространяться о таких мыслях и умственных направлениях, которые хотя

и живут еще до сих пор в неподвижных сферах нашего общества, но уже давно не могут найти себе соответственного выражения в текущей литературе. Нам также незачем рассматривать, каким образом смотрел на Онегина сам его творец, великий, дважды и трижды великий Пушкин. Уже давно известно, что почти все поэты, великие и малые, отличаются в очень значительной степени приятною и красивою неопределенностью нравственных убеждений. Редкий поэт способен составить себе ясное и отчетливое понятие о том, что такое убеждение и что такое логическая последовательность. Отсутствие убеждений и неумение размышлять вменяются даже в особенную заслугу великим и малым поэтам и называются на языке просвещенных критиков высокою объективностью и всеобъемлющею любовью к явлениям жизни. Поэтому оставим в стороне великого поэта так точно, как мы отодвинули в сторону мир салонов и будуаров, преклоняющихся до настоящей минуты перед неотразимою красотою онегинского типа.

Был у нас один критик, которого действительно можно называть великим, без малейшего оттенка иронии. Имя этого критика дорого каждому русскому человеку, способному читать и думать. Двенадцать томов его сочинений разошлись по всем концам России. Ясное дело, что мы говорим о Белинском, с которым можно и даже должно спорить о многих вопросах, но которого нельзя не любить нежною почтительною и страстно-благодарною любовью. Посмотрим же теперь, что говорит Белинский об отношениях Онегина к умирающему дяде.

Его дядя, — рассуждает Белинский, — был ему чужд во всех отношениях. И что может быть общего между Онегиным, который уже

..............равно зевал
Средь модных и старинных зал,

и между почтенным помещиком, который, в глуши своей деревни,

Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил?

Скажут: он — его благодетель. Какой же благодетель, если Онегин был законным наследником его имения? Тут благодетель не дядя, а закон, право наследства. Каково же положение человека, который обязан играть роль огорченного, состраждущего и нежного родственника при смертном одре совершенно чуждого и постороннего ему человека? Скажут: кто обязал его играть такую [низкую] роль? Как кто? Чувство деликатности, человечности. Если, почему бы то ни было, вам нельзя не принимать к себе человека, которого знакомство для вас и тяжело и скучно, — разве вы не обязаны быть с ним вежливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его к черту? Что в словах Онегина проглядывает какая-то насмешливая легкость, — в этом виден только ум и естественность, потому что отсутствие натянутой и тяжелой торжественности в выражении обыкновенных житейских отношений есть признак ума. У светских людей это даже не всегда ум, а чаще всего манера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера. У людей средних кружков, напротив, манера — отличаться избытком разных глубоких чувств при всяком сколько-нибудь, по их мнению, важном случае (т. VIII, стр. 537). [8]

Если в словах Онегина: «когда же черт возьмет тебя» *проглядывает какая-то насмешливая легкость*, признак ума и естественности, то в словах Аграфены Ивановны «да еще целуй ее в вонючую морду» без всякого сомнения

Торжествует мстительное чувство,
Догорая теплится любовь...[9]

к той лакомой подачке, которая предполагается в завещании княгини Пронской.

Не трудно понять, что все рассуждение Белинского фальшиво с первого слова до последнего. Во-первых, между Онегиным и его дядей очень много общего. Зевание первого и созерцательная жизнь последнего одинаково бесполезны, бессмысленны, бестолковы и унизительны для человеческого достоинства. И Онегин и его дядя коптят небо, живут сложа ручки и с невинностью, свойственною десятилетнему ребенку, поглощают постоянно продукты чужого труда. Значит, они могут от всей души обнять и возлюбить друг друга. Во-вторых, предположение Белинского о том, что Онегину благодетельствует закон, а не дядя, совершенно произвольно. Не только дядя племянника, но даже отец сына может лишить наследства в пользу более отдаленных наследников. Если бы дядя перед смертью прогневался на Онегина, то *добрый приятель* нашего поэта, наверное, не получил бы имения. Онегин ехал к дяде именно для того, чтобы в решительную минуту скрепить с ним дружелюбные отношения. На это указывают слова Онегина, что дядя

Всех уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.

Онегину стоило только отказаться от наследства, и тогда никто не обязывал бы его *играть такую низкую роль*, и совсем не было бы того положения, о котором Белинский с трагическим ужасом спрашивает: *каково?* О чувстве деликатности и человечности тут совестно и заикаться. Если бы Онегин собирался *полуживого забавлять* из чувства христианской любви к больному и умирающему ближнему, то ему незачем было бы упрекать себя в *низком коварстве*, и также не было бы особенной надобности обращаться к содействию черта. Наконец, с тою мыслью Белинского, что мораль светского человека стоит все-таки выше морали лавочника, старающегося молотить рожь на сбухе, мы готовы согласиться, но при этом мы должны заметить, что может существовать и даже существует еще мораль честного человека, стоящего на собственных ногах, живущего собственным трудом и не ожидающего себе ниоткуда великих и богатых милостей ни от своих, ни от чужих, ни от дяденьки, ни от тетеньки. Такой человек имеет право бросать с высоты своего трудового величия взгляды спокойного презрения на грязные проделки Евгения Онегина и Аграфены Беловой.

IX

Униженный и оскорбленный беседою о *вонючей морде*, юный Пронский ищет себе совета и утешения на лоне старого попугая, m-r de Livry. Попугай отверзает уста свои и по обыкновению выбрасывает из них глупые слова, которые на первый взгляд могут показаться умными. Из этих глупых слов мы передадим читателям только малую долю.

Теперь, — говорит де Ливри, — приступим к обсуждению вопроса: как поступить с открытою вами тайною? Во-первых, ваша матушка так еще слаба, что опасно потревожить ее подобным сообщением. Во-вторых, это лишит ее дорогого для нее самообольщения, что во всяком случае неприятно, а тем более в настоящем положении вашей матушки. Наконец, к чему ж это послужит? Да и навряд ли княгиня поверит подобному извещению: дружба ее к предательской родственнице слишком укоренилась. С другой стороны, дать почувствовать виновным в лукавстве, что вам известны их замыслы, опасно и также, я думаю, ни к чему не послужит. Поверьте, что они отрекутся от своих слов, вас же осудят в клевете или припишут показания вашп расстроенному, больному детскому воображению. Все это, скажут они, приснилось вам в бреду, это последствия томительных ночей, проведенных у постели больной вашей матушки (т. I, стр. 57—58).

— Позвольте, — спрашивает, быть может, недоумевающий читатель. — За что же однако вы обзываете m-r de Livry старым попугаем? По моему мнению, его устами говорит сама мудрость. Он подает ребенку самый полезный, разумный и спасительный совет. Разве можно придумать что-нибудь более практичное? К тому же слова его, как видно из дальнейшего хода событий, оказываются даже пророческими словами.

На это замечание читателя мы с своей стороны скажем также: позвольте! Совет действительно недурен, но тут главное дело не в совете, а в его мотивировании. Случай сам по себе так прост и ясен, что дать противоположный совет мог бы только полоумный или ребенок. Сказать Пронскому: надо поступать так-то — еще ровно ничего не значит. Важно и необходимо было объяснить ему, почему именно следовало поступить так, — и убедить его, что поступить иначе было бы не только неудобно, но и бесчестно. Ливри, напротив того, сделал все, что от него зависело, для того чтобы ослабить или даже совершенно уничтожить действие своего совета. Как вам нравится это торжественное предисловие: «теперь приступим к обсуждению вопроса: как поступить с открытою вами тайною?». Это предисловие как будто нарочно рассчитано на то, чтобы в глазах бедного ребенка преувеличить до крайних пределов возможного размеры и значение того крошечного факта, на который ему случилось наткнуться. Пронский узнает от своего мудрого наставника, что существует в их доме какая-то тайна, и что он, Пронский, открыл ее, и что с нею надо как-нибудь поступить, и что тут возникает вопрос, к разрешению которого надо приступать с особенными прелиминариями и предосторожно-

стями. Продолжение речи соответствует ее началу. Аграфена Ивановна получает титул *предательской родственницы*, она и ее муж оказываются *виновными в лукавстве*, этим виновным приписываются *замыслы*, и, наконец, обличение виновных является сопряженным с какою-то *опасностью*.

Из всех этих медвежьих приемов старого француза становится ясным до очевидности то обстоятельство, что он не знает ни детей вообще, ни Пронского в особенности. Самыми неукротимыми идеалистами и самыми смелыми фанатиками бывают обыкновенно дети и очень молодые люди, только что переставшие быть детьми. Когда отрок составил себе понятие о том, что такое обязанность, и когда он забрал себе в голову, что он обязан поступить так-то, тогда его не заставит отступить никакое указание на те опасности, трудности и практические неудобства, с которыми сопряжено выполнение его намерения. — Ну, что ж за важность, — ответит он вам, — это значит только, что я должен трудиться, бороться, подвергаться опасностям, переносить лишения и выдерживать страдания. Я на все готов, лишь бы только мне удалось исполнить мой долг. Если вы хотите сбить отрока с его позиции и отвратить его от задуманного поступка, то вы должны аргументировать с ним во имя его собственного идеала и доказывать ему, что он *обязан* действовать не так, как он хотел, а совсем иначе. Если же самый идеал отрока ложен и односторонен, то вы должны поворотить всю вашу аргументацию против этого одностороннего идеала, который составляет первую причину нелепых поступков. Разрушив этот идеал, вы производите целый переворот в умственной жизни молодого человека, и только этим спасительным переворотом вы избавите его от тех опасностей и страданий, которым он хотел подвергаться. В том и в другом случае, критикуя практические выводы во имя принципа или доказывая нелепость основной идеи, вы непременно должны выводить все ваши доказательства против известного поступка не из выгод данной личности, а из высоких обязанностей, налагаемых на человека его естественным назначением. Чисто утилитарная аргументация останется непонятною для вашего юного и малоразвитого собеседника.

Из слов старого француза Пронский увидал только то, что сделанное открытие чрезвычайно важно и что француз трусит и пятится назад перед требованиями идеала, который он, француз, сам признает верным и обязательным для честного человека. Пронский сказал себе, разумеется, что он будет смелее, честнее и последовательнее робкого старика. Он посмотрел на m-r de Livry сверху вниз и решился действовать по-своему.

Но как же, спросит читатель, стал бы говорить с Пронским умный человек, находящийся на месте старого француза? Нам кажется, что между ребенком и воспитателем мог бы тогда завязаться следующий разговор.

Воспитатель. Вы передали мне, друг мой, от слова до слова разговор госпожи Беловой с ее мужем. Что же именно в этом разговоре волнует и возмущает вас?

Ребенок. Как что? Помилуйте! Мою мать называют дурищей, говорят, что у нее вонючая морда, хотят, чтобы она поскорее умерла. Разве ж этого мало?

— Нет, этого довольно. Когда мы любим кого-нибудь, то мы желаем, чтобы этого человека любил весь свет; когда говорят дурно о том человеке, которого мы любим, то нас коробит это злословие. Я понимаю ваше неудовольствие. Но будьте же благоразумны, подумайте хладнокровно: не можете же вы в самом деле требовать, чтобы все смотрели на вашу матушку с такою же любовью, с какою вы на нее смотрите. Вы можете только настаивать на том, чтобы в вашем присутствии никто не произносил об вашей матушке ни одного худого слова. Но ведь Аграфена Ивановна и ее муж, конечно, не знали, что вы лежите за перегородкою.

— Ах, да совсем не в том дело! Мне обидно то, как смеет это говорить Аграфена Ивановна. Ведь посмотреть на нее, так подумаешь, что она души не слышит в матушке. Ведь, стало быть, вся ее любовь к матушке — все это притворство. И кто ее просит лицемерить? И кто ее заставляет целоваться с моею матерью и сидеть у ее постели?

— Из того разговора, который вы слышали, видно, что ее заставляет действовать таким образом желание получить от вашей матушки какой-нибудь подарок или что-нибудь по завещанию.

— Ну, да? А разве ж это хорошо?

— А кто же вам говорит, что это хорошо?

— Поэтому-то я волнуюсь; поэтому-то я и хочу вывести эту подлую Аграфену Ивановну на свежую воду. Я ей покажу, как шельмуют лицемеров и негодяев.

— Понимаю. Вы рассердились на Аграфену Ивановну и хотите ей напакостить. Дело очень естественное. Но только вы напрасно считаете себя в эту минуту рыцарем правды и так же напрасно думаете, что я буду вам сочувствовать в вашем предприятии.

— Вы, стало быть, Аграфене Ивановне будете сочувствовать?

— Нет, не буду.

— Зачем же вы ее защищаете?

— И не думаю.

— Отчего же вы не хотите, чтобы я ее обличил?

— Во-первых, оттого, что ее не в чем обличать, а во-вторых, потому, что я, любя и уважая вас, не желал бы, чтобы вы мстили тем людям, на которых вы сердитесь.

— Теперь я уж решительно не понимаю, что вы такое хотите сказать. Объясните пожалуйста, каким это образом Аграфену Ивановну не в чем обличать.

— Это длинная история. Прошу вас слушать внимательно, если вы хотите понять меня. Вам придется подумать теперь обо

многих таких вещах, о которых вы до сих пор ни разу не задумывались. — Вы знаете, по всей вероятности, что Аграфена Ивановна бедная женщина?

— Знаю.

— Хорошо, но вы вряд ли понимаете, что такое бедность. Вы сами ни в чем не нуждались с минуты вашего рождения. Вы никогда не видали, чтобы ваша матушка в чем-нибудь себе отказывала. Вы жили на всем на готовом, вы знали, что стоит только послать приказчика в город, для того чтобы получить оттуда все, чего вы желаете; вы слыхали, что деньги лежат у мамаши в шкатулке и что их там всегда довольно, и вы никогда не спрашивали себя, откуда берутся эти деньги и что случилось бы с вами и с мамашей, если б эта шкатулка опорожнилась и если бы нечем было ее наполнить. Со многими другими людьми эта штука случается очень часто: им надо жить, надо есть, надо одеваться, надо топить печку, надо лечить больных детей, а денег нет ни в шкатулке, ни в ящике, ни в сундуке. Что же тут делать? Надо идти просить денег у богатого соседа. Идет бедняк с замиранием сердца, боится, что ему откажут, старается выбрать счастливую минуту, льстит самолюбию богача, высказывает свою покорнейшую просьбу в самой вежливой и смиренной форме, улыбается, когда ему хочется плакать или кричать, и соглашается, когда ему хочется возражать и спорить. Когда вы находите, что какой-нибудь г. Иванов или Петров глуп и достоин вашего презрения, то вы обращаетесь с ним сухо и холодно и думаете про себя: какой, мол, у меня откровенный и рыцарский характер. Что я думаю и чувствую, то я прямо и выражаю своими поступками. А ведь в сущности вся ваша рыцарская смелость и откровенность происходит от того, что у вас в шкатулке есть деньги и что вам незачем просить взаймы у господ Петрова и Иванова. Вы видите, что перед этими господами ежится и улыбается какой-нибудь человечек в потертом сюртуке, и вы тотчас решаете, что этот человечек — подлец и негодяй. А на поверку выйдет может быть, что этот человечек, уже погибший в вашем мнении, работает с раннего утра до поздней ночи, кормит своим трудом старуху мать и дюжину больных сестер, отдает им последние куски своего трудового хлеба и улыбается глупым остротам Иванова или Петрова единственно потому, что эти господа могут упрятать его в долговое отделение и заморить голодом его семейство, пользуясь теми обязательствами, которые он выдал им во время тяжелой и продолжительной болезни и по которым он, при всех своих усилиях, не может уплатить в назначенный срок. Подумайте, хорошо ли и честно ли будет с вашей стороны, если вы станете уличать такого человека в гнусном притворстве и непростительном двоедушии. Приятно ли вам будет, если вам удастся доказать господам Иванову и Петрову, что человечек в потертом сюртуке считает их за дураков и обходится с ними вежливо и даже любезно только из корыстных видов?

— Стало быть, Аграфена Ивановна то же, что человечек в потертом сюртуке, а мать моя то же, что глупый Иванов или глупый Петров?

— Не торопитесь. Я вас предупреждал, что история будет длинная. Из притчи о человечке в потертом сюртуке вы можете вывести только то заключение, что не всякая личность, умалчивающая или даже искажающая истину, заслуживает порицание, осмеяние и презрение и что в некоторых случаях усердный обличитель неправды может оказаться гораздо гаже того мнимого негодяя, которого он старается вывести на свежую воду. Это вам не мешает принять к сведению. Теперь слушайте дальше. Наш человечек на каждом шагу встречает вокруг себя таких людей, которые так или иначе могут повредить ему в средствах существования; со всеми этими людьми ему надо обращаться осторожно; у всех этих людей есть слабые и смешные стороны, которые бросаются ему в глаза и которые он, однако же, должен проходить молчанием, если не желает нажить себе ожесточенных и очень опасных преследователей. Со всеми этими людьми он старается ладить, и ото всех этих людей он скрывает постоянно свои мысли и чувства. Всем им он, с утра до вечера, каждый день и круглый год, говорит совсем не то, что он об них думает. Он лжет постоянно, и вместе с ним лгут без умолку все люди, находящиеся в его зависимом и придавленном положении. В доме вашей матери, например, лгут постоянно словами, движениями, жестами, выражением лица все нахлебники, все приживалки и домочадцы. Кто сегодня солгал по необходимости, и завтра опять поставлен в необходимость солгать, и послезавтра также, тот, наконец, привыкает ко лжи, теряет отвращение к ней, сживается с атмосферою притворства и в этой испорченной атмосфере чувствует себя очень привольно и легко. Рождаются у него дети; он и их приучает с ранних лет лгать и притворяться; он приказывает им ласкаться к богатому родственнику, чтобы получить от него десятирублевую бумажку на платьице или на курточку. Дети целуют руки у таких людей, которых они едва знают в глаза и которые смотрят на них как на докучливых нищих. Вы счастливее этих детей: вас никто не развращал в детстве; ваше человеческое достоинство находилось в полнейшей неприкосновенности; но ведь это великое счастье досталось вам даром, безо всякой заслуги с вашей стороны. Это счастье лежит в шкатулке вашей мамаши. Пользуйтесь им, берегите ваше человеческое достоинство, которое вы получаете незамаранным из рук ваших родителей и воспитателей. Но не давите же вашим презрением и не преследуйте вашими дешевыми обличениями тех несчастных детей, которых нравственные качества не были охранены с самой колыбели содержанием мамашиной шкатулки. Поверьте, что другие дети хуже вас только потому, что они беднее вас и, следовательно, несравненно чаще вас принуждены сталкиваться с грязными сторонами жизни.

— Да я и не думаю презирать этих несчастных детей. Я об них жалею. Но я только не понимаю, каким образом все, что вы говорите, может относиться к Аграфене Ивановне? Неужели же вы серьезно решитесь утверждать, что ее поступки с моею матерью не отвратительны? Если б вы знали, как ее любит моя мать и как она уверена в ее преданности. И вдруг за всю эту любовь — дурища, вонючая морда и дай бог, чтоб она умерла поскорей! Вы не говорите мне о бедности, о притворстве, о несчастных детях; вы возьмите факт, как он есть, и разберите его со всех сторон.

— Не забудьте, что тут сильно заинтересована ваша мать и что мне, быть может, придется упомянуть о таких сторонах ее ума и характера, о которых вам неприятно будет выслушивать мои замечания.

— Ничего, говорите, говорите все! Я знаю, что вы не захотите оскорблять меня и мою мать и скажете только то, что необходимо для разъяснения вопроса. Говорите! Правду я готов выслушивать о ком бы то ни было.

— Все, что я говорил о бедности, о притворстве, о несчастных детях, относится вполне к Аграфене Ивановне. Я не желал бы иметь с этою женщиною никакого дела, я всегда буду тщательно уклоняться от всяких дружеских отношений и даже от короткого знакомства с нею, я твердо уверен, что эта женщина не может пользоваться уважением честного человека, но в то же время я так ясно вижу тот путь, который привел ее к глубокому нравственному падению, я так отчетливо понимаю неотразимость тех влияний, которые толкали ее в болото, — что я не считаю возможным и справедливым наказывать ее публичным ошельмованием. Аграфена Ивановна родилась от бедных и благородных родителей; ей втолковали с детства, что женщине ее сословия стыдно и неприлично пойти в учение к портнихе и сделаться белошвейкой, но нисколько не стыдно и очень прилично выпрашивать себе у родных и знакомых надушенные мантильи и шляпки. Так она и выросла с этими понятиями, и теперь вы их не выживете из ее дубовой головы никакими резонами. С этими же самыми понятиями и с двумя-тремя выпрошенными платьишками ее выдали замуж за господина Белова, о котором, разумеется, говорили при ней, что он молод и не чиновен, но зато умная голова и далеко пойдет. Значение последних слов было ей хорошо понятно. Она знала, что Белов умеет ладить с просителями и всякий раз приносит домой из должности полон карман пятаков и гривенников. Белов сам не прочь был похвалиться перед своею невестою своею служебною даровитостью и знал, что он за рассказы о своем высоком искусстве всегда может получить от возлюбленной Груши нежный взгляд или даже крепкий поцелуй. Вышла она замуж; началось собирание и откладывание пятаков и гривенников; пошли дети; нужда поминутно заглядывала в их грязную и сырую квартиру, несмотря на всю даровитость Белова и на все попрошайничество

Аграфены Ивановны. О стыде, о нравственном благообразии пришлось забыть окончательно. До стыда ли тут, когда приходится топить печку через день и готовить горячее кушанье всего раза по два в неделю, чтобы кое-как сводить концы с концами и одеваться так, как того требует амбиция благородных людей. В видах попрошайничества Аграфена Ивановна ездит к своей богатой родственнице и вдруг начинает замечать, что эта родственница с искренним удовольствием выслушивает ее сладкие речи. «Постой, — думает Аграфена Ивановна, — тут есть крупная пожива. Барыня-то, кажется, простовата и любит уши развешивать». Пробует она приехать погостить. Ее встречают ласково; собирается она домой, — ее удерживают. Что ж ей делать? Не отвертываться же ей от своего счастья. И не влюбиться же ей в вашу мамашу, на которую она во всякую данную минуту смотрит только как на толстый денежный мешок. Живя в доме у вашей матери, питаясь ее подаяниями, ожидая от нее великих милостей, она только и может держать себя так, как она себя держит действительно. Сердиться на нее не за что, так же точно, как несправедливо было бы осуждать вашу мать за ее младенческую доверчивость. Поступки обеих личностей вытекают самым неизбежным образом из всего их прошедшего. Одна поступает как опытная приобретательница, привыкшая обивать чужие пороги и целовать благодетельские ручки; другая поступает как богатая барыня, никогда не видавшая действительной жизни и никогда ни о чем не размышлявшая. Одна притворяется и подделывается; другая любит свою подругу и верит в ее любовь. Повидимому, последняя должна быть в чистом убытке, потому что за свою настоящую монету она получает фальшивую. Но в этом случае фальшивая монета оказывается лучше настоящей. В дружбе вашей матери с Аграфеною Ивановною на долю первой достаются все выгоды и удовольствия. Кто пляшет по чьей дудке? Кто кому заглядывает в глаза? Чьи желания угадываются и предупреждаются? Чьи привычки и прихоти возводятся в обязательный закон? Аграфена Ивановна пресмыкается, Аграфена Ивановна льстит, Аграфена Ивановна играет утомительную комедию, а матушка ваша только вдыхает в себя фимиам и предается сладостным излияниям дружбы. Положим, что фимиам оказывается очень низкого достоинства, но ведь ваша матушка им довольна, а госпожа Белова, конечно, не виновата в том, что вкус ее благодетельницы до такой степени мало развит. Чем хуже был фимиам, тем сильнее госпожа Белова убеждена в том, что ей должны за него заплатить, потому что тем труднее и неприятнее было его приготовлять. Если бы Белова в самом деле любила вашу матушку, то ей, Беловой, не за что было бы платить; тогда все ее заботы о спокойствии и здоровье вашей матери доставляли бы ей самой живейшее наслаждение; но теперь, именно теперь, когда вы знаете, что ее любовь — чистое притворство, теперь-то вы и должны заплатить ей щедрою

рукою за все ее труды и беспокойства. Эта щедрая расплата с нею должна быть вашим единственным мщением, потому что мстить Беловой чем-нибудь другим — значило бы наказывать бедного за то, что он беден, или урода за то, что он не похож на Аполлона Бельведерского.

X

M-r de Livry ни в чем не убедил нашего героя. Пронский при первом удобном случае объясняется с своею матерью, мать ему не верит, Аграфена Ивановна становится его злейшим врагом и старается выжить его из дому. Дело кончается тем, что юного обличителя отправляют в Петербург и помещают там в учебное заведение. В заведении господствует постоянная вражда между воспитанниками и воспитателями. Воюющие стороны с утра до вечера хлопочут о том, чтобы как-нибудь перехитрить, подкараулить, застигнуть врасплох и побольнее оскорбить друг друга. Воспитанники шалят и бесчинствуют преимущественно для того, чтобы разбесить воспитателей; воспитатели делают облавы на шалунов единственно для того, чтобы нанести этим врагам дисциплины и школьного спокойствия как можно больше физической боли. Каждый из двух лагерей имеет своих перебежчиков; каждый из двух подсылает в противоположный лагерь своих лазутчиков. Великая война воспитанников и воспитателей усложняется еще мелкими междоусобиями и партизанскими схватками, разыгрывающимися ежеминутно в обоих лагерях. «Вскоре я заметил, — пишет Пронский в своем дневнике, — что ложь и лукавство — основные начала всех отношений не только что между товарищами, но даже между учителями и их учениками, между начальниками и подчиненными. Ни одного дня не проходило без разительного какого-нибудь примера в этом отношении. То какой-нибудь шалун свалит собственную вину на товарища; то учитель всеми неправдами оградит щедрого любимца и выдаст менее догадливого или менее любимого ученика головой на съедение инспектору; то надзиратель засадит в темную за малейшую папироску, а в другой раз не обратит внимания на целые облака табачного дыма, судя по личностям и отношениям» (т. I, стр. 69 и 70).

На эту бессмысленную, но ожесточенную школьную войну Пронский является вооруженный афоризмом г. Ливри: «дворянин никогда не должен лгать, даже когда ему грозят смертью». Юное воображение Пронского разгорячено его неудачным столкновением с Аграфеною Ивановною; он понимает, что его любовь к правде произвела охлаждение между ним и его матерью; он считает себя мучеником за правду и решается мужественно нести свой терновый венец. Понятное дело, что из этого скороспелого и преждевременного героизма не получается ничего, кроме

бессмыслицы. Пронский постоянно всеми своими поступками протестует против той лжи, которая господствует во всех проявлениях школьной жизни. Но его протест никого за собою не увлекает, никого не обращает на путь истины и вообще не приносит ни малейшей пользы ни протестующему герою, ни его товарищам, ни его начальникам. Все лгут попрежнему и смотрят на Пронского как на дурака или как на выскочку, желающего понравиться начальству своею напускною правдивостью.

Но начальство, к которому Пронский, по мнению своих товарищей, подделывается, нисколько не поощряет его откровенности и наказывает его за каждую шалость, несмотря на его чистосердечные признания. Лишние наказания со стороны начальства и нерасположение и недоверие товарищей — вот все, что получает Пронский за свою любовь к правде.

Тем лучше, скажет какой-нибудь юный идеалист, читающий эти строки. Значит, он бескорыстно предан своей идее и имеет полное право считать себя мучеником своих убеждений. Значит, он с ранней молодости уподобляется лермонтовскому пророку, в которого все его ближние

Бросали бешено каменья.

Если назначение честного и даровитого человека состоит в том, чтобы как можно резче отделяться от массы других людей и как можно красивее драпироваться в свои добродетели, то, конечно, юный идеалист прав, и Пронский, с своим бессмысленным, слепым, но очень ярким протестом, решает задачу жизни самым удовлетворительным образом, так что с него должны брать пример все люди, способные и желающие совершенствовать себя и других. Но если великая задача жизни состоит в том, чтобы по мере сил изменять к лучшему те невыгодные условия, которые мешают людям дышать свободно и развиваться сообразно с естественными законами, то подвиги правдолюбия, совершаемые Пронским, должны возбуждать в нас только чувство глубокого сострадания к несчастному герою, навсегда сбитому с толку глупейшим домашним воспитанием. Бессмысленный протест всегда вреден, потому что он своей бессмысленностью подрывает в массе окружающих людей уважение к той верной и святой идее, во имя которой он совершается.

Ложь, без сомнения, глубоко унижает человеческое достоинство и отравляет собою все отношения между людьми; но чтобы уничтожить эту ложь, надо, очевидно, устранить те условия, которые ее порождают. Вместо учителей, засыпающих на кафедрах и отмечающих уроки ногтем в учебной книге, надо поставить людей, способных приковывать к своим словам внимание целого класса, составленного из самых отъявленных шалунов. Вместо распределения занятий, постоянно насилующего все естественные наклонности детского организма, надо составить новое распре-

деление, строго соображенное со всеми предписаниями гигиены. Когда дети убедятся в том, что воспитатели действительно любят их, что никто не распоряжается их поступками из одного мелочного желания помудрить и обнаружить свою важность, когда учебные занятия овладеют их вниманием и когда умственный труд сделается для них сначала приятным, а потом просто необходимым, — тогда им незачем будет лукавить, и ложь уничтожится сама собою, потому что правдивость не будет вести за собою никаких мучительных следствий. Но требовать правды, оставляя нетронутыми все те условия, которые порождают ложь, — значит требовать, чтобы на немощеной улице не было грязи, когда идет дождь.

Как для Пронского, так и для того общества, в котором он впоследствии мог бы быть полезным деятелем, было бы гораздо лучше, если бы он во время своего пребывания в школе ничем не отличался от своих товарищей и заодно с ними неустрашимо лгал бы раз по пятнадцати в сутки. Ребенок, как бы он ни был чист душою, конечно, не может улучшить нравы своих соотечественников; у него на это нет ни крепких легких, ни житейской опытности, ни обширных знаний, ни зрелого ума, словом, ни одного из тех качеств, которые необходимы проповеднику. Ученик, как бы он ни был правдив и неустрашим, никогда не произведет в своем училище благодетельного переворота. Но ребенок может впоследствии сделаться великим учителем нравственности, точно так, как ученик может в зрелых летах сделаться замечательным реформатором. Надо только, чтобы ребенок вырос и возмужал и чтобы ученик усвоил себе как можно больше знаний. В этом все дело. Пусть ребенок растет и здоровеет, пусть ученик учится и развивается — это единственная и лучшая услуга, которую каждый из них может оказать обществу. Если же малолетки заберут себе в голову, что им тоже надо носить терновые венцы, геройствовать и протестовать против существующей неправды, то произойдет только печальная и смешная трата драгоценных сил — трата, вследствие которой юные бойцы окажутся измученными и одряхлевшими людьми именно к тому времени, когда для них должен был бы только начинаться период разумной, серьезной и общеполезной работы.

Подвиги правдолюбия доводят, наконец, Пронского до необходимости выйти из училища. Дальнейшее крупное столкновение с житейскою неправдою происходит на поприще гражданской службы. Двоюродный дядя Пронского, «заведывающий отдельным управлением на правах министра», определяет его в свою канцелярию и назначает ему сразу значительное жалованье. Директор канцелярии дружески жмет руку своему новому подчиненному; сослуживцы Пронского обходятся с ним подобострастно. Все это глубоко возмущает нашего героя, и всему этому он имеет наивность удивляться, точно будто все эти частные явления

сваливаются на землю, как аэролиты, а не развиваются самым естественным и неизбежным образом из общих причин, которые всякий желающий может рассматривать, ощупывать и изучать. Совершенное неуменье восходить в своем процессе мышления к общим причинам заставляет Пронского выбрать себе такую среднюю дорогу, на которой нет возможности приносить обществу какую бы то ни было пользу и на которой даже чрезвычайно трудно удержаться. Пронский не отказывается от бюрократической деятельности, и в то же время ни под каким видом не хочет помириться с ее нравами и обычаями. Он стремится служить, и в то же время желает оставить за собою право контролировать действия своих непосредственных начальников и возмущаться каждым их поступком, не соответствующим его собственным нравственным требованиям. Он не хочет и не умеет понять, что перед ним поставлена очень ясная дилемма: если хочешь служить, то повинуйся; а если хочешь мудрствовать и критиковать, то по меньшей мере ступай вон и потом смотри со стороны на тот механизм, который ты желаешь анализировать. Служба требует повиновения и не допускает вольнодумства; кто дожил до двадцати лет и не постиг этой истины, великой в своей простоте, тот никогда не сделается общественным деятелем и никогда не выберется из рокового разлада, существующего между титаническими стремлениями и ничтожно-смешными результатами.

Возмущенный тою протекциею, которую оказывает ему дядя, Пронский переходит на службу в другое ведомство и самоотверженно садится с 1200 рублей годового жалованья на 300. На первых порах Пронский находит в своем новом месте служения царство чистой справедливости. Директор обходится одинаково сурово со всеми служащими, а Пронскому только того и надобно, чтобы его распекали наравне с другими. Мы не знаем, как скоро и с какой стороны должно было воспоследовать для Пронского разочарование; не знаем также и того, каких размеров и какого свойства оказалась бы та польза, которую он, по всей вероятности, принес бы отечеству своею усердною службою под начальством правосудного директора. К сожалению, автор прервал интересный опыт в самом начале. Через несколько месяцев после своего поступления на новое место Пронский получил известие об опасной болезни матери и, взявши отпуск, поехал в деревню. Мать его умирает за несколько минут до его приезда. В комнате своей матери Пронский находит письмо, в котором покойница просит его передать деревню Выселки Аграфене Ивановне в вечное и потомственное владение. После того, как он прочитал это письмо, ему докладывают о приезде уездного судьи, и он встречается лицом к лицу с г. Беловым, мужем Аграфены Ивановны. Пронский объявляет ему о желании покойницы, замечает при этом, что письмо ее не имеет никакой законной силы, и, наконец, обещает Белову подарить ему Выселки, если только он, Белов, признается, что

жена его действительно несколько лет тому назад ругала старую княгиню дурищей и приписывала ей вонючую морду.

— Г. Белов, — говорит Пронский, — умоляю вас, успокойте меня, успокойте тень матушки, признайтесь, ради самого бога признайтесь (т. I, стр. 98).

Белов ни в чем не признается, и Пронский, чтобы положить конец тягостному разговору, соглашается безо всяких условий написать дарственную запись. В этом поступке Пронского выражается уже с поразительною ясностью такая умственная односторонность, которая чрезвычайно близко подходит к помешательству. При всяком столкновении с людьми Пронский заботится только о том, чтобы не было лжи; сосредоточивая все свое внимание на одной этой стороне дела, он упускает из виду все остальные; он действует так, как будто бы в человеческой жизни не было никакого другого зла, кроме лжи. Вопрос, который ему следует решить, состоит в том, отдавать или не отдавать деревню Выселки госпоже Беловой. Дело идет, стало быть, о судьбе двухсот душ крестьян. Сам Пронский в разговоре с Беловым употребляет именно эту формулу. «Она желает, — говорит он, — чтобы я отдал в вечное и потомственное владение супруги вашей 200 душ, находящихся в Выселках». Пронский знает, что Аграфена Ивановна — женщина грубая и корыстолюбивая; если он составляет себе не совсем верное понятие о ее характере, то ошибка может состоять только в том, что он преувеличивает ее дурные стороны. Значит, Пронский, принимающий Аграфену Ивановну за олицетворение всякого зла и за наместницу сатаны на нашей грешной земле, никак не может себе воображать, что Аграфена Ивановна будет сколько-нибудь сносною помещицею. Между тем нашему добродетельному и правдолюбивому герою даже не приходит в голову вопрос о том, хорошо ли будет жить тем 200 душам, которые он собирается отдать в чужие и притом в очень грязные руки. Пронскому засела в голову только та мысль, что этого желала его умирающая мать и что оставить это желание неисполненным — значит солгать перед тенью покойницы, обмануть ее надежды и оскорбить ее память. Какою ценою купится это исполнение желаний и надежд, каким страданиям подвергнутся две сотни живых людей ради того, чтобы успокоить кости мертвеца, — об этом наш герой не умеет подумать заранее, что, впрочем, не помешает ему впоследствии соболезновать об участи подаренных крестьян и принимать их под свое покровительство, которое, разумеется, не может принести им ничего, кроме нового горя. Но, забывая о судьбе, предстоящей двум сотням человеческих существ, князь Пронский помнит очень хорошо о том, что господа Беловы провинились во лжи и что теперь, по поводу вопроса о Выселках, ему, Пронскому, представляется удобный случай довести виновных до откровенного сознания, которое, по его мнению,

должно загладить совершившееся беззаконие и успокоить разгневанную тень старой княгини. Впрочем, эта попытка так и остается неудачною и бесплодною попыткою, потому что Белов, как человек, проникнутый благородною амбициею, ни в чем не признается, а у Пронского, при всей его антипатии к Беловым, не хватает духу обмануть последние надежды умершей матери. Деликатность и правдивость Пронского обрекают, таким образом, выселковских мужиков на мучительное порабощение.

XI

Совершив передачу Выселок, Пронский выходит в отставку, поселяется в деревне и начинает заниматься хозяйством, причем, разумеется, обнаруживает блистательно не только свое незнание жизни, но еще, кроме того, свою совершенную неспособность узнать жизнь когда бы то ни было. Он заводит школу и в этой школе учреждает музыкальный класс для смягчения грубых мужицких нравов. Дворовых обоего пола он собирает по вечерам в просторную залу и там заставляет их дремать под звуки назидательного чтения. К своим полям он применяет теории заграничных агрономов так удачно, что хлеб совсем перестает рождаться и что скотину приходится гонять на водопой через засеянные поля. Зато поучительным разговорам с крестьянами нет конца; Пронский собирает сходки чуть не каждый день и по нескольку часов подряд умоляет мужиков возлюбить правду и возненавидеть ложь. «Ложь, — говорит он однажды для пущей убедительности,— исчадие ада, у нее змеиный язык и зеленые, огненные глаза» (т. I, стр. 109). Здесь портрет лжи срисован с Аграфены Ивановны, у которой также были зеленые, огненные глаза и змеиный язык каждый раз, когда она являлась Пронскому во сне; а мучительные сновидения эти посещали нашего героя после каждого сильного нервного потрясения. Мы до сих пор не говорили об этих сновидениях и галлюцинациях и вообще намерены говорить о них очень мало, потому что мы не чувствуем себя способными разбирать повесть г. Толстого с психиатрической точки зрения. Похождения Пронского и развитие его болезни интересуют нас настолько, насколько в них обрисовываются различные стороны нашей общественной жизни и влияние этих сторон на очень впечатлительного и очень честного человека, у которого чувство везде и всегда преобладает над мыслью. Наш анализ до сих пор постоянно приводил нас к тому убеждению, что такие характеры не годятся для нашей жизни и что наша жизнь также для них не годится. Мы не могли сочувствовать ни тем явлениям жизни, против которых восставал Пронский, ни самому протестующему герою. Мы сознавали очень хорошо, что этот протест честен и смел, но мы также видели очень ясно и старались показать читателю в каждом

отдельном случае, что этих качеств слишком недостаточно для того, чтобы доставить протесту хотя малейшие шансы успеха. А безнадежный и, если можно так выразиться, мертворожденный протест против какого бы то ни было нравственного или общественного зла приносит обществу всегда гораздо больше вреда, чем пользы. Чтобы быть успешным, протест должен быть глубоко обдуман и приноровлен самым искусным образом к существующим обстоятельствам места и времени. Протестующая личность должна соединять в себе голубиную кротость с змеиною мудростью. У бедного князя Пронского не было ничего, кроме голубиной кротости, и поэтому каждое его доброжелательное предприятие заканчивалось какою-нибудь печально-комическою неудачею.

Пронский заметил, что крестьяне его живут бедно; голубиная кротость тотчас внушила ему ту мысль, что он может улучшить их положение; безо всяких дальнейших размышлений Пронский собирает сходку и объявляет мужикам, что «мы все дети одного отца, что все мы созданы по образу и подобию божиему и что должны всё делить, и горе и нужды, пополам» (т. I, стр. 110). После сходки мужики стали себе просить у барина того, что было необходимо каждому из них для поправления расстроенного хозяйства; барин никому не отказал, и с тех пор даровые раздачи хлеба, леса, коров и лошадей стали повторяться очень часто. Так как Пронский требовал от мужиков полной откровенности и при этом пугал их призраком лжи или фантастическим портретом Аграфены Ивановны, то мужики и бабы объявляли ему очень откровенно, что им тяжело работать целые дни под палящими лучами июльского или августовского солнца. Тронутый их откровенностью, которая, очевидно, доказывала ему благодетельное влияние музыкального класса и продолжительных бесед на сходках, — Пронский отпускал рабочих с поля, предоставляя хлебу осыпаться или гнить на корню. Все это было добродушно и добродетельно, но так как Пронский был удручен полнейшим отсутствием змеиной мудрости, то он и не умел предусмотреть и рассчитать заранее неизбежные последствия своих распоряжений. Он не сообразил того, что молва о его необычайном великодушии разнесется по всему околотку, что соседние крестьяне будут невольно сравнивать свою тяжелую участь с тем веселым житьем, которое устроил Пронский своим мужикам, и что окружающие помещики, испуганные одною возможностью такого неудобного сравнения, поднимут такую тревогу, от которой ему, Пронскому, не удастся отсидеться в затишье своего деревенского дома. Благодаря своему младенческому простодушию Пронский очень удивляется, когда исправник, заехавши к нему в имение, заводит с ним разговор о его домашних делах и подает ему совет вести свое хозяйство менее эксцентричным образом, так, чтобы не возбуждать неудовольствия и несбыточных надежд в крестьянах окружающих имений. Встретившись с упорною и злобною оппозициею того общества, в котором ему

приходится жить и действовать, Пронский, как человек, застигнутый врасплох, становится втупик. Он не ожидал сопротивления, его изумляет вмешательство посторонних людей в его домашние распоряжения, и на серьезные замечания исправника, высказанные мягким и осторожным, но очень внушительным тоном, он не умеет отвечать ни одним дельным возражением и ограничивается только очень резкими и смешными выходками против Аграфены Ивановны. Когда исправник доводит до его сведения, что г. Белов, исправляющий должность предводителя дворянства, обратил внимание на *вышереченные обстоятельства*, то есть на оригинальные отношения, сложившиеся между помещиком и крестьянами, тогда Пронский отвечает, как рассердившийся десятилетний мальчик: «Так скажите ему от меня, чтоб он не осмеливался вмешиваться в мои дела, а смотрел бы получше за своею супругою, у которой змеиный язык, чертовские глаза и кошачьи когти, так и скажите. Слышите!» (т. I, стр. 112). Ясное дело, что такого рода протестами против лжи, рутины и бездушного корыстолюбия наш добродетельный герой оказывает своим врагам драгоценные услуги и прокладывает себе очень старательно широкую дорогу в сумасшедший дом.

Далее Пронский совершенно запутывается в неизбежные последствия своих добродетельных поступков, в такие последствия, которые всякий здравомыслящий человек мог бы предвидеть и которые, однако, кажутся Пронскому очень удивительными и неожиданными. Он узнает от своего приказчика, что Белов поступает бесчеловечно с крестьянами подаренной деревни, «что он изнуряет их работами, чинит всякие несправедливости и посягает даже на народную нравственность» (т. I, стр. 143). Было бы очень удивительно, если бы Белов поступал иначе. Если он, вместе с своею женою, добивался имения в продолжение нескольких лет и готов был купить его ценою всевозможных заискиваний и унижений, то, разумеется, имение было ему нужно не для того, чтобы осыпать крестьян благодеяниями. Но Пронский никогда ничего не предвидит; он приходит в неистовое негодование, отправляется в Выселки, собирает сходку по праву бывшего помещика и произносит мужикам следующую поучительную речь.

— Братцы, я виноват перед вами, я уступил вас извергу, посягающему на правду и попирающему все обязанности христианина и человека. На то была воля покойной моей матушки! Возвратить вас всех под мое управление с землей и угодьями я не в праве; но пусть несчастные, притесненные, которые решатся оставить родное свое пепелище, переходят в мою вотчину. Каждый в деревнях моих найдет надежное убежище, и я сумею защитить его от преследований недостойного помещика (стр. 143).

Последствия этого протеста обрушиваются целиком на спины тех крестьян, которых Пронский берется защищать от преследований так называемого изверга. Увлекшись красноречием нашего несчастного героя, тридцать душ обоего пола переходят с пожит-

ками из Выселок в деревню Пронского Красные Пруды. Начинаются розыски и преследования беглецов, и тут Пронский запутывается до такой степени, что сам начинает лгать и обманывать. «Я упорствовал, — пишет Пронский в своем дневнике, — переводил преследуемых из одной деревни в другую и укрывал их по возможности» (т. I, стр. 143). Если Пронский укрывал беглых крестьян, то ясное дело, что ему приходилось постоянно отвечать разными выдумками на запросы земской полиции, которая, конечно, не могла оставлять его в покое, зная очень хорошо, что беглецы скрываются у него и что эти беглецы принадлежат уездному судье Белову, исправляющему должность предводителя дворянства. Таким образом, получилось самое полное и неизлечимое внутреннее противоречие. Желание говорить всегда правду во что бы то ни стало довело Пронского до необходимости лгать. И когда он решился лгать, тогда было уже слишком поздно. Его ложь могла только измучить его самого и подвести под усиленные истязания тех *братцев*, которых он *уступил извергу*.

В то время, когда Пронский живет в деревне, мудрит над мужиками и делает одну глупость за другою, — разыгрывается эпизод его несчастной любви, несчастной потому, что призрак лжи становится между Пронским и его невестою. Наш герой знакомится с семейством небогатого помещика Голубова; он становится у него в доме постоянным гостем и влюбляется в его дочь; молодые люди сходятся между собою во вкусах и наклонностях; оба любят природу, сельскую тишину и спокойную семейную жизнь; Пронский делает предложение, дочь и родители дают ему согласие, убедившись в том, что слухи о помешательстве нашего героя, пущенные в ход господами Беловыми и их приятелями, совершенно неосновательны. Голубовы приглашают к себе гостей, чтобы торжественно объявить им о помолвке; на этом званом вечере Пронский, требовавший от своей невесты прежде всего правды и откровенности, усматривает в предмете своей любви непростительное коварство и убегает из дома своего будущего тестя, преследуя по саду и по лесу призрак лжи, одаренный чертами Аграфены Ивановны — огненными глазами и змеиным языком.

Чем же провинилась бедная девушка перед нашим неумолимым обожателем истины? Узнал ли он, что она выходит за него замуж по расчету или по влечению к его княжескому титулу? Услышал ли он откровенный разговор ее с подругами, в котором она развивала свои мечты о шумной столичной жизни и осмеивала деревенские занятия и удовольствия? Дошло ли до него достоверное известие о каком-нибудь ее девическом проступке, который тщательно скрывала от него дочь заодно с заботливыми родителями? Одним словом, убедился ли он в том, что его ловили как выгодного жениха, что к нему подделывались и что для него были заготовлены парадные маски, которые, случайно свалившись

на несколько минут, обнаружили перед ним нравственное безобразие или умственную пустоту? Нет, ничего подобного не случилось. Вечером, когда гости уже съехались, но когда невеста еще не выходила в гостиную, Пронский вышел в сад за букетом цветов и, проходя мимо окон той комнаты, где одевалась его Надя, услышал голоса нескольких девушек, которые уговаривали Надю покрепче затягивать корсет. Надя отвечала им на это: «уф! мне уж не до талии, я просто задыхаюсь!» — Через несколько минут Надя вышла в гостиную, и Пронский начал просить ее вполголоса, чтобы она переменила платье, потому что оно ее душит. Надя с неудовольствием отвечала ему, что это вздор. Тогда Пронский уже с некоторою тревогою начал добиваться от нее признания в том, что платье ей узко. Надя не хотела ни в чем признаваться, и тогда произошел взрыв. Образ Аграфены Ивановны стал дразнить Пронского змеиным языком, загорелись огненные глаза; слабая голова нашего героя пошла кругом, он бросился бежать, куда глаза глядят, и бежал по саду, потом по лесу до тех пор, пока не упал без чувств. На другой день после этого скандального происшествия Надя написала к своему полоумному жениху очень милое письмо, в котором призналась ему откровенно, что платье было узко. Но Пронский уже не принадлежал самому себе; над его волею, над его умом, над всеми его чувствами господствовал нелепый призрак лжи; он не мог победить себя, его невеста сделалась ему противною; он узнавал в ее лице черты Аграфены Ивановны, и свадьба окончательно и безвозвратно расстроилась.

К этому времени подоспела история о беглых мужиках из Выселок; затем Пронского вздумали навестить Беловы, чтобы объясниться с ним лично насчет его необычайных действий и распоряжений. Пронский, увидя Аграфену Ивановну, пришел в неистовство и закричал исступленным голосом: «Не пускать, не пускать это чудовище; у нее огненные глаза, язык змеиный, она матушку задушила, спустите собак, травите ее, стреляйте из ружей».

Дальше — страшный пароксизм, потеря сознания и длинный ряд галлюцинаций, для которых на языке здоровых людей не может существовать соответственного описания.

Дальше — освидетельствование в губернском правлении, где Пронский произносит между прочим следующий монолог: «Нет, милостивый государь, я хотел водворить в своем имении закон *правды*. Понимаете ли вы всю обширность значения слова правды! Смягчая нравы методическою, а не беспорядочною музыкою, я укрощал дикие страсти и приуготовлял сердца к восприятию божественного луча правды. Ложь губит Россию! ложь, гнусное исчадие крепостного права, опутала, как паутиной, все сословия...» (т. I, стр. 18).

Мы не знаем, что еще ухитрился бы сказать несчастный безумец, но в этом месте его прервал губернатор, стараясь ему напомнить, что он говорит перед зерцалом. В ответе на это основатель-

ное напоминание Пронский объявил губернатору, что он, губернатор, «человек добрый и достойный, но слабый и ограниченный». Затем последовал новый монолог:

Из-под вашей руки делаются всевозможные гадости. Вы чувствуете, что есть множество людей, более вас способных для управления губернией, вы не нуждаетесь в вашем месте... а не хотите оставить его в надежде получить синюю ленту к светлому празднику. Спрашивается, на что она вам, синяя лента? и можно ли назвать службу, двигателем которой какая-нибудь лента или крест, служением правде?

— Что до вас касается, Василий Петрович, — продолжал Пронский, обратившись к одному из председателей, — то вы поборник *правды*. Для вас истина заключается в золотом тельце. Вы торгуете правосудием, торгуете честью ваших подчиненных, честью жены вашей... (т. I, стр. 19).

Через несколько недель после этой бурной сцены Пронский жил уже на берегу Финского залива, в великолепной психиатрической лечебнице доктора Пусловского.

Не давая себе права проникать в неизвестную нам область психиатрических исследований, мы не будем следить за похождениями Пронского в лечебнице и за различными фазами его болезни. Мы только обратим внимание читателей на тот замечательный прием, посредством которого доктор Пусловский старался вылечить Пронского от излишней раздражительности и от болезненной страсти к отвлеченной идее правды.

Познакомившись с его душевным состоянием, прочитавши его дневник и убедившись в том, что он не потерял ни способности мыслить, ни силы любить людей, Пусловский в один прекрасный день предлагает Пронскому сделаться его помощником по уходу и присмотру за больными. Пронский изумляется этому неожиданному предложению, и тогда доктор дает ему следующее объяснение: «Вам нужна полезная, здоровая деятельность. Химеры бегут, как от чумы, при появлении в человеке подобной деятельности. Положитесь на меня. Я вас снабжу книгами, о которых я упомянул, а между тем вам не худо было бы поближе ознакомиться с нашим заведением. Вы почти еще никого здесь не знаете, а у нас есть люди весьма замечательные. Лечебница наша — настоящий микрокосм: в ней, как в зеркале, отражаются все страсти, слабости, стремления и, разумеется, заблуждения светской жизни» (т. I, стр. 146).

Заставляя опытного психиатра произнести эти замечательные слова, г. Толстой дает нам повод думать, что он в значительной степени разделяет наш взгляд на причины душевной болезни, обрушившейся на Пронского. Мы говорили в одной из предыдущих глав, что очень впечатлительный и очень честный человек, не способный поддаваться внушениям мелкой своекорыстной робости, может воздерживаться от бессвязных, бесплодных

и изнурительных вспышек негодования против различных проявлений человеческой глупости и подлости только тогда, когда ему, честному и впечатлительному человеку, удалось найти себе ясно определенную и несомненно полезную деятельность, которая так или иначе уменьшает общую сумму существующего зла и горя. Этой спасительной деятельности не мог или не умел найти себе наш герой, который в то же время был слишком чист и нежен, слишком полон любви к людям, чтобы удовлетвориться грязным прозябанием господ Беловых и людей, подобных председателю Василию Петровичу. В этом неуменье отыскать правильный исход своим богатым и прекрасным силам заключается, по нашему мнению, несчастие Пронского; в этом неуменье мы видим, как уже было сказано выше, настоящую причину его душевной болезни. Теперь оказывается, что доктор Пусловский смотрит на дело с той же точки зрения. Если химеры бегут от здоровой и полезной деятельности, как от чумы, то позволительно предположить, что эти химеры не могут возникнуть и укорениться в душе человека, посвятившего такой деятельности все свои умственные силы. Если деятельность составляет превосходное лекарство, то мы имеем достаточное основание думать, что та же самая деятельность была бы не менее превосходным предохранительным средством.

Чтобы познакомить Пронского с обществом лечебницы, доктор ведет его в вечернее собрание, где пациенты обоего пола, снабженные пригласительными билетами, проводят время самым приличным образом, занимаясь, смотря по желанию, чтением, музыкой, разговорами или игрою в шашки, в домино и в карты. Из разговоров, происходивших между пациентами, мы считаем не лишним привести здесь монолог, который покажет читателю, что лечебницу действительно можно назвать микрокосмом и что в ней, как в зеркале, отражаются все страсти, слабости, стремления и заблуждения светской жизни.

— Вы желаете, вероятно, — говорит седовласый старец, воображающий себя очень важным сановником и украшенный розовою лентою и мишурными звездами, — молодой человек, служить под моим начальством? Душевно был бы рад, но в настоящую минуту нет никакой возможности. Все места заняты, и кандидатов тьма тьмущая. Вы понимаете, что мне весьма приятно было бы видеть у себя людей порядочных, образованных, со связями, но гг. аристократы везде опаздывают, и я право не знаю, как это делается, но большую часть видных мест занимают люди вовсе не аристократического происхождения. Посмотрите например: все лучшие квартиры в казенных домах кем заняты? Людьми без всякого происхождения! а между тем сколько аристократиков, которые с удовольствием бы приютились в казенных помещениях! Это, конечно, происходит частию от их беспечности, но частию и от своеволия и давления журнализма. Вот видите ли, молодой человек, все эти попытки гласности к добру не поведут. Я сорок пять лет служу в качестве первого, бесконтрольного, можно сказать, министра, и, кажется, нельзя сомневаться в административной моей опытности. Публика наша вообще очень речиста, любит пошалить язычком, пускай себе; но пера

в руки не давайте! Вот что! Меня, например, называли и тигром и львом, пригвожденным к канцелярии. Что же вышло? Покричали, покричали, да и замолкли, слова ветер унес! Но что написано пером, того не вырубишь топором. Перо, милостивый государь, я вам скажу, это стрела пернатая, это в отношении единства и величия власти, в сопровождении с тождественностью порядка... Пожалуйте табачку! (т. I, стр. 159).

Этим монологом мы и закончим нашу длинную статью. Если нам удалось дать читателю довольно ясное понятие о богатом содержании разбираемого романа, если нам удалось возбудить в читателе сожаление о том, что г. Толстой не написал до сих пор тех психиатрических очерков, о которых он упоминает в своем предисловии, — то мы считаем нашу цель совершенно достигнутою.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

(«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. Две части, 1867 г.)

I

Приступая к разбору нового романа г. Достоевского, я заранее объявляю читателям, что мне нет никакого дела ни до личных убеждений автора, которые, быть может, идут вразрез с моими собственными убеждениями, ни до общего направления его деятельности, которому я, быть может, нисколько не сочувствую, ни даже до тех мыслей, которые автор старался, быть может, провести в своем произведении и которые могут казаться мне совершенно несостоятельными. Меня очень мало интересует вопрос о том, к какой партии и к какому оттенку принадлежит г. Достоевский, каким идеям или интересам он желает служить своим пером и какие средства он считает позволительными в борьбе с своими литературными или какими бы то ни было другими противниками.[1] Я обращаю внимание только на те явления общественной жизни, которые изображены в его романе; если эти явления подмечены верно, если сырые факты, составляющие основную ткань романа, совершенно правдоподобны, если в романе нет ни клеветы на жизнь, ни фальшивой и приторной подкрашенности, ни внутренних несообразностей; одним словом, если в романе действуют и страдают, борются и ошибаются, любят и ненавидят живые люди, носящие на себе печать существующих общественных условий, — то я отношусь к роману так, как я отнесся бы к достоверному изложению действительно случившихся событий; я всматриваюсь и вдумываюсь в эти события, стараюсь понять, каким образом они вытекают одно из другого, стараюсь объяснить себе, насколько они находятся в зависимости от общих условий жизни, и при этом оставляю совершенно в стороне личный взгляд рассказчика, который может передавать факты очень верно и обстоятельно, а объяснять их в высшей степени неудовлетворительно.

Сюжет романа «Преступление и наказание», по всей вероятности, известен большинству читателей. Образованный молодой

человек, бывший студент, Раскольников, убивает старуху процентщицу и ее сестру, похищает у этой старухи деньги и вещи, потом в продолжение нескольких недель томится и терзается сильнейшею душевною тревогою и наконец, не находя себе покоя, сам на себя доносит, после чего, разумеется, отправляется в каторжную работу.

Раскольников очень беден. Отца у него уже нет. Его мать получает после покойного мужа сто двадцать рублей пенсиона и из этих денег старается тратить как можно меньше на собственную особу. Сестра Раскольникова живет в гувернантках. Сам Раскольников кое-как перебивается уроками и разными грошовыми работами, получает изредка субсидии от матери, борется с нищетою, старается при этом учиться, напрягает все свои силы, наконец изнемогает в непосильной борьбе, выходит из университета по совершенному недостатку средств и погружается в то мучительное оцепенение, которое обыкновенно овладевает утомленными, измученными и окончательно побежденными людьми. Роман начинается тогда, когда Раскольников совершенно задавлен обстоятельствами. Он живет в крошечной каморке, более похожей на шкаф, чем на комнату; он должен кругом хозяйке квартиры и при каждой случайной встрече с нею принужден выслушивать кротко и почтительно напоминания о платеже, жалобы и угрозы, на которые ему приходится отвечать извинениями, избитыми отговорками, стереотипными просьбами об отсрочке и торжественными, но неубедительными обещаниями уплатить сполна при первой возможности. Гардероб Раскольникова дошел до такого расстройства, что превратился в лохмотья, в которых «иной, даже и привычный человек, — по словам г. Достоевского, — посовестился бы днем выходить на улицу». Обед для Раскольникова не существует; хозяйка две недели не высылает ему кушанья, чтобы принудить его голодом к уплате денег или к очищению квартиры; Раскольников по целым дням лежит у себя в каморке, на старом изорванном диване, под старым изорванным пальто, и поддерживает свое существование какими-то объедками, которые из сострадания приносит ему кое-когда кухарка Настасья, относящаяся к нему с добродушно-презрительною фамильярностью. Своими насущными делами Раскольников не занимается; у него нет и не может быть никаких насущных дел; чтобы давать уроки или поддерживать с кем бы то ни было деловые сношения, надо иметь сколько-нибудь приличный костюм и быть уверенным в том, что не упадешь в обморок от пустоты в желудке и от истощения сил. Существуют такие границы, за которыми бедность становится неприличною и невыносимою для глаз благовоспитанного и состоятельного человека; кто имел несчастие или неосторожность перешагнуть через эти роковые границы, тот теряет право искать себе работу и являться серьезным претендентом на какое бы то ни было вакантное место; оборванец, которому

с часу на час грозит голодная смерть под открытым небом, может в случае удачи получить двугривенный от сострадательного прохожего, так точно, как он получает тарелку вчерашних щей от добродушной Настасьи, но ему до крайности мудрено надеяться на то, что какой-нибудь отец семейства доверит ему обучение своих детей. Он оборван и голоден, — следовательно, он чем-нибудь и как-нибудь виноват; он оборван и голоден, — следовательно, он опасен, и всякий порядочный человек при встрече с ним должен тщательно наблюдать за его руками, чтоб эти грязные и дрожащие руки не посягнули каким-нибудь образом на благосостояние порядочного человека. Так рассуждают обыкновенно обеспеченные люди, когда их спокойный и добродушный взор падает на особу, перешагнувшую через известные границы и унизившуюся до неимения крепкого платья и постоянного обеда; обеспеченным людям приятно и необходимо рассуждать таким образом, потому что, при таком способе рассуждения, обеспеченность оказывается сама по себе достоинством и положительною заслугою перед обществом; взглянув сострадательно на оборванца и снабдив его двугривенным, обеспеченный человек обращает свои взоры на самого себя и самодовольно рассуждает о том, что он ни от кого не возьмет двугривенного, что он, следовательно, велик и прекрасен сравнительно с жалким париею, получившим от него благодеяние, и что, вследствие этого величия и этой красоты, он обязан по возможности уклоняться от всяких сношений с такими подонками общества и протягивать руку помощи, то есть давать работу, только тому, кто еще кое-как соблюдает правила благопристойности.

Итак, Раскольников растерял свои насущные дела, и ему почти невозможно было обзавестись ими снова. Почему и каким образом он их растерял, этого не сказано у г. Достоевского, но этот пробел очень легко может быть пополнен собственными соображениями читателя. Какие-нибудь две-три самые пустые случайности, отъезд семейства в другой город, болезнь ребенка, готовящегося в какое-нибудь учебное заведение, каприз папеньки или маменьки — могут в одно прекрасное утро оставить бедного студента, живущего уроками, безо всяких средств к существованию. В самом счастливом случае искание новых работ или уроков протянется неделю, две, три; этот кризис можно как-нибудь пережить, извертываясь прибереженными копейками, занимая у товарищей, пользуясь кредитом у хозяйки и у фурнисеров[2] или обращаясь к ростовщикам и закладывая у них какие-нибудь фамильные драгоценности вроде серебряных часов или золотых пуговок. Но всего правдоподобнее, что кризис затянется на несколько месяцев, и тогда несчастный юноша, полный сил и желания работать, воодушевленный любовью к науке и к людям, проникнутый самыми честными стремлениями, имеющий право многого требовать и многого ожидать от жизни, попадет в положение чело-

века, медленно утопающего в грязном болоте. Скромные сбережения, если даже они и имелись, окажутся истраченными до последней копейки; товарищи отдадут все, что они были способны дать, и дальнейшие обращения к их братской помощи сделаются невозможными; хозяйка заговорит об уплате денег и начнет жаловаться на шерамыжников, за которыми пропадает ее добро; последние часишки пропадут в закладе за какие-нибудь три целковых; а между тем сапоги начнут разваливаться от бесполезной беготни по городу за трудовым куском хлеба; платье расползется по швам и по целику и повиснет на плечах живописными лохмотьями; белье загрязнится до последней степени отвратительности; щеки поблекнут и ввалятся; в глазах появится постоянное выражение тревожной и суетливой рассеянности; и в душу закрадется понемногу чувство холодной безнадежности и лихорадочной раздражительности; беготня будет еще продолжаться, но сам бегающий субъект перестанет верить в ее практическую пригодность; все изменит человеку разом: и последние денежные средства, и последняя пара приличного платья, и физические силы, и надежды на лучшую будущность, и вера в жизнь, и желание работать, и способность отмахиваться от дурных, опасных и соблазнительных мыслей. Человек забьется в свою грязную конуру, из которой его выживают голодом, холодом, бранью и полицейскими мерами, завалится на свою грязную постель, махнет рукой на свои любимые планы, на самого себя, на чистоту и святость своего внутреннего мира и, как безответная жертва, отдаст себя в полное распоряжение тех мрачных и диких мыслей, которые порождаются отчаянием, голодом, озлоблением против людей, презрением к самому себе, как побежденному и раздавленному существу, горьким ощущением незаслуженной обиды и начинающеюся болезнью, составляющею неизбежный результат всех испытанных волнений и страданий.

Нет ничего удивительного в том, что Раскольников, утомленный мелкою и неудачною борьбою за существование, впал в изнурительную апатию; нет также ничего удивительного в том, что во время этой апатии в его уме родилась и созрела мысль совершить преступление. Можно даже сказать, что большая часть преступлений против собственности устроивается в общих чертах по тому самому плану, по какому устроилось преступление Раскольникова. Самою обыкновенною причиною воровства, грабежа и разбоя является бедность; это известно всякому, кто сколько-нибудь знаком с уголовною статистикою. Далее, не трудно понять и не трудно даже доказать фактами, что воровать и грабить человек в большей части случаев решается только тогда, когда честный труд оказался для него недоступным или когда он убедился в том, что честный труд составляет слишком медленное и недостаточное лекарство против гнетущей бедности. Это значит, что человек, решившийся воровать и грабить, искал труда

и не нашел его или нашел его в таких нищенских размерах, которые не покрывают его насущных потребностей. За неудачными поисками должна последовать апатия; во время апатии должно сложиться убеждение, что нет возможности оставаться честным человеком и что надо выбирать одно из двух: голодную смерть или преступление. Затем должна следовать борьба между инстинктом самосохранения и отвращением к грязному поступку; если победит первый, — человек сделается хищным животным, и его ближние станут травить его, как голодного волка; если победит второе, — человек заболеет от недостатка здоровой пищи и, по всей вероятности, кончит свое печальное существование на койке чернорабочей или какой-нибудь другой больницы, в отделении тифозных или возвратногорячечных больных.

Итак, огромное большинство людей, отправляющихся на воровство или на грабеж, переживают те самые фазы, через которые проходит Раскольников. Преступление, описанное в романе г. Достоевского, выдается из ряда обыкновенных преступлений только потому, что героем его является не безграмотный горемыка, совершенно не развитый в умственном и нравственном отношениях, а студент, способный анализировать до мельчайших подробностей все движения собственной души, умеющий создавать для оправдания своих поступков целые замысловатые теории и сохраняющий во время самых диких заблуждений тонкую и многостороннюю впечатлительность и нравственную деликатность высокоразвитого человека. Вследствие этого обстоятельства колорит преступления до некоторой степени изменяется, и процесс его подготовления становится более удобным для наблюдения, но его основная побудительная причина остается неизменною. Раскольников совершает свое преступление не совсем *так*, как совершил бы его безграмотный горемыка; но он совершает его *потому*, почему совершил бы его любой безграмотный горемыка. Бедность в обоих случаях является главною побудительною причиною. При этом само собою разумеется, что влияние бедности в обоих случаях выражается не в одинаковых формах. У человека, подобного Раскольникову, внутренняя борьба, возбужденная безнадежным положением, проявляется очень рельефно, отчетливо и, если можно так выразиться, членораздельно. Раскольников обсуживает свое положение со всех сторон, взвешивает свои силы, измеряет величину тех препятствий, которые он должен преодолеть, чтобы остаться незамаранным человеком, ставит себе вопросы и отвечает на них, придумывает доказательства и опровергает их, словом, постоянно роется в своих собственных мыслях и ощущениях, ясно понимает их во всякую данную минуту и высказывает их в таких оживленных и разнообразных разговорах с самим собою, что развитие опасной и соблазнительной мысли становится для нас понятным во всех своих подробностях. У неразвитого бедняка все мысли и ощущения, пережитые Раскольниковым, оказались

бы смятыми и скомканными в одну темную и безобразную кучу, которую сам переживающий субъект был бы еще менее способен разложить на ее составные части, чем другие люди, смотрящие на дело со стороны. Он чувствовал бы только, что ему тяжело и больно, гадко и пошло, что ему совестно встречаться с прежними товарищами, что ему противно думать о работе, которая его не кормит, и что какая-то сила, похожая на демона искусителя, подмывает и подталкивает его на скверное дело, которое с каждым днем кажется ему неизбежным и которого возрастающая неизбежность наводит на него ужас и отвращение. Никаких теорий тут, конечно, не могло бы быть; никаких философских обобщений, никаких высших взглядов на отношения личности к обществу; ничего, кроме тупого страдания и неясной тревоги. Одинокая борьба неразвитого бедняка с самим собою была бы, по всей вероятности, сокращена в значительной степени сближением данного субъекта с такими товарищами, которые залили бы его последние сомнения хлебным вином, завербовали бы его в свою компанию и указали бы ему все приступы и подходы к первому нарушению существующих законов. У Раскольникова, напротив того, борьба оставалась до самого конца, то есть до той минуты, когда дикая мысль превратилась в кровавое дело; чем ближе Раскольников знакомился с своею дикою мыслью, чем яснее он видел, что это уже не фантазия, а серьезный план, тем тщательнее он избегал всяких сношений с людьми; он ни с кем не мог и не хотел делиться своими планами и советоваться насчет своего предприятия. Его прежние товарищи и друзья, конечно, постарались бы пристроить его в дом умалишенных, если бы он заикнулся им о том, каким образом он намеревается отыскать себе выход из своего затруднительного положения. А новых товарищей — таких, которые могли бы отнестись к его замыслу с деятельным сочувствием, Раскольников не желал иметь ни под каким видом. Он ненавидел, презирал и боялся таких товарищей; у него не было и не могло быть ни в образе мыслей, ни в желаниях, ни во вкусах, ни в привычках ни одной точки соприкосновения с ворами и грабителями по ремеслу. Он хотел убить и ограбить, но так, чтобы на него не брызнула ни одна капелька пролитой крови, чтобы ни один живой человек не мог проникнуть его тайну, чтобы все прежние друзья и товарищи жали ему руку с прежним сочувствием и уважением и чтобы его мать и сестра более, чем когда бы то ни было, считали его своим ангелом-хранителем, сокровищем и утешением. Особенность преступления, совершенного Раскольниковым, состоит именно в том, что он сам следил очень внимательно за всеми фазами того психологического процесса, которым оно подготовлялось, и, кроме того, обдумывал, устроивал и выполнял все один, без всяких сообщников, помощников и поверенных. По поводу этого преступления возникают естественным образом два главные вопроса: во-первых, есть ли основание считать Раскольникова

помешанным, и во-вторых, есть ли основание думать, что теоретические убеждения Раскольникова имели какое-нибудь заметное влияние на совершение убийства. Мне кажется, что на оба эти вопроса приходится дать отрицательный ответ.

Хотя слово *помешанный* или *сумасшедший* до сих пор не имеет и при теперешнем положении медицинских знаний, вероятно, еще не может иметь строго определенного значения, хотя, быть может, в природе даже совсем не существует резкой границы между здоровым и больным состоянием организма вообще и нервной системы в особенности, однако я осмеливаюсь выразить то предположение, что Раскольникова невозможно считать помешанным и что ни один мыслящий медик не подметил бы в нем такого расстройства умственных способностей, при котором человек перестает отдавать себе ясный отчет в смысле и значении своих собственных поступков. Если бы Раскольников был помешан, то мне кажется, что мы, люди, находящиеся в здравом уме, не были бы в состоянии следить за каждою его мыслью до самых последних ее изгибов и до тончайших ее разветвлений. Многие из его мыслей должны были бы казаться нам неожиданными; многие из его поступков должны были бы поражать нас своею беспричинностью; ставя себя на его место, каждый из нас должен был бы чувствовать, что он решительно не был бы в состоянии набрести на те мысли, на которые набрел Раскольников; мы должны были бы замечать, что у Раскольникова в процессе мышления обнаруживаются какие-то пробелы и перерывы, что среди ровного и плавного течения мысли у него попадаются такие зигзаги и скачки, такие пируэты и вольтфасы, которые наша трезвая и здоровая мысль отказывается проделывать вслед за ним и для которых необходимо предположить существование и деятельность особой причины, особого фактора, называемого умственною болезнью. Этого-то и нет. Каждая мысль и каждый поступок Раскольникова, в особенности до совершения убийства, мотивированы в высшей степени удовлетворительно. Мы видим в каждом отдельном случае, почему и зачем он делает тот или другой шаг. Мы видим, что именно толкает его сзади и что именно манит его впереди. Он бросается стремглав в лужу крови и грязи, что, конечно, довольно странно со стороны образованного и высокоразвитого молодого человека; но бросается он вовсе не потому, что чувствует к этой крови и грязи непреодолимое влечение, которое, конечно, было бы непонятно здоровому человеку и которое, следовательно, можно было бы объяснить только расстройством умственных способностей; бросается он в лужу собственно и единственно потому, что сухая тропинка, прилегающая к этой луже, становится, наконец, невыносимо узкою. Бросается он в лужу с болью и со страхом, с ужасом и с отвращением, зажимая себе нос и рот и собираясь долго и тщательно отмываться от нечистоты, как только ему удастся вынырнуть и взобраться снова на сухую и чистую дорожку.

Если вы хотите окончательно убедиться в том, что Раскольников не помешанный, сделайте следующее предположение. Накануне убийства Раскольников узнает совершенно случайно, из разговора, услышанного им на Сенной, куда ему даже и незачем было ходить, что завтра, ровно в семь часов вечера, старуха, которую требовалось убить и ограбить, останется дома одна. После этого разговора «он вошел к себе как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что все вдруг решено окончательно. Конечно, если бы даже целые годы приходилось ему ждать удобного случая, то и тогда, имея замысел, нельзя было рассчитывать наверное на более очевидный шаг к успеху этого замысла, как тот, который представлялся вдруг сейчас. Во всяком случае трудно было бы узнать накануне и наверно, с большею точностию и с наименьшим риском, без всяких опасных расспросов и разыскиваний, что завтра, в таком-то часу, такая-то старуха, на которую готовится покушение, будет дома одна-одинехонька» (I, 95—96). Мысль и решимость созрели в Раскольникове настолько, что они должны были немедленно, не дальше, как на другой день, выразиться в поступке, после которого невозможен никакой поворот назад. Теперь вообразите же себе, что в это самое время, когда уже все решено, когда наш герой чувствует себя приговоренным к совершению убийства, в его каморку входит почтальон и подает ему письмо и повестку, требуя себе, по обыкновению, шесть копеек. Раскольников морщится, платит деньги из последних своих ресурсов, полученных за отцовские часы, и распечатывает полученные бумаги; оказывается, что повестка объявляет ему о получении письма на его имя, со вложением пятисот рублей; что же касается до простого письма, полученного вместе с повесткою, то оно написано рукою его матери и извещает его о том, что их семейству досталось совершенно неожиданным образом наследство тысяч в двадцать серебром, что мать вместе с сестрою едут к нему в Петербург и что ему уже выслано пятьсот рублей для немедленного поправления его расстроенных обстоятельств. Как вы думаете, что предпримет Раскольников, получивши такие известия? Будет ли он попрежнему считать вопрос о старухе бесповоротно решенным и смотреть на самого себя как на человека, окончательно приговоренного к отвратительному купанию в грязной и кровавой луже? Я не думаю, чтобы кто-нибудь из читателей серьезно ответил на этот вопрос: *да*. Для такого ответа нет никаких материалов в романе г. Достоевского. Если же вы допустите, что письмо и повестка могли перевернуть все планы и намерения Раскольникова в то самое время, когда он уже готовился приступить к их выполнению, то вы тем самым лишите себя всякой возможности считать его помешанным. Я понимаю очень хорошо, что

порядочная сумма денег очень часто может быть гораздо полезнее, необходимее и спасительнее всевозможных лекарств, теплых ванн и гимнастических упражнений, но я до сих пор никогда не слыхал, чтобы действительно существующее помешательство лечилось письмами и повестками из почтамта. Если Раскольникова можно было бы вылечить радостным известием и присылкою денег, то не трудно, кажется, сообразить, что корень его болезни таился не в мозгу, а в кармане. Он был беден, голоден, обескуражен и озлоблен, но нисколько не помешан. Конечно, он размышлял не совсем так, как размышляют люди, находящиеся в хорошем, ровном и спокойном расположении духа. Но что же из этого следует? Когда человек чем-нибудь сильно обрадован, или огорчен, или испуган, или взволнован, или озабочен, то мысль его непременно работает не совсем так, как это делается в спокойные минуты его жизни. Если вы усилите каким-нибудь образом действие той причины, которая произвела изменения в процессе мышления, то вместе с тем усилится и самое изменение; если оно усилится в очень значительных размерах, то человек сделается до некоторой степени похожим на сумасшедшего; он начнет заговариваться, болтать чепуху, перебивать самого себя, смеяться или плакать без видимой причины, задумываться, отвечать невпопад на самые простые вопросы и вообще вести себя так, что от него трудно будет добиться толку. Но признать его помешанным было бы все-таки в высшей степени опрометчиво. Удалите причину, перепутавшую его мысли, и он немедленно сделается снова совершенно рассудительным человеком. Всякая страсть, всякое впечатление, всякое глубокое душевное движение нарушают до некоторой степени полное равновесие и гармоническое действие наших умственных способностей, но если бы каждое подобное нарушение считалось за помешательство, то, по всей вероятности, каждому из нас пришлось бы провести в сумасшедшем доме большую часть своей жизни. Помешательством можно назвать только такое нарушение равновесия, после которого нормальные умственные отправления уже не восстановляются сами собою.

Человек помешанный не может отвечать за свои поступки. С него невозможно взыскивать за то зло, которое он делает себе и другим; его нельзя ни судить, ни наказывать. Этот принцип в настоящее время принят всеми уголовными кодексами образованного мира. Доказать, что преступление совершено во время помешательства, значит доказать, что преступления вовсе не существует и что вместо преступника, подлежащего известному наказанию, судьи имеют перед собою больного, нуждающегося в попечениях добросовестного и человеколюбивого медика. Поэтому в вопросе о том, помешан ли Раскольников, скрывается в сущности другой вопрос: насколько Раскольников был свободен и способен отвечать за свои поступки в то время, когда он

совершал свое преступление? Этот вопрос имеет очень важное и глубокое общественное значение. Этот вопрос гораздо более интересен для каждого размышляющего читателя, чем специально-психиатрический вопрос о том, можно ли назвать помешательством то ненормальное настроение, в которое погрузила Раскольникова его безвыходная нищета. Собственно говоря, именно этот вопрос и предлагается каждым читателем, желающим знать, был ли Раскольников помешан или нет. От решения этого вопроса *зависят* те отношения, в которые читатель станет к герою, совершившему грязное и отвратительное преступление. Читатель может или презирать и ненавидеть Раскольникова как вредного и низкого негодяя, для которого уже нет и не должно быть места в гражданском обществе; или же читатель может смотреть на него с почтительным состраданием, как на несчастного человека, свалившегося в грязь под невыносимым гнетом таких суровых и непобедимо-враждебных обстоятельств, которые могли бы сломить даже очень твердую волю и отуманить даже очень светлую голову. Отношения читателя к Раскольникову определятся так или иначе, смотря по тому, как решится вопрос о свободе Раскольникова и о его способности отвечать за свои поступки. Этот последний вопрос можно и должно совершенно отделить от вопроса о его помешательстве. Можно признать тот факт, что Раскольников не был помешан, и в то же время можно доказать, что та доля свободы, которою пользовался Раскольников, была совершенно ничтожна. Переберем одну за другою все подробности той обстановки, при которой Раскольникову приходилось обдумывать свое положение и искать выхода из той ловушки, которую расставила ему жизнь; перечислим одно за другим впечатления, которые ложились на его измученную нервную систему; взвесим и оценим все мелкие и мучительные столкновения с грубостью и бездушностью окружающих людей, все столкновения, которые направляли в известную сторону течение его мыслей, — и потом спросим себя, оставалась ли за Раскольниковым свобода выбора и в его ли власти было прийти или не прийти к тому дикому абсурду, которым закончилась его глухая и одинокая борьба.

В ту минуту, когда мы знакомимся с Раскольниковым, он старается «*проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице*» мимо квартиры хозяйки, которой он должен, и *улизнуть, чтобы никто не видал*. При этом он чувствует *какое-то болезненное и трусливое ощущение*, которого стыдится и от которого морщится. И это ощущение он принужден испытывать всякий раз, когда выходит на улицу, потому что всякий раз ему надо проходить по лестнице мимо хозяйкиной двери, которая обыкновенно бывает отворена. Выходит он на улицу в таком виде, который в одних прохожих возбуждает насмешку, в других — отвращение, в третьих — праздное сострадание. Он остается равнодушен

к тому впечатлению, которое его лохмотья могут произвести на уличную публику. Но почему он равнодушен? Потому, как объясняет г. Достоевский, что в душе его накопилось уже достаточное количество *злобного презрения*. Это злобное презрение, составляющее для Раскольникова оборонительное оружие против мелких булавочных уколов, которые добрые люди расточают своим ближним для препровождения времени, — приобретается не легко, покупается не дешевою ценою и изображает собою такую почву, на которой могут укорениться и созреть самые дикие, мрачные и отчаянные намерения. Это злобное презрение еще недостаточно защищает его от стыда за свою беспомощность, когда ему случается встретиться с знакомыми или с прежними товарищами. Он тщательно избегает таких встреч. Дурной знак! Его молодое самолюбие так глубоко изранено разнообразнейшими оскорблениями, что уже нет той формы дружеского участия, которая могла бы доставить ему приятное ощущение и которая не показалась бы ему выражением обидного и высокомерного сострадания.

Раскольников идет к той старухе, которую он собирается убить; он идет закладывать серебряные часы и в то же время осматривать местность. Старуха дает ему за часы полтора рубля и берет с него проценты за месяц вперед, по десяти процентов в месяц. Раскольников видит и чувствует на самом себе, как люди пользуются страданиями своих ближних, как искусно и старательно, как аккуратно и безопасно они высасывают последние соки из бедняка, изнемогающего в непосильной борьбе за жалкое и глупое существование. Ненависть и презрение приливают широкими и ядовитыми волнами в молодую и восприимчивую душу Раскольникова в то время, когда грязная старуха, паук в человеческом образе, тянет из него все, что можно вытянуть из человека, находящегося накануне голодной смерти. Ненависть и презрение одолевают его с такою силою, что ему становится бесконечно отвратительным даже бить эту старуху, даже марать руки ее кровью и ее деньгами, в которых ему чуются слезы многих десятков голодных людей, быть может даже многих покойников, умерших в больнице от истощения сил или бросившихся в воду, во избежание голодной смерти. На минуту все тонет для Раскольникова в каком-то тумане непобедимого отвращения. Пропадай эта подлая старуха, пропадай ее грязные деньги, пропадай я сам с моими глупыми страданиями и еще более глупыми планами обогащения. Наплевал бы на всю эту тину человеческой гнусности, ушел бы куда-нибудь, забылся бы, умер бы, если бы для этого достаточно было закрыть глаза и пожелать смерти.

Это чувство нравственного отвращения усиливается еще и доводится до своего апогея простым ощущением физической тошноты. Раскольников голоден до такой степени, что мысли пу-

таются в его голове. Он входит в распивочную, выпивает стакан холодного пива, и ему вдруг становится веселее и легче; он сам замечает, что у него «крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения». Сознательная ненависть к старухе и взгляд на ее бесчестно нажитые деньги как на средство выбраться из затруднения одерживают перевес над инстинктивно сильным отвращением к грязному убийству. Раскольников замечает тотчас же, что этот поворот в его мыслях произошел от стакана пива, и это простое наблюдение заставляет его плюнуть и сказать: «какое все это ничтожество!» Из этого наблюдения он видит, что он не властен над своими мыслями, что он не может подавлять или вызывать их по своему благоусмотрению и что ему надо будет, волею или неволею, идти туда, куда поведут его внешние влияния, дающие его мыслям то или другое направление. В распивочной Раскольников встречается с горьким пьяницею, отставным чиновником Мармеладовым, который комически-витиеватым языком рассказывает ему свою простую и глубоко трагическую историю. Бедность, голодные дети, грязный угол, оскорбления разных нахалов, чахоточная жена, сохраняющая воспоминание о лучших днях и убивающая себя работою, старшая дочь, превратившаяся в публичную женщину, чтобы поддерживать существование семейства, — вот выдающиеся черты той жизни, которой панорама развертывается перед Раскольниковым в рассказе пьяного Мармеладова. Сам рассказчик нисколько не желает себя выгораживать; с смирением, свойственным разговорчивому пьянице, он неоднократно называет себя свиньею и скотом и доказывает очень убедительно, что он в самом деле скот и свинья. Он объясняет Раскольникову, с чувством искреннего негодования против себя, что пропил даже чулки своей жены, пропил косыночку из козьего пуха, «*дареную*, *прежнюю*, *ее собственную*», пропил в последние пять дней свое месячное жалованье, укравши его из-под замка у жены, вместе с жалованьем пропил форменное платье и последнюю надежду выбраться на чистую дорожку посредством службы, которая была ему доставлена только по особому великодушию какого-то благодетеля, его превосходительства Ивана Афанасьевича, тронувшегося его слезными мольбами и взявшего его на свою личную ответственность. «Пятый день из дома, — кончает Мармеладов, — и там меня ищут, и службе конец, и вицмундир в распивочной у Египетского моста лежит, взамен чего и получил сие одеяние... и всему конец».

До столкновения с Мармеладовым Раскольников знал коротко только те физические лишения, которые порождаются бедностью. Он мог, конечно, дойти и, по всей вероятности, доходил путем теоретических выкладок до того заключения, что бедность, придавливая и пригибая человека к земле, делая его безответным и беззащитным, заставляя его ползать и пресмыкаться в грязи

у ног великодушных благодетелей, медленно и безвозвратно убивает в нем его человеческое достоинство, но доходить путем размышления до того вывода, что какой-нибудь факт возможен и действительно существует, совсем не то, что встретиться с этим фактом лицом к лицу, осмотреть его со всех сторон и вдохнуть в себя весь его своеобразный аромат. Раскольников *никогда до сих пор не входил в распивочные* (I, 12), следовательно, никогда не видал вблизи тех образчиков нравственного падения, которые изготовляются бедностью. Мармеладов и его рассказ действуют на него так, как действуют обыкновенно на юного медицинского студента те куски разлагающегося человеческого мяса, с которыми он встречается и принужден знакомиться самым обстоятельным образом при первом своем вступлении в анатомический театр. Прошу читателей извинить меня. Мое сравнение грешит тем, что оно слишком слабо. Оно могло бы сделаться верным только в том случае, если бы мы предположили, что в анатомическом театре производятся вивисекции над самими медицинскими студентами и что каждый из этих студентов, превратившись под ножом прозектора в куски кровавого и разлагающегося мяса, продолжает в течение многих месяцев страдать, стонать, метаться, чувствуя и сознавая свое собственное гниение. Допустивши это дикое предположение и вообразив себе, какое чувство должен испытывать студент, вступающий в анатомический театр, знающий заранее ту судьбу, которая его ожидает, и встречающийся в первый раз с живыми примерами тех метаморфоз, которые скоро должны совершиться над ним самим, мы составим себе довольно ясное понятие о том, что должен был передумать и перечувствовать Раскольников, созерцая Мармеладова и выслушивая его пьяную исповедь. Всего ужаснее в этой личности и в этой исповеди именно то, что Мармеладова невозможно презирать целиком, презирать так, чтобы к этому презрению не примешивалось никакого другого чувства. Глядя на него, Раскольников не может остановиться и успокоиться на том приговоре, что это действительно скот и свинья и что в этом скоте или в этой свинье никогда не было или по крайней мере уже не осталось ничего чисто человеческого, ничего такого, в чем просвечивало бы его сродство с самим Раскольниковым и в чем таились бы задатки беспредельного совершенствования. Мармеладов любит свою жену и своих детей, запоминает все оттенки их страданий и сам страдает за них и вместе с ними в то же самое время, когда он сам, своими же собственными руками, сталкивает их в грязную яму безвыходной нищеты, которая уже разрешилась для его старшей дочери всеми муками и пытками вынужденного разврата. Мармеладов способен сознательно уважать свою жену, способен оценивать, понимать и прощать естественною деликатностью и чуткостью глубоко нежного характера (я бы сказал *сердца*, если бы не избегал этого неточного и до крайности опош-

ленного выражения) те взрывы взбалмошной сварливости и несправедливой злости, которым подвержена эта измученная чахоточная женщина. «Лежал я тогда... — говорит Мармеладов. — Ну да уж что! лежал пьяненькой-с и слышу, говорит моя Соня (безответная она, и голосок у ней такой кроткий... белокуренькая, и личико всегда бледненькое, худенькое), говорит: «Что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти?» А уж Дарья Францевна, женщина злонамеренная и полиции многократно известная, раза три через хозяйку наведывалась. «А что ж, — отвечает Катерина Ивановна в пересмешку, — чего беречь? Эко сокровище!» Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не в здравом рассудке сие сказано было, а при взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей неевших, да и сказано более ради оскорбления, чем в точном смысле... Ибо Катерина Ивановна такого уж характера, и как расплачутся дети, хоть бы и с голоду, тотчас же их бить начинает. И вижу я, эдак часу в шестом, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только наш большой драдедамовый зеленый платок (общий такой у нас платок есть, драдедамовый), накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать, лицом к стенке, только плечики да тело все вздрагивают... А я, как и давеча, в том же виде лежал-с... И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе, обнявшись... обе... обе... да-с... а я... лежал пьяненькой-с...» (I, 25—26). Все рассказано просто, ясно и до последней степени отчетливо. Приведены все подробности, которые мог подметить очевидец, глубоко заинтересованный в совершавшемся событии. Подмечено все, что могло бросить свет на характеры обеих женщин, все, что могло объяснить и оправдать их поступки, идущие вразрез с правилами той нравственности, которую счастливые люди могут и должны считать для себя обязательною и во имя которой они очень естественным образом расположены судить и осуждать своих несчастных ближних. Видно из каждого слова рассказа, что впечатления этого рокового вечера, как капли расплавленного свинца, падали в мозг жалкого пьяницы и оставляли в нем такие следы, которых не сотрут до конца его жизни никакие винные пары. Все он понимает, все объясняет, все прощает и оправдывает — только для самого себя нет у него ни одного слова объяснения, прощения и оправдания. И три раза встречается в его рассказе упоминание о том голом факте, что он лежал пьяненький, упоминание, похожее на похоронное пение,

пропетое человеком над самим собою. И с этим-то ясным пониманием своего глубокого ничтожества, с этим неизгладимым ярким и жгучим воспоминанием о событиях рокового вечера он все-таки бежит в кабак, укравши у жены свои трудовые деньги, пьянствует без просыпу пятеро суток, губит все последние надежды своего семейства и, в довершение всех своих подвигов, спустивши в кабаках все, что можно было спустить, идет выпрашивать у своей дочери, живущей по желтому билету, выпрашивать на последний полуштоф водки частицу тех денег, которые она добывает от искателей легкой и дешевой любви и которые составляют единственное постоянное подспорье чахоточной женщины и троих вечно голодных ребятишек. Ясное дело, что Мармеладов — труп, чувствующий и понимающий свое разложение, труп, следящий с невыразимо-мучительным вниманием за всеми фазами того ужасного процесса, которым уничтожается всякое сходство этого трупа с живым человеком, способным чувствовать, мыслить и действовать. Это мучительное внимание составляет последний остаток человеческого образа; глядя на этот последний остаток, Раскольников может понимать, что Мармеладов не всегда был таким трупом, каким он видит его в распивочной, за полуштофом, купленным на Сонины деньги. Этот остаток намекает ему на то, что есть тропинка, ведущая к мармеладовскому падению, и что есть возможность спуститься на эту скользкую тропинку даже с той высоты умственного и нравственного развития, на которую удалось взобраться ему, студенту Раскольникову. Недаром же Мармеладов обращается в распивочной исключительно к нему одному, и недаром же он сам слушает его рассказ с напряженным вниманием. Между ними есть точки соприкосновения, между ними существует возможность взаимного понимания, и, стало быть, нет оснований ручаться за то, чтобы те испытания, которые погубили Мармеладова, не обнаружили своего мертвящего и разлагающего влияния над Раскольниковым. Мармеладова раздавила бедность, та самая бедность, которая давит Раскольникова и уже довела его до изнурительной апатии и до диких мыслей о грабеже и убийстве. Мармеладов не вынес своих страданий, осложненных страданиями, продолжительными и разнообразными, то острыми, то хроническими страданиями тех людей, которые были ему дороги и которых существование он один мог и один обязан был обеспечивать. Мармеладов не вынес и стал искать себе минутного забвения; он *прикоснулся*, как он сам выражается, и прикоснулся по тому самому побуждению, по которому человек, страдающий невыносимою зубною болью, кладет себе опиум или хлороформ в дупло больного зуба. Мармеладов сделался врагом, разорителем и мучителем своего семейства так нечувствительно и незаметно для самого себя, как человек, пристрастившийся к лечению посредством опиума, становится сознательно губителем

собственного здоровья. Мармеладов не принимал никаких противозаконных и насильственных мер против своей нищеты; он просто падал, вязнул и тонул, потому что у него не хватало сил стоять на ногах и потому что его ноги не находили себе твердой точки опоры в той бездонной трясине, которая из году в год поглощает сотни и тысячи бедных людей. Результат, к которому он пришел путем этого краткого и пассивного погружения в болото нищеты, разоблачился перед Раскольниковым во всей наготе своего потрясающего безобразия. При том направлении, которое уже было дано мыслям Раскольникова, при том плане, по которому уже складывались и созревали его намерения, вид трупа, доведенного до разложения собственною пассивностью и кротостью, должен был подействовать на Раскольникова так, как может подействовать удар каленым железом на бешеную лошадь, уже закусившую удила.

Личность Сони и ее образ действий также наводят Раскольникова на такие размышления, которые могут только расчищать перед ним дорогу к преступлению. Во-первых, у Раскольникова есть сестра, девушка молодая, умная, образованная и красавица собою. Раскольников любит свою сестру так же сильно, как Мармеладов любит свою старшую дочь. Но к чему годится эта сильная любовь бедного, задавленного и бессильного человека? От чего может защитить и куда может привести такая любовь? Пользуясь этою любовью, Авдотья Романовна Раскольникова так же точно может очутиться в безотчетном распоряжении уличных ловеласов, как очутилась в их распоряжении Софья Семеновна Мармеладова. Невозможно рассчитывать наверное даже и на тот исход, что самоубийство спасет Авдотью Романовну от вынужденного разврата. Может быть, Софья Семеновна также сумела бы броситься в Неву; но, бросаясь в Неву, она не могла бы выложить на стол пред Катериною Ивановною тридцать целковых, в которых заключается весь смысл и все оправдание ее безнравственного поступка. Бывают в жизни такие положения, которые убеждают беспристрастного наблюдателя в том, что самоубийство есть роскошь, доступная и позволительная только обеспеченным людям. Очутившись в таком положении, человек научается понимать выразительную пословицу: куда ни кинь, все клин. К такому положению оказываются неприменимыми правила и предписания общепринятой житейской нравственности. В таком положении точное соблюдение каждого из этих превосходных правил и предписаний приводит человека к какому-нибудь вопиющему абсурду. То, что при обыкновенных условиях было бы священною обязанностью, начинает казаться человеку, попавшему в исключительное положение, презренным малодушием или даже явным преступлением; то, что при обыкновенных условиях возбудило бы в человеке ужас и отвращение, начинает казаться ему необходимым шагом или геройским подвигом,

когда он находится под гнетом своего исключительного положения. И не только сам человек, подавленный исключительным положением, теряет способность решать нравственные вопросы так, как они решаются огромным большинством его современников и соотечественников, но даже и беспристрастный наблюдатель, вдумываясь в такое исключительное положение, останавливается в недоумении и начинает испытывать такое ощущение, как будто бы он попал в новый, особенный, совершенно фантастический мир, где все делается навыворот и где наши обыкновенные понятия о добре и зле не могут иметь никакой обязательной силы. Что вы скажете, в самом деле, о поступке Софьи Семеновны? Какое чувство возбудит в вас этот поступок: презрение или благоговение? Как вы назовете ее за этот поступок: грязною потаскушкою, бросившею в уличную лужу святыню своей женской чести, или великодушною героинею, принявшею с спокойным достоинством свой мученический венец? Какой голос эта девушка должна принять за голос совести — тот ли, который ей говорил: «сиди дома и терпи до конца; умирай с голоду вместе с отцом, с матерью, с братом и с сестрами, но сохраняй до последней минуты свою нравственную чистоту», — или тот, который говорил: «не жалей себя, не береги себя, отдай все, что у тебя есть, продай себя, опозорь и загрязни себя, но спаси, утешь, поддержи этих людей, накорми и обогрей их хоть на неделю, во что бы то ни стало»? Я очень завидую тем из моих читателей, которые могут и умеют решать сплеча, без оглядки и без колебаний вопросы, подобные предыдущему. Я сам должен сознаться, что перед такими вопросами я становлюсь в тупик; противоположные воззрения и доказательства сталкиваются между собою; мысли путаются и мешаются в моей голове; я теряю способность ориентироваться и анализировать; начинается тревожное и мучительное искание какой-нибудь твердой точки и какого-нибудь возможного выхода из заколдованного круга, созданного исключительным положением. Кончается ли это искание каким-нибудь положительным результатом, нахожу ли я точку опоры и удается ли мне заметить выход — об этом я не скажу моим читателям ни одного слова.

Если здесь возможен какой-нибудь положительный результат, то он во всяком случае должен показаться читателям такою выдумкою, которая в высшей степени похожа на абсурд или на парадокс. Но так как, с одной стороны, бросать бисер перед свиньями нерасчетливо и неблагоразумно, то, с другой стороны, так же неблагоразумно и нерасчетливо и, кроме того, даже очень невежливо предлагать предметы, годные только для свиней, как то: желуди и отруби, таким особам, перед которыми следует рассыпать чистый бисер. Поэтому, если бы даже я имел несчастье добраться путем моих размышлений до обильного запаса желудей и отрубей, то я бы тщательно скрыл от моих благовоспитанных

читателей мое неприличное открытие. Это было бы тем более удобно, что в настоящем случае нас занимает исключительно вопрос о том: каким образом рассказ Мармеладова о поступке Сони должен был подействовать на Раскольникова? Со стороны Раскольникова невозможно ожидать продолжительных колебаний во взгляде на этот поступок. Раскольников не мог быть беспристрастным наблюдателем. Раскольников сам был в высшей степени ожесточен трудностями своего собственного положения: на его душе накопилось, как мы уже видели выше, много злобного презрения к обществу, к его законам и ко всем его установившимся нравственным понятиям. Он сам уже был коротко знаком с тою опасною мыслью, что бедняк, которому общество отказывает в работе и в куске хлеба, должен поневоле вступить в открытую войну с этим обществом и вести эту войну всеми правдами и неправдами, силою и хитростью, нарушая безбоязненно и бессовестно все предписания нравственного закона. То обстоятельство, что Соня шла наперекор общественному мнению, должно было подкупить Раскольникова в пользу ее поступка. В этом поступке он мог видеть только то высокое самоотвержение, с которым Соня решилась надеть мученический венец и выпить до дна чашу унижения и страдания. Он мог только почувствовать к Соне восторженное уважение за то, что она, подобно Курцию,[3] бросилась в пропасть и согласилась сделаться искупительною жертвою за целое семейство. При этом, разумеется, он должен был также сообразить, что пропасть, в которую бросилась Соня, все-таки остается открытою и что семейство, за которое принесена жертва, все-таки остается неискупленным, так что младшие сестры Сони сохраняют за собою все шансы отправиться в свое время по ее следам. Пример Сони должен был, с одной стороны, возбудить в нем соревнование, а с другой стороны, подействовать на него как предостережение. С одной стороны, он должен был подумать: «Ведь вот, в самом деле, эта Соня! Семнадцатилетняя девушка, слабая, робкая, безответная, забитая, неразвитая, опутанная всякими рутинными понятиями и предрассудками, — а как пришлось очень круто, так сумела же решиться и нашла возможность действовать. Не осталась же она дома, чтобы сидеть сложа руки, хныкать над пьяным отцом, над больною мачехою, над голодными ребятами или в тысячный раз затыкать трудовыми копеечками такую прореху, на которую, очевидно, требовались рубли, добытые какими бы то ни было средствами. Нет. Посидела, поплакала, надумалась, вышла на улицу, бросилась прямо в грязь, и выкопала из этой грязи тридцать рублей для семейного бюджета. А я-то чего же смотрю? Я-то, мужчина, сильный человек, свободный мыслитель, строгий судья существующих нелепостей! Разве я не способен понять, что мое положение не поправляется грошовыми уроками? Разве я считать не умею? Или я, может быть, боюсь

столкновения с существующими понятиями, боюсь того, чего не побоялась Соня? Или я жду того, чтобы сестра Дуня приняла на себя обязанности искупительной жертвы за наше семейство и погибла бы так же бестолково и так же бесплодно, как погибла эта Соня? Или я просто на словах города беру, а на деле поджимаю хвост перед простым городовым?»

С другой стороны, он должен был подумать: «Не стоит мараться по мелочам и из-за пустяков. Уж если бросаться в грязь, то бросаться не из-за тридцати целковых, и уж, конечно, не так нерасчетливо, как бросилась эта Соня. Надо сильно рискнуть, чтобы много выиграть. Надо так — или пан, или пропал! — А то уж лучше лежать дома на диване, хлебать вчерашние Настасьины щи, прятаться от хозяйки, бегать высуня язык за грошовыми уроками, как за кладом, который все не дается в руки, — и при этом утешать себя приятным сознанием своей незапятнанной честности». — Я убедительно прошу читателей не думать, что я сколько-нибудь одобряю эти размышления Раскольникова; я нахожу, напротив того, что его иронические отношения к незапятнанной честности и к упорному труду, получающему копеечное вознаграждение, в высшей степени предосудительны; я вполне убежден в том, что его мысли — дурные, вредные и опасные мысли. Я только осмеливаюсь утверждать и стараюсь доказывать, что эти мысли были неизбежными продуктами его невыносимого положения; в этих мыслях проявилась та болезнь, которая развилась в нем под влиянием его лишений и разнообразных страданий, та болезнь, которую нельзя назвать помешательством, но которая все-таки ведет и должна вести человека к нелепым и безобразным поступкам. При тех условиях, которые давили Раскольникова, у него не могло быть никаких других мыслей. Поставьте на место Раскольникова какого-нибудь другого человека обыкновенных размеров, развившегося иначе и смотрящего на вещи другими глазами, и вы увидите, что получится тот же самый результат. Невыносимое положение воспитает в нем ту же самую болезнь, и все его мысли примут то же самое вредное и опасное направление. Он убедит себя в том, что общество обращается с ним как с голодным волком и что ему остается только принять на себя эту странную роль со всеми ее возможными последствиями, со всеми ее своеобразными правами и обязанностями, со всеми ее удобствами и неудобствами.

Будем теперь следить дальше за теми впечатлениями, которые доставались на долю Раскольникова и могли обнаруживать на общее течение его мыслей то или другое влияние. На другой день после посещения распивочной Раскольников получает письмо от своей матери. Вид этого письма действует на него очень сильно. «Письмо, — говорит г. Достоевский, — дрожало в руках его; он не хотел распечатывать при ней (при Настасье): ему хотелось остаться *наедине* с этим письмом. Когда Настасья

вышла, он быстро поднес его к губам и поцеловал, потом долго еще вглядывался в почерк адреса, в знакомый и милый ему мелкий почерк его матери, учившей его когда-то читать и писать. Он медлил; он даже как будто боялся чего-то» (I, 44). Если человек таким образом принимает и держит нераспечатанное письмо, то вы можете себе представить, как он будет читать его и по строкам и между строками, как он будет всматриваться в каждый оттенок и поворот мысли, как он в словах и под словами будет отыскивать затаенную мысль, отыскивать то, что лежало, быть может, тяжелым камнем на душе писавшей особы и что скрывалось самым тщательным образом от пытливых глаз любимого сына. Начинается чтение. Начинается одна из самых утонченных пыток, какие только могут выпасть на долю бедного человека, еще не доведенного гнетущею нищетою до тупости, бесчувственности и покорности разбитой и загнанной почтовой клячи. Из этих драгоценных строк, согретых кротким и мягким сиянием беспредельной материнской нежности, сыплются на изнемогающего Раскольникова такие жгучие удары, которые могут быть нанесены ему именно только рукою любящей матери. Письмо написано самым бодрым и веселым тоном и наполнено самыми приятными известиями, и вследствие этого мучительность пытки становится еще более утонченною. Письмо начинается самыми горячими выражениями любви: «Ты знаешь, как я люблю тебя, ты один у нас, у меня и у Дуни, ты наше все, вся надежда, упование наше» (I, 45). Затем следуют известия о сестре: «Слава тебе господи, кончились ее истязания, но расскажу тебе все по порядку, чтобы ты узнал, как все было и что мы от тебя до сих пор скрывали» (I, 45). Так как Раскольникову пишут об *окончившихся* истязаниях и при этом признаются, что от него *до сих пор* скрывали многое или даже все, то ему предоставляется полнейшее право думать, что теперь начинаются новые истязания, которые также будут от него скрываться до тех пор, пока они в свою очередь не превратятся в окончившиеся. Раскольников, конечно, с внимательностью, свойственною сильно любящему человеку, наматывает себе на ус это полезное указание и продолжает чтение с твердою решимостью разглядеть между радостными строками эти начинающиеся или уже начавшиеся истязания. Касательно окончившихся истязаний в письме сообщаются следующие подробности. Дуня поступила гувернанткою в дом господ Свидригайловых и забрала вперед *целых сто рублей*, «более для того, чтобы выслать тебе шестьдесят рублей, в которых ты тогда так нуждался и которые ты и получил от нас в прошлом году» (46). Закабалив себя таким образом на несколько месяцев, Дуня принуждена была переносить грубости г. Свидригайлова, старого кутилы, трактирного героя и уличного Дон-Жуана, который, как сказано в письме, *по старой привычке своей находился часто под влиянием Бахуса.* От грубостей и насмешек г. Свидригайлов

перешел к настойчивому ухаживанию и усиленно стал приглашать Дуню к побегу за границу. Супруга г. Свидригайлова, Марфа Петровна, влюбленная в мужа по уши, в высшей степени взбалмошная и ревнивая до крайности, подслушала *своего мужа, умолявшего Дунечку в саду,* перепутала в своей убогой голове все обстоятельства дела, выскочила из своей засады как бешеная кошка, собственноручно отколотила Дуню, «не хотела ничего слушать, а сама целый час кричала и, наконец, приказала тотчас же отвезти Дуню в город, на простой крестьянской телеге, в которую сбросили все ее вещи, белье, платья, все как случилось, неувязанное и неуложенное. А тут поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, должна была проехать с мужиком целых семнадцать верст в некрытой телеге» (I,48). Этим мщением не удовлетворилась разгневанная Юнона. Приехав в город, она стала так успешно звонить во всех домах о своих семейных несчастиях и о преступлениях бесстыжей девки Авдотьи Раскольниковой, что мать и сестра нашего героя были принуждены запереться дома *от подозрительных взглядов и шептаний.* Все знакомые от них отстранились, все перестали им кланяться; шайка негодяев из купеческих приказчиков и канцелярских писцов, всегда готовых бить и оплевывать всякого лежачего, стремилась даже принять на себя роль мстителей за outrage à la morale publique* и собиралась вымазать дегтем ворота того дома, в котором жила коварная соблазнительница целомудренного г. Свидригайлова. Хозяева дома, пылая тем же добродетельным негодованием и преклоняясь перед непогрешимым приговором общественного мнения, коноводом которого являлась постоянно бешеная дура Марфа Петровна, потребовали даже, чтобы госпожи Раскольниковы очистили квартиру от своего тлетворного и компрометирующего присутствия.

Наконец дело разъяснилось. Свидригайлов предъявил своей бесноватой супруге письмо Авдотьи Романовны, написанное задолго до трагической сцены в саду и доказывавшее очевидно, что во всем был виноват только один старый селадон. Из этого письма Марфа Петровна извлекла себе новые и в высшей степени драгоценные средства разнообразить в течение нескольких недель бесконечные досуги своей сытой и сонной жизни. С искренним увлечением праздной и пустой женщины, которая со скуки готова с одинаковым наслаждением злословить и благотворить, клеветать и вышивать подвески к паникадилам, устраивать концерты в пользу бедных и сечь на конюшне беременных горничных, — Марфа Петровна напустила на себя раскаянье, прискакала в город, влетела в квартиру Раскольниковых, наводнила эту квартиру потоками своих дешевых слез, попробовала задушить Дуню и ее мать в своих непрошенных объятиях и потом

* Оскорбление общественной нравственности *(франц.)*. — *Ред.*

принялась бегать по городу и перезванивать по-новому всю историю, с приличным аккомпанементом вздохов, криков, рыданий, сморканий и певучих проклятий, направленных на коварного изверга и жестокого тирана ее нежной и пылающей души. Почтенные обитатели города встрепенулись и обрадовались новому обороту дела, которое уже казалось поконченным, обрадовались так же бескорыстно и простодушно, как они обрадовались бы известию о том, что в их городе родился поросенок о двух головах или что через их захолустье проедет в скором времени какое-нибудь белуджистанское посольство. Нашлась для людей неожиданная возможность о чем-то говорить и прикидываться в продолжение нескольких дней, что они о чем-то думают и чем-то озабочены. Дунечка сделалась героинею дня, то есть все пошляки и негодяи города, все сплетники и сплетницы, все безмозглые и бездушные руководители и руководительницы так называемого общественного мнения присвоили себе право и вменили себе в священную обязанность заглядывать своими глупыми глазами в душу оскорбленной девушки, ходить своими грязными руками и ногами по всем закоулкам ее недавнего страдания и комментировать силами своих куриных умов такие оттенки чувства и проблески мысли, до которых им самим удастся возвыситься только тогда, когда они сумеют укусить собственный локоть. Дунечка сделалась поводом для целого ряда литературных чтений. Марфе Петровне «пришлось несколько дней сряду объезжать всех в городе, так как иные стали обижаться, что другим оказано было предпочтение, и таким образом завелись очереди; так что в каждом доме уже ждали заранее и все знали, что в такой-то день Марфа Петровна будет там-то читать это письмо, и на каждое чтение опять-таки собирались даже и те, которые письмо уже несколько раз прослушали и у себя в домах и у других знакомых по очереди» (I, 50—51). К довершению благополучия и к окончательному увенчанию оправданной добродетели почтенный и солидный человек, *уже надворный советник*, составивший себе капитал и разделяющий во многом, как он сам выражается, *убеждения новейших поколений наших*, словом, ходячая квинтэссенция всей приличной и самодовольной пошлости, украшающей своим существованием тот город, в котором живут госпожи Раскольниковы, подносит Авдотье Романовне руку и сердце, в виде высокой и торжественной награды за незаслуженные страдания. Имя этого благодетеля — Петр Петрович Лужин. Он дальний родственник Марфы Петровны, которая очень горячо мастерит это дело, потому что она женщина богатая, влиятельная, великодушная и подверженная припадкам внезапного вдохновения, потому что она вольна казнить, вольна и миловать ничтожество, подобное Дуне Раскольниковой, и еще потому, что это казнение и милование, игриво чередуясь между собою, приятно разнообразят идиллию ее сельской жизни. Все внимание Раскольникова

сосредоточивается, конечно, на Петре Петровиче Лужине; Раскольников догадывается с первых слов письма об этом щекотливом сюжете, что начинающиеся истязания, о которых ему, разумеется, не пишут и не будут писать, как не писали о грубостях и любезностях г. Свидригайлова и о воинственных подвигах его супруги, — идут теперь от солидного человека, уже составившего себе капитал и разделяющего во многом убеждения новейших поколений наших. В своем письме мать Раскольникова, Пульхерия Александровна, говоря о Лужине, носится между Сциллою и Харибдою. С одной стороны, ей необходимо расположить сына в пользу Петра Петровича, чтобы состоялась свадьба, на которой основываются многие ее надежды. С другой стороны, ей надо соблюдать в похвалах очень большую осторожность и умеренность, потому что ее сыну предстоит в ближайшем будущем личная встреча с Петром Петровичем, встреча, которая, в случае сильного разочарования со стороны молодого и пылкого Раскольникова, может кончиться неожиданным и решительным разрывом. Дуня уже дала Петру Петровичу свое согласие, и мать старается убедить себя, что ее дочь будет если и не совсем счастлива, то по крайней мере и не слишком несчастлива. Она видит ясно в Лужине черствость, мелочность, скаредность и тщеславие; ее коробит от всех этих украшений того человека, в руках которого будет находиться жизнь ее дочери, она чувствует, что Дуня добровольно и сознательно берет на себя очень тяжелый крест; но и мать и дочь — обе дорожат предположенным браком и считают его за счастье, потому что он дает им возможность, по крайней мере неопределенную надежду, вытащить бесценного Родю, то есть нашего героя, из болота нищеты на гладкую и твердую дорогу. В своем письме Пульхерия Александровна старается говорить о Лужине спокойно, весело и развязно; она старается показать, что они с дочерью не обманывают себя фантастическими надеждами, что они видят ясно все достоинства и недостатки жениха, все удобства и неудобства предположенного брака и что их согласие дано после зрелого и хладнокровного обсуждения вопроса со всех возможных точек зрения. Но Раскольников из письма своей матери выносит совсем не то впечатление, на которое рассчитывала Пульхерия Александровна. Раскольников видит ясно, что тут не было никакого хладнокровия и никакого обсуждения; он видит, что все было решено обеими женщинами в чаду самопожертвования и что они обе, и мать и дочь, стараются поддерживать этот чад, занимаясь построением воздушных замков, которые, разумеется, все без исключения относятся к участи Родиона Романовича Раскольникова. В письме говорится, что Лужин *и тебе может быть весьма полезен* и *что ты, даже с теперешнего же дня, мог бы определенно начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно определившеюся*... «Дуня только и мечтает об этом... Дуня ни о чем, кроме этого,

⟨теперь⟩ и не думает. Она теперь, уже несколько дней, просто в каком-то жару и составила уже целый проект о том, что впоследствии ты можешь быть товарищем и даже компанионом Петра Петровича по его тяжебным занятиям, тем более что ты сам на юридическом факультете» (I, ⟨55—⟩56).

То действие, которое должно произвести на Раскольникова радостное письмо его матери о радостном событии, случившемся с его сестрою, так ясно и понятно, что о нем нечего много распространяться. Параллель между Сонею и Дунею сама собою напрашивается в его голову; он думает, что если только он позволит совершиться той жертве, которая должна купить ему карьеру и обеспеченное существование, то он сам упадет ниже отставного чиновника Мармеладова; у того есть по крайней мере хоть несчастная страсть, которою объясняется его способность помириться с чем бы то ни было; у того есть по крайней мере та отговорка, что он человек мало развитой и уже достаточно принюхавшийся ко всевозможной грязи; а Раскольникову приходится идти на компромиссы с своею совестью в то время, когда он видит насквозь, до последних подробностей, всю отвратительность этих компромиссов, когда его нравственная зоркость и чуткость не притуплены ни пьянством, ни обществом грязных кутил и погибших горемык, ни летами. Раскольников решает, что он ни за что не пойдет на такие компромиссы. «Не бывать этому браку, пока я жив, — говорит он, — и к черту господина Лужина!» (I, 61). Письмо его матери кладет конец той апатии, которая давила его в продолжение нескольких недель. Он видит ясно, что ему необходимо действовать; но теперь, более чем когда бы то ни было, он убеждает себя в том, что честный труд, как бы он ни был упорен, ни приведет его ни к чему. «Не бывать?— говорит он сам себе. — А что же ты сделаешь, чтобы этому не бывать? Запретишь? А право какое имеешь? Что ты им можешь обещать в свою очередь, чтобы право такое иметь? Всю судьбу свою, всю будущность им посвятить, *когда кончишь курс и место достанешь?* Слышали мы это, да ведь это *буки*, а теперь? Ведь тут надо теперь же что-нибудь сделать, понимаешь ты это? А ты что теперь делаешь? Обираешь их же. Ведь деньги-то им под сторублевый пенсион да под господ Свидригайловых под заклад достаются! От Свидригайловых-то, от Афанасия-то Ивановича Вахрушина чем ты их убережешь, миллионер будущий, Зевес, их судьбою располагающий? Через десять-то лет? Да в десять-то лет мать успеет ослепнуть от косынок, а пожалуй что и от слез; от поста исчахнет; а сестра? Ну, придумай-ка, что может случиться с сестрой через десять лет али в эти десять лет? Догадался?» (I, 68). Раскольников находится в таком положении, при котором все лучшие силы человека поворачиваются против него самого и вовлекают его в безнадежную борьбу с обществом. Самые святые чувства и самые чистые стремления, те чувства и стремления,

которые обыкновенно поддерживают, ободряют и облагороживают человека, становятся вредными и разрушительными страстями, когда человек лишается возможности доставлять им правильное удовлетворение. Раскольникову хотелось во что бы то ни стало покоить и лелеять свою старую мать, доставлять ей те скромные удобства жизни, которые были ей необходимы, избавлять ее от томительных забот о куске насущного хлеба; ему хотелось далее, чтобы сестра его была ограждена в настоящем от дерзостей разных Свидригайловых, а в будущем от участи, постигшей Соню Мармеладову, или от необходимости выйти замуж без любви за какого-нибудь деревянного человека, подобного господину Лужину. Самый строгий моралист не найдет в этих желаниях ничего предосудительного или нескромного; самый строгий моралист даже похвалит Раскольникова за эти желания и пожелает, в интересах его собственного нравственного совершенствования, чтобы Раскольников в течение всей своей жизни постоянно любил мать и сестру и самым ревностным образом, не жалея сил и энергии, заботился об их участи. Моралист нашел бы даже по всей вероятности, что Раскольников поступил бы очень дурно, если бы сбавил что-нибудь из своих требований, потому что сбавлять нечего и всякая сбавка сопряжена с очевидным и неизбежным ущербом для человеческого достоинства его матери и его сестры. Но эти требования остаются законными, разумными и похвальными только до тех пор, пока у Раскольникова имеются материальные средства, которыми он действительно может покоить свою мать и спасать от бесчестия свою сестру. Пока Раскольников обеспечен имением, капиталом или трудом, до тех пор ему предоставляется полное право и на него даже налагается священная обязанность любить мать и сестру, защищать их от лишений и оскорблений и даже в случае надобности принимать на самого себя те удары судьбы, которые предназначаются им, слабым и безответным женщинам. Но как только материальные средства истощаются, так тотчас же вместе с этими средствами у Раскольникова отбирается право носить в груди человеческие чувства, так точно, как у обанкротившегося купца отбирается право числиться в той или в другой гильдии. Любовь к матери и к сестре и желание покоить и защищать их становятся противозаконными и противообщественными чувствами и стремлениями с той минуты, как Раскольников превратился в голодного и оборванного бедняка. Кто не может по-человечески кормиться и одеваться, тот не должен также думать и чувствовать по-человечески. В противном случае человеческие мысли и чувства разрешатся такими поступками, которые произведут неизбежную коллизию между личностью и обществом. Попавши в свое исключительное положение, Раскольников очутился на распутье, очень похожем на то распутье, о котором говорится в сказках и в котором одна дорога обещает гибель коню, другая —

всаднику, а третья — обоим. Раскольникову казалось, что ему надо или отказаться от всего, что было ему дорого и свято в себе самом и в окружающем мире, или вступить за свою святыню в отчаянную борьбу с обществом, в такую борьбу, в которой уже невозможно будет разбирать средств. «Или отказаться от жизни совсем, — вскричал он вдруг в исступлении, — послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить!» (I, 69). Раскольникову казалось, что ему надо непременно или сделаться трупом, подобным Мармеладову, или решиться на преступление и что необходимо сделать выбор немедленно, прежде чем Дуня успеет в видах его карьеры обвенчаться с Лужиным. В размышлениях Раскольникова заметна значительная недодуманность. Он, повидимому, не понимает, что выход посредством преступления не может ни в каком случае действительно вывести его из затруднения. Он соображает очень основательно, что для спасения матери и сестры от нищеты и от всяких ее последствий, воплотившихся в Свидригайловых и Лужиных, необходимы деньги и что честным трудом невозможно их достать в необходимом количестве. Значит, заключает он, остается только достать их бесчестным средством. Заключение верное. Кроме бесчестных средств, не остается никаких. Но весь вопрос в том, действительно ли бесчестные средства достигают в данном случае той цели, к которой стремится Раскольников. Этого вопроса сам Раскольников вовсе себе не задает. Положим, что ему удалось убить и ограбить процентщицу; положим, что он нашел у нее в шкатулке целую Калифорнию; положим, что он благополучно схоронил все концы; положим, следовательно, что все дело сложилось по его желанию во всех своих мельчайших подробностях. Что же дальше? Каким образом он пустит их именно в то предприятие, которое ему всего дороже и которое заставило его решиться на преступление? Как он ухитрится провести эти деньги в домашнюю жизнь матери и сестры так, чтобы эти деньги улучшили и обеспечили их существование и чтобы в то же время мать и сестра не заметили этого неожиданного прилива денег и не озадачили его настоятельными вопросами насчет их происхождения? Соблюдая должную осторожность и постепенность, Раскольников мог бы ускользнуть от подозрений полиции, но ему ни в коем случае не удалось бы отвести глаза тем людям, которые сами должны наслаждаться плодами его преступления и которые привыкли в бедности считать каждый кусок и беречь каждую старую тряпку. Это можно было и надо было предвидеть заранее. С одной стороны, Раскольников не мог и подумать о том, что его мать и сестра согласятся когда-нибудь помириться с его преступлением как с совершившимся фактом, и спокойно проживать проценты с капитала, облитого кровью. С другой стороны, если Раскольников считал возможным постоянно обманывать мать и сестру,

то ему необходимо было заранее придумать в отношении к ним целый сложный и обширный план действий, целую систему тонких и стройных мистификаций. Между тем в романе мы не находим ни одного намека на существование такого плана или такой системы. Раскольников просто не додумал до конца и решил свою задачу, упустив из виду один из важнейших ее элементов. Он успел только понять, что тою дорогою, по которой идут честные работники, он идти не может, потому что эта дорога совсем не приведет его или приведет слишком поздно к той цели, которую он имеет в виду; затем нить размышлений оборвалась, и он бросился стремглав, очертя голову, без оглядки и без дальнейших расчетов, в противоположную сторону, на ту грязную дорогу, которая одна казалась ему открытою, но которая на самом деле ведет только в бездну.

После письма, полученного от матери, все мысли до такой степени перепутываются в голове Раскольникова, что убийство превращается в его глазах не только в единственный выход, но даже в какой-то неумолимый долг. Чтобы уклониться от исполнения этого долга, он ищет себе убежища в своей слабости. «Нет, я не вытерплю, не вытерплю, — говорит он. — Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах, будь это все, что решено в этот месяц, ясно, как день, справедливо, как арифметика. Господи! ведь я все же равно не решусь! Я ведь не вытерплю, не вытерплю!.. Чего же, чего же я до сих пор!» (I, 91). Признавая слабостью то чувство, которое удерживает его от проливания человеческой крови, Раскольников в то же время радуется этой слабости и ухватывается за нее, как за спасительный якорь. Ему становится легко и весело, когда он чувствует эту мнимую слабость, избавляющую его от исполнения такого же мнимого долга. Под влиянием своей мнимой слабости он отказывается от мысли об убийстве и при этом переживает такое радостное, уже давно не испытанное ощущение, как будто «нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался» (I, 92). Но на самом деле нарыв не прорвался; облегчение было минутное. В нем выразилось только последнее содрогание человека перед поступком, совершенно противным его природе.

Что случилось дальше и почему случилось так, а не иначе, об этом я поговорю с читателями в следующей главе.

II

Все колебания Раскольникова прекратились в ту минуту, когда он узнал случайно, что старуха в таком-то часу, в такой-то день останется дома одна. За мгновение перед тем, как он услышал разговор, заключавший в себе это известие, он чувствовал

себя свободным «*от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения*», он отрекся от *проклятой мечты* своей и смотрел на Неву и на яркий закат солнца с тою тихою радостью, с которою обыкновенно смотрит на всю окружающую природу человек, только что оправившийся от тяжелой болезни и понемногу возвращающийся к жизни здоровых людей. Мгновение спустя, когда он, выслушав внимательно и поняв ясно каждое слово разговора, происходившего между каким-то мещанином и сестрою старухи, «он всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что все вдруг решено окончательно», и пошел домой «как приговоренный к смерти». Этот переворот произошел в нем от того, что обстоятельства вдруг назначили ему для совершения его замысла определенный срок. Пропустить этот срок значило или совсем отказаться от всего предприятия, или по крайней мере добровольно отнять у себя несколько важнейших шансов успеха.

Но чтобы навсегда отказаться от плана, воспитанного и взлелеянного несколькими неделями уединенного размышления, надо было снова передумать все с самого начала и, кроме того, надо было приискать какую-нибудь новую программу, на которой можно было бы успокоиться. На такой умственный труд Раскольников, измученный бедностью, праздностью, апатиею и безобразным фантазерством, уже не был способен. В его изнемогающем уме уже не было достаточно сил на то, чтобы уничтожить *проклятую мечту* спокойным и холодным размышлением. Он мог только ужасаться, содрогаться и чувствовать припадки конвульсивного отвращения к тем гадостям, на которые его наталкивала эта *проклятая мечта*. Ужас и отвращение могли иногда доходить в нем до таких размеров, при которых *проклятая мечта* начинала казаться ему совершенно неосуществимою и, следовательно, неопасною. В такие минуты он мог праздновать свое освобождение от чар и смотреть на природу и на самого себя глазами выздоравливающего человека, но ужас и отвращение, как бы они ни были сильны, не могли заменить ему спокойное размышление и переделать по новому плану то, что уже давно было построено упорною работою мысли, пошедшей по ложному и опасному пути. Как только обстоятельства притиснули его к стене решительным вопросом, требующим безотлагательного ответа, так он немедленно сделался безответным рабом своей проклятой мечты.

Во время своих последних приготовлений к убийству Раскольников уже не чувствовал ни ужаса, ни отвращения. Он потерял способность смотреть на свое дело со стороны. Хороша или дурна его цель — об этом он уже не думал. Все его внимание было обращено на подробности выполнения и сосредоточено на борьбе с препятствиями. Когда он услышал бой часов и чей-то возглас о том, что уже седьмой час, — он испугался только той мысли, что может опоздать. Когда он увидел невозможность

утащить топор из хозяйской кухни, — он почувствовал только *тупую, зверскую злобу* против этого препятствия, которое в первую минуту показалось ему неодолимым. Когда он вслед за тем разглядел топор в дворницкой и благополучно его спрятал к себе под пальто, он почувствовал только радость удачи. Словом, *проклятая мечта* господствовала над всем его существом и обусловливала собою все его отношения к мелким случайностям, встретившимся на его пути. Те случайности, которые благоприятствовали осуществлению *проклятой мечты*, казались ему счастливыми и возбуждали в нем радость; те случайности, которые могли помешать успеху предприятия, казались ему несчастными и доводили его до бешенства. Тут, очевидно, Раскольников уже не думал и не хотел думать о том выздоровлении, которое радовало его накануне и даже возбуждало в нем потребность молиться. Освобождение от чар было невозможно, сам очарованный возмущался против тех случайностей, которые сколько-нибудь были способны произвести это освобождение. Идя на квартиру старухи, Раскольников не мог думать о том деле, которое ему предстояло. Придя на квартиру и пристукнув старуху обухом топора, он потерял способность думать даже о мелких подробностях выполнения, на которых до сих пор сосредоточивалось его внимание. Он растерялся, засуетился, стал делать одну глупость за другою и избавился от беды, то есть не попался на месте преступления, только благодаря совершенно исключительному стечению счастливых случайностей.

Теперь я дошел до поворотного пункта в романе. Главное дело, составляющее центр и узел этого романа, уже сделано. Я старался проследить шаг за шагом те влияния, которые привели Раскольникова к катастрофе. Говоря о причинах, подготовивших преступление, я до сих пор не сказал ни одного слова об убеждениях Раскольникова, об его образе мыслей, о его взглядах на важнейшие вопросы частной и общественной нравственности. Это умолчание не было с моей стороны ошибкою. В первой части моей рецензии я уже заметил мимоходом, что теоретические убеждения Раскольникова не имели никакого заметного влияния на совершение убийства. Теперь, когда настоящие причины преступления достаточно разъяснены, я считаю не лишним развить эту мысль подробно и защитить ее против тех возражений, которые могут быть ею вызваны.

Раскольников высказывает некоторые из своих убеждений в разговоре с следственным приставом, Порфирием Петровичем. Дело идет об одной статье, написанной Раскольниковым и помещенной в какой-то газете. Раскольников следующим образом разъясняет своему собеседнику основную мысль этой статьи:

Я просто запросто, — говорит он, — намекнул, что необыкновенный человек имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право раз-

решить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует... По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе, как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право и даже был бы обязан... устранить этих десять или сто человек, чтобы сделать свои открытия известными всему человечеству. Из этого, впрочем, вовсе не следует, чтобы Ньютон имел право убивать кого вздумается, встречных и поперечных, или воровать каждый день на базаре. Далее, помнится мне, я развиваю в моей статье, что все... ну, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и уж, конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь. Замечательно даже, что бо́льшая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по природе своей, быть непременно преступниками, — более или менее, разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи, а оставаться в колее они, конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе своей, а по-моему, так даже и обязаны не соглашаться (I, 402—403).

Всеми этими запутанными и сбивчивыми рассуждениями Раскольников старается доказать, что преступник делается преступником потому, что стоит выше окружающих его людей. Чтобы подстроить доказательства, Раскольников всеми правдами и неправдами раздвигает рамки того понятия, которое в общеупотребительном разговорном и литературном языке связывается с словом преступник. Расширив это понятие и сделав его по возможности неопределенным, Раскольников подводит под него все, что ему угодно, и облагороживает деятельность воров и разбойников, завербовывая в их компанию всех замечательных людей, оставивших следы своего существования и влияния в истории человечества. Натяжки, на которых построена эта странная теория, и белые нитки, которыми она сшита, бросаются в глаза каждому сколько-нибудь внимательному читателю. Из законодателей и установителей человечества очень многие действительно были преступниками, то есть похитителями чужой собственности. Эти многие действительно могут стоять рядом с ворами и грабителями, но их вступление в это общество не приносит ни малейшей пользы их более мелким товарищам и нисколько не облагороживает их общих занятий, которые одним доставили бессмертие, а другим — уголовные наказания. Эти многие оказываются преступниками совсем не потому, что заменили древний закон новым, а оттого, что, по своей дикой прихоти, по своему корыстолюбию или властолюбию, раздавили на своем пути много человеческих существований и отняли у многих работников продукты их честного труда.

Что *бóльшая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшными кровопролийцами* — это доказывает совсем не то, что проливание человеческой крови очень похвально и полезно, а только то, что человечество, по простоте своей коллективной души и по своей известной ребяческой слабости к блеску и грохоту, к ярким краскам и резким звукам, до сих пор считает своими благодетелями таких людей, которые очевидно причинили ему, этому добродушному и доверчивому человечеству, гораздо больше вреда, чем пользы. Что кровопролитие бывает иногда неизбежно и ведет за собою самые благодетельные последствия — это известно всякому человеку, умеющему понимать причинную связь исторических событий. Но это обстоятельство ровно ничего не доказывает в пользу того права, которое Раскольников присвоивает необыкновенным людям. Произвольное устранение живых людей и бесцеремонное шагание через препятствия во всяком случае остается делом очень вредным и, следовательно, в высшей степени преступным, то есть совершенно предосудительным. Кровопролитие становится неизбежным вовсе не тогда, когда его желает устроить какой-нибудь необыкновенный человек; вовсе не тогда, когда какое-нибудь живое препятствие мешает этому необыкновенному человеку осуществить свою личную идею или фантазию, а только тогда, когда две большие группы людей, две нации или две сильные партии резко и решительно расходятся между собою в своих намерениях и желаниях. Когда этим двум противным сторонам невозможно договориться до удовлетворительного результата, когда не остается никакой возможности покончить дело соглашением или полюбовным размежеванием столкнувшихся и перепутавшихся интересов, когда нет возможности разъяснить заблуждающейся стороне посредством спокойного научного анализа, в чем состоят ее настоящие выгоды и в чем заключаются ошибочность и неосуществимость ее требований, — тогда, разумеется, остается только начать драку и драться до тех пор, пока правое дело не восторжествует. Но и здесь, в этих случаях, роль необыкновенных людей, правильно понимающих свое назначение, состоит совсем не в том, чтобы порождать и поддерживать драку. Прежде чем дело дойдет до кровопролития, необыкновенные люди, то есть самые умные и самые честные люди данного общества, всеми силами стараются о том, чтобы предупредить это кровопролитие и чтобы произвести как можно спокойнее ту перемену, которой требуют обстоятельства и которой необходимость уже чувствуется и даже сознается значительною частью заинтересованной нации. Необыкновенные люди стараются открыть глаза своим соотечественникам и современникам, разъяснить им настоящее положение дел, направить их к мирному и безобидному выходу из затруднительного положения и доказать им необходимость обширных и добровольных уступок тому течению идей, которое называется духом времени и которое по-

рождается общими причинами и условиями, а никак не выдумками и усилиями каких-нибудь необыкновенных людей. Честные и умные советы необыкновенных людей очень часто остаются непонятыми или даже невыслушанными; страсти спорящих сторон разгораются; разрыв становится неминуемым; и тогда необыкновенные люди, убедившись раньше массы в неизбежности открытой борьбы, из роли благоразумных советников переходят в роль воинов и полководцев. Они становятся решительно на ту сторону, которой стремления совпадают с истинными выгодами данной нации и всего человечества, они группируют вокруг себя своих единомышленников, они организуют, дисциплинируют и воодушевляют своих будущих сподвижников и затем, смотря по обстоятельствам, выжидают нападения противников или наносят сами первый удар. Когда борьба начата, все внимание необыкновенных людей устремляется на то, чтобы как можно скорее покончить кровопролитие, но, разумеется, покончить так, чтобы вопрос, породивший борьбу, оказался действительно решенным и чтобы условия примирения не заключали в себе двусмысленных комбинаций и уродливых компромиссов, способных при первом удобном случае произвести новое кровопролитие. Ни перед борьбою, ни во время борьбы, ни после ее окончания необыкновенные люди, которыми может и должно гордиться человечество, не являются любителями и виновниками кровопролития. Кровь льется не потому, что в данном обществе, в данную минуту действуют необыкновенные люди, а потому, что деятельность этих необыкновенных людей не может перевесить собою массу человеческого неблагоразумия, узкого своекорыстия и близорукого упрямства. Кровь льется совсем не для того, чтобы подвигать вперед общее дело человечества; напротив того, это общее дело подвигается вперед, *несмотря* на кровопролития, а никак не *вследствие* кровопролитий; виновниками кровопролитий бывают везде и всегда не представители разума и правды, а поборники невежества, застоя и бесправия. Доказать, что какой-нибудь исторический деятель был страшным кровопроливцем, то есть что действительно кровь лилась по его личному желанию и распоряжению, а не вследствие тех обстоятельств, среди которых он был поставлен и над которыми он был [не] властен, значит доказать тем самым, что этот деятель был врагом человечества и что его пример ни для кого и ни для чего не может служить оправданием.

Необыкновенные люди именно тем и необыкновенны, что они умеют додумываться до таких истин, которые еще остаются неизвестными их современникам. Те необыкновенные люди, которые всего больше желают и умеют оставаться верными своему естественному назначению, то есть приносить людям как можно больше пользы, должны только добывать новые истины, доводить их до всеобщего сведения, защищать их против старых заблуждений и убеждать людей в необходимости перестроивать жизнь сообразно

с новыми истинами. Идя по этому пути, необыкновенные люди никак не могут сделаться страшными кровопроливцами; уклоняясь от этого пути и призывая насильственные меры на помощь к таким идеям, которые могут и должны торжествовать силою своей собственной разумности и внутренней убедительности, необыкновенные люди в значительной степени перестают быть необыкновенными и начинают обнаруживать ту нетерпеливую близорукость, которою отличаются все их дюжинные современники. Решаясь проливать кровь во имя идеи, необыкновенные люди изменяют своему естественному назначению, компрометируют свою идею, дискредитируют ее и замедляют ее успехи именно теми насильственными мерами, которыми они стараются доставить ей быстрое и верное торжество.

Великие деятели науки, по самому роду своих занятий, всего менее могут уклониться от естественного назначения необыкновенных людей и сбиться в сторону на скользкую и опасную дорогу насильственных мер. В их деятельности нет места для кровопролития; их руки совершенно чисты и всегда останутся чистыми; они могут только убеждать людей, а не приневоливать их; с той минуты, как великий мыслитель вздумал бы употреблять насильственные меры против невежественных и тупоумных противников своей доктрины, он перестал бы быть великим мыслителем, он сделался бы врагом беспристрастного исследования и свободного мышления, он сделался бы преступником против всего человечества, вреднейшим из вредных негодяев и по всем правам занял бы в истории почетное место рядом с испанскими инквизиторами. Представить себе Ньютона или Кеплера в таком положении, в котором они из любви к идее обязаны были бы устранить хоть одного живого человека или пролить хоть одну каплю человеческой крови, — еще гораздо труднее, чем представить себе, что Кеплер или Ньютон, состоя в чине необыкновенных людей, пользуются своими исключительными правами для того, чтобы убивать встречных и поперечных или воровать каждый день на базаре. Но Раскольникову до такой степени хочется превратить всех великих людей в уголовных преступников и всех уголовных преступников в великих людей, что он не останавливается даже и перед самым невозможным предположением. Что Ньютон и Кеплер не сделались уголовными преступниками, что они не стоили человечеству ни одной капли крови и ни одной слезы, — это, по мнению Раскольникова, счастливая случайность. Измените условия, при которых они жили и действовали, поставьте их в другое положение, и вот сейчас эти самые Кеплер и Ньютон, оставаясь попрежнему великими мыслителями и благодетелями человечества, обзаведутся палачами или подкупными убийцами и сделаются страшными кровопроливцами, старшими братьями рядовых бандитов. — Этим предположением Раскольников доказывает совсем не то, что он старается доказать. Этим предположе-

нием он доводит самого себя до очевиднейшего абсурда и наносит смертельный удар своей странной теории. Стараясь придумать для благодетелей человечества такое положение, при котором они были бы принуждены решиться на преступление, он показывает самым наглядным образом, что для настоящих благодетелей такое положение совершенно невозможно. Спрашивается в самом деле, каким образом жизнь одного человека, или десяти, или ста человек и так далее может помешать распространению истин, открытых Кеплером и Ньютоном? Предположите например, что один человек, или десять, или сто занимают такое высокое положение и располагают таким количеством материальной силы, что они могут совершенно запретить чтение лекций и печатание книг, в которых излагаются доктрины Кеплера и Ньютона. Значит ли это, что именно этот один человек, или десять, или сто мешают распространению спасительных истин? Нисколько не значит. Распространению истин мешают все-таки не те люди, которые сопротивляются чтению лекций и печатанию книг, а все-таки те общие условия, благодаря которым такие люди занимают высокое положение и располагают значительным количеством материальной силы. Если бы Кеплер и Ньютон решились действовать по рецепту Раскольникова и если бы им удалось устранить какое-нибудь живое препятствие, то на месте этого благополучно устраненного препятствия тотчас появилось бы другое, на месте другого третье, потому что общие условия, порождающие такие препятствия, остались бы нетронутыми. Общими условиями оказываются в подобных случаях невежество, умственная неподвижность, робкая безгласность и дикие предрассудки массы. Против этих общих условий невозможно действовать насильственными средствами. Стало быть, пока общие условия делают возможным существование и деятельность сильных противников научной истины, до тех пор Кеплеры и Ньютоны должны действовать не против этого существования, а против общих условий, которые могут быть изменены только путем настойчивого и неутомимого проповедования той же самой научной истины. Из любви к этой истине необыкновенные люди, подобные Кеплеру и Ньютону, становились иногда мучениками, но никакая любовь к идее никогда не могла превратить их в мучителей по той простой причине, что мучения никого не убеждают и, следовательно, никогда не приносят ни малейшей пользы той идее, во имя которой они производятся.

Каким путем Раскольников мог дойти до основных положений своей дикой теории? Откуда могла залететь в его голову мысль о том, что в каждом преступнике скрывается неудавшийся, недоделанный или возникающий великий человек? Откуда взялась у него потребность делить людей на обыкновенных и необыкновенных? Какие влияния, какие разговоры с людьми или какое чтение заставили его, с одной стороны, дать необыкновенным людям такие обширные полномочия, в которых они даже вовсе не нуж-

даются, и, с другой стороны, осудить обыкновенных людей на унизительную и мучительную роль пушечного мяса? Почему, наконец, ему понадобилось сделать то уродливое предположение, которое завершает и тотчас же опрокидывает собою его теорию, — то предположение, что при известных условиях Кеплер и Ньютон могли и даже обязаны были устранять живых людей?

Мне кажется, что Раскольников не мог заимствовать свои идеи ни из разговоров с своими товарищами, ни из тех книг, которые пользовались и пользуются до сих пор успехом в кругу читающих и размышляющих молодых людей. В настоящее время нет ни одного замечательного мыслителя или сведущего историка, который бы думал и доказывал публично, что какие бы то ни было личные дарования могут замедлить, или ускорить, или поворотить назад, или свернуть в сторону естественное течение исторических событий. Чем внимательнее вглядываются исследователи в смысл и последовательное развитие исторических фактов, тем сильнее и окончательнее убеждаются они в том, что отдельная личность, какими бы громадными силами она ни была одарена, может сделать какое-нибудь прочное дело только тогда, когда она действует заодно с великими общими причинами, то есть с характером, образом мыслей и насущными потребностями данной нации. Когда она действует наперекор этим общим причинам, то ее дело погибает вместе с нею или даже при ее жизни. Когда же она в своей деятельности соображается с духом времени и народа, тогда она делает только то, что сделалось бы непременно и помимо ее воли, что настоятельно требуется обстоятельствами минуты и что при ее отсутствии или бездействии было бы в свое время выполнено так же удовлетворительно какою-нибудь другою личностью, сформировавшеюся при тех же влияниях и воодушевленною теми же стремлениями. Человечество, по мнению всех новых и новейших мыслителей, развивается и совершенствуется вследствие коренных и неистребимых свойств своей собственной природы, а никак не по милости остроумных мыслей, зарождающихся в головах немногих избранных гениев. Человечество, по мнению тех же мыслителей, состоит из множества отдельных личностей, очень неодинаково одаренных природою, но ни одна из этих личностей, какими бы богатыми дарами ни осыпала ее природа, не имеет разумного основания думать, что ее голова заключает в себе будущность всей ее породы или по крайней мере всей ее нации. Ни одна из этих личностей, как бы она ни была гениальна, не имеет разумного основания, во имя этой будущности или во имя своей гениальности, разрешать себе такие поступки, которые вредят другим людям и вследствие этого считаются непозволительными для обыкновенных смертных. Что хорошо в простом человеке, то хорошо и в гении; что дурно в первом, то дурно также и в последнем. Многое может быть объяснено и даже оправдано силою тех страстей, которые возбуждаются в гениальном человеке ожесточением

великой борьбы; но если, поддаваясь влиянию этих страстей, гениальный человек раздавил то, что могло и должно было жить, то историк в этом резком и насильственном поступке увидит все-таки проявление слабости, которое должно служить людям поучительным предостережением, а никак не выражение гениальности и силы, долженствующее вызвать в других людях восторженное соревнование. Словом, с точки зрения тех мыслителей, которых произведения господствуют над умами читающего юношества, деление людей на гениев, освобожденных от действия общественных законов, и на тупую чернь, обязанную раболепствовать, благоговеть и добродушно покоряться всяким рискованным экспериментам, оказывается совершенною нелепостью, которая безвозвратно опровергается всею совокупностью исторических фактов. Знакомясь с произведениями этих мыслителей и приучаясь смотреть на вещи с их точки зрения, Раскольников отнял бы у себя всякую возможность проводить натянутые параллели между уголовными преступниками и великими людьми. Он убедился бы в том, что эти параллели не принесут ни малейшей пользы уголовным преступникам, во-первых, потому, что величие тех великих людей, которые если б и имели с преступниками некоторые точки соприкосновения, само по себе очень сомнительно, а во-вторых, потому, что те стороны, которыми эти сомнительно великие люди соприкасаются с уголовными преступниками, все-таки составляют в их биографиях самые темные и грязные пятна. Читая мыслящих историков или рассуждая об исторических фактах с умными и работящими студентами-товарищами, Раскольников в особенности убедился бы в том, что люди, подобные Ньютону, Кеплеру, никогда не пользовались кровопролитием как средством популяризировать свои доктрины, никогда не были поставлены в необходимость устранять каких-нибудь обскурантов, мешавших распространению их идей, даже никогда не могли бы попасть в такое странное и унизительное положение, если бы даже для них нарочно была придумана и устроена какая-нибудь самая неправдоподобная комбинация.

Теория Раскольникова не имеет ничего общего с теми идеями, из которых складывается миросозерцание современно развитых людей. Эта теория выработана им в зловещей тишине глубокого и томительного уединения; на этой теории лежит печать его личного характера и того исключительного положения, которым была порождена его апатия. Раскольников написал свою статью *о преступлении* за полгода до того времени, когда он убил старуху, и вскоре после того, как он вышел из университета по неимению денежных средств. Те мысли, которые выразились в его статье, были продуктами того самого положения, которое впоследствии, истощивши по капле всю его энергию и извративши его замечательные умственные способности, заставило его обдумать во всех подробностях, тщательно приготовить и успешно выполнить грязное

преступление. Когда Раскольников решился оставить университет, он уже, по всей вероятности, находился в очень бедственном положении. Никакое трудолюбие, никакая добросовестность в исполнении работ, никакая затрата силы и энергии не могли доставить ему ни такого обеда, который покрывал бы текущие расходы его молодого организма, ни такого платья, которое достаточно защищало бы его от холода, сырости и нечистоты, ни такого жилища, в котором его легкие находили бы себе достаточное количество свежего воздуха. Жизнь в каждую данную минуту, на каждом шагу, в каждом из его мельчайших ощущений накладывала на него свою грубую и грязную руку, дразнила и щипала его, теребила и шпыняла его, словом, мучила и обижала его так, как толпа шаловливых школьников может обижать и мучить новичка, только что поступившего в училище и еще не успевшего зарекомендовать себя товарищам с хорошей стороны. Раскольникову надо читать или писать — вдруг у него в подсвечнике гаснет последний огарок, а купить свечи не на что; Раскольникову надо идти на урок куда-нибудь верст за пять, — а на улице проливной дождь, который пронизывает его до костей сквозь его тощую шинелишку, а под ногами такая непроходимая грязь, которая с неудержимою силою врывается в его ветхие сапоги; приходит он с этого урока домой голодный, утомленный десятиверстным путешествием, измученный непонятливостью и капризами избалованного мальчишки, с тяжелою головою, с мокрыми, грязными и окоченевшими ногами — а дома свежо и холодно, печка не топлена, из окна дует, за дверью бранятся какие-то кухарки или пищат чьи-то ребятишки, в комоде или в чемодане нет ни одной пары чистых носков, самовара не допросишься, да, впрочем, незачем его и спрашивать, потому что уже дней пять тому назад истреблены последняя щепотка чаю и последний кусок сахару. Все это, конечно, мелочи; ко всему этому можно относиться издали с великолепнейшим стоическим равнодушием; в отношении ко всему этому можно превосходнейшим образом рекомендовать другому человеку великодушное терпение и непоколебимое мужество. Но когда вся жизнь состоит из таких мелочей, когда одна мучительная мелочь следует за другою мелочью, такою же мучительною, когда человек постоянно попадает с булавки на булавку, когда этим булавкам не предвидится конца и когда человек видит и понимает, что при ужаснейшем напряжении всех своих сил он может только поддерживать это многобулавочное statu quo,* — тогда... тогда невозможно рассчитать заранее, в каких безумных планах и в каких безобразных галлюцинациях выразится уныние, озлобление, отчаяние и бешенство этого человека, которого люди и обстоятельства со всех сторон продолжают колоть булавками в его незажившие и незаживающие раны.

* Статус кво; существующее положение (*лат.*). — *Ред.*

Какого же рода мысли должны зарождаться в голове Раскольникова, когда он, воротившись с грошового урока, располагается у себя дома, в своей тесной, сырой и душной берлоге? Вот он стащил с себя свою загрязненную обувь и завалился на свой узкий и жесткий диван, который уже давно старается натереть ему мозоли на ребрах и на кострецах. Задает он себе самый простой и естественный вопрос: много ли он получит за свою десятиверстную беготню, за промоченные ноги, за испорченные сапоги и за полтора часа возни с бестолковым мальчиком, который думает о бабках и о бумажном змее, когда ему надо размышлять о числителе и знаменателе и ловить с почтительною благодарностью каждое слово добросовестного преподавателя. Оказывается, что получит он полтинник. Полтинник считается красною ценою в мире тех студентов, которые по бедности бывают иногда поставлены в необходимость на время выходить из университета. «Уроки выходили, — говорит Раскольников Соне, доказывая ей, что, собственно говоря, он имел некоторую возможность содержать себя работой. — *По полтиннику предлагали*» (II, 224). Здесь о о полтиннике говорится даже с уважением, уж если по полтиннику предлагали, так, значит, и толковать нечего; ясное дело, что жить было можно и что уныние было совершенно неуместно. Итак, получит он полтинник. Положим, что счастье улыбнется ему и что судьба пошлет ему, круглым счетом, по такому же уроку на каждый день; в месяц это составит тридцать уроков, а на деньги пятнадцать рублей. Дальше этого предела не могут простираться самые смелые и размашистые его мечты. Уроки, даже такие невыгодные, достаются с трудом. На каждый урок имеется по нескольку голодных претендентов. Добыть урок—значит одержать немаловажную победу над двумя, тремя менее счастливыми соперниками. Раскольников, как особенным счастием, которого он в свое время не умел оценить по достоинству, — хвалится тем, что ему *уроки выходили* и *по полтиннику предлагали*. Итак, пятнадцать рублей в месяц. — Геркулесовы столбы [4] доступного ему благосостояния, — такие Геркулесовы столбы, до которых он, быть может, не доплывет в течение целого года и на которых ему придется, по всей вероятности, остановиться надолго, быть может лет на пять или на шесть. И это лучший из возможных и правдоподобных исходов. И при этом лучшем исходе он все-таки видит перед собою необозримо длинный ряд таких серых и темных дней, в которых каждая минута будет отмечена каким-нибудь чувствительным лишением, какою-нибудь крошечною болью, каким-нибудь мелким столкновением, мучительно напоминающим гордому, страстному, умному и впечатлительному человеку, что все радости жизни, все то, что он умеет понять и оценить своим тонким и гибким умом, все то, чего он умеет желать всеми силами своего кипучего темперамента, что все эти радости и наслаждения существуют и почти наверное всегда будут существовать не для него. А что

же будет при менее счастливом исходе? И как возможен, как ужасно правдоподобен, как почти неизбежен такой менее счастливый исход! Вот он чувствует, как у него трещит голова, и холодеют промоченные ноги, и происходит в горле и в груди что-то такое, предвещающее сильный простудный кашель. Что же это будет? Долго ли выдержит его здоровье? Удастся ли ему пересилить себя и переломить начинающуюся болезнь? Что тогда? Что будет, если он свалится недели на три? Как он потом снова поднимется на ноги и обзаведется новыми работами? И это жизнь! Голодать, зябнуть, задыхаться в конуре, отказывать себе во всяком маломальски приятном ощущении, тратить силы и время на бессмысленную, ненавистную и неблагодарную работу и при этом еще каждую минуту бояться, что вот-вот все это под тобою подломится, и полетишь ты вниз, в какую-то темную пропасть, на дне которой тебя ожидает мучительная голодная смерть. Такого рода размышлениям Раскольников должен был предаваться каждый раз, когда он оставался наедине с самим собою. А оставался он наедине с самим собою очень часто, потому что он, по основным свойствам своего характера, не любил сближаться с людьми. Чем мрачнее становилось его душевное настроение, чем ближе приступали к нему нищета и отчаяние, чем сильнее он нуждался в дружеской помощи, в братском сочувствии или даже просто в веселом и беззаботном разговоре с бодрыми и умными товарищами, в таком разговоре, который заставил бы его забыть на минуту булавки настоящего, мелочи душной конуры, хозяйской кухни и хозяйского ворчания, — тем упорнее он отворачивался от людей, запирался в своей берлоге и углублялся в свои горькие размышления, из которых ничего не могло выйти, кроме бессмыслицы в теории и грязного падения на практике. Исходною точкою для таких горьких размышлений могла служить каждая ничтожнейшая мелочь: то уличная грязь, напоминавшая Раскольникову, что калоши его давно разваливаются, то новая прореха, усмотренная на сюртуке или на пальто, то кусок говядины, поданный ему на обед и похожий на связку мочалы, то заношенная рубашка, которую нечем было заменить. А в результате размышлений всегда получалось одно и то же бешеное проклятие против такой жизни, которая не дает человеку ничего, кроме горя и мучительного сознания собственного бессилия. На этом результате такой раздражительный и самолюбивый человек, как Раскольников, не мог остановиться навсегда. Мысль его непременно должна была пойти дальше. Он должен был, в припадке бешенства и отчаяния, задать себе вопрос: действительно ли он так бессилен, как это ему кажется? Не от того ли происходит его бессилие, что он сам считает себя бессильным? Не преувеличивает ли он крепость тех заборов, которые отделяют его от теплого и светлого мира материального благосостояния и разнообразнополного наслаждения всеми благами жизни? Не от того ли эти

заборы кажутся ему такими высокими и крепкими, что ему никогда не приходило в голову ни перепрыгнуть через них, ни проломить в них какую-нибудь лазейку? Не от того ли его положение кажется ему безвыходным, что он нарочно отвертывается от некоторых выходов по недостатку решимости и умственной смелости? Не подумать ли об этих выходах? Не попробовать ли? Не рискнуть ли? Подумать во всяком случае не мешает. Человек должен быть неустрашимым в области мысли, и, кроме того, от размышлений никакой беды произойти не может.

Таким образом, мысль Раскольникова вступила на новый путь исследования, на такой путь, который мог открыться перед нею только тогда, когда Раскольников, озлобленный лишениями и утомленный неблагодарною работою, отвернулся от своих товарищей, уединился в свою конуру, где стены и потолки *теснят душу и ум*, и распродал или забросил свои книги и тетради. Ни от товарищей, ни из книг Раскольников не мог добыть себе ту дикую мысль, что, кроме упорного труда, существуют еще какие-нибудь другие удобные средства выбиться из затруднительного положения. Эта мысль, к которой отнеслись бы с презрением или с насмешкой все товарищи, эта мысль, в которой и товарищи и авторы книг, прочитанных Раскольниковым, увидали бы продукт болезненного настроения, эта мысль могла созреть и укорениться только тогда, когда некому было смотреть на нее со стороны. Эта мысль была не продуктом той теории, которую я рассматривал выше, а, напротив того, ее зародышем и основанием. Вся теория развилась из этой мысли, а эта мысль родилась в Раскольникове потому, что мучительность его положения превышала размеры его сил и его мужества.

Чем пристальнее Раскольников вглядывался и вдумывался в свое положение, тем ненавистнее становился ему правильный и упорный труд, ценою которого он мог покупать себе только жалкое прозябание, переполненное всевозможными лишениями, страданиями и унижениями. Вера в спасительность труда была подорвана. Утомительный труд, с его грошовым вознаграждением, стал казаться Раскольникову печатью проклятья и отвержения, которую судьба кладет на тупоумных и трусливых людей, не умеющих или не желающих хватать насилием или обманом то, что может попасться им под руку и улучшить их положение. Раскольников начал чувствовать и сознавать, что мысль о быстрой и легкой наживе какими бы то ни было средствами силою врывается в его ум и овладевает всем его существом. На первых порах эта мысль должна была удивить, озадачить и даже испугать нашего героя. Она должна была породить в нем мучительную внутреннюю борьбу. Раскольников мог почувствовать к себе за эту мысль довольно сильное презренье; он мог сказать себе, что он просто не вынес тяжелой борьбы с обстоятельствами, раскис, упал духом, опустился и позволил себе дойти до самого края грязной пропасти.

Этот взгляд был бы, конечно, единственным правильным взглядом. Но он был возможен только до тех пор, пока у Раскольникова еще оставалось в наличности достаточно умственной трезвости и силы характера, чтобы удержаться от окончательного падения. За этим строгим и верным взглядом на самого себя должна была последовать крутая реакция, вследствие которой лежание на диване и размышление о быстрой наживе должны были смениться взрывом страстной любви ко всякой честной работе, как бы ни была она утомительна, бессмысленна и неблагодарна. Но силы Раскольникова уже были истощены. Работа была ему противна. Мысль о легкой и быстрой наживе находила себе мало отпора в его ослабевшем уме и легко одерживала одну победу за другою над теми возражениями, которые она встречала себе в остатках его прежнего юношески-честного образа мысли. Но эта мысль все-таки была в его голове чем-то совершенно новым и непривычным, а Раскольников был слишком тонким аналитиком, чтобы не заметить в себе присутствия этого нового и притом такого важного элемента. А заметив его, он непременно должен был задать себе вопрос о том, как же ему относиться к этому новому элементу, дружелюбно или враждебно, с уважением или с презрением, со страхом или с надеждою. С одной стороны, враждебные отношения Раскольникова к этому новому элементу никак не могли установиться прочно и окончательно, потому что, ненавидя и презирая такую мысль, которая завоевала себе господство над всеми его умственными способностями, Раскольников был бы поставлен в необходимость ненавидеть и презирать самого себя. С другой стороны, эти враждебные отношения, на которых ум Раскольникова никак не мог остановиться и успокоиться, были неизбежны в начале его знакомства с новою мыслью, именно потому, что эта мысль была уже чересчур нова и составляла слишком резкий и неожиданный диссонанс со всем его прежним юношеским и студенческим пониманием жизни. Эти враждебные отношения были для Раскольникова настолько же мучительны, насколько и неизбежны; ему надо было во что бы то ни стало покончить в самом себе тот внутренний разлад, который был порожден естественною враждебностью его отношений к самой сильной и упорной из его задушевных мыслей; разлад этот можно было уничтожить или уничтожив эту новую мысль, или переделавши те понятия, которыми обусловливались враждебные отношения к ней. Первая из этих операций была для Раскольникова неисполнима; новая мысль отличалась крепостью и живучестью; ее поддерживали каждый день и каждую минуту все те мучительные мелочи, из которых складывается вся жизнь бедного человека. Вторая операция была полегче. Тонкий и гибкий ум Раскольникова, закаленный в школе уединенного размышления и самого внимательного психологического анализа, был в высшей степени способен открывать в людях, в предметах и в понятиях самые неожиданные,

а пожалуй, даже и совсем несуществующие стороны. Этим умом нетрудно было выстроить такие эшафодажи, [5] с вершины которых наблюдателю представляются совершенно новые и даже в значительной степени фантастические ландшафты. Этот казуистический ум, пущенный в ход и направленный в известную сторону какою-нибудь настоятельною внутреннею потребностью хозяина, мог с изумительным успехом изготовить на заказ такую замысловатую зрительную трубу, такую сложную систему призм, цветных стекол и металлических зеркал, благодаря которой черное могло показаться белым, зеленое — красным, глупое — умным, вредное — полезным, вялое и слабое — сильным и великим. — Как процесс такой работы, которая должна была извратить таким образом очертания и краски всех предметов, так и результаты ее были одинаково лестны для раздражительного и ненасытного самолюбия нашего героя. Если бы во время процесса этой работы сам Раскольников вдруг остановился и задал себе вопрос: «что же я делаю теперь?» — то у него немедленно явился бы такой ответ, который мог не только успокоить его, но даже пробудить в нем удивительно приятное чувство гордости и самодовольства. «Я, — мог он ответить себе на свой недоброжелательный и недоверчивый вопрос, — я пересматриваю, проверяю и переработываю силами собственного ума те решения, которыми удовлетворялись до сих пор самые умные и замечательные представители человечества. Я недоволен этими решениями и стараюсь дать себе добросовестный отчет в причинах этого недовольства. Я чувствую в себе присутствие титанических сил, и эти силы побуждают меня предпринять такую громадную и многосложную работу, которая никогда не грезилась ни одному из моих честных, но недалеких товарищей».

Доведя работу до конца, то есть додумавшись до таких результатов, которые позволяли ему ненавидеть упорный и неблагодарный труд и относиться с любовью и с уважением к мысли о быстрой и легкой наживе, Раскольников мог скрестить руки на груди и насладиться тем чувством восторженного самодовольства, с которым художник осматривает свое только что оконченное и вполне удавшееся произведение. Раскольникову это произведение было особенно дорого, потому что в нем заключалось оправдание и превознесение его собственной личности. Если бы Раскольникову пришлось остановиться на противоположных результатах, если бы он увидел себя в необходимости осудить ту новую мысль, из которой родилась впоследствии *проклятая мечта*, то ему надо было бы во всяком случае выпрашивать у себя прощения и каяться перед собою в позорной слабости уже за одно то, что такая грязная мысль могла родиться в его уме, обратить на себя его серьезное внимание и возбудить в нем смятение и внутреннюю борьбу. Кроме того, ему надо было бы сознаться, что он нуждается в посторонней поддержке, что ему необходимо обмениваться мыслями

с товарищами и подкреплять себя в борьбе с обстоятельствами их дружескими советами, ему надо было бы убедиться в том, что одиночество может сделаться для него вредным и даже опасным. Напротив того, додумавшись до оправдания своей новой мысли, Раскольников совершенно избавлял себя от всяких признаний и покаяний, невыносимых для его щекотливого самолюбия. Он мог сказать себе, что он умнее и смелее всех своих товарищей и что ему необходимо было уединиться от них и сосредоточиться для того, чтобы отрешиться от их предрассудков и возвыситься до более верного взгляда на самые важные вопросы частной и общественной нравственности.

Всю свою теорию Раскольников построил исключительно для того, чтобы оправдать в собственных глазах мысль о быстрой и легкой наживе. Он почувствовал желание прибегнуть при первом удобном случае к бесчестным средствам обогащения. В его уме родился вопрос: чем объяснить себе это желание? Силою или слабостью? Объяснить его слабостью было бы гораздо проще и вернее, но зато Раскольникову было гораздо приятнее считать себя сильным человеком и поставить себе в заслугу свои позорные размышления о путешествиях по чужим карманам. Объясняя все дело слабостью и делаясь таким образом для самого себя предметом презрительного и оскорбительного сострадания, Раскольников нисколько не разошелся бы во взглядах с своими товарищами и поставил бы себя в необходимость уничтожить опасную мысль, чтобы не лишиться прав на собственное уважение. Усматривая, напротив того, в позыве к преступлению признаки смелого ума и сильного характера, Раскольников пошел по совершенно оригинальной дороге. Преступник, думал он, делается преступником потому, что чувствует неудовлетворительность тех учреждений, под господством которых ему приходится жить, тех законов, на основании которых его будут судить, и тех общепринятых понятий, во имя которых общество вооружается против его поступка. Смешавши таким образом те преступления, которые совершаются на основании поговорки *своя рубашка к телу ближе*, с теми, на которые человек решается под влиянием восторженной любви к идее, — Раскольников продолжал философствовать в том же направлении и доказал себе без особенного труда, что всякое движение вперед, всякое усовершенствование в области общественной жизни само по себе составляет преступление, потому что оно возможно только при нарушении существующего закона. А так как род человеческий давным-давно исчез бы с лица земли, если бы он не подвигался вперед и не улучшал постоянно своих учреждений, то и выходит, что преступления в высшей степени полезны для человечества и что преступники оказываются величайшими благодетелями существующих обществ, которые только их усилиями спасаются от ужасных последствий губительного застоя. Все преступники оказались до некоторой степени великими

людьми, все великие люди оказались до некоторой степени преступниками, и оригинальная теория завершилась тем блистательным маневром, посредством которого было доказано близкое и несомненное родство Кеплера и Ньютона с убийцами и грабителями.

Эту теорию никак нельзя считать причиною преступления, так точно, как галлюцинацию больного невозможно считать за причину болезни. Эта теория составляет только ту форму, в которой выразилось у Раскольникова ослабление и извращение умственных способностей. Она была простым продуктом тех тяжелых обстоятельств, с которыми Раскольников принужден был бороться и которые довели его до изнеможения. Настоящею и единственною причиною являются все-таки тяжелые обстоятельства, пришедшиеся не по силам нашему раздражительному и нетерпеливому герою, которому легче было разом броситься в пропасть, чем выдерживать в продолжение нескольких месяцев или даже лет глухую, темную и изнурительную борьбу с крупными и мелкими лишениями. Преступление сделано не потому, что Раскольников путем различных философствований убедил себя в его законности, разумности и необходимости. Напротив того, Раскольников стал философствовать в этом направлении и убедил себя только потому, что обстоятельства натолкнули его на преступление.

Теория Раскольникова сделана им на заказ. Сооружая эту теорию, Раскольников не был беспристрастным мыслителем, отыскивающим чистую истину и готовым принять эту истину, в каком бы неожиданном и даже неприятном виде она ему ни представилась. Он был кляузником, подбирающим факты, придумывающим натянутые доказательства и подстраивающим искусственные сопоставления единственно для того, чтобы выиграть запутанный процесс самого сомнительного достоинства. Действуя таким образом, чувствуя над всем процессом своего мышления неотразимое и подавляющее влияние предвзятой идеи, Раскольников был расположен относиться к своей теории с крайним недоверием. Ближайшие последствия совершившегося убийства показали, до какой степени сильно и непобедимо было это недоверие. Когда Раскольников, убивши старуху и ее сестру, чувствовал сильнейшую потребность успокоиться и ободриться, он уже и не подумал искать себе успокоения в своей теории. Когда он всего больше нуждался в дружеском сочувствии, когда откровенный разговор с близким и надежным человеком мог поставить его на ноги и обновить все его силы, ему даже и в голову не приходило, что убийство, оправданное замысловатою теориею, может быть рассказано кому бы то ни было из его товарищей, друзей или ближайших родственников. Он даже и не попробовал поделиться с кем бы то ни было своими мыслями об убийстве и грабеже как о грандиозном протесте против несовершенств общественной организации. Он никого не пробовал убеждать в том, что он, Раскольников,

в качестве будущего Наполеона или Ньютона имеет право, поговоривши наедине с собственною совестью и получивши от нее или давши ей надлежащие разрешения, шагать через те препятствия, которые отделяют его от материального благосостояния и от блестящей карьеры. А между тем у него была сестра, которая в значительной степени была похожа на него по складу ума и характера и которая в значительной степени способна понять и усвоить себе всякую новую истину. У него, кроме того, был товарищ, готовый идти за него в огонь и в воду и также способный откликнуться с полным сочувствием на всякую свежую и верную мысль. Если бы Раскольников сколько-нибудь веровал сам в свою теорию, то он, конечно, сделал бы по крайней мере попытку просветить и обратить на путь истины таких людей, как Дуня и Разумихин, тем более что, открывшись им, убедивши их, он мог приобрести в их лице драгоценных союзников, нравственная поддержка которых была для него в высшей степени необходима. Но Раскольников после совершения убийства держал себя совсем не как фанатик, увлекшийся ложною идеею и дошедший в своих поступках до крайних пределов логической последовательности, а просто как мелкий, трусливый и слабонервный мошенник, которому крупное злодеяние приходится не по силам и который, желая во что бы то ни стало схоронить концы, ежеминутно теряется от страха и на каждом шагу выдает себя встречным и поперечным своею лихорадочною суетливостью.

Раскольников убил старуху для того, чтобы ограбить ее. Однако же эта последняя цель осталась недостигнутою. Тотчас после совершения убийства Раскольников овладел ключами старухи и отправился в ее спальню, но его волнение было до такой степени сильно, что он ни за что не умел взяться, не ухитрился отпереть почти ни одного замка, набил себе карманы какими-то заложенными вещами, которые потом ему пришлось бы сбывать за полцены с громадною опасностью, и не нашел ни билетов, ни наличных денег, которых, однако, было очень много и которые преспокойно лежали в верхнем ящике комода. Как только убийство совершилось, Раскольников решительно забыл о своем желании обогатиться, забыл о том, что именно это желание заставило его взяться за топор, забыл также о тех подвигах иезуитской изобретательности и изворотливости, которые были им совершены для того, чтобы оправдать в собственных глазах это предосудительное желание. Все его мысли, все его усилия направились исключительно к тому, чтобы избавить себя от преследований и скрыть все следы преступления. В общем результате получилась, таким образом, возмутительная бессмыслица. Убийство оказалось совершенно бесцельным. На другой день после убийства Раскольников всеми силами своего существа желал воротиться назад к тому положению, которое накануне убийства казалось ему невыносимым. Он понимал ясно, что это желание неисполнимо, и невы-

носимое положение, из которого он отыскал себе такой оригинальный выход, стало представляться ему каким-то навсегда потерянным раем.

После убийства Раскольников унес к себе домой туго набитый замшевый кошелек и несколько коробочек с золотыми и серебряными вещами. Эти предметы были единственными плодами преступления. Ими ограничивалась вся добыча убийцы. Между тем Раскольников, очнувшись на другой день утром от мучительного забытья, стал думать не о том, как воспользоваться скудными трофеями победы, а только о том, как бы их выбросить поскорее и куда-нибудь подальше. Он пошел к Екатерининскому каналу с твердым намерением бросить в воду все: и вещи и кошелек, которого он не раскрывал и которого содержание оставалось ему совершенно неизвестным. Не исполнил он этого намерения только потому, что на набережной и возле самой воды было слишком много народа. Кончилось тем, что он всю свою добычу сложил под камень в пустом огороженном месте, где лежали какие-то материалы. Освободившись от этой добычи, он почувствовал прилив *сильной, едва выносимой* радости, точно будто эта добыча свалилась к нему в карман против его воли, как сваливается на человека неожиданное несчастие, точно будто не он сам добивался ее, точно будто он из-за нее не морочил самого себя софизмами, не приневоливал себя к отвратительному поступку и не подвергал себя самым серьезным опасностям. Вышло что-то похожее на работу Пенелопы. [6] Сначала человек старался и мучился, чтобы приобрести себе добычу; а потом, как только добыча оказалась у него в руках, он начал стараться о том, чтобы как-нибудь избавиться от этой самой добычи. Это обстоятельство блистало такою яркою уродливостью, что оно бросилось в глаза даже самому Раскольникову, несмотря на то, что все его умственные способности находились в совершенном изнеможении. «Если действительно, — подумал он, — все это дело сделано было сознательно, а не по-дурацки, если у тебя действительно была определенная и твердая цель, то каким же образом ты до сих пор даже и не заглянул в кошелек и не знаешь, что тебе досталось, из-за чего все муки принял и на такое подлое, гадкое, низкое дело сознательно шел? Да ведь ты в воду его хотел сейчас бросить, кошелек-то, вместе со всеми вещами, которых тоже еще не видал... Это как же?» (I, 170).

Раскольников принужден сознаться, что все это дело было сделано по-дурацки. Он даже сам не понимал, зачем он его сделал. Он видит только, что ему приходится, так или иначе, нести на себе все последствия этого дурацкого дела. Эти последствия оказываются очень мучительными. Подробная история этих мучительных последствий наполняет собою почти весь роман г. Достоевского; она начинается со второй части и оканчивается только вместе с эпилогом. Я постараюсь теперь разобрать вопрос: в чем именно состоит мучительность этих последствий?

Прежде всего, Раскольников просто боится уголовного наказания, которое изломает всю его жизнь, выбросит его из общества честных людей и навсегда закроет ему дорогу к счастливому, респектабельному и комфортабельному существованию. С той самой минуты, как он увидел перед собою на полу окровавленный и обезображенный труп старухи, ему кажется, что его подозревают, что за ним следят, что в его квартире немедленно станут производить обыск, что его самого схватят, посадят под арест и начнут судить. Зная за собою такое важное дело, которое должно возбудить толки во всем городе и поднять на ноги всю местную полицию, Раскольников понимает, что ему необходимо соблюдать во всех своих поступках и словах самую утонченную осторожность, необходимо взвешивать каждый шаг, обдумывать каждое слово, контролировать движения всех мускулов тела и лица, и устраивать все это так, чтобы никому не бросалась в глаза эта сдержанность и рассчитанность, чтобы в его хладнокровии и спокойствии никто не видал и не предполагал ничего искусственного и натянутого и чтобы вообще во всей его личности и во всем его поведении не было ничего похожего на таинственность и загадочность, способную обратить на себя внимание опытных наблюдателей. Эта задача, уже достаточно трудная сама по себе, усложняется тем обстоятельством, что человек, находящийся в положении Раскольникова, естественным образом чувствует непреодолимое влечение присматриваться ко всем окружающим людям и прислушиваться к их толкам с тою специальною целью, чтобы заблаговременно увидать или услыхать подготовляющееся нападение и приближающуюся опасность. Эту тревожную внимательность, эту болезненную чуткость к известным разговорам, эту подозрительную способность принимать случайно брошенные слова за зловещие или оскорбительные намеки надо скрывать самым тщательным образом, и скрывать так, чтобы это скрывание также оставалось совершенно незаметным. На каждом шагу Раскольников должен задавать себе вопрос: «Что сделал бы на моем месте человек совершенно невинный, такой человек, которому нечего скрывать и нечего бояться? Как бы он понял такое-то слово? Почувствовал ли бы он в этом слове что-нибудь странное? Принял ли бы он его за неуместный намек на совершенно неизвестное ему событие? Заинтересовался ли бы он этим намеком настолько, чтобы потребовать себе объяснения? Каким тоном заявил бы он это требование, — спокойно-недоумевающим или сурово-обиженным?» Все эти и многие другие вопросы надо было ставить и решать ежеминутно, по поводу каждой ничтожнейшей встречи, при каждом пустейшем разговоре. На постановку и решение этих и других подобных вопросов отпускалось каждый раз по секунде времени; эти операции надо было производить, глядя прямо в глаза любознательному и словоохотливому собеседнику, не допуская на собственную физиономию выражения задумчивости

и озабоченности, поддерживая начатый разговор спокойными и толковыми репликами и совершенно свободно и естественно переходя из тона в тон. Надо было тщательно воздержаться от фальшивых нот и при этом еще тщательнее скрывать те страшные усилия, ценою которых покупается это отсутствие диссонансов. Раскольников должен был силами одного своего ума вести постоянную борьбу с целым обществом, и вести ее так, чтобы самое ее существование оставалось совершенно незаметным для его многочисленных, опытных и хладнокровных противников, которые сами не рисковали в этой борьбе ничем, между тем как у него вся жизнь была поставлена на карту. Для Раскольникова такая борьба была труднее, чем для кого-либо другого. Ему мешала именно его тонкая наблюдательность, его способность внимательно вглядываться в людей и отгадывать их затаенные намерения. Смотря внимательно на других и пронизывая их насквозь своим инквизиторским взглядом, Раскольников естественным образом был расположен думать, что и другие смотрят или по крайней мере могут смотреть так же внимательно на него самого и так же успешно пронизывают или по крайней мере могут пронизывать его самого своими инквизиторскими взглядами. Сказавши какое-нибудь слово или сделавши какое-нибудь движение, Раскольников в ту же минуту становился на место своего собеседника, всматривался с его точки зрения в сказанное слово или сделанное движение, подмечал в них все, что можно было признать искусственным, ставил себе в упрек то, что казалось ему ошибкою, считал себя до некоторой степени скомпрометированным, злился на себя за недостаток виртуозности в выполнении роли и, сосредоточивая таким образом свое внимание на подробной критике того, что уже было сделано, терял способность следить с необходимою внимательностью за тем, что делалось в текущую минуту и что надо было делать в ближайшее время. Таким образом он прорывался, делал новую ошибку, гораздо более крупную, чем предыдущую, опять ловил и казнил себя за опрометчивость, волновался и сам первый замечал свое неуместное волнение, доводил себя до исступления этим вечным подглядыванием за самим собою и наконец, с досады, с горя, со страха, не зная, чем поправить мелкие оплошности, заметные только для его собственного, болезненно-зоркого взгляда, делал такую яркую эксцентричность, которая бросалась в глаза самому близорукому и равнодушному свидетелю. Словом, Раскольников был слишком хорошим критиком, чтобы быть хорошим актером. Превосходно понимая все мельчайшие недостатки своей игры, он требовал от себя с этой стороны такого идеального совершенства, которое, по всей вероятности, было недостижимо не только для него, но даже и для человека с воловьими нервами. Видя, что это идеальное совершенство остается недоступным, он начинал думать, что все пропало, и под влиянием этой мысли обнаруживал такую тревогу, кото-

рая рано или поздно должна была обратить на себя общее внимание.

Способность к микроскопическому анализу вредила Раскольникову не только потому, что он слишком тщательно разбирал свои собственные поступки и слова, но также и потому, что он, пользуясь этою способностью на каждом шагу, подвергал такому же тщательному разбору слова и поступки других людей, со стороны которых он мог ожидать прямого или косвенного нападения. Благодаря своему замечательному умению объяснять, разбирать, комментировать, повертывать каждое слово, благодаря своей способности восходить от сказанного слова к тому внутреннему побуждению, под влиянием которого оно было произнесено, Раскольников очень часто извлекал из слов своих собеседников больше, чем сколько в них заключалось. Ему случалось видеть намек самого зловещего свойства там, где слово было произнесено безо всякой задней мысли; случалось принимать оборонительные меры против нападения в то время, когда собеседник и не думал о возможности сделаться его противником. Понятное дело, что при усиленной и совершенно излишней бдительности тревога Раскольникова должна была расти не по дням, а по часам и в скором времени доразвиться до таких размеров, при которых всякое самообладание становится невозможным.

Борьба с целым обществом была особенно трудна и безнадежна для Раскольникова еще и потому, что его вера в собственные силы была уже подорвана. Он знал, что после убийства у него не достало хладнокровия на то, чтобы ограбить старуху с надлежащею внимательностью и систематичностью; он знал, что голова его кружилась, мысли путались, руки дрожали, что ключи, снятые с убитой, не подходили к замкам вследствие его растерянности и что весь он вообще был гораздо больше похож на десятилетнего мальчишку, которого ведут сечь за кражу яблоков или орехов, чем на Наполеона, устраивающего свое 18 брюмера. [7] Он знал далее, что он чуть-чуть не бросил в воду единственные плоды своего кровавого подвига; он знал, что эти плоды зарыты в землю, и предвидел, что у него никогда не хватит решимости на то, чтобы вырыть их оттуда и воспользоваться для своих потребностей похищенными деньгами. Совокупность этих сведений, конечно, давала Раскольникову очень невыгодное понятие о силе его собственного характера. А Раскольников, как умный человек, конечно понимал, что для успешной борьбы с целым обществом сила характера требуется громадная. Поэтому он должен был предвидеть, что эта борьба очень скоро кончится для него полным поражением и что он, по всей вероятности, будет принужден сдаться безо всяких условий, то есть принести повинную голову в ближайшее полицейское управление. Эта возрастающая безнадежность, конечно, должна была усиливать его тревогу, разбивать последние остатки его хладнокровия и доводить его, таким образом, до состояния

полнейшей беззащитности. Кто заранее считает себя побежденным, тот действительно побежден наполовину до начала самой борьбы.

Мысль об уголовном наказании, которое, как дамоклов меч, висело над головою Раскольникова и в каждую данную минуту, при каждом его неосторожном движении, могло обрушиться на него всею своею тяжестью, эта мысль сама по себе была достаточно мучительна, чтобы отравить всю его жизнь и сделать ее невыносимым страданием для несчастного преступника. Чувство страха составляет, по всей вероятности, самое мучительное из всех психических ощущений, доступных человеческой природе. Это чувство ужасно даже тогда, когда оно достается на нашу долю в микроскопических приемах и когда оно продолжается всего несколько секунд. Известны случаи, когда у здорового и молодого человека белели волосы в течение нескольких минут, проведенных в смертельном страхе. Растяните такой или даже более слабый страх на несколько дней, и можно будет поручиться за то, что против испытания не устоит человеческий рассудок и что человек, стараясь во что бы то ни стало избавиться от невыносимого ощущения страха, сам, как шальной, как бешеный, полезет на ту опасность, от которой стынет кровь в его жилах. Тот вид помешательства, который называется меланхолиею, состоит главным образом в том, что больной видит со всех сторон угрожающие ему опасности и испытывает постоянное ощущение смертельного страха. Меланхолики постоянно ищут смерти и стараются извести себя какими бы то ни было средствами именно потому, что они постоянно боятся за свою жизнь и что это хроническое чувство страха действительно составляет для человека самую невыносимую из всех возможных пыток. Раскольникову пришлось переживать те самые мучения, которые переживаются меланхоликами. Конечно, бедствие, ожидавшее Раскольникова, не было настолько ужасно, чтобы не было возможности помириться с мыслью о его неизбежности; человек может более или менее привыкнуть ко всему, даже к мысли о близкой и неминуемой смерти. Но дело здесь именно в том, что ожидание бедствия бывает всегда гораздо ужаснее и невыносимее, чем самое бедствие. Пока человек еще колеблется между страхом и надеждою, он томится и страдает гораздо сильнее, чем тогда, когда он уже видит совершенно ясно, что для него уже не остается ни малейшей надежды и что ему приходится решительно отказаться от борьбы, скрестить руки, стиснуть зубы и покориться неотразимой необходимости. Мучительность ожидания заставляет человека всеми силами стараться о том, чтобы как-нибудь сократить тот период, когда страх борется с надеждою. Человеку всего труднее в виду серьезной опасности сохранять выжидательное положение и оставаться неподвижным. Человек обыкновенно или старается убежать от опасности, или очертя голову бросается к ней навстречу; в первом случае он поддается естественному и чисто животному инстинкту

самосохранения; во втором случае он делает попытку покончить с самим собою; в обоих случаях он старается убежать от мучительного чувства страха, которое отравляет его существование. То обстоятельство, что человек оказывается иногда способным купить ценою собственной жизни избавление от чувства страха, показывает ясно, что это чувство в самом деле очень мучительно и что оно, продолжаясь несколько дней, может действительно само по себе, без отношения к тем причинам, которыми оно порождено, сделаться исходною точкою тех разнообразных страданий и полусумасшедших поступков, которые г. Достоевский приписывает своему герою.

Кроме уголовного наказания, Раскольников боится еще того ужаса, негодования или отвращения, с которым посмотрят на его поступок все дорогие и близкие ему люди. Он думает, что он останется один в целом мире живых людей, когда преступление его сделается известным. Он думает, что открытие ужасной истины убьет его мать и заставит всех его друзей, начиная с его родной сестры, отшатнуться навсегда от погибшего и замаранного человека. Поэтому он не смеет никому открыться; признаться одному человеку, по его мнению, все равно, что признаться всем или просто донести на самого себя по начальству. Он уверен в том, что первый человек, которому он откроется, тотчас оттолкнет его от себя, как грязную гадину, и немедленно сделается его врагом и преследователем, хотя бы за минуту до его признания этот самый человек любил и уважал его больше всего на свете. Поглощенный этою несокрушимою уверенностью, Раскольников чувствует необходимость хитрить и лицемерить со всеми людьми без исключения, с родною матерью так же точно, как с следственным приставом, Порфирием Петровичем. Вследствие этого он может чувствовать себя свободным, он может отдыхать от своей утомительной роли, он может снимать с себя костюм и маску невинного человека, он может выпускать на волю всю свою тревогу и все свое страдание лишь тогда, когда он остается только один. Для него уже не существует своего круга, для него нет и не может быть общества таких близких людей, с которыми он мог бы вести себя без церемоний и обращаться запросто. Чем ближе к нему люди, чем они для него дороже, чем больше прав они имеют на его доверие и откровенность, чем нежнее их ласки и заботливее их расспросы, чем искреннее и трогательнее их участие, тем невыносимее для него их общество, потому что тем труднее отклонить эти ласки, увертываться от этих расспросов и отвергать это единственное и неизбежное участие. С каким-нибудь Порфирием Петровичем можно говорить сухо и холодно, можно держать себя осторожно и официально вежливо, не приводя никого в изумление и не возбуждая никаких неуместных догадок. Но с матерью и с сестрою нет никакой возможности соблюдать дипломатическую осторожность и непроницаемость; холодный и вежливый тон или разговор о погоде

и о текущих известиях, пересыпанный официальными нежностями, приведет их сначала в изумление, потом в негодование и, наконец, в отчаяние, из которого они будут искать выхода и которое немедленно породит и воспитает в них то убеждение, что тут существует какая-то серьезная и печальная загадка, настоятельно требующая себе разрешения! О подделке такого тона, такой нежности, такой радости при свидании, такой искренности и доверчивости, которые могли бы обмануть зоркие глаза и чуткие уши матери и сестры, — нечего и думать. Обмануть такого человека, который вас любит, который ловит глазами каждое ваше движение и жадно вслушивается в каждое ваше слово, — до такой степени трудно, что подобный подвиг вряд ли удался бы даже самому закоренелому злодею, самому бездушному негодяю, не чувствующему ни капли любви к тем людям, пред которыми он разыгрывает свою трогательную комедию. Тем не менее мог этот подвиг притворства оказаться по силам Раскольникову. Мы уже знаем достаточно, как сильно он любит мать и сестру. Мы легко можем себе представить, как сильна была в нем потребность броситься к ним навстречу, открыть им свои объятия и вознаградить себя откровенным разговором с ними за три года томительной разлуки. Мы можем себе вообразить, каким оглушительным ударом было для него то открытие, что ему противны и невыносимы их ласки, противны и невыносимы потому, что они относятся уже не к нему, а к той маске, которая до поры до времени скрывает от всех людей обезображенные черты его измученного и опозоренного лица. Разбитый этим ударом, Раскольников не смел даже принимать от них эти ласки; ему казалось, что он их крадет почти так же, как он несколько дней тому назад украл старухины деньги. Он старался отвертываться от этих выражений нежности, насколько это было возможно. Они его мучили, как самые живые напоминания о том рае, который, по его мнению, был для него навсегда потерян и которого он во-время не умел ценить по достоинству. Выманивать себе эти ласки обманом, платить за это чистое золото любви мишурою и фальшивою монетою своей поддельной нежности, словом, обращаться с матерью и с сестрою как с полицейскими сыщиками и шпионами, которым надо отводить глаза различными искусно подобранными фокусами, — это значило сползти в такую отвратительную грязь, о которой Раскольников не в состоянии был даже и подумать. Тут игра положительно не стоила свечей. Хроническое притворство с матерью и с сестрою было для него неизмеримо мучительнее всякой каторги! Всякий раз, как он сходился с ними, он чувствовал, что маска сползает с его лица, и всякий раз он уходил от них, пугаясь того ужаса, который должно было возбудить в них открытие истины.

Таким образом, страх уголовного наказания, страх презрения со стороны близких людей, необходимость таиться и притворяться на каждом шагу, в сношениях со всеми людьми без исключения,

и ясное предчувствие того обстоятельства, что все эти подвиги притворства окажутся рано или поздно совершенно бесполезными, — вот составные элементы тех душевных страданий, которые испытывает Раскольников. Под влиянием этих страданий в Раскольникове совершается с изумительною и ужасающею быстротою такой внутренний процесс, который можно назвать увяданием ума и характера. Первая фаза этого процесса разыгралась еще до совершения убийства и ознаменовалась сооружением замысловатой теории, уравнявшей Ньютона и Кеплера с опустошителями чужих карманов. Вторая фаза разыгрывается после убийства и оканчивается тем, что Раскольников, отказавшись от права размышлять собственным умом и поступать по собственному благоусмотрению, отдает себя под опеку очень добродушной, очень ограниченной и совершенно необразованной девушки, Сони Мармеладовой, которая, подобно нимфе Эгерии, [8] соглашается подавать ему мудрые и спасительные советы. Убивши старуху и ее сестру, Раскольников совершенно теряет способность остановиться на каком бы то ни было определенном желании. Ему хочется все разом покончить, то есть отдаться добровольно в руки следователя; ему хочется также избавиться от наказания и остаться на свободе; сам он решительно не в состоянии определить, которое из этих желаний сильнее и которое из них в ближайшую минуту будет управлять его поступками.

На другой день после убийства его требуют в квартал по одному денежному делу с хозяйкой. Собираясь идти туда и не зная еще, зачем его требуют, он думает: «скверно то, что я почти в бреду... я могу соврать какую-нибудь глупость». Значит, не хочет погибать. Минуту спустя им овладевает другое настроение, и он, махнув рукою, говорит про себя: «только бы поскорей». Подходя к конторе, он думает: «если спросят, я, может быть, и скажу». Поднимаясь по лестнице в четвертый этаж, он уже совсем решается: «войду, стану на колени и все расскажу». — Через минуту опять новый поворот: «какая-нибудь глупость, — думает он, стоя уже в конторе, — какая-нибудь самая мелкая неосторожность, и я могу всего себя выдать». Затем, когда он узнает, что дело, по которому его потребовали, не имеет ничего общего с вчерашним убийством, им овладевает бешеная радость, и он под влиянием этого чувства пускается вдруг в неожиданные и совершенно неуместные объяснения с квартальным насчет своих отношений к хозяйке и к ее покойной дочери. Эта судорожная и припадочная радость тут же в конторе сменяется через минуту невыносимо тяжелым чувством *мучительного, бесконечного уединения и отчуждения*. Ему вдруг приходит в голову подойти к квартальному и рассказать ему все, до последней подробности. Это желание исчезает, когда он слышит, что квартальный в это самое время разговаривает с своим помощником о вчерашнем убийстве. Является опять припадок страха. Раскольников идет к дверям и падает в обморок.

Из таких быстро сменяющихся колебаний состоит вся жизнь Раскольникова после убийства. В нем вспыхивает энергия только тогда, когда все его внимание поглощается каким-нибудь посторонним делом. Когда он переносит раздавленного чиновника Мармеладова к нему на квартиру, когда он старается успокоить его жену и облегчить ее положение, отдавая ей все свои деньги, когда он в тот же день говорит своей сестре о том, что надо отказать Лужину, когда он на другой день окончательно выгоняет этого Лужина, когда он потом защищает Соню Мармеладову, несправедливо обвиненную в воровстве (все тем же Лужиным), — тогда он является как будто живым и свежим человеком, способным интересоваться тем, что вокруг него происходит, готовым откликнуться на чужое страдание, заступиться за слабого и обиженного человека, расстроить планы дерзкого негодяя, подать умный совет, оказать деятельную помощь или решиться во-время на смелый поступок. Но как только его перестают развлекать сильные посторонние впечатления, как только он остается наедине с своими сбивчивыми мыслями о недавнем прошедшем и о ближайшем будущем, так тотчас же в его душе начинается какая-то вьюга быстро возникающих, быстро исчезающих, беспорядочно сталкивающихся и переплетающихся ощущений; ум его гаснет; воля изнемогает; он ни о чем не думает, ничего не желает и ни на что не может решиться. Он идет туда, куда ему совсем не хотелось идти; попадает туда, куда он совсем не рассчитывал попасть; говорит и делает то, чего собственный его ум нисколько не одобряет. Находясь в таком положении, он без всякой надобности дразнит письмоводителя Заметова разговором об убийстве и вслед за тем отправляется в квартиру убитой дергать звонок и расспрашивать у работников, зачем кровь отмыли. Следить за теми процессами мысли, которые вызывают подобные поступки, и вообще объяснять эти поступки какими бы то ни было процессами мысли, доступными и понятными здоровому человеку, — я не вижу ни малейшей возможности. Тут можно сказать только, что человек ошалел от страха и дошел до какого-то сомнамбулизма, во время которого он и ходит, и говорит, и как будто даже думает. Существует ли такое психическое состояние и верно ли оно изображено в романе г. Достоевского, об этом пусть рассуждают медики, если эти вопросы покажутся им достойными внимательного изучения.

СТАРОЕ БАРСТВО

(«Война и мир». Сочинение графа Л. Н. Толстого. Томы I, II и III. Москва. 1868)

I

Новый, еще не оконченный роман графа Л. Толстого можно назвать образцовым произведением по части патологии русского общества. В этом романе целый ряд ярких и разнообразных картин, написанных с самым величественным и невозмутимым эпическим спокойствием, ставит и решает вопрос о том, что делается с человеческими умами и характерами при таких условиях, которые дают людям возможность обходиться без знаний, без мыслей, без энергии и без труда.

Очень может быть, и даже очень вероятно, что граф Толстой не имеет в виду постановки и решения такого вопроса. Очень вероятно, что он просто хочет нарисовать ряд картин из жизни русского барства во времена Александра I. Он видит сам и старается показать другим, отчетливо, до мельчайших подробностей и оттенков, все особенности, характеризующие тогдашнее время и тогдашних людей, людей того круга, который всего более ему интересен или доступен его изучению. Он старается только быть правдивым и точным; его усилия не клонятся к тому, чтобы поддержать или опровергнуть создаваемыми образами какую бы то ни было теоретическую идею; он, по всей вероятности, относится к предмету своих продолжительных и тщательных исследований с тою невольною и естественною нежностью, которую обыкновенно чувствует даровитый историк к далекому или близкому прошедшему, воскресающему под его руками; он, быть может, находит даже в особенностях этого прошедшего, в фигурах и характерах выведенных личностей, в понятиях и привычках изображенного общества многие черты, достойные любви и уважения. Все это может быть, все это даже очень вероятно. Но именно оттого, что автор потратил много времени, труда и любви на изучение и изображение эпохи и ее представителей, именно поэтому созданные им образы живут своею собственною жизнью, неза-

висимою от намерения автора, вступают сами в непосредственные отношения с читателями, говорят сами за себя и неудержимо ведут читателя к таким мыслям и заключениям, которых автор не имел в виду и которых он, быть может, даже не одобрил бы.

Эта правда, бьющая живым ключом из самих фактов, эта правда, прорывающаяся помимо личных симпатий и убеждений рассказчика, особенно драгоценна по своей неотразимой убедительности. Эту-то правду, это шило, которого нельзя утаить в мешке, мы постараемся теперь извлечь из романа графа Толстого.

Роман «Война и мир» представляет нам целый букет разнообразных и превосходно отделанных характеров, мужских и женских, старых и молодых. Особенно богат выбор молодых мужских характеров. Мы начнем именно с них, и начнем снизу, то есть с тех фигур, насчет которых разногласие почти невозможно и которых неудовлетворительность будет, по всей вероятности, признана всеми читателями.

Первым портретом в нашей картинной галлерее будет князь Борис Друбецкой, молодой человек знатного происхождения, с именем и с связями, но без состояния, прокладывающий себе дорогу к богатству и к почестям своим умением ладить с людьми и пользоваться обстоятельствами. Первое из тех обстоятельств, которыми он пользуется с замечательным искусством и успехом, — это его родная мать, княгиня Анна Михайловна. Всякому известно, что мать, просящая за сына, оказывается всегда и везде самым усердным, расторопным, настойчивым, неутомимым и неустрашимым из адвокатов. В ее глазах цель оправдывает и освящает все средства, без малейшего исключения. Она готова просить, плакать, заискивать, подслуживаться, пресмыкаться, надоедать, глотать всевозможные оскорбления, лишь бы только ей хоть с досады, из желания отвязаться от нее и прекратить ее докучливые вопли, бросили, наконец, для сына назойливо требуемую подачку. Борису все эти достоинства матери хорошо известны. Он знает также и то, что все унижения, которым добровольно подвергает себя любящая мать, нисколько не роняют сына, если только этот сын, пользуясь ее услугами, держит себя при этом с достаточною, приличною самостоятельностью.

Борис выбирает себе роль почтительного и послушного сына, как самую выгодную и удобную для себя роль. Выгодна и удобна она, во-первых, потому, что налагает на него обязанность не мешать тем подвигам низкопоклонства, которыми мать кладет основание его блистательной карьере. Во-вторых, она выгодна и удобна тем, что выставляет его в самом лучшем свете в глазах тех сильных людей, от которых зависит его преуспевание. «Какой примерный молодой человек! — должны думать и говорить о нем все окружающие. — Сколько в нем благородной гордости и какие великодушные усилия употребляет он для того, чтобы из любви

к матери подавить в себе слишком порывистые движения юной нерасчетливой строптивости, такие движения, которые могли бы огорчить бедную старушку, сосредоточившую на карьере сына все свои помыслы и желания. И как тщательно и как успешно он скрывает свои великодушные усилия под личиною наружного спокойствия! Как он понимает, что эти усилия самым фактом своего существования могли бы служить тяжелым укором его бедной матери, совершенно ослепленной своими честолюбивыми материнскими мечтами и планами. Какой ум, какой такт, какая сила характера, какое золотое сердце и какая утонченная деликатность!»

Когда Анна Михайловна обивает пороги милостивцев и благодетелей, Борис держит себя пассивно и спокойно, как человек, решившийся раз навсегда почтительно и с достоинством покоряться своей тяжелой и горькой участи, и покоряться так, чтобы всякий это видел, но чтобы никто не осмеливался сказать ему с теплым сочувствием: «Молодой человек, по вашим глазам, по вашему лицу, по всей вашей удрученной наружности я вижу ясно, что вы терпеливо и мужественно несете тяжелый крест». Он едет с матерью к умирающему богачу Безухову, на которого Анна Михайловна возлагает какие-то надежды, преимущественно потому, что «он так богат, а мы так бедны!» Он едет, но даже самой матери своей дает почувствовать, что делает это исключительно для нее, что сам не предвидит от этой поездки ничего, кроме унижения, и что есть такой предел, за которым ему может изменить его покорность и его искусственное спокойствие. Мистификация ведена так искусно, что сама Анна Михайловна боится своего почтительного сына, как вулкана, от которого ежеминутно можно ожидать разрушительного извержения; само собою разумеется, что этою боязнью усиливается ее уважение к сыну; она на каждом шагу оглядывается на него, просит его быть ласковым и внимательным, напоминает ему его обещания, прикасается к его руке, чтобы, смотря по обстоятельствам, то успокоивать, то возбуждать его. Тревожась и суетясь таким образом, Анна Михайловна пребывает в той твердой уверенности, что без этих искусных усилий и стараний с ее стороны все пойдет прахом, и непреклонный Борис если не прогневает навсегда сильных людей выходкою благородного негодования, то по крайней мере наверное заморозит ледяною холодностью обращения все сердца покровителей и благодетелей.

Если Борис так удачно мистифирует родную мать, женщину опытную и неглупую, у которой он вырос на глазах, то, разумеется, он еще легче и так же успешно морочит посторонних людей, с которыми ему приходится иметь дело. Он кланяется благодетелям и покровителям учтиво, но так спокойно и с таким скромным достоинством, что сильные лица сразу чувствуют необходимость посмотреть на него повнимательнее и выделить его из толпы нуждающихся клиентов, за которых просят докучливые маменьки и тетушки. Он отвечает им на их небрежные вопросы точно и ясно,

спокойно и почтительно, не выказывая ни досады на их резкий тон, ни желания вступить с ними в дальнейший разговор. Глядя на Бориса и выслушивая его спокойные ответы, покровители и благодетели немедленно проникаются тем убеждением, что Борис, оставаясь в границах строгой вежливости и безукоризненной почтительности, никому не позволит помыкать собою и всегда сумеет постоять за свою дворянскую честь. Являясь просителем и искателем, Борис умеет свалить всю черную работу этого дела на мать, которая, разумеется, с величайшею готовностью подставляет свои старые плечи и даже упрашивает сына, чтобы он позволил ей устроивать его повышение. Предоставляя матери пресмыкаться перед сильными лицами, Борис сам умеет оставаться чистым и изящным, скромным, но независимым джентльменом. Чистота, изящество, скромность, независимость и джентльменство, разумеется, дают ему такие выгоды, которых не могли бы ему доставить жалобное попрошайничество и низкое угодничество. Ту подачку, которую можно бросить робкому замарашке, едва осмеливающемуся сидеть на кончике стула и стремящемуся поцеловать благодетеля в плечико, до крайности неудобно, конфузно и даже опасно предложить изящному юноше, в котором приличная скромность уживается самым гармоническим образом с неистребимым и вечно-бдительным чувством собственного достоинства. Такой пост, на который совершенно невозможно было бы поставить просто и откровенно пресмыкающегося просителя, в высшей степени приличен для скромно-самостоятельного молодого человека, умеющего во-время поклониться, во-время улыбнуться, во-время сделать серьезное и даже строгое лицо, во-время уступить или переубедиться, во-время обнаружить благородную стойкость, ни на минуту не утрачивая спокойного самообладания и прилично почтительной развязности обращения.

Патроны обыкновенно любят льстецов; им приятно видеть в благоговении окружающих людей невольную дань восторга, приносимую гениальности их ума и несравненному превосходству их нравственных качеств. Но чтобы лесть производила приятное впечатление, она должна быть достаточно тонка, и чем умнее тот человек, которому льстят, тем тоньше должна быть лесть, и чем она тоньше, тем приятнее она действует. Когда же лесть оказывается настолько грубою, что тот человек, к которому она обращается, может распознать ее неискренность, то она способна произвести на него совершенно обратное действие и серьезно повредить неискусному льстецу. Возьмем двоих льстецов: один млеет перед своим патроном, во всем с ним соглашается и ясно показывает всеми своими действиями и словами, что у него нет ни собственной воли, ни собственного убеждения, что он, похваливши сейчас одно суждение патрона, готов через минуту превознести другое суждение, диаметрально противоположное, лишь бы только оно было высказано тем же патроном; другой, напротив

того, умеет показать, что ему, для угождения патрону, нет ни малейшей надобности отказываться от своей умственной и нравственной самостоятельности, что все суждения патрона покоряют себе его ум силою своей собственной неотразимой внутренней убедительности, что он повинуется патрону во всякую данную минуту не с чувством рабского страха и рабской корыстолюбивой угодливости, а с живым и глубоким наслаждением свободного человека, имевшего счастье найти себе мудрого и великодушного руководителя. Понятное дело, что из этих двоих льстецов второй пойдет гораздо дальше первого. Первого будут кормить и презирать; первого будут рядить в шуты; первого не пустят дальше той лакейской роли, которую он на себя принял в близоруком ожидании будущих благ; со вторым, напротив того, будут советоваться; его могут полюбить; к нему могут даже почувствовать уважение; его могут произвести в друзья и наперсники. Великосветский Молчалин, князь Борис Друбецкой идет по этому второму пути и, разумеется, высоко неся свою красивую голову и не марая кончика ногтей какою бы то ни было работою, легко и быстро доберется этим путем до таких известных степеней, до которых никогда не доползет простой Молчалин, простодушно подличающий и трепещущий перед начальником и смиренно наживающий себе раннюю сутуловатость за канцелярскими бумагами. Борис действует в жизни так, как ловкий и расторопный гимнастик лезет на дерево. Становясь ногою на одну ветку, он уже отыскивает глазами другую, за которую он в следующее мгновение мог бы ухватиться руками; его глаза и все его помыслы направлены кверху; когда рука его нашла себе надежную точку опоры, он уже совершенно забывает о той ветке, на которой он только что сейчас стоял всею тяжестью своего тела и от которой его нога уже начинает отделяться. На всех своих знакомых и на всех тех людей, с которыми он может познакомиться, Борис смотрит именно как на ветки, расположенные одна над другою, в более или менее отдаленном расстоянии от вершины огромного дерева, от той вершины, где искусного гимнастика ожидает желанное успокоение среди роскоши, почестей и атрибутов власти. Борис сразу, проницательным взглядом даровитого полководца или хорошего шахматного игрока, схватывает взаимные отношения своих знакомых и те пути, которые могут повести его от одного уже сделанного знакомства к другому, еще манящему его к себе, и от этого другого к третьему, еще закутанному в золотистый туман величественной недоступности. Сумевши показаться добродушному Пьеру Безухову *милым, умным и твердым молодым человеком*, сумевши даже смутить и растрогать его своим умом и твердостью в тот самый раз, когда он вместе с матерью приезжал к старому графу Безухову просить на бедность и на гвардейскую обмундировку, Борис добывает себе от этого Пьера рекомендательное письмо к адъютанту Кутузова, князю Андрею Болконскому, а через Болконского

знакомится с генерал-адъютантом Долгоруковым и попадает сам в адъютанты к какому-то важному лицу.

Поставив себя в приятельские отношения с князем Болконским, Борис тотчас осторожно отделяет ногу от той ветки, на которой он держался. Он немедленно начинает исподволь ослаблять свою дружескую связь с товарищем своего детства, молодым графом Ростовым, у которого живал в доме по целым годам и мать которого только что подарила ему, Борису, на обмундировку пятьсот рублей, принятых княгинею Анною Михайловною со слезами умиления и радостной благодарности. После полугодовой разлуки, после походов и сражений, выдержанных молодым Ростовым, Борис встречается с ним, с другом детства, и в это же первое свидание Ростов замечает, что Борису, к которому в это же время приходит Болконский, как будто совестно вести дружеский разговор с армейским гусаром. Изящного гвардейского офицера, Бориса, коробит армейский мундир и армейские замашки молодого Ростова, а главное, его смущает та мысль, что Болконский составит себе о нем невыгодное мнение, видя его дружескую короткость с человеком дурного тона. В отношениях Бориса к Ростову тотчас обнаруживается легкая натянутость, которая особенно удобна для Бориса именно тем, что к ней невозможно придраться, что ее невозможно устранить откровенными объяснениями и что ее также очень трудно не заметить и не почувствовать. Благодаря этой тонкой натянутости, благодаря этому, едва уловимому диссонансу, чуть-чуть царапающему нервы, человек дурного тона будет потихоньку удален, не имея никакого повода жаловаться, обижаться и вламываться в амбицию, а человек хорошего тона увидит и заметит, что к изящному гвардейскому офицеру, князю Борису Друбецкому, лезут в друзья неделикатные молодые люди, которых он кротко и грациозно умеет отодвигать назад, на их настоящее место.

В походе, на войне, в светских салонах — везде Борис преследует одну и ту же цель, везде он думает исключительно или по крайней мере прежде всего об интересах своей карьеры. Пользуясь с замечательною понятливостью всеми мельчайшими указаниями опыта, Борис скоро превращает в сознательную и систематическую тактику то, что прежде было для него делом инстинкта и счастливого вдохновения. Он составляет безошибочно верную теорию карьеры и действует по этой теории с самым неуклонным постоянством. Познакомившись с князем Болконским и приблизившись через него к высшим сферам военной администрации, Борис «ясно понял то, что он предвидел прежде, именно то, что в армии, кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе и которую знали в полку и он знал, была другая более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого с багровым лицом генерала почтительно дожидаться в то время, как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил

более удобным разговаривать с прапорщиком Друбецким. Больше чем когда-нибудь Борис решился служить впредь не по той писанной в уставе, а по этой неписаной субординации. Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его, гвардейского прапорщика» (I, 75).

Основываясь на самых ясных и недвусмысленных указаниях опыта, Борис решает раз навсегда, что служить лицам несравненно выгоднее, чем служить делу, и, как человек, нисколько не связанный в своих действиях нерасчетливою любовью к какой бы то ни было идее или к какому бы то ни было делу, он кладет себе за правило всегда служить только лицам и возлагать всегда все свое упование никак не на свои какие-нибудь собственные действительные достоинства, а только на свои хорошие отношения к влиятельным лицам, умеющим награждать и выводить в люди своих верных и покорных слуг.

В случайно завязавшемся разговоре о службе Ростов говорит Борису, что ни к кому не пойдет в адъютанты, потому что это «лакейская должность». Борис, разумеется, оказывается настолько свободным от предрассудков, что его не смущает резкое и неприятное слово «лакей». Во-первых, он понимает, что *comparaison n'est pas raison* * и что между адъютантом и лакеем огромная разница, потому что первого с удовольствием принимают в самых блестящих гостиных, а второго заставляют стоять в передней и держать господские шубы. Во-вторых, понимает он и то, что многим лакеям живется гораздо приятнее, чем иным господам, имеющим полное право считать себя доблестными слугами отечества. В-третьих, он всегда готов сам надеть какую угодно ливрею, если только она быстро и верно поведет его к цели. Это он и высказывает Ростову, говоря ему, в ответ на его выходку об адъютантстве, что «желал бы и очень попасть в адъютанты», «затем что, уже раз пойдя по карьере военной службы, надо стараться сделать, коль возможно, блестящую карьеру» (I, 62). Эта откровенность Бориса очень замечательна. Она доказывает ясно, что большинство того общества, в котором он живет и которого мнением он дорожит, совершенно одобряет его взгляды на прокладывание дороги, на служение лицам, на неписаную субординацию и на несомненные удобства ливреи, как средства, ведущего к цели. Борис называет Ростова мечтателем за его выходку против служения лицам, и общество, к которому принадлежит Ростов, без всякого сомнения не только подтвердило бы, но еще и усилило бы этот приговор в очень значительной степени, так что Ростов, за свою попытку отрицать систему протекции и неписаную субординацию, оказался бы не мечтателем, а просто глупым и грубым армейским буяном,

---

* Сравнение — не доказательство *(франц.)*. — *Ред.*

неспособным понимать и оценивать самые законные и похвальные стремления благовоспитанных и добропорядочных юношей.

Борис, разумеется, продолжает преуспевать под сенью своей непогрешимой теории, вполне соответствующей механизму и духу того общества, среди которого он ищет себе богатства и почета. «Он вполне усвоил себе ту понравившуюся ему в Ольмюце неписаную субординацию, по которой прапорщик мог стоять без сравнения выше генерала и по которой, для успеха на службе, были нужны не усилия на службе, не труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только уменье обращаться с теми, которые вознаграждают за службу, — и он часто удивлялся сам своим быстрым успехам и тому, как другие могли не понимать этого. Вследствие этого открытия его весь образ жизни его, все отношения с прежними знакомыми, все его планы на будущее — совершенно изменились. Он был небогат, но последние свои деньги он употреблял на то, чтобы быть одетым лучше других; он скорее лишил бы себя многих удовольствий, чем позволил бы себе ехать в дурном экипаже или показаться в старом мундире на улицах Петербурга. Сближался он и искал знакомств только с людьми, которые были выше его и потому могли быть ему полезны» (II, 106).

С особенным чувством гордости и удовольствия Борис входит в дома высшего общества; приглашение от фрейлины Анны Павловны Шерер он принимает за «важное повышение по службе»; на вечере у нее он, конечно, ищет себе не развлечений; он, напротив того, трудится по-своему в ее гостиной; он внимательно изучает ту местность, на которой ему предстоит маневрировать, чтобы завоевать себе новые выгоды и заполонить новых благодетелей; он внимательно наблюдает каждое лицо и оценивает выгоды и возможности сближения с каждым из них. Он вступает в это высшее общество с твердым намерением подделаться под него, то есть укоротить и сузить свой ум настолько, насколько это понадобится, чтобы ничем не выдвигаться из общего уровня и ни под каким видом не раздражить своим превосходством того или другого ограниченного человека, способного быть полезным со стороны неписаной субординации.

На вечере у Анны Павловны один очень глупый юноша, сын министра князя Курагина, после неоднократных приступов и долгих сборов, производит на свет глупую и избитую шутку. Борис, конечно, настолько умен, что такие шутки должны коробить его и возбуждать в нем то чувство отвращения, которое обыкновенно родится в здоровом человеке, когда ему приходится видеть или слышать идиота. Борис не может находить эту шутку остроумною или забавною, но, находясь в великосветском салоне, он не осмеливается выдержать эту шутку с серьезною физиономиею, потому что его серьезность может быть принята за молчаливое осуждение каламбура, над которым, быть может, сливкам петербургского общества угодно будет засмеяться. Чтобы смех

этих сливок не застал его врасплох, предусмотрительный Борис принимает свои меры в ту самую секунду, когда плоская и чужая острота слетает с губ князя Ипполита Курагина. Он осторожно улыбается, так что его улыбка может быть отнесена к насмешке или к одобрению шутки, смотря по тому, как она будет принята. Сливки смеются, признавая в милом остряке плоть от плоти своей и кость от костей своих, — и меры, заблаговременно принятые Борисом, оказываются для него в высокой степени спасительными.

Глупая красавица, достойная сестра Ипполита Курагина, графиня Элен Безухова, пользующаяся репутацией прелестной и очень умной женщины и привлекающая в свой салон все, что блестит умом, богатством, знатностью или высоким чином, — находит для себя удобным приблизить красивого и ловкого адъютанта Бориса к своей особе. Борис приближается с величайшею готовностью, становится ее любовником и в этом обстоятельстве усматривает не без основания новое немаловажное повышение по службе. Если путь к чинам и деньгам проходит через будуар красивой женщины, то, разумеется, для Бориса нет достаточных оснований остановиться в добродетельном недоумении или поворотить в сторону. Ухватившись за руку своей глупой красавицы, Друбецкой весело и быстро продолжает подвигаться вперед к золотой цели.

Он выпрашивает у своего ближайшего начальника позволение состоять в его свите в Тильзите, во время свидания обоих императоров, и дает ему почувствовать при этом случае, как внимательно он, Борис, следит за показаниями политического барометра и как тщательно он соображает все свои мельчайшие слова и действия с намерениями и желаниями высоких особ. То лицо, которое до сих пор было для Бориса генералом Бонапарте, узурпатором и врагом человечества, становится для него императором Наполеоном и великим человеком с той минуты, как, узнав о предположенном свидании, Борис начинает проситься в Тильзит. Попав в Тильзит, Борис почувствовал, что его положение упрочено. «Его не только знали, но к нему пригляделись и привыкли. Два раза он исполнял поручения к самому государю, так что государь знал его в лицо, и все приближенные не только не дичились его, как прежде, считая за новое лицо, но удивились бы, ежели бы его не было» (II, 172).

На том пути, по которому идет Борис, нет ни остановок, ни свертков. Может случиться неожиданная катастрофа, которая вдруг изомнет и изломает всю отлично начавшуюся и благополучно продолжаемую карьеру; может такая катастрофа застигнуть даже самого осторожного и расчетливого человека; но от нее трудно ожидать, чтобы она направила силы человека к полезному делу и открыла широкий простор для их развития; после такой катастрофы человек обыкновенно оказывается приплюснутым и раздавленным; блестящий, веселый и преуспевающий офицер или чиновник

превращается всего чаще в жалкого ипохондрика, в откровенно-низкого попрошайку или просто в горького пьяницу. Помимо же такой неожиданной катастрофы, при ровном и благоприятном течении обыденной жизни, нет никаких шансов, чтобы человек, находящийся в положении Бориса, вдруг оторвался от своей постоянной дипломатической игры, всегда одинаково для него важной и интересной, чтобы он вдруг остановился, оглянулся на самого себя, отдал себе ясный отчет в том, как мельчают и вянут живые силы его ума, и энергическим усилием воли перепрыгнул вдруг с дороги искусного, приличного и блистательно-успешного выпрашивания на совершенно неизвестную ему дорогу неблагодарного, утомительного и совсем не барского труда. Дипломатическая игра имеет такие затягивающие свойства и дает такие блестящие результаты, что человек, погрузившийся в эту игру, скоро начинает считать мелким и ничтожным все, что находится за ее пределами; все события, все явления частной и общественной жизни оцениваются по своему отношению к выигрышу или проигрышу; все люди делятся на средства и на помехи; все чувства собственной души распадаются на похвальные, то есть ведущие к выигрышу, и предосудительные, то есть отвлекающие внимание от процесса игры. В жизни человека, втянувшегося в такую игру, нет места таким впечатлениям, из которых могло бы развернуться сильное чувство, не подчиненное интересам карьеры. Серьезная, чистая, искренняя любовь, без примеси корыстных или честолюбивых расчетов, любовь со всею светлою глубиною своих наслаждений, любовь со всеми своими торжественными и святыми обязанностями не может укорениться в высушенной душе человека, подобного Борису. Нравственное обновление путем счастливой любви для Бориса немыслимо. Это доказано в романе графа Толстого его историею с Наташею Ростовою, сестрою того армейского гусара, которого мундир и манеры коробят Бориса в присутствии князя Болконского.

Когда Наташе было 12 лет, а Борису лет 17 или 18, они играли между собою в любовь; один раз, незадолго перед отъездом Бориса в полк, Наташа поцеловала его, и они решили, что свадьба их состоится через четыре года, когда Наташе минет 16 лет. Прошли эти четыре года, жених и невеста — оба если не забыли своих взаимных обязательств, то по крайней мере стали смотреть на них как на ребяческую шалость; когда Наташа уже в самом деле могла быть невестою и когда Борис был уже молодым человеком, стоящим, как это говорится, на самой лучшей дороге, — они увиделись и снова заинтересовались друг другом. После первого свидания «Борис сказал себе, что Наташа для него точно так же привлекательна, как и прежде, но что он не должен отдаваться этому чувству, потому что женитьба на ней, девушке почти без состояния, была бы погибелью его карьеры, а возобновление прежних отношений без цели женитьбы — было бы неблагородным поступком» (III, 50).

Несмотря на это благоразумное и спасительное совещание с самим собою, несмотря на решение избегать встреч с Наташей, Борис увлекается, начинает часто ездить к Ростовым, проводит у них целые дни, слушает песни Наташи, пишет ей стихи в альбом и даже перестает бывать у графини Безуховой, от которой он получает ежедневно пригласительные и укоризненные записки. Он все собирается объяснить Наташе, что никак и никогда не может сделаться ее мужем, но у него все не хватает сил и мужества на то, чтобы начать и довести до конца такое щекотливое объяснение. Он с каждым днем более и более запутывается. Но некоторая временная и мимолетная невнимательность к великим интересам карьеры составляет крайний предел увлечений, возможных для Бориса. Нанести этим великим интересам сколько-нибудь серьезный и непоправимый удар — это для него невообразимо, даже под влиянием сильнейшей из доступных ему страстей.

Стоит только старой графине Ростовой перемолвить серьезное слово с Борисом, стоит ей только дать ему почувствовать, что его частые посещения замечены и приняты к сведению, — и Борис тотчас, чтобы не компрометировать девушку и не портить карьеру, обращается в благоразумное и благородное бегство. Он перестает бывать у Ростовых и даже, встретившись с ними на бале, проходит мимо них два раза и всякий раз отвертывается (III, 65).

Проплыв благополучно между подводными камнями любви, Борис уже безостановочно, на всех парусах летит к надежной пристани. Его положение на службе, его связи и знакомства доставляют ему вход в такие дома, где водятся очень богатые невесты. Он начинает думать, что ему пора заручиться выгодною женитьбою. Его молодость, его красивая наружность, его презентабельный мундир, его умно и расчетливо веденная карьера составляют такой товар, который можно продать за очень хорошую цену. Борис высматривает покупательницу и находит ее в Москве. Жюли Карагина, обладательница огромных пензенских имений и нижегородских лесов, двадцатисемилетняя девушка с красным лицом, с влажными глазами и с подбородком, почти всегда обсыпанным пудрою, — покупает себе Бориса. Перед совершением запродажной сделки Борис ведет себя как чистоплотный кот, которому голод велит перебираться через очень грязную улицу и которому в то же время до смерти не хочется замочить и запачкать бархатные лапки.

Бориса, как того же чистоплотного кота, не смущают никакие нравственные соображения. Обмануть девушку, прикинувшись влюбленным в нее, взять на себя обязательство составить ее счастие и потом оказаться перед нею позорно-несостоятельным, разбить ее жизнь — все это такие мысли, которые не приходят в голову Борису и нимало его не озабочивают. Если бы только это — он не задумался бы ни на минуту, так точно, как не задумался бы чистоплотный кот стащить и съесть плохо прибранный кусок мяса.

Голос нравственного чувства, уже достаточно слабый в 17-летнем мальчике, благодаря урокам такой искусной матери, какова была княгиня Анна Михайловна, — замолчал давно в молодом человеке, создавшем себе целую стройную теорию неписаной субординации. Но в Борисе еще не умерла последняя человеческая слабость; его старческая мудрость еще не задавила в нем способности чувствовать физическое отвращение; его тело еще молодо, свежо и сильно; у этого тела есть свои потребности, свои влечения, свои симпатии и антипатии; это тело не может всегда и везде быть послушным и безропотным орудием духа, стремящегося к упроченному положению в высшем обществе; тело возмущается, тело бунтует, и мороз подирает Бориса по коже при мысли о той цене, которую он должен будет заплатить за пензенские имения и нижегородские леса. Пройти через будуар графини Безуховой, пройти через него по расчету для Бориса было легко и приятно, потому что и сам Наполеон, увидав графиню Безухову в ложе эрфуртского театра, сказал об ней: «c'est un superbe animal!» * Но чтобы пройти через спальню Жюли Карагиной к той конторке, в которую кладутся доходы с пензенских имений, Борису понадобилось выдержать упорную и продолжительную борьбу с мятежным телом.

«Жюли уже давно ожидала предложения от своего меланхолического обожателя и готова была принять его; но какое-то тайное чувство отвращения к ней, к ее страстному желанию выйти замуж, к ее ненатуральности, и чувство ужаса перед отречением от возможности настоящей любви еще останавливало Бориса... Каждый день, рассуждая сам с собою, Борис говорил себе, что он завтра сделает предложение. Но в присутствии Жюли, глядя на ее красное лицо и подбородок, почти всегда осыпанный пудрой, на ее влажные глаза и на выражение лица, выражавшего всегдашнюю готовность из меланхолии тотчас же перейти к неестественному восторгу супружеского счастья, Борис не мог произнести решительного слова, несмотря на то, что он уже давно в воображении своем считал себя обладателем пензенских и нижегородских имений и распределял употребление в них доходов» (III, 207).

Само собою разумеется, что Борис выходит победителем из этой мучительной борьбы, так же точно, как вышел победителем из другой борьбы с тем же прихотливым телом, тянувшим его к Наташе Ростовой. Обе победы порадовали материнское сердце Анны Михайловны; обе были бы, без сомнения, решительно одобрены приговором общественного мнения, всегда расположенного сочувствовать торжеству духа над материею.

В ту минуту, когда Борис, вспыхнув ярким румянцем и платя этим румянцем последнюю дань своей молодости и человеческой слабости, делает предложение Жюли Карагиной и объясняется

* Это — великолепное животное (*франц.*). — *Ред.*

ей в любви, он утешает и подкрепляет себя тем размышлением, что «всегда может устроить так, чтобы редко видеть ее» (III, 209).

Борис держится того правила, что в торговом деле поступают начистоту только безнадежно глупые люди и что ловкий обман составляет душу коммерческой операции. И в самом деле, если бы, продав самого себя, он вздумал выдать покупателю весь проданный товар, то какое же удовольствие и какую пользу доставила бы ему устроенная сделка?

II

Займемся теперь молодым армейским гусаром, Николаем Ростовым.

Это совершенная противоположность Бориса. Друбецкой — расчетлив, сдержан, осторожен, все размеряет и взвешивает и во всем действует по заранее составленному и тщательно обдуманному плану. Ростов, напротив того, смел и пылок, не способен и не любит соображать, всегда поступает очертя голову, всегда весь отдается первому влечению и даже чувствует некоторое презрение к тем людям, которые умеют сопротивляться воспринимаемым впечатлениям и переработывать их в себе.

Борис, без всякого сомнения, умнее и глубже Ростова. Ростов, в свою очередь, гораздо даровитее, отзывчивее и многостороннее Бориса. В Борисе гораздо больше способности внимательно наблюдать и осторожно обобщать окружающие факты. В Ростове преобладает способность откликаться всем своим существом на все, что просит, и даже на то, что не имеет права просить у сердца ответа. Борис, при правильном развитии своих способностей, мог бы сделаться хорошим исследователем. Ростов, при таком же правильном развитии, сделался бы, по всей вероятности, недюжинным художником, поэтом, музыкантом или живописцем.

Существенное различие между обоими молодыми людьми обозначается с первого их шага на житейском поприще. Борис, которому нечем жить, протискивается по милости своей пресмыкающейся матери в гвардию и живет там на чужой счет, чтобы только быть на виду и почаще приходить в соприкосновение с высокопоставленными особами. Ростов, получающий от отца по 10 000 рублей в год и имеющий полную возможность жить в гвардии не хуже других офицеров, идет, пылая воинственным и патриотическим жаром, в армейскую кавалерию, чтобы поскорее побывать в деле, погарцевать на ретивой лошади и удивить себя и других подвигами лихого наездничества. Борис ищет прочной и осязательной выгоды. Ростов желает прежде всего и во что бы то ни стало шуму, блеску, сильных ощущений, эффектных сцен и ярких картин. Образ гусара, как он летит в атаку, машет саблей, сверкает очами, топчет трепещущего врага стальными копы-

тами неукротимого коня, образ гусара, как он размашисто и шумно пирует в кругу лихих товарищей, прокопченных пороховым дымом, образ гусара, как он, закручивая длинные усы, звеня шпорами, блистая золотыми снурками венгерки, своим орлиным взором посевает тревогу и смятение в сердцах молодых красавиц, — все эти образы, сливаясь в одно смутно-обаятельное впечатление, решают судьбу юного и пылкого графа Ростова и побуждают его, бросив университет, в котором он, без сомнения, находил мало для себя привлекательного, кинуться стремглав и окунуться с головою в жизнь армейского гусара.

Борис вступает в свой полк спокойно и хладнокровно, держит себя со всеми прилично и кротко, но ни с полком вообще, ни с кем-либо из офицеров в особенности не завязывает никаких тесных и задушевных отношений. Ростов буквально бросается в объятия Павлоградского гусарского полка, пристращается к нему, как к своей новой семье, сразу начинает дорожить его честью, как своею собственною, из восторженной любви к этой чести делает опрометчивые поступки, ставит себя в неловкие положения, ссорится с полковым командиром, кается в своей неосторожности перед синклитом старых офицеров и, при всей своей юношеской обидчивости и вспыльчивости, покорно выслушивает дружеские замечания стариков, обучающих его уму-разуму и преподающих ему основные начала павлоградской гусарской нравственности.

Борис норовит улизнуть как можно скорее из полка куда-нибудь в адъютанты. Ростов считает переход в адъютанты какою-то изменою милому и родному Павлоградскому полку. Для него это почти все равно, что бросить любимую женщину, чтобы по расчету жениться на богатой невесте. Все адъютанты, все «штабные молодчики», как он их презрительно называет, в его глазах какие-то бездушные и недостойные отступники, продавшие своих братьев по оружию за блюдо чечевицы. Под влиянием этого презрения он безо всякой уважительной причины, к ужасу и досаде Бориса, в квартире последнего заводит ссору с адъютантом Болконским, ссору, которая остается без кровопролитных последствий только благодаря спокойной твердости и самообладанию Болконского.

Ростов, к удивлению Бориса, бросает под стол рекомендательное письмо, выхлопотанное ему, Ростову, заботливыми родителями к князю Багратиону; при этом он, как мы уже знаем, прямо называет адъютантскую службу лакейскою. Он не задумывается над тем обстоятельством, что адъютанты совершенно необходимы в общем строе военного дела; он не останавливается на том соображении, что можно быть адъютантом, честно исполняя свои обязанности, принося постоянно истинную пользу общему ходу военных действий и нисколько не унижая ни перед кем своего личного человеческого достоинства. Он, очевидно, не в состоянии уловить и определить различие между писаною и неписаною субординациею, между служением лицам и служением делу. Он с негодова-

нием отрицает адъютантство для себя и презирает его в других просто потому, что павлоградские офицеры, принимая в соображение его графский титул и хорошее состояние, на первых порах заподозрили его в намерении выпрыгнуть из полка в адъютанты, а он тотчас же с добродетельным ужасом стал открещиваться и отплевываться от такого оскорбительного подозрения в бессердечности.

Борис не становится ни к кому в восторженно-подобострастные ученические отношения; он всегда готов тонко и прилично льстить тому человеку, из которого он так или иначе надеется сделать себе дойную корову; он всегда готов подметить в другом, перенять и усвоить себе какую-нибудь сноровку, способную доставить ему успех в обществе и повышение по службе; но бескорыстное и простодушное обожание кого бы или чего бы то ни было ему совершенно несвойственно; он может стремиться только к выгодам, а никак не к идеалу; он может только завидовать и подражать людям, обогнавшим или обгоняющим его по службе, но решительно неспособен благоговеть перед ними, как перед яркими и прекрасными воплощениями идеала. У Ростова, напротив того, идеалы, кумиры и авторитеты, как грибы, на каждом шагу вырастают из земли. У него и Васька Денисов — идеал, и Долохов — кумир, и штаб-ротмистр Кирстен — авторитет. Веровать и любить слепо, страстно, беспредельно, преследуя ненавистью фанатика тех, кто не преклоняет колен перед воздвигнутыми идолами, — это неистребимая потребность его кипучей природы.

Эта потребность проявляется особенно ярко в восторженном взгляде на государя. Вот какими чертами граф Толстой изображает его чувства во время высочайшего смотра в Ольмюце. Эти черты характеризуют и время, и тот слой общества, к которому принадлежит Ростов, и личные особенности самого Ростова.

«Когда государь приблизился на расстояние 20-ти шагов и Николя ясно, до всех подробностей, рассмотрел прекрасное, молодое и счастливое лицо императора, он испытал чувство нежности и восторга, подобного которому он еще не испытывал».

Увидав улыбку государя, «Ростов сам невольно начал улыбаться и почувствовал еще сильнейший прилив любви к своему государю. Ему хотелось выказать чем-нибудь свою любовь к государю. Он знал, что это невозможно, и ему хотелось плакать».

Когда государь заговорил с командиром Павлоградского полка, Ростов подумал, что умер бы от счастия, ежели бы государь обратился к нему.

Когда государь стал благодарить офицеров, то «каждое слово слышалось Ростову, как звук с неба», и он сознал в себе и сформулировал совершенно ясно страстное желание «только умереть, умереть за него».

Когда солдаты, «надсаживая свои гусарские груди», закричали ура, то «Ростов закричал тоже, пригнувшись к седлу, что

было его сил, желая повредить себе этим криком, только чтобы выразить вполне свой восторг государю».

Когда государь постоял несколько секунд против гусар, как будто в нерешимости, то «даже и эта нерешительность показалась Ростову величественной и обворожительной».

В числе господ свиты Ростов заметил Болконского, припомнил свою ссору с ним у Друбецкого, случившуюся накануне, и задал себе вопрос: следует или не следует вызывать его. «Разумеется, не следует, — подумал теперь Ростов... — И стоит ли думать и говорить про это в такую минуту, как теперь? В минуту такого чувства любви, восторга и самоотвержения что значат все наши ссоры и обиды? Я всех люблю, всем прощаю теперь».

Когда полки проходят церемониальным маршем мимо государя, когда Ростов на своем Бедуине самым эффектным образом проезжает вслед за своим эскадроном и когда государь говорит: «молодцы, павлоградцы!», тогда Ростов думает: «Боже мой, как бы я счастлив был, если бы он велел мне сейчас броситься в огонь».

Все эти черты собраны мною и перенесены сюда с точностью со страниц 70—73 первого тома.

Три дня спустя Ростов еще раз видит государя и чувствует себя счастливым, «как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания». Он, *не оглядываясь, восторженным чутьем* чувствует приближение государя. Здесь краски, употребляемые графом Толстым, вспыхивают такою ослепительною яркостью, что я, боясь ослабить или как-нибудь испортить то впечатление, которое они должны произвести на читателя, считаю необходимым привести цитату во всей ее неприкосновенности.

«И он чувствовал это (приближение) не по одному звуку копыт лошадей приближавшейся кавалькады, но он чувствовал это потому, что, по мере приближения, все светлее, радостнее, и значительнее, и праздничнее делалось вокруг него. Все ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи кроткого и величественного света, и вот он уже чувствует себя захваченным этими лучами, он слышит его голос — этот ласковый, спокойный, величественный и вместе с тем столь простой голос» (I, 84).

Фанатики-жрецы обыкновенно бывают более исключительны в своих страстях, чем то божество, которому они служат. Пылая всепоглощающею и ослепляющею любовью к своему божеству, эти жрецы доходят часто путем этой любви до таких крайних, уродливых и противоестественных чувств, которые могли бы только оскорбить, возмутить и прогневить божество, если бы оно узнало о их существовании.

Ростов видит государя на площади городка Вишау, где за несколько минут до приезда государя происходила довольно сильная перестрелка. На площади лежат еще не прибранные тела

убитых и раненых. Государь, «склонившись набок, грациозным жестом держа золотой лорнет у глаза», смотрит на раненого солдата, лежащего ничком, без кивера, с окровавленною головою. Государь, очевидно, соболезнует о страданиях раненого; плечи его содрогаются, как бы от пробежавшего мороза, и левая нога его судорожно бьет шпорой бок лошади; один из адъютантов, угадывая мысли и желания государя, поднимает солдата под руки, а государь, услышав стон умирающего, говорит: «тише, тише, разве нельзя тише?» и при этом, по словам графа Толстого, видимо страдает больше, чем сам умирающий солдат. Слезы наполняют глаза государя, и, обращаясь к Чарторижскому, он говорит ему: «quelle terrible chose que la guerre!» * В это же самое время Ростов, весь поглощенный своею восторженною любовью, преимущественно устремляет свое внимание на то обстоятельство, что солдат недостаточно опрятен, деликатен и великолепен, чтобы находиться вблизи государя и останавливать на себе его взоры. В солдате Ростов видит в эту минуту не умирающего человека, не мученика, мужественно принявшего страдание также за дело государя, а только грязное кровавое пятно, марающее ту картину, на которую обращены глаза государя, пятно, доставляющее государю неприятные ощущения, диссонанс, способный до некоторой степени расстроить нервы государя, наконец такой предмет, который виноват уже тем, что не может почувствовать *восторженным чутьем его приближение* и сделаться, по мере этого приближения, *все светлее, и радостнее, и значительнее, и праздничнее.* Вот подлинные слова графа Толстого: «Солдат раненый был так нечист, груб и гадок, что Ростова оскорбила близость его к государю» (I, 85). Государь, по всей вероятности, не остался бы доволен, если бы мог себе представить, что любовь к нему побуждает молодых офицеров его верной и храброй армии смотреть с отвращением и почти с ненавистью на страдания умирающих солдат.

Борис тоже чувствует особенное волнение, когда приближается к особе государя, но его волнение совершенно непохоже на то, которое испытывает простодушный Ростов. Он волнуется потому, что чувствует себя возле источника власти, наград, почестей, богатства и вообще всех тех земных благ, добыванию которых он твердо решился посвятить всю свою жизнь. Он думает: ах, если бы мне да пристроиться тут поблизости, да утвердиться так, чтобы меня изо дня в день постоянно пригревали солнечные лучи! То корыстное волнение, которое в подобных случаях овладевает Борисом, только усиливает его внимательность, расторопность и находчивость. Он исполняет совершенно удовлетворительно два поручения к государю, данные ему во время службы, и приобретает себе даже в глазах императора Александра репутацию смышленого и рачительного офицера.

---

* Какая ужасная вещь война! *(франц.).* — *Ред.*

Волнение, овладевающее Ростовым, когда он видит государя и приближается к нему, отнимает у него способность размышлять и обсуживать свое положение. В день Аустерлицкого сражения посланный с поручением, которое он если не обязан, то по крайней мере имеет полное право и даже уполномочен передать государю, Ростов встречает государя в то время, когда битва окончательно и безвозвратно проиграна. Увидав государя, Ростов по обыкновению чувствует себя безмерно счастливым, отчасти потому, что видит его, отчасти и главным образом потому, что убеждается собственными глазами в неверности распространившегося слуха о ране государя. Ростов знает, что он может и даже должен прямо обратиться к государю и передать то, что ему было приказано. Но нахлынувшее на него волнение отнимает у него возможность во-время решиться; «как влюбленный юноша дрожит и млеет, не смея сказать того, о чем он мечтает целые ночи, и испуганно оглядывается, ища помощи или возможности бегства, когда наступила желанная минута и он стоит наедине с ней: так и Ростов теперь, достигнув того, чего он желал больше всего на свете, не знал, как подступить к государю, и ему представлялись тысячи соображений, почему это было неудобно, неприлично и невозможно» (I, 136).

Не решившись на то, *чего он больше всего желал на свете*, Ростов отъезжает прочь, *с грустью и с отчаянием в сердце*, и в ту же минуту видит, что другой офицер, увидав государя, прямо подъезжает к нему, предлагает ему свои услуги и помогает ему перейти пешком через канаву. Ростов издали с завистью и раскаянием видит, как этот офицер долго и с жаром говорит что-то государю и как государь жмет руку этому офицеру. Теперь, когда минута пропущена, Ростову представляются новые тысячи соображений, почему ему было удобно, прилично и необходимо подъехать к государю. Он думает про себя, что он, Ростов, мог бы быть на месте того офицера, которому государь пожал руку, что его подрезала его собственная позорная слабость и что он потерял единственный случай выразить государю свою восторженную преданность. Он повертывает лошадь, скачет к тому месту, где был государь, — там уж нет никого. Он уезжает в совершенном отчаянии, и в этом отчаянии — какому бы тонкому и тщательному анализу мы его ни подвергали — нет ничего сколько-нибудь похожего на мысль о том влиянии, которое разговор с государем мог бы обнаружить на дальнейший ход его службы. Это — простодушное и бескорыстное отчаяние влюбленного юноши, у которого, по милости его же собственной робости, остались тяжелым камнем на душе невысказанные и давно накипевшие слова почтительной страсти.

Сам Ростов неспособен анализировать свое чувство; он не может задать себе вопрос: почему я испытываю это чувство? — не может, во-первых, потому, что вообще не привык пускаться

в психологические исследования и отдавать себе сколько-нибудь ясный отчет в своих ощущениях; а во-вторых, потому, что в этом вопросе ему совершенно справедливо чувствуется опасный зародыш разлагающего сомнения. Спросить: почему я испытываю то или другое чувство? — значит задуматься над теми причинами и основаниями, на которых держится это чувство, приступить к измерению, взвешиванию и оценке этих причин и оснований и заранее подчиниться тому приговору, который, после зрелых размышлений, будет произнесен над ними голосом нашего собственного рассудка. Кто ставит себе вопрос: почему? — тот, очевидно, чувствует необходимость указать своей страсти известные границы, на которых она должна остановиться, чтобы не вредить интересам целого. Кто ставит вопрос: почему? — тот уже признает существование таких интересов, которые для него важнее и дороже его чувства и во имя которых и с точки зрения которых желательно потребовать у этого чувства отчета в его происхождении. Кто ставит вопрос: почему? — тот уже обнаруживает способность до некоторой степени отрешаться от своего чувства и смотреть на него со стороны, как на явление внешнего мира, а между чувствами, совершенно не испытавшими над собою этой операции, и чувствами, на которые мы хоть раз, хоть на минуту, взглянули со стороны, взором наблюдателя, *объективным оком*, существует огромная разница. Как бы победоносно наше чувство ни выдержало испытание, все-таки над ним неизбежно совершится одна существенно важная перемена: прежде оно, не измеренное и не исследованное, казалось нам необъятным и беспредельным, потому что мы не знали ни его начала, ни его конца, ни его возможных последствий, ни его действительных оснований; теперь же оно, хотя и очень велико, однако введено в свои границы, которые нам хорошо известны. Прежде оно, само по себе, было целым миром, ни с чем не связанным, живущим своею самостоятельною жизнью, повинующимся только своим собственным законам, которых мы не знали, и неотразимо увлекающим нас в свою таинственную глубину, в которую мы погружались с трепетом мучительной радости и робкого благоговения; теперь оно сделалось явлением среди других явлений нашего внутреннего мира, явлением, на которое действуют многие другие, соприкасающиеся и сталкивающиеся с ним чувства, мысли и впечатления, — явлением, которое подчиняется законам, существующим вне его, и влияниям, действующим на него со стороны.

Очень многие и очень сильные чувства совсем не выдерживают испытания. Вопрос *почему?* становится их могилою. Удовлетворительный ответ на этот вопрос оказывается невозможным.

Ростов не спрашивает: *почему?* — не знает, почему, и не хочет этого знать. Он понимает правильным инстинктом, что вся сила его чувства заключается в его совершенной непосредственности и что самым твердым оплотом служит этому чувству то постоянно

раскаленное настроение, вследствие которого он, Ростов, всегда готов видеть оскорбление святыни во всякой попытке, своей или чужой, стать к этому чувству или к каким бы то ни было его проявлениям в сколько-нибудь спокойные или рассудочные отношения.

«Я, — говорил Людовик Святой, — никогда и ни за что не буду рассуждать с еретиком; я просто пойду на него и мечом распорю ему брюхо». Так точно думает и чувствует Ростов. Он до последней крайности щекотлив ко всему, что сколько-нибудь отклоняется от тона восторженного благоговения. Вот какая сцена разыгрывается возле Вишау между Ростовым и Денисовым:

Поздно ночью, когда все разошлись, Денисов потрепал своей коротенькой рукой по плечу своего любимца Ростова.

— Вот на походе не в кого влюбиться, так он в ца'я влюбился, — сказал он.

— Денисов, ты этим не шути, — крикнул Ростов, — это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое...

— Ве'ю, ве'ю, д'ужок, и 'азделяю, и одоб'яю.

— Нет, не понимаешь.

И Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастье умереть, не спасая жизнь (об этом он не смел и мечтать), а просто умереть в глазах государя (I, 87).

На Денисова, конечно, не может пасть подозрение в якобинстве. В этом отношении он стоит выше всякого сомнения, и Ростов это знает, но по своей щекотливости не может воздержаться от вскрикивания, когда Денисов позволяет себе добродушную дружескую шутку. В этой шутке Ростову чувствуется все-таки способность отнестись, хоть на минуту, спокойно и хладнокровно к предмету его восторженного обожания. Этого уже достаточно, чтобы вызвать с его стороны вспышку негодования. Поставьте на место лихого павлоградского гусара и отличного товарища Денисова какого-нибудь постороннего человека, замените добродушную дружескую шутку словами, выражающими серьезное сомнение, и вы тогда, конечно, получите в результате со стороны Ростова не вскрикивание, а какой-нибудь резкий, насильственный поступок, напоминающий программу Людовика Святого.

Проходит два года. Вторая война с Наполеоном заканчивается поражением наших войск при Фридланде и свиданием императоров в Тильзите. Множество виденных событий, политических и неполитических, множество воспринятых впечатлений, крупных и мелких, задают уму Ростова мучительную работу, превышающую его силы, и возбуждают в нем рой тяжелых сомнений, с которыми он не умеет управиться.

Приехав в свой полк весною 1807 года, Ростов застает его в таком положении, что лошади, безобразно худые, едят соломенные крыши с домов, а люди, не получая никакого провианта, набивают себе желудки каким-то сладким машкиным корнем,

растением, похожим на спаржу, от которого у них пухнут руки, ноги и лицо. В столкновениях с неприятелем Павлоградский полк потерял только двух рененых, а голод и болезни истребили почти половину людей. Кто попадал в госпиталь — умирал наверное; и солдаты, больные лихорадкою и опухолью, несли службу, через силу волоча ноги во фронте, лишь бы только не идти в больницу, на верную и мучительную смерть.

В обществе офицеров господствует то убеждение, что все эти бедствия происходят от колоссальных злоупотреблений в провиантском ведомстве; и это убеждение поддерживается тем обстоятельством, что все подвозимые припасы оказываются самого дурного качества. Ужасное и отвратительное положение госпиталей и беспорядок в подвозе провианта также не могут быть объяснены никакими естественными бедствиями, независимыми от воли человека.

Васька Денисов, добродушный, честный и храбрый гусарский майор, любит свой эскадрон, как свою семью, и видит с ожесточением, как на его глазах хиреют и мрут его солдаты. Прослышав о том, что в пехотный полк, стоящий по соседству, идет транспорт провианту, Денисов едет насильно отбивать эти припасы и действительно выполняет свое намерение, рассуждая так, что не умирать же в самом деле павлоградским гусарам от голода и от сладкого машкина корня. Полковой командир, узнав об этом подвиге Денисова, говорит ему, что готов смотреть на это сквозь пальцы, но советует Денисову съездить в штаб и уладить дело в провиантском ведомстве.

Денисов едет и начинает объясняться с провиантским чиновником, которого он потом, в разговоре с Ростовым, называет обер-вором. С первых же слов Денисов говорит обер-вору, что «разбой не тот делает, кто берет провиант, чтоб кормить своих солдат, а тот, кто берет его, чтоб класть в карман». После такого дебюта полюбовное окончание дела становится невозможным. По приглашению обер-вора Денисов идет расписываться у комиссионера и тут за столом видит уже настоящего вора, бывшего павлоградского офицера Телянина, укравшего у него, Денисова, кошелек с деньгами, уличенного в этом Ростовым, выключенного из полка и пристроившегося потом к провиантскому ведомству. Тут разыгрывается сцена, которую сам Денисов следующим образом описывает Ростову:

«Как, ты нас с голоду моришь?!» Раз, раз по морде, ловко так пришлось... «А... распротакой-сякой», и... начал катать. — Зато натешился, могу сказать, — кричал Денисов, радостно и злобно из-под черных усов оскаливая свои белые зубы. — Я бы убил его, кабы не отняли (II, 161).

Разумеется, завязывается дело. Майора Денисова обвиняют в том, что он, отбив транспорт, без всякого вызова, в пьяном виде явился к обер-провиантмейстеру, назвал его вором, угро-

жал побоями, и когда был выведен вон, то бросился в канцелярию, избил двух чиновников и одному вывихнул руку.

Пока тянется предварительная переписка по этому делу, Денисов в одной рекогносцировке получает рану и уезжает в госпиталь.

После Фридландского сражения, во время перемирия, Ростов едет проведать Денисова и собственными глазами видит, какой уход достается на долю раненым героям. При самом входе доктор предупреждает его, что *тут дом прокаженных, тиф; кто ни взойдет — смерть*, и что здоровому человеку не следует входить, если он не желает тут и остаться. В темном коридоре Ростова охватывает такой сильный и отвратительный больничный запах, что он принужден остановиться и собраться с силами, чтобы идти дальше. Ростов входит в солдатские палаты и видит, что тут больные и раненые лежат в два ряда, головами к стенам, на соломе или на собственных шинелях, без кроватей. Один больной казак лежит навзничь, поперек прохода, раскинув руки и ноги, закатив глаза и повторяя хриплым голосом: «испить — пить — испить!» Его никто не поднимает, ему никто не дает глотка воды, и больничный служитель, которому Ростов приказывает помочь больному, только старательно выкатывает глаза и с удовольствием говорит: «слушаю, ваше высокоблагородие», но не трогается с места. В другом углу Ростов видит рядом с старым безногим солдатом молодого мертвеца и узнает от безногого старика, что его сосед «еще утром кончился» и что его, несмотря на усиленные и неоднократные просьбы больных, до сих пор не убирают.

Денисов сначала горячо толкует о том, что он выводит на чистую воду казнокрадов и разбойников, и читает в продолжение часа с лишком Ростову свои ядовитые бумаги, писанные в ответ на запросы военносудной комиссии, но потом убеждается, что *плетью обуха не перешибешь*, и вручает Ростову большой конверт с просьбою о помиловании на имя государя.

Ростов едет в Тильзит, находит случай передать государю просьбу Денисова через одного кавалерийского генерала и слышит собственными ушами, как государь отвечает громко:

«Не могу, генерал, и потому не могу, что закон сильнее меня».

В Тильзите Ростов видит радостные лица, блестящие мундиры, сияющие улыбки, светлые картины мира, изобилия и роскоши — самую резкую противоположность всего того, что видел в землянках Павлоградского полка, и на полях сражения, и в том доме прокаженных, в котором изнывает раненый подсудимый Денисов.

Эта противоположность смущает его, нагоняет к нему в голову вихри непрошенных мыслей и поднимает в душе его тучи небывалых сомнений. Борис сразу, без малейшей борьбы, признал генерала Бонапарте императором Наполеоном и великим человеком и даже постарался устроить так, чтобы его готовность

и старательность по этой части была замечена начальством и вменена ему в достоинство. Борис так же охотно и с такою же приятною улыбкою признал бы уличенного вора Телянина за честнейшего человека и за доблестнейшего патриота, ежели бы такое признание могло понравиться начальству. Борис, без всякого сомнения, не позволил бы себе разбойничьего нападения на свои же русские транспорты, чтобы доставить обед и ужин голодным солдатам своей роты. Борис, конечно, не произвел бы дикого насилия над особою русского чиновника, какими бы двусмысленными поступками ни было наполнено прошедшее этого чиновника. Борис, разумеется, охотнее протянул бы руку Телянину, которого начальство признает честным гражданином, чем Денисову, которого военный суд будет принужден наказать, как грабителя и буяна.

Если бы Ростов был способен усвоить себе беззастенчивую и неустрашимую гибкость Бориса, если бы он раз навсегда отодвинул в сторону желание любить то, чему он служит, и служить тому, что он любит, — то, конечно, тильзитские сцены своим блеском произвели бы на него самое приятное впечатление, госпитальные миазмы заставили бы его только покрепче зажимать себе нос, а денисовское дело навело бы его на поучительные размышления о том, как вредно бывает для человека неумение обуздывать свои страсти. Он не стал бы смущаться контрастами и противоречиями; довольствуясь тою истиною, что существующее существует и что для успешного прохождения служебного поприща надо изучать требования действительности и приноровляться к ним, он не стал бы настоятельно желать, чтобы все существующее было в самом себе стройно, разумно и прекрасно.

Но Ростов не видит и не понимает, за какие заслуги генерал Бонапарте произведен в императоры Наполеоны; он не видит и не понимает, почему он, Ростов, сегодня должен любезничать с теми французами, которых он вчера должен был рубить саблей; почему Денисов за свою любовь к солдатам, которых он обязан был беречь и лелеять, и за свою ненависть к ворам, которых ему никто не приказывал любить, должен быть расстрелян или по меньшей мере разжалован в солдаты; почему люди, храбро сражавшиеся и честно исполнявшие свой долг, должны, под присмотром фельдшеров и военных медиков, умирать медленною смертью в домах прокаженных, в которые опасно входить здоровому человеку; почему негодяи, подобные исключенному офицеру Телянину, должны иметь обширное и деятельное влияние на судьбу русской армии.

Опытный человек на месте Ростова успокоился бы на том соображении, что абсолютное совершенство недостижимо, что человеческие силы ограничены и что ошибки и внутренние противоречия составляют неизбежный удел всех людских начинаний. Но опытность приобретается ценою разочарований, а первое разочарование, первое жестокое столкновение блестящих ребя-

ческих иллюзий с грубыми и неопрятными фактами действительной жизни составляет обыкновенно решительный поворотный пункт в истории того человека, который его испытывает.

После этого первого столкновения цельные верования детства в легкое, неизбежное и всегдашнее торжество добра и правды, верования, вытекающие из незнания зла и лжи, — оказываются разбитыми; человек видит себя среди колеблющихся развалин; он старается прицепиться к осколкам того здания, в котором он надеялся благополучно провести всю свою жизнь; он ищет в груде разрушенных иллюзий хоть чего-нибудь крепкого и прочного; он пытается построить себе из уцелевших обломков новое здание, поскромнее, но зато и понадежнее первого; эта попытка ведет за собою неудачу и порождает новое разочарование. Развалины разлагаются на свои составные части; обломки крошатся на мелкие кусочки и превращаются в тонкую пыль под руками человека, добросовестно старающегося удержать их в целости. Идя от разочарования к разочарованиям, человек приходит, наконец, к тому убеждению, что все его мысли и чувства, напущенные в него неизвестно когда и выросшие вместе с ним, нуждаются в самой тщательной и строгой проверке. Это убеждение становится исходною точкою того процесса развития, который может привести человека к более или менее ясному и отчетливому пониманию всего окружающего.

Мужественно выдержать первое разочарование способен не всякий. К числу этих неспособных принадлежит и наш Ростов. Вместе того чтобы вглядеться в те факты, которые опрокидывают его младенческие иллюзии, он с трусливым упорством и с малодушным ожесточением зажмуривает глаза и гонит прочь свои мысли, как только они начинают принимать чересчур непривычное для него направление. Ростов не только зажмуривается сам, но также с фанатическим усердием старается зажимать глаза другим.

Потерпев неудачу по денисовскому делу и насмотревшись на тильзитский блеск, коловший ему глаза, Ростов избирает благую часть, которая никогда не отнимается от нищих духом и богатых наличными деньгами. Он заливает свои сомнения двумя бутылками вина и, доведя свою гусарскую лихость до надлежащих размеров, начинает кричать на двух офицеров, выражавших свое неудовольствие по поводу тильзитского мира.

« — И как вы можете судить, что было бы лучше! — закричал он с лицом, вдруг налившимся кровью. — Как вы можете судить о поступках государя, какое мы имеем право рассуждать?! Мы не можем понять ни цели, ни поступков государя.

— Да я ни слова не говорил о государе, — оправдывался офицер, иначе как тем, что Ростов пьян, не могущий объяснить себе его вспыльчивости.

Но Ростов не слушал его.

— Мы не чиновники дипломатические, а мы солдаты и больше ничего, — продолжал он. — Умирать велят нам — так умирать (этими словами Ростов разрешает сомнения, возбужденные в нем *домом прокаженных*). А коли наказывают, так, значит, виноват; не нам судить (это — по денисовскому делу). Угодно государю императору признать Бонапарте императором и заключить с ним союз, значит, так надо (а это — примирение с тильзитскими сценами). А то, коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется. Этак мы скажем, что ни бога нет, ничего нет, — ударяя по столу, кричал Николай, весьма некстати по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно по ходу своих мыслей.

— Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать, вот и все, — заключил он.

— И пить, — сказал один из офицеров, не желавший ссориться.

— Да, и пить, — подхватил Николай. — Эй ты! Еще бутылку! — крикнул он» (II, 185).

Во-время выпитые две бутылки наградили молодого графа Ростова вернейшим лекарством против разочарований, сомнений и всевозможной мучительной внутренней ломки и переборки. Кому посчастливилось во время первой умственной бури открыть спасительную формулу: *наше дело не думать*, и успокоить себя этою формулою, хотя бы на минуту, хотя бы при содействии двух бутылок, — тот, по всей вероятности, всегда будет убегать под защиту этой формулы, как только в нем начнут шевелиться неудобные сомнения и его станет одолевать тревожный позыв к свободному исследованию. *Наше дело не думать* — это такая неприступная позиция, которую не могут разбить никакие свидетельства опыта и перед которою останутся бессильными всякие доказательства. Свободной мысли негде высадиться, и ей невозможно укрепиться на том берегу, на котором возвышается эта твердыня. Спасительная формула подрезывает ее при первом ее появлении. Чуть только человек захватит самого себя на деле взвешивания и сопоставления воспринятых впечатлений, чуть только он подметит в себе поползновение размышлять и обобщать невольно собранные факты — он тотчас, опираясь на свою формулу и припоминая то чудесное успокоение, которое она ему доставила, скажет себе, что это грех, что это дьявольское наваждение, что это болезнь, и пойдет лечиться вином, криком, цыганами, псовою охотою и вообще тою пестрою сменою сильных ощущений, которую может доставить себе плотно сложенный и состоятельный русский дворянин.

Если вы станете доказывать такому укрепившемуся человеку, что его спасительная формула неразумна, то ваши доказательства пропадут даром. Формула и с этой стороны обнаружит свою не-

сокрушимость. Драгоценнейшее из ее достоинств состоит именно в том, что она не нуждается ни в каких разумных основаниях и даже исключает возможность таких оснований. В самом деле, чтобы доказывать разумность или неразумность формулы, чтобы нападать или защищать ее, надо думать, а так как *наше дело не думать*, то и всякого рода доказывания, сами по себе, независимо от тех целей, к которым они клонятся, должны быть признаны излишними и предосудительными.

Ростов остается неизменно верен правилу, открытому в тильзитском трактире при содействии двух бутылок вина. Мышление не обнаруживает никакого влияния на всю его дальнейшую жизнь. Сомнения не нарушают больше его душевного спокойствия. Он знает и хочет знать только свою службу и благородные развлечения, свойственные богатому помещику и лихому гусару. Его ум отказывается от всякой работы, даже от той, которая необходима для спасения родового имущества от козней плутующего, но очевидно малограмотного приказчика Митеньки.

Он с большою энергиею кричит на Митеньку и очень ловко толкает его ногой и коленкой под зад, но после этой бурной сцены Митенька остается полновластным распорядителем в имении, и дела продолжают идти прежним порядком.

Не умея даже привести в порядок свои денежные дела и унять домашнего вора, Ростов тем более не умеет и не желает осмысливать свою жизнь каким-нибудь занятием, требующим сколько-нибудь сложных и последовательных умственных операций. Книги для него, повидимому, не существуют. Чтение, кажется, не занимает в его жизни никакого места, даже как средство убивать время. Даже московская светская жизнь представляется ему слишком запутанною и мудреною, слишком переполненною сложными соображениями и головоломными тонкостями. Его удовлетворяет вполне только жизнь в полку, где все определено и размерено, где все ясно и просто, где думать решительно не о чем и где нет места для колебаний и свободного выбора. Ему нравится полковая жизнь в мирное время, нравится именно тем, чем она невыносима человеку, сколько-нибудь способному мыслить: нравится своею спокойною праздностью, невозмутимою рутинностью, сонным однообразием и теми оковами, которые она налагает на всевозможные проявления личной изобретательности и оригинальности.

Так как мир мысли закрыт для Ростова, то развитие его на двадцатом году жизни оказывается законченным. К двадцати годам все содержание жизни для него уже исчерпано; ему остается только сначала грубеть и глупеть, а потом дряхлеть и разлагаться. Это отсутствие будущности, это роковое бесплодие и неизбежное увядание скрыты от глаз поверхностного наблюдателя внешним видом свежести, силы и отзывчивости. Глядя на Ростова, поверхностный наблюдатель скажет с удовольствием: «Как в этом

молодом человеке много огня и энергии! Как смело и весело он смотрит на жизнь! Какое в нем обилие неиспорченной и нерастраченной юности!»

На такого поверхностного наблюдателя Ростов произведет, по всей вероятности, отрадное впечатление, Ростов ему понравится, как он, без сомнения, понравился многим читателям и даже, быть может, самому автору романа. Поверхностному наблюдателю не придет в голову, что в Ростове нет именно того, что составляет самую существенную и глубоко трогательную прелесть здоровой и свежей молодости.

Когда мы смотрим на сильное и молодое существо, то нас волнует радостная надежда, что его силы вырастут, развернутся, приложатся к делу, примут деятельное участие в великой житейской борьбе, увеличат хоть немного массу существующего на земле живительного счастия и уничтожат хоть частицу накопившихся нелепостей, безобразий и страданий. Мы еще не знаем той границы, на которой остановится развитие этих сил, и именно эта неизвестность составляет в наших глазах величайшую обаятельность молодого существа. Кто знает? — думаем мы: может быть, тут вырабатывается перед нами что-то очень большое, чистое, светлое, сильное и неустрашимое. Молодое существо, полное жизни и энергии, составляет для нас самую занимательную загадку, и эта загадочность придает ему особенную привлекательность.

Именно этой обаятельной загадочности нет в Ростове, и только поверхностный наблюдатель может, глядя на него, сохранять неопределенную надежду, что его нерастраченные силы на чем-нибудь хорошем сосредоточатся и к чему-нибудь дельному приложатся. Только поверхностный наблюдатель может, любуясь его живостью и пылкостью, оставлять в стороне вопрос о том, пригодится ли на что-нибудь эта живость и пылкость.

Поверхностный наблюдатель способен залюбоваться юношескою горячностью Ростова, например, во время псовой охоты, когда он обращается к богу с мольбою о том, чтобы волк вышел на него, когда он говорит, изнемогая от волнения: «Ну, что тебе стоит сделать это для меня? Знаю, что ты велик и что грех тебя просить об этом; но, ради бога, сделай, чтобы на меня вылез матерый и чтобы Карай, на глазах дядюшки, который вон оттуда смотрит, влепился ему мертвой хваткой в горло», — когда он во время травли переходит от беспредельной радости к самому мрачному отчаянию, с плачем называет старого кобеля Карая отцом и, наконец, чувствует себя счастливым, видя волка, окруженного и разрываемого собаками.

Кто не останавливается на веселой наружности явлений, того шумная и оживленная сцена охоты наведет на самые печальные размышления. Если такая мелочь, такая дрянь, как борьба волка с несколькими собаками, может доставить человеку полный ком-

плект сильных ощущений, от исступленного отчаяния до безумной радости, со всеми промежуточными полутонами и переливами, то зачем же этот человек будет заботиться о расширении и углублении своей жизни? Зачем ему искать себе работы, зачем ему создавать себе интересы в обширном и бурном море общественной жизни, когда конюшня, псарня и ближайший лес с избытком удовлетворяют всем потребностям его нервной системы?

Разбор отношений Ростова к любимой женщине, анализ других характеров, более сложных, именно: Пьера Безухова, князя Андрея Болконского и Наташи Ростовой, а также общие выводы касательно всего общества, изображенного в романе, я считаю необходимым отложить до выхода в свет четвертого тома.

ФРАНЦУЗСКИЙ КРЕСТЬЯНИН В 1789 ГОДУ

(Histoire d'un paysan 1789, par Erckman — Chatrian)

I

Лучшие романы господ Эркмана и Шатриана уже известны нашей публике. «Тереза», «Воспоминания рекрута 1813 года», «Ватерло», «Юродивый Иегоф» и «Записки пролетария» были в свое время — года три тому назад — переведены на русский язык, помещены в одном журнале, имевшем довольно обширный круг читателей, [1] и потом выпущены в свет отдельным изданием.

Во всех этих романах авторы преследуют одну и ту же задачу. Они стараются взглянуть на великие исторические события снизу, глазами той обыкновенно безгласной и покорной массы, которая почти всегда и почти везде молчит и терпит, платит налоги и отдает в распоряжение мировых гениев достаточное количество пушечного мяса. Такой взгляд снизу редко бывает возможен; обыкновенно масса не имеет понятия о том, что делается в руководящих слоях общества; ей неизвестны ни имена, ни лица, ни поступки, ни взаимные отношения, ни мысли, ни желания главных актеров, занимающих в данную минуту сцену всемирной истории; она их не видит, не слышит и не понимает; ей не приходит в голову, чтобы могла существовать какая-нибудь живая связь между действиями этих актеров и ее собственными очень мелкими, но очень жгучими заботами, лишениями и печалями; она не может и не умеет себе представить, чтобы среди этих блестящих и громко говорящих актеров у нее могли быть друзья и враги, которых победа или поражение отзовется на ее собственной жизни увеличением или уменьшением прямых и косвенных налогов, рекрутской повинности и разнородных стеснений, тормозящих свободное развитие ее труда.

Не зная самых крупных фактов новейшей и современной истории, не имея тех простейших элементарных сведений, которые должны служить фундаментом политического развития, не умея разбирать те буквы, которыми наполнен листок газеты, не пони-

мая тех слов родного языка, которые составлены из этих букв, не привыкнув следить внимательно за сколько-нибудь сложною и отвлеченною мыслью, развивающеюся в целом ряде предложений и периодов, не имея возможности оторваться от тяжелого скотского труда, который кормит ее в обрез, часто оставляет ее впроголодь и всегда мешает ей возвыситься до каких бы то ни было соображений и обобщений, — масса обыкновенно относится ко всем своим страданиям с одинаково угрюмою покорностью, не задавая себе вопроса о том, от чего они происходят, от тридцатиградусного ли мороза, который при данной географической широте совершенно неизбежен, или от ненужной, разорительной и неискусно веденной войны, которую не трудно было бы предотвратить или по крайней мере повести искуснее и окончить скорее. Масса обыкновенно видит наказание божие и в продолжительном отсутствии дождя, обусловленном чисто физическими причинами, и, например, в дороговизне соли, произведенной искусственным путем, посредством неудачных финансовых мероприятий. Встречаясь на каждом шагу с такими наказаниями божиими, масса не восходит к их причинам, не задумывается над средствами устранить или ослабить их, а действует врассыпную, то есть так, что каждый отдельный человек старается сберечь свою жалкую жизнь и укрыться от наказания в первое попавшееся, надежное или ненадежное убежище. Случается голод вследствие засухи — масса бредет врассыпную побираться, и наблюдатель народной жизни замечает более или менее значительное приращение в общем итоге случаев бродяжничества, нищенства, воровства и грабительства. Происходит дороговизна соли вследствие налога — масса поступает точно так же: она выдвигает из своей среды, смотря по удобствам местности, сотни или тысячи контрабандистов, которые, конечно, стараются не о том, чтобы устранить зло, тяготеющее над народною жизнью, а о том, чтобы прожить и по возможности обогатиться при существовании и даже при содействии этого зла.

Обыкновенно масса протестует против разнородных общественных зол, отравляющих ее жизнь, — или своими страданиями, болезнями и вымиранием, или индивидуальными преступлениями. При обеих этих системах протеста, которые обыкновенно пускаются в ход одновременно, масса принимает гнетущее ее зло как существующий факт, и, не пускаясь в анализ его причин, не составляет в себе никакого взгляда на породившие его лица и события, и не воспитывает в себе никаких политических симпатий и антипатий.

Но не всегда и не везде господствует это полное отсутствие взгляда снизу на великие исторические события. Не всегда и не везде масса остается слепа и глуха к тем урокам, которые будничная трудовая жизнь, полная лишений и горя, дает на каждом шагу всякому умеющему видеть и слышать. Если, с одной стороны,

только в одних Северо-Американских Соединенных Штатах масса постоянно, изо дня в день и из года в год, следит за ходом своих собственных дел с одинаково неусыпным, просвещенным и разумным вниманием, то, с другой стороны, в цивилизованной Европе трудно найти хоть один уголок, в котором самосознание масс не обнаруживало бы, хоть мимолетными проблесками, самого серьезного и неизгладимо-благодетельного влияния на общее течение исторических событий.

Во Франции такие проблески народного самосознания заявляли себя не раз в течение восьми последних десятилетий. Господа Эркман и Шатриан стараются уловить в своих романах именно эти проблески. Они берут людей народной массы в те торжественные минуты, когда в этой массе под влиянием многолетнего горя начинает созревать неотложная потребность отдать себе строгий и ясный отчет в том, что мешает ей жить здоровою человеческою жизнью. Они стараются проследить, какими путями и каналами в народную массу медленно просачивается сознательное неудовольствие, исподволь вытесняя и сменяя собою ту неповоротливую и тупую угрюмость, которая является обыкновенным результатом неосмысленного страдания и обыкновенно разрешается диким запоем, бестолковыми драками и нелепыми преступлениями. Они пытаются угадать и показать, какая борьба мнений и взглядов разыгрывается в великие минуты народного пробуждения у каждого самого скромного семейного очага и в каждом самом убогом деревенском трактире. Они стараются ввести читателя в ту таинственную лабораторию, почти недоступную для историка, где выработывается, из бесчисленного множества разнороднейших элементов и под влиянием тысячи содействующих и препятствующих условий, — тот великий *глас народа*, который действительно, рано или поздно, всегда оказывается *гласом божиим*, то есть определяет своим громко произнесенным приговором течение исторических событий.

Романы господ Эркмана и Шатриана можно совершенно справедливо назвать историческими, потому что они рисуют очень яркими и хорошо подобранными чертами дух того времени, из которого взяты их сюжеты. Но эти романы нисколько не похожи на те сшивки из реляций, мемуаров, дипломатических нот, мирных договоров и разных других исторических документов, которые также называются обыкновенно историческими романами и составляют в большей части случаев один из самых бесплодных и непривлекательных родов литературы. В романах господ Эркмана и Шатриана великие исторические деятели вовсе не выступают на сцену. В их романах, взятых из времен первой революции, читатель не встречается ни с Робеспьером, ни с Дантоном, ни с королем Людовиком XVI и вообще ни с одним из тех лиц, которых имя сколько-нибудь известно образованному человеку. В романах из времен первой империи мы не видим ни Напо-

леона, ни его маршалов, ни его врагов. Господа Эркман и Шатриан не позволяют себе ни отбивать хлеб у историков, рисуя великие исторические фигуры на основании материалов, сложенных в архивы и достаточно проверенных строгою критикою, ни дополнять смелыми догадками и произвольными порывами фантазии то, что остается и навсегда должно оставаться в этих фигурах неясным и недорисованным. Господа Эркман и Шатриан не пробуют вводить читателя в такие кабинеты, в которые никто из простых смертных не входил, подслушивать такие речи, которых в свое время никто не мог слышать и записать, угадывать такие мысли, желания и душевные движения, которые остались для всего мира глубочайшею тайною.

Наших авторов занимает не внешний очерк событий, а внутренняя сторона истории, та сторона, которою мыслящий историк дорожит чрезвычайно, но которая почти всегда в очень значительной степени от него ускользает и всегда будет ускользать, потому что он редко имеет возможность черпать из устных источников, например из рассказов стариков, не имеет права доверяться таким источникам, принужден, пользуясь ими, стирать с них все, что в них есть индивидуального, то есть именно самого свежего и характерного, и, наконец, обязан сдерживать свое воображение в таких тесных границах, которые не существуют для романиста. Наших авторов интересует не то, как и почему случилось то или другое крупное историческое событие, а то, какое впечатление оно произвело на массу, как поняла его масса и чем она на него отозвалась.

Внешняя и внутренняя сторона истории находятся между собою в постоянном живом взаимнодействии. Войны, мирные трактаты, переходы областей из рук в руки, смены династий, министерств и правительственных систем, законодательные и административные преобразования — все это с одной стороны, а с другой стороны — размеры и свойства лишений, страданий, невежества и долготерпения массы находятся, очевидно, в самой тесной связи между собой, хотя далеко не все видят и далеко не всякий историк умеет доказать и проследить действительное существование этой неизбежной и неразрывной связи. Очевидно, что всякое крупное историческое событие совершается или потому, что народ его хочет, или потому, что народ не может и не умеет ему помешать. Очевидно также, что всякое историческое событие, которое действительно стоит называть и признавать крупным, совершается или в ущерб народу, или на его пользу, а это значит в общем результате, что оно или усыпляет, или, напротив того, живит и развивает в народе способность верно понимать, сильно желать и твердо настаивать.

Господа Эркман и Шатриан стараются в своих романах уловить эту связь между внешнею и внутреннею стороною истории. Они стараются показать, как то или другое историческое событие

будило в массе самосознание и самодеятельность и как это умственное и нравственное пробуждение массы давало своеобразный оборот и сообщало живительный толчок дальнейшему течению событий. Это стремление указать массе на ту роль, которая по всем правам принадлежит ей на сцене всемирной истории и которая доставалась и всегда будет доставаться ей на долю всякий раз, как только она сумеет поразмыслить, вникнуть и во-время промолвить свое тяжеловесное слово, — это стремление, составляющее живую душу романов господ Эркмана и Шатриана, придает этим романам важное и благотворное воспитательное значение.

Эти романы развивают в своих читателях способность уважать народ, надеяться на него, вдумываться в его интересы, смотреть на совершающиеся события с точки зрения этих интересов, называть злом все то, что усыпляет, а добром все то, что будит народное самосознание. Когда эти романы читаются человеком, принадлежащим к высшему или среднему классу общества, тогда они возделывают в нем чувство спасительного смирения, напоминая ему на каждом шагу, что настоящим фундаментом самых великолепных и замысловатых политических зданий всегда и везде является народная масса и что постоянная заботливость о благосостоянии этой массы составляет первую и самую священную обязанность всякого, кому эта масса своим неутомимым трудом доставила возможность сделаться мыслящим и образованным человеком. Когда эти романы попадаются в руки простому работнику, они внушают ему чувство законного и разумного самоуважения; он видит из них, что ему нет ни малейшей необходимости быть пассивным орудием чужой прихоти и покорным слугою чужих интересов; он видит, что люди той массы, к которой он сам принадлежит, и притом люди самых обыкновенных размеров, способны не только думать по-своему и обсуживать очень благоразумно свои общественные дела, но и влиять на направление народной жизни. Когда француз читает эти романы, они помогают ему ценить и любить в прошедшем своего народа то, что действительно достойно почтительной любви; они учат его гордиться тем, что, по всей справедливости, должно возбуждать гордость умного и честного патриота. Иностранцу эти романы показывают наглядно, в живых образах, то, чего он должен желать и добиваться для своего народа. Словом, кому бы ни попались в руки эти романы, всякого они наведут на такие размышления, которые не останутся бесплодными для его политического развития.

Можно сказать без преувеличения, что романы гг. Эркмана и Шатриана составляют очень удачную попытку популяризировать историю Франции за последние восемьдесят лет, и популяризировать именно так, как должна быть популяризирована история. Из этих романов читатель не узнает конечно, в котором году родился, женился, вступил на престол и умер тот или другой

король или император французов, с кем он воевал и мирился, из-за чего и на каких условиях, по какому поводу и когда он менял своих министров. В этом смысле история достаточно популяризирована в элементарных и дешевых учебниках, и дальше популяризировать ее нельзя и незачем. Но смысл главнейших событий, то зло или то добро, которое они внесли в народную жизнь и которым народ и его друзья должны их поминать, — выясняются этими романами так, как не могли бы их выяснить для массы читателей никакие учебники.

Что попытка популяризировать историю Франции, сделанная господами Эркманом и Шатрианом, не остается бесплодною — это доказывается просто тем числом изданий, которое выдержали многие из их романов. «Тереза» до 1868 года выдержала 13 изданий; «Ватерло» — 17; «Воспоминания рекрута» — 21. Когда книга в три-четыре года выдерживает больше десятка изданий, тогда, очевидно, ее читают все классы общества, читают даже и простые работники, и читают с постоянно возрастающим удовольствием, усердно расхваливая ее друзьям и знакомым, старательно вдумываясь в нее и завязывая и выдерживая по ее поводу горячие и продолжительные прения. Если книга читается таким образом, то, значит, умы читающих людей, в том числе и простых работников, направляются на те предметы, о которых эта книга трактует. А этого последнего условия совершенно достаточно, чтобы романы гг. Эркмана и Шатриана обнаружили все свое образовательное влияние и принесли народному самосознанию всю ту пользу, которую они могут принести.

II

К новому роману гг. Эркмана и Шатриана, к «Истории крестьянина», вполне прилагаются те замечания, которые я высказал до сих пор об их романах вообще. В «Истории крестьянина» наши авторы стараются показать читателю, как жилось, что думалось и чувствовалось во французской деревне в тот знаменательный год, когда правительство Людовика XVI, изнемогая под бременем постоянно возрастающего дефицита, увидело себя принужденным приступить, наконец, к созванию государственных чинов. [2]

В этом романе рассказ ведется от имени старого крестьянина, который был молодым мальчиком в 1789 году, помнит совершенно отчетливо, как жили его родители при господстве старого порядка, и потом видел собственными глазами все фазы политического движения, уничтожившего во Франции все остатки средневекового общественного строя.

Действие романа происходит в Лотарингии, недалеко от города Пфальцбурга. Нашим авторам, повидимому, особенно хорошо знакома эта местность. [3] Имя Пфальцбурга встречается почти

во всех их романах. Гнездо их героев почти всегда находится где-нибудь поблизости этого города. В «Истории крестьянина» есть даже прямое указание на один из прежних романов, на «Юродивого Иегофа», в котором рассказано несколько эпизодов из народной войны против союзников в 1814 году. Деревенский священник, Кристоф Матерн, действующий в «Истории крестьянина», оказывается родным братом Матерна, который в «Юродивом Иегофе» является одним из храбрейших и влиятельнейших волонтеров. То обстоятельство, что почти все романы наших авторов прикреплены к одной местности, дает нам право предположить, что тут очень многие подробности, лица и положения прямо списаны с натуры и что мы имеем перед собою взгляд снизу на исторические события, не сочиненный талантливыми и просвещенными писателями, а просто, в значительной степени, если не вполне, подслушанный на месте и записанный со слов рассказчиков из среды самого народа. Понятно, что это обстоятельство может только увеличить достоинство и усилить занимательность этих романов.

Мишель Бастиан, крестьянин, ведущий рассказ от своего имени, — сын бедного корзинщика, который, вместе с женою, должен кормить шесть человек детей, не имея на это никаких средств, — ни гроша денег, ни клочка земли, ни козы, ни курицы, — ничего, кроме личного труда, обставленного множеством разнообразнейших стеснений и подвергающегося множеству таких же разнообразных поборов и вымогательств.

Изобретательность средневековых властей в деле эксплуатирования простых и беззащитных людей была, как известно, неистощима. Везде, где можно было поставить заставу и при ней посадить караульщика, обязанного брать дань с проходящих и с проезжающих, там эта застава ставилась, и караульщик сажался. Везде, где можно было перехватить по дороге товары, переходящие из рук в руки, и оторвать от них кусочек в виде налога или пошлины, там товары, как бы они ни были скромны, перехватывались, и кусочек отрывался. Везде, где можно было учредить монополию, разорительную для большинства и прибыльную только для самого вельможного учредителя, там монополия была учреждена. Везде, где можно было продать в частные руки какое-нибудь право, существенно необходимое каждому отдельному работнику, там это право было продано, часто за поразительно дешевую цену, жадному и бессовестному откупщику. Накопляясь с течением веков, эти чудеса финансовой гениальности превратились, наконец, в такую чудовищную гору, которая совершенно придавила к земле всю массу трудящегося населения, так что этой массе представилась, наконец, альтернатива или задохнуться под этою горою, или задуматься над вопросом: куда идут деньги, добываемые такими энергическими и разнообразными средствами, и точно ли они идут туда, куда им следует идти.

Задыхаться под горою финансовых чудес — это было самое привычное дело для той массы, о которой рассказывает Мишель Бастиан. Редкий крестьянин мог осенью чувствовать себя уверенным, что ему достанет хлеба до следующей уборки. Редкий работник имел достаточные основания надеяться, что хлеб среди зимы не сделается для него предметом роскоши, совершенно недоступным по своей дороговизне. Зимою три четверти деревенского населения отправлялись побираться. Капуцины и другие нищенствующие монахи жаловались начальству на это беззаконное обилие конкурентов. Начальство, встревоженное неблагообразным развитием нищенства, старалось искоренить зло строгими законодательными и административными мерами. Нищих ловили, сажали в тюрьмы и ссылали на галеры. На нищих делались облавы. Против нищих выводили в поле вооруженные отряды. Но голод был страшнее солдатских штыков и того кнута, под которым работали каторжники, и число нищих росло, несмотря на жалобы капуцинов и циркуляры начальства. К весне, когда съестные припасы истощались во всей стране и когда каждый предусмотрительный домохозяин сокращал поневоле размеры подаяний, тогда многие из уцелевших нищих превращались с голоду в грабителей и бросались на проезжающих.

Начальство высылало войска и потом отправляло на виселицу десятки захваченных преступников. Таким образом, гора финансовых чудес буквально душила людей, доводя их путем нищенства, бродяжничества и преступления до каторги и до виселицы.

Задумываться над вопросом о тех причинах, которым гора финансовых чудес обязана своим существованием и возрастанием, было, конечно, несравненно труднее, чем так или иначе задыхаться под этою горою. Если эта гора своим гнетом делала серьезные размышления абсолютно необходимыми для спасения придавленного народа от одичания и вымирания, то эта же самая гора, тем же своим гнетом, повидимому делала такие размышления совершенно невозможными. В самом деле, разоренному, обобранному, истощенному, голодному и прозябшему человеку, изнемогающему под тяжестью механического и неблагодарного труда, необходимо, более чем всякому другому, вдуматься в свое бедственное положение, обсудить его со всех сторон, изучить пытливым взглядом все особенности окружающих условий, найти выход и немедленно воспользоваться сделанным открытием. Но такой человек, именно потому, что он разорен, обобран, истощен, голоден, дрожит от холода и забит воловьим трудом, — менее всякого другого способен к тем тонким и сложным умственным операциям, для которых требуется спокойствие, досуг, самоуверенность, способность смотреть вперед с сознательною надеждою и относиться к жизни с разумною требовательностью.

Вглядываясь в то положение, до которого были доведены трудящиеся классы французского народа в царствования Людо-

виков XIV, XV и XVI, и принимая в соображение ту общеизвестную истину, что невежество и умственная затхлость являются неразлучными и неизбежными спутниками крайней и безвыходной бедности, — можно было бы подумать, что французскому народу не оставалось в конце прошлого столетия никаких шансов спасения и что он обнаружит совершенное политическое бессмыслие и самую жалкую неспособность позаботиться о самом себе, когда его правительство, разорив его вконец и очутившись перед пустыми денежными сундуками, будет поставлено в необходимость сложить с себя на его плечи всю ответственность за дальнейшее ведение общественных дел. Как и почему разоренный и забитый народ мог в решительную минуту развернуть и несокрушимую энергию, и глубокое понимание своих потребностей и стремлений, и такую силу политического воодушевления, перед которою оказались ничтожными все происки и попытки внешних и внутренних, явных и тайных врагов, как и почему заморенный и невежественный народ сумел и смог подняться на ноги и обновиться радикальным уничтожением всего средневекового беззакония — это, конечно, одна из интереснейших и важнейших задач новой истории. Господа Эркман и Шатриан подходят к этой задаче с той стороны, с какой они могут к ней подойти, оставаясь романистами. Они наводят читателя на поучительные размышления об этой задаче и дают ему любопытные материалы для ее разрешения.

Мишель Бастиан является до некоторой степени представителем всего французского народа. В истории его личности отразилась судьба целой нации. По всем данным, надо было ожидать, что этот Мишель проведет всю свою жизнь в бедности, в грязи, в невежестве, снимая шапку перед каждым встречным барином и даже солдатом, целуя руку у каждого грязного и пьяного капуцина и не имея никаких сознательных политических убеждений, никаких общественных симпатий и антипатий, приобретенных самостоятельным трудом собственной мысли. Между тем на деле оказывается совсем другое. В 1789 году, восемнадцати лет от роду, Мишель читает газеты, интересуется политикой, понимает очень верно, хотя, конечно, в общих чертах, то, чего надо желать народу, принимает близко к сердцу его благо, знает и ненавидит его врагов, знает и любит его друзей, словом, обнаруживает в себе величайшую способность сделаться при сколько-нибудь благоприятных условиях политическим деятелем самого радикального образа мыслей. В совершенной гармонии с политическими убеждениями Мишеля находятся и его собственные, личные, чисто человеческие наклонности и стремления. Свободная мысль и свободное чувство проникают насквозь и облагораживают все его существо. Воспитанный в самой голодной нужде, привыкши слышать с детства, что бедность величайшее зло, а богатство драгоценнейшее благо, бывши с малых лет свидетелем того, как

его отец, за неимением нескольких франков, принужден был пресмыкаться перед бессовестным ростовщиком Робеном, величайшим негодяем во всем околотке, — Мишель, однако же, влюбляется в бедную девушку, отдается всею душою своему чувству и остается совершенно равнодушен к любезностям богатейшей невесты во всей деревне. Получив о пределах родительской власти такие понятия, при которых ему казалось совершенно естественным, что его отец и мать, желая расплатиться с ростовщиком Робеном, продают в рекруты его старшего брата, — Мишель тем не менее решается в том деле, которое ему особенно дорого, действовать по собственному благоусмотрению, прямо, наперекор воле матери, не отступая и не робея даже перед угрозою проклятия. Он останавливает свой выбор на бедной девушке, да вдобавок еще на кальвинистке, то есть именно на той, кого родители его всего менее желали бы сделать своею невесткою. Проникнувшись в родительском доме привычкою благоговеть и трепетать передо всяким начальством, начиная с последнего сторожа и рассыльного, и покоряться беспрекословно всем самым неразумным и явно противозаконным требованиям этого начальства, Мишель в 1789 году оказывается настолько свободным от этой привычки, что грозным выражением своего лица обращает в бегство одного начальника, подошедшего слишком близко к Маргарите Шовель, с целью сделать ей строгое внушение за излишнюю находчивость и неустрашимость.

Какие же обстоятельства, какие же влияния пересоздали внутренний мир Мишеля и дали ему определенные мысли и смелые желания вместо тех изношенных формул трусливой покорности, мелкого корыстолюбия и вялой безнадежности, которые, въевшись в убогие стены его родовой хижины, составляли в течение столетий всю умственную жизнь его несчастных предков, всю их хваленую житейскую мудрость?

Ответ на этот вопрос задуман у наших авторов так умно, что, вглядевшись внимательно в этот ответ, мы будем в состоянии объяснить себе до некоторой степени, каким образом разрешается та важная и интересная историческая задача, на которую было указано выше.

III

Вокруг Мишеля группируются три типические личности, имеющие решительное влияние на его умственное и нравственное развитие: богатый кузнец, он же и деревенский трактирщик, Жан Леру, деревенский священник, Кристоф Матерн, и кальвинист, разносчик книг и газет, Матюрен Шовель. О каждой из этих личностей стоит поговорить подробно.

Жана Леру можно назвать хорошо выбранным представителем той части французской буржуазии, у которой связи с народом

не совсем разорваны и которая в свое время, без ущерба самой себе, оказала народу самые существенные услуги. Жан Леру принадлежит, с одной стороны, к привилегированным классам, потому что он мастер кузнечного цеха, а звание мастера и все связанные с ним выгоды обыкновенно переходили от отца к сыну так точно, как звание и поместья герцога, графа или маркиза. С другой стороны, Жан Леру принадлежит к народу, потому что он не на шутку и не для виду работает у себя в кузнице рядом с своими подмастерьями. У него руки черные и жесткие, как у настоящего ремесленника. По всем своим вкусам и привычкам он стоит гораздо ближе к полуголодным и бесправным рабочим, чем к господам хорошего тона, носящим бархатные кафтаны, шпагу на боку и пудру на голове. Он платит тяжелые налоги, от которых эти господа свободны по праву рождения или умеют освободиться стараниями знатных покровителей. Он принужден сгибаться в дугу перед каждым из тех многих мелких чиновников, к которым господа относятся свысока и которые при каждом удобном случае рады быть покорнейшими слугами этих господ. Он расположен смотреть недоброжелательно на господ с белыми руками и с изящными манерами, во-первых, потому, что он подозревает некоторую связь между белизною их рук и изяществом их манер, с одной стороны, и количеством тех налогов, которыми помрачается его благополучие, с другой стороны, а во-вторых, и потому, что он, совершенно справедливо, предполагает в этих господах всегдашнюю готовность обойтись с ним презрительно, грубо или даже жестоко, как с безответным и бесчувственным *roturier, manant* или *vilain*. *

До поры до времени симпатии Жана Леру принадлежат народу, но будут они ему принадлежать только до тех пор, пока развитие народных прав будет в каком бы то ни было отношении усиливать или упрочивать благосостояние мастеров кузнечного цеха и деревенских трактирщиков. Жан Леру кричит против несправедливостей и желает глубоких и обширных преобразований, но он перестанет кричать и желать в ту блаженную минуту, когда несправедливости перестанут производиться в ущерб ему и когда осуществятся все те преобразования, из которых он может извлечь себе непосредственную личную выгоду. В эту минуту он отодвинет от себя блюдо с дальнейшими преобразованиями, скажет: «я сыт», порешит, что народ тоже сыт и доволен, — и сделается злейшим врагом всякого шума и всяких толков, способных нарушить процесс его здорового пищеварения.

В борьбе народа за свои права и за свое человеческое существование Жан Леру не способен быть ни полководцем, ни солдатом. Но он может принести значительную пользу в качестве трубача, когда это дело не представляет серьезных опасностей

* Разночинец, деревенщина или мужик (*франц.*). — *Ред.*

и хорошо оплачивается деньгами или почетом. Он не способен в минуту общего замешательства сказать во всеуслышание: «вот что надо сделать!» Не способен он также, услышав это вещее слово, броситься вперед с полным самоотвержением и сделать, презирая всякую опасность, то, что соответствует потребностям данного затруднительного положения. Но он может сообразить своим дюжим умом, что вещий голос сказал правду, и у него хватит смелости в ту минуту, когда толпа еще колеблется, крикнуть своим здоровым басом: «да, это точно надо сделать!» Поражая нервы недоумевающей толпы, здоровый бас производит часто гораздо более сильное впечатление, чем умное слово. А когда этот здоровый бас принадлежит человеку с независимым состоянием и с некоторым положением в обществе, тогда он приобретает почти неотразимую убедительность, потому что слушатели предполагают совершенно основательно, что обладатель такого баса, состояния и положения не станет рисковать легкомысленно всеми этими благами и увлекать за собою толпу на очень опасную дорогу. Когда люди вроде Жана Леру решаются крикнуть: «да, это точно надо сделать», тогда они почти наверное могут рассчитывать, что толпа двинется за ними и превознесет их как своих руководителей и благодетелей. Чтобы крикнуть, нужна все-таки некоторая доза смелости, потому что в таких делах шансы неудачи никогда не могут быть вполне предусмотрены и совершенно устранены. Но смелости тут требуется именно столько, сколько требуется ее для того, чтобы пуститься в выгодную спекуляцию. Жан Леру — смелый и неглупый спекулятор. Что бы он ни делал, за какую бы великую и общеполезную работу он ни принимался, он всегда остается спекулятором, и именно в качестве спекулятора он при известных условиях может оказать обществу некоторые услуги.

Следующий эпизод превосходно освещает личность Жана Леру. Разносчик Матюрен Шовель, побывавши в Германии, приносит оттуда картофельные шкурки и рассказывает, что если посеять эти шкурки, то от них родится неслыханное количество питательных и вкусных корней, которые навсегда могут застраховать страну от голода. Шовель сам видел, как картофель, остававшийся до того времени неизвестным во Франции, сеется и родится уже в течение нескольких лет в Германии. Жан Леру давно знает Шовеля и совершенно уверен в том, что Шовель, во-первых, вполне способен подметить и понять те вещи, на которые он обращает внимание, и, во-вторых, совершенно не способен прикрашивать в своем рассказе действительность блестящими вымыслами. Зная, что на слова Шовеля можно полагаться, как на свидетельство собственных чувств, Леру берет у него шкурки, показывает их всем своим соседям и знакомым и советует им посеять их для пробы. Тут он, конечно, поступает не так, как поступил бы жадный барышник. Тот взял бы сразу все шкурки себе и постарался бы

устроить так, чтобы картофель можно было покупать только у него. Но Леру, во-первых, вовсе не желает приобрести себе репутацию барышника, ростовщика и кровопийцы, обращающего себе на пользу общественные бедствия. А во-вторых, для монополизирования картофеля потребовалось бы согласие Шовеля, на которое совершенно невозможно было рассчитывать. Шовель принес из-за границы шкурки собственно для того, чтобы произвести опыт, полезный для страны; он не торговал этими шкурками, а отдавал их даром, потому что у него самого не было ни клочка земли и, стало быть, не на чем было устроить пробный посев. К такому человеку было совершенно неудобно обращаться с предложениями в барышническом вкусе. Кроме того, самая глубокая типическая черта в людях, подобных Жану Леру, состоит именно в том, что они стараются и обыкновенно успевают совместить вещественные выгоды с невещественными. Они не упускают ни одного случая поживиться лишнею копейкою, и в то же время никто о них не говорит и не думает, что они с неприличною жадностью гоняются за этими случаями. Всякий знает, что они своих выгод не теряют из виду и не роняют из рук, но всякий приписывает это обстоятельство скорее силе их ума и мужественной твердости их характера, чем их бездушности и мелкому пристрастию к деньгам. Они богатеют не по дням, а по часам, и в то же время толпа их сограждан относится к их богатству и к их личности с любовью и с уважением, потому что видит в первом, то есть в богатстве, достойную награду добродетелей, украшающих вторую, то есть личность.

Соседи и знакомые, подзадоренные капуцином Бенедиктом, встречают предложение Леру о сеянии картофельных шкурок недоверием и насмешками. Тогда Леру решается взять себе все шкурки и засеять ими весь свой огород. Леру оказывается, таким образом, умнее, предприимчивее и смелее всех своих односельчан, но в сущности чем же он рискует? В случае неудачи он только потеряет те овощи, которые родились бы в этом году у него в огороде, на пространстве четверти десятины. Потеря для него ничтожная, и шансы неудачи до крайности малы, потому что Леру знает хорошо того человека, который рекомендует ему сеяние нового растения. Значит, Леру просто схватывает новое верное средство обогащения, от которого сторонятся его земляки. Схватывая это средство, он обнаруживает несомненно свое умственное превосходство над земляками и оказывает им важную услугу, но чтобы оказать обществу такую услугу, не требуется, очевидно, никаких гражданских и человеческих доблестей.

До начала июня на земле, засеянной шкурками, не показываются ростки. Вера Леру в показания Шовеля начинает колебаться. Ему уже жалко потратить на опыт несколько франков. Он уже подумывает, не засеять ли огород люцерной, чтоб земля не пропадала даром. Ум и характер спекулятора сейчас дают

себя знать, как только спекуляция начинает принимать неблагоприятный оборот.

Однако успех опыта предупреждает бегство спекулятора. Картофель начинает расти, и Леру торжествует. Во время уборки он говорит: «На будущий год надо будет засадить этими корнями мои две десятины на берегу; а остальное мы продадим по хорошей цене: что дают людям за бесценок, того люди и не ценят ни в грош».

Этими словами Леру характеризует себя как нельзя лучше. Картофель будет продан по хорошей цене — значит, интересы кармана соблюдены. Эта продажа по хорошей цене мотивирована удовлетворительно и объясняется человеколюбивым желанием Леру разрушить предрассудки, встретившие первое появление картофеля. Значит, рядом с интересами кармана спасается и слава Леру как просветителя и благодетеля родного края.

В день уборки Жан Леру добродушно говорит Шовелю: «Вы обедаете с нами, Шовель, мы их отведаем, и коли они хороши на вкус, в них будет богатство Барак» (имя деревни). Так бывает всегда и везде, в больших и в малых делах. Жаны Леру, люди, потрудившиеся выслушать чужую мысль и принять к сведению ее достоинства, забирают в свою пользу выгоды и популярность, а Шовели, настоящие изобретатели, притащившие на своих плечах те негодные шкурки, которые превращаются в новый источник народного богатства, Шовели получают радушное приглашение на обед и радуются тому, что чужой картофель уродился превосходно.

История о картофеле кончается тем, что «мастер Леру, которого глупость людей очень рассердила, продал им свои семена очень дорого».

Оказав своим землякам существенную услугу введением картофеля, Леру оказывает им другую, еще более важную услугу, которая также ровно ничего ему не стоит. Когда приходит время выбирать депутатов от деревни, тогда Леру рекомендует избирателям Шовеля, который действительно оказывается превосходнейшим защитником их интересов. Если бы деревня Жана Леру должна была выбирать только одного депутата и если бы Леру в этом случае уступил Шовелю, как достойнейшему, то место, которое предлагалось ему, Жану Леру, — тогда тут была бы по крайней мере с его стороны доблестная победа, одержанная над собственным честолюбием. Но и этого не было. Бараки высылали двоих депутатов; избиратели пришли предлагать Леру первое место и советоваться с ним насчет того, кому дать второе. Леру ответил им, что он принимает звание депутата только с тем непременным условием, чтобы другим депутатом был Шовель, кальвинист, на которого избиратели, добрые католики, смотрели как на человека совершенно невозможного. Поступая таким образом, Леру, во-первых, предписывал законы избирателям, — значит, тешил свое самолюбие, как только это было возможно,

и, во-вторых, обеспечивал себе в собрании деревенских депутатов такого товарища, с которым ему невозможно было стать втупик и осрамиться.

Фигуру Жана Леру можно было бы дополнить множеством мелких черточек, разбросанных в различных местах романа, но я нахожу, что ее основной смысл уже теперь достаточно ясен. Это один из тех людей, которые отлично служат общему делу, когда требования этого дела совпадают с интересами их личного материального благосостояния.

IV

Чтобы читатели сразу поняли личность священника Кристофа Матерна, я приведу довольно большую выписку. Матерн приходит вечером, в проливной дождь, в трактир к своему приятелю, Жану Леру.

— Я из Саверна, — говорит он. — Видел этого знаменитого кардинала де Роган... Боже милостивый! Боже милостивый! И это кардинал, князь церкви!.. Ах, как подумаешь!..

Он негодовал. Вода текла по его щекам на воротник его рясы; он порывисто снял свои брыжи и положил их в карман, прохаживаясь из угла в угол. Мы смотрели на него с изумлением; он как будто не видал нас и говорил с одним мастером Жаном.

— Да, видел я этого князя, — кричал он, — видел этого великого сановника, который обязан нам подавать пример доброй нравственности и всех христианских добродетелей, видел, как он сам правил своими лошадьми и скакал во весь опор по большой саверпской улице, посреди фаянсовой и глиняной посуды, разбросанной по земле, и хохотал, как настоящий безумец. Какой соблазн!..

— Ты знаешь, что Неккера в отставку? — спросил мастер Жан.

— Как не знать! — сказал он с презрительною улыбкою. — При мне ведь настоятели всех эльзасских монастырей — пикпусы, капуцины, кармелиты, барнабиты, все нищие, все босоногие проходили церемониальным маршем через передние его высокопреподобия! Ха, ха, ха!

Он крупными шагами ходил по комнате. Он был в грязи по поясницу, промочен до костей, но он ничего не чувствовал; его большая курчавая голова с проседью вздрагивала; он говорил как будто с самим собою:

— Да, Кристоф, да, вот они князья церкви!.. Поди, попроси монсиньора заступиться за бедного отца семейства; поди, пожалуйся тому, кто должен быть опорою духовенства; поди, скажи ему, что агенты фиска, якобы отыскивая контрабанду, забрались даже в твой священнический дом; что тебе пришлось отдать им ключи от твоего погреба и от твоих шкафов. Скажи ему, что это срам—заставлять гражданина, кто бы он ни был, днем и ночью отворять свою дверь вооруженным людям без мундира, без всякого знака, по чем бы их отличать от разбойников; и этим людям верят в суде на слово! и не позволяется собирать никаких справок о их жизни и нравственности, когда их вводят в должность и доверяют их опасному слову имущество, честь, иногда жизнь других людей! Попробуй, скажи ему, что это дело его чести довести эти справедливые жалобы до подножия престола и заставить выпустить на волю несчастного, засаженного в тюрьму за то, что пристава нашли у него четыре фунта соли... Сунься... сунься... славно тебя примут, Кристоф!

— Но, ради бога, — сказал ему мастер Жан, — что с тобою случилось?

Тогда он остановился на две минуты и сказал:

— Я пошел туда пожаловаться на генеральный обыск, сделанный соляными приставами вчера, в одиннадцать часов вечера, в моей деревне, и на арестование одного из моих прихожан, Якова Баумгартена. Это была моя обязанность. Я думал, что кардинал это поймет; что он сжалится над несчастным отцом семейства, купившим несколько фунтов контрабандной соли, и велит его выпустить. Ну, во-первых, мне пришлось простоять два часа у ворот этого великолепного замка, куда капуцины входили как к себе домой. Они шли поздравлять монсиньора с благополучною сменою Неккера. Потом мне позволили войти в этот Вавилон, где кичливость шелка, золота и камней обнаруживается повсеместно, в живописи и в остальном! Наконец меня там продержали с одиннадцати часов утра до пяти вечера, с двумя бедными священниками с горы. Мы слышали, как хохотали лакеи. Один из них большой, весь в красном, показывался на пороге, смотрел на нас и кричал другим: «поповщина всё тут!» Я терпел... Я хотел пожаловаться монсиньору; вдруг один из этих нахалов приходит и говорит нам, что аудиенции монсиньора отложены на неделю. Мерзавец смеялся.

С этими словами г. священник Кристоф, державший в руках толстую палку, сломал ее, как спичку, и лицо его сделалось ужасно.

— Этой шельме стоило бы надавать пощечин, — сказал мастер Жан.

— Кабы мы были одни, — ответил священник, — я взял бы его за уши и отделал бы. Но там я принес мое унижение в жертву господу.

Он опять стал ходить по комнате. Мы все его жалели. Катерина принесла ему хлеба и вина; он поел стоя, и вдруг гнев его схлынул. Но он сказал такие вещи, которых я никогда не забуду. Он сказал:

— Поругание справедливости повсеместно. Народ все делает, а другие только нахальничают; они попирают ногами все добродетели; они презирают религию. Сын бедняка их защищает; сын бедняка их кормит; и также сын бедняка, вот такой, как я, проповедует уважение к их богатствам, к их почестям и даже к их бесчинствам! Долго ли это протянется? Я не знаю; но всегда продолжаться это не может! это противно природе, это противно воле божией. Это бессовестно — проповедовать уважение к тому, что достойно позора! Это должно кончиться, и в писании ведь сказано: «Кто творит мои заповеди, войдет в мою обитель. Но извержены будут бесстыдные, лжецы, идолослужители: все, кто любит неправду и творит ее».

Кристоф Матерн — один из тех людей, которые могут посвятить всю свою жизнь служению узкой, односторонней идее, но которые во всяком случае вносят глубокую нравственную серьезность во все то, чему они себя посвящают. Матерн может сделаться ретроградом, обскурантом, гонителем и палачом, но, как бы он ни заблуждался, он всегда будет заблуждаться с полною искренностью, постоянно прислушиваясь только к голосу собственной совести. Проповедовать по обязанности службы то, чему он по совести не верит, или то, чему он верит вполовину, играть в жизни какую бы то ни было комедию, лицемерить и тартюфничать он решительно не в состоянии. Ему непонятно, каким образом можно по платью и по титулу быть кардиналом, а по жизни и по привычкам — веселым кутилой. Он принимает серьезно и совершенно буквально те обязанности, которые налагает на человека его звание. От каждого частного явления он требует, чтобы оно приближалось или по крайней мере обнаруживало стремление приблизиться к идеалу. Такие соображения, что идеал слишком высок, что совершенство недостижимо, что дорога

к идеалу усеяна непобедимыми трудностями, что идеал, созданный для другого времени, сделал свое дело и отошел в область истории, — такие соображения для Кристофа Матерна не существуют. У него в основе его мышления и деятельности лежит такое правило: или добросовестно, с напряжением всех сил иди к идеалу, или не смей им прикрываться и во имя его брать с народа десятину и всевозможные пожертвования.

Личный характер Кристофа вполне соответствует его общественному положению. То есть задатки, заключавшиеся в природном складе его ума, более крепкого, чем гибкого, должны были развернуться и закалиться теми отношениями к людям, в которые его поставило звание деревенского священника.

Католическая церковь, как известно, очень рано стала превращаться в политическое учреждение. Папы сначала гнались за недостижимым призраком гильдебрандовской теократии,[4] а потом стали округлять свои владения в Италии. Французская, или галликанская, церковь, желавшая сосредоточить все силы королевства в руках короля, так же точно имела свои *политические* тенденции, обыкновенно шедшие наперекор столь же *политическим* планам пап. Это политическое направление, которое в своей совокупности могло быть совершенно ясно только лицам, высоко поставленным в церкви, всегда возбуждало неудовольствие в людях, искренно и глубоко веровавших, в тех многих людях, которые требовали от пастырей церкви христианских добродетелей, а не административных или дипломатических талантов. Политическое направление, господствовавшее в высших слоях духовенства, никогда не могло проникать собою всю корпорацию сверху донизу. Монахи, образуя из себя строго организованные и отлично дисциплинированные отряды, могли быть послушным орудием в руках своих генералов, посвященных в тайны высшей политики. Но деревенские священники, разбросанные среди светских людей и живущие одною жизнью с своими прихожанами, никак не могли следить за изгибами и поворотами клерикальной политики; теряя способность понимать планы начальства и сознательно сочувствовать ему, относясь к высшим политическим комбинациям почти так, как относились наши становые к запросам статистических комитетов, деревенские священники должны были, смотря по своим личным свойствам, пойти по одному из двух путей — или по пути набивания карманов и желудков, или же по пути деятельного человеколюбия. Священники, пошедшие по этому второму пути, должны были путем своей деятельной и честной жизни возвыситься до очень ясного и верного понимания того идеала, который они имели полное право считать для себя обязательным. Во имя этого идеала они должны были при каждой встрече строго осуждать высших сановников церкви, окунувшихся с головою в темный омут политических интриг. Оппози-

ция незаметно росла таким образом в среде одного из самых привилегированных сословий.

В XVII и XVIII столетиях католицизм начал, сперва понемногу, а потом все быстрей и быстрей, терять свое господство над умами. Ряды католической иерархии стали пополняться людьми, равнодушными ко всякой религии, не имеющими никаких, ни философских, ни политических убеждений, способными только чваниться гербами и предками и усвоившими себе только то правило эпикурейской мудрости, что надо жить, пока живется. В высших сферах католического духовенства стали понемногу утрачиваться даже и та серьезность и деловая озабоченность, которою отличались прежние политические интриганы. Все чаще и чаще стали появляться такие прелаты, у которых в жизни не было никакой другой цели, кроме получения и проживания громадных доходов. Тогда глухой разлад между высшим и низшим духовенством сделался еще более непримиримым; богатые и веселые прелаты, проводящие свою праздную жизнь среди таких же богатых, праздных и веселых аристократов обоего пола, потеряли всякую нравственную связь с бедными, трудящимися священниками, живущими среди бедного, трудящегося народа. Первые стали чувствовать себя прежде всего магнатами, обязанными поддерживать все привилегии, все монополии, все несправедливости старого порядка и противиться всему, что могло подать народу хоть отдаленную надежду на какое бы то ни было облегчение его участи. Вторые также почувствовали себя, наконец, прежде всего детьми бедняков и стали не без удовольствия прислушиваться к тому, что обещало этим беднякам освобождение из работы египетской. Замечая в своем духовном начальстве, при отсутствии всяких христианских добродетелей и всякой нравственной серьезности, холодную и систематическую вражду против еретиков и вольнодумцев, низшее духовенство, в лице лучших своих представителей, познакомилось потихоньку с мыслями этих гонимых людей и убедилось, что эти люди в сущности гораздо более своих гонителей проникнуты духом христианской доктрины.

В «Истории крестьянина» есть одна очень характерная сцена. Кристоф Матерн очень дружелюбно обедает за одним столом с Шовелем, продавцом запрещенных книг и кальвинистом. Входя в комнату, он даже в шутку говорит громовым голосом, что предаст еретиков и злоумышленников в руки правосудия, и, разумеется, этот громовой голос никого не пугает. Жан Леру весело и радушно говорит священнику: «Садись, Кристоф, будем обедать», а Шовель с лукавою улыбкою спрашивает: «Кто ж тогда будет поставлять Жан-Жаков господам горным священникам?» Мы узнаем таким образом, что католический священник водит дружбу с еретиками и читает запрещенные книги свободных мыслителей. И делает он это не по легкомыслию, не по равнодушию к религии, а именно вследствие своего глубокого уважения к основ-

ным принципам той доктрины, которую он проповедует. Как он понимает свои обязанности, как он пользуется удобствами своего положения среди крестьян, это обнаруживается во время того же обеда.

— Слушай, Кристоф, — говорит Жан Леру, окончив суп, — скоро ты у себя в школе учение начнешь?

— Да, Жан, на будущей неделе, — ответил священник. — Я даже затем и отправился; иду в Пфальцбург за бумагой и за книгами. Я было хотел начать 20 сентября, да надо было кончить статую св. Петра для Абершвиллерского прихода; там церковь отстроивается. Я обещал, так хотел сдержать слово.

— А, хорошо!.. Значит, на будущей неделе.

— Да, с понедельника и начнем.

— Ты бы взял этого мальчика, — сказал мой крестный отец (Леру), указывая на меня. — Это мой крестник, сын Жан-Пьера Бастиана. Я уверен, что он с радостью будет учиться.

Услышав это, я весь покраснел от удовольствия, потому что мне уже давно хотелось ходить в школу.

Г. Кристоф повернулся ко мне.

— Ну, — сказал он, кладя свою большую руку ко мне на голову, — взгляни на меня.

Я посмотрел на него помутившимися глазами.

— Тебя как зовут?

— Мишель, г. священник.

— Ну, Мишель, милости просим. Дверь моей школы для всех открыта. Чем больше приходит учеников, тем мне приятнее.

— Чудесно, — вскрикнул Шовель, — такие речи и слушать приятно.

Еретик и католический священник, таким образом, протягивают друг другу руки, когда дело идет о просвещении народа. Точно так же они протягивают друг другу руки и тогда, когда дело идет о возвышении материального благосостояния того же народа. Кристоф попал к Жану Леру на обед в день первой уборки картофеля. Отведав этого нового кушанья, Кристоф говорит:

— Слушайте, Шовель! Вы, тем, что принесли эти шкурки в вашей корзине, а ты, Жан, тем, что посадил их в своей земле, несмотря на насмешки капуцинов и других идиотов, вы больше сделали для нашей страны, чем все монахи трех епископств за целые столетия. Эти коренья будут хлебом бедняков.

Личность Кристофа Матерна никак не может быть признана исключительным явлением. Не мало деревенских священников сидело на левой стороне в Учредительном собрании и потом даже в Национальном конвенте, рядом с самыми искренними и неустрашимыми друзьями народа.

Чем ближе подходила решительная минута, тем теснее становилась связь между лучшими из бедных деревенских священников и лучшими из бедных прихожан.

— Мастер Жан! — говорил Шовель, — чем дальше, тем лучше идут дела; наши бедные приходские священники только и хотят читать, что «Савойского викария» Жан-Жака,[5] каноники, всякие бенефициарии читают

Вольтера; начинают проповедовать любовь к ближнему и сокрушаются о народных бедствиях; собирают деньги на бедных. Во всем Эльзасе и в Лотарингии только и слуху, что о добрых делах. В одном монастыре господин настоятель приказывает осушать пруды, чтобы дать работу крестьянам; в другом — на нынешний год прощают малую десятину; в третьем — раздают порции супа. Лучше поздно, чем никогда! Все добрые мысли приходят к ним сразу. Это люди тонкие, очень тонкие; они видят, что лодка потихоньку идет ко дну. Вот они и припасают себе друзей, чтоб потом было за что уцепиться.

В конце этого монолога Шовель указывает на дело лукавого и корыстного милосердия, вынужденного неопределенным и тоскливым предчувствием надвигающейся грозы. Но в начале речи, где идет дело о бедных приходских священниках, читающих Жан-Жака, мы видим ясное и меткое указание на тот факт, что политический радикализм стал находить себе искренних адептов даже в рядах духовенства.

V

Матюрен Шовель — вполне герой, фанатик общественного блага, человек, не боящийся ни труда, ни лишений, ни опасностей, ни боли, ни смерти. Он ненавидит зло, въевшееся в народную жизнь, такою ненавистью, какою, например, медик может ненавидеть болезнь, подрывающую силы его пациента, или математик может ненавидеть ошибку, вкравшуюся в его вычисление. Понятно, что ни медик с болезнью, ни математик с ошибкою не могут вступать ни в какие переговоры, не могут идти ни на какие сделки, не могут мириться ни на каких взаимных уступках. Понятно, с другой стороны, что ни медик не может чувствовать никакой личной вражды к тем частям тела, к тем органам, в которые засела болезнь, ни математик не может гневаться на те цифры или буквы, в которые закралась ошибка. Понятно также, что медик, в случае надобности, безо всякого зазрения совести и без малейшего колебания, будет действовать на зараженную часть тела острыми кислотами, шпанскими мушками, растравляющими мазями, ляписом, огнем и железом, — и что математик, с невозмутимым спокойствием и с совершенною ясностью духа, проведет мокрою губкою по своей аспидной доске и сотрет без следа те цифры или буквы, которые испортили его вычисление. Медик отказывается от звания медика, когда он перестает вести истребительную борьбу с болезнью; математик перестает быть математиком, когда он отказывается преследовать ошибку в последних ее убежищах. Так точно и Шовель перестал бы быть самим собою, если бы мог отказаться от своей ровной, спокойной, холодной, зоркой и чуткой ненависти к общественному злу.

Вот какие условия сделали его неподкупным и непримиримым врагом средневекового беззакония:

Он никогда не горячился. Я помню, как он часто с большим спокойствием рассказывал о страданиях своих предков: как их выгнали из Ларошели; как у них отняли землю, деньги, дома; как их преследовали по всей Франции, отнимая у них насильно детей, чтобы воспитывать их в католической религии; как впоследствии, в Ликсгейме, на них напускали драгунов, чтобы обращать их в католичество сабельными ударами; как отец убежал в Грауфтальские леса, куда за ним пошли на другой день мать и дети, отказываясь от всего во имя своей религии; как деда отправили на тринадцать лет на дюнкирхенские галеры, где нога у него днем и ночью оставалась прикованною к гребецкой скамье; начальником у них был там настоящий злодей, который бил их так, что многие из этих кальвинистов умирали; а когда происходило сражение, тогда эти несчастные галерники видели, как англичане направляли свои большие орудия, набитые до самого устья, в расстоянии четырех шагов от них, прямо на их скамью. Они это видели и не могли пошевельнуться, и фитиль опускался на затравку! Потом, когда проносились пули, гвозди и картечь, их переломанные ноги отрывались от цепи, их самих бросали в воду и подметали, что оставалось.

Он рассказывал эти вещи, приводившие нас в трепет, растирая себе в ладони понюшку табаку; и его маленькая Маргарита, вся бледная, молча смотрела на него своими большими черными глазами.

Он всегда заканчивал так:

— Да, вот чем Шовели обязаны Бурбонам, великому Людовику XIV и Людовику XV Возлюбленному! Смешная штука — наша история, не правда ли? И я сам, до нынешнего дня, ни на что я не годен; нет у меня гражданского существования. Наш добрый король, как и все другие, вступая на престол, среди своих епископов и архиепископов, поклялся нас истреблять: «Я клянусь, что буду стараться искренно и всеми силами об истреблении на всех подчиненных мне землях всех еретиков, осужденных церковью». Ваши священники, которые ведут списки и должны поступать одинаково со всеми французами, отказываются записывать наши рождения, браки и смерти. Закон запрещает нам быть судьями, советниками, школьными учителями. Мы можем только шататься по свету, как звери; у нас подрезывают заранее все корни, которыми люди прикрепляются к жизни; и, однако, мы не делаем зла, все принуждены признавать нашу честность.

Мастер Жан отвечал:

— Это отвратительно, Шовель; но христианское милосердие?..

— Христианское милосердие!.. Мы ему никогда не изменяли, — говорил он, — к счастью для наших палачей! Если б оно нам изменило!.. Но все выплачивается с процентами на проценты. Надо, чтобы все выплатилось!.. Коли не через год, так через десять лет; а не через десять, так через сто... через тысячу... Все выплатится!

Понятно после этого, что Шовель не удовлетворился бы, как мастер Жан, некоторыми смягчениями, облегчением в налогах, в милиции. Стоило только взглянуть на его бледное лицо, на его маленькие живые черные глаза, на его тонкий горбатый нос, на его тонкие, всегда сжатые губы, на его сухую спину, согнувшуюся под тяжестью тюка, на его маленькие ноги и руки, крепкие, как железные прутья, — стоило только взглянуть на него, чтобы подумать:

«Этот маленький человечек хочет всего или ничего! У него терпения достаточно; он тысячу раз рискнет попасть на галеры, чтобы продавать книги по своим идеям; он ничего не боится, он ничему не доверяет: когда представится случай, не хорошо будет с ним столкнуться! И дочка его уже на него похожа; такая, что переломится, а уж не согнется!»

Я об этом еще не думал — молод был слишком, — но я это чувствовал; я очень уважал отца Шовеля; я всегда снимал перед ним шапку и говорил про себя: «Он хочет добра крестьянам, мы с ним заодно».

Постоянные, многолетние гонения, среди которых прошла жизнь Шовеля, должны были или убить его, или закалить во всех

отношениях. Он занимался таким ремеслом, которое каждый день могло повести его на галеры или даже на виселицу.

— Ба, это все ничего, — говорит он в дружеской беседе Жану Леру, — теперь это одни шутки. Лет десять, пятнадцать тому назад дело другое! Вот тогда меня преследовали, тогда не надо было попадаться с кельнскими или амстердамскими изданиями:[6] я бы одним прыжком очутился из Барак на галерах; а несколькими годами раньше меня бы прямо вздернули. Да, тогда было опасно; а если меня теперь арестуют, так ненадолго; теперь мне не будут ломать руки и ноги, чтобы я выдал моих сообщников.

Для Шовеля не существует ни презрение к работе, ни страх перед работою. Чтобы служить тому делу, которое он любит, он готов, смотря по требованиям данной минуты, браться с одинаковою охотою за самую черную и за самую чистую работу, за самую трудную и за самую легкую, за самую простую и за самую сложную, за самую грубую и за самую тонкую. Когда ему нельзя было пристроиться ни к какому другому делу, он целые десятки лет шатался по городам и селам с сумкою книг и употреблял все силы своего большого и гибкого ума на то, чтобы ускользать от преследований полиции и распространять в массе читающей провинциальной публики сочинения тех мыслителей, которые наложили печать своего влияния на все умственное движение прошлого столетия. Когда его соседи, по рекомендации Жана Леру, выбрали его в депутаты деревни, он принял это звание и на съезде деревенских депутатов повел себя так, что его выбрали в депутаты округа. В окружном собрании он опять так отличился, что его выбрали в депутаты третьего сословия в собрание государственных чинов. И он принял свое новое звание спокойно и с достоинством, как приглашение на важную и трудную работу, на которую он не хотел напрашиваться, которую он не старался отбивать у других, более способных и лучше приготовленных кандидатов, но перед которою он не отступает и не робеет, когда голос его сограждан объявил ему, что он стоит на очереди и что впереди его нет никого. Шовель, понимавший давно, какое значение имеет созвание государственных чинов, становится одним из законодателей Франции так же спокойно, как в древности Цинциннат сделался римским диктатором. Разносчику Шовелю не нужно ничего изменять, подчищать или подкрашивать в своей личности, чтобы сделаться депутатом Шовелем, и депутат Шовель не изменил ни одного оттенка в своих отношениях с теми людьми, с которыми был знаком и близок разносчик. Эта неизменность самого человека при совершенной перемене декораций и положения до такой степени характеризует Шовеля, что дочь Шовеля, шестнадцатилетняя девушка Маргарита, даже не видавшись с отцом после выборов, говорит Мишелю с полным убеждением:

— Как, приедем ли мы? Да что ж мы станем делать, дурачина? Ты разве думаешь, мы там разживемся?

Она смеялась.

— Ну да, мы приедем, и еще беднее теперешнего, поверь! Мы приедем торговать попрежнему, когда права народа будут установлены. Мы приедем, может быть, в нынешнем году, а самое позднее на будущий год.

Шовель так воспитывал свою дочь, которая была его неразлучною спутницею во всех его скитаниях, что ее уже не может ослепить и ей не может вскружить голову никакое земное величие, как бы оно ни было блистательно и неожиданно. Ее отец — избранник народа, выше этой чести она себе ничего не может представить; она плачет от радости; и однако, в минуту величайшего упоения, уезжая из родной деревни в Версаль, она, без малейшей горечи, предвидит совершенно ясно ту минуту, когда они вернутся беднее теперешнего и опять пойдут по проселочным дорогам с тяжелыми тюками книг за спиною.

По этой черте в характере молодой девушки можно судить о личности того человека, который ее сформировал.

VI

Теперь надо рассмотреть, что же именно сделала для Мишеля Бастиана каждая из трех личностей, очерченных на предыдущих страницах.

Жан Леру, крестный отец Мишеля, оказал ему, по своему обыкновению, несколько важных услуг, которые ему, Жану Леру, ровно ничего не стоили. Во-первых, Жан взял к себе в пастухи своего крестника, чуть только последнему минуло восемь лет. Условия были такого рода: Жан кормил Мишеля и давал ему каждый год по паре башмаков. Ночевать Мишель ходил к себе домой. Ясное дело, что Жану это было выгодно. Пастуха все равно надо было бы нанимать, а между тем бедный крестник, считая и чувствуя себя облагодетельствованным, так усердно старался угодить благодетелю, от которого он получал только пищу и пару башмаков, — что в этом отношении с ним, конечно, не мог потягаться наемник.

Во-вторых, Жан доставил Мишелю случай страдать и бороться за дело прогресса и общественного блага. Мишель был еще совсем мальчишка, когда произошла рассказанная выше история с картофельными шкурками. Покуда картофельные ростки не показывались, сверстники Мишеля дразнили его, как слугу полоумного человека, посеявшего какую-то дрянь у себя в огороде. Мишель бил насмешников кнутом; насмешники, в свою очередь, обработывали его общими силами, и Мишель, исполосованный кнутами молодых рутинеров, мог потом предаваться печальным размышлениям о человеческой глупости. Не трудно понять, что эта вторая услуга также ничего не стоила Жану и была оказана им невольно.

В-третьих, Жан, как мы уже видели выше, ввел Мишеля в даровую школу Кристофа Матерна. Эта услуга имела для Мишеля неисчислимые добрые последствия, но она также ровно ничего не стоила Жану Леру.

Кристоф Матерн выучил Мишеля читать и писать. Этим ограничивается его доля влияния, но этого слишком достаточно, чтобы ученик поминал его добром.

Шовель дал Мишелю политическое образование. Мишель сначала слушал с самым жадным вниманием, а потом читал сам, и вслух и про себя, газеты, которые Шовель приносил своему приятелю, Жану Леру. Шовель объяснял часто Мишелю то, чего последний не понимал, Шовель часто говорил о текущих делах то с самим Мишелем, то в присутствии Мишеля с Жаном Леру, и великодушное негодование честного гражданина, горевшее спокойно-неугасимым пламенем в груди Шовеля и звучавшее в ироническом тоне его тихих речей, переходило понемногу во все существо его молодого даровитого и впечатлительного слушателя.

Чтобы дать понятие о том, как говорил Шовель, как просто и ясно он ставил вопросы, как он умел внушать самым неразвитым умам серьезное уважение к основным принципам разумной и честной политики, я приведу здесь его речь, сказанную без приготовления, в трактире Жана Леру, на обеде деревенских избирателей.

Все глаза обратились на Шовеля; все хотели знать, что он ответит. Он сидел спокойно, на почетном месте, бумажный колпак его был прицеплен к спинке стула; щеки его были бледны, губы сжаты, глаза как будто скошены; он, совсем задумавшись, держал свой стакан. Рибопьерское вино, должно быть, пораздражило его, потому что, не отвечая на заздравные клики других, он сказал внятным голосом:

— Да, первый шаг сделан! Но не будем еще петь победу; много нам остается сделать, прежде чем мы воротим себе наши права. Отменение привилегий, подушной, косвенных налогов, соляной подати, внутренних застав, барщины — это уже много значит. Те не сразу выпустят из рук, что держат, нет! они будут бороться, попробуют защищаться против справедливости. Надо будет их принуждать! Они призовут к себе на помощь всех служащих, всех, кто живет своими местами и думает облагородиться. И это, друзья мои, только первый пункт; это еще самая малость; я думаю, что третье сословие выиграет это первое сражение; народ того хочет; народ, на котором лежат эти неправедные тягости, поддержит своих депутатов.

— Да, да, до смерти! — закричали большой Летюмье, Кошар, Гюре, мастер Жан, сжимая кулаки. — Мы выиграем, мы хотим выиграть!..

Шовель не шевелился. Когда они перестали кричать, он продолжал, как будто никто ничего не говорил.

— Мы можем победить в деле обо всех несправедливостях, которые чувствует народ; это — несправедливости слишком вопиющие, слишком ясные; но к чему же это нас поведет, если впоследствии, когда государственные чины будут распущены и деньги на уплату долга доставлены, графы да маркизы опять восстановят свои права и привилегии? Это уже не в первый раз; у нас ведь уж бывали и другие собрания государственных чинов, и все, что они решили в пользу народа, уже давно не существует. После уничтожения привилегий нам нужна такая сила, которая помешала бы их восстановить. Эта сила в народе; она в наших армиях. Надо хотеть не день, не месяц,

не год; надо хотеть всегда. Надо так сделать, чтобы негодяи и мошенники не восстановили медленно, потихоньку, окольными путями того, что опрокинет третье сословие, опираясь на нацию. Надо, чтобы армия была с нами; а чтобы армия была с нами, надо, чтобы последний солдат своим мужеством и умом мог повышаться в чинах и, пожалуй, даже сделаться маршалом и коннетаблем, так точно, как дворяне, понимаете?

— За здоровье Шовеля! — закричал Готье Куртуа.

Теперь мы можем сообразить до некоторой степени, какие влияния подготовили французский народ к его политическому пробуждению.

Во-первых, были низшие слои буржуазии, были люди, которые, подобно Жану Леру, знали жизнь простого работника, понимали его горе и нужду и в то же время могли читать газеты, заглядывать в запрещенные книжки и задумываться над плачевною бестолковщиною текущих событий. Этим людям выгодно и приятно было делиться с своими рабочими плодами своих размышлений, и их фрондерские речи, падая на восприимчивую почву, порождали в ней такой процесс брожения, которого дальнейшее развитие трудно было остановить или предугадать.

Во-вторых, было низшее духовенство, возмущенное безумною роскошью и развратною жизнью прелатов. Оно сближалось с простым народом, учило его грамоте и вносило таким образом в его темную жизнь луч света, который давал ему некоторую возможность со временем осмотреться и распознать добро и зло, друзей и врагов, правду и ложь.

Наконец были Матюрены Шовели, люди разоренные, ожесточенные, измученные нелепостями старого порядка, люди, вредившие этому порядку с настойчивостью, свойственною непримиримым врагам, и с полным знанием всех его слабых сторон.

При таких наставниках французский народ, даровитый и впечатлительный, как юный Мишель Бастиан, не мог остаться неучем и недорослем в политическом отношении.

ПИСЬМО И. С. ТУРГЕНЕВУ

Четверг 18/30 мая 1867 г.

Милостивый государь Иван Сергеевич!

До получения вашего письма я думал, что знакомство наше окончится теми двумя визитами, которые я вам сделал. Ваше письмо было для меня самою приятною неожиданностью. Увидев из этого письма, что вы не забыли и не желаете забывать о моем существовании, я, с своей стороны, с величайшим удовольствием спешу ответить вам. Будет ли продолжаться наша переписка и упрочится ли наше новорожденное знакомство — это уже будет зависеть от вас. Мне было бы очень приятно поговорить с вами очень обстоятельно о причинах нашего разногласия. Такой разговор был бы только продолжением того разговора, который мы вели с вами наедине, в первый вечер нашего знакомства. Я и тогда говорил с вами совершенно откровенно, так точно, как буду говорить теперь, в этом письме. Когда нам придется видеться с вами, и придется ли вообще, об этом я, конечно, ничего не знаю. Вы пишете, что не знаете, когда попадете в Петербург. А я уверен, что очень не скоро попаду, или, еще вероятнее, даже совсем никогда не попаду за границу. [1]

Буду говорить теперь о вашей последней повести. Вы спрашиваете: какое впечатление произвел «Дым» на меня и на мой кружок? Вы, вероятно, удивитесь, если я вам скажу, во-первых, что у меня нет кружка. Я никого не вижу и не знаю из тех людей, которых считают и называют моими последователями. Даже о существовании таких людей я знаю только потому, что о них не раз говорили печатно мои противники. В том журнале, в котором я работал прежде, и в том, в котором я работаю теперь, [2] есть сотрудники, которых я уважаю и которых мнениями я дорожу, — но эти люди разбросаны по разным концам России и Европы, и почти ни с кем из них я даже не нахожусь в переписке. Словом, я стою один и могу поделиться с вами только моим

личным мнением. Так было и прежде. Мое мнение об «Отцах и детях» было также моим личным мнением, с которым, в первое время после появления романа, не соглашался никто из моих сотрудников. [3]

Я, по всей вероятности, не буду писать о «Дыме», по крайней мере теперь. Не буду по двум причинам. Во-первых, мне необходим некоторый простор, чтобы я мог высказать те мысли, на которые меня наводит ваша повесть. А этого простора у меня нет, потому что на моем журнале лежит рука предварительной цензуры. [4] Во-вторых, я нахожу, что об вас надо писать хорошо и увлекательно, или совсем не писать. А я все это время, уже около полугода, чувствую себя неспособным работать так, как работалось прежде, в запертой клетке. Вся моя нервная система потрясена переходом к свободе, и я до сих пор не могу оправиться от этого потрясения. Вы видите сами, как нескладно написано это письмо и как дрожит моя рука. Я подожду писать о «Дыме», пока не буду чувствовать себя спокойнее и крепче. Но я передам вам теперь, насколько сумею, основные черты моего взгляда на вашу повесть. Из этого очерка вы увидите сами, почему мне действительно необходим простор. Сцены у Губарева меня нисколько не огорчают и не раздражают. Есть русская пословица: дураков в алтаре бьют. Вы действуете по этой пословице, и я с своей стороны ничего не могу возразить против такого образа действий. Я сам глубоко ненавижу всех дураков вообще, и особенно глубоко ненавижу тех дураков, которые прикидываются моими друзьями, единомышленниками и союзниками. Далее, я вижу и понимаю, что сцены у Губарева составляют эпизод, пришитый к повести на живую нитку, вероятно для того, чтобы автор, направивший всю силу своего удара направо, не потерял окончательно равновесия и не очутился в несвойственном ему обществе красных демократов. Что удар действительно падает направо, а не налево, на Ратмирова, а не на Губарева, — это поняли даже и сами Ратмировы. [5] При всем том «Дым» меня решительно не удовлетворяет. Он представляется мне странным и зловещим комментарием к «Отцам и детям». У меня шевелится вопрос вроде знаменитого вопроса: «Каин, где брат твой Авель?» — Мне хочется спросить у вас: Иван Сергеевич, куда вы девали Базарова? — Вы смотрите на явления русской жизни глазами Литвинова, вы подводите итоги с его точки зрения, вы его делаете центром и героем романа, а ведь Литвинов — это тот самый друг Аркадий Николаевич, которого Базаров безуспешно просил не говорить красиво. Чтобы осмотреться и ориентироваться, вы становитесь на эту низкую и рыхлую муравьиную кочку, между тем как в вашем распоряжении находится настоящая каланча, которую вы же сами открыли и описали. Что же сделалось с этою каланчой? Куда она девалась? Почему ее нет по крайней мере в числе тех предметов, которые вы описываете с высоты муравьи-

ной кочки? Неужели же вы думаете, что первый и последний Базаров действительно умер в 1859 году от пореза пальца? Или неужели же он с 1859 года успел переродиться в Биндасова? [6] Если же он жив и здоров и остается самим собою, в чем не может быть никакого сомнения, то каким же образом это случилось, что вы его не заметили? Ведь это значит не заметить слона и не заметить его не при первом, а при втором посещении кунсткамеры, что оказывается уже совершенно неправдоподобным. А если вы его заметили и умышленно устранили его при подведении итогов, то, разумеется, вы сами, de propos délibéré, * отняли у этих итогов всякое серьезное значение. Не скрою также от вас, что меня удивила и сильно покоробила в самом конце «Дыма» одна глубоко фальшивая и неожиданно сладкая рулада. [7] Вы, без сомнения, поймете, о чем я говорю. Это, конечно, мелочь, но я решительно не могу себе объяснить, как это вам удалось написать такую странную фразу. Извините меня: в ответ на ваше любезное письмо я написал вам несколько таких вещей, которые, пожалуй, можно принять за дерзости. Я не желал бы, чтобы вы приняли их таким образом. Я старался только сказать вам искренно и добросовестно то, что я думаю. Если вы можете выслушивать такие мнения без раздражения и без огорчения, то знакомство и переписка наши будут продолжаться к нашему обоюдному удовольствию. Si non — non. C'est à prendre ou à laisser. **

С глубочайшим уважением имею честь быть ваш, милостивый государь, покорнейший слуга

Д. Писарев.

* Преднамеренно, с умыслом *(франц.)*. — *Ред.*
** Нет — так нет. Как угодно *(франц.)*. — *Ред.*

ПРИМЕЧАНИЯ



В настоящий том сочинений Д. И. Писарева вошли его статьи, опубликованные с октября 1865 по 1868 г., а также письмо к И. С. Тургеневу от 30 мая 1867 г., имеющее значительный историко-литературный интерес.

МЫСЛЯЩИЙ ПРОЛЕТАРИАТ

Впервые опубликована под названием «Новый тип» в журнале «Русское слово», 1865, кн. 10. Затем вошла в ч. 4 первого издания сочинений (1867), где получила настоящее название.

Текст первого издания содержит некоторые отличия от журнального текста статьи. Здесь приводим наиболее существенные из них.

В журнальном тексте первой главы после абзаца, начинающегося словами: «По мнению Молчалиных и Полониев журналистики и общества» и оканчивающегося словами: «всего хуже и всего глупее объявлен именно этот роман» (см. стр. 8), следовал еще один абзац, посвященный критическим откликам на «Что делать?»:

«Дружный ропот негодования пронесся во всей нашей журналистике, когда роман этот увидел свет. Заговорило все, что могло говорить, * а на противоположной стороне господствовало полное и глубокое молчание. Когда, наконец, через год молчание это нарушилось, «вольные» критики и публицисты могли сказать, что полку их прибыло. Целый год истощалось их остроумие по поводу алюминиевых колонн, нейтральной комнаты, вечных песен Белой Арапии ** и проч. Наконец, истощившись в последнем усилии главы российских казеннокоштных сатириков, оно смолкло окончательно, как будто роман погребен навеки соединенными усилиями вольных писателей».

Ироническое упоминание о *последнем усилии главы российских казеннокоштных сатириков* непосредственно связано с полемикой между «Русским

* Писарев имеет в виду реакционную и либеральную журналистику. — *Ред.*

** О *Белой Арапии* см. прим. 9 к статье «Роман кисейной девушки» в т. 3 данн. изд. — *Ред.*

словом» и «Современником». Это явный (и последний по времени) выпад Писарева в отношении М. Е. Салтыкова-Щедрина. Писарев при этом имеет в виду следующий эпизод. В фельетоне из серии «Наша общественная жизнь» («Современник», 1864, кн. 1), направленном против сотрудников «Русского слова» (см. об этом подробнее в примечаниях к статье «Цветы невинного юмора» в т. 2 данн. изд.), Щедрин, между прочим, писал: «Со временем» зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, что «со временем» милые нигилистки будут бесстрастною рукою рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать «Ни о чем я, Дуня, не тужила» (ибо «со временем», как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет)». * В. А. Зайцев в фельетоне «Глуповцы, попавшие в «Современник» («Русское слово», 1864, кн. 2) обвинил по этому случаю Щедрина в насмешках над романом «Что делать?» и над изображением сцен будущей жизни при социализме в четвертом сне Веры Павловны. Щедрин отвечал на это в очередном фельетоне «Наша общественная жизнь» («Современник», 1864, кн. 3) следующее: «В прошлом году вышел роман «Что делать?», — роман серьезный, проводивший мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указывавший на эти основы. Автор этого романа, без сомнения, обладал своею мыслью вполне, но именно потому-то, что он страстно относился к ней, что он представлял ее себе живою и воплощенною, он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных. Для всякого разумного человека это факт совершенно ясный, и всякий разумный человек, читая упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей. Но вислоухие ** понимают дело иначе; они обходят существенное содержание романа и приударяют насчет подробностей, а из этих подробностей всего более соблазняет их перспектива работать с пением и плясками». ***

Таким образом, в этом месте журнального текста своей статьи Писарев прозрачно напомнил своим читателям о нашумевшем в свое время эпизоде, относящемся к началу полемики с «Современником». Сама аттестация Щедрина как главы *казеннокоштных* сатириков также повторяет выпады в адрес сатирика со стороны «Русского слова», имевшие место в 1864 г. Критики «Русского слова» тогда пытались наложить тень на Щедрина в связи с его службой в качестве вице-губернатора.

Весь этот отрывок чисто полемического свойства был Писаревым, очевидно, изъят при подготовке статьи для первого издания по тем же мотивам, по которым в ч. 4 этого издания не вошла и статья «Посмотрим!» (см. прим. к этой статье в т. 3 данн. изд.), то есть из нежелания повторять в новой обстановке, сложившейся в 1866 г., старые выпады против «Современника» и Салтыкова-Щедрина в частности.

---

* Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VI, М. 1941, стр. 246.

** Имеются в виду Зайцев и другие сотрудники «Русского слова». — *Ред.*

*** См. указ. изд., стр. 326.

Этим же объясняется и сокращение первого предложения следующего абзаца, которое в журнальном тексте звучало так: «И действительно немудрено, что таков был общий голос всех критиков, *от «Развлечения» до «Современника»*. Ироническое сопоставление «Современника» с юмористическим журнальчиком, плоско осмеивавшим роман Чернышевского, также было снято в первом издании.

В той же, первой главе статьи в первом издании сочинений во фразе: «Никогда еще то направление, о котором я упомянул вначале, не заявляло себя на русской почве так решительно и прямо, никогда еще не представлялось оно взорам всех ненавидящих *и клянущих* его так рельефно, так наглядно и ясно» (см. стр. 8) были выпущены слова, данные здесь курсивом. Там же (на стр. 9) в отрывке: «приводят в отчаяние жалких рутинеров, *отвечающих жалкими словами на всякую новую и сильную мысль*» вместо слов, набранных здесь курсивом, в журнальном тексте было: «не имеющих другого возражения, кроме бессмысленного слова «утопия».

В журнальном тексте иначе, чем в первом издании, начиналась гл. VII статьи. «Длинна моя статья, и много в ней цитат, — говорилось там, — и совестно мне утомлять читателя, а все-таки я не решаюсь рассказать конец взятого мною эпизода в коротких словах и не могу отказать себе в удовольствии привести еще несколько выписок. Такой роман, как «Что делать?», составляет небывалое явление в нашей литературе; поневоле приходится писать об нем и критическую статью небывалых размеров. Как, например, пересказать читателю ту сцену, в которой Вера Павловна объявляет Лопухову, что любит Кирсанова? Как передать ту удивительную теплоту и нежность чувства, которую...» (и далее как в тексте первого издания).

В данном случае, подготавливая текст статьи для первого издания, Писарев, очевидно, устранил следы первоначальной, более пространной редакции статьи (см. об этом ниже). Во всяком случае его слова о том, что статья «длинна», что в ней «много цитат», и тем более упоминание о «небывалых размерах» статьи никак не могут быть отнесены ни к журнальному тексту, ни к тексту первого издания, где эта статья имеет размеры, обычные для большей части критических статей Писарева.

В той же главе после предложения: «А кто до этого не додумается и не дочувствуется, тому я объяснять не намерен» (см. стр. 36) в первом издании опущено следующее предложение журнального текста: «С таким читателем рассуждать серьезно не следует». Другие варианты мало существенны. В дополнительном выпуске к шеститомному изданию сочинений Писарева (3-е изд. — СПб. 1913) статья была воспроизведена по журнальному тексту, без учета тех изменений, которые были внесены в текст первого издания. В дальнейшем при ее переизданиях статья воспроизводилась также по тексту дополнительного выпуска.

Как мы уже говорили, изменения, внесенные в текст статьи в первом издании несомненно самим автором (в момент выхода в свет ч. 4 первого издания Писарев уже находился на свободе), вызваны были не опасением цензурных преследований (другие, как раз наиболее опасные в цензурном отношении места статьи не подверглись изменению в первом издании), а иными соображениями, имевшими свое значение для автора статьи. Поэтому в отсту-

пление от сложившейся уже много лет спустя после смерти автора традиции мы воспроизводим здесь в соответствии с общими принципами данного издания статью не по тексту журнала, а по тексту первого издания, как последней прижизненной публикации статьи. Отдельные мелкие погрешности текста первого издания исправлены по тексту «Русского слова».

Статья Писарева о романе «Что делать?» имеет сложную и еще не вполне выясненную историю. В деле Особого присутствия правительствующего сената о П. Баллоде, Д. Писареве и др., хранящемся в Центральном государственном историческом архиве в Москве, имеются сведения о том, что петербургский генерал-губернатор князь Суворов переслал 8 октября 1863 г. на усмотрение сената статью находившегося в заключении Писарева «Мысли о русских романах». Относительно ее сенат 14 октября того же года сообщил Суворову, что «это сочинение, заключающее по преимуществу разбор романа содержащегося под стражею литератора Чернышевского под заглавием «Что делать?» и преисполненное похвал сему сочинению с подробным развитием материалистических и социальных идей, в нем заключающихся, по мнению правительствующего сената, в случае напечатания его, может иметь вредное влияние на молодое поколение, проникнутое этими идеями». Впрочем, в заключении сената указывалось, что «предмет этот подлежит рассмотрению цензуры».

Суворов после столь явно выраженного мнения сената о статье обратился с секретным письмом к министру внутренних дел П. А. Валуеву, в котором сообщал последнему о мнении сената. Вслед за тем последовала резолюция Валуева: «теперь же предварить цензоров конфиденциально». Рукопись статьи была возвращена Суворовым автору (М. К. Лемке, Политические процессы в России 1860 гг., изд. 2, М.—Л. 1923, стр. 576).

Рукопись этой ранней статьи не сохранилась, и судить о ее содержании в целом и об отношении ее к позднейшей статье 1865 г. не представляется возможным. Из отзыва сената и из самого названия ее ясно лишь, что статья «Мысли о новых романах», содержавшая «по преимуществу» разбор романа Чернышевского, очевидно, вместе с тем касалась и других произведений, чего нет в статье 1865 г. (если не считать сопоставления Рахметова с Базаровым). Но общее направление статьи, как явствует из того же отзыва сената, совпадало с направлением статьи 1865 г.

Таким образом, Писарев, чрезвычайно высоко оценивший роман Чернышевского, откликнулся на него большой статьей вскоре же после опубликования романа в кн. 3—5 журнала «Современник» за 1863 г.

Возможность опубликовать статью о романе Чернышевского представилась лишь два года спустя, когда журнал «Русское слово» выходил без предварительной цензуры. Насколько при этом был использован или насколько изменен текст статьи «Мысли о русских романах» судить трудно. Однако статья эта была во всяком случае сокращена (см. выше наши указания на след такого сокращения в журнальном тексте 1865 г.).

Опубликование в журнале статьи «Новый тип» сразу же навлекло на журнал серьезные цензурные преследования. За статью Писарева «Русское слово» получило 20 декабря 1865 г. первое предостережение со стороны карательной цензуры. На этом настаивал в своем отзыве о кн. 10 «Русского слова» за 1865 г. И. А. Гончаров, бывший тогда цензором. Он называл статью

Писарева «поразительным образцом крайнего злоупотребления ума и дарования», «буйно младенческим лепетом» (см. статью В. Е. Евгеньева-Максимова «Д. И. Писарев и охранители» — «Голос минувшего», 1919, № 1—4). В предостережении указывалось, что автор «отвергает понятие о браке» и «проводит теории социализма и коммунизма», со ссылкой на стр. 4, 8, 10, 13 и 26 журнального текста (см. стр. 9, 12—13, 14, 16—17 и 26—27 данн. тома). Опубликование статьи под новым названием «Мыслящий пролетариат» (об истории этого названия см. т. 3 данн. изд., стр. 529—530) в ч. 4 первого издания сочинений не вызвало цензурного преследования, очевидно потому, что, находясь под впечатлением не вполне удачного для цензуры хода судебного преследования ч. 2 этого же издания (см. об этом данн. изд., т. 2, стр. 402) и не надеясь на успех, цензура не решилась начинать новое судебное преследование. Зато выход в свет ч. 4 во втором издании (1872) дал новый повод для цензурных гонений. Воспользовавшись реакционным законом по делам печати от 7 июня 1872 г. комитет министров своим решением 22 сентября 1873 г. запретил выход в свет этой части сочинений. Цензор де Роберти в своем отзыве на второе издание ч. 4 сочинений писал, что «разбирая роман Чернышевского «Что делать?», автор статьи рисует тип «новых людей — нигилистов»... выставляя его в самом выгодном свете в противоположность тупоумным, невежественным «наставникам» — этим Молчалиным и Полониям журналистики и общества, которых кормит и греет рутина и под которыми автор, очевидно, разумеет представителей консервативного направления». Далее, указав на то, что роман Чернышевского прославляет деятельность «людей, обрекающих себя на самоотверженное служение народу и предводительство массами в их попытках изменить гнетущий порядок общественного устройства» и что это направление романа и судьба его автора «привлекли сочувствие молодого поколения и прозелитов новой доктрине, враждебной существующему общественному порядку», де Роберти заключает свой отзыв указанием на то, что статья Писарева «служит восторженною рекламою этого романа» и что критик «превозносит талант автора романа, признает безусловную справедливость его воззрений, объясняет их и подкрепляет собственными рассуждениями». В дальнейшем статья «Мыслящий пролетариат» долго не могла увидеть свет. Лишь после революции 1905 г. она вошла в дополнительный выпуск к шеститомному собранию сочинений Писарева в издании Ф. Павленкова. Так царская цензура расправлялась с одной из наиболее выдающихся критических статей Писарева.

[1] Слово *светобоязнь* здесь употреблено в эзоповском смысле; речь идет о реакционных писателях, враждебных в отношении передовых демократических идей. Ср. характерное для демократической журналистики после статьи Добролюбова употребление выражения «луч света» в иносказательном смысле.

[2] Писарев приводит здесь несколько характерных выпадов по адресу революционно-демократического направления, имевших место в реакционных и либеральных журналах за 1861—1863 гг. — Так, в *невежестве*, в *деспотизме мысли*, в *глумлении над наукою* революционно-демократическую журналистику обвинял Катков в «Русском вестнике» (например, в статье «Виды на entente cordiale с «Современником» — кн. 7 журнала за 1861 г.),

А. К. (А. А Котляревский) в статейке «Жертвы «Современника», опубликованной в «Московских ведомостях» от 17 сентября 1861 г. и др. — *...их называли... свистунами... мальчишками...* — См. прим. 23 и 25 к статье «Схоластика XIX века» (данн. изд., т. 1). — *...для них придумано слово «свистопляска»...* — См. прим. 57 к той же статье. — *...они причислены к «литературному казачеству»...* — Во «Вступительной лекции по государственному праву, читанной в Московском университете», которая была опубликована в газете «Московские ведомости» от 31 октября 1861 г., № 238 (см. о ней в прим. 28 к статье «Прогулка по садам российской словесности» в т. 3 данн. изд.), Б. Н. Чичерин, характеризуя с реакционных позиций демократическую мысль, писал о «полной анархии умов, шатающихся из стороны в сторону и хватающихся за самые крайние мнения», о «буйном разгуле мысли», «умственном и литературном казачестве». Эти же выпады он повторял и в своих статьях, публиковавшихся в газете «Наше время» за 1862 г. (например, в статье «Что такое охранительные начала?», № 39, от 22 февраля). — *...им же приписаны сооружение «бомбы отрицания» и «калмыцкие набеги на науку».* — В кн. 3 «Отечественных записок» за 1863 г. (в «Современной хронике России») С. С. Громека утверждал, что демократическая журналистика своим «отрицанием» якобы внесла разлад в общество и тем способствовала усилению реакции. Прибегая к «цветам» пустого либерального красноречия, Громека изображал дело так, будто бы вся журналистика атаковала «осажденных» крепостников, но в это время «упала со свистом и шумом бомба отрицания» и ее «первые осколки посыпались на лагерь осаждавших», а «осажденные обрадовались и вздохнули свободнее» (стр. 9).

[3] *Полоний* —действующее лицо трагедии Шекспира «Гамлет».

[4] *Строгая и несправедливая рецензия* — статья М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени» («Современник», 1862, кн. 3), заключавшая резкую и пристрастную оценку романа Тургенева «Отцы и дети».

[5] *Лорд-канцлер Великобритании, сидящий на шерстяном мешке...* — Лорд-канцлер — одно из высших должностных лиц в Англии, председатель палаты лордов, выполняющий также функции министра юстиции. По традиции лорд-канцлер сидит в палате лордов на обтянутом кожей мешке с шерстью.

[6] *...Гарибальди... раненный при Аспромонте итальянскою пулею...* — См. прим. 25 к статье «Реалисты» (данн. изд., т. 3).

[7] Свободная передача слов Гоголя из гл. VI т. I «Мертвых душ».

[8] *Неделимое* — см. прим. 7 к статье «Идеализм Платона» (данн. изд., т. 1).

[9] Сочинение Г. Гейне «Людвиг Бёрне» (1840).

[10] В казенно-монархическом учебнике Смарагдова «Краткое начертание всеобщей истории» злодеями, извергами и т. д. именовались Робеспьер, Марат и другие якобинцы.

ПОДРАСТАЮЩАЯ ГУМАННОСТЬ

Впервые опубликована в журнале «Русское слово», 1865, кн. 12, под названием «Сельские картины»; там статья подписана псевдонимом Писарева: Д. Рагодин. Затем вошла в ч. 4 первого издания сочинений (1867),

где получила ироническое по отношению к представителям дворянского либерализма, разоблачаемым в статье, заглавие: «Подрастающая гуманность» (с сохранением журнального названия в качестве подзаголовка). Отличия текста первого издания от журнального текста относительно невелики и сводятся по преимуществу к небольшим пропускам, имевшим место в первом издании. Так, в гл. I после слов: «зная очень хорошо, кого он надувает» в журнале было еще: «и зачем надувает» (см. стр. 51 данн. тома); в гл. V вместо: «обязанности, которые налагает на них принцип труда» (стр. 68) было: «обязанности, которые налагает на них принцип вольнонаемного труда»; в гл. VII (стр. 83) после слов: «И пшенице господской из-за этого мокнуть — ха, ха, ха!» было еще: «и доходам господским из-за этого уменьшаться — ха, ха, ха!». Здесь статья воспроизводится по первому изданию сочинений с исправлением нескольких явных корректурных искажений по тексту журнала.

Роман В. А. Слепцова «Трудное время», одно из лучших произведений демократической литературы 1860 гг., появился впервые в журнале «Современник» (1865, кн. 4—5 и 7—8) и сразу же привлек Писарева ярким образом демократа Рязанова и остротою изображенных в романе идейных и социальных конфликтов. Уже в редакционном примечании к статье «Посмотрим!», опубликованной в «Русском слове» в сентябре 1865 г., говорилось о намерении журнала «поговорить в особой статье» о «Трудном времени». Статья Писарева обратила на себя внимание царской цензуры. Представляя отзыв о втором издании ч. 4 сочинений (1872), цензор де Роберти писал о том, что автор статьи «старается доказать, что при настоящих экономических условиях можно быть или эксплуататором чужого труда, или подвергаться эксплуатации других и что никакие либеральные и гуманные нововведения не могут ничего изменить без коренного изменения всего экономического строя по идеям новых людей» (цит. по статье В. Е. Евгеньева-Максимова «Д. И. Писарев и охранители» — «Голос минувшего», 1919, № 1—4, стр. 157). По этому отзыву ч. 4 второго издания сочинений была запрещена к выходу в свет.

По данным В. Г. Карасева («Д. И. Писарев и Светозар Маркович»; «Кратк. сообщ. Института славяноведения», вып. 9, М. 1952), в переводе последней части статьи «Подрастающая гуманность» на сербский язык, опубликованном в одной из книжек серии «Мала библиотека», выходившей в Новом Саде в 1877 г. (перевод назван там «Разговор с либералом»), имеется следующее окончание, отсутствующее как в журнальном русском тексте, так и в тексте первого издания:

«В заключение запомните следующую простую истину: будете ли вы хорошим или плохим, вам, как вы могли видеть, не будет добра. Если вы будете хорошим, вас разорят работники, если вы будете плохим, то вы доведете их до разорения. Ни то, ни другое вам не нравится, и вы не можете понять, отчего это происходит. Между тем причина этого чрезвычайно проста: вы хотели бы, чтобы вы оставались «господином», а работники ваши — «слугами», чтобы вы получали доход, не работая. Полно, откажитесь от господства, работайте сами, и вы увидите, что не произойдет никакой беды. Попробуйте... Но куда уж вам пробовать! Вы предпочитаете жить «по-старому». Идите и живите в довольстве по-старому. Есть люди иного склада, которые разрушат это «старое» и которые достаточно сильны, чтобы не искать вашей помощи».

Принадлежит ли это окончание статьи самому Писареву, или переводчик добавил эти рассуждения, являющиеся логическим выводом из всего предшествующего изложения статьи, решить за отсутствием рукописи статьи представляется невозможным.

[1] *...как доказал г. Антонович...* — Имеется в виду одно место из статьи М. А. Антоновича «Современная эстетическая теория» («Современник», 1865, кн. 3). См. критические замечания Писарева по поводу этого в статье «Разрушение эстетики» (данн. изд., т. 3, стр. 508—510), а также примечания к этой статье. — *...мы вообще не созрели...* — См. прим. 11 к статье «Бедная русская мысль» (данн. изд., т. 2).

[2] *Чиновник 15-го класса*, то есть представитель наиболее обездоленных и бесправных слоев царской России. По табели о рангах чиновники делились на 14 классов, из которых четырнадцатый соответствовал наиболее мелким должностям.

[3] *Moral restraint* — см. прим. 35 к статье «Прогулка по садам российской словесности» (данн. изд., т. 3).

[4] *«Московские ведомости»* — см. прим. 28 к статье «Наша университетская наука» (данн. изд., т. 2).

[5] *Камералисты* — см. прим. 13 к статье «Наша университетская наука».

[6] *... подняться в третий этаж...*—В здании Петербургского университета на третьем этаже в то время находился восточный факультет.

ПОГИБШИЕ И ПОГИБАЮЩИЕ

Впервые напечатана в сборнике «Луч», т. I (СПб. 1866), изданном Г. Е. Благосветловым после закрытия журнала «Русское слово». Затем вошла в ч. 5 первого издания сочинений (1866). Расхождений между текстом этих двух публикаций нет. Здесь воспроизводится по тексту первого издания сочинений с исправлением ряда его мелких погрешностей.

При опубликовании статьи в ч. 5 первого издания она обратила на себя внимание цензуры. В отношении цензурного комитета в Главное управление по делам печати, составленном на основании доклада просматривавшего ч. 5 сочинений цензора Загибенина, говорилось по этому поводу: «В последней, четвертой статье «Погибшие и погибающие» автор проводит сравнительную параллель между русскою школою и русским острогом и берет для этой цели два сочинения: «Записки из мертвого дома» Достоевского и «Бурсацкие типы» Помяловского; сопоставление выписок из этих двух уже напечатанных с дозволения цензуры сочинений и представляет наиболее резкие места в статье г. Писарева. Сравнивая обязательную работу каторжников с обязательным учением в семинариях, статья говорит, что занятия бурсаков, как две капли воды (стр. 214), похожи на обязательную работу каторжников, но еще превосходят эту работу по своей бесцельности и бесполезности. По мучительности своей ученая бурсацкая работа (стр. 217) далеко превосходит работу арестантов. Другая сходная черта бурсы и мертвого

дома, по мнению автора, состоит (стр. 219) * в мизерности того содержания, которое получают обитатели этих двух одинаково воспитательных и одинаково карательных заведений. Но и здесь доказывается, что пища и содержание бурсаков хуже и недостаточнее, чем содержание арестантов на каторге» (цит. по статье В. Е. Евгеньева-Максимова «Д. И. Писарев и охранители» — «Голос минувшего», 1919, № 1—4, стр. 149).

Далее в докладе указывалось, что статья, «обличающая злоупотребления администрации духовно-учебных заведений», «может быть сочтена духовным ведомством для него оскорбительною». Цензурный комитет, однако, сам не находил достаточных оснований для начала судебного преследования ч. 5 сочинений и передавал решение этого вопроса на усмотрение Главного управления, которое также согласилось с этим мнением. Внимание цензора остановила на себе по преимуществу обличительная сторона статьи. Но статья Писарева имела гораздо большее обобщающее значение. Сравнительный анализ бурсы и острога служит здесь средством для вынесения решительного приговора всей системе физического и духовного закабаления народных сил. Как материалист, Писарев одним из основных положений статьи делает тезис о том, что направление деятельности человека, судьба отдельной личности определяется всей обстановкой его жизни, всем характером его воспитания и дальнейшего развития, условиями труда и быта. С глубокой симпатией следит он за теми проблесками сознания и духовной независимости, за теми проявлениями стихийного протеста против социального гнета, которые являются в лучших, наиболее сильных представителях бурсы и мертвого дома.

«Записки из мертвого дома» цитируются в статье Писарева по изд. А. Ф. Базунова (СПб. 1862, 2 части), а «Очерки бурсы» — по изд.: «Повести, рассказы и очерки Н. Г. Помяловского», т. II, СПб. 1865.

[1] *Английские workhouses* (работные дома) — существовавшие в Англии приюты для бедных. Условия жизни и работы в них были ярко охарактеризованы К. Марксом и Ф. Энгельсом. Вот что, например, писал о них Энгельс в своей работе «Положение рабочего класса в Англии»: «...эти работные дома (workhouses), или, как народ их называет, бастилии для бедных (poor-law-bastilles), устроены так, чтобы отпугнуть от себя каждого, у кого осталась хоть малейшая надежда прожить без этой формы общественной благотворительности. Для того чтобы человек обращался в кассу для бедных только в самых крайних случаях, чтобы он прибегал к ней, только исчерпав все возможности обойтись собственными силами, работный дом превратили в самое отвратительное местопребывание, какое только может придумать утонченная фантазия мальтузианца. Питание в нем хуже, чем питание самых бедных рабочих, а работа тяжелее: ведь иначе рабочие предпочли бы пребывание в работном доме своему жалкому существованию вне его... Даже в тюрьмах питание в среднем лучше, так что обитатели работного дома часто нарочно совершают какой-нибудь проступок, чтобы только попасть в тюрьму. Ведь работный дом — та же тюрьма» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 2, М. 1955, стр. 507). В 1834 г. английский парламент принял

* См. указанные места на стр. 89, 92 и 94 данн. тома. — *Ред.*

закон о бедных, по которому все пособия деньгами или продуктами для обращающихся за общественной помощью были отменены, и допускалась только одна форма помощи — помещение в работные дома.

[2] Такие *упреки* делались Писареву в статье М. А. Антоновича «Промахи» («Современник», 1865, кн. 4). Полемизируя с Писаревым по поводу его взгляда на Катерину из «Грозы» Островского и защищая взгляд на нее Добролюбова, Антонович особенно осуждал Писарева за то, что он принижает Катерину, так как она не имеет «развитого ума». «Вообще, г. Писарев, — говорилось там, — знайте навсегда, что люди простые, с неразвитым умом, не знающие ни Бокля, ни электричества, так же сильно и болезненно чувствуют гнет семейного и всякого самодурства и так же способны протестовать против него, как и те развитые умы, которые постоянно бредят о Бокле, стоят выше всяких предрассудков и знают естественные науки; они, может быть, даже сильнее последних чувствуют и протестуют; потому что последние часто ограничивают свой протест только фразами, а когда дело дойдет до дела, то они и на попятный двор. Не кичитесь, г. Писарев, перед теми, которые не знают ничего из того, что так красноречиво излагается в ваших статьях, которые ни слова не слыхивали ни о Бокле, ни о реализме; эти люди тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, и они способны страдать от всякого гнета и по-своему протестовать против причины их страдания» (стр. 287).

[3] *...ими не совсем доволен был г. Иван Аксаков...*— И. С. Аксаков писал о недостатках семинарий и воспитания в них духовенства в своей газете «День». Так в номере от 11 июля 1864 г. говорилось о «том официальном, казенном характере» семинарий, «который душит свободное, благое развитие мысли и сердца и губит, нередко в самом начале, столько дарований и прекрасных наклонностей». Эта критика недостатков духовного образования велась Аксаковым с позиций защиты православия.

ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ДОКТРИН

Впервые опубликована под псевдонимом «Д. Рагодин» в учено-литературном сборнике «Луч», т. I (СПб. 1866), выпущенном Г. Е. Благосветловым вместо закрытого по распоряжению правительства журнала «Русское слово». Затем вошла в ч. 10 первого издания сочинений (1869). Каких-либо существенных расхождений между этими публикациями нет. Здесь воспроизводится по тексту первого издания с исправлением его погрешностей.

И. А. Гончаров, давший в качестве цензора отзыв о сборнике «Луч», обрушился на статью Писарева, обвиняя ее автора в «недостатке исторического беспристрастия и в озлоблении, с которым он относится к роялизму». Однако цензурного преследования статьи за этим не последовало. (См. статью В. Е. Евгеньева-Максимова о Гончарове-цензоре в «Голосе минувшего», 1916, № 11—12.)

[1] «*Времена метафизической аргументации*» — так были названы последние (17—24-я) главы работы Писарева «Исторические идеи Огюста Конта»,

помещенные в кн. 1 «Русского слова» за 1866 г. Опубликование в кн. 11 журнала за 1865 г. третьей части работы «Исторические идеи Огюста Конта» повлекло за собою второе предостережение журналу со стороны карательной цензуры; автор статьи обвинялся в «стремлении колебать авторитет христианской религии». Естественно, что продолжение статьи уже не могло появиться в журнале под прежним названием. Статья «Популяризаторы отрицательных доктрин» также явилась как бы продолжением и развитием последних разделов этой большой работы Писарева.

[2] Имеется в виду известное изречение, приписываемое Людовику XIV: «Государство — это я». — *Парламентами* во Франции во времена сословной монархии назывались верховные суды, образованные, начиная с XIII в., в Париже и затем в четырнадцати других провинциях. Парижский парламент, в функции которого входила регистрация королевских указов и наблюдение за правильностью законодательства, играл наиболее важную роль. Он неоднократно пытался вступать в оппозицию к королевской власти, за что так же неоднократно распускался по приказу королей. Парламенты, как особые привилегированные учреждения, были упразднены декретом 1790 г. во время буржуазной революции.

[3] *Галликанская церковь* — в феодальной Франции стремилась утвердить независимость высшего французского духовенства от папской власти. Вместе с тем, отстаивая раздельность светской и духовной власти и отрицая тезис папства о господстве духовной власти над светской, галликанская церковь поддерживала французский абсолютизм. Решение собора галликанского духовенства в 1682 г. утверждало, что король не может быть низложен папой, а власть короля является неограниченной.

[4] *Интенданты* — во Франции до революции конца XVIII в. должностные лица, стоявшие во главе провинций и ведавшие финансами, судом и полицией. — *Генеральные откупщики* — крупные финансисты, которые покупали в абсолютистской Франции право получать государственные доходы. Жестокость и произвол, с которыми они собирали подати, вызвали ненависть народных масс. Во время революции система откупов была упразднена.

[5] *Драгоннады* — постои драгун в домах гугенотов, усиленно практиковавшиеся в царствование Людовика XIV, особенно после 1685 г. Во время этих постоев драгуны творили всякие бесчинства и притеснения гугенотов с целью принудить последних перейти в католичество. Прекратились в начале XVIII в.

[6] Здесь и далее Писарев цитирует книгу английского буржуазного историка-позитивиста Г. Бокля «История цивилизации в Англии» в переводе К. Бестужева-Рюмина и Н. Тиблена, 2 изд., СПб. 1864.

[7] *Пресвитерианцы* (пресвитериане) — представители протестантской (кальвинистской) церкви в Шотландии и Англии. Играли активную роль в политической борьбе Англии во время буржуазной революции XVII в., представляя интересы крупной буржуазии. После реставрации Стюартов, при Карле II, пресвитериане подвергались преследованиям. Особенно сильными были эти преследования в Шотландии, где с 1681 г. стал наместником будущий король Яков II Стюарт.

*

[8] *Нантский эдикт* — постановление французского короля Генриха IV, изданное в Нанте в 1598 г. Издание эдикта знаменовало окончание гугенотских войн. По этому акту гугеноты получили свободу вероисповедания и отправления церковной службы, а также различные политические права. В ходе дальнейшего укрепления королевской власти эти права постепенно отнимались и, наконец, в 1685 г. Нантский эдикт был отменен Людовиком XIV, после чего начались ожесточенные преследования гугенотов (так называемые драгоннады — см. прим. 4).

[9] Здесь и далее Писарев цитирует книгу Г. Геттнера «История всеобщей литературы XVIII в.» (т. II. Французская литература; русск. пер. А. Н. Пыпина, СПб. 1865).

[10] *Rome* — Рим как центр католицизма; *Genève* — Женева, являвшаяся центром кальвинизма, одного из основных течений протестантизма.

[11] История этого заключения Вольтера в Бастилию вкратце такова. На обеде у герцога де Сюлли он был оскорблен одним из светских шалопаев — де Роганом. Разгневанный Вольтер отвечал на оскорбление язвительной колкостью. Кавалер де Роган задумал тогда варварскую месть. Он велел слугам поймать Вольтера на одной из парижских улиц и избить его. Вольтер после этого вызвал кавалера на дуэль. Так как это не входило в расчеты аристократа, то он интригами добился приказа, по которому Вольтер был заключен в Бастилию, а затем выслан из Франции.

[12] Наименование одной из должностей при дворе французского короля; обладание этим титулом было связано с рядом привилегий.

[13] *Lettre de cachet* — см. прим. 17 к статье «Бедная русская мысль» в т. 2 данн. изд.

[14] *Пенитенциарная тюрьма* — см. прим. 51 к статье «Реалисты» в т. 3 данн. изд.

[15] *Маркиз Поза* — действующее лицо из трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос».

[16] *Супранатурализм*—см. прим. 11 к статье «Посмотрим!» в т. 3 данн. изд.

[17] *Молох* — по мифологии финикиян и карфагенян божество солнца, которому приносились человеческие жертвы. — *Шива* — в мифологической системе индуизма — бог разрушения и созидания.

[18] Изречение, принадлежащее одному из «отцов церкви» Тертуллиану (ок. 150 — ок. 222 н. э.).

[19] *Геркулесовы столбы* (столпы) — название Гибралтарского пролива у древних греков. Здесь *миновать... Геркулесовы столбы* в образном смысле: преодолеть всяческие препятствия.

[20] Отрывки из этого трактата и материалы, связанные с процессами, о которых говорится далее, см. в книге: Вольтер, Избранные произведения по уголовному праву и процессу, М. 1956.

[21] *Мопу*—канцлер при Людовике XV, в 1771 г., вступив в борьбу с парламентами (см. прим. 2), подверг аресту всех членов Парижского парламента за оппозицию королевской власти и произвел реорганизацию и смену состава этого учреждения. В 1774 г. Людовиком XVI, только что вступившим на престол, Мопу была дана отставка, а меры, принятые им, отменены.

[22] *«Энциклопедия»* (полное наименование: «Энциклопедия, или системати-

ческий словарь наук, искусств и ремесел»)—многотомное издание (17 основных томов, 5 тт. дополнений, 11 тт. чертежей и гравюр и 2 тт. указателей), выходившее в 1751—1780 гг. в Париже и Амстердаме под руководством Дидро и Д'Аламбера. Издание «Энциклопедии» представляло собою крупнейший факт в истории идейной борьбы во Франции перед буржуазной революцией. Сотрудниками «Энциклопедии» были Вольтер, Гельвеций, Гольбах, Кондильяк, Руссо, виднейшие ученые того времени, в частности Бюффон. Несмотря на то, что философские и политические взгляды участников издания были далеко не одинаковы, в «Энциклопедии» нашла широкое отражение борьба передовых сил французского общества против феодального строя, сословных привилегий дворянства и духовенства, против схоластики, господства католицизма, религиозной нетерпимости и т. д. В статьях Дидро, Гельвеция, Гольбаха и др. нашли свое выражение идеи материализма. Подвергая критике основные устои феодального общества, «Энциклопедия» в своих статьях давала изложение прогрессивного в то время буржуазного мировоззрения. Большое значение имело и то, что в «Энциклопедии» были с большой широтою даны сведения из различных областей науки; техники, производства и т. д.

[23] *Янсенисты* — приверженцы религиозной секты, образовавшейся в первой половине XVII в. (название получили по имени одного из ее основателей— голландца Корнелия Янсения (1585—1638). Янсенисты были сторонниками реформации католической церкви и подвергались в XVII—XVIII вв. преследованиям со стороны иезуитов и католической иерархии.

[24] *«Екклезиаст»* — одна из книг библии, проникнутая пессимизмом и разочарованием.

[25] Отношение Писарева к выдающемуся представителю французского просвещения XVIII в. Жан-Жаку Руссо резко отлично от оценки деятельности Руссо со стороны Чернышевского. В работе «Антропологический принцип в философии» Чернышевский определил Руссо как «революционного демократа». Неоднократно останавливаясь на противоречиях характера и взглядов Руссо, Чернышевский вместе с тем постоянно подчеркивал сильные стороны его как мыслителя. Показательна в этом смысле характеристика Руссо в «Заметках о журналах» Чернышевского (февраль 1856 г.), как «нищего, оклеветанного, бежавшего от родины и нежно, тоскливо любящего родину, подозрительного, неизмеримо и справедливо гордого, чрезвычайно скрытного и не умеющего ничего скрыть, пренебрегающего всем и всеми, нуждающегося во всех, впадавшего во многое непростительное и пагубное для других менее высоких по природе своей натур и все-таки оставшегося чистым в душе, невинным и наивным, и, при всей своей наивности, и хитреца и глубочайшего сердцеведца, загадочного для современников, очень понятного для потомства, гениального и благородного мизантропа, полного нежной любви к людям» (Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, М. 1947, стр. 640). В рассказе «Потомок Барбароссы», написанном уже в сибирской ссылке, Чернышевский вкладывает в уста одного из персонажей, человека XVIII в., следующую характерную реплику: «О, если бы оправдались предсказания этого сумасброда, но умнейшего и даже рассудительнейшего из всех наших современников, этого респу-

бликанского дикаря Руссо! О, если бы демагоги успели взбунтовать чернь при моей жизни» (указ. изд., т. XIII, М. 1949, стр. 542). Сам Чернышевский, находясь в Петропавловской крепости, уделял много времени чтению Руссо, делал выписки из его сочинений, собирался писать его биографию, переводил его «Исповедь» (см. Н. Г. Чернышевский, Неопубликованные произведения, Саратов, 1939). Писарев также рассматривает Руссо как радикала; признает, что на его долю выпала задача «громко объявить людям, что пора перейти от смелых мыслей к смелым делам» и что «эту задачу решил Руссо», а «слово его было достаточно громко и увлекательно». Однако Писарев при этом больше налегает на критику Руссо, на осуждение его внутренних противоречий, «дряблости» его характера. Увлекаясь, Писарев даже утверждает, что «Европа осталась бы в больших барышах, если бы Руссо умер в цвете лет, не напечатавши ни одной строчки». Не трудно заметить, что за этой резкой и прямолинейной критикой почти исчезают указания на решающие стороны мировоззрения Руссо: его демократизм, решительность в осуждении феодального общества и социального неравенства, те элементы диалектики, на которые указывал Ф. Энгельс, характеризуя теорию «Общественного договора» Руссо (см. Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, 1948, стр. 131—132). Такая односторонняя, неисторичная характеристика Руссо, так же как и данная здесь оценка Робеспьера и якобинской диктатуры, свидетельствуют об известных противоречиях в мировоззрении самого Писарева, не вполне преодоленных им и в последние годы его деятельности.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Впервые опубликована в ч. 4 первого издания сочинений (1867), по тексту которого она здесь и воспроизводится с исправлением мелких погрешностей. В дальнейшем в составе шеститомного издания Ф. Ф. Павленкова перепечатывалась в т. II среди статей 1862 г. Это и дало повод ряду исследователей ошибочно датировать статью, о времени написания которой не сохранилось точных данных, 1862 г. На самом деле статья не могла быть написана ранее 1866 г. Это подтверждается следующими данными. Во-первых, Писарев в статье цитирует Гейне по изданию: «Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей под редакцией Петра Вейнберга», первый том которого вышел в 1864 г. В самом тексте статьи указывается, что одиннадцать томов этого издания «уже находятся в руках читающей публики, а все издание будет состоять из 15 томов». Том XI издания П. И. Вейнберга вышел в 1866 г.* Само указание на то, что издание будет состоять из 15 томов (а не из 11, как предполагалось ранее), появилось только на обложке томов этого издания, выходивших в 1865 г. Во-вторых, в объявлениях о составе первого издания сочинений Д. И. Писарева на обложках тех частей этого издания, которые вышли в 1866 г., еще не значится статьи «Генрих Гейне». Первое упоминание о ней находим лишь в объявлении, приложенном к ч. 8, вышедшей так же,

* Однако к началу 1867 г. вышло в действительности не 11, а 10 томов, так как т. X появился позднее, в 1868 г.

как и ч. 4, в 1867 г. В предисловии «От издателя» к ч. 4 говорится, что статья «Генрих Гейне» помещается в ней, наряду с двумя другими статьями, взамен «выбывшей статьи» «Посмотрим!» (см. об этом в примечаниях к последней в т. 3 данн. изд.), и что она «появляется в печати в первый раз».

Известный сербский писатель-демократ Светозар Маркович, живший в Петербурге в 1866—1869 гг., в очерке «Литературный вечер» вспоминает о вечере, на котором Писарев выступил с чтением реферата о Генрихе Гейне. Приводимые Марковичем выдержки из этого реферата * показывают, что читалась именно статья «Генрих Гейне» или отрывки из нее. Естественно, что Писарев выступал с произведением, только что или недавно им написанным и еще не достаточно известным публике.

Таким образом, бесспорно, что статья «Генрих Гейне» была написана либо в самом конце 1866 г., после выхода Писарева из крепости, либо в 1867 г. (последнее более вероятно).

Вопрос о датировке данной статьи приобрел особый интерес в связи с тем, что исследователи, принимавшие ошибочно 1862 г. за время ее написания, делали отсюда далеко идущие выводы о эволюции Писарева к концу его жизни вправо, об угасании в его произведениях революционных настроений. ** Именно в статье «Генрих Гейне» защита революционных действий масс нашла особенно яркое выражение.

Появление статьи «Генрих Гейне» в первом издании не повлекло за собой цензурных преследований. Но уже при переиздании ч. 4 сочинений в 1872 г. в докладе цензора де Роберти отмечается революционная направленность статьи. «На мысли и суждения Гейне, — говорится там, — критик смотрит с точки зрения «нового человека» и сходится с немецким поэтом в том, в чем замечает дух отрицания, осуждая беспощадно во всем, что противно этому духу. На стр. 83 (см. стр. 228—229 данн. тома.—*Ред.*) автор оправдывает необходимость революции при известных обстоятельствах, сравнивая ее с вынужденною оборонительною войной, самозащитою и с сильными, необходимыми в опасных болезнях лечебными средствами» (см. В. Е. Евгеньев-Максимов, Д. И. Писарев и охранители — «Голос минувшего», 1919, кн. 1—4, стр. 156). На основании доклада ч. 4 второго издания была решением комитета министров от 22 октября 1873 г. запрещена к выходу в свет. В изданиях шеститомного собрания сочинений 1894 и 1897 гг. статья была опубликована с цензурными купюрами: было изъято как раз наиболее важное место, посвященное оправданию революционного насилия, вызванного реакционным сопротивлением со стороны господствующих классов.

Статья «Генрих Гейне» представляет наиболее полную и развернутую характеристику личности и творчества любимого поэта Писарева, к наследию которого он обращался постоянно, начиная с первых шагов своей самостоятельной литературной деятельности. Сам Писарев, говоря о своем духовном развитии, отводил существенную роль воздействию творчества Гейне (см.

---

* См. С. Марковић, Целокупна дела, т. II, свезка 8, Београд, 1893. — Трудно точно установить дату этого вечера.

** См., например, В. Кирпотин, Радикальный разночинец Д. И. Писарев, М. 1934, стр. 135 и сл.

статью «Промахи незрелой мысли»; данн. изд., т. 3, стр. 139). Обращение к творчеству Гейне совпадает по времени с тем духовным кризисом, который Писарев пережил в 1860 г. Летом 1860 г., оправившись от психического заболевания и находясь на отдыхе в деревне своих родителей, Писарев принимается за переводы стихотворений из «Книги Песен» Гейне. Им был переведен тогда целый ряд лирических стихотворений, а также поэма «Атта Троль». * В журнале «Русское слово» (1860, кн. 12) был опубликован перевод «Атта Троль»; позднее там же (1861, кн. 9) появился перевод (за подписью: И. П. Рагодин) под названием «Отживший мир» статьи Гейне «Боги в изгнании» и легенды о Тангейзере. В двух рецензиях на сборники переводов иностранных поэтов, изданные Ф. Бергом и В. Костомаровым (1860 и 1862 гг.), Писарев уже довольно подробно говорит о Гейне и об особенностях его поэтического творчества (см. эти рецензии в т. 1 данн. изд.). В ранний период деятельности Писарева, когда лишь проходило его формирование как демократического критика, в творчестве Гейне его более занимает психологическая сторона, ранняя интимная лирика поэта. Но уже в рецензиях 1861 г. («Берлин. Осенняя сказка Генриха Гейне» и «Посмертные стихотворения Гейне»; см. т. I полного собрания сочинений в шести томах изд. Ф. Ф. Павленкова) Писарев, говоря, что Гейне «один из величайших поэтов всех веков и народов, ближайший к нам по времени, по складу мысли и по образам», ** подчеркивает значение его «беспощадного смеха», разбивавшего «устарелые идеи, обессмысленные формы, тяжелые оковы разума», называет Гейне «трибуном века, оратором за права человеческой личности». *** Эта сторона поэзии Гейне, его глубокий и решительный отклик на важнейшие вопросы общественной жизни, его политическая сатира, его демократические устремления все более приковывают к себе внимание Писарева. В его статьях 1864—1865 гг. («Реалисты», «Промахи незрелой мысли», «Прогулка по садам российской словесности», «Посмотрим!» и др.) не только имя Гейне упоминается чаще, чем имя какого-либо другого поэта, но, пересматривая с точки зрения «мыслящего реалиста» литературное наследие предшествующего времени, Писарев выдвигает сочинения Гейне на одно из первых мест. В этом отношении особенно важна характеристика Гейне, данная в статье «Реалисты» (гл. XXVI — данн. изд., т. 3, стр. 99—103). Писарев часто называет Гейне «отрицателем», «свистуном» в специфическом для шестидесятых годов значении этих слов, подчеркивая его идейную близость к тем, кто борется против реакции, застоя, социальной несправедливости.

Очень характерно для Писарева этих лет утверждение, что поэзия Гейне направлена против «чистого искусства», обращена к действительности. «Стихотворения Гейне не отклоняют, а отрезвляют читателя, — говорится в статье «Прогулка по садам российской словесности», — поэт сам разрушает

* Подробнее об этом см. статью Е. П. Казанович «Писарев о Гейне». (Известия Академии наук СССР. Отделение гуманитарн. наук, 1929, № 8). Там же приведены и отдельные переводы стихотворений Гейне. Эти переводы опубликованы также в «Записках отдела рукописей» Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина, вып. 9, М. 1940.

** Д. И. Писарев, Сочинения, т. I, изд. 5, СПб. 1909, стр. 531.

*** Там же.

вредное обаяние поэзии; поэт осмеивает то, чему поклоняются другие поэты» (т. 3 данн. изд., стр. 293). Подчеркнув, что «все двадцать томов сочинений Гейне составляют одно неразрывное целое», что все они лишь в общей связи получают «свой полный смысл и свое настоящее значение» (см. данн. изд., т. 3, стр. 101), Писарев вместе с тем уже в «Реалистах» обращает внимание на то, что Гейне «весь состоит из противоречий», что эти противоречия порождены «всем складом европейской жизни» и что его поэзия является ярчайшим выражением переходного времени, «того невольного и неизбежного разлада..., который существует между нашими заветными желаниями и нашими вседневными поступками» (там же, стр. 102). Последняя статья Писарева о Гейне и явилась дальнейшим развитием этой мысли, поскольку внимание критика сосредоточено здесь именно на противоречиях в творчестве Гейне, отражавших его духовную эволюцию в условиях обостряющихся противоречий буржуазного общества. Для этой статьи, в центре которой оказывается вопрос о воспитании нового поколения деятелей освободительной борьбы, характерно также, что она более всего посвящена критике черт «политического дилетантизма» в мировоззрении Гейне, сосредоточена в значительной степени на непоследовательности его отношения к революционным событиям, к искусству и т. д. Придавая своей статье полемический характер, Писарев поэтому иногда невольно отступает от исторической оценки отдельных произведений и высказываний Гейне, присоединяясь к тем запальчивым и резким осуждениям, которые бросал в отношении Гейне известный немецкий радикальный публицист Л. Бёрне.

Но эти ноты осуждения «политического дилетантизма», иногда подчеркнуто резкие, получали у Писарева особый смысл. Они были продиктованы не недостатком любви к великому поэту и понимания исторического значения его творчества, а страстным желанием критика помочь молодому поколению вполне освободиться из-под власти старых иллюзий и целиком связать свою судьбу с демократической борьбой за преобразование общества.

[1] *Мистагог* — в древней Греции тот из жрецов, который вводил посвященных в мистерии (таинства, связанные со служением божеству и доступные только для посвященных). — *Иерофант* — старший жрец, посвященный в таинства; первосвященник в Элевсинских мистериях в древней Греции.

[2] Под *писанием* (у Гейне собственно: евангелия) *Лас-Каза*, *Омеары и Антомарки* Гейне имеет в виду оставленные О'Мира (O'Meara) и Антомарки, бывшими врачами Наполеона I, а также его другом — Лас-Казом мемуары о пребывании Наполеона на острове св. Елены. В этих мемуарах они писали о крайне суровом обращении с Наполеоном губернатора острова св. Елены Гудсона Ло.

[3] *Взбросить Пелион на Оссу*, т. е. совершить невероятные по силе подвиги. Имеется в виду древнегреческий миф о титанах, которые в борьбе с Зевсом взгромоздили горный хребет в Восточной Фессалии Пелион на гору Оссу, чтобы добраться до Олимпа, места нахождения богов.

[4] *Атлас* — в древнегреческих мифах — один из титанов, который за участие в борьбе против Зевса был превращен в гору и должен был поддерживать на своих плечах небесный свод.

[5] *Давалагири и Гумалари* — две из высочайших вершин Гималаев.

[6] *Союзный сейм* — представительный орган государств, входивших в состав Германского союза, созданный после Венского конгресса и бывший орудием реакционного «Священного союза».

[7] *Chambre introuvable* — буквально: «Ненаходимая палата», то есть палата, какой другой и не сыщешь, — прозвище, данное королем Людовиком XVIII палате депутатов французского парламента за господствовавшие в ней реакционные и верноподданнические тенденции.

[8] Людовик XVIII, ставший французским королем после Реставрации, когда французскому народу было вновь насильственно навязано правление династии Бурбонов, по существу был семнадцатым царствовавшим во Франции Людовиком, так как сын Людовика XVI, провозглашенный в кругу эмигрантов-роялистов после казни своего отца королем Людовиком XVII, фактически не правил страной и умер несовершеннолетним во Франции во время буржуазной революции.

[9] *Жиронда* (жирондисты) — в эпоху французской буржуазной революции конца XVIII в. партия крупной буржуазии; свое название получила от департамента Жиронды, депутатами от которого были в Законодательном собрании и в Конвенте отдельные ее руководители.

[10] *К Лигурину и к Делии* обращал свои оды римский поэт Гораций. — *...делают свой кейф на... подушках западно-восточного дивана.* — Каламбур Писарева имеет в виду название лирического цикла Гете «Западно-восточный диван».

[11] *...о республиканцах в церкви св. Марии, о их геройской смерти.* — Речь идет о героическом сопротивлении республиканцев во время восстания 5—6 июня 1832 г. в Париже в районе переулка Сен-Мерри и монастыря того же имени. Здесь небольшая группа восставших (около сотни человек) в течение двух суток отражала атаку очень крупного отряда правительственных войск. Почти все повстанцы были при этом уничтожены; войска учинили также расправу и над жителями квартала, сочувствовавшими и помогавшими повстанцам. Гейне говорит об этом эпизоде в сочинении «Французские дела».

[12] В зале *Jeu de Paume* (для игры в мяч) в Версале собрались 20 июня 1789 г. представители третьего сословия в Национальном собрании и дали клятву не расходиться, несмотря на противодействие короля их работе, до тех пор, пока «не будет выработана и упрочена конституция Франции».

[13] *Румфордов суп* — суп из костей и других животных отбросов для бедных, изобретенный английским физиком Румфордом, занимавшимся также филантропическою деятельностью.

[14] *Гейне... подает здесь руку г. Николаю Соловьеву...*—Реакционный критик Н. И. Соловьев, сотрудничавший в 1864—1865 гг. сперва в журнале «почвенников» «Эпоха», а затем в «Отечественных записках» А. А. Краевского, постоянно писал о том, что демократическая критика «отрицает искусство», грешит чрезмерным ригоризмом, грубым утилитаризмом и т. д.

[15] *«Молодая Германия»* — группа немецких писателей либерально-буржуазного направления, выступивших в 1830 гг. против феодально-религиозной реакции, против реакционного романтизма в литературе и т. д. В группу входили К. Гуцков, Г. Лаубе, Л. Винбарг и др. Для большинства

писателей этого направления характерна неопределенность их политической программы.

[16] *18 брюмера* — по календарю, принятому во время революции, день 9 ноября 1799 г., когда Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот, присвоив себе диктаторские права.

[17] *Вандомская колонна* была сооружена Наполеоном I в Париже на Вандомской площади в 1806—1810 гг. в память его побед.

[18] *Агни, Варуна, Яма и Индра* — божества в мифологии индусов. История *Наля и Дамаянти* составляет эпизод в эпической древнеиндийской поэме «Махабхарата».

НАШИ УСЫПИТЕЛИ

Впервые опубликована в ч. 4 первого издания сочинений (1867). Не вызвав цензурных гонений в первом издании (о причинах этого см. в примечаниях к статье «Мыслящий пролетариат»), статья эта, наряду с другими статьями, помещенными в ч. 4 сочинений, послужила причиной для запрещения выхода в свет второго издания этой части (1872). В своем докладе цензурному комитету рассматривавший ч. 4 второго издания сочинений цензор де Роберти указывал на то, что это «полемическая статья, в которой вся консервативная часть общества причисляется к усыпителям и гонителям света «новых людей». Цензор отмечал, что Писарев в этой статье «объясняет, каким образом развиваются новые люди посредством постепенного отрицания всего того, что им доставило воспитание», «говорит, что отрицательным идеям, и только им одним, безраздельно принадлежит будущее», «с сарказмом относится к имущим классам общества и нападает на авторов тех романов, в которых осмеяны «новые люди». (Цит. по статье В. Е. Евгеньева-Максимова «Д. И. Писарев и охранители» — «Голос минувшего», 1919, № 1—4, стр. 157.) Второе издание ч. 4 на основании отзыва цензора было запрещено. Характерно, что после этого статья «Наши усыпители» долго не могла увидеть света и была напечатана вновь только в дополнительном выпуске к шеститомному собранию сочинений (изд. 1, СПб. 1907; 3-е (последнее) издание — 1913). После этого статья «Наши усыпители», к сожалению, не переиздавалась. Между тем она принадлежит к числу наиболее ярких, сильных и смелых выступлений Писарева против реакции. Острая и уничтожающая критика реакционной газеты М. Н. Каткова «Московские ведомости», антинигилистических романов 1860 гг. сочетается в ней с развенчанием реакционной и буржуазно-либеральной идеологии вообще, с осмеянием столпов и устоев буржуазно-дворянского общества.

Время написания статьи точно неизвестно. Не лишено, однако, основания предположение, что она была написана ранее, чем впервые смогла появиться в свет. В деле особого присутствия правительствующего сената о Баллоде, Писареве и др., хранящемся в Центральном государственном историческом архиве в Москве, имеются сведения о том, что 16 сентября 1864 г. в сенат была прислана петербургским генерал-губернатором Суворовым статья Писарева «Картонные герои». Сенат, рассмотрев тогда же эту статью, не

нашел «удобным допустить печатание статьи», и она была возвращена автору (см. М. К. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., изд. 2, М.—П. 1923, стр. 577). Никаких других данных об этой статье 1864 г. до нас не дошло. Можно лишь предполагать, что статья «Наши усыпители» либо и есть эта самая, не пропущенная ранее цензурой статья, либо, вероятнее, является ее позднейшей переработкой. Характерны в этом смысле слова Писарева о том, что «герои» реакционных романов составлены из картона и проволоки (см. стр. 256). Те антинигилистические романы, о которых говорит здесь Писарев («Взбаламученное море» Писемского, «Марево» Клюшникова, «Некуда» Лескова), печатались в 1863—1864 гг., и именно в 1864—1865 гг. демократическая критика уделила большое внимание разоблачению этой реакционной беллетристики. В начале 1865 г. Писарев подверг подробному разбору роман Клюшникова «Марево» в статье «Сердитое бессилие». Некоторые другие мелкие детали также подкрепляют предположение о том, что статья «Наши усыпители» была написана ранее того времени, когда она смогла быть опубликована в первом издании сочинений, не проходившем предварительной цензуры.

[1] *Гасильник* — слово, употреблявшееся в журналистике 1860 гг. в значении «реакционер», «обскурант».

[2] Весьма возможно, что упоминание о *поздравительных телеграммах*, достающихся на долю гасильников, представляет собою намек на те приветственные телеграммы, которые посылались реакционным дворянством и чиновничеством Муравьеву-вешателю, и на многочисленные «всеподданнейшие» адреса, посылавшиеся в связи с жестоким подавлением польского восстания 1863 г.

[3] Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Герой».

[4] Писарев касается здесь очень модной (особенно в 1864—1865 гг.) темы для реакционных журналистов, которые утверждали, что отрицательное направление вышло из семинарии. Так, в статье «Теория безобразия» в кн. 7 журнала «Эпоха» за 1864 г. Н. И. Соловьев писал: «все теории против искусства вышли у нас или из кабинета, или из бурсы» (стр. 9). См. также статью за подписью «Семинарист» «Несколько слов о семинарском образовании» в кн. 5 «Русского вестника» за 1864 г.

[5] Термин *status quo* — «существующее в данный момент положение» — в демократической публицистике 1860 гг. и в частности у Писарева иносказательно употребляется в смысле: «существующий общественный строй», строй, против которого борются демократы.

[6] *Романисты, вдохновленные «Московскими ведомостями»* — авторы «антинигилистических» романов 1860 гг. Газета «Московские ведомости» (см. о ней прим. 28 к статье «Наша университетская наука» в т. 2 данн. изд.) в лице ее редактора реакционера М. Н. Каткова всячески поощряла создание этих произведений. Современная журналистика не раз отмечала, что «герои» антинигилистических романов пропагандируют реакционно-шовинистические выводы передовых статей Каткова из этой газеты. «Взбаламученное море» Писемского и «Марево» Клюшникова печатались в журнале «Русский вестник», издаваемом Катковым.

ОБРАЗОВАННАЯ ТОЛПА

Впервые опубликована в журнале «Дело», издававшемся Г. Е. Благосветловым после закрытия «Русского слова», в кн. 3 и 4 за 1867 г. Первая часть статьи в кн. 3 журнала (главы I—IV) подписана псевдонимом: К. Пушилов (в оглавлении номера: А. Пушилов); вторая часть — в кн. 4 (главы V—XI) — собственным именем критика. Статья была написана, вероятно, в конце 1866 г. (дата цензурного разрешения кн. 3 «Дела»: 12 января 1867 г.). В первое издание сочинений статья не включалась; позднее входила в состав т. VI шеститомного полного собрания сочинений во всех его изданиях. Здесь статья воспроизводится по тексту журнала.

Феофил Матвеевич Толстой (1809—1881) — композитор и известный музыкальный критик, выступавший с 1850 гг. под псевдонимом Ростислав со статьями в разных периодических изданиях («Северная пчела», «Голос», «Московские ведомости» и др.). Его перу принадлежит также несколько повестей, рассказов и очерков, романы «Болезни воли» и «Золотой телец», драма «Пасынок». Некоторые из них были опубликованы еще в 1850 гг. в журналах «Современник» и «Русский вестник». В 1866 г. вышли сочинения Ф. М. Толстого в двух томах. Во втором издании их (СПб. 1871) было помещено также извлечение из статьи Писарева.

Не обладая крупным литературным талантом, Ф. М. Толстой, однако, привлекал читателей постановкой в своих произведениях острых вопросов общественной жизни, ярко выраженной склонностью к психологически-углубленному анализу. Особенно внимание читателей, как об этом свидетельствует и Писарев, привлек его роман «Болезни воли». Однако современной критикой произведения Толстого не были отмечены. Статья Писарева является единственным развернутым отзывом о них.

Статья «Образованная толпа» — один из ярких образцов литературной критики Писарева последних лет его деятельности. В ней мы видим характерные признаки известного перелома, переходного периода в его творчестве. Написанная уже после закрытия «Русского слова», она еще содержит последние отзвуки полемических выступлений Писарева в этом журнале в 1864—1865 гг. Его суждения об искусстве, о соотношении формы и содержания в литературном произведении, о Пушкине и «Евгении Онегине» в известной степени повторяют то, что уже было высказано в таких статьях, как «Реалисты», «Пушкин и Белинский». Но общий тон статьи иной, характерный и для других последних статей Писарева: тон сосредоточенно-спокойного анализа литературных материалов. В статье с особенной силой звучит тема, захватывающая и другие статьи критика 1867—1868 гг.: тема столкновения рядового честного человека с воспитавшей его средой. Показательно, что, посвятив в предшествующие годы много талантливых страниц характеристике тех «мыслящих реалистов», которые уже сумели найти себя, определить свое отношение к окружающей среде и собрать в себе силы на борьбу с нищетой, невежеством и рутиной, Писарев теперь считает одной из актуальных задач художественной литературы и критики внимание к тем, кто еще не сумел вырваться вполне из-под влияния окружающей среды, хотя и не может примириться с социальной несправедливостью.

Для героя романа Толстого — Пронского — характерна детски-сильная жажда правды и справедливости и вместе с тем неумение целеустремленно и сознательно идти своим путем в борьбе с окружающею рутиной и произволом, честное и самоотверженное донкихотство и непонимание действительных причин существующих условий жизни. Прослеживая трагическую судьбу Пронского, показывая обреченность его стихийного и наивного протеста против господствующего зла, Писарев сосредоточивает свое внимание на основных задачах воспитания молодого поколения в демократическом духе.

[1] *Разговор России с царем Петром Алексеевичем* —стихотворение А. К. Толстого «Государь ты наш, батюшка...» (1861).

[2] *Излеровским университетом* у Ф. М. Толстого иронически именуется петербургский кафешантан «Минеральные воды», принадлежавший Излеру, — излюбленное место кутежей «золотой молодежи».

[3] *Воль-о-ван* (франц. vol-au-vent) — слоеный пирог.

[4] *Теоретики* — см. прим. 5 к статье «Прогулка по садам российской словесности» в т. 3 данн. изд. Обвинение демократической критики и литературы в том, что они проповедуют разврат, — обычный мотив реакционной публицистики в 1860 гг. В этом реакционеры обвиняли «Что делать?» Чернышевского. Об этом твердил, например, реакционный критик «Эпохи» Н. И. Соловьев (в статьях 1864 г. «Теория безобразия», «Женщинам» и др.).

[5] Роман Ф. М. Толстого «Болезни воли» впервые появился в журнале «Русский вестник» за 1859 г., № 18 и 19.

[6] Говоря о *лучших людях литературы*, Писарев имеет в виду, как показывает дальнейший контекст, прежде всего Чернышевского и Добролюбова. Именно Чернышевский писал в 1859 г. в «Современнике» по крестьянскому вопросу и об общине (см. след. примечание). Добролюбов «анализировал самодурство во всех его разнообразных проявлениях в статье «Темное царство» и т. д.

[7] *...надо было отстаивать крестьянскую общину против инсинуаций московских англоманов...*—Московские англоманы — М. Н. Катков и сотрудники издаваемого им журнала «Русский вестник» (см. также прим. 4 к статье «Схоластика XIX века» в т. 1 данн. изд.). Имеется в виду полемика об общинном землевладении, которую Чернышевский на страницах «Современника» вел в 1857—1859 гг. с крепостническими и либеральными журналами. Подымая вопрос об общине, Чернышевский, еще в период секретной подготовки крестьянской реформы 1861 г., изложил свои взгляды по крестьянскому вопросу, резко направленные против программы крепостников и помещиков-либералов. Он показывал грабительский характер подготавливаемой реформы, предлагавшихся помещиками условий выкупа крестьянских земельных наделов. Первоначально полемика велась между революционно-демократическим «Современником» и журналом «Экономический указатель» И. В. Вернадского, стоявшим на позициях буржуазно-дворянского либерализма. Но вскоре в полемике приняли участие и другие органы крепостнического и либерального направления, в частности «Русский вестник» Каткова. В 1859 г. с этой полемикой были связаны такие статьи Чернышевского, как «Устройство быта помещичьих крестьян. Труден ли выкуп земли?», «Эко-

номическая деятельность и законодательство», «Суеверие и правила логики», «Устройство быта помещичьих крестьян. № XI» и др. Непосредственно критике некоторых статей по крестьянскому вопросу, помещенных в «Русском вестнике», была посвящена статья «Библиография журнальных статей по крестьянскому вопросу» («Современник», 1858, кн. 10).

[8] Цитата из восьмой статьи Белинского о Пушкине (см. В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, М. 1955, стр. 449—450). Писарев цитирует статью по ч. VIII Сочинений В. Г. Белинского в издании Солдатенкова и Щепкина, М. 1860.

[9] Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Праздник жизни — молодости годы» (1855).

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Первая часть статьи появилась впервые в журнале «Дело», 1867, кн. 5, под названием «Будничные стороны жизни», за подписью автора и с примечанием: «окончание в следующей книжке». Однако вторая ее часть появилась в «Деле» в виде отдельной статьи под названием «Борьба за существование» значительно позднее (1868, кн. 8), то есть уже после смерти автора. Затем под названием «Борьба за жизнь» статья полностью вошла в ч. 9 первого издания сочинений (1868). В примечании от издателя (Ф. Ф. Павленкова), данном к статье в этом издании, указано, что статья помещена в нем «под тем заглавием, под которым она находится в рукописях». Рукописи статьи до нас не дошло. Здесь статья воспроизводится по тексту первого издания с исправлением его отдельных погрешностей. Журнальный текст сильно отличается от текста первого издания, главным образом за счет серьезных сокращений, вызванных цензурой.

Так в первой части в журнале были выброшены следующие очень существенные места: отрывок, начиная со слов: «Можно даже сказать, что большая часть преступлений против собственности» и кончая первым предложением следующего абзаца, до слов: «Преступление, описанное в романе г. Достоевского...» (см. стр. 319—320); отрывок со слов: «Поэтому в вопросе о том, помешан ли Раскольников» и до конца абзаца (стр. 324—325); предложение на стр. 327, начинающееся словами: «Из этого наблюдения он видит» и кончающееся словами: «внешние влияния, дающие его мыслям то или другое направление»; отрывок, начиная со слов: «Невозможно рассчитывать наверное даже и на тот исход» и кончая словами: «решать с плеча, без оглядки и без колебаний, вопросы, подобные предыдущему» (стр. 331—332); большой отрывок (почти два абзаца) на стр. 333—334, начиная со слов: «к его законам и ко всем его установившимся нравственным понятиям» и кончая словами: «со всеми ее своеобразными правами и обязанностями, со всеми ее удобствами и неудобствами»; отрывок со слов: «Раскольников находится в таком положении» и кончая словами: «невозможно будет разбирать средств» (стр. 339—341).

Кроме того, в первой главе (статье) в журнале были сделаны и более мелкие, но тем не менее характерные изъятия: отсутствует конец в следующей фразе на стр. 329 (пропущенное в журнальном тексте дано здесь курсивом): «поступки, идущие вразрез с правилами *той* нравственности, *которую счаст-*

ливые люди могут и должны считать для себя обязательною и во имя которой они очень естественным образом расположены судить и осуждать своих несчастных ближних»; в журнальном тексте (см. стр. 330) отсутствуют слова: «живущей по жёлтому билету» и «от искателей легкой и дешевой любви»; отсутствуют также слова (стр. 336): «вышивать подвески к паникадилам», «и сечь на конюшне беременных горничных».

Во второй главе (статье) в журнальном тексте были следующие изменения текста. Вместо отрывка (на стр. 344), начинающегося словами: «Я старался проследить шаг за шагом те влияния» и до конца абзаца, в «Деле» было: «Внешние причины, натолкнувшие Раскольникова на грязное дело, нам известны; теперь посмотрим, каковы были его убеждения, его образ мыслей, его взгляды на важнейшие вопросы частной и общественной нравственности». На стр. 346 вместо следующего окончания предложения: «человечество, по простоте своей коллективной души и по своей известной ребяческой слабости к блеску и грохоту, к ярким краскам и резким звукам, до сих пор считает своими благодетелями таких людей, которые очевидно причинили ему, этому добродушному и доверчивому человечеству, гораздо больше вреда, чем пользы», в «Деле» было только: «человечество редко понимало свои действительные интересы и еще реже умело отстаивать их».

Бо̀льшая часть этих пропусков и изменений журнального текста несомненно цензурного происхождения. В «Деле» оказались выброшенными наиболее острые и важные в социальном отношении места.

Кроме того, некоторые отличия журнального текста вызваны также тем, что две главы статьи печатались там как отдельные статьи и в разное время. Вторая глава (в журнале: статья «Борьба за существование») в «Деле» начиналась поэтому так: «Роман г. Достоевского произвел на читателей глубокое и потрясающее впечатление благодаря тому верному психическому анализу, которым отличаются произведения этого писателя. Я радикально расхожусь с его убеждениями, но не могу не признать в нем сильного таланта, способного воспроизводить самые тонкие и неуловимые черты будничной человеческой жизни и ее внутреннего процесса. Особенно метко он подмечает болезненные явления, подвергает их самой строгой оценке и как будто переживает их на самом себе. Герои г. Достоевского обыкновенно больные, изломанные субъекты, падшие в борьбе за свое существование, но это люди, взятые из действительной жизни, продукты болезненных настроений в обществе и суровой его обстановки. К числу этих типов принадлежит Раскольников, главное действующее лицо в романе «Преступление и наказание».

Я не стану останавливаться на подробностях романа, которые, конечно, известны читателю, и прямо перейду к существенной стороне характера Раскольникова. Утомленный мелкою и неудачною борьбою со всевозможными лишениями, потерявший всякую веру в жизнь и в собственные силы, он впал в изнурительную апатию. Во время этой апатии, униженный и оскорбленный, голодный и холодный, он задумал совершить преступление — убить старуху-ростовщицу и ограбить накопленные ею крохи. Переходя от сомнения к сомнению, от страха к энергии, от самообладания к болезненной нерешительности, он долго размышлял и колебался. Но все колебания Раскольникова прекратились»... и далее как в тексте первого издания.

Эти вводные замечания журнального текста отчасти повторяют, но вместе с тем варьируют и дополняют некоторыми яркими штрихами тонкие и верные суждения Писарева о Достоевском и его романе, высказанные уже в начале первой главы. Другие расхождения между текстом журнальным и текстом первого издания менее существенны.

Печатая в «Деле» вторую статью, редакция сопроводила ее следующим примечанием: «Статья эта, написанная Д. И. Писаревым для журнала «Дело», доставлена нам сестрой покойного В. И. Писаревой, причем обещаны ею и другие статьи его, оставшиеся в посмертных бумагах». Но, как мы видели, на самом деле эта статья не была самостоятельной, отдельной. На самом деле история печатания этой статьи в «Деле» была более сложной.

В письме к М. А. Маркович от 3 декабря 1867 г. Писарев по этому поводу писал: «В редакции «Дела» лежит до сих пор вторая часть моей статьи о романе Достоевского, *запрещенная цензурою.* * Шульгин, ** когда я виделся с ним в последний раз, просил меня сделать в этой статье кое-какие изменения, чтобы можно было ее провести. Я на это ответил... что я не считаю себя в праве отнимать у «Дела» статью, начало которой уже напечатано, но что переделывать ее я не хочу; пусть редакция ведается за эту статью с цензурою как ей будет угодно и печатает ее, если позволят». *** В этом же письме Писарев, который в это время окончательно разошелся с Благосветловым, сообщает, что он теперь «ни под каким видом» не хочет, чтобы в «Деле» появилась «хоть одна» его строка и что он затребовал от Шульгина окончание своей статьи. Дальнейший ход этого дела точно не известен, но во всяком случае, как уже сказано, окончание статьи было помещено в журнале только после смерти ее автора. Самое важное во всем этом то, как упорно царская цензура препятствовала помещению статьи в ее подлинном виде.

[1] Писарев имеет в виду то, что Достоевский в своих литературно-критических статьях и фельетонах, публиковавшихся в журналах «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864—1865), а также отчасти и в своих художественных произведениях (напр., в повести «Необыкновенное происшествие, или пассаж в Пассаже») выступал против демократической литературы и журналистики, против «Современника» Чернышевского и Добролюбова.

[2] *Фурнисер* (франц. fournisseur) — поставщик.

[3] О *Курции* см. прим. 9 к статье «Сердитое бессилие» (данн. изд., т. 3).

[4] *Геркулесовы столбы* — см. прим. 19 к статье «Популяризаторы отрицательных доктрин»; здесь в смысле: предел досягаемого.

[5] *Эшафодаж* (франц. échafaudage) — леса (строительные).

[6] О *работе Пенелопы* см. прим. 53 к статье «Посмотрим!» (данн. изд., т. 3).

[7] *18 брюмера* — см. прим. 16 к статье «Генрих Гейне».

---

* Курсив наш. — *Ред.*

** Номинальный редактор «Дела» в это время, поскольку Благосветлову, настоящему редактору журнала, цензура не разрешала официальное руководство журналом. — *Ред.*

*** Письма Д. И. Писарева к М. А. Маркович; Сб. «Шестидесятые годы» под редакцией Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера, М.—Л. 1940, стр. 157—158.

[8] *Нимфа Эгерия*, по древнеримскому сказанию, подавала советы легендарному второму царю древнего Рима Нуме Помпилию; эти советы легли, по этому мифу, в основу религиозных и политических установлений, приписываемых Нуме.

СТАРОЕ БАРСТВО

Впервые напечатана без подписи в журнале «Отечественные записки», 1868, кн. 2. Затем вошла в ч. 10 первого издания сочинений (1869). Расхождения между текстом журнала и текстом первого издания незначительны. Здесь воспроизводится по тексту первого издания с исправлением его корректурных погрешностей по тексту журнала. В «Отечественных записках» имелся подзаголовок: «статья первая», что свидетельствует о намерении Писарева продолжить анализ «Войны и мира», коснувшись и других характеров и типов, выведенных в романе. Однако этот замысел не был осуществлен.

«Война и мир» цитируется в статье по первому изданию трех томов романа 1868 г. (первый том в этом издании имеет раздельную пагинацию по частям).

ФРАНЦУЗСКИЙ КРЕСТЬЯНИН В 1789 ГОДУ

Впервые напечатана без подписи в журнале «Отечественные записки», 1868, кн. 6. Затем вошла в ч. 10 первого издания сочинений (1869). Расхождения между текстом журнала и первого издания незначительны. Здесь статья воспроизводится по тексту первого издания с исправлением отдельных корректурных погрешностей его по тексту журнала.

Исторические романы французских писателей Александра Шатриана и Эмиля Эркмана, писавших свои произведения совместно, пользовались большой популярностью у русского читателя 1860—1870 гг. Переводы их на русский язык часто появлялись сразу же после опубликования их на французском языке. Роман «История крестьянина 1789 г.», начавший печататься во Франции в 1868 г., в том же году появился в русском переводе в журнале «Дело» (кн. 4—8), под названием: «На рассвете»; отдельное издание полного русского перевода этого романа, сделанного известной писательницей Марко Вовчок, вышло в 1872 г.

Передовой русский читатель 1860 г. особенно высоко оценивал те черты демократизма романов Эркмана-Шатриана, о которых говорит Писарев в начале статьи, указывая, что авторы «стараются взглянуть на великие исторические события снизу, глазами... массы» и что они стараются уловить в своих романах проблески народного самосознания.

[1] Русские переводы указанных романов печатались первоначально в журнале «Русское слово» («Тереза» — в кн. 1 за 1865 г., «Воспоминания рекрута 1813 г.» — 1865, кн. 3, «Ватерло» — 1865, кн. 4—6, «Нашествие 1814 г., или юродивый Иегоф» — 1865, кн. 8—10 и «Воспоминания пролетария» — 1865, кн. 11—12).

[2] *Государственные чины* — Генеральные штаты (États généraux) — сословно-представительное учреждение в феодальной Франции, образованное впервые в 1302 г. Генеральные штаты созывались французскими королями для разрешения главным образом финансовых вопросов относительно регулярно до середины XV в. С 1614 г. их созыв не осуществлялся до 1789 г. Созванные вновь в мае 1789 г. в обстановке нарастающих революционных событий, Генеральные штаты вскоре объявили себя, по инициативе представителей третьего сословия, Национальным собранием.

[3] Эркман и Шатриан были родом из Эльзаса.

[4] *Гильдебрандовская теократия.*—Гильдебранд (затем папа Григорий VII) выдвинул теорию теократии, стремясь добиться господства власти пап в феодальном мире. Согласно утверждениям Григория VII власть папы выше светской власти императоров и других государей.

[5] Имеется в виду «Исповедание савойского викария» — эпизод из сочинения Жан-Жака Руссо «Эмиль, или О воспитании».

[6] *Кельнские или амстердамские издания.*— В Кельне и в Амстердаме печатались многие произведения французских просветителей XVIII в., преследуемые во Франции за антифеодальные и антиклерикальные идеи и нелегально провозившиеся во Францию.

ПИСЬМО И. С. ТУРГЕНЕВУ

Впервые опубликовано в газете «Новое обозрение», издававшейся в Тифлисе, в № 5540 от 21 ноября 1900 г., куда оно было сообщено Н. Н. Макаровым. Затем перепечатано в публикации Е. П. Казанович «И. С. Тургенев. Переписка с Д. И. Писаревым» в альманахе Пушкинского дома «Радуга», П. 1922 (стр. 214—220). Подлинник утрачен. Здесь воспроизводится по тексту первой публикации.

Письмо Д. И. Писарева является единственным в известной нам небольшой, но интересной переписке его с И. С. Тургеневым. Кроме этого, до нас дошли, опубликованные Е. П. Казанович в указанном выше издании, два письма И. С. Тургенева, также относящиеся к 1867 г. В первом из них, датированном 22/10 мая 1867 г., И. С. Тургенев, между прочим, интересуется тем, какое впечатление произвел на Писарева его роман «Дым», только что опубликованный в кн. 3 журнала «Русский вестник» за 1867 г. Непосредственным ответом на это и является публикуемое здесь письмо Писарева. Второе письмо Тургенева, от 4 июня (23 мая по ст. ст.) 1867 г., представляет собою ответ писателя на письмо Писарева. Оба письма Тургенева присланы им из Баден-Бадена, где он тогда находился. (Помимо альманаха «Радуга», эти два письма Тургенева с некоторыми сокращениями помещены также в Собрании сочинений И. С. Тургенева, т. XI, изд-во «Правда», 1949, стр. 232 и 235.) Известно, какое высокое значение придавал Писарев на протяжении всей своей литературно-критической деятельности творчеству Тургенева. С глубокой симпатией и постоянным уважением он относился к его произведениям и к его личности как писателя. Сразу же после появления романа «Отцы и дети» он откликнулся статьей «Базаров», и с тех пор образ Базарова

стал излюбленным, центральным образом в критике Писарева, той меркой, с помощью которой Писарев нередко оценивал действенность и актуальность других образов, выдвигаемых современной литературой. В глазах Писарева Базаров олицетворял собою тип лучшего представителя современного молодого поколения, ставящего своей целью истинное, реальное просвещение народа и демократическое переустройство общества, связанное с широким и глубоким распространением научных знаний. Такая высокая оценка общественного значения образа Базарова, получившего оригинальную интерпретацию в статье «Базаров» (1862) и особенно в программной статье Писарева «Реалисты» (1864), выступает и в публикуемом здесь письме. Вместе с тем Писарев критически относился к колебаниям Тургенева как либерала, к тем его произведениям и образам, которые могли быть использованы реакцией в борьбе с демократическим движением. В статьях «Реалисты» и «Посмотрим!» Писарев мимоходом, но резко и отрицательно отозвался о повести-фантазии Тургенева «Призраки», исполненной глубоко пессимистической символики и отразившей страх либерала перед крестьянской революцией.

Критическое отношение Писарева вызвал и роман Тургенева «Дым», отрицательно встреченный демократической критикой, как, впрочем, и критикой противоположных направлений.

Сам Тургенев отмечал в письме А. И. Герцену от 4 июня (23 мая) 1867 г., что роман его «ругают все — и красные, и белые, и сверху, и снизу, и сбоку — особенно сбоку». *

В реакционной критике отразилось то недовольство, которое вызвало в правых кругах сатирическое изображение Ратмирова, кружка «генералов». Демократическая же критика отрицательно отозвалась о «потугинских идеалах» романа, о сценах у Губарева. Так, в журнале «Дело» (1868, № 1 и 3) Г. Е. Благосветлов (под псевдонимом: Г. Лунин) поместил статью «Старые романисты и новые Чичиковы», в которой была дана очень резкая оценка «Дыма».

В своем отзыве о романе Писарев тонко отметил основной недостаток его — либеральные колебания автора. Отмечая, что яркие образы генерала Ратмирова и его окружения представляют сильный «удар направо», Писарев особенно подчеркивает отразившуюся в романе боязнь Тургенева «потерять окончательно равновесие» и очутиться «в несвойственном ему обществе красных демократов». Писарев, как и другие представители демократической критики (см. упомянутую статью Г. Е. Благосветлова), осудил Тургенева за то, что он опустился до точки зрения Литвинова, заслонив правдиво-реалистическое изображение социальных конфликтов эпохи романической историей бесцветного «героя» романа. В демократических кругах осуждение вызвала и характеристика Губарева и его кружка, в которой видели попытку в памфлетных тонах изобразить Огарева и группировавшихся вокруг него представителей русской демократической эмиграции. Писарев несколько иначе оценивает эти сцены у Губарева: прямо он не вы-

* Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. Женева, 1892, стр. 195 (см. также И. С. Тургенев, Собрание сочинений, т. XI, изд-во «Правда» М. 1949, стр. 236).

сказывает своего осуждения их, рассматривая их не как карикатуру, а как изображение тех, кто примазался к демократическому движению. Но косвенно и здесь высказан упрек Тургеневу, ибо, по мнению Писарева, это эпизод, «пришитый к повести на живую нитку» и с намерением отмежеваться от «красных демократов».

Письмо к Тургеневу представляет ценнейший источник наших сведений об общественно-политических и литературно-критических взглядах Писарева в первый год после выхода его из тюрьмы, когда журнальная деятельность его не могла еще развернуться с прежнею силой.

Важно это письмо и как биографический документ. Оно характеризует сложное психическое состояние критика, оказавшегося на свободе после длительного заключения, в условиях, когда журнал «Русское слово» был закрыт, а положение Писарева в новом организованном Благосветловым журнале «Дело» было не ясным ввиду усиливавшихся расхождений его с Благосветловым.

Переписка Писарева с Тургеневым хорошо характеризует историю их личных отношений. Личное знакомство их было кратким и состоялось лишь в марте 1867 г. Писарев был у Тургенева дважды, во время пребывания писателя в Петербурге проездом из Баден-Бадена в Москву, где должен был печататься «Дым». В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенев писал по этому поводу: «Весной 1867 года, во время моего проезда через Петербург, он (Писарев. — *Ред.*) сделал мне честь — посетил меня. Я до тех пор с ним не встречался, но читал его статьи с интересом, хотя со многими положениями в них, вообще с их направлением, согласиться не мог». При этой первой встрече Тургенев, по его воспоминаниям, высказал свое возмущение статьями Писарева о Пушкине. «Не знаю, что подумал Писарев, — заключает Тургенев, приведя свои обвинения против этих статей,— но он ничего не отвечал мне. Вероятно, он не согласился со мною».* Резкое несогласие с Писаревым во взглядах не мешало Тургеневу с большим вниманием и уважением относиться к нему как критику. Еще в письме П. В. Анненкову от 8 июня 1862 г. Тургенев характеризовал статью Писарева «Базаров» как «очень замечательную». Оба письма 1867 г. к Писареву также говорят о том значении, которое Тургенев придавал мнениям Писарева. В первом письме Тургенев прямо пишет: «Я ценю ваш талант, уважаю ваш характер». Он выражает свое желание получать журнал «Дело», где должен был сотрудничать Писарев, и в дальнейшем видеться с Писаревым. Характерно, что, обескураженный враждебными оценками «Дыма», шедшими с разных сторон, Тургенев именно к Писареву обращается с просьбой высказать мнение о романе, особенно беспокоясь о том, не «рассердился» ли он по поводу сцен у Губарева. Второе письмо Тургенева интересно попытками оправдаться перед Писаревым и ответить на его оценку романа. Это второе письмо хорошо объясняет то, как сам Тургенев смотрел на свой роман и как он решал проблему положительного героя в это время. Тургенев отводил в нем упрек в отступничестве от Базарова очень дипломатически, ссылкой

---

* И. С. Тургенев, Собрание сочинений, т. X, изд-во «Правда», М. 1949, стр. 216—217.

на то, что в данный момент «в литературном произведении упоминать о нем нельзя: отнестись к нему с критической точки — не следует, а с другой — неудобно». «Да и, наконец, — продолжает Тургенев, — ему теперь только можно заявить себя — на то он Базаров; пока он себя не заявил, беседовать о нем или его устами было бы совершенной прихотью, даже фальшиво». И Тургенев далее пытался оправдать ту «кочку», которую он избрал, по словам Писарева, для того «чтобы осмотреться и ориентироваться».

Здесь любопытно одно недоразумение, возникшее между Тургеневым и его критиком. Писарев в своем отзыве вообще не касался Потугина, и, очевидно, вполне сознательно. Он не мог считать, что идеалы Потугина, сводившиеся к общим «западническим» устремлениям в либеральном духе, заслуживают серьезного внимания. Тургенев же заподозрил Писарева в том, что тот смешал Потугина с Литвиновым. Соглашаясь с тем, что о Литвинове «и говорить нечего», что «он дюжинный честный человек — и все тут», Тургенев вместе с тем писал: «Кочку я выбрал — по-моему — не такую низкую, как вы полагаете. С высоты европейской цивилизации можно еще обозревать всю Россию. Вы находите, что Потугин (вы, вероятно, хотели его назвать, а не Литвинова) — тот же Аркадий; но тут я не могу не сказать, что ваше критическое чувство вам изменило: между этими двумя типами ничего нет общего — у Аркадия нет никаких убеждений, а Потугин умрет закоренелым и заклятым западником, и мои труды пропали даром, если не чувствуется в нем глухой и неугасимый огонь».*

Об истории кратковременных личных отношений Писарева и Тургенева сохранилось еще свидетельство П. П. Суворова, реакционного писателя, который, однако, некоторое время общался с кругом Г. Е. Благосветлова и в частности с Писаревым. В своих «Записках о прошлом» он вспоминает, что Тургенев изъявил желание встретиться с Писаревым в феврале 1867 г., когда остановился проездом в Петербурге и был занят хлопотами по напечатанию «Дыма» в «Русском вестнике». Ссылаясь на рассказ самого Писарева об этом свидании, Суворов сообщает, что Писарев обратился к писателю с просьбой от Благосветлова отдать «Дым» для напечатания в «Деле». Услышав в ответ, что Тургенев отдал уже свой роман Каткову, Писарев разразился, по свидетельству мемуариста, гневной и осуждающей тирадой. По словам Суворова, Писарев сразу же после появления в «Русском вестнике» «Дыма» написал о нем «громовую, но превосходную по содержанию статью». Однако вскоре пришло письмо к нему от Тургенева, носившее «заискивающий характер», и Писарев решил уничтожить свою статью, а в «Баден-Баден, где жил романист, полетело жестокое письмо».**

В фактической своей части эти показания Суворова не отличаются точностью. Однако они дают яркое свидетельство того, как резко реагировал Писарев на помещение романа Тургеневым в реакционном журнале Каткова.

Писал ли Писарев статью о «Дыме» еще до отправки своего письма к Тургеневу — неизвестно; это показание Суворова не подкрепляется ника-

* И. С. Тургенев, Собрание сочинений, т. XI, изд-во «Правда», М. 1949, стр. 235.

** П. П. Суворов, Записки о прошлом, ч. I, М. 1898, стр. 102—103.

кими другими сведениями. Но мысль о такой статье не оставляла Писарева и позднее.

В письме к матери, В. Д. Писаревой, от 3 июля 1867 года, критик сообщает о своем свидании в конце июня с Н. А. Некрасовым и о приглашении со стороны последнего написать «статьи 2—3» для готовившегося тогда Некрасовым сборника. Согласившись на это предложение Некрасова, Писарев, как он указывает в этом письме, назвал три желательных для него темы: о «Дыме», о романах Андре Лео и о Дидро. «Все это, — сообщает Писарев, — Некрасов совершенно одобрил». * Однако уже вскоре после этого свидания в письме из Карабихи от 6 июля Некрасов отклонил одно из этих предложений Писарева. «Наши условия о двух статьях для сборника, — писал он, — остаются во всей силе. Что ж касается до третьей (об «Дыме»), то спешу сказать вам следующее. Я только теперь прочел эту повесть и, находя художественную ее часть безусловно прелестною, думаю, что едва ли мы с вами сойдемся во взгляде на другую ее часть — полемическую, или, так сказать, политическую». Поэтому Некрасов не считал возможным принять на себя обязательство опубликовать эту статью, «не зная, в чем будет заключаться ее содержание», в сборнике, им издаваемом. **

Очевидно, Некрасов, имея в виду позицию Писарева в отношении «Отцов и детей», не рассчитывал на то, что в его статье о «Дыме» будет дана достаточно резкая оценка «политической части» романа. В кн. 1 «Отечественных записок» за 1868 г. была помещена резкая статья о «Дыме» А. М. Скабичевского — «Новое время и старые боги».

[1] Несколько позднее, в феврале—апреле 1868 г., предпринимались попытки получить разрешение на выезд Писарева за границу для лечения, но ему было отказано в выдаче заграничного паспорта.

[2] *В том журнале, в котором я работал прежде...* — в «Русском слове», которое было закрыто в 1866 г.—... *и в том, в котором я работаю теперь...*— Имеется в виду журнал демократического направления «Дело», издававшийся Г. Е. Благосветловым с конца 1866 г. Сотрудничество Писарева в этом журнале было кратковременным, так как он вскоре разошелся с Г. Е. Благосветловым.

[3] Писарев имеет в виду прежде всего мнение об «Отцах и детях» редактора «Русского слова» Г. Е. Благосветлова и постоянного сотрудника этого журнала в 1862—1864 гг. Д. Д. Минаева. Последний, например, в фельетоне «Отцы или дети?» («Искра», 1862, № 15) отнесся к роману как к произведению, в котором в искаженном виде изображается тип «нового человека».

[4] В те годы, когда большая часть журналов, после введения нового цензурного устава 1865 г., подлежала рассмотрению цензуры лишь по выходе своем в свет, журнал «Дело» подвергался самой строгой предварительной цензуре. Эти цензурные тиски были крайне жестокими и в начале издания журнала.

---

* Евг. Соловьев, Д. И. Писарев, его жизнь и литературная деятельность. Изд. 2, СПб. 1894, стр. 142.

** Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. XI, М. 1952, стр. 85.

[5] Писарев имеет в виду нападки на роман Тургенева со стороны реакционных, в частности придворных кругов. Ср. свидетельство Тургенева в письме к А. И. Герцену от 17 мая 1867 г. о том, что роман его вызвал неудовольствие со стороны «людей религиозных, придворных, славянофилов и патриотов» (Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену, Женева, 1892, стр. 190). Об этом раздражении говорит и отношение к роману «Дым» Ф. И. Тютчева, близкого к славянофилам, с одной стороны, и к придворным, правительственным кругам, с другой. Он откликнулся на него стихотворением: «Здесь некогда могучий и прекрасный»... и эпиграммой: «И дым отечества нам сладок и приятен», в которых резко порицал роман.

[6] *Биндасов* — персонаж из «Дыма».

[7] *...одна глубоко фальшивая и неожиданно сладкая рулада*. — В тексте гл. XXVII романа в журнале «Русский вестник» было следующее место: «И только одно великое царское слово: «свобода» носилось как божий дух над водами». Поняв намек Писарева, Тургенев в ответном письме ему писал следующее: «А что до «рулады» в конце — вы знаете, что в операх бывают «вставные» фиоритуры, а иные нумера выкидываются: при отдельном издании текст восстановится» (Альманах «Радуга», П. 1922, стр. 223—224). Тургенев, таким образом, намекал здесь на редакторскую обработку, которой подверг текст романа Катков при опубликовании его в «Русском вестнике». В отдельном издании романа (М. 1868) слово *царская* из этой фразы было выброшено.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

Аббас-Мирза (1783—1833) — сын персидского шаха; один из инициаторов русско-персидской войны 1826—1828 гг. — **I**, 278—279.

Абеляр Пьер (1079—1142) — средневековый французский философ и богослов. — **IV**, 139.

Аблесимов Александр Онисимович (1742—1783) — поэт и драматург; автор комической оперы «Мельник, колдун, обманщик и сват». — **II**, 207; **III**, 106.

Август (63 до н. э. — 14 н. э.) — римский император (с 27 до н. э.) — **I**, 88, 122.

Аодеев Михаил Васильевич (1821—1876) — писатель, автор романа «Подводный камень» (1860). — **II**, *359*.

Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836—1905) — беллетрист, драматург и критик; сотрудник «почвеннического» журнала «Эпоха» (1864—1865 гг.). — **III**, 129—130, 256, 263—269, 284—285, 296.

Автор «Нерешенного вопроса» — см. Писарев Д. И.

Айвазовский Иван Константинович (1817—1900) — живописец-маринист. — **III**, 465.

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — публицист и поэт, один из ведущих представителей славянофильства; в 1861—1865 гг. редактор-издатель газеты «День». — **I**, 99; **II**, *334*; **III**, 269; **IV**, 129.

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — публицист, историк, филолог и поэт; видный представитель славянофильства. — **I**, 99, 336, **II**, 68.

Аксаковы — см. Аксаков И. С. и Аксаков К. С.

Александр I (1777—1825) — русский император (с 1801). — **I**, 106, 303; **IV**, 370, *384*, *385*, 386, *387*, *389*, *391*, *394*.

Александр II (1818—1881) — русский император (с 1855). — **II**, 120, 122—123, 124.

Александр Авонотихит (II в. н. э.) — греческий мистик. — **II**, 147.

Александр Великий — см. Александр Македонский.

Александр Македонский (356—323 до н. э.) — **I**, 63; **II**, 59, 89, 229; **III**, 90, 220, 244.

Александр Михайлович (1301—1339) — князь тверской, в 1325—1327 гг. — великий князь владимирский. — **III**, 263.

Александр Николаевич — см. Александр II.

Александров — поручик (точнее — капитан) русской армии; в 1861 г. был приговорен к расстрелу, замененному бессрочной каторгой, за попытку предотвратить расправу над демонстрацией в Варшаве. — **II**, 122.

Алексей Михайлович (1629—1676) — русский царь (с 1645). — **II**, 64, 78.

Алексей Петрович (1690—1718) — царевич, сын Петра I. — **II**, 92, 94—95.

Алкивиад (ок. 451—404 до н. э.) — афинский политический деятель и полководец; во время Пелопонесской войны возглавлял экспедицию в Сицилию. — **I**, 79; **III**, 90.

Альба Фернандо Альварес де Толедо, герцог (1507—1582) — испанский полководец и государственный деятель; наместник Нидерландов (с 1567), жестоко подавлявший освободительное движение. — **IV**, 191.

* В указатель включены имена исторических лиц, упоминаемые в сочинениях Писарева, вошедших в тт. 1—4 данного издания. Ввиду того, что по разным причинам (отчасти по цензурным условиям) Писарев не всегда называет прямо лицо, о котором идет речь, в настоящий указатель включены ссылки и на те страницы издания, где речь идет о том или ином лице или о его деятельности и произведениях, или даются цитаты из них, хотя это лицо прямо не называется. Во всех этих случаях ссылки на соответствующие страницы даны курсивом. Римские цифры обозначают том, а арабские — страницы томов данного издания. Краткие справки даются с учетом контекста, в котором упоминаются данные лица у Писарева.

Альберт Великий (Альберт фон Больштедт, граф) — (1193 (или 1207) — 1280) — немецкий теолог, видный представитель схоластической философии. — IV, 160.

Альбертини Николай Викентьевич (1826—1890) — публицист, умеренный либерал; сотрудник «Отечественных записок» А. А. Краевского и С. С. Дудышкина и газеты «Голос». — I, 144—147, 155; III, 455, 456.

Альфонс X (1226—1284) — король Леона и Кастилии (с 1252 по 1282), занимался астрономией, разработкой системы Птолемея. — II, 89.

Анаксагор (ок. 500—428 до н. э.) — древнегреческий философ, материалист. — I, 75.

Андерсен Ганс Христиан (1805—1875) — выдающийся датский писатель, автор сказок, поэт, драматург и романист.— I, 338, 339, 340, 348, 349.

Андрей Ольгердович (1325—1399) — князь полоцкий и псковский; служил у Дмитрия Донского и участвовал в Куликовской битве. — III, 268.

Андриё Франсуа (1759—1833) — французский поэт и драматург; автор лекций по эстетике; представитель позднего классицизма. — I, 307.

Анненков Павел Васильевич (1812—1887) — историк литературы и критик, сторонник «чистого искусства»; редактор сочинений А. С. Пушкина (1850—1860).— III, *355*, 367, 370, 380, 405—409, 411.

Аннибал — см. Ганнибал.

Антомарки Франческо (1780—1838) — итальянский врач, был на острове св. Елены при Наполеоне I; оставил воспоминания о нем. — IV, 206.

Антонины — римская императорская династия (96—192). — I, 151.

Антонович Максим Алексеевич (1835—1918) — философ-материалист и литературный критик демократического направления, сотрудник «Современника». — I, 125, 128—129, 284—285, *320*, *336—337*; III, *14*, 15, *16—18*, *24*, 36, 39, 291, 293—294, 301—305, 438—453, 456, 460, 462—464, 466, 468—476, 480—487, 490—491, *492*, 493—497, 501—511; IV, 11, 59, *127*.

Аполлоний Тианский (4 до н. э. — 96 н. э.)— греческий философ-неопифагореец, проповедник и мистик. — III, 452.

Араго Доминик Франсуа (1786—1853) — французский астроном и физик.—II, 177; III, 127.

Аретино Пьетро (1492—1556) — итальянский писатель, гуманист; автор памфлетов и писем, направленных против папского двора, европейских монархов и в защиту свободы мысли. — III, 509.

Аржансон Рене Луи Войе, д' (1694—1757)— французский государственный деятель и экономист, близкий к физиократам; короткое время был министром иностранных дел при Людовике XV, к правительству которого затем встал в оппозиционные отношения, — IV, 176—177.

Аристид (ок. 540—467 до н. э.) — древнегреческий политический деятель и полководец; получил эпитет Справедливого. — II, 379, IV, 157.

Аристотель (384—322 до н. э.) — великий древнегреческий философ. — I, 76, 93, 228; II, 71, 72, 89, 197, 206, 389; III, 88; IV, 247.

Аристофан (ок. 446—385 до н. э.) — выдающийся древнегреческий драматург, автор политических комедий. — II, 355.

Арминий (17 до н. э. — 21 н. э.) — вождь германского племени херусков, возглавивший восстание германских племен против римлян. — IV, 238.

Армстронг Уильям Джордж (1810—1900)— английский инженер и изобретатель (в частности — особой нарезной пушки). — II, 326.

Арним Людвиг Иоахим, фон (1781—1831)— немецкий поэт, глава гейдельбергского кружка романтиков. — IV, 235, 237.

Арсеньев Илья Александрович (1820—1887) — реакционный журналист, сотрудник «Северной пчелы», а затем газеты «Северная почта»; был связан с III отделением. — I, 349.

Арсеньев Константин Иванович (1789—1865) — географ, историк и статистик; автор популярного учебника «Краткая всеобщая география», — III, 144.

Архимед (ок. 287—212 до н. э.) — великий древнегреческий математик и механик. — II, 71, 72, 129; III, 473, 474, 504, 505.

Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813—1879) — реакционный писатель и публицист, издатель журнала «Домашняя беседа». — I, 112, 132, 133, 140, *146*, 223, 283, 284, 312, 313—314, 316; II, 124; III, 15, *137*, 218.

Астафьев Николай Александрович (1825—1906) — приват-доцент, а затем профессор Петербургского университета, историк; выведен у Писарева под именем Кавыляева — II, ***143—144***, ***145***, ***148***, ***150***.

Аттила (ум. 453) — вождь племени гуннов; предпринял несколько опустошительных походов на территорию Римской империи. — I, 141; II, 248; IV, 242.
Ахшарумов Николай Дмитриевич (1819—1893) — беллетрист и критик, сторонник теории «искусства для искусства». — I, 114; II, 333.

Бабеф Гракх (настоящее имя — Франсуа Ноэль; 1760—1797) — руководитель утопическо-коммунистического движения «равных» в период термидорианской контрреволюции во Франции. — II, 372; IV, 220.
Бабиков Константин Иванович (1841—1873) — беллетрист и поэт; сотрудник «Времени» и «Эпохи». — III, 282—284, 296.
Бабине Жак (1794—1872) — французский физик и астроном. — III, 127.
Бабст Иван Кондратьевич (1824—1881) — профессор Казанского, а затем Московского университета, экономист либерально-буржуазного направления. — I, 155.
Багратион Петр Иванович, князь (1765—1812) — генерал, выдающийся полководец. — IV, 383.
Байер Готлиб Зигфрид (1694—1738) — немецкий реакционный историк; работал в России; сторонник антинаучной «норманской теории» происхождения Руси. — II, 168.
Байрон Джордж Ноэль Гордон (1788—1824). — I, 24, 304, 351; II, 213; III, 94, 95, 97, 106, 201, *309*, 314, *347*, 364, 375, 376; IV, 221, 223.
Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — один из идеологов анархизма. — II, 122.
Бальзак Оноре, де (1799—1850). — I, 262; IV, 267.
Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт. III, *246*.
Барбье Огюст (1805—1882) — французский поэт-романтик, автор сборника «Ямбы» (1831), проникнутого революционными настроениями. — III, 97; IV, 241.
Барбье Эдмонд Жан Франсуа (1689—1771) — адвокат, автор дневника, содержащего материалы для характеристики Франции в царствование Людовика XV. — IV, 176.
Бастиа Фредерик (1801—1850) — французский буржуазный вульгарный экономист. — I, 155; III, 442.
Батте Шарль (1713—1780) — один из теоретиков французского классицизма; автор «Трактата об изящных искусствах». — I, 114.
Батый (ум. в 1255 или в 1253) — монгольский хан, основатель Золотой Орды, завоеватель Вост. Европы. — II, 267.
Батюшков Константин Николаевич (1787—1855) — поэт, один из предшественников А. С. Пушкина. — III, 377.
Баярд Пьер дю Терайль (1473—1524) — французский рыцарь, прославившийся подвигами в борьбе Франции с итальянскими республиками, испанцами и императором Карлом V. — I, 75.
Беатриче (ум. 1290) — возлюбленная Данте, воспетая им. — II, 136, 212, 213.
Беклар Жюль (1817—1887) — французский врач и физиолог. — III, 76.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — I, 4, 103, 108, 110, 131, 141, 207, 297, 318, 321; II, 65—66, 208, 338, 359, 376, 393; III, 35, 62, 63, 75, 109, 128, 219, 229, 244, 245, 300, 308, 313, 333—338, 342, 351—356, 363—371, 373—380, 384—386, 390, 394, 399—400, 410—412, 415—417, 439, 447, 448, 455, 496; IV, 215, 294—295.
Беллеваль (Бельваль) (род. 1704) — житель города Аббевиля в Пикардии, по проискам которого был казнен де ла Барр (*см.*). — IV, 169.
Беляев Иван Дмитриевич (1810—1873) — историк, профессор Московского университета, славянофил. — I, 99.
Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт, романтик; стихи его отличались склонностью к внешним эффектам и манерной изысканности. — I, 195.
Бентам Иеремия (1748—1832) — английский буржуазный правовед, проповедник утилитаризма. III, 135—136.
Беранже Пьер Жан (1780—1857) — французский поэт-демократ. — I, 338, 343, 344, 345, 347; II, 148, 149; III, 97.
Берг Федор Николаевич (1840—1909) — поэт-переводчик. — I, 338, 339, 340, *341*, *343—344*, 345, 348—349; II, 354.
Бергавен (Бургаве) Герман (1668—1738) — выдающийся голландский врач, химик и ботаник. — II, 82.
Бёрк Эдмонд (1729—1797) — английский публицист и политический деятель; выступал против французской буржуазной революции конца XVIII в. — II, 143.
Бернар Клод (1813—1878) — известный французский физиолог. — III, 75, 300.

Бёрне Людвиг (1786—1837) — немецкий публицист и критик; видный представитель мелкобуржуазной радикальной оппозиции. — I, 353; II, 340; III, 94, 98—99, 101, 201, 218, 344; IV, 27, 224—227, 228, 230—231, 232, 238.
Бёрнс Роберт (1759—1796) — великий шотландский поэт. — I, 348, 349—353; III, 94.
Берцелиус Иенс Якоб (1779—1848) — выдающийся шведский химик. — II, 257.
Бестужев Александр Александрович (1797—1837) (псевдоним — А. Марлинский) — писатель и критик, декабрист; в 30 гг. автор романтических повестей, подвергшихся резкой критике со стороны Белинского за склонность к внешним эффектам. — I, 195.
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829—1897) — профессор Петербургского университета, историк. — I, 147—152, *153*, 154, 155.
Бетховен Людвиг, ван (1770—1827) — I, 21; III, 115, 470, 481; IV, 261.
Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880) — демократический публицист, редактор журналов «Русское слово» (1860—1866) и «Дело» (1867—1880). — I, 133, 139, 146; III, *22*, 301, *302*, *304*, 305, 452, 453, 454, 456, 471—472.
Блан Луи (1811—1882) — историк, представитель французского утопического социализма; деятель революции 1848 г., вставший на путь соглашения с буржуазией. — III, 478; IV, 223.
Блументрост Лаврентий Лаврентьевич (1692—1755) — лейб-медик при дворе Петра I; первый президент Российской Академии наук. — II, 89, 90.
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатель; в 1863—1865 гг. редактор журнала «Библиотека для чтения». — III, 254, 296.
-бов. — Псевдоним Добролюбова Н. А. *(см.)*.
Богданович Ипполит Федорович (1743—1803) — поэт, автор поэмы «Душенька». — I, 318.
Бодянский Осип Максимович (1808—1877) — профессор Московского университета, филолог; один из основателей славяноведения в России. — III, 75.
Бозио Анджелина (1824—1859) — известная итальянская певица; имела большой успех в Петербурге, где выступала в 1856—1859 гг. — IV, 31.
Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский либерально-буржуазный историк и социолог-позитивист; автор «Истории цивилизации в Англии», пользовавшейся большой популярностью в России 60 гг. — I, 100, 156; II, 192, 373, 375, III, 75, 371—372; IV, 145, 149, 151, 153, 154, 177, 181, 198—199.
Болинброк (Болингброк) Генри Сент-Джон (1678—1751) — английский государственный деятель и писатель; философ-деист, один из лидеров партии тори. — IV, 163.
Бомарше (Пьер Огюстен Карон) (1732—1799) — выдающийся французский драматург. — IV, 152, 171—174, 181, 183.
Бонапарте. См. Наполеон I.
Бопп Франц (1791—1867) — выдающийся немецкий языковед; один из основоположников сравнительно-исторического метода в языкознании. — II, 157.
Борджиа (Борджа) — дворянский род в Италии; его представители — папа Александр VI и Чезаре Борджа, добивавшиеся в XV в. господства над Италией, в борьбе с противниками не гнушались никакими средствами, предавались разврату. — III, 509.
Борджиа Цезарь (Борджа Чезаре) (ок. 1476—1507) — сын папы Александра VI, правитель Романьи. — III, 510.
Борис (ум. 1015) — сын великого князя Киевского Владимира Святославича, удельный князь ростовский; был убит по приказанию своего брата Святополка. — I, 71.
Боско Бартоломео (1793—1863) — итальянский фокусник, выступавший в России. — II, 132, 338.
Боссюэ Жан Бениньь (1627—1704) — французский богослов и писатель, епископ, сочинения которого в XVIII в. считались образцовыми по слогу; идеолог католической реакции и абсолютизма. — I, 355; III, 106; IV, 140, 146.
Боссюэт. См. Боссюэ.
Боткин Сергей Петрович (1832—1889) — выдающийся врач-терапевт, основоположник физиологического направления в медицине. — III, 76, 78.
Брайт Джон (1811—1889) — английский буржуазный политический деятель; сторонник свободы торговли, в 40 гг. выступал против «хлебных законов» и привилегий земледельческой аристократии. — I, 144, 145, 146.
Брамбеус, барон. — Псевдоним Сенковского О. И. *(см.)*.
Брем Альфред Эдмунд (1829—1884) — немецкий зоолог, автор известной книги «Жизнь животных». — III, 115, 131—132.

Бризар (Жан Батист Бритар) (1721—1791) — французский актер. — IV, 182.
Бронн Генрих Георг (1800—1862) — немецкий зоолог и палеонтолог; сделал существенный вклад в разработку систематики животного мира (в работе: «Классы и порядки царства животных», 3 тт., 1859—1864). — III, 33.
Броун (Браун) Джон (1800—1859) — аболиционист — самоотверженный борец за освобождение негров в США, подготавливал восстание негров; в конце 1859 г. был захвачен, предан суду и повешен. — I, 218; III, 371.
Бруннов Филипп Иванович, граф (1797—1875) — дипломат, с 1860 г. был русским послом в Лондоне, реакционер. — II, *123*, 124.
Бруно Джордано (1548—1600) — великий итальянский философ-материалист. — II, 59; IV, 148.
Брут Марк Юний (85—42 до н. э.) — римский политический деятель, один из инициаторов республиканского заговора против Юлия Цезаря и убийства последнего. — II, 123, 125.
Брюллов Карл Павлович (1799—1852) — знаменитый живописец. — III, 299, 300, 480.
Буагильбер Пьер (1646—1714) — один из родоначальников классической буржуазной политической экономии во Франции; выступал с критикой феодальных порядков. — IV, 141, 143, 178.
Буало Николя (1636—1711) — французский поэт; один из крупнейших теоретиков классицизма; автор трактата в стихах «Поэтическое искусство». — I, 114; II, 389; III, 106; IV, 152.
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — реакционный беллетрист и журналист; агент III отделения; издатель и редактор газеты «Северная пчела». — I, 208, *280*, 316; II, 124; III, 403.
Бульвер (Булвер-Литтон) Эдуард (1803—1873) — английский писатель, романист. — I, 192; III, 111.
Бунге Николай Христианович (1823—1895) — русский вульгарный буржуазный экономист. — I, 155.
Бунзен Роберт Вильгельм (1811—1899) — немецкий химик; один из первых применил метод спектрального анализа. — III, 47.
Бурбоны — французская королевская династия; занимала престол с 1585 по 1792 г., а затем в 1814—1815 и 1815—1830 гг. — IV, 144, 418.
Буркард Иоганнес (ок. середины XV в. — 1606) — церемониймейстер при папской капелле с 1484; оставил «Дневник» («Diario»), содержащий яркие данные о жизни пап, в частности об Александре VI Борджа и его семействе. — III, 510.
Бурцев Василий Федорович — книгопечатник, издавший в Московской типографии в 1634 г. букварь, служивший долгое время пособием при обучении языку. — II, 53.
Буслаев Федор Иванович (1818—1897) — выдающийся русский филолог, языковед, историк литературы и искусства; представитель культурно-исторической школы; профессор Московского университета. — I, 132, 137, 293; II, 137; III, 75.
Бэйль (Бейль) Пьер (1647—1706) — французский мыслитель; предшественник французских просветителей XVIII в.; вел борьбу с религиозным догматизмом. — IV, 147, 152.
Бэкон Роджер (ок. 1214—1294) — монах-францисканец, английский философ и естествоиспытатель; за свои взгляды, шедшие в разрез с господствующей схоластикой, и за выступления против церковников подвергался преследованию. — IV, 160.
Бэкон Френсис (1561—1626) — английский философ, родоначальник английского материализма, выдающийся естествоиспытатель. — I, 123, 124, 353; II, 146, 316.
Бэр Карл Максимович (Карл Эрнст) (1792—1876) — выдающийся русский естествоиспытатель, зоолог, анатом и эмбриолог, академик. — III, 75—79.
Бюффон Жорж Луи (1707—1788) — известный французский естествоиспытатель; автор многотомной «Естественной истории». — II, 204; IV, 177.
Бюхнер Людвиг (1824—1899) — немецкий врач, физиолог; представитель вульгарного материализма. I, 283, 284; II, 27; III, 34, 36, 40, 130—131, 452, 467.

Ва (-в) М. (псевдоним) — автор статьи «Литературные впечатления новоприезжего» («Эпоха», 1864, кн. 11). — III, 254.
Вагнер Николай Петрович (1829—1907) — ученый-зоолог и беллетрист; автор ряда популярных статей по вопросам естествознания. — I, 121.
Вагнер Рихард (1813—1883) — знаменитый немецкий композитор. — III, 493.

Вагнер Рудольф (1805—1864) — немецкий физиолог; идеалист, веривший в существование души. — II, 382; IV, 198.
Вайц Теодор (1821—1861) — немецкий антрополог и психолог-идеалист. — IV, 198.
Валентин Габриель Густав (1810—1883) — физиолог, профессор Бернского университета. — III, 33.
Валуев Петр Александрович, граф (1814—1890) — государственный деятель; в 1861—1868 гг. — министр внутренних дел. — II, 120, 126.
Вальтер Скотт. См. Скотт В.
Ван-Дейк Антонис (1599—1641) — выдающийся фламандский живописец. — III, 324.
Вандик. См. Ван-Дейк.
Вар Публий Квинтилий (ок. 53 до н. э.— 9 н. э.) — древнеримский полководец; войско, руководимое им, было разгромлено германцами под руководством Арминия в битве в Тевтобургском лесу в 9 г. н. э. — IV, 238.
Варнек Константин Александрович (1828—1882) — художественный критик, его статьи о художниках печатались в 60 гг. в «Северном сиянии» и в др. журналах. — III, 495.
Василий II Темный (1415—1462) — великий князь Московский (с 1425); вел жестокую борьбу со своим дядей Юрием Галицким, претендовавшим на великокняжеский престол, и его сыновьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой; был ослеплен в 1446 г. Дмитрием Шемякой, откуда и его прозвище. — I, 71.
Василько Ростиславич (ум. 1124) — теребовльский князь, правнук Ярослава Владимировича, был ослеплен князем Давидом Игоревичем. — I, 71.
Вассиан Рыло (ум. 1481) — архиепископ ростовский, духовник и советник великого князя Ивана III; талантливый проповедник и публицист, защищавший политику великого князя — II, 207.
Вахновская С. — псевдоним писательницы Лодыженской Елизаветы Александровны (1828—1891), печатавшейся в 1850 гг. в «Русском вестнике». — I, 117.
Вашингтон Джордж (1732—1799) — выдающийся американский государственный деятель. — II, 10; III, 293.
Вебер Вильгельм Эдуард (1804—1891) — немецкий физик, работавший преимущественно в области изучения электрических и магнитных явлений. — III, 33.
Вебер Эрнст Генрих (1795—1878) — немецкий анатом и физиолог. — III, 33.
Веберы братья. См. Вебер Э. Г. и Вебер В. Э.
Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908) — поэт, переводчик, историк литературы; активный сотрудник ряда журналов 1860 гг.; в 1861 редактировал журнал «Век», где под псевдонимом Камень Виногоров выступил против Толмачевой Е. Э. *(см.).* — I, *83*, *103*, 104, 112, 295; III, 454; IV, 201, 203, 204, 205, 207.
Веллингтон Артур Уэлсли, герцог (1769—1852) — английский полководец и государственный деятель, консерватор; руководил английской политикой и военными силами в борьбе с Наполеоном I; союзные войска, находившиеся под его командованием, одержали победу в 1815 г. в битве при Ватерлоо. — IV, 218, 238.
Вергейм Карл Карлович — архитектор; избил в 1861 г. извозчика в Петербурге. — I, 133, *193*.
Вестрис Мари Роза Дюгазон (1746—1804) — французская трагическая актриса. — IV, 182.
Вивиани Винцентий (Винченцо) (1622—1703) — итальянский математик, ученик Галилея. — II, 89, 90.
Виктор Ипатьевич. См. Асколенский В. И.
Виллет Рен Филиберт Руф де Варикур, маркиза, де (1757—1822) — воспитанница Вольтера, к которой он был очень привязан; жена драматурга маркиза де Виллет. — IV, 182.
Вильгельм I Завоеватель (1027—1087) — герцог Нормандии (с 1035), завоевавший Англию и ставший ее королем (с 1066). — II, 246.
Вильгельм III Оранский (1650—1702) — правитель Нидерландов в 1674—1702 гг.; после переворота 1688 г. в Англии был призван вигами на английский престол. — III, 372.
Виргилий (Вергилий) Публий Марон (70—19 до н. э.) — выдающийся римский поэт, автор «Энеиды». — II, 197, 209; III, 106.
Вирхов Рудольф (1821—1902) — немецкий ученый, основатель клеточной (целлюлярной) патологии. — III, 33.
Витгенштейн Эмилий Карл Людвигович, князь (1824—1878) — сотрудник «Военного сборника» 1862 г., автор «Кавалерийских очерков». — II, 54.
Владимир Святой. См. Владимир Святославич.
Владимир Святославич (ум. 1015) — великий князь киевский. — I, 71, 325; II, 68.

Вобан Себастьен ле Претр (1633—1707) — маршал, выдающийся французский военный инженер и экономист; резко критиковал налоговую систему, существовавшую при Людовике XIV. — IV, 141, 142—143, 178.
Вовчок Марко (псевдоним Вилинской-Маркович Марии Александровны) (1834—1907) — выдающаяся украинская писательница-демократка. — I, 106.
Волков Александр Гаврилович (1775—1833) — поэт и переводчик; автор «Арфы стихогласной» (СПб. 1812). — III, 406.
Волконская Зинаида Александровна, княгиня (1792—1862) — писательница, преимущественно на французском языке, автор «Славянской картины V в.» (1820). — I, *330*.
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) (1694—1778). — I, 131, 262, 353; II, 361; III, 59, 60, 61—62, 63, 110; IV, 144, 147, 148, 149, 152, 155—170, 171, 177, 178, 179—180, 181—182, 183, 184, 188, 191, 222.
Вольф Христиан (1679—1754) — немецкий философ-идеалист, систематик и популяризатор философии Лейбница. — II, 89.
Воронов Михаил Алексеевич (1840—1873) — беллетрист; автор повестей и рассказов из жизни «дна»; сотрудничал в «Современнике», «Русском слове». — III, 302, 303.
Воскресенский Михаил Ильич (ум. 1867) — беллетрист реакционного направления, автор нравоописательных романов. — I, 50; II, 202; III, 218, 245.
Востоков Александр Христофорович (1781—1864) — академик, выдающийся филолог-славяновед; один из основоположников сравнительно-исторического метода в языкознании; автор «Русской грамматики» (1831). — I, 354; II, 156.
Вызинский Генрих Викентьевич — профессор истории в Московском университете в 1850—1860 гг.; автор ряда книг и статей, главным образом по всеобщей истории, в частности — книги «Англия в XVIII ст. Публичные лекции» (М. 1861). — II, 146.
Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878) — поэт и критик; до 1825 г. был близок к декабристам; позднее — реакционер; в 1855—1858 гг. — товарищ министра народного просвещения. — I, 137, 302, 303, 311—312, 319.

Гаварни Поль (псевдоним Шевалье Сюльписа Гийома) (1804—1866) — известный французский художник-рисовальщик. — I, 55.
Газан — ученый еврей, составитель астрономических таблиц для Альфонса X *(см.)*. — II, 89.
Гайм Рудольф (1821—1901) — немецкий историк философии и литературы. — I, 124; II, 158—160, 162, 164.
Галиани Фернандо, аббат (1728—1787) — итальянский буржуазный экономист; был послом в Париже; автор работы «Диалоги о хлебной торговле» (1770), в которой высказывался за ограничение вывоза хлеба и развитие промышленности. — IV, 181.
Галилей Галилео (1564—1642). — I, 156, 218; II, 173, 316; IV, 144, 198.
Ганнибал (Аннибал) (ок. 247—183 до н. э.) — выдающийся полководец, возглавлявший войска Карфагена во время Пунических войн. — III, 81.
Гарибальди Джузеппе (1807—1882). — II, 10; III, 70, 293; IV, 18—19, 44.
Гафиз (Хафиз) (собственно: Шемсадин Мухаммед) (1320—1389) — знаменитый персидский поэт. — II, 210.
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831). — I, 112, 121, 123, 124, 131, 132, 142, 323, 325, 332; II, 109, 152, 153, 157, 362; III, 73, 387, 443; IV, 237.
Гезман Луи Валентин (1730—1794) — французский судья; принимал участие в парламенте Мопу. — IV, 171, 172.
Гезман Габриэль Луиза Жамар — жена предыдущего. — IV, 171, 172, 173.
Гейбель Эммануэль (1815—1884) — немецкий поэт-романтик; сторонник теории «чистого искусства». — IV, 202.
Гейне Генрих (1797—1856) — I, 139, 274, 304, 338, 339, 343, 345—347, 348, 349, 353—356; II, 10, 340, 361, 387; III, 23, 62, 91, 95, 96—97, 99—103, 104, 105, 106, 139, 203, 293, 364, 453, 480, 481; IV, 27, 195, 200—208, 210—211, 213, 215, 220—228, 230—243.
Гексли (Хаксли) Томас Генри (1825—1895) — английский естествоиспытатель, ученик и соратник Ч. Дарвина, популяризатор его учения. — II, 382; III, 76.
Гелиогабал (Варий Авит Бассиан) (204—222) — римский император (с 218), известный своей расточительностью и развратом. — II, 64.
Гельвеций Клод Адриан (1715—1771) — выдающийся французский философ-материалист. — IV, 152, 157, 165, 177, 178.
Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821—1894) — замечательный немец-

кий естествоиспытатель; математик, физик, физиолог и психолог. — III, 33, 75.

Генгстенберг Эрнст Вильгельм (1802—1869) — профессор богословия в Берлине. — I, 356.

Геннеси (Поп-Геннеси) Джон (1834—1891) — член английской палаты общин в 1860 гг., тори. — III, 70.

Генрих VIII (1491—1547) — английский король (с 1509) из династии Тюдоров, известный своей жестокостью и деспотизмом. — II, 91.

Генрих IV (1553—1610) — французский король (с 1594), основатель династии Бурбонов. — I, 75.

Георг III (1738—1820) — английский король (с 1760), в связи с полным умопомешательством его с 1811 г. при нем было назначено регентство — II, 76.

Гераклит из Эфеса (ок. 530—470 до н. э.)— замечательный древнегреческий философ-материалист и диалектик. — I, 75.

Герберштейн Сигизмунд, барон (1486—1566) — немецкий дипломат и путешественник, дважды был с посольством от императора Максимилиана I в Москве; оставил «Записки о московитских делах» (1549). — I, 67.

Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий писатель и мыслитель, представитель философии Просвещения. — III, 314.

Геродот (ок. 484—425 до н. э.) — древнегреческий историк. — II, 140, 141, 142, 148.

Герострат — грек из Эфеса, в 356 г. до н. э. сжег храм Артемиды в Эфесе, желая тем прославить свое имя. — II, 10, 58.

Герц Анри (1803—1888) — пианист-виртуоз и композитор, основатель одной из лучших французских фортепианных фабрик. I, 11.

Герцен Александр Иванович (1812—1870). I, *107*, *110*, *131—132*, *247*; II, *15*, *18*, 121—125; III, *337*; IV, *267*.

Герцог Бургонский — Луи, внук Людовика XIV, отец Людовика XV (1682—1712). — IV, 141, 142.

Герцог Иоркский — брат английского короля Карла II; затем — король Яков II *(см.)*.

Геснер Саломон (1730—1788) — швейцарский поэт, писавший на немецком языке; автор «Идиллий». — III, 406.

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832). — I, 127, 131; II, 168; III, 44—45, 95, 96—99, 104, 105, 106, 246, 365, 375, 376, *445*, 450, 480, 481; IV, 181, 221, 223—224.

Геттнер Герман (1821—1882) — немецкий историк литературы-позитивист; автор «Истории всеобщей литературы XVIII в.» в 3 тт. (русск. перев. 1863—1875). —IV, 148, 149, 156, 157, 158, 159, 166, 168, 172, 173, 174, 181, 183, 192, 194.

Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский историк; автор многотомной «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776—1788). — III, 314.

Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский буржуазный историк и реакционный политический деятель. — I, 86, 132, 133, 149, 155, 324; II, 117, 143, 144, 146; IV, 199.

Гильдебранд. См. Григорий VII.

Гиртль Иосиф (1811—1894) — немецкий анатом. — III, 33.

Гладстон Уильям Эварт (1809—1898) — английский политический и государственный деятель, лидер либералов; в 1859—1865 г. — министр финансов в кабинете Пальмерстона. — III, 197; IV, 57.

Глеб (ум. 1015) — удельный князь муромский, сын великого князя киевского Владимира Святославича; был убит вместе с братом Борисом их старшим братом Святополком. — I, 71.

Глинка Михаил Иванович (1804—1857). — III, 299, 300.

Глэдстон. См. Гладстон У. Э.

Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — поэт, переводчик «Илиады» Гомера. — II, 210.

Говард Джон (1726—1790) — известный английский филантроп. — I, 161; III, 371.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852).— I, 4, 7, *20*, *22*, 59, 97, *149*, 164, *175*, 176, *207*, 213, 229, 271, 275, *276*, 279, 327, 349; II, *35*, *58*, 65, 135, *152*, 208, *335*, *337*, 340, 359, 384; III, *16*, *28*, *38*, 39, 62, 75, *87*, *98*, 106, 108, 109, 121, 128, *166*, *188*, *208*, 209, *221*, *233*, *234*, 239—240, *241*, 243, *262*, *278*, *319*, *356*, *361*, *362*, 363—364, *369*, 374, *384*, *406*, *407*, 411, 422, 446, 448, *508*; IV, 19, *57*, *72*, *80*, *156*, *190*, *195*, *246*, *254*, *257*, *258*, *259*, *260*.

Гогоцкий Сильвестр Сильвестрович (1813—1889) — профессор Киевской духовной академии, реакционный философ-идеалист; составитель «Философского лексикона» в 4 тт. (1857—1873) — I, *124—125*, *284*.

Голицын Николай Борисович, князь (1794—1866) — музыкант, поэт и переводчик; автор работ по вопросам музыки, военных и богословских сочинений; перевел на французский язык стихотворение А. С. Пушкина «Клеветникам России». — III, 408—409.

Голицынский А. П. — писатель, автор очерков из народного быта, выходивших в 1860—1870 гг. — I, 45, 47—55.

Гольбах Поль Анри (1723—1789) — выдающийся французский философ-материалист и атеист. — IV, 165, 180, 181, 187, 191, 192—194, 222.

Гомер. — I, 80, 95; II, *128*, 129, 181, 182, 197, 209, 210; III, *476*, 509.

Гончаров Иван Александрович (1812—1891). — I, 3—17, *19—20*, *28*, 32, 168—169, *176*, 192, *196*, 197—198, 201—211, 230, 231, 237, 242—248, *271;* II, 19, 177, *218*, 345, 348, 384; III, 185, *187*, *200*, 212, *361*, *362*, 446, 447, 448, *461*.

Гораций Флакк Квинт (65—8 до н. э.) — римский поэт. — I, 76; II, 128, 209; III, 106; IV, 221.

Горизонтов А. — составитель учебника «Естественная история для женских учебных заведений и для домашнего обучения» (Спб. 1859). — III, 81.

Горн Франц (1781—1837) — немецкий писатель и историк литературы; автор пятитомного сочинения «Драмы Шекспира». — I, 139.

Горчаков Александр Михайлович, князь (1798—1883) — лицейский товарищ А. С. Пушкина; крупный дипломат, выполнявший ряд дипломатических поручений с 1817 г.; с 1856 по 1882 г. — министр иностранных дел. — III, 382.

Гостомысл (IX в.) — по летописному сказанию — первый посадник новгородский — I, 304.

Готфрид Бульонский (ок. 1060—1100), герцог Нижней Лотарингии, один из предводителей 1-го крестового похода (1096—1099). — II, 128.

Готье Теофиль (1811—1872) — французский поэт, романист и критик. — I, 306.

Гракх Гай (153—121 до н. э.) — римский политический деятель; народный трибун в 123—122 г. до н. э., проведший ряд демократических преобразований; восстановил деятельность аграрных комиссий; погиб во время восстания своих сторонников, спровоцированного аристократией. — II, 200, 214; IV, 220.

Гракх Тиверий (Тиберий) (163—132 до н. э.) — старший брат предыдущего; римский политический деятель; народный трибун в 133 г.; выдвинул проект аграрного закона, согласно которому римские граждане наделялись землей, и создал комиссию по проведению этой аграрной реформы; был убит группой сенаторов-аристократов. — II, 200, 204, 214; IV, 220.

Гракхи. См. Гракх Тиверий и Гракх Гай.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк и выдающийся общественный деятель; профессор Московского университета. — I, 86; II, 137; III, 29—32, 483.

Греков Николай Порфирьевич (1810—1866) — поэт и переводчик. — I, 193.

Греч Николай Иванович (1787—1867) — реакционный журналист и беллетрист; сотрудничал с Булгариным; вместе с последним редактировал газету «Северная пчела» (до 1860 г.). — I, *280*.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829). — I, *22*, 205, *207*, *328;* II, *35*, 178; III, *69*, 106, *161*, *246*, *316*, *318*, *337*, 360, *361*, 362, 363, 364, *377*, 378, 448, *461*, *462*, *473;* IV, *8*, *149*, *245*, *257*, *258*, *259*, *260*, *267*, *374*.

Григорий VII (Гильдебранд) (1020—1085) — папа римский (с 1073). — IV, 414.

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864) — критик и поэт; в 50 гг. — член «молодой редакции» «Москвитянина»; в 60 гг. — сотрудник журналов «Время» и «Эпоха». — I, *27*, 111, 118, 211; II, 335; III, 129—130, 140, 206, 251—257, 280, 302, 304, 305, 363, 364.

Гримм Мельхиор, барон (1723—1807) — дипломат и писатель, один из представителей французского буржуазного просвещения XVIII в. — IV, 177, 181—182, 183, 187, 194.

Гримм Яков (Якоб) (1785—1863) — немецкий филолог, один из основоположников сравнительно-исторического языкознания. — II, 137, 151—152, 155, 156, 157.

Громека Степан Степанович (1823—1877) — либеральный публицист; сотрудник «Русского вестника» (в 1857—1858), а затем (с 1861) «Отечественных записок» Краевского; до начала журналистской деятельности — жандармский офицер; со второй половины 60 гг. — седлецкий губернатор; в «Отечественных записках» вел отдел «Со-

временная хроника России». — I, 280; II, *334*; III, 8.
Грот Джордж (1794—1871) — английский историк, автор «Истории Греции» (12 тт., 1846—1856). — II, 142.
Грот Яков Карлович (1812—1893) — известный филолог, академик; в начале 60 гг. сотрудничал в «Русском вестнике». — I, 285—291, 293—294; II, 142.
Грубер Иоганн Готфрид (1774—1851) — немецкий историк литературы, вместе с Эршем И. С. издавал «Всеобщую энциклопедию наук и искусств». — II, 140, 141.
Гуго Капет (ок. 940—996) — французский король (с 987), основатель династии Капетингов. — IV, 217.
Гуд Томас (1799—1845) — английский поэт, реалист, уделявший особенное внимание социальным мотивам. — III, 97.
Гумбольдт Александр (1769—1859) — выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник; автор труда «Космос» (5 тт., 1845—1862). — II, 161, 225; III, 33, 70, 385.
Гумбольдт Вильгельм (1767—1835) — брат предыдущего; видный немецкий филолог-идеалист и государственный деятель. — I, 67, 92, 123, 124; II, 137, 152, 153, 157, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 176.
Гурнэ Жан Клод Мари Винсент, де (1712—1759) — французский экономист, предшественник физиократов. — IV, 180, 184.
Гус Иоанн (Ян) (1369—1415). — I, 96, 218; II, 59; IV, 157.
Густав III (1746—1792) — шведский король (с 1771); пытался править в духе «просвещенного абсолютизма»; переписывался с Вольтером. — IV, *166*.
Гутенберг Иоганн (ок. 1400—1468) — изобретатель европейского способа книгопечатания. — I, 114.
Гуттен Ульрих, фон (1488—1523) — немецкий гуманист и политический деятель, один из авторов памфлета «Письма темных людей», направленного против средневековой схоластики и теологии. — I, 131, 136.
Гуцков Карл (1811—1878) — немецкий писатель, один из выдающихся представителей литературного направления «Молодая Германия». — IV, 235.
Гюго Виктор (1802—1885). — I, 307, 338, 341—342, *343*, 345, 347; III, 70, 89, 106, 111, 113.
Гюйо Арнольд Анри (1807—1884)—географ; работал в Америке. — II, 177.
Гюйссен Генрих, барон (ум. 1740) — воспитатель царевича Алексея Петровича; автор статей в «Europäische Fama» в защиту Петра I. — II, 91—94.

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839) — поэт. — II, *358*.
Д'Аламбер Жан Лерон (1717—1783) — французский математик и философ-просветитель. — IV, 177, 181, 192.
Данверз — член английской палаты общин (XVIII в.) — IV, 151.
Даниил Заточник — автор «Моления», выдающегося произведения древнерусской литературы XII—XIII вв. — II, 206.
Дант. См. Данте.
Данте Алигьери (1265—1321). — I, 80; II, 136, 212, 213; III, 95.
Дантон Жорж Жак (1759—1794) — деятель французской буржуазной революции конца XVIII в. — IV, 191, 400.
Дарвин Чарлз (1809—1882). — II, 387; III, 12, 75, 76, 105, 256, 289, 291, 300, 444, 481.
Датский король. См. Христиан VII.
Даш, графиня — псевдоним Габриэль Анны Систерн де Куртира, графини Сен Марс — (1804—1874) — французской писательницы, автора многочисленных романов. — I, 305.
Дебе Огюст (род. 1802) — французский врач, автор мнимонаучных книг по физиологии и медицине (напр., «Гигиена и физиология брака»).—III, 131, *133*.
Декандоль Альфонс (1806—1893) — швейцарский ботаник, один из основателей научной географии растений; сын Огюстена Пирама Декандоля — также выдающегося ботаника. — III, 75.
Декарт Рене (1596—1650) — выдающийся французский философ, физик, математик и физиолог. — IV, 148, 160.
Демокрит (ок. 460—370 до н. э.) — великий древнегреческий философ-материалист, атомист. — I, 75.
Демосфен (384—322 до н. э.) — афинский оратор и политический деятель. — II, 209.
Демулен Камиль (Камилл) (1760—1794) — журналист, деятель французской буржуазной революции 1789—1794 гг. — IV, 191.
Дени Луиза Миньо (1712—1790) — племянница Вольтера, близкая к нему. — IV, 182.
Дерби Эдуард, граф, лорд Стенли (1799—1869) — английский политический деятель, лидер тори (консерваторов). — IV, 12.

Державин Гавриил Романович (1743—1816). — I, 318; II, 85, 206, 207, *336*, 346, 355; III, 106, 109, 295.
Деформ — французский писатель, заключенный в Бастилию при Людовике XIV. — IV, 154.
Джафар (точнее: Джабир Ибн-Хайян) (721—815) — арабский алхимик; дал описание ряда химических веществ и способов их получения (напр., азотной кислоты). — III, 293.
Джонстон Джемс (1796—1855) — английский химик. — II, 177.
Джусти Джузеппе (1809—1850) — итальянский поэт, автор политических сатир, популярных в период борьбы за освобождение и объединение Италии. — III, 97.
Дидло Шарль Луи (Карл) (1767—1837) — известный балетмейстер, работавший в России. — III, 309, 315, 317.
Дидро Дени (1713—1784). — IV, 144, 152, 165, 176, 177, 181, 187, 188, 191—192, 193, 222.
Диккенс Чарлз (1812—1870). — I, 192; II, 135, 152, 340; III, 106, 111, 113; IV, 267.
Диоген (ок. 404—323 до н. э.) — древнегреческий философ, представитель школы киников; в образе жизни Диогена сказалось его стремление вернуться к «естественному» состоянию, отказаться от культуры. — II, 12; III, 41.
Диодор Сицилийский (ок. 80—29 до н. э.) — древнегреческий историк. — II, 140.
Дион Кассий (ок. 155 — ок. 235) — римский историк. — II, 140.
Дионисий Сиракузский. См. Дионисий Старший.
Дионисий Старший (ок. 431—367 до н. э.) — тиран (правитель) сиракузский (ок. 406—367 до н. э.). — II, 125.
Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт, ближайший друг и последователь Карамзина; в 1810—1814 был министром юстиции. — I, 56, 64, 303, 304, 318; II, *267*.
Дмитриев Николай Дмитриевич (1824—1874) — беллетрист, автор сб. «Недалекое прошлое» (1865). — III, 282.
Дмитрий Иванович Донской (1350—1389) — великий князь московский (с 1363). — III, 265—269.
Дмитрий Ольгердович (ум. 1399) — князь брянский и трубчевский, брат Андрея Ольгердовича (*см.*); участвовал в Куликовской битве. — III, 268.
Дмитрий Шемяка (1420—1453) — удельный князь галицкий, внук Дмитрия Донского; боролся за великокняжеский престол с Василием Темным; в 1446 г., на короткое время заняв престол, ослепил Василия. — I, 71.
Добровский Иосиф (1753—1829) — чешский славяновед, один из основоположников сравнительного славянского языкознания. — I, 67.
Добролюбов Николай Александрович (1836—1861). — I, 118, *210;* II, 178, 179, 180, 208, 338, 341, 343, 346, 359, 360, 363, 366, 368, 376; III, 15, 35, 43, 75, 128, 132, 140, 278, 280, 301, 303, 304, 366, 367, 369, 439, 446, 448, 449, 451—452, 456—460, *462*, 501, 506, 507, 508; IV, 106, 129, 277.
Долгомостьев Иван Григорьевич переводчик, в 1860 гг. сотрудник журналов «Время» и «Эпоха». — III, 256.
Долгоруков Петр Петрович, князь (1777—1806) — генерал-адъютант; приближенный и любимец Александра I. — IV, 375.
Домициан (51—96) — последний римский император (с 81) из династии Флавиев; отличался жестокостями; был убит группой заговорщиков. — I, 95; II, 76, 77.
Достоевский Федор Михайлович (1821—1881). — III, 109, 128, 251, 448; IV, 86, 89, 92, 94—98, 104, *105*, 107—108, *109*, 129—139, 316—318, *319*, 320, *321—322*, 323, *324—325*, 326, *327—333*, 334, *335—346*, *348—360*, 361, *362—365*, 366, *367—368*, 369.
Дружинин Александр Васильевич (1824—1864) — писатель и критик; сторонник теории «чистого искусства»; в 1850—1860 гг. выступал против демократического направления в литературе и критике. — III, 454, 456.
Дудышкин Степан Семенович (1820—1866) — журналист и критик; один из редакторов-издателей журнала «Отечественные записки» (в 1860—1866); сторонник теории «чистого искусства» и противник демократического направления. — I, *116*, 131, 138, 140, 154—156, *157*, 158—159; III, 16, *288*, 293, 296, 509.
Дункер Макс (1811—1886) — немецкий историк, автор «Истории древнего мира». — II, 142.
Дьяченко Виктор Антонович (1818—1876) — драматург. — III, 218.
Дэви Гемфри (1778—1829) — английский химик и физик. — II, 257.
Du Barry, доктор. — III, 509.
Дюбуа. См. Дюбуа-Гюшан.

Дюбуа-Гюшан Этьен Проспер (род. 1802) — государственный прокурор Папта; бонапартист; автор книги «Тацит и его век» (1861 г.), — I, 148, 149, 151, 152.
Дюбуа-Реймон Эмиль (1818—1896) — немецкий физиолог; автор известного труда «Исследования по животному электричеству» — III, 33, 75.
Дюверне Жозеф Парис (1684—1770) — французский финансист. — IV, 171.
Дюма Александр (отец) (1803—1870) — I, 199, 305; II, 134, *135*; III, 114, *131*, 417.
Дюпанлу Феликс Антуан Филибер (1802—1878) — французский католический проповедник и писатель, епископ орлеанский. — III, 467.
Дюссо — владелец ресторана в Петербурге. — III, 115, 480, 481, 502.

Евдокия Дмитриевна, княгиня (ум. 1425) — жена великого князя московского Дмитрия Донского. — III, 265—267.
Екатерина I (1684—1727) — русская императрица (с 1725). — II, 64.
Екатерина II (1729—1796) — русская императрица (с 1762). — IV, *166*, *168*.
Елагин Алексей Андреевич (ум. 1846) — отчим И. В. Киреевского. — I, 321.
Елизавета (1533—1603) — английская королева (с 1558); последняя из династии Тюдоров. — II, 112, 113, 246; IV, 191.
Елисеев Григорий Захарович (1821—1891) — публицист демократического направления; один из основных сотрудников «Современника»; вел в «Современнике» отдел «Внутреннее обозрение». — III, *497*, *506*, *510—511*.
Ершов Петр Павлович (1815—1869) — поэт, автор «Конька-Горбунка». — I, *339*.

Жадовская Юлия Валериановна (1824—1883) — писательница, автор лирических стихотворений и повестей. — I, 312.
Жан Жак. См. Руссо Ж. Ж.
Жанлис Стефани Фелисите (1746—1830) — французская писательница, автор романов и мелодрам слезливо-дидактического характера; ее сочинения пользовались в России популярностью у дворянского читателя первой четверти XIX в. — III, 341, 406.
Жанна д'Арк (ок. 1412—1431). — II, 395.
Железная маска — таинственный узник, содержащийся в Бастилии в 1698—1703 гг. на положении особо важного преступника — II, 323.
Жорж Занд. См. Санд Ж.
Жуванселъ Поль, де (род. 1820) — французский писатель, автор мнимонаучных «популярных» книг («Начала мира» и пр.). — III, 131, *133*.
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852). — I, 291, 293, 303, 304; II, *235*; III, 106, 108, 109, 295, *340*, 377, 378, 406.

Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — романист и драматург; автор исторических романов «Юрий Милославский», «Рославлев» и др. — II, 65; III, 245.
Зайцев Варфоломей Александрович (1842—1882) — демократический критик и публицист, один из основных сотрудников «Русского слова». — II, 334; III, 32, 301, 302, 367, 440—445, 447, 448, 449, 451, 472.
Заочный — псевдоним Ржевского В. К. *(см.)*.
Зарин Ефим Федорович (1829—1892) — критик и переводчик; сотрудник журналов «Библиотека для чтения» и «Отечественные записки» Краевского; яростно нападал на демократическую литературу и критику. — III, 16, 17, 290—299, 302, 368, 449, 508, 509, 510.
Зарянко Сергей Константинович (1818—1870) — живописец-портретист, ученик А. Г. Венецианова. — III, 308.
Захаров Иван Семенович (1754—1816) — писатель, председатель «Беседы любителей русского слова». — III, 406.
Зеленецкий Константин Петрович (1812—1858) — профессор Ришельевского лицея в Одессе; автор ряда книг по истории литературы и литературного языка, в частности учебника «История русской литературы» (1849). — II, 207.
Зибель Генрих, фон (1817—1895) — немецкий реакционный историк и политический деятель. — II, 145.
Зибольд Карл Теодор Эрнст (1804—1885) — немецкий зоолог; сторонник учения Дарвина. — III, 33.
Золотов Василий Андреевич (1804—1882) — педагог, автор многократно издававшейся «Азбуки». — I, 56, 63, 64, 67.
Зоркин — автор книги, обличающий шулерские приемы в карточной игре. — I, 50.
Зотов Никита Моисеевич (ок. 1644—1718) — учитель Петра I (в 1677—1680) и один из его приближенных. — II, 91.
Зотов Рафаил Михайлович (1795—1871) — исторический романист, драматург и

журналист. — I, 50; II, 85, 124, 202; III, 245.
Зуев Никита Иванович (1823—1890) — педагог; автор учебников «Руководство к познанию всеобщей истории» (1848) и «Учебной книги всеобщей истории» (1857). — II, 128, 145, 199.

Иаков II. См. Яков II.
Иван I Калита (ум. 1340) — московский князь (с 1325), великий князь (с 1328). — II, 128; III, 263.
Иван IV Грозный (1530—1584). — I, 137, 303, 304; II, 355; IV, 261.
Иван Яковлевич. См. Корейша И. Я.
Иванов Андрей Максимович — беллетрист и поэт, печатавшийся в 1850—1860 гг.; автор стихотворения «Слезы кукушки» в «Отечественных записках» за 1861 г.; псевдоним: Куку. — II, *351*.
Игдев — псевдоним Долгомостьева И. Г. *(см.)*.
Игорь (ум. 945) — великий князь киевский (с 912). — I, 70.
Излер Иван Иванович (1811—1877) — владелец кафешантана «Минеральные воды» в Петербурге.—IV, 263, 268, 272.
Измайлов Александр Ефимович (1779—1831) — писатель и журналист, баснописец. — I, 56, 64.
Incognito — псевдоним Зарина Е. Ф. *(см.)*.
Иоанн. См. Иван IV Грозный.
Иоанн Калита. См. Иван I Калита.
Иоанна д'Арк. См. Жанна д'Арк.
Иосиф I (1678—1711) — император «Священной римской империи» (с 1705). — II, *93*.
Ирод (73—4 до н. э.) — царь Иудеи (с 40 до н. э.). — II, 130.
Иронианский. См. Стасюлевич М. М.
Истомина Авдотья Ильинична (1799—1848) — танцовщица. — III, 360.
Ишимова Александра Осиповна (1804—1881) — детская писательница; издательница журнала «Звездочка» (1842—1863; для детей) и «Лучи» (1850—1860; для девиц). — II, 176.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — историк и юрист; представитель дворянско-буржуазного либерализма. — II, 137.
Кавеньяк Луи Эжен (1802—1857) — французский генерал, реакционер; организовал кровавую расправу с парижскими рабочими во время Июньского восстания 1848 г. — III, 479.
Кавур Камилло Бензо, граф (1810—1861) — итальянский государственный деятель; в 1852—1861 возглавлял министерство Пьемонта; лидер либеральной буржуазии. — I, 132, 133, 144, 145, 146, 155, 156; III, 455; IV, 44.
Кавыляев. См. Астафьев Н. А.
Кайданов Иван Козмич (1782—1843) — профессор Александровского лицея, автор ряда учебников истории, составленных в верноподданническом консервативном духе. — I, 151; II, 76, 199, 206; III, 153, 364.
Калам Александр (1810—1864) — швейцарский художник-пейзажист. — III, 465.
Калас Жан (1690—1762) — протестант из Тулузы; казненный колесованием по ложному обвинению в убийстве сына; процесс Каласа вызвал вмешательство Вольтера в защиту невинного старика против изуверства и фанатизма католической реакции. — IV, 167, 168, 169, 180.
Калас Марк Антон (Антуан) (1733—1761) — сын предыдущего. — IV, 167.
Каласы, семейство. — IV, 167, 168.
Калигула Гай Цезарь (12—41) — римский император (с 37), известный деспотизмом и сумасбродством; убит заговорщиками. — I, 95; II, 64, 76, 77.
Калидаса (IV—V вв.) — древнеиндийский поэт; автор драмы «Сакунтала» («Шакунтала») и др. — II, *210*.
Кальдерон Педро де ла Барка (1600—1681) испанский драматург. — III, 333.
Камбиз — древнеперсидский царь (529—522 до н. э.), предпринявший завоевательный поход в Египет. — II, 142.
Камень Виногоров — псевдоним Вейнберга П. И. *(см.)*.
Канова Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор. — III, 430, 481.
Кант Иммануил (1724—1804). — I, 131; III, 130, 320, 327; IV, 236, 237.
Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — писатель-сатирик и выдающийся просветитель. — III, 106.
Капетинги — династия французских королей (987—1328). — II, 247.
Капнист Василий Васильевич (1757—1823) — поэт и драматург; автор сатирической комедии «Ябеда». — III, 73.
Капфиг Раймонд Батист Оноре Жан (1802—1872) — французский историк, монархист. — II, 202.
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826). — I, 111, 291, 293, 303, 304, 318; II, 85, 375; III, 106, 272, 295, 405.
Карл Артуа. См. Карл X.

Карл Великий (ок. 742—814) — франкский король (с 768), а затем — император (с 800). — II, 71.
Карл V (1500—1558) — король Испании (1516—1556) и император «Священной Римской империи» (1519—1556). — I, 115.
Карл I (1600—1649) — английский король (с 1625) из династии Стюартов; казнен во время английской буржуазной революции. — II, 64; III, 372.
Карл X (1757—1836) — французский король (в 1824—1830); до занятия престола — граф д'Артуа; свергнут Июльской революцией 1830 г. — II, 64; IV, 174, 218.
Карл XII (1682—1718) — шведский король (с 1697). — II, *64*.
Карлейль Томас (1795—1881) — английский реакционный буржуазный философ, историк и публицист. — I, 349, 350, 351; III, 454.
Карнович Евгений Петрович (1824—1885)— беллетрист, журналист и историк, автор многочисленных исторических очерков, часто полубеллетристического характера, печатавшихся в журналах 1860—1880 гг. — I, 117.
Кассий Лонгин Гай (I в. до н. э.) — римский политический деятель; активно участвовал в заговоре против Юлия Цезаря (44 до н. э.). — II, 123, 125.
Кастрен Матиас Александр (1813—1852) — финский языковед и этнограф, путешественник. — III, 304.
Касторский Михаил Иванович (1807—1866) — профессор всеобщей истории Петербургского университета, славист; в «Нашей университетской науке» выведен под именем Креозотова. — II, *138—142*, *143*, *144*, *145*, *150*, *157*, *160*, *172*, *183*, *184*, *186*.
Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — реакционный публицист; в 1840 гг. был близок к кружку Белинского, сотрудничал в «Отечественных записках»; с 1856 — издатель и редактор журнала «Русский вестник», первоначально либерального направления; с начала 60 гг. и особенно с 1863 г. занял крайне реакционные позиции; с 1863 редактор газеты «Московские ведомости»; в своих статьях выражал монархическо-шовинистические взгляды, яростно нападал на демократическое движение. — I, *104—105*, *137*, *279—281*, *283—284*, 285, *294—295*, *312—316*, *319;* II, 167, *334*, 341, 357, *359;* III, 8, 16, 18, 87, 137, 238, 240, *254*, *260*, *280—282*, 401, 436, 448, 458, IV, *260*.
Катон Марк Порций Старший (234—149 до н. э.) — римский политический деятель, оратор и писатель; во время борьбы с Карфагеном настаивал на его разрушении; ввел суровые законы против роскоши. — II, 379; III, 510.
Катрфаж де Брео, Жан Луи Арман (1810—1892) — французский зоолог и антрополог, противник эволюционного учения Ч. Дарвина; автор книги «Единство рода человеческого» (русск. перев. — 1864 г.). — II, 133; III, 444.
Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842) — историк и критик; представитель «скептической школы» в русской историографии; сторонник классицизма в литературе; издатель журнала «Вестник Европы»; часто служил предметом нападок со стороны представителей нового направления в литературе, в частности — эпиграммы на Каченовского принадлежат А. С. Пушкину. — III, 406.
Келликер Рудольф Альберт (1817—1905) — немецкий анатом, гистолог и эмбриолог. — III, 33.
Кениг Генрих Иосиф (1790—1869) — немецкий писатель, автор исторических романов. — I, 159.
Кенэ Франсуа (1694—1774) — французский экономист, глава школы физиократов. — IV, 178, 180, 184.
Кеплер Иоганн (1571—1630) — замечательный немецкий астроном, последователь учения Коперника; открыл законы движения планет. — IV, 144, 345, 348, 349, 350, 351, 359, 368.
Кестльри Роберт Стюарт, лорд Лондондерри (1769—1822) — английский политический деятель, тори; один из активных участников Венского конгресса 1815 г., поддерживавший реакционную политику «Священного Союза». — IV, 218, 238.
Кине Эдгар (1803—1875) — французский политический деятель и историк; мелкобуржуазный республиканец.—III, 89.
Кир — древнеперсидский царь (ок. 558—529 до н. э.), основатель династии Ахеменидов. — I, 112; II, 142.
Киреевская (по второму мужу — Елагина; рожд. Юшкова) Авдотья Петровна — мать И. В. и П. В. Киреевских. — I, *321*.
Киреевские (дворянский род). — I, 327.
Киреевские (братья). См. Киреевский И. В. и Киреевский П. В.

Киреевский Василий Иванович (ум. 1812) — отец И. В. и П. В. Киреевских. — I, *321.*
Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) публицист и философ; один из идеологов славянофильства. — I, 99, 320—337.
Киреевский Петр Васильевич (1808—1856) — брат предыдущего; славянофил; собиратель русского фольклора.— I, 99.
Кирилл Туровский (XII в.) — епископ туровский, проповедник, автор ряда популярных в древней Руси и образцовых для своего времени произведений ораторского жанра — II, 149, 151, 206.
Кирхен — майор, служивший при Петре I. — II, 92.
Клеванов Александр С. — автор компилятивных работ по истории и истории древней философии и переводчик 1850—1860 гг. — I, 75, 76, 77, 78, 94.
Клоотс Анахарсис (Жан Батист) (1755—1794) — публицист, политический деятель французской буржуазной революции 1789—1794 гг.; активно боролся против христианской религии. — IV, 191.
Клопшток Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий писатель; автор поэмы «Мессиада». — I, 296, 355; III, *453;* IV, 222.
Клоц Анахарсис. См. Клоотс А.
Клюшников Виктор Петрович (1841—1892) — реакционный беллетрист; автор антинигилистического романа «Марево» (1864). — III, 95, 218—230, *231*, 233—236, *237*, 238—250, 254, *259*, 260, *271*, 274, *275—278*, 296, 442; IV, *255*.
Ко Н. — псевдоним Страхова Н. Н. *(см.)*
К-ов В. — псевдоним Клюшникова В. П. *(см.).*
Козлов Иван Иванович (1779—1840) — поэт и переводчик; автор романтической поэмы «Чернец» (1825). — III, 408.
Козлянинов Александр Павлович — вышневолоцкий помещик, избивший в 1860 г. даму в поезде Николаевской ж. д. — I, 133.
Кок Шарль Поль, де (1794—1871) — французский писатель, автор водевилей и романов фривольного характера. — I, 54; III, 62, 114, 219.
Колбасин Елисей Яковлевич (1831—1885) — беллетрист и критик, автор повестей и рассказов, печатавшихся в «Современнике» в 1850—1860 гг. — I, 117.
Колумб Христофор (1446 (или 1451) — 1506). — II, 60, 137; III, 371.
Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — I, 59; II, 135, 208; III, 94.
Комаровский Е. Е., граф. — I, 334.
Коммод (161—192) — римский император (с 180); известен жестокими расправами с своими противниками и фаворитизмом; убит заговорщиками. — II, 64.
Кондильяк Этьен Бонно, де (1715—1780) — французский философ-просветитель, сторонник сенсуализма. — IV, 176.
Кондорсе Жан Антуан, де, маркиз (1743—1794) — французский ученый, философ-просветитель. — IV, 166.
Кондырев Н. — переводчик «Старого порядка и революции» Токвиля (1861) — I, 145.
Константин Порфирородный (Багрянородный) (905—959) — император Византии (с 913), автор ряда сочинений, содержащих исторические сведения о Византии, Киевской Руси и др. — I, 71.
Конт Огюст (1798—1857) — французский философ и социолог, позитивист. — IV, 198—199.
Конти Луи Франсуа, принц (1717—1776) — IV, 173, 174.
Контский Аполлинарий (1825—1879) — польский скрипач-виртуоз и композитор; в 1853—1861 гг. жил и работал в Петербурге. — II, 337.
Конфуций (551—479 до н. э.) — древнекитайский философ. — II, 210.
Коперник Николай (1473—1543). — II, 10, 316; IV, 144, 148, 198, 218.
Копиевский (Копиевич) Илья Федорович (ум. после 1708) — типограф, переводчик и автор учебных пособий («Руководство к арифметике» и «Грамматики латинской и русской» и т. д.) — II, 85.
Корейша Иван Яковлевич (1780—1861) — московский юродивый, слывший среди московского дворянства и купечества прорицателем. — I, 283, 284; III, 162, 163, 169, 177.
Корнелий Непот (ок. 100 — ок. 27 до н. э.) — римский историк и писатель; автор биографических очерков о греческих полководцах, Катоне и др. — II, 379.
Корнелия (II в. до н. э.) — мать Гракхов *(см.)* — II, 200.
Корнель Пьер (1606—1684) — французский драматург, один из крупнейших представителей классицизма. — III, 62, 106; IV, 152.
Корреспондент одной газеты — «С.-Петербургские ведомости», описавший вечер с чтением Е. Э. Толмачевой *(см.)*. — I, 103.

Корф Модест Андреевич, барон (1800—1876) — реакционер, член государственного совета, с 1848 — член негласного комитета по наблюдению за книгопечатанием; автор составленной по поручению Николая I книги «Восшествие на престол императора Николая I» (1848), в грубо искаженном виде изображавшей восстание декабристов; уничтожающую оценку этой книги дали Герцен и Огарев. — II, 124.

Косица Н.—псевдоним Страхова Н. Н. *(см.)*.

Костомаров Всеволод Дмитриевич (1837—1865) — поэт-переводчик; известен своей предательской ролью в процессах М. Л. Михайлова и Н. Г. Чернышевского; сфабриковал подложные бумаги, которые фигурировали в качестве основных «вещественных доказательств» в деле Чернышевского. — I, 338, 340—347, 348—356; III, 454.

Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — русско-украинский буржуазный историк и беллетрист. — I, 98, 133, 137; II, 188; III, 30, 255, 264, 265, 454, 456.

Костров Ермил Иванович (ок. 1750—1796) — поэт и переводчик; впервые частично перевел «Илиаду» на русский язык. — II, 207.

Котошихин (Кошихин) Григорий Карпович (ок. 1630—1667) — подьячий посольского приказа, бежавший за границу; автор сочинения «О России в царствование Алексея Михайловича». — II, 342.

Коттен Мари (1770—1807) — французская писательница, автор сентиментальных романов, переводы которых были популярны в России в первой трети XIX в. — III, 341.

Кохановская Н. — псевдоним писательницы Сохаеской Надежды Степановны (1825—1884), близкой к славянофилам. — III, 269.

Кошелев Александр Иванович (1806—1883) — публицист, славянофил; издатель-редактор журнала «Русская беседа» (1856—1860); составитель материалов для биографии И. В. Киреевского. — I, 322, *327*, *333*.

Краевский Андрей Александрович (1810—1889) — журналист, редактор-издатель журнала «Отечественные записки» (1839—1867) и газеты «Голос» (1863—1884) умеренно-либерального направления; как издатель зарекомендовал себя дельцом-предпринимателем. — I, 141, 147; III, 471.

Крез — последний лидийский царь (ок. 560—546 до н. э.); считался одним из богатейших людей древности. — II, 142.

Кремпин Валериан Александрович (ум. 1889) — издатель-редактор журнала для девиц «Рассвет» (1859—1862). — II, *176*.

Креозотов. См. Касторский М. И.

Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895) — поэт и беллетрист, товарищ Писарева по университету; в начале 60 гг. был близок к демократическим кругам и являлся сотрудником «Русского слова»; во второй половине 60 гг. перешел в реакционный лагерь. — I, 133; II, 335, *338—339*, 350; III, 139.

Критий (ок. 460—403 до н. э.) — древнегреческий оратор и писатель, предводитель крайних кругов афинской олигархии; ученик Сократа. — I, 79.

Критик «Библиотеки для чтения» — автор неподписанной рецензии на повести Н. Д. Дмитриева в № 2 журнала за 1865 г. — III, 282.

Критик «Современника» — Антонович М. А. *(см.)*.

Кромвель Оливер (1599—1658) — выдающийся деятель английской буржуазной революции XVII в. — III, 372.

Круг Филипп Иванович (1764—1844) — историк, археолог и специалист по нумизматике; академик. — II, 168.

Крылов Иван Андреевич (1769—1844) — I, 56, 57, 64, 118, 316; II, *280*, 375; III, *12*, 106, 108, *228—229*, *252*, 448; IV, 253.

Ксенофонт (ок. 430—354 до н. э.) — древнегреческий историк. — II, 140.

Ксеркс — древнеперсидский царь (в 486—465 до н. э.); предпринял поход против греков; жестоко подавлял угнетенные персами народы; был убит в результате дворцового переворота. — I, 95.

Кугушев Григорий Васильевич, князь (1824—1871) — малозначительный драматург и беллетрист. — I, 117.

Кудрявцев Петр Николаевич (1816—1858) — прогрессивный историк и писатель, профессор Московского университета; ученик Т. Н. Грановского. — I, 86; III, 29.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — писатель; автор романов и повестей, ходульно-романтических драм и казенно-верноподданнических пьес «Рука всевышнего отечество спасла», «Князь Скопин-Шуйский» и др. — II, 395; III, 40, 103, 299, 378.

Кулибин Иван Петрович (1735—1818) — выдающийся механик, конструктор и изобретатель. — I, 56, 64, 72, 73.
Кулиш Пантелеймон Александрович (1819—1897) — украинский писатель, публицист, переводчик, этнограф и историк; буржуазный националист. — III, 248.
Кульман Елизавета Борисовна (1808—1825) — поэтесса и переводчица. — I, *329—330*.
Купер Фенимор (1789—1851). — II, 134; III, 114, 131.
Курбский Андрей Михайлович, князь (1528—1583). — I, 137.
Курсов Платон Александрович (1834—1909) — поэт, переводчик и фельетонист; малозначительный представитель направления «чистого искусства». — I, 315, 316.
Куторга Степан Семенович (1805—1861) — зоолог, профессор Петербургского университета. — II, 177.
Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745—1813) — IV, 374.
Кушелев-Безбородко Григорий Александрович, граф (1832—1870) — меценат, беллетрист; издатель журнала «Русское слово» (в 1859—1862). — III,471—472.
Кэри Генри Чарлз (1793—1879) — американский вульгарный буржуазный экономист. — I, 155; II, 231.
Кювье Жорж (1769—1832) — выдающийся французский естествоиспытатель.—I, 67.
Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797—1846) — поэт и драматург, декабрист; друг А. С. Пушкина. — III, 383.

Ла Балю Жан, де (1421—1491) — кардинал, министр при Людовике XI. — I, 96.
Ла Барр де (1747—1766) — французский молодой дворянин, казненный колесованием по ложному обвинению в богохульстве; в его защиту писал Вольтер. — IV, 167, 168—169.
Лаблаш граф — наследник финансиста Дюверне, против которого вел процесс Бомарше. — IV, 171, 172.
Лабрюйер Жан, де (1645—1696) — французский писатель; автор знаменитой книги «Характеры или нравы этого века» (1688), содержащей острые сатирические характеристики, афоризмы, диалоги и т. д. — IV, 289.
Лавальер Луиза Франсуаза, герцогиня Лабом Леблан, де (1644—1710) — фаворитка Людовика XIV. — II, 213.
Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — философ, социолог и публицист; по своим философским взглядам — эклектик; с конца 60 гг. идеолог народничества. — I, 125—131, 132; III, 139, 439.
Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794) — выдающийся французский химик. — II, 257, 363.
Лагранж Жозеф Луи (1736—1813) — французский математик и механик. III, 322.
Лакиер Александр Борисович (1825—1870) — историк и путешественник; автор «Русской геральдики» (1855) и «Путешествия по Северо-американским штатам, Канаде и острову Кубе» (1859), содержавшего яркий материал для характеристики этих стран. — I, 67; II, 177.
Ламанский Евгений Иванович (1825—1902) — специалист по финансовым вопросам; с 1860 г. товарищ управляющего государственным банком. — II, 66.
Ламарк Жан Батист Пьер Антуан (1744—1829) — французский естествоиспытатель, создавший теорию эволюционного развития живой природы. — III, 322.
Ламартин Альфонс, де (1791—1869) — французский поэт-романтик, историк и политический деятель. — I, 355.
Ламетри Жюльен Офре (1709—1751) — французский философ-материалист. — IV, 176.
Ламотт-Удар (Гудар де Ламотт) Антуан (1672—1751) — французский писатель. — III, 62.
Ланге, барон — генерал, польский посланник при дворе Петра I. — II, 92—93.
Ландграф Гессенский — Фридрих II (1720—1785). — IV, 168.
Ланнер Иосиф Франц Карл (1801—1843) — австрийский композитор, автор танцевальной музыки. — I, 253.
Лаплас Пьер Симон (1749—1827) — выдающийся французский астроном, математик и физик. — III, 322.
Лапрад Пьер Мари Виктор де Ришар (1812—1883) — французский поэт, член Французской академии. — I, 306.
Ларошфуко Франсуа, де, герцог (1613—1680) — французский писатель-моралист; автор известной книги «Размышления, или Сентенции и максимы о морали» (1665). — IV, 289.
Лас-Каз (Лас-Казес) Эммануэль Огюст, граф (1766—1842) — был близок к Наполеону I, за которым последовал на

остров св. Елены; оставил мемуары о пребывании Наполеона на острове. — IV, 206.

Лассаль Фердинанд (1825—1864) — немецкий социалист; основатель лассальянства — одного из оппортунистических течений в рабочем движении Германии. — III, 442—443, 478; IV, 223.

Латюд Жан Анри (также: Данри, Мозер) (1725—1805) — французский лейтенант, по приказу маркизы де Помпадур за интриги против нее был посажен в Бастилию; в заключении пробыл с 1749 по 1784 г. — IV, 132, 154.

Лаубе Генрих (1806—1884) — немецкий писатель и режиссер; в начале деятельности — участник литературного направления «Молодая Германия». — IV, 235.

Лафайет Мари Жозеф Поль (1757—1834) — деятель французской буржуазной революции 1789—1794 гг. и Июльской революции 1830 г., генерал; в молодости участвовал в борьбе американских колоний за независимость; представитель крупной буржуазии. — IV, 227, 228, 241.

Лафонтен Август (1758—1831) — немецкий писатель, автор сентиментальных романов. — III, 355.

Лафонтен Жан, де (1621—1695) — выдающийся французский поэт-баснописец. — I, 309; IV, 289.

Лебедев Владимир Александрович — студент Петербургского университета; участник студенческих волнений в октябре 1861 г. — II, 120.

Лебретон Андре Франсуа (1708—1779) — французский книгоиздатель; издатель «Энциклопедии». — IV, 191, 192.

Легран Л. — парфюмер. — III, 509.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — великий немецкий ученый, математик, философ-идеалист. — II, 71, 86—88, 89; IV, 160.

Лейстер (Лейчестер) Роберт Дедли, лорд (1532—1588) — фаворит английской королевы Елизаветы. — II, 113.

Леман Иоганн Георг Христиан (1792—1860) — немецкий ботаник-систематик. — III, 33.

Ленц Эмилий Христианович (1804—1865) — выдающийся физик, академик; автор «Руководства к физике» для гимназий, выдержавшего несколько изданий. — I, 67.

Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874) — профессор классической филологии в Московском университете, реакционный журналист; сотрудник журнала Каткова «Русский вестник»; с 1863 г. вместе с М. Н. Катковым — редактор газеты «Московские ведомости». — I, 132; III, 240, *254*, *281—282;* IV, *260*.

Леопарди Джакомо (1798—1837) — итальянский поэт; в его произведениях отражены мотивы борьбы Италии за национальное освобождение. — III, 97.

Лепехин Иван Иванович (1740—1802) — академик, выдающийся естествоиспытатель и путешественник. — III, 304.

Лерберг Аарон Христиан (1770—1813) — член Петербургской академии, историк; автор «Исследований, служащих к объяснению русской истории». — II, 168.

Лермантов — книгоиздатель. — I, 56, 63, 64, 67.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841). — I, *20*, 59, 97, *107*, 154; II, *15*, *17*, *21*, *34*, 129, 135; III, *28*, 32, *33*, *34—36*, *41*, *60*, 73, 108, *141*, *242*, 245, 448; IV, *267*, 304.

Леру Пьер (1797—1871) — французский социалист-утопист; первоначально — последователь Сен-Симона, затем — создатель системы т. наз. «христианского социализма»; автор книги «О человечестве» (1840). — III, 87—89, 100.

Лесков Николай Семенович (1831—1895) — выдающийся писатель; в 60 гг. был враждебен демократическому движению; автор антинигилистического романа «Некуда» (1864). Псевдоним: М. Стебницкий. — III, 259—263, *271*, 296, 442, 454; IV, *255*.

Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781) — великий немецкий писатель-просветитель. — IV, 215.

Летеллье Мишель (1603—1685) — министр при Людовике XIV; известен фанатической враждой к протестантам, содействовал отмене Нантского эдикта. — IV, 191.

Либих Юстус (1803—1873) — выдающийся немецкий химик. — II, 257; III, 33, 47, 72, 105, 256, 289, 300, 481; IV, 198.

Ливий Тит (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города». — II, 140.

Ливингстон Давид (1813—1873) — английский путешественник, исследователь Африки. — II, 177.

Ликург — законодатель Спарты, по преданию живший в IX в. до н. э., с именем которого связывались наиболее древние установления. — II, 62; IV, 345.

Лильберн Джон (ок. 1614—1657) — политический деятель английской буржуазной революции XVII в., руководитель мелкобуржуазной демократической партии левеллеров («уравнителей»). — **III**, 372.
Линней Карл (1707—1778) — шведский естествоиспытатель; создатель систематики растительного и животного мира.— **II**, 232.
Ло (Лоу) Гудзон (1769—1844) — английский губернатор острова св. Елены во время пребывания на нем Наполеона I; установил строгий режим для Наполеона I. — **II**, 213; **IV**, 206.
Локк Джон (1632—1704) — английский философ, виднейший представитель сенсуализма. — **I**, 123.
Локке. См. Локк Дж.
Ломени де Бриенпь Этьен Шарль (1727—1794) — архиепископ тулузский, кардинал; министр при Людовике XVI в 1787—1788 гг. — **IV**, 183.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765). — **I**, 318; **II**, 89, 91, 185, 186, 206, 207, 219, 224; **III**, 95, 106, 109, 295.
Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875) — библиограф и историк литературы; первоначально — член кружка «Современника»; с 1860 гг. — реакционер; сотрудничал в «Русском вестнике» Каткова. — **I**, 294, 295—297, 302—309, 311—312, 318; **III**, 106, 367—368.
Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807—1882) — американский поэт. — **I**, 355.
Дондондерри маркиз. См. Кестльри Р. Ст.
Лоран Жан Эмиль (род. 1830) — французский экономист; автор работ о пауперизме и обществах взаимопомощи. — **III**, 113.
Лоррен Клод (Желле) (1600—1682) — знаменитый французский живописец-пейзажист. — **III**, 465.
Лохвицкий Александр Владимирович (1830—1884) — профессор Александровского лицея; юрист-криминалист, либеральный журналист; сотрудничал в газете «Голос» Краевского. — **III**, 305.
Лудвиг — капитан; служил в войсках Петра I. — **II**, 92.
Луи Филипп (1773—1850) — французский король (в 1830—1848) — **I**, 353; **II**, 64; **III**, 330.
Луитпранд (Лиутпранд) (ок. 922 — ок. 972) — епископ кремонский, средневековый историк; был секретарем и послом императора Оттона I; автор ряда сочинений, содержащих значительный фактический материал о его времени; в его сочинениях имела место идеализация Оттона I. — **II**, 145.
Лукан Марк Анней (39—65) — римский поэт; участник заговора против Нерона; приговоренный к смерти, покончил жизнь самоубийством. — **II**, 339.
Львов Николай Михайлович (1821—1872) — драматург, автор комедий в духе либеральной «обличительной литературы» (в частности — «Предубеждение, или не место красит человека, а человек—место»).—**I**, 204; **II**, 341; **III**, 235.
Льюис Джордж Генри (1817—1878) — английский философ-позитивист, последователь Конта; физиолог, популяризатор идей Дарвина; автор популярной «Физиологии обыденной жизни» (1860; русск. перев. 1861—1862). — **II**, 376; **III**, 59, 76, 130.
Людовик Великий. См. Людовик XIV.
Людовик IX «Святой» (1215—1270) — французский король (с 1226) из династии Капетингов. — **II**, 247; **IV**, 389.
Людовик XI (1423—1483) — французский король (с 1461), из династии Валуа. — **I**, 95; **II**, 81.
Людовик XIV (1638—1715) — французский король (с 1643) из династии Бурбонов.— **I**, 106, 305; **II**, 71, 80, 81, 84, 89, 96, 146, 213, 336; **III**, 111, 428; **IV**, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 152, 162, 183, 216, 222, 288, 405—406, 418.
Людовик XV (1710—1774) — французский король (с 1715); правнук Людовика XIV, наследовавший ему. — **II**, 336; **III**, 428; **IV**, 143, 171, 175, 177, *186*, *187*, 216, 405—406, 418.
Людовик XVI (1754—1793) — французский король (в 1774—1792) из династии Бурбонов; казнен по приговору Национального конвента. — **II**, 336; **IV**, 174, 183, 400, 403, 405—406.
Людовик XVIII (Станислав Ксаверий) (1755—1824) — французский король (с 1814) из династии Бурбонов. — **IV**, 217.
Людовик-Филипп. См. Луи Филипп.
Лютер Мартин (1483—1546) — основатель протестантизма в Германии. — **I**, 325; **II**, 144, 197, 213; **IV**, 45.
Ляйель Чарлз (1797—1875) — английский естествоиспытатель; один из создателей современной геологии. — **III**, 75, 105, 256, 481.

М. — См. Макашев В. В.
Мабли Габриель Бонно, де, аббат (1709—1785) — французский мыслитель, представитель утопического коммунизма. — **IV**, 181.

Магеллан Фердинанд (Фернан) (1480—1521) — знаменитый португальский мореплаватель. — III, 372; IV, 144.
Магомет (Мухаммед) (ок. 570—632) — араб из Мекки; проповедник, считающийся основателем ислама. — IV, 161, 242, 345.
Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт. — I, 196, 230; II, 331, 335, *338—339*, 350; III, *256*, 296, *369*, *430*.
Макаров Николай Петрович (1810—1890) — лексикограф (составитель «Французско-русского» и «Русско-французского» словарей), беллетрист (псевдоним: Гермоген Трехзвездочкин). — I, 277.
Макиавелли Никколо (1469—1527) — итальянский писатель, политический мыслитель; видный идеолог буржуазии в эпоху Возрождения. — I, 65.
Мак-Куллох Джон Рамсей (1789—1864) — английский буржуазный вульгарный экономист. — II, 310.
Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — английский буржуазный историк, публицист и политический деятель; виг, противник всеобщего избирательного права. — I, 77, 86, 155; II, 134, 135, 145, 146, 147, 152, 177; III, 30, 31, 34, 35, 463; IV, 199.
Макушев Викентий Васильевич (1837—1883) — ученый-славист; товарищ Писарева по Петербургскому университету. — II, *169—170*.
Мал (X в.) — древлянский князь. — I, 70.
Малерб Кретьен Гийом (1721—1794) — французский политический деятель; директор книжной торговли, член французской академии. — IV, 151, 180.
Мальборо Джон Черчилль (1650—1722) — английский полководец и политический деятель; беспринципный интриган. — II, 146; IV, 240.
Мальтус Томас Роберт (1766—1834) — английский реакционный буржуазный экономист, священник. — II, 252—254, 257—258, 298; III, 31, 450; IV, *70*.
Мамай (ум. 1380) — темник (военачальник) и правитель Золотой Орды, предпринявший поход на Москву, кончившийся полным поражением его войска в Куликовской битве. — III, 263, 264, 265.
Манзони (Мандзони) Алессандро (1785—1873) — итальянский поэт, драматург и романист. — III, 315.
Марий Гай (156—86 до н. э.) — римский полководец и политический деятель; неоднократно был консулом; провел реформу армии, вербуя в нее пролетариев (неимущих). — I, 150; II, 213.
Мария-Антуанетта (1755—1793) — французская королева, жена Людовика XVI; казнена по приговору революционного трибунала. — IV, 174, 225.
Мария Стюарт (1542—1587) — шотландская королева (в 1560—1567). — II, 246.
Марк Аврелий (121—180) — римский император (с 161); философ школы стоиков; автор книги «Наедине с собой», проникнутой идеями смирения, покорности судьбе. — I, 88.
Марков Евгений Львович (1835—1903) — беллетрист и критик умеренно-либерального направления. — III, 288—290, 295.
Марлинский. См. Бестужев А. А.
Масман Ганс Фердинанд (1797—1874) — немецкий филолог, профессор; националист; постоянный предмет резких насмешек со стороны Гейне. — IV, 238.
Матвеев Андрей Артамонович, граф (1666—1728) — дипломат и государственный деятель при Петре I. — II, 96—97.
Медведев Симеон Агафоникович (в монашестве — Сильвестр) (1641—1691) — церковный деятель; поэт, ученик Симеона Полоцкого. — II, 207.
Мей Лев Александрович (1822—1862) — поэт, драматург и переводчик; сторонник «чистого искусства». — I, 195, 196.
Меланхтон (собственно: Шварцерд) Филипп (1497—1560) — один из деятелей Реформации в Германии, друг и сподвижник Лютера, богослов и педагог; враг Т. Мюнцера и крестьянского восстания. — I, 325.
Ментенон Франсуаза д'Обинье, маркиза (1635—1719) — фаворитка и тайная жена Людовика XIV. — II, 213.
Менцель Вольфганг (1798—1873) — немецкий писатель и критик; нападал на Гете; с реакционно-националистических позиций преследовал писателей «Молодой Германии». — IV, 238.
Меншиков Александр Данилович (1673—1729). — II, 91, 92, 93, 94, 95.
Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830) — поэт, критик и переводчик; сторонник поэтики классицизма. — III, 367.
Мерль д'Обинье Жан Анри (1794—1872) — швейцарский богослов-протестант и историк; автор «Истории Реформации в XVI в.» (1835—1860). — II, 144.

Мерсье де ла Ривьер Поль Пьер (1720—1793) — французский экономист; видный представитель школы физиократов. — IV, 180, 184.
Мессалина Валерия (I в. н. э.) — жена римского императора Клавдия; известна своим чрезвычайным распутством. — I, 316.
Меттерних Клеменс, князь (1773—1859)— австрийский государственный деятель и дипломат; крайний реакционер; один из вдохновителей и организаторов «Священного союза»; правительство Меттерниха было свергнуто революцией 1848 г. — I, 105; II, 81, 194, 349; III, 452; IV, 22, 213, 215, 218, 226, 238.
Миддендорф Алексей Федорович (1815—1894) — естествоиспытатель и путешественник, академик. — III, 304.
Микель-Анджело Буонаротти (1475 — 1564). — III, 425, 510.
Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский буржуазный экономист, философ-позитивист. — I, 100, 155, 156, 192; II, 104, 253, 258, 269; III, 450, 451, 463.
Мильн-Эдвардс Анри (1800—1885) — французский зоолог; крупный систематик; противник эволюционных идей в биологии. — I, 121; II, 133; III, 75.
Мильтон Джон (1608—1674) — великий английский поэт, публицист; участник английской буржуазной революции XVII в. — I, 80; II, 264; IV, 222.
Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835 — 1889) — поэт-сатирик демократического направления и переводчик; в «Русском слове» в 1861—1864 гг. вел сатирический отдел «Дневник Темного человека». — I, 133, 135.
Минин Козьма (Кузьма Минич Захарьев-Сухорук) (ум. 1616). — II, 282, 355, 395; III, 253, 254, 255, 256, 263, 271.
Мирабо Оноре Габриель Рикетти, граф (1749—1791) — деятель французской буржуазной революции конца XVIII в.; крупный оратор, избранный в Генеральные штаты как представитель третьего сословия; в ходе революции стал агентом королевского двора. — II, 143; IV, 225, 227.
Митридат VI Евпатор (132—63 до н. э.) — царь Понтийского царства (с 114 до н. э.). — II, 128.
Михайлов А. — псевдоним Шеллера А. К. (*см.* Шеллер-Михайлов).
Михайлов Михаил Ларионович (1829—1865) — писатель, публицист и переводчик; видный представитель революционного демократического движения 60 гг. — I, 104, 112; II, 120, 121, 122, 123.
Мицкевич Адам (1798—1855). — III, 364.
Мишле Жюль (1798—1874) — французский историк и публицист; мелкобуржуазный республиканец и демократ; враг монархии и католицизма. — II, 146; III, 47, 89.
Молешотт Якоб (1822—1893) — немецкий физиолог, автор нескольких популярных книг по физиологии (в частности — «Физиологические эскизы»), вульгарный материалист. — I, 123, 133, 158; II, 27; III, 33, 139, 225, 439, 452, 506.
Молинари Густав, де (1819—1912) — бельгийский буржуазный вульгарный экономист, ярый враг социализма; сотрудничал в 1850—1860 гг. в «Русском вестнике» Каткова. — I, 318; II, 167.
Мольер (Поклен) Жан Батист (1622—1673). — II, 208; III, 106, *319;* IV, 152.
Моммзен Теодор (1817—1903) — немецкий историк; автор выдающегося труда «История Рима». — II, 142, 145.
Монбальи (ум. 1770) — житель г. Сент-Омера, казненный по ложному подозрению в убийстве матери; по инициативе Вольтера его процесс был пересмотрен и он посмертно оправдан. — IV, 167, 169.
Монбальи — мать предыдущего. — VI, 169.
Монбальи— жена предыдущего.— IV, 169.
Монталамбер Шарль Форб, де, граф (1810—1870) — французский реакционный публицист, ярый защитник католицизма. — I, 355; II, 146.
Монтень Мишель (1533—1592) — французский философ; автор «Опытов», направленных против схоластики и теологии. — IV, 289.
Монтепен Ксавье, де (1823—1902) — французский романист и драматург. — I, 305.
Монтескье Шарль Луи (1689—1755) — французский писатель, философ-просветитель. — IV, 144, 152, 175, 177, 179.
Монтеспан Франсуаза Атенаис, де, маркиза (1641—1707) — фаворитка Людовика XIV. — II, 213.
Мопу Рене Николя, де (1714—1792) — министр (канцлер) при Людовике XV.— IV, 171, 173, 174.

Мордвинов Николай Семенович, граф (1754—1845) — видный государственный деятель, экономист, президент Вольного экономического общества. — I, 303.
Морелли — французский коммунист-утопист; автор «Кодекса природы»(1755).— IV, 176—177.
Морис Саксонский (1696—1750) — французский полководец, маршал. — IV, 154.
Моро-Кристоф Луи Матюрен (1799—1881)— генеральный инспектор тюрем во Франции; автор ряда книг о пенитенциарной системе заключения в духе ее оправдания. — III, 446.
Моррис Роберт (1734—1806) — американский финансист и политический деятель, сторонник правого крыла движения за независимость американских колоний. — II, 266.
Морфи Пауль (1837—1884) — американский шахматист. — III, 115, 481.
Мотлей Джон (1814—1877) — американский историк, автор «Истории нидерландской революции». — II, 177.
Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791).— III, 115, 300, 502.
Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — замечательный русский актер-трагик.— III, 299, 300.
Мульдер Герард Иоганнес (1802—1880) — голландский химик, исследователь белковых веществ. — III, 33.
Мур Джон (1729—1802) — английский писатель. — I, 350.
Мэльборо. См. Мальборо Дж.
Мюссе Альфред, де (1810—1857) — французский поэт-романтик. — I, 304.

N. — автор статьи о «Солдатской беседе» Погосского в «Русском вестнике» Каткова. — I, 298—301.
Н. О. — псевдоним Энгельгардт С. В. *(см.)*
Н. С. — автор книжек для народного чтения. — I, 56, 69—72.
Навуходоносор II — вавилонский царь (604—562 до н. э.); вел завоевательные войны; овладел Сирией, Финикией и Палестиной. — II, 128, 129, 334.
Надир-шах (1688—1747) — персидский шах (с 1736); неоднократно предпринимал завоевательные походы в Закавказье, Среднюю Азию, Афганистан; установил жестокий режим; был убит заговорщиками. — IV, 242.
Наполеон I Бонапарт (1769—1821). — I, 317; II, 59, 234, 282—283, 312, 329; IV, 185, *206*, 236, 237, 238, 240—242, 345, 360, 364, 378, 389, 391, 392, 394, 400—401.
Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) (1808—1873) — французский император (в 1852—1870). — I, 112.
Нарская Е. — псевдоним писательницы — княгини Натальи Петровны Шаликовой (ум. 1878), помещавшей в 1850—1860 гг. свои повести в «Русском вестнике». — I, 117.
Неизвестный поэт, воспевавший в «Отечественных записках» «Слезы кукушки». См. Иванов А. М.
Нейгебауэр Мартин — до 1704 г. воспитатель царевича Алексея Петровича; автор сочинения, направленного против Петра I и его режима. — II, 91—94.
Неккер Жак (1732—1804) — министр финансов при Людовике XVI; пытался провести ряд частных реформ, чтобы предотвратить крушение старого режима. — IV, 182—183, 412.
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1878). — I, *193*, 196, 230, 244, 275; II, 360; III, 109, 128, 202, *295*, 304, 305, 402, 448, *462*, 482; IV, *295*.
Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752—1828) — поэт. — I, 318.
Нерон (37—68) — римский император (с 54) отличавшийся жестокостью. — II, 77, 147, 283; III, 509.
Нестор (1056 — ок. 1114) — монах Киево-Печерского монастыря; ему приписывается составление древнерусского летописного свода — «Повести временных лет». — I, 122; II, 150, 151, 206, 214.
Нибур Бартольд Георг (1776—1831) — выдающийся немецкий историк; автор «Римской истории»; внес критический метод в исследование исторических источников. — I, 86; II, 137, 142.
Никитенко Александр Васильевич (1805—1877) — литературовед, профессор Петербургского университета, академик; умеренный либерал; в 1860 гг. — член Совета по делам книгопечатания; в 1862 г. — редактор официозной газеты «Северная почта», предпринятой Валуевым; враждебно относился к демократическому движению, в частности — к журналам «Современник» и «Русское слово». — II, 120.
Новалис (собственно: Фридрих фон Гарденберг) (1772—1801) — немецкий писатель-романтик. — III, 450; IV, 237.
Новицкий Орест Михайлович (1806—1884) — профессор Киевской духовной

академии, реакционный философ-идеалист. — I, 124.

Нодье Шарль (1780—1844) — французский писатель-романтик. — I, 307.

Ньютон Исаак (1643—1727). — II, 232; III, 12, 372, 385, 474, 504; IV, 198, 211, 345, 348, 349, 350, 351, 359, 360, 368.

Ободовский Александр Григорьевич (1796—1852) — профессор Педагогического института и инспектор воспитательного дома; автор учебников — «Краткой всеобщей географии», «Учебной книги всеобщей географии» и др. — III, 127, 144, 153.

Обручев Владимир Александрович (1836—1912) — публицист, по образованию военный, сотрудник «Современника»; активный участник революционно-демократического движения 60 гг.; за распространение прокламации «Великорусс» № 2 был арестован в октябре 1861 г. и сослан на каторжные работы.— II, 121, 122, 123,

Овидий Публий Назон (43 до н. э. — 17 н. э.) —римский поэт. — III, 106.

Овсянников Филипп Васильевич (1827—1906) — академик, физиолог и гистолог; в 1856 г. была опубликована (на немецком языке) его работа (совместно с Н. М. Якубовичем) «Микроскопические исследования начал нервов в большом мозгу». — III, 76, 78.

Огарев Николай Платонович (1813—1877)— I, *131—132*.

Озеров Владислав Александрович (1769—1816) — драматург; его трагедии занимали значительное место в театральном репертуаре начала XIX в. — III, 106, 378.

Окен Лоренц (1779—1851) — немецкий естествоиспытатель, натурфилософ-идеалист. — II, 106.

Олег (ум. 912) — древнерусский князь. — III,, 322, 324.

Ольга (ум. 969) — древнерусская княгиня. — I, 64, 69, 70, 71.

Ольридж (Олдридж) Айра Фредерик (ок. 1807—1867) — знаменитый негритянский актер-трагик; с конца 50 гг. выступал в России. — III, 114.

Омеара Барри Эдвард (1786—1836) — английский врач, был врачом при Наполеоне I во время его пребывания на острове св. Елены; издал дневник, в котором описал жизнь Наполеона на острове. — IV, 206.

Основский Нил Андреевич (ум. 1871) — писатель, автор охотничьих рассказов и повестей; печатался в «Современнике» и «Русском вестнике». — I, 117.

Островский Александр Николаевич (1823—1886). — I, 45, 106, 126; II, 208, 355, 358, 366—368, *369—371*, *378*, *384*, 394—395; III, *71*, 109, *137*, 192, 194, 227, *241*, 253, 255, 257, 263, 269—271, *301*, *305*, *425*, 448, *456—460*, *462*.

Оттон I (912—973) — германский король (с 936) и император «Священной Римской империи» (с 962). — II, 145.

Оуэн Ричард (1804—1892) — английский зоолог, палеонтолог и анатом; противник дарвинизма. — II, 382.

Оуэн Роберт (1771—1858) — великий английский социалист-утопист. — I, 156; II, 382; IV, 19, 27, 44.

Павлов Николай Филиппович (1805—1864)— писатель и журналист; в 30 гг. — автор реалистических повестей антикрепостнического направления; в 60 гг. стал на реакционные позиции; издатель-редактор газеты «Наше время» (1860—1863), субсидировавшейся правительством и нападавшей на демократическое движение. — III, 8, 18.

Павлов Платон Васильевич (1823—1895) — профессор истории в Петербургском университете; либерал; за речь о тысячелетии России в марте 1862 г. выслан царским правительством в Ветлугу с запрещением читать публичные лекции. — II, 120; III, 255.

Павловский Аркадий Ильич (ум. 1889) — педагог; автор учебников и учебных пособий по географии. — III, 144.

Паллас Петр Симон (1741—1811) — член Петербургской академии наук; путешественник и естествоиспытатель. — III, 304.

Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784—1865) — английский государственный деятель; один из лидеров вигов; в 1855—1865 — премьер-министр. — I, 132, 144, 145, 146; III, 393; IV, 57.

Панаев Иван Иванович (1812—1862) — писатель, журналист; с 1847 — один из редакторов «Современника»; в «Современнике» систематически публиковались его фельетоны и пародии (под псевдонимом: Новый поэт). — IV, 267.

Панаева Авдотья Яковлевна (1819—1893)— писательница; автор повестей и романов, печатавшихся в «Современнике» (псевдоним: Н. Станицкий). — III, 15.

Парижский архиепископ — Кристоф де Бомон дю Репер (1746—1781). — IV, 176.

Паскаль Блез (1623—1662) — выдающийся французский математик, физик, философ и писатель; автор направленных против иезуитов «Писем к провинциалу» и сб. «Мысли». — IV, 289.

Пекарский Петр Петрович (1828—1872) — историк, академик; автор работы «Наука и литература в России при Петре Великом» (2 тт., 1862), богатой фактическим материалом. — II, 51—54, 56—57, 65, 67, 82—83, 85, 90, 91.

Пенн Уильям (1644—1718) — английский политический деятель, квакер; основатель колонии Пенсильвания в Северной Америке. — II, 266.

Перикл (ок. 490—429 до н. э.) — руководитель афинской рабовладельческой демократии в период ее наивысшего расцвета. — I, 232.

Петр I (1672—1725). — I, 61, 334; II, 33, 51, 56, 57, 64—72, 77, 78, 80, 81—84, *85*, 86—92, 94—97; IV, 143.

Петрарка Франческо (1304—1374) — великий итальянский поэт эпохи Возрождения. — II, 213.

Петров Антон (1824 (?)—1861) — крестьянин с. Бездны Спасского у. Казанской губ., руководивший вспыхнувшим там в 1861 г. восстанием крестьян; расстрелян по приговору военно-полевого суда в апреле 1861 г. — II, 123.

Петров Василий Петрович (1736—1799) — поэт, одописец. — I, 318.

Пизарро Франсиско (ок. 1471—1541) — испанский конкистадор, завоеватель Перу. — II, 245.

Пикколо М. — художник, автор иллюстраций к книге А. П. Голицынского «Уличные типы». — I, 45, *55*.

Пиль Роберт (1788—1850) — английский государственный деятель, умеренный тори; в 1834—1835 и 1841—1846 — премьер-министр; в 1846 г. провел отмену хлебных пошлин. — IV, 43—44.

Пинетти — итальянский фокусник, гастролировавший в Петербурге в 1860 гг. — II, 132.

Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — знаменитый хирург; общественный деятель, публицист и педагог. — I, 132.

Пирр (319—272 до н. э.) — царь Эпира, полководец; в 279 до н. э. одержал победу над римскими войсками при Аускуле, стоившую ему, однако, очень крупных потерь. — II, 161.

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868). — I, 133; III, *201*, 254, *301*, 302, 304, 440, 446—449, 451—453, 456, 462—464, 470—472, 496, 497, *502*; IV, 425.

Писарева Варвара Дмитриевна (рожд. Данилова) (1815—1880) — мать критика. — III, 7, *453*, *482*.

Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881). — I, 45, 160, *161*, 163—164, *165—167*, 168—169, *170—171*, 172, *174*, *189—191*, 192, *196*, 197, *203*, *207*, 209, 211—214, *217—219*, 220—221, *222*, 223—227, *228*, 229—230, 231, 237, *244*, 248, 249, 272—273, 316; II, *34*, 341—343, 347—348, *356*, 358; III, 41, 109, 257, 258—260, *361*, *362*, 404, 446, 447, 448; IV, *255*.

Питт Уильям Младший (1759—1806) — английский государственный деятель, тори; в 1783—1801 и в 1804—1806 — премьер-министр; инициатор коалиций против революционной и наполеоновской Франции. — IV, 191.

Пифагор (ок. 580—500 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист и математик. — I, 75.

Плантагенеты — династия английских королей (1154—1399). — II, 246.

Платон (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист. — I, 75—82, 87—96, 112, 123, 132, 228; II, 71, 72, 109, 197, 209, 269; III, 34, 88.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — реакционный историк и публицист, писатель; в 1841—1856 — издатель-редактор журнала «Москвитянин». — I, 98, 137; II, 66, 168; III, 257.

Погосский Александр Фомич (1816—1874) — писатель; издатель журнала «Солдатская беседа» (1858—1863). — I, 56, 66—67, 298—301.

Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801—1867) — брат Н. А. Полевого; критик и публицист; первоначально — ближайший сотрудник брата по изданию «Московского телеграфа»; позднее — реакционер, враждебно относившийся к передовой литературе; сотрудник «Северной пчелы» Булгарина. — I, 316.

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — журналист, критик, писатель и историк; в 1825—1834 г. издатель прогрессивного журнала «Московский телеграф»; после его закрытия перешел на реакционные позиции; в 40 гг. — автор нескольких псевдопатриотических драм (в частности — «Параша-сибирячка» (1840); в 40 гг. как критик выступал против Гоголя и его направления. — II, 65; III, 40, 95, 299.

Полежаев Александр Иванович (1804—1838) — поэт. — III, 108.

Поливий (Полибий) (ок. 201 — ок. 120 до н. э.) — древнегреческий историк; автор «Всеобщей истории» — II, 140.
Полонини — итальянский певец. — III, 292.
Полонский Яков Петрович (1820—1898) — поэт. — I, 157, 193, 195, 196, 293; II, 52, 391; III, 103, 255, 296, *369*, 409, 446.
Поль де Кок. См. Кок Шарль Поль.
Помпадур де, маркиза (Жанна Антуанетта Пуассон) (1721—1764)— фаворитка Людовика XV, пользовавшаяся неограниченным влиянием. — IV, 154.
Помяловский Николай Герасимович (1835—1863). — III, 185, *186*, 187, 189—191, *192—193*, 194—197, *198*, 199—205, *206*, 207, *208—212*, 213, *214—217*, 224, *295*, 417, 454, 496; IV, 86, 88, 89, 91—98, 101—106, *109—111*, 112—114, *115*, 116, *117—118*, 119, *120—121*; 122—123, *124*, 125—126, *127—128*, 129, 133, *134*, 139.
Поп Александр (1688—1744) — английский поэт, классик и просветитель. — IV, 163.
Попов Василий Петрович (1828—1886) — журналист, сотрудник журнала «Русское слово»; автор обзорных статей по иностранной литературе. — II, 360.
Посторонний сатирик — псевдоним Антоновича М. А. *(см.)*.
Потт Август Фридрих (1802—1887) — немецкий языковед; труды его сыграли значительную роль в развитии сравнительно-исторического метода в языкознании. — II, 157.
Прескотт Уильям Хиклинг (1796—1859)— американский историк; автор работ по истории Испании и испанских завоеваний в Америке. — II, 177.
Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социалист, вульгарный экономист, анархист. — I, 318; II, 393; III, 47, 89, 297, 478; IV, 223.
Прусский король (начало XVIII в.). См. Фридрих I.
Прусский король (середина XVIII в.). См. Фридрих II.
Прутков Кузьма (Козьма) — литературный псевдоним, под которым выступали с сатирическими стихотворениями, пародиями и «афоризмами» поэты А. К. Толстой, А. М. и В. М. Жемчужниковы. — II, 147.
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837). — I, *20*, 31, 59, 97, 103, 110, 117; 131, 136, 138, 182, *207*, 279, 304, 312, 316, 318; II, 13, *15*, *17*, 24, 65, *67*, 124, 135, 184, 206, 208, 359; III, *28*, 36, 37, 39, 40, 73, 106, 108, 109, 200, 232, 233, 272, 290, 291, 293, 294—295, 299, 306—311, *312*, 313—319, *320*, 321—324, *325—326*, 327—328, *329*, 330—331, *332*, 333—334, *335—336*, 338—340, *341—342*, 343—344, *345—346*, 347, *348—349*, 350—357, *358—359*, 360, *361*, 362—365, *369*, 370, 373—391, *392*, 393—401, *402*, 403—415, 448; IV, *249*, *262*, *267*, 292—294, *295*.
Пфлюгер Эдуард Фридрих Вильгельм (1829—1910) — немецкий физиолог. — III, 33.
Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — историк литературы; сотрудник «Современника» — I, 137.

Расин Жан (1639—1699) — французский драматург, один из крупнейших представителей классицизма. — I, 304, 305; III, 62, 106; IV, 152.
Ратацци Урбан (Урбано) (1808—1873) — итальянский государственный деятель; буржуазный либерал; в 1859—1860 гг.— премьер-министр Сардинского королевства; в 1862 г. — премьер-министр Италии. — II, 172.
Рафаэль Санцио (1483—1520). — I, 344; III, 62, 115, 300, 421, 425, 426, 480, 481, 502.
Редактор (журнала для девиц). См. Кремпин В. А.
Рейнгольд Карл Леонард (1758—1823) — немецкий философ-идеалист, популяризатор философии Канта. — III, 130.
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669). — III, 30, 115.
Решетников Федор Михайлович (1841—1871) — писатель-демократ. — III, 284—285.
Ржевский Владимир Константинович (1811—1885) — крупный чиновник министерства внутренних дел; реакционный публицист; сотрудничал в «Русском вестнике» Каткова и в официозной газете «Северная почта» (псевдоним: Заочный). — I, 349.
Ригер Иоганн Христофор — голландский врач, был лейб-медиком Анны Иоанновны. — II, 90.
Рикардо Давид (1772—1823) — английский экономист, один из основных представителей классической буржуазной политической экономии. — II, 252—253, 258, 298; III, 31.
Римский император. См. Иосиф I.
Рио — французский протестант, которого

в 1685 г. во время драгоннад пытками принудили перейти в католичество. — IV, 145.
Риттер Генрих (1791—1869) — немецкий философ-идеалист, автор многотомной «Истории философии». — I, 151—152.
Рихау К. — книгоиздатель. — I, 45.
Ричард III (1452—1485) — английский король (с 1483). — III, 454.
Ришелье Арман Жан дю Плесси, герцог (1585—1642) — кардинал, первый министр и фактический правитель Франции при Людовике XIII, стремившийся к упрочению абсолютизма. — I, 306; II, 81.
Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — вождь якобинцев во время французской буржуазной революции конца XVIII в. — IV, 179, 191, 236, 400.
Роган де — французский аристократ, за ссору с которым Вольтер поплатился заключением в Бастилии. — IV, 149.
Романов Александр Николаевич. См. Александр II.
Романовы — династия русских царей и императоров (1613—1917). — II, 126.
Ромодановский Федор Юрьевич, князь (ум. 1717) — один из ближайших сотрудников Петра I; начальник Преображенского приказа; во время заграничного путешествия Петра в 1697—1698 гг. управлял государством с титулом «князя-кесаря». — II, 91.
Россель (Рессель) Джон, лорд (1792—1878) — английский политический деятель, лидер вигов; в 1859—1865 гг. — министр иностранных дел в кабинете Пальмерстона. — I, 132, 133, 146; III, 455; IV, 50, 57.
Ростислав — псевдоним Толстого Ф. М. *(см.)*.
Рошер Вильгельм Георг Фридрих (1817—1894) — немецкий реакционный экономист; основатель т. наз. исторической школы в политической экономии. — III, 450.
Рубенс Петер Пауль (1577—1640). — III, 220.
Рубини Джованни Баттиста (1795—1854) — знаменитый итальянский певец; в 40 гг. выступал в Петербурге. — III, 115.
Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894) — выдающийся композитор и пианист. — II, 338.
Румфорд, Томпсон Бенджамин, граф (1753—1814) — английский физик; занимался филантропией. — IV, 233, 234, 235.
Руссо Жан Жак (1712—1778). — III, 103; IV, 143, 144, 152, 176, 179, 183, 184, 186—191, 415, 416.
Рюисдаль (Рейсдаль) Якоб, ван (1628 или 1629—1682) — выдающийся голландский живописец-пейзажист. — III, 465.
Рюйш (Рейш) Фредерик (1638—1731) — голландский анатом, изобретатель особого способа бальзамирования. — II, 90.
Рюрик (ум. 879) — по летописному преданию — родоначальник русской княжеской династии. — I, 70, 304.

Саади Муслихиддин (1184—1291) — персидский поэт. — II, 210.
Савельев Павел Степанович (1814—1859) — археолог и нумизмат; автор «Мухаммеданской нумизматики в отношении к русской истории» (1846). — II, 168.
Савонарола Джироламо (1452—1498) — итальянский проповедник, религиозный реформатор, боровшийся с папством; был отлучен папой Александром VI от церкви и сожжен на костре. — I, 196; II, 59.
Салтыков Михаил Евграфович (Н. Щедрин) (1826—1889) — I, 114, 116, 117; II, 331, 340—355, 357—358, 360—361, 363, 365; III, 17, 38, 73, 105, 132, 170, 189, *210*, 240, 303, *401*, *445*, *506*.
Сальванди Нарсис Ашиль, де, граф (1795—1856) — французский буржуазный политический деятель, историк и публицист. — I, 307.
Самойлов Василий Васильевич (1812—1887) — выдающийся русский актер; выступал в Александринском театре в Петербурге. — III, 153.
Санд Жорж (псевдоним Авроры Дюдеван) (1804—1876) — выдающаяся французская писательница. — I, 220, 262; II, 168, 213; III, 47, 88, 89, 106, 113.
Сварожич. См. Срезневский И. И.
Свечина Софья Петровна (1782—1859) — фрейлина при дворе Павла и Александра I; в 1807 г. перешла в католичество и переселилась в Париж; автор мистических записок. — I, 137; III, 80.
Свифт Джонатан (1667—1745) — английский писатель. — I, *138*; IV, 18.
Святополк Окаянный (ок. 980—1019) — князь туровский, позднее — великий князь киевский, сын Владимира Святославича; в борьбе за киевский кня-

жеский стол убил своих братьев Бориса, Глеба и Святослава. — I, 71.
Святополк (Михаил) Изяславич (1050—1113) — древнерусский князь, сын великого князя киевского Изяслава Ярославича; с 1093 — великий князь Киевский; с позволения его был ослеплен князь Василько Ростиславич. — I, 71.
Святослав (ум. 1015) — князь древлянский; сын Владимира Святославича; убит Святополком Окаянным. — I, 71.
Семен — работник у Фета А. А. — III, 96.
Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) — древнеримский философ-стоик, писатель и политический деятель; воспитатель и ближайший советник Нерона, затем отстраненный; будучи приговорен к смерти, покончил жизнь самоубийством. — I, 75, 88; II, 339; III, 256.
Сенковский Осип Иванович (1800—1858) — профессор Петербургского университета, востоковед, журналист и писатель (псевдоним: барон Брамбеус); в 1834—1856 — редактор журнала «Библиотека для чтения»; в 1856—1858 гг. фельетонист «Сына отечества». — I, 131, 150; II, 184; III, 218, 244.
Сен-Ламбер Шарль Франсуа, де, маркиз (1716—1803) — французский поэт и философ-просветитель. — IV, 188.
Сен-Марк Жан Поль Андре, де, маркиз (1728—1818) — французский поэт и драматург. — IV, 182.
Сен-Симон Анри Клод (1760—1825) — великий французский социалист-утопист. — I, 156.
Септимий Север Луций (146—211) — римский император (с 193). — III, 424.
Серапион (ум. 1275) — епископ владимирский, автор проповедей («слов»), содержавших яркие картины событий его времени. — II, 206.
Сервантес де Сааведра Мигель (1547—1616). — I, 214, 304; II, 212; III, *345*, *348—349;* IV, *281*, *283*.
Сергий Радонежский (ок. 1315 или 1319—1392) — игумен Троице-Сергиева монастыря, церковный и политический деятель. — III, 265—267.
Сеченов Иван Михайлович (1829—1905). — III, 76.
Сильвестр (XVI в.) — протопоп Благовещенского собора в Московском Кремле при Иване Грозном; автор «Домостроя». — I, 180, 335; III, 194.
Сирван Пьер Поль — французский землемер, кальвинист, в 1761 г. ложно обвиненный в убийстве дочери. — IV, 167, 168.
Скарятин Владимир Дмитриевич — реакционный журналист; издатель-редактор газеты «Весть» (1863—1870), органа крепостников. — II, 124; III, 18, 87, 458.
Сковорода Григорий Саввич (1722—1794) — украинский философ и поэт. — I, 133.
Скотт Вальтер (1771—1832). — II, 355; III, 114.
Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878) — писатель-демократ; автор повести «Трудное время». — IV, 51, *52*, 53, *54—62*, 63, *64*, 65, *66—85*.
Случевский Константин Константинович (1837—1904) — поэт, сторонник «чистого искусства». — II, 335.
Смарагдов Семен Николаевич (1805—1871) — педагог; автор учебников по всеобщей истории казенно-монархического характера для средних учебных заведений — I, 151; II, 76, 128, 141, 142, 145, 199, 200, 201, 202, 206; III, 364; IV, 48.
Смит Адам (1723—1790) — английский экономист и философ, один из крупнейших представителей классической буржуазной политической экономии. — III, 149; IV, 184.
Соколов Николай Васильевич (1832—1889)— демократический журналист, экономист; один из основных сотрудников «Русского слова». — III, 450, 463.
Сократ (469—399 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист. — I, 75, 76, 77, 78—79, 123; II, 220; IV, 247.
Солдатенков Козьма Терентьевич (1818—1901) — московский купец, книгоиздатель-меценат. — II, 333.
Соллогуб Владимир Александрович (1814—1882) — беллетрист; автор либерально-обличительной комедии «Чиновник»; враг демократической литературы. — I, 204, 270; II, 341; III, 153, *235*, *238*.
Соловьев Николай Иванович (1831—1874)— литературный критик, сотрудник «Эпохи» (1864—1865), а затем «Отечественных записок» Краевского и Дудышкина; враг демократической литературы и журналистики. — III, *201*, 224, 230, 256, 268, 285—287, 296, 302, *417*, 437, 448, 449, 481, 495, 497, 508, 509, 510; IV, 233.
Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879)— выдающийся историк, профессор Мо-

сковского университета. — I, 293; II, 137, *168*; *III*, 75.
Соломон — израильский царь (ок. 970—930 до н. э.). — IV, 173.
Солон (ок. 640—ок. 560 до н. э.) — законодатель древних Афин. — II, 62; IV, 345.
Составитель «Внутреннего обозрения» (в «Современнике») — Елисеев Г. З. *(см.)*.
Составитель «Философского лексикона» — Гогоцкий С. С. *(см.)*.
Соути (Саути) Роберт (1774—1843) — английский поэт, представитель реакционного романтизма. — III, 94.
Срезневский Измаил Иванович (1812—1880) — профессор Петербургского университета (с 1847), академик, филолог-славист, историк русского языка; в статье «Наша университетская наука» выведен под именем Сварожича. — I, 132, 203; II, *54*, 137, *170—172*, *174—175*; III, 75.
Сталь Анна Луиза Жермена, де (1766—1817) — французская писательница. — III, 377.
Станевич Евстафий Иванович (1775—1835) — писатель и переводчик. — I, 318.
Станицкий Н. — Псевдоним Панаевой А. Я. *(см.)*.
Станюкович Александр Михайлович (1824—1892) — журналист и писатель. — I, 56.
Старк, доктор. — III, 372.
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — профессор всеобщей истории Петербургского университета; либерал; с 1866 г. — редактор-издатель «Вестника Европы»; в статье «Наша университетская наука» выведен под именем Ирониаиского. — II, *144—147*, *148*, *172*, *182*.
Стебницкий М. — Псевдоним Лескова Н. С. *(см.)*.
Стелловский Федор Тимофеевич (ум. 1875) — книгоиздатель. — III, 140.
Степан — «монструм», содержавшийся при Петровской кунсткамере. — II, 91.
Страбон (ок. 63 до н. э. — ок. 20 н. э.) — знаменитый древнегреческий географ и историк. — II, 139—140, 148, 168.
Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — философ-идеалист, реакционный публицист и критик; представитель «почвеннического направления»; сотрудник «Времени» и «Эпохи»; псевдонимы: Н. Косица, Н. Ко. — I, 131, 132, 135; II, 335; III, 251, 252, 255, 256, 301, 364, 454, 509.
Сулла Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель, глава аристократической партии. — I, 150.
Сумароков Александр Петрович (1718—1777) — поэт и драматург. — I, 312, 318; III, 106, 109.
Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903) — драматург; автор сатирической трилогии («Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»). — I, 286; II, *338*.
Сухомлинов Михаил Иванович (1828—1901) — профессор Петербургского университета по кафедре литературы и языка, историк русской литературы; выведен в статье «Наша университетская наука» под именем Телицына. — II, *148—155*, *156—158*, *160—162*, *163*, *167*, *172*, *175*, *179*.
Сципион Публий Корнелий Старший (Африканский) (ок. 235 — 183 до н. э.) — римский полководец, одержал победу над Ганнибалом при Заме во второй Пунической войне. — III, 81.
Сю Эжен (1804—1857) — французский писатель; автор «Парижских тайн» и др. романов. — II, 213; III, 417.

Т. З. — Псевдоним Шелгунова Н. В. *(см.)*.
Талейран Шарль Морис, князь Перигор (1754—1838) — французский дипломат и политический деятель. — II, 174, 349; IV, 22.
Талон — ресторатор в Петербурге. — III, 308, 309, 314.
Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826) — знаменитый французский трагический актер. — III, 115.
Талызин Матвей Иванович (род. 1819) — математик и физик, автор «Руководства к математической и физической географии» (1848). — III, 127.
Тамберлик Энрико (1820—1889) — итальянский певец (тенор), выступавший в 1850—1860 гг. в Петербурге. — II, 268; III, 292.
Тамерлан (Тимур) (1336—1405) — среднеазиатский полководец-завоеватель. — IV, 242.
Тацит Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — крупнейший древнеримский историк; блестящий стилист. — I, 88, 303, 304; II, 209, 210; IV, 48.
Теккерей Уильям Мейкпис (1811—1863) — великий английский писатель-реалист. — I, 192; II, 146, 340; III, 106, 111, 113; IV, 267.

Телицын. См. Сухомлинов М. И.
Темный человек — псевдоним Минаева Д. Д. *(см.)*.
Тенгоборский Людвиг Валерианович (1793—1857) — экономист и статистик, член Государственного совета. — II, 248.
Теннисон Альфред (1809—1892) — английский поэт. — III, 111.
Терсье — французский цензор при Людовике XV. — IV, 178.
Тессинг Ян — владелец типографии в Амстердаме, печатавший книги по заказу Петра I. — II, 68, 84.
Тиверий (Тиберий) Клавдий Нерон (42 до н. э. — 37 н. э.) — римский император (с 14 н. э.), отличавшийся жестокостью в конце царствования. — I, 95.
Тик Людвиг (1773—1853) — немецкий писатель-романтик. — IV, 235, 237.
Тит Флавий Веспасиан (39—81) — римский император (с 79); предпринимал большие строительные работы в Риме и провинциях. — II, 76, 213.
Тициан Вечеллио (ок. 1477—1576) — великий итальянский живописец венецианской школы. — III, 115.
Токвиль Алексис (1805—1859) — французский политический деятель, историк и публицист; буржуазный либерал и монархист; автор книг «Демократия в Америке» и «Старый порядок и революция», пользовавшихся успехом в 1850—1860 гг. среди представителей русского либерализма. — I, 145, 146, 147, 155.
Толмачева Евгения Эдуардовна (рожд. Эверсман) — жена председателя казенной палаты в Перми. — I, 103, 104, 105, 294.
Толстой Алексей Константинович (1817—1875) — поэт, драматург и прозаик. — II, 355; IV, 261.
Толстой Лев Николаевич (1828—1910). — I, 34—39, *40*, 41—44; II, 359; III, 139—142, *143*, *145*, 147, *151*, *154*, 155, *156*, *158—161*, 162, *163—170*, 171, *172—181*, 182, *183*, 288; IV, 261, 370—371, *372—378*, 379, *380—383*, 384—386, *387—397*.
Толстой Петр Андреевич, граф (1645—1729) — президент коммерц-коллегии, дипломат. — II, 95.
Толстой Феофил Матвеевич (1809—1881) — композитор и музыкальный критик (псевдоним: Ростислав), автор романов, повестей и драматических произведений. — IV, 261, *262*, 263—264, 266, *268*, 269, *271*, 272—273, *274—275*, 276—277, *278*, 280, *281—283*, *285—286*, *288—289*, *291—293*, *295—307*, 308, *309—312*, 313, *314*, 315.
Торквемада Томас (1420—1498) — испанский монах-доминиканец, с 1483 — «великий инквизитор», известный своей фанатической жестокостью. — IV, 191.
Трегер Альберт (1830—1912) — немецкий поэт. — I, 338.
Тредьяковский Василий Кириллович (1703—1769) — поэт, ученый и переводчик. — II, 207; III, 106.
Тренк Фридрих, барон (1726—1794) — прусский авантюрист, неоднократно сидел в тюрьме; был гильотинирован в Париже в период якобинской диктатуры. — IV, 132.
Трехзвездочкин Гермоген — псевдоним Макарова Н. П. *(см.)*.
Троицкий И. — автор книжек для народного чтения. — I, 56, 72—73.
Троллоп Антони (1815—1882) — английский писатель-реалист. — III, 111, 113.
Тур — мебельный мастер в Петербурге. — III, 424.
Тур Евгения — псевдоним писательницы Елизаветы Васильевны Салиас де Турнемир (1815—1892). — III, 288.
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883). — I, 18—20, *21*, 22, *23—24*, 25—27, *28—30*, 31—33, 60, *107*, 118, 134, *170*, 172, *176*, 192, *196*, 197, *203*, *207*, 209, 211—214, *215—218*, 220—221, 223—225, *226*, 227, *228*, 229—230, 231, 237, *244*, 248, 249—250, *251—254*, 255, *256—264*, 265—268, *269*, 270, 327; II, 7—9, *10—12*, 13—15, *18—20*, 21—26, *27*, 28—31, *32*, 33—37, *38*, 39, *40—41*, 42—43, *44*, 45—46, *47*, 48—50, *65*, *66*, 135, *177*, 208, *280*, *336*, *357*, 358, 360, *364*, 392, *394*; III, *11*, 14—17, *18*, *21—28*, 30, *31*, *32*, *35*, *36—40*, 41—42, *43*, 45, *46—50*, 51, *52—54*, 55—56, *57—58*, *62*, *79*, *83*, 86—87, *105*, 106, 109, 128, 140, *141*, *142*, *161*, *180—181*, *182*, 189, 199, *200*, 201, *205*, *216—217*, *246*, 253, 269, 271, 293—294, *303*, 304, *310*, *325*, *337*, *362*, *416*, *440*, 441—442, 446, 447, 448, 449, 451, 452, 453, *457*, *459*, *460*, 462, 472, *480*, 483, *496*; IV, *10*, 11—12, *30*, 48, *49*, *260*, 267, *273*, 282, 423—425.
Тьерри Огюстен (1795—1856) — французский историк; крупный представитель либерально-буржуазной историографии периода Реставрации. — I, 86.
Тэн Ипполит (1828—1893) — французский историк, историк литературы, эстетик и философ-позитивист. — II, 146, *147*; III, 425—426, 509—510.

Тюрго Анн Робер Жак (1727—1781) — французский государственный деятель и экономист; виднейший представитель школы физиократов. — IV, 181.
Тюря — маркер. — III, 115, 481, 502.
Тютрюмов Никанор Леонтьевич (1821—1877) — живописец-портретист. — III, 308.

Уайтворт Джозеф (1803—1887) — английский инженер, изобретатель. — II, 326.
Уатт Джемс (1736—1819) — английский механик, выдающийся изобретатель, усовершенствовавший паровую машину. — II, 242.
Уголино делла Герардеска, граф Доноратико — правитель Пизы; во время мятежа в 1288 г., поднятого его противником — архиепископом Руджери дельи Убальдини, был захвачен и заточен с двумя сыновьями и двумя внуками в башню, где они и умерли от голода; его история составила содержание части песни XXXIII «Ада» Данте. — II, 213; III, 299.
Уильберфорс Уильям (1759—1833) — английский буржуазный филантроп. — I, 161.
Уланд Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт, представитель т. наз. «швабской школы» позднего романтизма. — IV, 202, 235.
Успенский Глеб Иванович (1843—1902). — III, 454.
Устрялов Николай Герасимович (1805—1870) — профессор Петербургского университета, академик; автор ряда исторических исследований, а также учебников по русской истории для средних учебных заведений, составленных в монархическом духе. — I, 293; II, 67, 85, 128, 199, 202; III, 153.
Устрялов Федор Николаевич (1836—1885) — журналист, драматург и переводчик (в частности — «Исповеди» Руссо (1865). — IV, 186.

Фавар Шарль Симон (1710—1792) — французский писатель, автор опер и комедий, написанных им совместно с его женой Мари Жюстиной Фавар (см. Шантильи). — IV, 154.
Фалентин. — См. Валентин Г.
Фарнгаген фон Энзе Карл Август (1785—1858) — немецкий писатель и критик. — IV, 158.
Фаухер — прусский либерал, депутат. — III, 442, 443.
Феваль Поль (1817—1887) — французский писатель, романист и драматург. — I, 199, 305; III, 114, 219.
Федоров Борис Михайлович (1794—1875) — реакционный писатель и журналист; автор пошлых нравоучительных детских рассказов и повестей; известен также своим доносом на Белинского и «Отечественные записки». — III, 17.
Федоров Степан Николаевич — беллетрист и драматург; печатался в «Современнике» и др. журналах 1850—1860 гг. — I, 117.
Фейдо Эрнест (1821—1873) — французский писатель, романист. — III, 106.
Фейербах Людвиг (1804—1872) — немецкий философ, крупнейший представитель материализма в немецкой философии домарксовского периода. — I, 123, 262, 283, 284, 356; III, 34.
Фелец Шарль Мари Доримон, де (1767—1850) — французский критик, сторонник классицизма; член французской академии. — I, 307.
Фельетонист «Петербургских ведомостей» — автор анонимной корреспонденции в этой газете о чтении «Египетских ночей» Пушкина Е. Э. Толмачевой. — I, 104.
Фельетонист «Современника» — Салтыков М. Е. *(см.)*.
Фенелон Франсуа де Салиньяк де ла Мотт (1651—1715) — архиепископ в Камбре, французский писатель; автор романа «Приключения Телемака» (1693—1694; издан в 1699), где содержались элементы критики системы Людовика XIV. — III, 106, 110, 406; IV, 141—142, 146—147.
Феокрит (III в. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор идиллий. — III, 33.
Фердинанд Католик (1452—1516) — первый король объединенной Испании; ввел в стране инквизицию. — I, 95.
Фердинанд II (1578—1637) — император т. наз. «Римской священной империи» (с 1619); преследовал протестантизм; при нем началась Тридцатилетняя война. — II, 60.
Фердинанд II (1810—1859) — король Обеих Сицилий (с 1830); жестоко подавлял революционное движение в Неаполе и установил режим крайней реакции. — II, 91.
Фердинанд Неаполитанский. См. Фердинанд II — король Обеих Сицилий.
Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — поэт, сторонник «чистого искусства». — I, 157, 193, 195,

196, 293; II, 333, 334, 335, 340, 341, 344, 350; III, 95—96, 139, 282, 296, 446.

Филипп II Август (1165—1223) — французский король (с 1180). — II, 247.

Филипп II (1527—1598) — король Испании (с 1556); известен своей религиозной нетерпимостью; при нем велось жестокое подавление освободительного движения в Нидерландах. — II, 58, 59, 80, 81, 91.

Филипп Орлеанский, герцог (1674—1723) — регент Франции во время несовершеннолетия Людовика XV (в 1715—1723); отличался большой распущенностью; при нем проводились рискованные финансовые операции, приведшие финансы Франции в крайний упадок. — IV, 143, 216.

Фиркс Федор Иванович, барон (1812—1872) — агент русского правительства в Брюсселе; под псевдонимом Шедо-Ферроти издавал клеветнические брошюры против Герцена. — II, 120—126.

Фирордт Карл, фон (1818—1884) — немецкий физиолог. — III, 33.

Фирхов. См. Вирхов Р.

Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — видный немецкий философ, представитель субъективного идеализма. — I, 123; IV, 236, 237.

Фиц-Гуг Джордж (1806—1881) — американский юрист, реакционный социолог; апологет рабовладения в южных штатах. — II, 71.

Фишер Фридрих Теодор (1807—1888) — профессор философии, эстетики и немецкой литературы в Тюбингене и Штутгарте; последователь Гегеля. — III, 423.

Флешье Эспри (1632—1710) — французский проповедник, автор ряда сочинений, имеющих значение исторического источника об эпохе Людовика XIV. — II, 146, 147.

Флобер Гюстав (1821—1880) — выдающийся французский писатель-реалист. — III, 106.

Флуранс Жан Пьер (1794—1867) — французский врач и физиолог. — II, 280.

Фома — «монструм», содержавшийся при петровской кунсткамере. — II, 91.

Фома Аквинский (1225—1274) — средневековый богослов, один из крупнейших представителей схоластической философии. — IV, 160.

Фома Кемпийский (1379—1471) — монах, средневековый философ-мистик. — I, 355.

Фонвизин Денис Иванович (1745—1792). — II *142;* III *143—144, 166, 337.*

Фонтенель Бернар Лебовье (1657—1757) — французский писатель; автор «Рассуждения о множественности миров», излагавшего идеи Декарта и защищавшего систему Коперника. — IV, 147, 148, 152.

Форбес Эдуард (1815—1854) — известный английский естествоиспытатель. — III, 75.

Форбус — капитан, служивший в русских войсках при Петре I. — II, 92, 93.

Фохт (Фогт) Карл (1817—1895) — немецкий естествоиспытатель, вульгарный материалист. — I, 123; II, 27, 107, 382; III, 33, 75, 76, 129—131, 256, 263, 452.

Франклин Вениамин (1706—1790) — выдающийся американский политический деятель и ученый. — II, 45; III, 385.

Франц I (1768—1835) — австрийский император (с 1804) — один из вдохновителей войны против революционной Франции, а затем против Наполеона I и один из покровителей «Священного союза». — IV, 218.

Фридрих III Мудрый (1463—1525) — курфюрст саксонский (с 1486); оказывал покровительство Реформации. — II, 144.

Фридрих I (1657—1713) — прусский король (с 1701). — II, *89.*

Фридрих II (1712—1786) — прусский король (с 1740). — III, 454; IV, 143, 149, *166*, *168*, 169, 181.

Фридрих Великий. См. Фридрих II.

Фудра Теодор Луи Август, де, маркиз (1800—1872) — плодовитый французский беллетрист. — I, 305.

Фукидид (ок. 460 — ок. 396 до н. э.) — знаменитый древнегреческий историк.— II, 140, 142, 209.

Фульрот Иоганн Карл (1804—1877) — немецкий естествоиспытатель; в 1856 г. в пещере в долине Неандерталь близ Дюссельдорфа обнаружил скелет первобытного человека. — III, 33.

Функе Отто (1828—1879) — немецкий физиолог. — III, 33.

Фурье Шарль (1772—1837) — великий французский социалист-утопист. — III, 9, 492; IV, 27.

Хемницер Иван Иванович (1745—1784) — баснописец. — I, 56, *105*, 116.

Хеопс (первая половина 3 тысячелетия до н. э.) — египетский фараон, при котором была сооружена величайшая пирамида. — II, 229.

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — поэт и драматург, автор поэмы «Россиада». — I, 312, 318; II, 207; III, 106.
Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — один из теоретиков славянофильства; поэт, драматург и публицист. — I, 98, 99, 295—297, 336, 337.
Христиан VII (1749—1808) — датский король (с 1766); при нем министр Струэнзе пытался проводить политику «просвещенного абсолютизма». — IV, *166*, *168*.
Хроникер «Отечественных записок» — Громека С. С. *(см.)*.

Цезарь. См. Юлий Цезарь.
Целлер Эдуард (1814—1908) — немецкий теолог и философ-идеалист; автор ряда работ по истории философии. — I, 75, 76, 77, 78.
Цинциннат Люций Квинкций (V в. до н. э.) — римский полководец и государственный деятель; два раза был диктатором, но после выполнения своих обязанностей возвращался к занятиям земледелием. — IV, 419.
Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский государственный деятель, писатель, выдающийся оратор. — II, 129, 197, 209; III, 106; IV, 172.

Чаев Николай Александрович (1824—1911) — писатель, автор исторических драм. — III, 263.
Чамберс (Чемберс) Эфраим — (ум. 1740) — английский издатель, составитель одного из первых энциклопедических словарей (1728) — IV, 191.
Чарториэкский (Чарторыйский) Адам, князь (1770—1861) — польский и русский политический деятель; был приближенным лицом при Александре I в начале его царствования; в 1801—1805 — министр иностранных дел. — IV, 386.
Челлини Бенвенуто (1500—1571) — итальянский скульптор; автор записок о своей исполненной приключений жизни. — III, 509.
Черкасова Лидия Яковлевна (род. 1839) — писательница; ее рассказы и повести печатались в 60 гг. в «Русском вестнике». — III, 275, *276—278*.
Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889). — I, 133, 135—140, 144—152, 154—156, 157—158, 284, 301, 302; II, 55, 253, *338*, *357*, 358, 359, 360, *362*, *364*, 376, *381*, *393*, *394*; III, *11*, *81*, *254*, *255*, *295*, *302*, *303*, *304*, *337*, *366*, 371, *417*, *419—427*, *429—435*, 439, 445, *448*, 450, 451, 462, 463, 466, *482*, 483, 484, *485*, 496, *501—503*, *507*, *508*; IV, 8—12, 19, 25—26, *27—34*, 35, *36—39*, 40—44, *45—47*, 48—49, *260*.
Чингисхан (ок. 1155—1227) — монгольский завоеватель. — IV, 242.
Чирнер Генрих Готлиб (1778—1828) — немецкий богослов. — II, 147.
Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — профессор государственного права в Московском университете; историк и публицист; либерал-охранитель; в 1861—1862 гг. выступал со статьями, направленными против демократического движения. — II, 121, 137; III, 259—260.

Шавров Александр Александрович (ум. 1879) — публицист; автор статьи в защиту классического образования в газете «День» (1865). — III, 495.
Шакловитый Федор Леонтьевич (ум. 1689) — окольничий, думный дьяк, начальник стрелецкого приказа в правление царевны Софьи; был казнен за подстрекательство стрельцов к бунту. — II, 67.
Шаликов Петр Иванович, князь (1768—1852) — писатель и журналист, эпигон карамзинского направления. — III, 106.
Шамиссо Адельберт, фон (1781—1838) — немецкий писатель-романтик, поэт и прозаик. — I, 338, 339, 340, 341.
Шамполион Жан Франсуа (1790—1832) — французский археолог, дешифрировавший египетское иероглифическое письмо. — II, 159.
Шантильи (Фавар) Мари Жюстина Бенуа Дюронсере (1727—1772) — французская актриса и автор драматических произведений; преследовалась Морисом Саксонским за отказ ему принадлежать. — IV, 154.
Шатобриан Франсуа Рене, де (1768—1848) — французский писатель-романтик и реакционный государственный деятель, дипломат. — I, 355; II, 392.
Шатриан. См. Эркман-Шатриан.
Шафарик Павел Иосиф (1795—1861) — словацкий общественный деятель, выдающийся ученый-славяновед. — II, 137, 152.
Шаховской Александр Александрович, князь (1777—1846) — драматург; в пе-

риод борьбы шишковистов и карамзинистов — сторонник А. С. Шишкова. — III, 405.
Шахт Герман (1814—1864) — немецкий ботаник; автор работы «Дерево» (1853). — III, 33.
Шванн Теодор (1810—1882) — немецкий зоолог; один из создателей клеточной теории строения организма. — III, 33.
Шведский король. См. Густав III.
Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861). — III, 249.
Шевырев Степан Петрович (1816—1864) — профессор Московского университета; поэт, историк литературы и критик; реакционер; ближайший сотрудник М. П. Погодина по журналу «Москвитянин». — III, 367.
Шедо-Ферроти Д. — псевдоним барона Ф. И. Фиркса *(см.)*
Шекспир Вильям (1564—1616). — I, 21, 139, 304; II, 168, 201, 202, 212, 241, 264, 394; III, 40, *56*, 62, 104, 105, 106, 107, *114*, *115*, *170*, 295, 296, *299*, 376, 417, 431, 480, 481; IV, *8*, *69*, 375.
Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891) — видный публицист и критик демократического направления, участник революционного движения 60 гг.; сотрудник «Современника», «Русского слова» и «Дела». — III, *445—446*.
Шеллер-Михайлов Александр Константинович (1838—1900) — романист, поэт и критик, в 60 гг. близкий демократическому направлению; сотрудник «Русского слова» и «Дела»; печатался также в «Современнике». — III, 494.
Шелли Перси Биши (1792—1822) — выдающийся английский поэт, представитель революционного романтизма. — III, 97.
Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854) — немецкий философ-идеалист.— I, 324, 325, 332; III, 443; IV, 236, 237.
Шефер Леопольд (1784—1862) — немецкий поэт, беллетрист и композитор. — IV, 202.
Шиллер Фридрих (1759—1805) — I, 131, 304, 305; II, 125, 168; III, 44, 106, 130, 177, 196, 197, *270*, 293, 327, 375, 376, 416; IV, *155*, 222, 224.
Шишков Александр Семенович (1754—1841) — адмирал, государственный деятель, писатель и филолог; президент Академии Российской; противник так наз. «нового слога» Карамзина и его последователей. — I, 303, 304.
Шлегели. См. Шлегель А. В. и Шлегель Ф.
Шлегель Август Вильгельм (1767—1845) — немецкий писатель романтической школы, теоретик искусства, критик, филолог и переводчик. — IV, 237.
Шлегель Фридрих (1772—1829) — немецкий писатель-романтик, теоретик искусства, языковед. — IV, 237.
Шлезиэр Густав (род. 1810) — немецкий писатель; автор «Воспоминаний о В. Гумбольдте» (2 тт., 1843—1845). — II, 160, 161.
Шлейден Матиас Якоб (1804—1881) — немецкий ботаник, один из основоположников клеточной теории строения организмов. — II, 256; III, 467.
Шлейермахер Фридрих (1768—1834) — немецкий реакционный философ-идеалист и протестантский теолог. — I, 322—323.
Шлейхер Август (1821—1868) — выдающийся немецкий языковед; автор брошюры «Дарвиновская теория и языкознание» (1863), в которой пытался приложить идеи Дарвина о борьбе за существование и естественном подборе к изучению языков. — II, 157.
Шлоссер Фридрих Христофор (1776—1861)— известный немецкий историк. — III, 364.
Шмерлинг Антон (1805—1893) — австрийский государственный деятель, либерал; участник революции 1848; в 1860 гг. — премьер-министр, пытавшийся провести ряд либерально-конституционных мероприятий. — II, 372.
Шмидт Генрих Юлиан (1818—1886) — немецкий историк литературы, буржуазный либерал. — IV, 50.
Шометт Пьер Гаспар (1763—1794) — французский политический деятель во время буржуазной революции конца XVIII в., левый якобинец. — IV, 191.
Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист. — I, 132; III, 302.
Шпильгаген Фридрих (1829—1911) — немецкий писатель, романист. — III, 187.
Штейнталь Гейман (1823—1899) — немецкий языковед-идеалист, представитель психологического направления в языкознании. — I, 123—124; II, 152, 153, 157, 158, 161, 162.
Штрасберг — полковник, служивший в войсках Петра I. — II, 92, 93.
Шуазель Этьен Франсуа, герцог (1719—1785) — французский дипломат, руководитель французской политики в 1758—1770 гг. при Людовике XV. — IV, 180.

Шультс Адольф (1820—1858) — немецкий поэт. — I, 348, 349.
Шульце-Делич Герман (1808—1883) — немецкий буржуазный экономист и политический деятель. — III, 442, 443.
Шумахер Иоганн Даниил (1690—1761) — член и секретарь Петербургской Академии наук. — II, 90, 91.
Шафтсбёри Антони Ашли Купер, граф (1671—1713) — английский философ, деист. — IV, 163.

Щапов Афанасий Прокофьевич (1830—1876) — историк, близкий к демократическим кругам 60 гг.; сотрудничал в «Русском слове». — III, 255, 256, 304.
Щебальский Петр Карлович (1810—1886) — историк; сотрудник «Русского вестника» Каткова. — II, 91.
Щеглов Дмитрий Федорович (ум. 1902) — умеренно-либеральный публицист; в 1860 гг. сотрудник «Библиотеки для чтения». — III, 18.
Щедрин Н. См. Салтыков М. Е.
Щербина Николай Федорович (1821—1869) — поэт школы «чистого искусства». — I, 152, 193, 195.

Эвклид (III в. до н. э.) — древнегреческий математик, основатель геометрии. — II, 71, 72.
Эдельсон Евгений Николаевич (1824—1868) — критик, сторонник теории «искусства для искусства». — I, 131; III, 105, 230, 238.
Эйлер Леонард (1707—1783) — великий математик, астроном и физик, член петербургской Академии наук. — III, 322.
Эккартсгаузен Карл (1752—1803) — немецкий философ, мистик. — II, 55.
Эленшлегер Адам (1779—1850) — выдающийся датский поэт-романтик.—I, 338, 340.
Эли де Бомон Жан Батист Арман Луи Леонс (1798—1874) — французский геолог. — III, 75.
Эллиот Джордж — псевдоним английской писательницы Мэри Эванс (1819—1880) — автора реалистических романов. — I, 192; III, 111.
Эльслер Фанни (1811—1884) — знаменитая австрийская танцовщица; в 40 гг. выступала в Петербурге. — III, 115.
Энгельгардт Софья Владимировна (род. 1828) — писательница; псевдонимы: Ольга Н., Н. О. — III, 272, *273—274*, *275—278*.
Эпиктет (ок. 50 — ок. 138) — древнегреческий философ, стоик. — II, 43.
Эпикур (ок. 341 — ок. 270 до н.э.) — выдающийся древнегреческий материалист и атеист. I, 76.
Эпине (Луиза Флоранс Петрониль де ла Лив), д' (1725—1783) — жена генерального откупщика, окружившая себя знаменитыми писателями и философами; была близка к Ж. Ж. Руссо, для которого выстроила домик («Эрмитаж») в Монморанси; позднее, разойдясь с Руссо, подружилась с М. Гриммом. — IV, 187.
Эренберг Христиан Готфрид (1795—1876) — немецкий врач и естествоиспытатель. — III, 33.
Эркман-Шатриан — литературное имя двух французских романистов, писавших свои произведения совместно: Шатриана Александра (1826—1890) и Эркмана Эмиля (1822—1899). — IV, 398, 400—403, *404—405*, 406, *407—422*.
Эрострат. См. Герострат.
Эрш Иоганн Самуэль (1766—1828) — немецкий библиограф; вместе с И. Г. Грубером издавал «Всеобщую энциклопедию наук и искусств» — II, 140, 141.
Эталлонд д' (род. 1748) — дворянин, ложно обвиненный судом г. Аббевиля в богохульстве в 1766 г. — IV, 168, 169.

Ювенал Децим Юний (ок. 60 — ок. 140) — римский поэт-сатирик. — I, 155; II, 345.
Юлий Кесарь. См. Юлий Цезарь.
Юлий Цезарь (100—44 до н. э.) — римский государственный деятель, полководец и писатель. — II, 125, 213, 234, 247; III, 90.
Юлий II (1443—1513) — римский папа (с 1503). — III, 510.
Юм Давид (1711—1775) — английский философ, историк и экономист; субъективный идеалист, агностик. — IV, 179.
Юморист газеты «Век». См. Вейнберг П. И.
Юркевич Памфил Данилович (1827—1874)— профессор Киевской духовной академии, а с 1866 — Московского университета; философ-идеалист; неоднократно выступал с «разоблачениями» материализма, в частности — против Чернышевского и его труда «Антропологический принцип в философии». — I, 132, 138, 157, 158, 301—302; II, 54; III, 269.

Языков Николай Михайлович (1803—1846) — поэт. — I, 331.

Яков — «монструм», содержавшийся при петровской кунсткамере. — II, 91.

Яков II Стюарт (1633—1701) — английский король (1685—1688); был низвергнут в результате переворота 1688 г. и бежал во Францию.—II, 64, 266; IV,145.

Якубович А. — переводчик «Демократии в Америке» А. Токвиля (Киев, 1860—1861). — I, 145, 146.

Якубович Николай Мартынович (1817—1879) — профессор Медико-хирургической академии; физиолог, занимавшийся изучением центральной нервной системы. — III, 76, 78.

Якушкин Павел Иванович (1820—1872)—писатель, автор очерков из народного быта и фольклорист, издатель собрания народных песен. — I, 99.

Ярослав I Владимирович (978—1054) — великий князь киевский (с 1019). —I, 71.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В ТТ. 1—4 СОЧИНЕНИЙ

Базаров — т. II, стр. 7.
Бедная русская мысль — т. II, стр. 51.
Борьба за жизнь — т. IV, стр. 316.
Генрих Гейне — т. IV, стр. 195.
«Дворянское гнездо». Роман И. С. Тургенева — т. I, стр. 18.
Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова — т. I, стр. 231.
Идеализм Платона — т. I, стр. 75.
Московские мыслители — т. I, стр. 274.
Мотивы русской драмы — т. II, стр. 366.
Мыслящий пролетариат — т. IV, стр. 7.
Народные книжки — т. I, стр. 56.
Наша университетская наука — т. II, стр. 127.
Наши усыпители — т. IV, стр. 244.
Несоразмерные претензии — т. I, стр. 45.
⟨О брошюре Шедо-Ферроти⟩ — т. II, стр. 120.
«Обломов». Роман И. А. Гончарова — т. I, стр. 3.
Образованная толпа — т. IV, стр. 261.
Очерки из истории труда — т. II, стр. 228.
Писемский, Тургенев и Гончаров — т. I, стр. 192.
Письмо И. С. Тургеневу —т. IV, стр. 423.
Погибшие и погибающие — т. IV. стр. 86.
Подрастающая гуманность — т. IV, стр. 50.
Популяризаторы отрицательных доктрин— т. IV, стр. 140.
Посмотрим! — т. III, стр. 436.
«Поэты всех времен и народов» — т. I, стр. 348.
Прогулка по садам российской словесности — т. III, стр. 251.
Промахи незрелой мысли — т. III, стр. 139.
Пушкин и Белинский — т. III, стр. 306. («Евгений Онегин» — стр. 306; Лирика Пушкина — стр. 365).
Пчелы — т. II, стр. 98.
Разрушение эстетики — т. III, стр. 418 и 501 (приложение).
Реалисты — т. III, стр. 7.
Роман кисейной девушки — т. III, стр. 185.
Русский Дон-Кихот — т. I, стр. 320.
«Сборник стихотворений иностранных поэтов» — т. I, стр. 338.
Сердитое бессилие — т. III, стр. 218.
Старое барство — т. IV, стр. 370.
Стоячая вода — т. I, стр. 160.
Схоластика XIX века — т. I, стр. 97.
«Три смерти». Рассказ графа Л. Н. Толстого — т. I, стр. 34.
Французский крестьянин в 1789 году — т. IV, стр. 398.
Цветы невинного юмора — т. II, стр. 331.

СОДЕРЖАНИЕ

Мыслящий пролетариат 7
Подрастающая гуманность 50
Погибшие и погибающие 86
Популяризаторы отрицательных доктрин 140
Генрих Гейне 195
Наши усыпители 244
Образованная толпа 261
Борьба за жизнь 316
Старое барство 370
Французский крестьянин в 1789 году 398
Письмо И. С. Тургеневу 423

Примечания 429
Указатель имен к тт. 1—4 Сочинений 461
Алфавитный указатель произведений, вошедших в тт. 1—4 Сочинений . 496

Редактор П. А. Сидоров
Художник А. М. Гайденков
Художественный редактор
А. Ф. Кукуричкина
Технический редактор
Л. П. Крючкина
Корректор В. С. Урес

Сдано в набор 1/VI 1956 г.
Подписано к печати 26/XI 1956 г.
Бумага $60 \times 92/_{16}$ = 31,25 печ. л. =
33,66 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз.
Заказ № 1368. Цена 12 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности. 2-я типография
«Печатный Двор» им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

ТОМ 1

стр.	*строки*	*напечатано*	*следует*
XII	22 св.	Весной 1860 года	В декабре 1859 года
LVII	10 сн.	4 июня	4 июля
371	23—22 сн.	«Метафизическая	«Механическая
374	17 сн.	кн. 4	№ 7
»	12 сн.	за 1861 г.	за 1860 г.
»	11 сн.	другая его статья	статья П. М. Леонтьева
380	20 сн.	открыв	сокрыв
381	21 сн.	кн. 9	№ 20
382	10 сн.	с 1861	с 1860

Во вступительной статье на стр. LVII ошибочно указано, что «Очерки из истории европейских народов» были опубликованы в «Отечественных записках». В действительности эта последняя опубликованная при жизни Писарева серия его исторических очерков печаталась в журнале «Дело», кн. 6—11 за 1867 год.

ТОМ 2

стр.	*строки*	*напечатано*	*следует*
411	10 св.	П. Н. Павлов	П. В. Павлов
415	4 св.	Н. Д. Астафьева	Н. А. Астафьева
»	6 св.	в 1855 г.	с 1855 г.
416	3 св.	кн. 9	№ 17

В примеч. 10 к статье «Цветы невинного юмора» (стр. 426) не разъяснено, что в указанном тексте имеет место намек на реплику Расплюева из комедии А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (д. 2, явл. XVI).

ТОМ 3

стр.	*строки*	*напечатано*	*следует*
303	5 сн.	г. Посторонний критик	г. Посторонний сатирик
530	19 св.	1860 г.	1860 гг.
560	24—25 св.	вопрос о протекционизме, или свободе торговли,	вопрос о протекционизме или свободе торговли